

ДОДНЕСЬ ТЯГОТЕЕТ

1

“ЛЮДИ ПОЗДНЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ СКАЖУТ МНЕ, ЧТО ВСЕ ЭТО БЫЛО И БЫЛЬЕМ ПОРОСЛО И ЧТО, СТАЛО БЫТЬ, ВСПОМИНАТЬ ОБ ЭТОМ НЕ ОСОБЕННО ПОЛЕЗНО. ЗНАЮ Я И САМ, ЧТО ФАБУЛА ЭТОЙ БЫЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОРОСЛА БЫЛЬЕМ; НО ПОЧЕМУ ЖЕ, ОДНАКО, ОНА И ДО СИХ ПОР ТАК ЯРКО ВЫСТУПАЕТ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ОТ ВРЕМЕНИ ДО ВРЕМЕНИ? НЕ ПОТОМУ ЛИ, ЧТО, КРОМЕ ФАБУЛЫ, В ЭТОМ ТРАГИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ БЫЛО НЕЧТО ЕЩЕ, ЧТО ДАЛЕКО НЕ ПОРОСЛО БЫЛЬЕМ, А ПРОДОЛЖАЕТ И ДОДНЕСЬ ТЯГОТЕТЬ НАД ЖИЗНЬЮ?,,

**ДОДНЕСЬ
ТЯГОТЕЕТ**

Люди позднейшего времени скажут мне, что все это было и быльем поросло и что, стало быть, вспоминать об этом не особенно полезно. Знаю я и сам, что фабула этой были действительно поросла быльем; но почему же, однако, она и до сих пор так ярко выступает перед глазами от времени до времени? Не потому ли, что, кроме фабулы, в этом трагическом прошлом было нечто еще, что далеко не поросло быльем, а продолжает и донесъ тяготеть над жизнью?

М. Е. Салтыков-Щедрин
«Пошехонская старина»

ДОДНЕСЬ ТЯГОТЕЕТ

Том 1

**Записки
вашей современницы**

Возвращение

Москва 2004

ББК 84 P7

Д60

Составитель
Семен Виленский

Художник
Виктор Виноградов

Д60 **Доднесь тяготееет: В 2-х томах. Т. 1. Записки вашей современницы: сборник / сост. С. С. Виленский. — 2-е изд. — М.: Возвращение, 2004. — 623 с.: ил., портр.**

ISBN 5-7157-0145-7

В двухтомнике «Доднесь тяготееет» («Записки вашей современницы», «Колыма») представлены воспоминания, рассказы, стихи и письма узников ГУЛАГа. Эта книга о прошлом, которое «далеко не поросло быльем, а продолжает и доднесь тяготееет над жизнью».

ISBN 5-7157-0145-7

ББК 84 P7

© Виленский С. С., составление, 2004

© «Возвращение», 2004

От составителя

Первый том «Доднесь тяготееет» – первая правдивая и столь представительная (двадцать три автора) книга о ГУЛАГе – вышел еще при советской власти в 1989 году в подцензурной печати.

Многое можно рассказать о том, как произошло такое невероятное в те времена событие – главная его причина в охватившей общество жажде правды и перемен. Казалось бы случайные обстоятельства, благоприятствовавшие выходу книги, на поверку были вовсе не случайны: у двух цензоров, о которых никому не положено было знать, но с которыми я встретился, дедушки погибли в лагерях, помог и главный редактор журнала «Новый мир» Сергей Павлович Залыгин, человек в ту пору авторитетный и влиятельный.

Правление «Советского писателя» отправило «Доднесь тяготееет» в тульский полиграфический комбинат, а там стараниями производственного отдела и рабочих типографии стотысячный тираж был изготовлен в кратчайший срок.

Помню, в Москве у «Дома книги» на Новом Арбате с вечера люди записывались в очередь, некоторые дежурили всю ночь, чтобы приобрести книгу.

С тех пор прошло пятнадцать лет. Теперь на полках книжных магазинов пылятся невостребованные мемуары узников ГУЛАГа. Вот что пишет один из них: «В наше меркантильное время большинство общества занято делами текущими, а я и, возможно, многие из тех, кто пока жив, чувствуем себя последними мамонтами в эпоху нового оледенения XXI века».

Наше общество не осудило прошлое, не покаялось пусть даже в невольном молчаливом соучастии в чудовищных преступлениях. Мы смирились со злом. У нас не было процесса, подобного Нюрнбергскому. Не было дебольшевизации, подобной денацификации в послевоенной Германии. В этом основная причина криминальности нашего общества, вопиющей социальной несправедливости, фактического бесправия граждан.

Но такое положение не вечно – я бы даже сказал, недолговечно. Ведь ГУЛАГ, как и гитлеровские лагеря, – неотъемлемая часть европейской истории XX века, нашего общего прошлого. Изжить его негативные последствия – веление времени.

Иной взгляд на причину постигшей нас трагедии отражен в послесловии к этому двухтомнику.

Первый том «Доднесь тяготееет» выходит вторым изданием. Вносить какие-либо изменения в тексты уже ушедших авторов – а таких абсолютное большинство – мы не посчитали возможным.

Второй том печатается впервые.

В основание этой книги легли рукописи, хранившиеся в течение нескольких десятилетий. Поэтому первые слова благодарности – людям, которые с немалым для себя риском сохранили рукописи и доверили их мне.

Глубокая благодарность моим друзьям, помогавшим в работе над книгой и подготовке ее к изданию – Наталии Пирумовой, Владимиру Медведеву, Заяре Веселой, Фёдору Меркурову, Анатолию Кокорину, Татьяне Исаевой, Владиславу Матусевичу, Александру, Кириллу и Александре Мордвинцевым, Эльге Силиной, Людмиле Новиковой, Кларе Домбровской, Галине Аتماшкиной и тем, с чьей помощью стало возможным издание двухтомника «Доднесь тяготееет» – академику РАН, академику РАМН Андрею Воробьёву; Фонду Герцена и Фонду Ланда (Голландия); профессору Флорентийского университета Франческе Фичи (Италия).

Предисловие к первому изданию

Авторы этого сборника – женщины, в разные годы находившиеся в заключении (кроме Вероники Знаменской) и реабилитированные после XX съезда партии. Почти все вошедшие в сборник материалы (в основном это – фрагменты из воспоминаний) ранее не публиковались. Они переданы издательству «Советский писатель» с согласия их авторов или, когда речь шла о посмертной публикации, с согласия тех, кто сохранил эти рукописи. В числе таких душеприказчиков – и сам составитель сборника.

О рукописях, публикуемых посмертно, следует сказать особо.

Не рассчитывая на свое долголетие, авторы передавали произведения, порой незавершенные, друзьям, родственникам; потом, случалось, дописывали эти произведения, редактировали, и доработанные рукописи оказывались у старых или находили своих новых хранителей, перепечатывались полностью или частично. За исключением краткого периода хрущевской оттепели, произведения, в которых отражалась сторона жизни, не освещенная подцензурной литературой, квалифицировались карательными органами как «клеветнические, порочащие советский государственный строй» – со всеми вытекающими для тех, у кого их изъяли, последствиями. В таких условиях судьбы преследуемых произведений складывались по-разному, иные из них приобрели почти фольклорную многовариантность. Поэтому нельзя исключить возможность текстуальных расхождений между рукописями произведений, публикуемых здесь посмертно, и рукописями, хранящимися у других лиц.

Почти все авторы сборника из «набора» тридцатых годов. Здесь они говорят о себе, но больше – о судьбах своих товарищей, узников тюрем и лагерей. В этом сопереживании, в противостоянии бездушной разобщающей системе – нравственная сила.

«Чудовищная селекция сталинщины, – пишет в своих воспоминаниях Вера Шульц, – казалась, вывела новую породу людей: покорных, инертных, безынициативных, немых. Поэтому голоса тех уцелевших представителей поколения начала века, доносящих до нас идеалы истинной человечности через кошмары несправедливого суда, пытки и унижения, голод и невероятные лишения, должны быть услышаны современниками».

К сожалению, нельзя было представить читателю воспоминания полностью: тогда сборник превратился бы в книгу, где под одним переплетом соседствуют крупные по объему произведения двух-трех неизвестных авторов.

Но таких неизвестных авторов – много, и одна из целей задуманного издания – обнародовать фрагменты из их рукописей с тем, чтобы привлечь внимание к этим произведениям. Отбор материала определялся в значительной мере тюремным и лагерным опытом составителя.

Почти обо всех авторах рассказывают их друзья – в большинстве своем люди иной судьбы. Их воспоминания раздвигают рамки этой книги.

Первая попытка издать сборник, хотя бы частично состоящий из произведений репрессированных, была предпринята составителем четверть века назад.

В 1963 году в Магаданском издательстве вышел сборник «Ради жизни на земле». Мало кто знал, что в последний момент было приказано исключить из него произведения авторов, «не прописанных на Колыме», – в том числе и тех, кто покоится на колымских лагерных погостах. Для редактора сборника Николая Козлова, тогдашнего секретаря Магаданского отделения Союза писателей, это обернулось тяжелым нервным расстройством; его привезли в Москву как страдающего «манией борьбы за справедливость».

Мы свыклись с тем, что наиболее значительные произведения, важные для осознания нашего прошлого и настоящего, впервые выходят в свет не в книжных издательствах, а исключительно в журналах.

И вот издательство «Советский писатель», ломая эту практику, порожденную гражданской вялостью, выпускает сборник, почти целиком состоящий из непечатавшихся произведений. Двадцать три автора – и чуть не вся география ГУЛАГа!

Всё, вошедшее в сборник, написано давно – без внутреннего цензора и без надежды на скорую публикацию.

...От незапираемых камер «социалистического корпуса» Бутырской тюрьмы, в которых содержались эсеры, меньшевики, анархисты, до «раскулачивания», до колымских лагерных «командировок для партактива», где гибли большевики, – у всего этого своя история и предыстория.

Собранные здесь воспоминания показывают поставленное на поток производство «врагов народа» и «социально опасных», тюрьмы, лагеря, ссылку. Многие из них начаты, а некоторые и завершены втайне, за колючей проволокой. И цена им была – жизнь.

Семен Виленский. 1988 год

ОЛЬГА АДАМОВА-СЛИОЗБЕРГ



Я родилась в 1902 году в Самаре. Мои родители были портные высокой квалификации. Они были из лучших в Самаре, шили на жену губернатора, местную знать. Поэтому мы жили безбедно.

Я в восемь лет поступила в частную гимназию, содержавшуюся на средства Нины Андреевны Хардиной. Ее отец, присяжный поверенный Хардин, вошел в историю, потому что в годы ссылки в Самару Владимир Ильич Ленин был его помощником, часто бывал у него в доме и дружил с его дочерью Ниной Андреевной. После смерти отца, получив в наследство большую сумму, она построила женскую гимназию. Многие учителя были из ссыльных революционеров, некоторые девочки учились бесплатно, как потом я узнала, их родители были репрессированы царским правительством.

После революции, когда пошли слухи, что Ленин – немецкий шпион, приехал из-за границы в plombированном вагоне и тому подобное, Нина Андреевна вошла к нам в класс и сказала:

– Слушайте, девочки, внимательно. Я не согласна с Лениным по вопросу об Учредительном собрании, но за одно могу ручаться: Ленин абсолютно порядочный человек и не может быть немецким шпионом.

Так я впервые услышала от Нины Андреевны о Ленине.

После Октябрьской революции женские школы были соединены с мужскими, всякое учение прекратилось, начались бурные романы.

В нашей гимназии до седьмого класса (я в 1917 году перешла в шестой класс) мы остались учиться по-старому.

В Самаре комиссаром просвещения был в то время старый большевик В. А. Тронин, бывший учитель словесности в реальном училище. Он потом женился на моей старшей сестре, и я с ним очень дружила. Он мне рассказал, что Нина Андреевна написала Ленину письмо, где она просила дать ее ученицам с пятого по седьмой классы возможность окончить гимназию. Ленин прислал В. А. Тронину письмо (которое я потом читала), где он сообщал, что давно не общался с Хардиной, не знает, что из себя представляет ее гимназия, но, если Тронин считает, что можно удовлетворить ее просьбу, – ему было бы это приятно. Таким образом я в 1919 году окончила гимназию Хардиной. Когда группа девочек, окончив гимназию, поехала в Москву учиться, Нина Андреевна дала нам письмо к Ленину. С вокзала мы пошли в Кремль и сказали охране, что у нас письмо к Ленину.

Нам велели подождать, письмо передадут. Мы уселись на травку (где теперь Мавзолей) и ждали с полчаса. К нам вышел какой-то молодой человек и сказал:

– Идите в «Националь», вам дадут комнату, а в университет вас примут по дипломам гимназии.

Мы пошли. В «Национале» сначала сказали, что ничего о нас не знают, но в это время зазвонил телефон, и нам объявили, что звонят из секретариата Ленина и нам дадут комнату. Девочки поселились там, а у меня в Москве была тетка, которая ждала меня, и я стала жить с ней. Я училась и работала в Москве.

В 1928 году я вышла замуж за Закгейма, доцента университета.

Это был исключительно эрудированный и способный биолог, читал он историю естествознания. Совсем недавно, в 1987 году, я получила в подарок фотокарточку. Он был снят с группой студентов в 1934 году. На карточке была выцветшая за полвека надпись: «Наш любимый учитель». Все, кто у него учился, помнили его очень долго.

У меня была хорошая семья: любимый муж, двое детей – четырех и шести лет, интересная работа. Все это было разбито арестом в 1936 году по совершенно непонятному обвинению. В 1956 году мы были реабилитированы «за отсутствием состава преступления», муж, увы, посмертно.

Сейчас мне 86 лет. Благодаря моим родителям, брату и сестрам мои дети выросли, получили хорошее образование. Я живу в семье, которая обо мне заботится, окруженная детьми, внуками и правнуками. Сейчас в моей семье 16 человек, я ни в чем не нуждаюсь. Но как грустно думать, что самое золотое время жизни я провела в заключении, а муж мой умер в 37 лет.

Я иногда думаю; что же было самое значительное в моей жизни? И прихожу к выводу: до ареста у меня была стандартная жизнь беспартийной интеллигентной советской женщины. Я не отличалась особой активностью в общественных делах, добросовестно работала. Основные интересы были в кругу моей семьи. И вот, когда жизнь моя была разрушена, во мне пробудилось страстное желание бороться с несправедливостью, так уродующей любимую мною жизнь. Я решила выжить, донести до людей все, что я узнала за тюремной решеткой.

Отсюда мои записки, начатые еще в 1946 году, не раз зарытые в землю в бутылках и снова вырытые, продолженные в эпоху застоя без надежды увидеть их напечатанными.

Сейчас, когда правда о «врагах народа» раскрыта, когда в обществе растет интерес и сочувствие к нашей судьбе, я счастлива, что в этом разоблачении есть и моя доля.

Это лучшее, что я сделала в жизни.

Ольга Адамова-Слиозберг. 1988 год

ПУТЬ

ЩЕПКА

В 1935 году я взяла к детям няню. Это была работящая, чистоплотная женщина тридцати лет, очень замкнутая. У меня не было привычки внимательно присматриваться к внутренней жизни домработницы. Общее впечатление было, что она туповата, равнодушна, с детьми не очень ласкова, скупа и прижимиста, но исполнительна и честна.

Мы прожили с Марусей бок о бок целый год, были друг другом довольны, и я ничего не знала о ее жизни.

Однажды, во время обеда, Марусе подали письмо. Прочитав его, она изменилась в лице, легла на свою постель и сказала, что у нее очень болит голова.

Я почувствовала, что у Маруси случилось горе. Отправив детей гулять и оставшись с Марусей наедине, я стала расспрашивать ее.

Сначала Маруся не отвечала и лежала лицом к стене, а потом села на кровати и хриплым злым голосом закричала:

— Знать хотите, что со мной?! Извольте, только не прогневайтесь. Вот вы говорите, жить у нас хорошо стало. А я вот жила с мужем не хуже вашего, детей у меня было трое, получше ваших. Своим горбом дом наживала, скотину выхаживала, ночи не спала. Муж на все руки был: валенки валял, шубы шил. Дом был полная чаша. Работницу

держали, так ведь это не зазорно было, не запрещено! Вот вы же держите работницу, ну и я держала в доме старуху, матери в помощь, а в поле сама спину гнула. Только в тридцатом году зимой поехала я в Москву к сестре, а в это время наших начисто раскулачили, мужа – в лагерь, мать с детьми – в Сибирь. Мать мне письмо прислала – при- тулись как-нибудь в Москве, может, поможешь чем, а здесь хозяйства никакого, заработать негде, с ребятами в землянке мучаюсь. Ну, я с тех пор по домработницам хожу, что заработаю – все им посылаю, а вот пишут – умерли мои дети...

Она протянула мне письмо. Писала соседка: «От мужика твоего три месяца ничего нет, слышали – канал роет. Дети твои с бабкой жили, всё хворали. Землянка сырая, ну и питанья мало. Ну ничего, жили. Мишка твой с моим Ленькой дружил, хороший парень был. А только начала валить ребят скарлатина, мои тоже все переболели, еле выходила, а твоих бог прибрал. Мать твоя как без ума, не ест, не спит, все стонет, наверное, тоже скоро умрет».

– По-вашему, справедливо это?.. Разорили, угнали... Умерли мои деточки, кровиночки...

В этот вечер я никак не могла дождаться мужа. Он был доцент университета, биолог, и с моей точки зрения умнее и учение его не было на свете человека.

Страшная тяжесть давила мне сердце. Мир ясный, понятный и благополучный заколебался. Чем же виновата Маруся и ее дети? Неужели наша жизнь, такая чистая, трудовая, ясная, неужели она стоит на страданиях и крови?

Пришел муж, как всегда приятно возбужденный после лекции, с радостным чувством хорошо поработавшего человека перед отдыхом в кругу любимых людей. Дети бросились на него, вскарабкались на спину. Ничего на свете я не любила больше вида своих визжавших от радости ребят, штурмующих широкую спину отца. Но сегодня я, перехватив Марусин мрачный взгляд, вызвала мужа в другую комнату и взволнованно рассказала ему обо всем. Он стал очень серьезен.

– Видишь ли, революция не делается в белых перчатках. Процесс уничтожения кулаков – кровавый и тяжелый, но необходимый процесс. В трагедии Маруси не все так просто, как тебе кажется. За что ее муж попал в лагерь? Трудно поверить, что он так уж невинен. Зря в лагерь не попадают. Подумай, не избавиться ли тебе от Маруси, много темного в ней... Ну, я не настаиваю, – прибавил он, видя, как изменилось мое лицо, – я не настаиваю, может быть, она и хорошая женщина, может быть, в данном случае допущена ошибка. Знаешь, лес рубят – щепки летят.

Тогда я впервые услышала эту фразу, которая принесла так много утешения тем, кто остался в стороне, и так много боли тем, кто попал под топор...

Он еще много говорил об исторической необходимости перестройки деревни, об огромных масштабах творимого на наших глазах дела, о том, что приходится примириться с жертвами...

(Я потом много раз отмечала, что особенно легко с жертвами примиряются те, кто в число жертв не попал. А вот Маруся никак не хотела примириться...)

Я ему поверила. Ведь от меня-то все эти ужасы были за тысячу верст. Ведь я-то жила в своей семье, в мире, который казался непоколебимым. Надо было поверить, чтобы чувствовать себя хорошим и нужным человеком. Да ведь я и привыкла ему верить, он был честен и умен.

А Маруся продолжала нянчить моих детей, хлопотать по хозяйству и только иногда, чистя картошку или штопая чулок, неподвижно глядела в стену, и руки у нее опускались, а у меня в душу закрадывался червь сомнения...

Но я быстро себя успокаивала: лес рубят – щепки летят.

НАЧАЛО КРЕСТНОГО ПУТИ

И свет не пощадил,
и Бог не спас.

В одну обыкновенную субботу я вошла в свой дом, полная мыслей о том, как я проведу воскресенье, о том, как обрадуется дочка кукле, которую я ей несу, как будет восторгаться сын слоном, которого завтра я ему покажу в зоопарке.

Я всегда говорила, что не обольщаюсь, как другие матери, и вижу недостатки своих детей. Но я лгала. В глубине души я считала, что таких умных, красивых, обаятельных детей, как у меня, не было ни у кого на свете.

Я отворила дверь. Меня поразил чужой запах сапог, табака.

Маруся сидела среди полного разгрома и рассказывала детям сказку. Груды книг и рукописей валялись на полу. Шкафы были открыты, и оттуда торчало всунутое наспех белье. Я ничего не поняла, мне даже в голову не пришло ни одной мысли, только страшное предчувствие несчастья оледенило душу. Маруся встала, загораживая детей, и тихим, странным голосом сказала:

– Ничего, не убивайтесь!

– Где муж, что случилось? Он попал под машину?

– Неужели вы не понимаете? Забрали его.

Нет, со мной, с ним этого ведь не могло случиться! Ходили какие-то слухи (только слухи, ведь это было начало 1936 года), что-то произошло, какие-то аресты... Но ведь это относилось совсем к другим людям, ведь не могло же это коснуться нас, таких мирных, таких честных людей...

– Как он?

– Сидел бледный, передал часы для вас, сказал, что все выяснится, чтобы вы не волновались. Детям сказал, что уезжает в командировку.

– Да, да, конечно, выяснится! Ведь вы знаете, Маруся, какой он честный, какой он хороший человек!

Маруся горько усмехнулась и посмотрела на меня:

– Эх вы, образованная! А не понимаете! Кто туда попал, не вернется.

Но я верила в справедливость нашего суда. Муж вернется, и этот гнусный запах, этот пустой дом – останутся страшным воспоминанием.

А потом потянулось странное время: дети ничего не знали. Я играла с ними, смеялась, и мне казалось, что ничего не произошло, что мне приснился дурной сон. А когда я выходила на улицу, шла на работу – я глядела на людей как из-за стеклянной стены, невидимая преграда отделяла меня от них. Они были обыкновенные, а я обреченная. Знакомые говорили со мной особенными голосами, и они боялись меня. Переходили на другую сторону, заметив меня. Были и такие, которые оказывали мне подчеркнутое внимание, но это было геройство с их стороны, и они и я это знали.

Один старый человек, член партии с 1903 года, пришел ко мне и сказал:

– Устройте свои дела, может быть, вас тоже арестуют. И помните, на вопросы отвечайте, а лишнего не болтайте, каждое лишнее слово повлечет за собой длинный разговор.

– Но ведь он совершенно невинен! Почему вы мне даете такие советы? Вы, большевик! Значит, вы тоже не верите в справедливость нашего суда? Вы недостойны партбилета!

Он посмотрел на меня и сказал:

– Запомните мои слова, а по существу поговорим через год.

Я считала ниже своего достоинства прислушиваться к его советам и старалась жить так, как будто ничего не случилось.

В это время проходил съезд стахановцев шетинно-щеточной промышленности. Когда мы съехались в Витебске, оказалось, что работники этой промышленности встретились впервые со дня создания советской власти. Встреча показала, что в Ташкенте изобретают

машину, которая уже десять лет работает в Невеле, что технология, принятая в Усть-Сысольске и дающая блестящий эффект, и не снилась минчанам.

Это была веселая, эффективная и благодарная работа. Я была секретарем съезда, работала целыми днями, забывала, что, приехав в Москву, опять попаду в пустую квартиру и опять буду носить передачи в тюрьму...

На другой день после возвращения в Москву за мной пришли.

Смешно сейчас вспомнить, но первой мыслью было: все материалы съезда у меня, съезд стоил пятьдесят тысяч рублей. Вся работа в набросках, все пропадет, никто не разберет моих записей.

Пока длился четырехчасовой обыск, я приводила в порядок материалы съезда. Я не могла всерьез осознать, что жизнь моя кончена, и я боялась думать о том, что у меня отнимают детей. Я писала, клеила, приводила в порядок материалы, и, пока я писала, мне казалось, что ничего не случилось, что я кончу работу и передам ее, а потом мой нарком мне скажет: «Молодец, вы не растерялись, не придали значения этому недоразумению!» Я сама не знаю, о чем я в это время думала, инерция работы, а может быть, смятение от испуга были так велики, что я трудилась четыре часа точно и эффективно, как у себя в кабинете наркомата.

Проводивший обыск следователь наконец надо мной сжалился:

— Вы бы лучше простились с детьми! — сказал он.

Да... проститься с детьми... Ведь я расстаюсь с ними. Может быть, надолго... Нет. Это выяснится, этого не может быть...

Я вошла в детскую. Сын сидел в постельке. Я ему сказала:

— Я уезжаю в командировку, сыночек, оставайся с Марусей, будь умным.

Губки его искривились:

— Как странно! То папа уехал в командировку, теперь ты уезжаешь, а вдруг уедет и Маруся — с кем же мы останемся?

Я поцеловала его худенькую ножку.

Дочка сладко спала и посапывала, уткнувшись носом в подушку. Я ее перевернула. Она засмеялась и что-то пролепетала.

Первый раз в жизни я поняла, что это значит, когда слезы душат. Я никак не могла вздохнуть, но до сих пор с гордостью вспоминаю, что не показала сыну своего горя.

Мы вышли из дома.

Закрылась дверь. Сели в машину. Сразу кончилась жизнь обыкновенная, человеческая, жизнь жены, дочери, матери, работника. Иногда мелькали в мозгу по инерции какие-то заботы... Что-то недоделано,

что-то надо исправить... Я хотела замазать окно. Дует. Сын простудится... Нет, не то. Что-то важное. Мама! Я все скрывала от нее опасность, которая надо мной нависла. Я ее утешала выдуманными сведениями о муже. Теперь она узнает...

Я не обняла ее, когда прощалась в последний раз, все откладывала разговор с ней, чтобы подготовить ее... Нет, не это самое главное. Что-то я недоделала... Я хотела идти к Сталину, добиться свидания с ним, объяснить ему, что муж мой невинен... Нет, не то... Что-то я еще не сделала...

Все. Отрезано прошлое. Я одна против огромной машины, страшной, злой машины, которая хочет меня уничтожить.

ЛУБЯНСКАЯ ТЮРЬМА

Камера во внутренней тюрьме на Лубянке напоминала номер гостиницы. Натертый паркет. Большое окно забрано щитом. Пять кроватей заняты, шестая – пустая. В углу – параша. В двери прорезано окошечко и глазок.

Ввели меня ночью, когда в камере все спали. Мне указали кровать. Лечь на нее казалось мне столь же немыслимым, как уснуть на раскаленной плите. Мне хотелось скорее поговорить с соседками, узнать от них, как проходит следствие, что мне предстоит. Я еще не научилась терпеть молча. Никто ко мне не обратился, все повернулись к стене от света и продолжали спать. Я сидела на постели, а ночь тянулась, а сердце разрывалось...

До подъема было еще два часа, но я их никогда не забуду.

Наконец в шесть часов в дверь стукнули: подъем.

Я вскочила, уверенная, что меня сегодня же вызовут, все объяснится, я докажу, что я и мой муж не виноваты, я сумею убедить, что у меня нельзя отнять детей, что я чиста...

Первая истина, которую я усвоила, гласила: главное в тюрьме – научиться терпению. Меня вызовут или сегодня, или через неделю, или через месяц, но никто никогда ничего мне не объяснит.

Когда я усвоила это (первые два-три дня я каждую минуту ожидала, что меня вызовут, а вызвали меня только на пятый день), я начала оглядываться вокруг и знакомиться с соседями. На Женю Быховскую я обратила внимание из-за заграничного, черного с красной отделкой, платья.

«Вот это уж, наверное, настоящая шпионка!» – подумала я, видя, как она моется заграничной губкой и надевает какое-то необыкновенное белье. Лицо Жени портил нервный тик.

«Ага, попалась, — подумала я — Я-то не прихожу в отчаяние, у меня все выяснится, а ты попалась и не можешь совладать со своим лицом, вот и гримасничаешь».

Как потом я узнала, Женя работала в подполье в фашистской Германии и уехала оттуда потому, что тяжелая болезнь, сопровождавшаяся неожиданными обмороками, не позволяла ей оставаться в подполье. Один раз она потеряла сознание на улице, имея при себе партийные документы. Ее спас врач-коммунист, к которому она случайно попала. В 1934 году ее отправили лечиться в СССР, а в 1936 году она была арестована. Одним из главных мотивов обвинения было то, что она слишком уж легко ускользала от гестапо, особенно в случае с обмороком, очевидно, она имела там связь.

Всего этого я не знала и смотрела на нее с отвращением и злорадством.

Мне было легче думать о себе, сравнивая себя с «настоящими» преступниками. Я казалась себе рядом с ними такой ясной, такой чистой, что не только умный и опытный следователь, к которому я попаду, но ребенок увидит это.

Моя соседка справа, Александра Михайловна Рожкова, была милостивой женщиной лет тридцати пяти. Она уже имела срок — пять лет, три года пробыла в лагере, и теперь ее привезли на переследствие по делу мужа-троцкиста, которого связывали с убийством Кирова.

Александра Михайловна каждое утро озабоченно стирала, сушила и пришивала к блузке белый воротничок, так как ожидала, что ее вызовут на допрос.

Она мне рассказывала о лагере, в котором ей жилось неплохо, потому что она работала врачом, и упомянула в разговоре о своем сыне, однолетке с моим, оставшемся у подруги.

— Как! У вас остался сын? Вы его не видели уже три года!

...И эта женщина интересуется каким-то воротничком, спрашивает меня, что идет в московских театрах!

Я ужаснулась. Ведь я не прошла тогда лагерной жизни. Я имела глупость и жестокость сказать ей:

— Вы, наверное, не так любите своего сына, как я. Я не смогу прожить без него три года.

Она холодно посмотрела на меня и ответила:

— И десять выживете, и будете интересоваться и едой, и платьем, и будете бороться за шайку в бане и за теплый угол в бараке. И запомните: все страдают совершенно одинаково. Вот вы сегодня ночью стонали и вертелись на кровати и мешали спать соседям, а Соне (она помещалась напротив меня) десять ночей не давали спать,

допрашивали, только теперь дали отдохнуть одну ночь. А меня вы разбудили, и я до утра не могла заснуть и думала о своем сыне, которого я, по-вашему, не так люблю, как вы своего, и мне было очень тяжело.

Это был хороший урок. Я на всю жизнь запомнила, что всем одинаково больно, когда режут «по живому телу».

Соня, о которой Александра Михайловна говорила, что она не спала десять ночей, была хорошенькой двадцатисемилетней шатенкой, рижанкой. Судьба ее забросила в Берлин, где она вышла замуж за троцкиста Ольберга, тоже рижанина. Она разошлась с ним в 1932 году и с новым мужем, советским подданным, приехала в Москву. В бытность женой Ольберга она вела вместе с ним кружки русского языка для немцев-инженеров, которые ехали на работу в Москву. Всего через эти кружки прошло около ста человек. Это были безработные, просоветски настроенные люди, которые мечтали о России, как о земле обетованной. Они работали в России с 1932 года. Может быть, между ними и были шпионы и террористы, но меньше всего об этом знала Соня, однако она явилась главным свидетелем против них. Ее уже три месяца каждую ночь вызывали на допрос, держали у следователя до пяти часов утра, потом давали поспать один час, а днем не разрешали ложиться. Женщина она была безвольная, бесхарактерная, немудрая, и многого ей было не надо.

Ее убеждали несложными софизмами, которые ей казались неопровержимыми. Допросы шли примерно так:

– Ольберг был троцкистом?

– Да.

– На кружках он вел беседы?

– Да, для практики в русском языке.

– Будучи троцкистом, он не мог не освещать все события в троцкистском духе?

– Да.

– Троцкисты – террористы?

– Не знаю.

Удар кулаком по столу.

– Вы защищаете троцкистов! Вы сами троцкистка! Знаете ли вы, что я с вами сделаю? Вы будете счастливы, когда вас наконец расстреляют! Ваш муж (речь шла о втором, любимом муже) будет арестован за связь с вами. Советую лучше вспомнить, что вы были комсомолкой, и помогать следствию. Итак: троцкисты – террористы?

И Соня подписывала.

– Да.

А потом начинались очные ставки с немцами, которые проходили так: ее вводили в кабинет следователя, где сидел очумевший и мало что понимающий Карл или Фридрих. Он бросался к ней и говорил:

– Фрау Ольберг, подтвердите, что я только учился русскому языку в вашем кружке!

Следователь ставил вопрос:

– Вы подтверждаете, что Карл (имярек) был участником кружка Ольберга?

Соня отвечала:

– Да.

Карл подписывал: «Да».

Очная ставка кончалась, успокоенный Карл шел в свою камеру и не знал, что подписал себе смертный приговор. Соня возвращалась в камеру заплаканная и говорила:

– Вот семидесятый человек, на которого я дала ложное показание, но я ничего не могла поделать.

С ней справиться было легко.

Жене Гольцман было тридцать восемь лет. Она вступила в партию в первые дни революции.

Муж ее, писатель Иван Филипченко, был воспитанником Марии Ильиничны Ульяновой и в семье Ульяновых был своим человеком. Он разделял их нелюбовь к Сталину. По этому вопросу у Жени с ним были бесконечные столкновения и споры, приводившие Женю в отчаяние, потому что только два человека на свете для нее были дороже жизни: муж, который ввел ее в революцию и которого она считала честнейшим коммунистом и талантливым писателем, и Сталин, перед кем она преклонялась.

После ареста Филипченко Женю сразу не арестовали, а только вызвали на допрос, а потом арестовали и стали вызывать на допросы каждый день. Она приходила с допросов мрачная, никогда не рассказывала в камере ни о чем. Когда мои соседки обучали меня, как держаться на следствии, учили, что много говорить не надо, а то так запутаешься, что и не вылезешь, советовали следить, как следователь записывает твои ответы, а то подпишешь совсем не то, что говорила, Женя резко их останавливала и говорила мне:

– Помните, что, если вы советский человек, вы должны помогать следствию раскрыть ужасный заговор. Часто то, что кажется незначительным, дает в руки следствия нить. Вы должны говорить всю правду и верить, что невинных не осуждают.

Но однажды Женя вернулась со следствия вся в слезах, с красными пятнами на лице и потребовала бумаги для письма Сталину. В этот

день она не выдержала и поделилась со мной тем, что с ней происходило. Женя не только мне советовала говорить всю правду на следствии, но и сама считала своим партийным долгом не скрывать ничего от следователя. Таким образом, она передала все высказывания Филиппченко о Сталине, а также и все, что о Сталине говорилось в Горках. За Женю ухватились. Ей дали очень квалифицированного следователя, который сначала обращался с ней как с членом партии, взывал к ее партийной совести, а потом, получив все интересующие его высказывания Филиппченко, скомпоновал их и составил последний протокол в том смысле, что Филиппченко собирался убить Сталина. Вот этот-то последний протокол Женя не подписала. Да, Филиппченко считал, что страна вздохнет, когда Сталин умрет, и говорил «чтоб ему сгинуть», но совершать теракт он не собирался.

Теперь, когда все показания на Филиппченко были Женей уже подписаны, следователь переменял тактику, стал ее ругать, кричать на нее и даже бить. Женя была этим потрясена и целыми днями писала письма Сталину об извращениях на следствии.

Филиппченко, конечно, был обречен, независимо от того, подписала бы Женя последний протокол или нет, но ее убивала мысль, что ему покажут ее показания и он умрет в убеждении, что она его предала. И вот, подписав добровольно все предыдущие показания, она боролась, чтобы не подписать этот последний протокол. Ее тоже стали вызывать по ночам, а днем не давали спать, сажали в карцер. Потом вдруг ее оставили в покое, а через несколько дней кто-то простучал в стенку, что Филиппченко расстрелян и просил передать товарищам, что он умирает честным коммунистом. Женя была убита. Кроме ужаса совершившегося, ее терзало то, что он не передал приветов ей. Значит, он знал, что она дала на него эти страшные, формально правдивые, а по существу ложные показания.

ЗИНА СТАНИЦИНА

Пятой обитательницей камеры была Зина Станицина, девушка 28 лет. До ареста она жила в Горьком, преподавала математику в вузе.

Я спросила, в чем ее обвиняют, и она сказала мне, что арестована справедливо, она очень виновата.

— Что же вы сделали? — спросила я.

— Я не сумела разгадать одного нашего преподавателя. Он жил в Москве, приезжал в Горький раз в неделю читать лекции по диамату. Со мной он был откровенен и о многом говорил весьма критически. Мне это казалось признаком большого ума и заботы о Родине.

Он ночевал в студенческом общежитии, а вещи свои оставлял у меня на квартире. Там же он принимал товарищей, которые к нему заходили. Я удивлялась тяжести его чемоданов. Он говорил, что там книги, но на следствии показал, что он троцкист, что в чемоданах была троцкистская литература и приходили к нему товарищи по оппозиции. Таким образом, выходило, что у меня была явочная квартира.

Я слушала Зину с уважением, она была принципиальна и безжалостна к себе. Но дальнейший ее рассказ поверг меня в удивление.

— Я решила понести наказание и не оставить ни малейшего пятна на своей совести. Я вспомнила, что у нас для преподавателей математики читал лекцию профессор Н. (фамилию не помню). Как-то раз, когда он на доске доказывал теорему, погасло электричество. Ламп и свечей не было. Я расщепила линейку и зажгла лучину. Профессор закончил доказательство при лучине и сказал: «Жить стало лучше, жить стало веселей, слава богу, до лучины докатились!» Это была явная насмешка над Сталиным, дискредитация его.

— И вы сообщили это следователю?

— Конечно!

— И не упрекали себя за его арест?

— Потом, когда у меня с профессором была очная ставка, стало как-то неприятно.

— Он признал свою вину?

— Сначала отрицал, а потом сказал, что совсем забыл этот случай, тогда не придавал ему значения.

— Но вы испортили жизнь человеку за такую малость!

— В политике нет малостей. Сначала я тоже не поняла всей преступности его реплики, а потом осознала!

Я была потрясена. В наш разговор вмешалась умудренная опытом Александра Михайловна Рожкова (ведь она уже 3 года была в лагере):

— Ну, главное — навести тень на человека, а потом, наверное, у него нашлись еще грехи! Был бы человек, а статья найдется!

Мне не захотелось больше разговаривать с Зиной, но в моей решимости помогать следствию и быть полностью откровенной образовалась трещинка...

СЛЕДСТВИЕ

Наглядевшись и наслушавшись, я несколько потеряла оптимизм, с которым готовилась доказать, что мой муж и я совершенно невиновны. Но все же я считала себя совсем другим человеком, чем мои соседи по камере, связанные с какими-то очень важными людьми, как-то втянутые в политическую борьбу.

Я – человек беспартийный, мой муж тоже, он занимается наукой. Может быть, и есть какой-то заговор, но почему я должна отвечать за него?

Я представляла себе следователя, умного и тонкого, как Порфирий из «Преступления и наказания», ставила себя на его место и была уверена, что он в два счета поймет, кто перед ним находится, и немедленно отпустит такого человека на волю.

Наконец меня вызвали.

Попала я к какому-то совсем захудалому следователю лет двадцати пяти. Кабинет был маленький, совсем не роскошный, наверное, днем здесь была канцелярия. В углу стояли две удочки, видно, мой следователь после ночной работы собирался ехать на рыбалку.

После первого допроса следователь записал: «Я признаюсь, что мой муж был троцкистом и у нас были троцкистские сборища».

Я написала – нет.

И вот так мы просидели всю ночь. Следователь говорил скучным голосом:

– Подумайте, признайтесь, – и смотрел на часы.

Через десять минут он снова ставил свой вопрос и говорил:

– Подумайте, – и снова смотрел на часы.

Пока я думала, он вставал, ходил по кабинету, несколько раз подходил к удочкам и что-то поправлял.

Так прошло три часа. Потом он стал задавать другие вопросы:

– Что вы слышали о смерти Аллилуевой? Отчего она умерла?

Я спокойно и уверенно ответила:

– Она умерла от аппендицита, я сама читала в «Правде».

Следователь стукнул кулаком по столу.

– Лжете! Вы слышали совсем другое! У меня есть сведения!

...И вдруг я с ужасом вспомнила, что месяца два тому назад я была в гостях у старого большевика Тронина, человека глубоко мною уважаемого. Один из гостей, Розовский, рассказывал, что Аллилуева застрелилась после того, как Сталин при гостях грубо ее оборвал, когда она заступалась за Бухарина. Этот Розовский (он был завмагом) был арестован до меня, мы думали, за какую-то растрату. Он, конечно, мог на следствии передать этот разговор о смерти Аллилуевой в моем присутствии.

Стало страшно. Тронин и его семья будут привлечены за распространение антисоветских слухов. И ведь ...«был бы человек, а статья найдется»... Да я ведь уже сказала, что не слышала никаких разговоров о смерти Аллилуевой. А Розовский, может быть, об этом и не говорил на следствии.

Я повторяла:

— Я читала в «Правде», она умерла от аппендицита, — а сама тряслась от страха, ведь Розовский говорил о самоубийстве Аллилуевой, и я выгляжу лгуньей.

Наконец следователь сказал:

— Подумайте в камере. Учтите, что только чистосердечное признание дает вам шанс увидеть своих детей. Упорное запирательство характеризует вас как опытного политического борца. Идите и думайте.

Я вернулась в камеру в половине шестого. Александра Михайловна и Соня говорили, что по всем признакам меня рассматривают как очень мелкого преступника и я получу от трех до пяти лет. Женя говорила, что меня освободят. По этому поводу спорили, а я внутренне оледенела, впервые поняв реальную возможность того, что меня могут осудить и я потеряю детей.

Я снова стала желать, чтобы меня вызвали и я смогла доказать, что невиновна. Но мысль о Розовском и его версии смерти Аллилуевой меня не оставляла. Я не спала все ночи, дрожа от страха.

Через две недели меня действительно вызвали, и все повторилось вплоть до удочек, которые занимали следователя, а мне действовали на нервы. Но разговора о Розовском не было, и я поняла, что он ничего обо мне не говорил.

Через два месяца меня вызвали в третий раз, и следователь показал мне протокол, подписанный рукой моего мужа, где на вопрос, был ли он троцкистом, муж ответил: «Да».

— Этого не может быть! — воскликнула я. — Это неправда!

— Это, конечно, правда, но уж и помучил он нас, пока добились от него признания!

При этом следователь как-то криво усмехнулся, и я поняла, что мужа моего били, истязали, если он подписал такую вещь. Я содрогнулась и в то же время почувствовала гордость за него, за то, что на меня-то он ничего не подписал, как его ни терзали.

И я поклялась себе, что ничего не подпишу ложного, как бы трудно мне ни было.

Опять я просидела шесть часов. На этот раз следователь кричал, стучал по столу кулаком, обзывал меня политической проституткой, обещал мне, что я никогда не увижу своих детей, что их отдадут в детский дом, чтобы изолировать их от влияния моей разложившейся семьи. (Этого я боялась больше всего потому, что в детских домах меняли детям фамилии, и их уже никогда нельзя было найти. Так говорили у нас в камере. Я думаю, что эти слухи распространяли сами следователи, чтобы нас еще больше запугать.)

И я опять вернулась в камеру, и опять ждала, но больше меня уже не вызывали.

Следствие кончилось.

Я была «разоблачена». Следователь составил материал для суда, в котором он доказывал, что я — преступница.

Этому человеку сейчас около пятидесяти лет. Где-то он живет. И я думаю, его даже совесть не тревожит — ведь он «выполнял свой долг»!

ДАР МАТЕРИ

В нашу камеру попали мать и дочь. Это был единственный случай, когда родных не разъединили по каким-то соображениям. Матери было семьдесят пять лет, дочери сорок. Мать — внучка сосланного в Сибирь декабриста, чистенькая, домовитая старушка, очень религиозная.

Внимательно поглядывала вокруг и только руками разводила. Выслушает какую-нибудь горестную повесть, пожмет плечами и скажет:

— Давайте-ка лучше чай пить с сухариками! Я посушила на батарее. — А сухарики аккуратно нарезаны ниткой (ножей ведь в тюрьме не бывает), хорошо высушены, посыпаны солью.

Дочка, Тамара Константиновна, — врач. Материнская порода чувствовалась во всем: внешне спокойная, всегда подтянутая. А выдержка ей была очень нужна; ей вменяли тяжелое преступление по 8-му пункту (террор). Следователь поклялся добиться ее признания и применял к ней весь арсенал своих средств. Ее запугивали, били, по пять-восемь суток она сидела в холодном карцере на хлебе и воде за грубость на следствии и запирательство. Вызывали ее каждую ночь, а днем ей не давали спать. Бывало, придет бедная Тамара Константиновна в восемь часов утра, сядет спиной к двери и сидя хочет поспать. Тотчас же окрик: «Не спать». Так она мучилась целыми днями. Мать и мы все ее загоразживали, а нас отгоняли.

После отбоя, только она ляжет, — лязг ключа и голос дежурного: «Собирайтесь на допрос».

При всей своей выдержке она менялась в лице, и слезы катились из глаз. А мать крестила ее и шептала:

— Мужайся!

Дело дочери оборачивалось плохо, несмотря на то что она не подписала ни одного протокола. Много было показаний на нее, бессмысленных, явно выбитых, но вполне достаточных, чтобы погубить ее, обеспечить ей 15 лет. (Их она впоследствии и получила.)

А мать почему-то решили отпустить. Почему так было — никто не знал. Пути следствия неисповедимы, но по целому ряду призна-

ков было ясно, что ее отпустят. И вот однажды вошел в камеру корпусной и вызвал нашу старушку с вещами. Мы поняли, что на волю. (Так оно и оказалось.) Милая наша старушка раздала в камере все свои вещи — кому расческу, кому зубную щетку, кому теплые носки. Дочери отдала все самое лучшее, а потом перекрестила ее и сказала: «Благословляю тебя материнским благословением и разрешаю, если очень плохо будет, наложить на себя руки. Не надо мучиться. Грех твой перед Богом беру на себя!» Тамара Константиновна целовала ее руку и плакала, а мать крестила ее, молилась, и такое чудесное, такое светлое было у нее лицо, точно дарила она дочери своей жизнь.

БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА В 1936 году

Через четыре месяца пребывания на Лубянке вечером в двери открылось окошечко и дежурный сказал:

— Слизберг, с вещами.

Женя подошла ко мне:

— Видите, я была права. Вы идете на волю. Я счастлива за вас. Помните о нас, оставшихся здесь.

Мы поцеловались. Женя была очень хороший человек. Она действительно радовалась, думая, что я иду на волю. А другие немного завидовали. Я это знаю по себе: и рада за товарища, если ему повезло, и как-то сердце за себя больше болит.

Жени Быховской уже не было в нашей камере, у нее кончилось следствие, и ее куда-то перевели.

Александра Михайловна была уверена, что я иду не на волю, а в другую камеру. Соня молчала.

Мы попрощались, и я вышла. Меня в сопровождении конвоира провели во двор и посадили в «черный ворон». Если кто-нибудь не знает, что это такое, я объясню: это зеленая* закрытая машина для перевозки заключенных. Внутри она разделена на одиночные купе, такие тесные, что люди с длинными ногами должны были их поджимать, а то прищемит дверью. В 1937 году эти машины были столь популярны, что в одной школе первоклассники на вопрос «Какого цвета ворон?» дружно ответили: «Зеленого».

Итак, меня засунули в одиночное купе. Я не могла видеть, куда мы едем, и вся дрожала. Где-то внутри еще теплилась глупая надежда,

* В 1936 году в Москве «черный ворон» был зеленого цвета. В 1949 году во время моего повторного ареста «черный ворон» выглядел иначе: на железном кузове было написано: «Хлеб», «Мясо». — *Прим. автора.*

что меня привезут домой и отпустят. «Ворон» остановился. Мы вошли во двор Бутырской тюрьмы.

Был лунный августовский вечер. В первом дворе было несколько больших лип, листья которых сверкали при луне. Я не видела деревьев всего четыре месяца, но сердце мое так мучительно сжалось, что я чуть не упала. Меня провели во второй двор, голый и мрачный, потом в тюремное здание, приняли дело в закрытом пакете, записали и повели в камеру.

Камера была огромная, сводчатые стены в подтеках, по обе стороны узкого прохода сплошные нары, забитые телами, на веревках сушились какие-то тряпки. Все заволакивал махорочный дым. Было шумно, кто-то ссорился и кричал, кто-то плакал в голос.

Я растерянно остановилась со своим чемоданом и узлом. Подошла беременная женщина, староста камеры.

— Не бойтесь, — сказала она. — Здесь почти все политические, как и вы. Я сама ткачиха с Трехгорки, Катя Николаева.

Мы поздоровались за руку.

— Лечь придется к параше, здесь такое правило для новеньких.

В углу стояла огромная деревянная вонючая параша. Около нее на нарах было свободное место. Я уже хотела устраиваться, когда заметила в противоположном углу камеры около окна два свободных места по обе стороны спящей женщины с длинными черными косами.

— А можно, я лягу около окна? — спросила я Катю.

Катя как-то замаялась, но ответила:

— Ну что же, ложитесь, только соседка там не очень хорошая.

Я подошла к окну и легла.

Соседка моя, Аня, видно, была мне рада. В это время принесли кипяток. У меня был сахар, печенье; я ее угостила. И начала расспрашивать о людях, лежавших на нарах, и Аня о каждом говорила что-нибудь очень плохое. По ее мнению, камера эта была сборищем преступников. Вдруг я заметила на противоположных нарах Женю Быховскую. За четыре месяца, что мы провели вместе, я успела ее полюбить, и от прежнего моего убеждения, что она шпионка, ничего не осталось.

— А знаете ли вы эту женщину? — спросила я у Ани.

— О, это подлая шпионка, такую я убила бы собственными руками.

После этого разговора я подошла к Жене, она по близорукости меня раньше не заметила, а когда узнала — расцеловала и пустила спать с собой. Я молча перенесла вещи от Ани и легла рядом с Женей. Аня злобно посмотрела на меня и осталась опять одна на трех местах.

— Что это за человек? — спросила я у Жени.

– Это бывшая жена Карева, он профессор, очень интересный человек. Он ее оставил и последние годы жил в Ленинграде. И тогда она из мести написала на него заявление, что он скрытый троцкист и двурушник. Его посадили, а заодно и ее за то, что раньше не сообщила о его грехах. Сейчас она пишет заявления на всех в камере, и с ней никто не разговаривает.

– Вас перевели сюда, значит, дело ваше кончено. Жаль. Я надеялась, что вас отпустят. Теперь ждите приговора. Для себя я меньше десяти лет не жду. Ну, у вас дело проще, наверное, отделаетесь пятеркой.

Когда Женя позвала меня лечь рядом с собой, соседка ее, Мотя, встретила меня приветливо. Она оттеснила двух своих соседок, Нину и Валю, приговаривая:

– Ничего, в тесноте, да не в обиде, видите, подружки встретились.

Благодаря Мотиному заступничеству образовалась щель сантиметров в сорок, куда я и влезла. Этого мне было вполне достаточно, но одно меня смущало: лежали мы как селедки, голова к голове, а на щеках у Моти были какие-то страшные черные пятна, вызывающие невольную брезгливость. Хотя Женя мне сказала, что они не заразные, я невольно старалась закрыть платком лицо. Мотя это заметила.

– Вы не бойтесь, – сказала она мне, – я не заразная, это я отморозила щеки.

Эти пятна Мотю очень огорчали и угнетали, она по целым часам делала себе массаж, которому ее выучила Нина, и спрашивала, бледнеют ли пятна: ведь зеркала у нас не могло быть.

Мотя была грамотная, но читать, как она выражалась, не приучена. Она меня жалела, что я по целым дням читаю.

– Да вы отдохните, – говорила она и очень удивлялась, когда я ее уверяла, что отдыхаю только с книгой.

Мотя же, если не возилась со своими щеками, целые дни лежала с закрытыми глазами и слушала разговоры Нины и Вали. Обе они были красивы и молоды, не старше 30 лет. Нина – жена крупного военного работника, Валя – жена секретаря обкома. Они очень подружились и целыми днями вспоминали о своей прежней жизни. Они забыли обо всем, что когда-то омрачало ее, о всех трудностях и горестях, которые, конечно, были. Им казалось, что Мотя спит, а она жадно прислушивалась и время от времени, обернувшись ко мне, шепотом сообщала свои наблюдения:

– А у Вали-то домработница была; свекровь дома сидела, и домработницу держали.

– Так ведь она работала, а дома ребенок.

– Ну, парню восемь лет, и бабка дома. Нет, просто избалованные!

В другой раз Валя рассказала какой-то смешной случай, как к ним пришел важный, но не желанный гость. Она спряталась от него в детской, а муж заперся и заснул в кабинете. Гость пил со свекровью чай, а потом вышел на балкон покурить, а муж, выйдя из кабинета, сказал: «Ну, ушел наконец, болтун!» Мотя посмеялась со всеми, ее черные узкие глазки хитро заблестели, и она мне сообщила на ухо:

– Четыре комнаты было.

– Почему четыре – детская, кабинет и общая – всего три.

– Нет, у свекрови отдельная была. Нинке она рассказывала... У Нинки три шубы было: котиковая, белая меховая и с собой здесь бостоновая с лисой. У Нинки любовник был!

– Откуда ты знаешь, она тебе рассказывала?

– Вале рассказывала. На курорте она одна была, без мужа, а он приехал, говорит, скучно без вас, город пустой! А муж тоже приехал. Так тот ночью сел на машину и был таков. Вот, одного мужика мало, еще любовник понадобился. Жили начальники!

– Да что ты всех начальниками зовешь? Может, я тоже начальником была?

– Нет, твой муж учитель. Это рабочий человек. А ихние – начальники.

Не любила она начальников! Надо сказать, что некоторые основания у нее для этого были: за свои восемнадцать лет она не раз сталкивалась с «начальниками», и каждый раз эти столкновения приносили ей немало горя.

Ей было двенадцать лет, когда кончилось ее мирное детство в селе близ Тарусы. Детство вспоминалось грибами и ягодами, плесканием по целым дням с ребятами в Оке, поездками в ночное, чудесной бабушкой, которая была первая песенница и сказочница на селе. Училась она легко и радостно, и учительница звала ее «Эдисончик».

– Больно я шустрая была к арифметике и еще что сообразить, приспособить. Печку электрическую починю, пробки прогорят – вставлю. Воду из ручья провела на школьный двор. Учительница очень меня любила, все звала: «Эдисончик, Эдисончик».

Эта жизнь кончилась в 29-м году, когда родителей Моти раскулачили и сослали с тремя детьми, из которых старшей была Мотя, на Северный Урал. Привезли их в сентябре в лес, выгрузили и велели строиться. Лил дождь со снегом, кричали бабы, плакали дети. Кое-как вырыли землянки, слепили печки. Скотины не было, кормить детей нечем. В первый же год умерла средняя девочка. Отец с матерью пошли работать на лесоповал, а Мотя оставалась за хозяйку.

– Скучно там, – говорила Мотя, – лето дождливое, короткое, зима лютая, школы не было. Мать с отцом работают с утра до ночи, а я братишку нянчу, печку топлю, воду из снега гоню, а в землянке сыро, грязно, дымно, а ребят по соседству мало, да все тоже с утра до ночи работают. Темнеет рано, керосину нет, сижу с лучиной да с коптилкой, а братишка все простужается да кашляет.

Так Мотя прожила до 1935 года, и исполнилось ей семнадцать лет, но паспорта ей не дали, как и всем раскулаченным. В доме было плохо, отец мрачный ходил, как туча. А мать и младший братишка все болели. Мотя стала с отцом на лесоповале работать, а мать дома с братишкой. А в 1935 году, после убийства Кирова, отец напился пьяный да и скажи: «Всех бы их, начальников, неплохо перебить, чтобы народ не мучили».

Ну, естественно, забрали отца, а мать все кашляла, кашляла, да в прошлую зиму оба с братом и померли.

– Так мне тошно стало, так скучно, что решила я к бабушке в село свое убежать. Паспорта не было, денег не было. Ранней весной в 1936 году собралась я. Две пары обуви себе приготовила, сухарей насушила и пошла пешком.

За три месяца Мотя прошла почти две тысячи километров. Ночевала по деревням, а то и в копне. Как-то, еще в начале пути, в лесу заночевала, уснула крепко да в утренние заморозки щеки и отморозила. Одни ботинки сразу же развалились, потом, если дорога была сносная, – шла босиком. По деревням где Христа ради кормили, а где подрабатывала. И дошла. Бабушка от страха и радости все плакала, кормила ее, ласкала, ноги теплым салом мазала, спала с ней в одной постели, на улицу не пускала – боялась... Да все равно узнали. Только и прожила она с бабушкой неделю, а потом пришли да и забрали.

– Ну, все равно я не жалею, что убежала. В лагере людей много, кино бывает, хуже не будет!

Да, бедная, милая Мотя! Тебе – хуже не будет, некуда.

Так я стала жить в камере № 105 и ждать приговора. Прожила я в ней три месяца; успела приглядеться и более или менее разобраться в ее обитателях.

На сто женщин нашей камеры была одна старуха эсерка, две грузинские меньшевички и две троцкистки. Все они ходили по тюрьмам и ссылкам от восьми до пятнадцати лет. Сейчас их привезли из политизоляторов на переследствие. Для этих людей вопрос отношения к правительству, и особенно к ГПУ, был давно решен: это были враги, с которыми нужно было бороться. Для троцкисток самым главным врагом был Сталин, которого они называли «папуля»

и спрашивали, издеваясь над нами: почему «папуля» вам не помогает, ведь вы его так любите?

Эсерка и меньшевички Сталина просто презирали и считали ту-пицей, а ненавидели Ленина, который, по их мнению, уничтожил демократию и тем открыл дорогу всякому беззаконию.

1937 год, с их точки зрения, был только деталью. Отчасти они ему были даже рады, потому что сбывались их самые мрачные предсказания.

Им было морально легче: все было ясно, все стояло на своих местах. Легче им было еще и потому, что они привыкли к тюрьме, втянулись в ее страшный быт. С волей у них уже оборвались связи, у них не было ни детей, ни родителей, а мужа их давно погибли или, как и они, странствовали по тюрьмам.

Обо всех городах они судили с точки зрения тюрьмы. Например: «Вам нравится Орел?» — «Что вы! Каменные поля и прогулочные огорожены высоким забором». — «А Самара?» — «Город неплохой, но в бане дают мыться всего пятнадцать минут».

Они умели отстаивать свои права, знали все законы, и тюремное начальство их побаивалось. Им сразу выписывали диетпитание, если они нуждались, направляли в больницу.

О политике они говорили как о деле совершенно ясном: революция погибла десять лет назад (меньшевички и эсерка говорили, что пятнадцать), страна идет к краху, и чем скорее он наступит, тем лучше.

Они смеялись, когда им рассказывали о глупостях, которые делают руководители хозяйства (я им не рассказывала, как в Ташкенте изобретали машину, которая десять лет работала в Невеле). Они были уверены, что, если разразится война, советская власть рухнет, как картонный домик.

Со скрытой радостью встречали они новые партии арестованных, особенно коммунистов, которые когда-то травили их, а теперь пришли разделить с ними тюремные нары.

Прислушиваясь к их разговорам, я заметила, что они очень плохо знают настроения советских людей, даже их быт. Да и откуда им было знать нашу жизнь, ведь они смотрели на нее из-за тюремной решетки.

Я смотрела на них, и мне так не хотелось попасть в их среду. Я боялась, что и моими воспоминаниями будут тюрьмы, а надеждами — хороший политизолятор с хорошей библиотекой и двориком для прогулок.

Кроме этих пяти женщин, все остальные девяносто пять человек уверяли, что они невиновны. Только некоторые, наиболее выдержанные партийки воздерживались от рассказов о своих «делах», осталь-

ные же испытывали непреодолимую потребность говорить, рассказывать, советоваться, спрашивать мнения о том, что их ожидает.

Очень многих просто оговорили, другие же были «виноваты», но не знали об этом. Ведь никому в голову не приходило, что рассказать или выслушать анекдот, который знает вся Москва, называется совершить преступление по статье 58, пункт 10, то есть вести агитацию против советской власти, караемую лишением свободы до десяти лет. Никто не думал, что если муж, делясь с женой, ругает, предположим, Кагановича, или Молотова, или, не дай бог, Сталина, то жена обязана сообщить об этом в ГПУ, в противном случае она совершает преступление по статье 58-12 (недонесение) и ей грозит лишение свободы до восьми лет.

Никто не считал также преступлением знакомство с бывшими оппозиционерами: раз им разрешено жить и работать в Москве, а многие из них даже восстановлены в партии, почему я не могу с ними общаться?

Вначале я пыталась не доверять горестным повестям, которые мне рассказывали. Ведь если все так же невиновны, как я, — значит, произошло ужасное вредительство. Значит, лгут газеты, лгут речи вождей, лгут судебные процессы. Нет, этого не может быть! Где-то там, в одиночных корпусах, в мужских камерах, сидят эти проклятые заговорщики, из-за которых так все смешалось, что теперь нельзя отличить правого от виновного. Но в каждом отдельном случае я не могла не верить людям. Я не могла не верить, когда старуха Пинсон рассказывала об очной ставке с Муратовым:

— Я потребовала с ним очной ставки. Меня ввели в кабинет следователя. Там сидел какой-то седой старик с бегающими глазами. Только когда он заговорил, я поняла, что это был Муратов (Муратову было тридцать три года). Я бросилась к нему: «Андрей Алексеевич, скажите, что все это неправда, что ни в какой террористической организации я не была». И вдруг, можете себе представить! Он мне говорит: «Ах, Софья Соломоновна, довольно запыраться! Я уже признался, что мы с вами хотели убить Кагановича. Я советую вам тоже признаться». Вы можете себе представить? Я хотела убить Кагановича! Когда я курицу не могу убить, так я могу убивать Кагановича!

Я не могла не верить Жене Волковой.

Ее как отличницу из Горького послали в Москву на первомайскую демонстрацию. В Горьком она имела несчастье состоять в снайперском кружке и хорошо стреляла. На нее был донос, что на демонстрации она должна была убить Сталина. Стрелять она умела только из винтовки, а как можно пронести винтовку на демонстрацию —

совершенно непонятно. Женя целыми днями плакала и боялась за маму, у которой плохое сердце. Политикой она совершенно не интересовалась и считала самым трудным предметом диамат, потому что преподаватель требовал, чтобы студенты читали газеты. Интересовалась она музыкой, учебой и одним мальчиком, очень идейным комсомольцем, который будет теперь «меня презирать потому, что за Родину он готов отдать жизнь, а про меня скажут, что я изменница».

Я не могла не верить Софье Соломоновне или Жене, потому что видела их глаза, слышала их стоны по ночам, чувствовала их горе и недоумение. И я махнула рукой на бдительность, которую проповедовали все, даже Женя Быховская, и стала верить своим глазам, своему сердцу.

Самые несчастные люди в тюрьме были коммунисты.

Они взяли на себя роль добровольных защитников ГПУ.

Они уверяли всех, что в стране был огромный контрреволюционный заговор, и если при ликвидации его были допущены ошибки, то – лес рубят, щепки летят. Они говорили, что нужно вырезать гангренозное место с живым телом, чтобы спасти организм.

Если их спрашивали, зачем на следствии бьют и заставляют давать ложные показания, они отвечали: «Так надо», и против этого уже ничего было возражать.

Все они были уверены, что Сталин не знает о том, что делается в тюрьмах, и без конца писали ему письма.

Сталин был вне подозрений, он казался непогрешимым. Он, конечно, не знал обо всех ужасах, которые происходили. Ну а если знал, значит, было «так надо».

Так они говорили, так они думали, и каждый факт чудовищной несправедливости, с которой они сталкивались, двойной тяжестью ложился на их плечи: он бил по ним самим, и они чувствовали себя обязанными защищать его целесообразность перед беспартийными.

Они говорили, что нельзя верить, будто все невиновны, что в этой самой камере много маскирующихся врагов.

Они самих себя обвиняли в преступной потере бдительности.

Тяжело им было.

И самым тяжелым было то, что, защищая справедливость и целесообразность действий правительства, они сами теряли веру в эту справедливость.

А ведь их жизнь с молодых лет была отдана партии.

Они были ее дети, ее солдаты.

Им было очень тяжело.

А теперь я расскажу, что чувствовала я.

Это очень важно потому, что так чувствовала не я одна, а очень многие люди, нежданно-негаданно попавшие за решетку как «враги народа».

Муж мой всегда упрекал меня, что я невнимательно читаю газеты, не люблю общих собраний, мало интересуюсь политикой.

Я частенько брюзжала: квартира тесная, того нет, другого нет, заграничные вещи хорошие, а наши плохие...

И вот теперь, когда все на свете толкало меня ненавидеть нашу жизнь, когда надо мной была учинена величайшая несправедливость, я почувствовала, как хорошо я жила. Как хорошо мне было работать и знать, что я делаю нужное и благородное дело. Как хорошо мне было воспитывать детей и быть уверенной, что перед ними открыты все дороги. Как уверенно я ходила по земле и чувствовала ее своим домом, и если в моем доме было неустроенно и бедновато, я сердилась на это и жаловалась, ведь это был мой дом, и я хотела, чтобы в нем было хорошо, лучше, чем во всех богатых заграничных домах.

Как просто, как хорошо я чувствовала себя с людьми! Как понятны были их желания, их жизнь. Как верила я всем своим существом, что наша жизнь самая справедливая, самая честная. Сейчас в этой жизни остались мои друзья, сестры, братья, дети — все, кого я люблю. Они врачи, педагоги, инженеры, все они станут солдатами, если ударит час войны. Они строят, защищают эту жизнь, не жалея сил и здоровья.

О, если бы я хоть в мыслях пожелала ей зла, я стала бы внутренним эмигрантом, порвалась бы моя связь с этой жизнью, со всеми, кого я любила, со всем, чем я жила.

А все вокруг толкало меня к ненависти. Я искала, но не находила ничего, что могла бы противопоставить могучему доводу, что те, кто так несправедливо разбили нашу жизнь, те, кто не искали истины, а заставляли побоями и лишением сна подписывать ложь, — члены партии. И они за это чудовищное дело получают еще ордена и награды.

И я мучительно думала и никак не хотела расстаться с надеждой, что справедливость восторжествует, и снова слово и дело будут едины, и снова я смогу верить нашей жизни и любить без надрыва, без сомнения.

Однажды на прогулке ко мне подошел уголовник, убиравший двор, и шепнул:

— Ягода арестован, на его месте Ежов.

Я принесла эту весть в камеру, и какие надежды она возбудила! Как все начали ждать, что нас отпустят на волю!

Но время шло, люди получали приговоры еще более тяжелые. Те категории, которые при Ягоде получали три-пять лет, стали получать десять-двенадцать. Начали говорить про приговоры в двадцать пять лет.

Постепенно оптимисты замолчали, и жизнь пошла по-прежнему.

Однажды утром открылась дверь и ввели в камеру молодую женщину. Ее звали редким именем – Лира.

Лира вошла уверенно, осмотрелась острым взглядом и прямо направилась к Ане.

Кто-то хотел ее предупредить насчет Ани, но Лира самоуверенно сказала:

– А мне она нравится.

Три дня новые подруги разговаривали целыми днями. У Леры было много вкусных вещей, и она щедро делилась с Аней. Они смеялись, шептались. Аня просто ожила: наконец-то нашелся человек, который ее оценил.

А через три дня Лира собрала свои вещи и перешла на освободившееся место неподалеку от нас с Женей.

Она встала на нары, стройная, красивая, задорная, и через всю камеру звонким голосом сказала Ане:

– Имейте в виду, что я провела с вами три дня, чтобы узнать, какие гадости вы писали о моем дорогом Кареве, который имел несчастье быть когда-то вашим мужем. Вы донесли на него из ревности! О, вы были правы, он изменил вам, изменил со мной! Ах, как он любил меня! Какой он был чудесный! Хоть я и попала из-за него в тюрьму, я не жалею, что встретила его.

Аня бросилась, как кошка, на Лиру, но ее задержали, и она как-то захрипела, зарычала, не в силах произнести ни слова.

А Лира подбоченилась, смеялась и даже пританцовывала.

– О, он тоже не жалеет, что бросил вас! Лучше погибнуть в тюрьме, чем жить с такой злой кошкой! А меня он любил целые три года, и мы были счастливы.

Аня так бросалась и билась, что ее увели в больницу. Через три дня она пришла еще более мрачная и целыми днями лежала, зажав уши и закрыв глаза.

...Был вечер шестого ноября 1936 года.

В нашу переполненную камеру вводили и вводили новых арестованных. Лежали на столах, на полу под нарами, в проходе.

Большинство входило со стандартными словами: «Я тут с краешку. Меня арестовали по ошибке и должны скоро отпустить. Это недо-разумение».

На эти слова никто уже не обращал внимания, каждый был занят собой.

Женщину с огромным животом, вероятно на девятом месяце, пустили, потеснившись, на нары. Дали кто платок, кто пальто, чтобы устроить ее помягче. Она лежала с темным лицом и смотрела в одну точку. Часов в двенадцать ночи она начала стонать, кусать руки. Начались роды, ее увели в больницу.

Это на всех произвело тяжелое впечатление: ведь почти все мы были матерями, представляли себе, как тяжело рожать в таких условиях.

А в два часа ночи открылась дверь и шумно вошла женщина лет тридцати пяти в открытом легком розовом платье, с красивой прической и каким-то цветком в волосах.

Женщина громко рыдала и непрерывно говорила. Из ее слов мы поняли, что первый ее муж был троцкист, он исчез с ее горизонта девять лет тому назад, оставив ей сына Левочку. Сын был хроменький, слабый ребенок. Девять лет она ждала мужа, за другого боялась выйти замуж, как бы он не обижал убогого Левочку.

Наконец она решила выйти замуж, пятого ноября переехала к новому мужу, а шестого ноября ее взяли прямо из-за свадебного стола.

Она рассказывала, плакала и непрерывно кричала:

– Левочка мой, Левочка!

Мы уже были взвинчены тем, что завтра праздник, что приводят все новых и новых людей, что у нас в камере начались роды. А тут еще эта невеста в розовом платье с цветами в волосах, кричащая: «Левочка мой, Левочка!»

Вдруг в одном углу забились в истерике женщина, запричитала:

– Мой Юра, Юра мой!

И понеслось:

– Ирочка моя!

– Мой Мишенька!

Половина камеры билась в истерике. Я закрылась с головой платком и испытывала почти непреодолимое желание тоже закричать: «Мой Шурик, моя Эллочка!»

Но я закусила до крови руку, зажала уши, закрыла глаза. Рядом со мной Женя Быховская дрожала крупной дрожью и тоже молчала. Мы прижались друг к другу.

Открылась дверь, надзиратели кричали, растаскивали бьющихся в истерике женщин – кого в карцер, кого в больницу, кого в пустую камеру. Через два часа все стихло, все лежали молча.

Наступило седьмое ноября 1936 года.

А двенадцатого ноября мне вручили повестку на Военную коллегию Верховного суда. Все были поражены. Мое дело казалось таким мелким, и вдруг меня будет судить военный суд!

Я поняла, насколько серьезно мое положение, по изменившимся лицам наиболее опытных товарищей. У нас в камере была Соня Ашкенази. Она была троцкистка, но я о ней не рассказывала, потому что она все время молчала и я не знала ее мыслей. Она погибала от чихотки и очень остерегалась заразить соседней, ела из отдельной посуды, кашляя, плевала в коробочку и лежала, отвернувшись ото всех к стене. И вдруг эта Соня подошла ко мне, посмотрела на меня своими прекрасными глазами и поцеловала в губы. Я поняла, что Соня считает, что мне уже не страшно заразиться, что теперь уже все равно. Как во сне я собрала свои вещи и вышла из камеры. Меня повели в Пугачевскую башню (говорили, что в ней сидел Пугачев) и вручили обвинительное заключение.

Через три дня, на пятнадцатое ноября, был назначен суд.

СУД

Если меня обвинят в том, что я украл колокола Нотр-Дама и ношу их в жилетном кармане, я прежде перейду границу, а потом буду оправдываться.

Г. Гейне

Обвинительное заключение было составлено удивительно глупо: там было сказано, что Муратов, преподаватель университета, который знал нас с мужем, говорил какому-то Моренко, что он завербовал меня в террористическую организацию с целью убийства Кагановича и что я «могла слышать» какой-то разговор между Муратовым и моим мужем 5 декабря 1935 года.

Это было так фантастично, так неопределенно, но по этому обвинению мне вменили статью 58 пункт 8 через 17 — террор, грозившую мне лишением свободы не ниже восьми лет или даже смертной казнью. Все это объяснил мне при вручении обвинительного заключения какой-то полковник. Подписал обвинительное заключение Вышинский, оканчивалось оно словами: «...оказала следствию упорное сопротивление и ни в чем не призналась...»

Я сидела в Пугачевской башне и думала о том, что здесь сидел Пугачев, а сейчас сижу я и что политик очень уж измелъчал.

Я думала, что на суде встречу с мужем, что он тоже ждет суда и переживает то же, что и я.

Как всегда, я думала о детях, о том, что сейчас решается вопрос о том, увижу ли я их когда-нибудь или нет.

Я просидела в этой круглой башне трое суток, и снова в душе моей зрела решимость бороться. Я даже радовалась, что меня будет судить суд, а не заочная «тройка», что я смогу говорить, доказывать. Я в уме повторяла доказательства своей невиновности, вздорности и необоснованности обвинений.

15 ноября меня повезли в «черном вороне» на Лубянку. Там меня завели в парикмахерскую, где стоял стол с зеркалом и кресло. Я была там одна. Впервые за семь месяцев я увидела себя в зеркале. Вид мой мне понравился: на очень похудевшем лице глаза сверкали решительно. Я думала, что сейчас увижу мужа, и мне хотелось своим видом ободрить его.

Ждать пришлось довольно долго, часа два. Где-то часы пробили двенадцать. Мне принесли обед. Как все врезалось в память: я помню, что мне дали гороховый суп с кусочком мяса и гречневую кашу с мясом. Обед был не арестантский, наверное, из столовой. Не успела я доесть суп — за мной пришли. Меня ввели в зал заседания суда.

Кроме меня, обвиняемых не было. На местах для публики сидели следователи в форме. На возвышении стоял длинный стол, покрытый красным сукном.

Справа от этого стола стояла скамья подсудимых, за деревянным барьером из светлого полированного дерева.

Я села на скамью. Сзади меня стояли два конвоира с винтовками и начальник тюрьмы Попов, худой, длинный человек, с огромными, торчащими в разные стороны усами.

Прямо против скамьи висели круглые часы, стрелки на них показывали 12.45.

— Суд идет, встаньте.

Я вскочила. Вошло человек двенадцать судей. Председательствовал Ульрих. Я смотрела на этих мужчин в мундирах и орденах. Большинство из них были пожилые люди, многие годились мне в отцы. Высокий человек с седой головой и в орденах начал читать обвинительное заключение. Я уже знала его наизусть, поэтому смотрела на судей и думала: «Неужели эти мужчины, большевики, к которым я привыкла относиться с таким уважением, неужели они, к которым я доверчиво бросилась бы за защитой в любой опасности, неужели они не поймут, что я невиновна, и осудят меня?»

Председатель спросил, хочу ли я говорить. Я подалась вперед:

— Да, я хочу говорить!

Право, я произнесла отличную речь. Я говорила, что не нужно и невозможно доказывать невиновность, а нужно доказывать вину, что обвинитель мой, по словам следователя, «троцкистский бандит», а я ничем не опороченный человек, почему же верят ему, а не мне? Муратов показал, что он наедине предложил мне убить Кагановича, и я дала на это согласие!

Что я могла противопоставить этому дикому утверждению, кроме того, что я жила очень хорошо, была довольна своей жизнью, что мне незачем, невысказано было вдруг ввязаться в такое преступление, тем более что я не могла ждать никаких выгод от перемены правительства, это меня совершенно не касалось!

И что это за формулировка — «Слиозберг могла слышать разговор»? Могла слышать, но не слышала. Нельзя же убивать человека только за то, что он «мог слышать»! Кончила я тем, что попросила судей, когда они будут решать мою судьбу, вспомнить, что у меня двое маленьких детей.

Право, я произнесла отличную речь, но она мне не помогла. Был момент, когда мне показалось, что меня никто не слушает...

...— Суд удаляется на совещание.

Судьи встали и вышли в комнату за столом, причем, когда открылась дверь, я увидела в той комнате накрытый стол, вазы с фруктами, стаканы.

Часы пробили один час.

Через пять минут судьи вышли и председатель прочел:

— «...Осуждается на восемь лет тюремного заключения со строгой изоляцией и четыре года поражения прав».

Меня как кипятком ошпарило. Я обернулась и увидела Попова в дурацкой позе — с раскрытыми, как для объятия, руками. (Потом я поняла, что женщины падали в обморок, а Попов их подхватывал.) Я не упала в обморок, а оттолкнула Попова и побежала по коридору. Кажется, я хотела убежать. Потом меня пронзила мысль: «Тюремное заключение». Я даже не знала, что бывают такие приговоры. Я остановилась и обернулась к Попову, который шел за мной по пятам.

— Мне слышались слова «тюремное заключение». Что же, я буду восемь лет сидеть в тюрьме?

— Да, таков приговор.

— Ах, зачем я унизилась и сказала им про детей! — воскликнула я.

— Это вы хорошо сделали, у вас предполагалось поражение прав на пять лет, а вам снизили на четыре.

(Потом я узнала, что у всех было поражение прав на пять лет.)

Меня ввели в большой зал, где уже было человек десять осужденных. Среди них – Женя Гольцман и Женя Быховская. Обе получили по десять лет тюрьмы. Быховская – одиночного заключения.

Все сидели молча, убитые. Никто не плакал.

В этот день осудили около ста женщин. Суд заседал шестнадцать часов, в среднем на человека десять минут.

Я со своей речью заняла пятнадцать минут.

Значит, кого-то осудили за пять минут.

СОЛОВКИ

После приговора нас ввели в большую камеру с наскоро сколоченными нарами (раньше здесь, вероятно, помещался клуб), и там мы пробыли два дня. Об этих двух днях в памяти остались только стоны, крики, просьбы дать свидания с детьми и родными.

От свидания с детьми я отказалась сразу же, я считала, что привести их сюда – значит ранить их на всю жизнь. В силах ли я видеть мать и отца, я еще не решила, но начальство рассудило за нас: нам не дали никакого свидания, погрузили в поезд и повезли на Соловки. Мы ехали четыре дня. Рядом в купе со мной ехал писатель Виленский-Сибиряков. Он был очень болен тяжелой язвой желудка. Ему было интересно говорить со мной потому, что в нашей 105-й камере сидела его жена, Марфа Митрофановна Виленская. Я вспоминала всякие мелочи о ней и ему рассказывала. Он жадно слушал. Это была последняя весточка от жены, с которой он прожил тридцать лет. Они вместе отбывали до революции ссылку в Сибири, потому он и взял себе псевдоним Сибиряков. Он умер потом на Соловках. Дочь его я встретила на Колыме.

По Белому морю нас везли на пароходе «СЛОН» (Соловецкий лагерь особого назначения). Все говорили, что это к счастью, но ведь всех заключенных возили на этом пароходе, а вряд ли их ожидало большое счастье!

На Соловках не были готовы для нас камеры, и временно нас поместили в большую комнату, бывшую трапезную. Печи там огромные, в полстены, очень теплые, окна большие, полы добротные, из аршинных досок. Стены беленые, диваны деревянные со спинками. Подали неплохой обед.

В комнату несколько раз заходил начальник тюрьмы Монахов, высокий, полный, с добродушным лицом.

Его мы, видимо, очень интересовали. В одно из посещений он сказал:

– Да что же вы натворили, что такие приговоры!

А потом, в следующий раз, вдруг сказал:

– Ну, сидеть вам по восемь да по десять лет – разбирайтесь по желанию по четыре, по пять человек.

Это было поразительно: никогда никто так не делал, наоборот: если люди дружили – их разъединяли. Все заволновались: легко сказать – выбрать товарища на восемь лет.

Для меня было ясно, с кем я не хочу быть: я очень боялась людей, которые плачут и стонут. Я также не хотела сидеть с меньшевичками и троцкистками. Ближе всех мне была Женя Быховская, но с ней соединиться было нельзя, так как у нее по приговору была одиночка.

Женя сидела в углу и была уже отрешена ото всех, ей не о чем было говорить с нами, полными планов совместной жизни, ее ожидало одиночество. Сердце у меня зашлось от острой жалости, но надо было устраивать свою жизнь. Я прошла мимо нее, не глядя, и подошла к другой Жене – Гольцман, сидевшей рядом с молодой красивой девушкой. Девушку эту я знала. Она была падчерицей профессора Дмитриева. Ее мать вышла за него замуж, когда Лиде было всего четыре года, и родила от него пятерых детей. Лида была настоящая Золушка. Она мыла, варила, нянчила, обстирывала всю эту огромную семью. Окончила она только семилетку и ничего не читала, поражая нас своим невежеством. Единственный человек, который к ней бывал ласков и брал ее иногда в концерт или на стадион, был отчим.

Лида была очень музыкальна и иногда тихо напевала чистой и нежной колоратурой.

Женя привязалась к Лиде на Лубянке, куда ее привезли после меня.

В семье у Дмитриевых было очень неблагополучно. Отчим был профессор философии в военной академии. Вынужденный на лекциях говорить одно, он, придя домой, пародировал сам себя, не стесняясь присутствием жены и детей, и хулил все, что превозносил час назад.

На следствии Лиде дали очную ставку с отчимом, который сказал ей: «Ты должна говорить всю правду. Я виновен и понесу наказание, а ты должна жить». Лида не понимала того, что в присутствии следователя отец вынужден был так сказать. Порассказать было о чем, и она отяготила тяжелыми показаниями и без того нелегкое положение отчима. Потом у нее была очная ставка с матерью, и мать кричала: «Предательница, на тебе кровь отца».

Лида была тяжело травмирована всем, что с ней произошло, особенно мучило ее, когда ей передавали, что мать ее ругала, говорила, что она предала отчима. Несмотря на это, мать свою она жалела,

любила рассказывать, какая она красавица, оправдывала ее тем, что она нервная, больная.

Вот эту Лиду мы с Женей решили взять с собой в камеру, с тем чтобы заниматься с ней, дать ей образование. Четвертой к нам попросилась Зина Станицина, девушка двадцати восьми лет, преподаватель математики. С Зиной нас сблизило то, что ее посадил тот же Муратов, который преподавал диамат и в их институте.

Женя сказала, что у нее есть условие: мы не должны нарушать тюремных правил и перестукиваться. Она коммунистка и, где бы ни была, будет подчиняться советским законам. Мы согласились.

Мы установили такой порядок: вставали в восемь часов и час делали гимнастику при открытом окне. Потом завтракали и садились за учебу. Два часа в день Женя занималась с нами английским языком, два часа Зина учила нас математике. Час я занималась с Женей французским и час с Лидой – русским. Потом я читала французские книги, которых в библиотеке было 250 томов, и все очень хорошие.

Женя читала Ленина и Маркса, Зина занималась векторным анализом, а Лида пыхтела над уроками по математике, русскому и английскому. Женя строго следила, чтобы «Правда», которую мы получали, прочитывалась нами от начала до конца. Она ни за что не спускала мне, когда я просматривала газету, а не читала ее как следует. Час в день мы гуляли в садике, заросшем травой и сиренью. Там, между двух березок, была одна плита, всегда навевавшая на меня грусть и раздумье. Под ней покоился какой-то запорожец имярек (я забыла), родился тогда-то, в возрасте 75 лет за буйство был заточен в монастырь и прожил там до ста трех лет. Потом был освобожден, но, смирившись душой (в сто три года!), пожелал дожить свои дни в тишине и молитвах. Умер ста десяти лет.

Я читала надпись на могиле и думала о том, что я освобожусь в сорок один год, что потом я еще, наверное, буду жить и вспоминать эти восемь лет как эпизод моей долгой жизни... Но я никак не могла этому поверить.

К восьми вечера мы снова раздевались и делали гимнастику при открытых окнах, потом пили чай, и дневная работа была окончена.

Мы никогда не лежали на постелях и не спали днем, чтобы утомиться и спать ночью.

Это был очень хороший режим, и, кажется, только наша камера ввела у себя такой. В остальных камерах много плакали, читали, лежа на кровати, много вспоминали прошлую жизнь. Потом, когда года через полтора нас соединили, мы от них резко отличались.

Монахов частенько к нам заглядывал. Он, наверное, и в глазок смотрел, потому что, как-то зайдя и увидев, что мы по-английски читаем какую-то статью, сказал:

– Здорово вы продвинулись! А я никак не одолею, три раза принимался.

Женя ему шутя сказала:

– Включайтесь в наш кружок, мы вас живо научим.

Он замахал руками:

– Нет уж, избавьте, лучше проживу без английского.

Но он не прожил, бедняга. В конце 1937 года за либерализм был арестован. Говорят, Монахов умер на пересылке во Владивостоке.

Он скрасил нам год жизни в тюрьме. Он был очень хороший человек.

Тяжелы были ночи. Устав, я засыпала как убитая, но в два часа просыпалась, как от укола в сердце. Больше спать я не могла, и часы до подъема были невероятно мучительны. Вставать читать не разрешали, вертеться было нельзя, очень чутко спала Женя, жалко было ее будить. И вот я лежала тихо, с закрытыми глазами и училась не вспоминать. Малейшее ослабление воли – и всплывают лица детей, мужа, матери... Нельзя, нельзя, а то начнешь кричать.

В эти ночи я узнала, что можно управлять мыслями: одни пускать, другие гнать. Можно не вспоминать, не жалеть, не терзаться чувством вины перед собой, перед мужем, перед матерью за то, что кого-то обидела, мало любила, мало жалела... Можно... Но очень трудно. После такой ночи я вставала как избитая и входила в норму только после часа гимнастики перед открытым окном.

Однажды к нам пришел фельдшер. Сзади, как всегда, стоял конвоир (фельдшер был заключенный). Впуская Лиде в глаза капли, он прошептал:

– Умер Сергей Луковицкий, просил передать на волю: «Невиновен. Умираю коммунистом».

В другой раз шепнул:

– Умерла Соня Ашкенази. Утром нашли.

Я вспоминала ее прекрасные глаза и то, как она меня поцеловала перед судом.

Так мы прожили целый год. А осенью 1937 года вдруг перестали давать книги из библиотеки. Мы прожили без книг месяцы, и нам дали новый каталог, где учебники были в объеме средней школы, иностранных и научных книг не было вообще. Каталог художествен-

ной литературы занимал пять страничек на машинке. Разрешалось брать по одной книге на неделю. Это был ужасный удар. Мы плакали, как будто получили дополнительный приговор. Мы гадали, почему так сделали, и Женя предположила, что через книги заключенные переписывались, сами виноваты.

Особенно тяжело было, когда в уборной нам давали нарезанные страницы из наших любимых книг. Как-то я получила полстранички Гейне, в другой раз кусочек из «Казakov» Толстого.

Тогда же нам перестали давать газеты. В эти дни я впервые поссорилась с Женей.

К нам в камеру вошел Виноградов, наш корпусной. Это был комсомолец, не слишком умный парень, но мы его любили. Видно, он хотел подражать Монахову, потому что пытался нас воспитывать: бывало, пожалуемся, что холодно, — он отвечает: «Натопят. Советская тюрьма не наказывает, а воспитывает». Или придет к нам в камеру и сделает что-то вроде политинформации про стахановцев, а закончит укоризненно: «Видите, как народ работает, а вы вот натворили и сидите».

Последнее время Монахова не было видно, а Виноградов к нам не заходил уже два месяца. Сегодня вошел — как будто его подменили.

— Встать!

Мы встали.

— Претензии есть?

— Нет.

Он повернулся уходить. Тогда я его спросила, почему нам не дают газет.

— Таково распоряжение.

— Вы сами говорили — советская тюрьма воспитывает, а как же воспитывать без газет?

Он замялся. И вдруг ему на помощь пришла Женя!!! Ей, видно, померещилось, что это какой-то кружковец запутался. Лекторским тоном она сказала:

— Воспитывают политически неграмотных, а такие, как мы, должны отвечать за свои поступки.

Виноградов обрадовался и закивал головой:

— Точно, точно! — И шагнул в дверь от дальнейшей дискуссии.

Я налетела на Женю:

— Как ты смеешь вмешиваться, когда я спрашиваю корпусного?

Она была немного смущена.

— Ну, ты видишь, что он не знает, как ответить.

Появилось свободное время. Мы слепили из хлеба шахматы и стали играть. Три дня увлекались шахматами, а на четвертый вошел Виноградов, сгреб шахматы и сказал:

– Запрещается.

– Ну а это почему? – спросила я Женю. – Просто чтобы мучить.

– Прошу тебя не говорить фраз, граничащих с клеветой. Значит, кто-то в шахматы заклеивал политические документы...

Я махнула рукой и больше не стала говорить, уж очень ей трудно было подыскивать оправдания.

Два дня нас не водили гулять, а когда мы вышли на прогулку, то ахнули. Наш милый садик был разделен на загончики с высокими стенами. Ни одной травинки, ни кустика не было на земле.

...Однажды, когда мы в тюремных длинных трусах и самодельных лифчиках делали гимнастику, открылась дверь и вошла целая комиссия. Вид у нас был жалкий: серо-белые бязевые трусы до колен, лифчики из портянок; так как было открыто окно, а еще открыли дверь – стало очень холодно, и мы стояли синие от холода на сквозняке.

Впереди шел полковник в серой каракулевой шапке и полушубке с таким же воротником. У полковника было розовое, упитанное лицо, пахло от него парикмахерской и вином. Сзади него – человека четверо военных, а позади всех – наш Виноградов.

– Что это такое? – спросил полковник Виноградова, брезгливо указывая на нас. – Что это такое, я вас спрашиваю. Это дом отдыха или тюрьма? В домах отдыха занимаются спортом, а в тюрьмах отбывают наказание. Безобразия! Немедленно прекратить!

Мы сделали движение, чтобы одеться.

– Стоять! Почему не по правилам заправлены койки? Почему открыто окно? Это не спортзал, а камера!

На столе лежала книга – воспоминания Елизаровой о Ленине.

Я вдруг сказала:

– А Ленин сидел в царской тюрьме и два часа в день занимался гимнастикой. Это ведь тоже была тюрьма.

Полковник крикнул:

– Молчать! – повернулся и вышел.

Все ушли. Дверь заперли. Через пять минут вошел Виноградов, сказал:

– Гимнастикой заниматься запрещается, – взял воспоминания Елизаровой и ушел.

Как-то из библиотеки дали книгу Барбюса «Сталин». Там был большой портрет Сталина. Лида почему-то стала восхищаться его лицом.

– А вам он нравится? – спросила она меня. Накопившаяся злоба прорвалась:

– Нет, я не люблю лиц с маленькими лбами.

Женя вскинулась.

– Я считаю это политическим выступлением, – сказала она серьезно.

– Не люблю людей с маленькими лбами, не люблю брюнетов, обожаю блондинов, синеглазых блондинов, большелобых, синеглазых блондинов, хоть ты убей!

Женя отвернулась и перестала со мной разговаривать.

В камере стало так тяжело, что я обрадовалась, когда через неделю Виноградов велел мне собираться с вещами.

Я попрощалась со всеми. Женя подошла, поцеловала меня и сказала:

– Я думаю, ты едешь на пересмотр дела. У тебя ведь такой пустяк!

Желаю счастья!

Ох, какой она была оптимист.

Я вышла.

Меня ввели в камеру, где сидели четыре женщины. Познакомившись, я узнала, что все они были осуждены по статье 58/10 по три года, до сих пор были в лагере, теперь сроки их окончились. Когда их взяли из лагеря в тюрьму, они были уверены, что их отправляют на материк для освобождения.

Задержка их очень волновала. Утешали они себя тем, что закрыта навигация.

Потом они спросили обо мне и с ужасом узнали, что я террористка и имею приговор – восемь лет тюремного заключения.

Когда я пыталась им объяснить, что теперь все либо террористы, либо шпионы и имеют сроки по восемь, десять лет, они явно мне не поверили. Ведь три года назад, чтобы получить такой срок, надо было что-то сделать.

Этот разговор был в первый вечер моего прихода, а назавтра я заметила, что все они чем-то смущены, шепчутся между собой и что-то хотят мне сказать. Наконец Нема Рабинович, старшая из них, сказала мне:

– У нас уже позади наше наказание, мы готовимся начать новую жизнь. У нас дела были мелкие, случайные, у вас совсем другое. Я думаю, вы не обидитесь на нас, если те недолгие часы, что мы будем здесь, мы не будем с вами общаться.

Вот так номер! Уж этого я никак не ожидала.

И мы начали жить в небольшой камере, метров на пятнадцать, впятером, причем я сидела в одном углу, а они, все четверо, –

в другом. Мне кажется, им было еще хуже, чем мне, ужасно стыдно. Но я им мучительно завидовала. Они говорили друг с другом, иногда смеялись, играли в какие-то загадки, все вместе ели.

Я сидела одна, ни книг, ни бумаги у меня не было, и единственное, что я могла делать, — это сочинять в уме стихи да курить папиросу за папиросой. Так прошло пять дней. Наконец мне принесли книгу. (Им принесли четыре книги, и они могли меняться.) Я читала свою книгу порционно, по тридцать страниц в день, а тридцать страниц — это для меня на один зуб, и я с завистью поглядывала, как у них лежат книги, а они их не читают, предпочитая обсуждать свою будущую судьбу.

Прошло еще три дня. И вдруг вошел корпусной и вызвал Нему Рабинович без вещей!!! Значит, решили все, на освобождение. Прошло минут пятнадцать. Вошел корпусной, вызвал без вещей Машу Яровую, а Нема появилась в дверях бледная как полотно. Маша вышла. Нема еще не произнесла ни слова. Потом она сказала: «Прибавили срок до десяти лет. Еще отбывать семь лет». Села на койку и начала курить папиросу за папиросой.

Открылась дверь, и с рыданием вбежала Маша и бросилась на постель: «Довесили семерку, это Бог нас наказал за бедную Ольгу. У меня все восемь дней сердце разрывалось, на нее глядя! Довесили, довесили, семь, семь, семь лет!»

Две остальные вышли и вошли обратно с плачем и криками. Было тяжело смотреть, как жизнь разбила все их планы и мечты. Нема и Маша рвались к детям, оставленным у чужих людей. Нюра Иванова собиралась соединиться с одним лагерником из уголовных, кончавшим срок весной. Она решила его ждать, строила планы, как будет до весны его поддерживать, посылать ему посылки.

Шуру Алексееву ждала мать, которая еле дожила до окончания срока своей единственной дочери. Она ей писала каждую неделю: «Вот осталось двенадцать недель, вот одиннадцать, вот десять, жду, жду, жду».

Прошло несколько часов. Принесли кипяток. У меня были какие-то леденцы. Я пошла на их половину.

— Давайте мириться! Угощаю. — Я положила на стол леденцы. — Я не сержусь на вас, откуда вы могли знать? Но теперь, пожалуй, мне с вами опасно: у меня восемь, а у вас десять.

Человек живуч! Вечером мы сидели все впятером на постели у Маши Яровой, и я рассказывала им французский роман «На дне пропасти» Жоржа Онэ. Это был один из самых душераздирающих романов, которые я брала для практики во французском языке из тю-

ремной библиотеки. Эти романы сослужили мне хорошую службу: я их передавала с вариациями и прослыла в тюрьме и лагере отличным рассказчиком.

Весной 1938 года к нам в камеру привели двух женщин, которые, заболев, отстали от своего этапа. От них я узнала, что женская тюрьма на Соловках ликвидируется и всех заключенных переводят на материк. То же ожидало и нас. Я мысленно оглядела полтора года, прожитые на Соловках. Дни как-то проходили в занятиях языками, математикой, чтении книг, разговорах. Но ночи!..

Беспокойная белая ночь.
Тени башен на окна нависли...
Я устала в мозгу ворочать,
Словно камни, тяжелые мысли.

Только вспомнишь о дальнем мире —
Точно жало до сердца дотронется...
Меж камней осторожно лавируя,
Я себя вывожу из бессонницы.

В июне 1938 года нас повезли в Казань.

АНЯ БУБЛИК

В нашу камеру на Соловках вошла бледная худенькая девушка.

— Я из карцера, — сказала она. — Меня зовут Аня Бублик.

Около меня была свободная койка. Аня легла на нее и очень скоро заснула. Она сильно кашляла. Но, видно, была так измучена, что не просыпалась до вечера. Вечером к нам зашел врач Востоков. Он был, как и мы, заключенный и относился к нам внимательно, сочувственно. К сожалению, он недолго у нас пробыл, вскоре его заменили вольнонаемным чиновником. Востоков выслушал Аню и спросил:

— Туберкулезом болела?

— В детстве, потом выздоровела.

Он ей дал какие-то порошки, а мне сказал:

— Очень близко не дышите...

И мы поняли, что у нее чахотка. Аня тоже поняла. Из десяти обитателей нашей камеры большинство боялись с ней говорить, боялись заразиться, а я не боялась. Так тошно было мне в это время, что хотелось умереть. Да и как было оставить эту девочку в такое страшное для нее время одну? Мы целыми днями говорили с Аней, она рассказывала мне свою историю.

Родилась она в Харбине, где отец ее работал на железной дороге. Когда дорогу передали китайцам, служащим предложили на выбор: либо принять китайское подданство и остаться работать на КВЖД, либо уехать в СССР и сохранить подданство советское. Родители Ани остались в Харбине, а она, горячая комсомолка, мечтала уехать в Россию. Мать на коленях умоляла ее остаться, многие пугали ее тяжелыми условиями жизни в СССР, но Аня была непреклонна. Она приехала в Москву и поступила в институт иностранных языков (английский язык она знала с детства). Жила она в общежитии и была в восторге от Москвы, от вуза...

Но через три месяца ее арестовали по подозрению в шпионаже, была такая удивительная статья — ПШ. С десятью годами срока она попала на Соловки. Потом, на Колыме, я встречала многих кавежединок (так их называли) с этой статьей. Возмущению ее не было предела. По-своему она боролась: демонстративно не вставала, когда входило начальство, говорила громко, без разрешения открывала форточку... Естественно, попала в карцер. А условия в карцере были такие: во-первых, надо было догола раздеться и надеть грязный тюремный халат. Камера без окна. Питание — 400 граммов хлеба в день и две кружки горячей воды. Топчан вносят на шесть часов, остальное время надо стоять, или ходить по двухметровой камере, или сидеть на залитом водой полу. Карцер давали на срок четыре-пять и до двадцати дней. Должно быть, сильно она обозлила начальника тюрьмы, что он дал этой бедной девочке двадцать дней. Это был первый в моей тюремной жизни случай, что я столкнулась с таким сроком. Обычно и после пяти дней выходили больные.

Аня прожила у нас в камере месяц. Ей делалось все хуже, и в одну печальную ночь у нее открылось горловое кровотечение, и ее забрали в больницу. Умерла она через два дня. Ей был двадцать один год.

Как ни странно, я не заразилась.

КАЗАНСКАЯ ТЮРЬМА

В Казанской тюрьме режим был рассчитан на полное подавление физических и душевных сил.

Вставали по звонку в шесть часов утра. Пять минут седьмого врывался в камеру дежурный, чтобы поднять и подвинтить к стене наши койки. Если койки не были еще заправлены, он кричал, грозил всех посадить в карцер, и мы его ужасно боялись, торопились.

Семь минут седьмого. Койки подвинчены к стене, и мы, шесть женщин, оказываемся в пустой камере с каменным полом, каменны-

ми стенами, двадцатисвечевой угольной лампочкой у потолка (и где они только брали эти лампочки, которые светились красным накалом, оставляя всю камеру в темноте).

Окно забрано снаружи щитом, а сверху плотная сетка. Неба не видно. Шесть скамеечек по сорок сантиметров длины, привинченных к стенам; столик, привинченный к стене, полметра длины и тридцать сантиметров ширины, и параша в углу.

Ходить по камере было трудно, потому что нам давали грубые мужские ботинки сорок четвертого размера, если они стучали о каменный пол, тотчас шипел голос дежурного: «В карцер захотели? Не шуметь!»

Говорить разрешали только шепотом; за слово, произнесенное вполголоса, можно было попасть в карцер. Начиналось течение бесконечного тюремного дня.

День разбит на отрезки: оправка, завтрак, обед, ужин, пятнадцатиминутная прогулка, вечерняя оправка, сон.

Каждого перерыва этой убивающей монотонности ждешь, ждешь...

Нам не давали ни иголок, ни ниток; не разрешалось никаких игр. За вылепленные из хлеба шахматы можно было попасть в карцер на неделю.

Раз в неделю нам давали по одной книге.

Теперь я не представляю, как можно было читать в такой полутьме. Одна из нас — Катя Тойве — даже ослепла.

Книги были единственным отвлечением, единственным счастьем, они были хлебом и водой для мозга, задыхающегося, погибающего без пищи.

Вот когда я поняла, что такое настоящая хорошая книга, читая которую я вновь чувствовала себя человеком! Ведь нам так долго и упорно вколачивали в головы, что мы не люди, а отбросы, вколачивали не только тюремщики, которых мы презирали, но газеты, которым мы еще не отучились верить, люди, руководившие партией, страной, что мы сами начинали чувствовать себя в чем-то виноватыми.

А тут Толстой, Достоевский говорят со мной, и я чувствую себя равной им в своей человеческой сущности. Я всей душой понимаю их, как они, наверное, хотели бы быть понятыми людьми.

Восприятие обострено до предела.

Мне кажется, я понимаю не только то, что говорит писатель, но и то, почему он говорит это, что нужно ему сказать людям, почему он избрал эту, а не другую форму для передачи своих мыслей.

Как обидно было, когда дадут книгу, которая должна служить мне пищей две недели, а она окажется подделкой, набором фраз.

Я помню, как получила один советский роман. Автор – неплохой советский писатель, и я не хочу его обижать, но роман он написал отвратительный. Как я ни старалась, так и не смогла прочесть эту книгу. Было невероятно обидно: лежит толстая книга, а читать ее невозможно! Я плакала. Я мечтала, чтобы автора посадили на десять лет в тюрьму и давали ему читать такие книги. Я повторяла, как гимназистка:

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку...
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Существовало не отмененное с добрых старых времен правило, что политическим должны давать учебники. Но нам давали буквари и арифметику, должно быть в насмешку. Наши дипломы очень раздражали начальника тюрьмы.

Сидишь на своем сорокасантиметровом стульчике, привинченном к стене, и думаешь, думаешь. Очень трудно найти тему для мыслей, тему, которая не разрывала бы сердце.

Мечтать? Но о чем? Срок – восемь лет – кажется бесконечным. Пересмотр приговора может быть только в связи с общими политическими переменами. Но так велика была сила гипноза, что даже в этом склепе, наедине с собой, я очень долго не могла мечтать, например, о том, чтобы умер Сталин или его свергли. Это казалось гибелью революции, возвратом к капитализму.

Только в глубине души, в самой глубине, где бродят мысли, не сформированные еще в слова, рождалось чувство протеста.

Если он непогрешим и гениален, – значит, мне и сотням тысяч людей так и полагается сидеть в этих гнусных камерах, а тысячам людей вместо человеческого труда полагается целыми днями подглядывать в глазок и следить, чтобы мы не отвлекались хотя бы на минуту от давящего нас горя, и за это подлое занятие получать ордена и чувствовать себя людьми, делающими государственное дело, ведущее страну к коммунизму.

Вспоминать? Нельзя. Сойдешь с ума. Гонишь всякую тень воспоминаний, стараешься сразу переключить мозг на механическую работу: считаешь, вспоминаешь стихи, составляешь из букв большого слова другие слова. Но иногда воспоминания овладевали душой, и воля сдавала. Ох как потом было тяжело!

Стены Казанской тюрьмы полутораметровые, но все-таки мы слышали иногда пароходные гудки. А ведь я волжанка! Такой гудок пере-

ворачивал душу: я сразу представляла себе Волгу, ее ширь, пароходы, молодость...

Стараясь не слышать, не верить, что вот сейчас, когда сижу в этом каменном погребе, жизнь повсюду идет почти так, как и прежде.

Не может быть, чтоб в этот час
Шумел зеленый лес и шелестело поле!
Чтобы на Волге в радостном приволье
Переливался голубой атлас.
Не может быть, чтобы девичьих глаз
Доверчивы и ясны были взгляды,
Чтобы пестрели красками наряды...
Не может быть...

Решетка на окне
Да дверь с глазком –
Вот где границы мира.
Сердца людей запуганы и сиры...
Я умираю. Не могу вздохнуть...
О боже, как тяжел мой путь.

К счастью, вспоминала я о воле, о прежней жизни все реже и реже. Чувство самосохранения заставляло не думать, не терзаться. Старалась создать какой-то свой, призрачный, тюремный быт.

Старалась построить какую-то колею.

Зина Станицина, моя сокамерница по Соловкам, и здесь попала со мной в одну камеру. Она учила всех алгебре, геометрии, составляла задачи – время как-то проходило.

Я рассказывала шепотом французские романы.

Тяжелее всех было Ольге Ивановне Никитиной, старухе ткачихе. Она проработала у станка тридцать пять лет и, как все ткачихи, была глуховата. Шепота она не слышала, а говорить вполголоса не разрешалось. Глаза у нее были плохие, и в тюремной темноте она не могла читать. Была она старым членом партии, из тех ивановских ткачей, что воевали на фронтах Гражданской войны с Фурмановым. Получила она десять лет заключения за то, что выступила на собрании и спросила со свойственной ей прямоотой: «Говорите, все предатели. Что же Ленин-то, совсем без глаз был, не видел людей, которые вокруг него жили?»

И вот сидела она и по целым дням шептала про себя – все доказывала себе, что правильно поступила.

У Ольги Ивановны осталась дочь на воле, пятнадцатилетняя Наташа. Эта дурочка не знала, что в тюрьме письма проходят цензуру.

Она писала матери, что хочет попасть на учебу и в комсомол. Для того чтобы ее взяли, она скрывает, что мать в тюрьме. «Пишу везде, что ты умерла, а то нигде не примут. Если «их» не обманывать, никак нельзя мне прожить».

Мать, не имея возможности сказать ей, что письма проходят цензуру, писала ей: «Ты должна быть честной, как мать твоя всегда была честной перед Родиной, должна всегда писать правду». А Ната ей отвечала: «Вот ты всегда была честной, тебя и посадили, а кто хитрил, тот живет себе да поживает на воле». Так она ничего не поняла и продолжала писать письма, которые заставляли сердце бедной Ольги Ивановны разрываться от страха за дочь.

Тяжело было все, что напоминало волю.

Один раз я заметила, что дежурный нес домой сверток с детскими игрушками. Мне это показалось невероятным: он через полчаса увидит своих детей!

Время от времени, примерно раз в десять дней, к нам в камеру врывалось человек пять женщин из надзора, раздевали нас донага и производили обыск. Обыск был невероятно унизителен: искали в волосах, во рту и даже... Грязными руками ошупывали тело. Белье бросали на грязный пол, а на наши жалобы начальник тюрьмы отвечал: «Снявши голову, по волосам не плачут».

Что можно было найти? Клочок письма, не сданного на другой день после получения согласно тюремным правилам; припрятанную фотографию матери или ребенка; сделанную из хлеба фигурку — все это считалось преступлением, и за все полагались самые тяжелые репрессии: лишение книг, лишение прогулок, лишение переписки, карцер, одиночка. Конечно, администрация тюрьмы знала, что у нас ничего не может быть криминального, обыски делались исключительно для запугивания и унижения.

И вот сидели мы, шесть запуганных, оступевших женщин, на своих стульчиках, а время текло медленно и давило сердце, как камень. Под конец мы впадали в апатию, и нам уже не хотелось никаких происшествий, которые вывели бы нас из этого состояния.

Я живу как во сне.
Вкруг меня и во мне
Этот тусклый, рассеянный свет без теней.
Много дней, много дней, много дней.
Слышу шум за стеной осторожных шагов,
Да задушенный шепот глухих голосов,
Да еще иногда громоуханье замка,
Да шуршанье проклятых волчков.

Я живу как во сне,
И мерещится мне,
Что лежу я на илистом дне,
Под холодной, тяжелой, зеленой водой,
И плывут корабли надо мной,

Высоко наверху волны бьют в берега,
Летом солнце палит, а зимою снега,
Ветер ярко кружит по волне...

Но царит тишина в глубине.

Высоко наверху моя бедная мать
Не устанет меня громким голосом звать,
Громкий голос доходит до самого дна,
Где в бессилье лежу я одна.

Мама, дочку свою не зови, не томи,
Мама, бедное сердце уйми!
Не могу я проснуться, здесь нечем дышать,
Не терзай себя, бедная мать!

Я живу как во сне.
Вкруг меня и во мне
Этот тусклый, рассеянный свет без теней.
Много дней, много дней, много дней...

Из этой тяжелой летаргии меня вывел один случай: Мария Даниелян, моя сокамерница, прожила интересную, полную событий жизнь. Она много рассказывала мне о бакинском подполье, где она работала в первые годы революции. Я завидовала тому, что она жила полной жизнью в те годы, когда я прозябала в обывательских заботах. Я смотрела на Марию снизу вверх, и, хотя мы из боязни быть услышанными никогда не говорили о репрессиях тридцатых годов, я очень хотела знать, как она объясняет их, как увязывает то, что я никак не могла увязать. Кстати, Мария по профессии была историком.

Однажды Мария сказала:

— Если я когда-нибудь выйду отсюда, я начну жить, как будто ничего не произошло. Никогда никому не расскажу о том, что пережила, и сама забуду все.

Я возмутилась:

— Так говорить может только лицемер. Мы ведь не могли представить себе, что существует эта темная изнанка нашей жизни, но она была. Она была еще тогда, когда мы были на воле и верили в справед-

ливость. Уже тогда были эти страшные допросы, эти подвалы внутренней тюрьмы, где людей терроризировали, избивали, заставляли подписывать ложные показания. Как я смогу забыть об этом, если это будет и тогда, когда я случайно освобожусь? Я не хочу забыть, я хочу понять. Если факты не лезут в мое представление о мире, надо менять его, так как факты отменить нельзя. Надо менять жизнь, чтобы этих фактов не было.

Распространяться на эту тему было опасно. Мария перестала со мной разговаривать и заявила, что я скатываюсь к оппозиции. А я поняла, что она, не желая скатываться, вообще запретила себе думать. Ведь чувство самосохранения говорило ей, что она должна доказывать, что никогда не была оппозиционно настроена, что она и сейчас верит партии и принимает без возражений все, что происходит.

Она без конца писала письма Сталину, заверяла его, что никогда не критиковала решений и действий партии.

А я не хотела не думать.

Глубокое отвращение к этому добровольному рабству, рабству мысли, охватило меня. Я буду думать, я буду запоминать все, я должна выжить и донести до людей все, что видела. Я не могу сейчас всего понять, но я вижу, что творится злое дело.

Я буду свидетельствовать!

Это решение, созревшее во мне, наполнило новым содержанием мою жизнь. Я стала вникать в каждую повесть, которую рассказывали мне мои товарищи, запоминать все, что вижу вокруг.

Жизнь моя обрела смысл.

ЛИЗА

Была суббота, день, когда разрешалось писать родным письма. Накануне мы получили от них такие нужные, такие теплые и такие трафаретные письма. Дети здоровы, умненькие, красивые, будь мужественна, береги свое здоровье, ты нужна. И хотя я знаю, что мне не напишут, если дети больны, не напишут, что мать не спит по ночам и горе убивает ее, успокаиваюсь, впитываю каждую черточку милого, старательного маминого почерка, целую печатные буквы сына и контуры обведенной чернилами ручки дочери, которая сейчас уже величиной с мою ладонь, а была крошечной. Эти письма живут с нами одну ночь, назавтра я должна их вернуть. Отнимут у меня и карточки, и нужно их запечатлеть в сердце. На карточке мама, папа и дети. Девочка острижена наголо. А сейчас зима. Значит, она была

больна, может быть, скарлатиной, может, дифтеритом. Я ничего не знаю, но знаю, что неделю назад она была жива и ее ручку обвели чернилами, и я целую отпечаток ее ручки. Я счастлива, мои дети живут у моих родителей в любви и заботе, я каждые две недели получаю письма — эти сгустки любви и тепла, которые греют сердце и вливают в него волю к жизни.

А Лиза, моя соседка по камере, не получает писем уже два месяца. У нее остались на воле две девочки, шести и двенадцати лет. Старшая девочка, Зоя, аккуратно писала ей, сообщая, что младшая, Ляля, не слушается и порвала новое платье, что теперь она заплетает косички и они уже длинные, двадцать сантиметров. Она прислала и карточку: две беленькие девочки, гладко причесанные на косой пробор. У старшей действительно косички, но вряд ли они достигают двадцати сантиметров, они совсем маленькие и смешные. Она их выставила вперед. Должно быть, это предмет ее гордости. Лиза удивительным образом прячет эту карточку от обысков, и она уже живет у нее два месяца, со дня получения последнего письма. Это большое преступление, за него можно попасть в карцер, и Лиза изволновалась и решила, что сдаст эту карточку, а то можно от волнения получить порок сердца.

Лиза вообще мнительна и боится за свое здоровье. Это крепкая, довольно некрасивая женщина, с очень простым лицом. Она рассказывает, что умеет хорошо петь, но мы, к сожалению, не можем это проверить, ведь говорить разрешается только шепотом, а петь совсем нельзя. Лиза любит рассказывать о том, что она пользовалась большим успехом у мужчин, а я этому никак не могу поверить, глядя на ее некрасивое лицо и сильную, грубо сколоченную фигуру. Вообще с Лизой я не очень сошлась, она не любит философствовать, говорит больше о еде, о платьях, которые у нее были, о мебели, которую она оставила в квартире. Она человек неинтеллигентный, и ее раздражает наше переливание из пустого в порожнее в поисках первопричин.

Но вчера, после того как мы все получили письма, а она опять осталась без письма, долго плакала, а ночью шепотом рассказывала свою историю:

— Вы все из хорошей жизни, а я в детстве плохо жила. Мы с матерью ходили по дворам и пели... мы были нищие. Отца не было, никогда не было, мать нас с сестрой прижила от хозяина, она была кухаркой у чиновника (Лиза стыдилась этого и никогда не рассказывала раньше. Я поняла, почему она так не любила наши рассказы о детстве, о том, как нас учили музыке, какие елки нам устраивали, как нас баловал отец). И у матери и у нас с сестрой были хорошие

голоса, и мы пели по дворам, и нам подавали много. Мы бы хорошо жили, но мать пила. А голос у нее был как у Неждановой, выпьет, бывало, и поет, и плачет. Хорошо пела и была добрая, а пила от горя. Я всегда завидовала детям, которых в школу провожала мать, а если видела детей с отцом, нарядных, беленьких, мне хотелось запустить в них комком грязи.

Мы жили в углу в подвале. И вдруг, когда мне исполнилось четырнадцать лет, произошла революция. К нам пришли люди и сказали, что нас переселяют из подвала в квартиру на втором этаже. Там жили буржуи, они все бросили и убежали за границу, а нам дали их квартиру со всей обстановкой, со всеми вещами. Там был рояль, были платья, посуда. Мать нарядилась, нас нарядила. Нам дали три комнаты. Мы жили в одной, потому что было холодно, но другие комнаты берегли, вытирали пыль. А потом стало тепло, и мы стали жить во всех комнатах. Мать работала комендантом этого дома, а мы с сестрой на фабрике. Там нас все любили, потому что мы всегда пели — и за работой, и на вечерах. Мы одевались очень хорошо, потому что у буржуев осталась швейная машинка и много платьев, и мать все шила и перделывала платья. Она и пить перестала. Только, бывало, по вечерам соберутся к нам товарищи, как в клуб, покушаем (мать ведь кухаркой у чиновника была и хорошо готовила), выпьем по рюмочке и поем, поем. Потом мать умерла, у нее была чахотка. Ну, хоть последние годы пожила в радости. А мы с сестрой вышли замуж. Я за председателя фабкома нашей фабрики, а она за мастера. Они были партийные, и мы стали партийные. Мы жили очень хорошо. Самое большое горе было, когда умер Ильич. Я и в партию вступила в Ленинский набор. Муж меня заставлял учиться, как Ленин велел.

Две дочки у меня были. Я их одевала как куколок. Старшую уже начали учить на рояле, она хорошо успевала и тоже любила петь. У нее голосок был тоненький и чистый, как колокольчик. Бывало, на детском утреннике у нас на фабрике дочка в шелковом платье с пионерским галстуком поет, а муж мне говорит: «Лучше Зойки ни одной девчонки нет, она народная артистка будет». А я вспоминала, как по дворам ходила и завидовала детям, у которых отец есть, и так любила нашу советскую власть, что жизнь бы отдала за нее. У нас в Ленинграде вождь был тогда Зиновьев; я его любила, и муж очень уважал. Мы за него голосовали. А потом сказали, что он изменил Ленину. Было больно и непонятно. А потом был Киров. Я Кирова тоже любила, он к нам на фабрику приезжал, я вечер устраивала и пела. А потом нас арестовали. Говорят, муж был зиновьевец, за него голосовал. И я голосовала. Я считала, что он за Ленина.

Если бы я знала, что он Ленину изменил, я бы его своими руками задушила.

Лиза проплакала всю ночь. Это она мне в первый раз все рассказала, и мне стало стыдно, что я считала ее грубой и глупой за то, что она все про квартиру и мебель вспоминала.

А вчера нам после обеда дали бумагу, чтобы писать письма. Лиза тоже писала, все советовала дочерям беречь свое здоровье, хорошо учиться.

Вдруг открылось окошко, и Лизе подали письмо. Оно было не совсем обычного содержания.

«Дорогая мама, — писала Зоя. — Мне пятнадцать лет, и я собираюсь вступить в комсомол. Я должна знать, виновата ты или нет. Я все думаю, как ты могла предать нашу советскую власть? Ведь нам было так хорошо, ведь и ты и папа — рабочие. Я помню, мы очень хорошо жили. Ты мне шила шелковые платья, покупала конфеты. Неужели ты у «них» брала деньги? Лучше бы мы ходили в ситцевых платьях. А может быть, ты не виновата? Тогда я не вступлю в комсомол, я никогда за тебя не прошу. А если ты виновата, то я больше не буду тебе писать, потому что я люблю нашу власть и врагов буду ненавидеть, и тебя буду ненавидеть. Мама, ты мне напиши правду, я больше хочу, чтобы ты была не виновата, и я в комсомол не вступлю. Твоя несчастная дочь Зоя».

Лиза замерла.

Из четырех страничек, что нам давали для письма, три у нее уже были написаны. Она сидела как каменная. Потом на четвертой страничке написала крупными буквами: «Зоя, ты права. Я виновата. Вступай в комсомол. Это в последний раз я тебе пишу. Будь счастлива, ты и Ляля. Мать».

Она протянула мне письмо Зои, свой ответ и стукнулась головой о стол, задыхаясь в рыданиях.

— Лучше пусть меня ненавидит... Как жить она будет без комсомола, чужой? Советскую власть ненавидеть будет. Лучше пусть меня.

Она отослала письмо, сдала карточку и больше никогда не говорила о дочерях и никогда не получала писем.

СУЗДАЛЬ

После десятилетнего пребывания в Казанской тюрьме все мы, и я в частности, превратились в полукалек, забытых, погибающих от цинги и душевной депрессии. У меня непрерывно болела голова. Редко-редко просыпалась без головной боли, но и в эти счастливые дни

достаточно было скрипа неожиданно открывшейся двери или стука упавшей на пол книги, чтобы вызвать у меня приступ мигрени. Все остальные были не в лучшем состоянии.

Между тем Колыме нужны были рабочие, и было уже решено о переводе нас на работу в лагерь. Было ясно, что мы не работники, и решили перед переводом в лагерь дать нам отдохнуть в несколько лучших условиях.

Всего этого мы не знали, и поэтому, когда нас 10 мая 1939 года посадили в машины и повезли к поезду, волновались мы отчаянно. Перемена ритма жизни, встреча с соседями по камерам, встреча со старыми знакомыми — все это для меня оказалось непосильной нагрузкой.

Я лежала на лавке купе с безумной головной болью и непрерывной рвотой, возникавшей при малейшем движении.

Вокруг все непрерывно возбужденно говорили, старались рассказать о пережитом за три года.

Как в тумане, я увидела возле себя Женю Гольцман. Она меняла мне на голове мокрые тряпки. Я взяла ее руку и пожалала. Она мне ответила. Так мы помирились. Женя сидела около меня всю ночь, временами я чувствовала на горящем лбу прикосновение ее прохладной руки. Потом мы долго стояли где-то в тупике, а я все лежала неподвижно, раздираемая болью.

На следующий день мы приехали во Владимирскую тюрьму, и там я тоже ничего не видела и не чувствовала, кроме рвущей меня боли. Я была в полубреду, и воспоминания об этом путешествии всплывают отрывками. Я помню себя в машине, в открытом грузовике, на котором нас везли в Суздаль. До сих пор я не понимаю, почему нас везли среди бела дня в открытом грузовике по людным улицам Владимира, а не так, как других, словно груз, накрытых брезентом. И самое удивительное, что посередине большой, оживленной улицы наш грузовик сломался — лопнула шина. Пока шофер менял колесо, толпа людей с ужасом смотрела на нас. Я помню лицо старика еврея: он поднял обе руки и громко молился по-еврейски, а по щекам его, по седой бороде непрерывно лились слезы. Наверное, кто-нибудь у него был в тюрьме. Увидев его искаженное от ужаса лицо, я оглянулась на своих соседей. Действительно, мы представляли из себя страшное зрелище: тюремная форма, коричневая с серыми полосами, зелено-бледные лица, тусклые глаза, испуганная охрана, разгоняющая толпу.

Грузовик исправили, и мы поехали дальше.

Приехали мы в Суздаль. Деревянные дома, церкви сразу поразили нас. Было странно идти по неасфальтированным улицам, странно,

что полы в приемной не каменные, а деревянные, чисто вымытые. Пахло печеным хлебом, навозом, сеном и еще чем-то хорошим.

Но самое удивительное нас ожидало по дороге в баню, куда нас повели сразу по приезде. Баня стояла в цветущем вишневом саду! А мы три года не видели деревьев, неба, луны, дождя! На прогулки нас водили в асфальтированные тюремные дворы. Гуляя, мы обязаны были смотреть в землю. Везде и всегда мы были погружены в отвратительный тюремный запах – дезинфекции, параши, сапог, махорки, грязного больного тела. И вдруг мы попали в цветущий вишневый сад!

Луна сияла и отражалась на блестящих листьях. Усыпанные цветами вишенки шептались под легким ветром, цветы благоухали...

Безумное волнение охватило нас. Мы вдыхали этот запах земли, цветов, деревьев, мы тихонько срывали веточки и жевали их, и сладкая горечь проникала в сердце. Ах как хотелось броситься на землю и впитывать всем телом свежесть ее, аромат!

Мылись мы по очереди. Так как я была больна, мне уступили последнюю очередь, чтобы я могла подольше побыть в этом чудесном саду.

В тюрьму мы возвратились на рассвете. Пока нас распределяли по камерам, прошел еще час.

Я попала в камеру с Лидой Дмитриевой, молодой девушкой, с которой я уже сидела в Соловецкой тюрьме. Я мечтала попасть с кем-нибудь из интересных людей. Лида мне ничего нового рассказать не могла.

Так хотелось поговорить с кем-нибудь, обменяться мыслями.

Но когда я вошла в камеру, я сразу утешилась: это была деревянная келья с деревянными кроватями и сенниками, от которых хорошо пахло. Посередине камеры стоял простой деревянный стол и две табуретки. Мебель не была привинчена к полу, и камера напоминала обыкновенную комнату. Но самое большое чудо – это окно: оно было забрано щитом только до половины, и из него были видны церкви, обнаженный весенний лес с мелькающими силуэтами галок и ворон. Видна даже была цветущая яблоня!

А над всем распростерлось бледно-палевое утреннее небо с розовыми облаками... Небо! Знаете ли вы, как оно прекрасно? Если бы люди не видели его каждый день и каждый час, они удивлялись бы ему и за тридевять земель приезжали бы смотреть на него, как сейчас ездят смотреть на море и на какие-нибудь редкости вроде водопадов или пещер. Я не могла наглядеться на него, я часами просиживала у окна, не отрывая глаз от неба. Окно наше выходило на запад. Как хороши были закаты! Никогда ни одно произведение искусства

не потрясло мою душу красотой так, как это окно, из которого было видно небо с силуэтом стройной колоколенки.

Дня через четыре после нашего приезда в Суздаль ночью я проснулась от стука топора за окном. Лида тоже не спала.

Неужели рубят наш сад?

Вполне возможно. Вырубили же в Соловках все деревья в прогулочных дворах, выпалили траву и выкорчевали все до одного зеленые кустики. Тогда мы тоже тяжело переживали это, но сейчас, после трех лет тюрьмы, мы восприняли вишневый сад как чудо красоты... Да он и был чудом!

Сад был виден с нашего прогулочного двора, и мы глядели на него и мечтали о субботе, когда нас поведут в баню и мы ощутим его аромат, его несравненную прелесть.

И вдруг наш сад рубят. Мы прислушивались всю ночь, и, когда раздавались удары топора, нам казалось, что бьют по нашим телам.

Может быть, завтра заколотят окно, и мы снова будем лишены неба? Ведь мы в полной власти своих мучителей.

Мы с Лидой проплакали всю ночь. Со страхом пошли мы на прогулку и увидели шелестящий на ветру, нетронутый чудесный наш вишневый сад.

Мы ошиблись, его не рубили — это чинили забор.

От двухмесячного пребывания в Суздале осталось впечатление золотых закатов и благоухающего вишневого сада.

Как много и как мало нужно человеку!

Много — потому что, кроме хлеба, человеку нужна красота. Мало — потому что мы только через окно видели небо и раз в неделю проходили садом, а души осенены были красотой. Никогда не забуду это суздальское небо и суздальский вишневый сад.

ЭТАП

После двухмесячного пребывания в Суздале, 10 июля 1939 года с самого утра мы поняли, что происходит что-то необычное. По коридорам непрерывно и шумно ходили, отпирались камера за камерой, слышались слова команды и, что совсем удивительно, голоса заключенных. Наконец вошли к нам:

— Собирайтесь с вещами.

И через полчаса:

— Выходите.

Нас вывели во двор. Там уже толпилось тридцать-сорок женщин. Лица опять меня поразили зеленой бледностью и каким-то ненор-

мальным выражением. Несколько женщин были обриты наголо. Из тех, с кем я сидела, были Мария Даниелян, Нина Верестова и Лиза Цветкова, та самая, которой перестали писать дочери. Не было Жени Гольцман. Я спросила о ней Нину, и она сказала, что Женя умерла. К счастью, это оказалось неправдой.

Не было Ольги Ивановны Никитиной. Она лежала в тюремной больнице в параличе.

Меня окликнули:

— Кто здесь Ольга Слиозберг?

Я отозвалась. Ко мне подошла Ольга Радович, девушка двадцати восьми лет, подтянутая, с уложенными короной золотистыми косами и каким-то беленьким воротничком на тюремном платье. Ее неистребимый украинский румянец пробивался даже сквозь тюремную бледность.

— Я все мечтала попасть в одну камеру с вами, — сказала Ольга. — У нас с вами, наверное, найдется много общих интересов, я про вас слышала. А я все так неинтересно попадала, не с кем поговорить.

Я про Ольгу тоже слышала: она была искусствоведем и, кроме того, занималась художественным чтением. У нас, конечно, было много общих интересов, но в основном мы впоследствии не очень сошлись: Ольгу удивляли мои мучительные раздумья о причинах случившегося с нами. Для нее было ясно, что мы попали в лапы к бандитам и нужно как-то пережить, перетерпеть эти страшные годы.

Я встала рядом с Ольгой, и мы решили в дальнейшем по возможности держаться вместе.

После нескольких переключек и проверок нас сдали на руки конвою, посадили в закрытые грузовики и повезли во Владимир.

Мы последний раз взглянули на вишневый сад, колокольню, силуэт монастыря. Нас ждала новая, страшная, неизвестная жизнь.

Во Владимире мы переночевали, а назавтра нас погрузили в теплушки и повезли на восток.

В нашей теплушке было семьдесят человек. Мы непрерывно разговаривали, общение с такой массой людей опьяняло после трех-четырёх лет тюремной изоляции. Наконец можно было говорить в полный голос, мы кричали, пели. Встав на нары, глядели в узкое, как щель, окно, которое шло вдоль теплушки.

Здесь я наконец услышала, как поет Лиза. У нее действительно был необыкновенный голос. Тембр — чистое золото. Пела она без всякого напряжения, разливалась рекой. Иногда она пела романсы Глинки и Чайковского, но пела их очень по-ученически, как выучилась в самодеятельности. Но когда она пела народные песни: «Далеко-далеко

степь за Волгу ушла», или «Степь да степь», или «Ах ты сад, ты мой сад», – лучшего исполнения я в жизни не слышала.

С нами ехала одна казанская татарка, Асхаб. Это была полуграмотная женщина, мать шестерых детей. За что ее посадили, я не знаю, она никогда об этом не говорила. Она сразу же принялась за дело: вытаскивала нитки из какого-то одеяла, раздобыла две палочки, из которых сделала спицы, и начала вязать кофточку. Когда я ее спросила, для кого она вяжет, она ответила: «Ты глупый или как? Приедем в лагерь – менять буду на хлеб, на сахар». А я и не думала, что можно что-то менять на хлеб, на сахар. Асхаб была в курсе дела.

Эта деловитая Асхаб иногда, когда все стихали, пела нежным, высоким голосом татарские песни, полные такой грусти и прелести, что хотелось плакать.

Среди нас было много рассказчиков. Галя Иванова помнила наизусть много поэм Пушкина, целиком «Евгения Онегина», «Горе от ума», «Лейтенанта Шмидта» Пастернака.

Великолепно читала Ольга Радович. Ната Онуфриева рассказывала «Идиота» Достоевского текстуально точно. Рассказывала она его три дня.

Помню, кто-то из нас читал «Горе от ума». На остановке подошли к нашей теплушке командир конвоя и трое солдат. Они, очевидно, некоторое время слушали, потом быстро открыли дверь и потребовали отдать книгу. (Книг не полагалось.) Мы сказали, что никаких книг нет. Командир усмехнулся и ответил: «Да я сам слышал, как читали». Начали обыск. Перевернули всю теплушку – книги не было. Вдруг Галя, глядя на конвоиров, начала читать: «Мой дядя самых честных правил...» Командир постоял минут десять, подозрительно поглядывая, не показывает ли ей кто-нибудь книгу издали, потом махнул рукой, повернулся и вышел. Ему все-таки казалось, что мы его обманули.

О «делах», о политике никто в вагоне не разговаривал. Все были счастливы, что вырвались из тюрьмы и едут хоть в лагерь. Напуганы были так, что испытывали отвращение к любому слову, которое можно истолковать как «политику».

Однажды вечером на каком-то длинном перегоне слетел от тряски замок с двери и дверь теплушки раздвинулась во всю ширь. Был закат. Необозримая степь лежала в цвету... В смрадный, душный воздух переполненной теплушки широкими волнами влилось дыхание степи, повеяло ароматом трав и цветов. Мы замерли. И вдруг раздался истерический голос: «Конвой, конвой, закройте дверь!» Поезд шел, никто не слышал. Раздались еще голоса: «Надо вызвать конвой, а то подумают, что мы сделали это сами, хотели бежать».

Бежать не хотел ни один человек. Бежать могли люди, связанные с преступным миром, с политическими организациями. Ну что, например, могла бы делать я, если бы мне дали свободу, но не дали паспорта? Ведь дальше квартиры на Петровке в Москве мои мечты не шли, а на Петровке меня назавтра же поймали бы и возвратили в тюрьму с дополнительным сроком.

Итак, мы стояли молча и смотрели на «свободу», лежавшую на расстоянии вытянутой руки.

На ближайшем полустанке дверь закрыли, и видение свободы исчезло.

Не помню — в Свердловске или в Иркутске, мы стояли день, и нас повели в санпропускник. Это было прекрасно оборудованное учреждение. Раздевались мы внизу и хотели уже подняться наверх по лестнице, когда увидели, что вдоль перил снизу доверху выстроились конвоиры. Мы скупились.

Почти все стояли, опустив глаза, с красными пятнами на лицах. Я подняла голову и встретила глазами с офицером, начальником конвоя. Он исподлобья смотрел на меня и говорил: «Ну, давайте, давайте, не задерживаться!»

И вдруг я почувствовала облегчение, мне даже стало смешно.

«Плевать мне на них, они для меня такие же мужчины, как бык Васька, которого я боялась в детстве», — подумала я и первая, нахально глядя на конвоира, пошла вверх. За мной пошли остальные.

Итак, мы прошли сквозь строй. Как мы узнали потом, то же сделали в этот день еще с четырьмя партиями женщин, ехавших в нашем эшелоне.

Наверху на площадке было зеркало во всю стену. Мы не видели себя более трех лет. Все же мы были женщины. Увидев зеркало, мы побежали к нему толпой. Я подбежала к зеркалу и, стоя в толпе, не могла понять, где же я.

И вдруг я увидела усталые и печальные глаза моей мамы, ее волосы с проседью, знакомую, грустную складку у рта...

Это была я. Я стояла, разинув рот, и не могла поверить, что я уже не молодая женщина, к которой на улице обращались «девушка», а вот эта пожилая, грустная женщина, на вид лет сорока...

Конвоиры кричали: «Давай, давай! Ваша партия моется двадцать минут!»

Мы вбежали в баню и принялись добывать себе шайки, тайком стирать какие-то тряпки — одним словом, включились в этапную суету...

Но еще долго я вспоминала грустное, усталое лицо и седую голову, которые глянули на меня из зеркала, и старалась приучить себя к мысли, что это я.

Этап продолжался тридцать четыре дня. Был период, когда нам давали очень мало воды: не было посуды, а перегоны были длинные. Я не очень страдала от жажды, но у нас в вагоне была женщина с тяжелым диабетом. Это была врач по фамилии Завалишина. Она умерла от жажды. Мы уступали ей двойной и тройной паек, но для нее это было на один глоток.

Я сэкономила из своей порции полстакана для того, чтобы умыться. Однажды она смотрела, как я чищу зубы и умываюсь, и сказала: «Какая жестокость! Умываться водой, когда так хочется пить!» Мне стало ужасно больно, и я до сих пор без рези в сердце не могу вспомнить ее глаза загнанной лошади.

Она умерла на 30-й день этапа.

16 августа 1939 года мы приехали на пересылку во Владивосток.

КОЛМОГОРСКИЙ

После четырех лет тюрьмы, в которой главным наказанием, унижающим человеческое достоинство, было лишение труда, мы приехали в Магаданский лагерь. Нас приняли хорошо. Мы резко отличались от лагерников бледностью лиц, испуганным видом и полной бестолковостью. Первые три дня мы не работали, отдыхали и целыми днями обсуждали преимущества лагерной жизни перед тюремной. Мы видели людей и говорили с ними.

Население лагеря (около 1000 человек) нам казалось огромным; столько людей, столько бесед, так много можно найти друзей!

Природа. Мы ходили внутри огороженной проволокой зоны и смотрели на небо, смотрели на дальние сопки, подходили к чахлым деревьям и гладили их руками. Мы дышали влажным морским воздухом, ощущали на лицах моросящий дождь (стоял август), садились на влажную траву, прикасались руками к земле. Мы жили без всего этого четыре года, а оказывается, это совершенно необходимо, и без этого нельзя себя чувствовать нормальным человеком.

Труд. Мы мечтали о труде и говорили о нем словами, выливающимися из сердца, словами, которые казались лагерникам, ненавидящим подневольный тяжелый труд, высокопарными, глупыми и неискренними.

И вот наступил третий день лагерной жизни, когда нам сказали, что те, кто чувствует себя в силах, может выходить на работу. (Обязательный выход был через неделю.)

Накануне мы волновались, как перед праздником. Восемнадцать человек, в том числе и я, решили выйти на работу. Остро хотелось вый-

ти за зону, пройти по улице, попасть в неогороженное пространство, увидеть лес, море.

– Выбирайте себе бригадира, – сказал разводящий.

Меня выбрали бригадиром. Я осмотрела уже хозяйским взглядом свою бригаду. Интеллигентные лица, седые головы. Два профессора, одна писательница, две пианистки, одна балерина, человек шесть партработников. Все горожанки. У всех атрофированы мускулы четырехлетним бездействием. Все мечтают доказать трудом, «какие мы честные, как мы хотим работать, какие мы советские люди».

Нас выводят за зону. Идем по строящемуся городу.. На большом пустыре на окраине города стоит почти достроенное здание больницы. Веселые румяные девицы протирают окна, переговариваются между собою и заигрывают с охраной.

Моросит колымский мелкий дождь, но нам весело чувствовать его, нам кажется, что мы почти на свободе.

Подходит десятник Колмогорский. Это стройный мужчина лет сорока, щегольски, на наш взгляд, одетый: в серой каракулевой папаче, блестящих сапогах, в телогрейке, туго стянутой широким поясом. С любезной улыбкой он обращается ко мне и объясняет задание:

– Вы будете копать канаву. Она начата, имеет метр глубины. Надо углубить ее до трех метров. Норма выработки грунта – девять кубометров в день на человека. Вы лично можете не работать, норма на бригадира не дается. Продолжительность рабочего дня в летнее время – 15 часов. Один час перерыва на обед. Начало работы в шесть часов утра, конец – в девять часов вечера. Обед привезут в час дня.

После этого он выдает тяжелые ржавые лопаты и мы приступаем к работе. Мы не представляем, что это такое – девять кубометров, мы смутно понимаем, что значит 15-часовой рабочий день. Мы полны энтузиазма.

Я расставляю свою гвардию через три метра человек от человека, становлюсь сама, и начинаем работать. Я заявила, что перекур будет по сигналу каждый час на десять минут.

Моросит дождь. Грунт – глина. Оказывается, что лопата очень плохо входит в грунт, и мы захватываем только на кончик ее мокрую глину. Глина ужасно тяжелая и обладает противным свойством сваливаться с лопаты, когда мы ее довольно медленно доносим наверх, на бровку. Выкинуть ее рывком у нас не хватает сил. Все же мы принимаемся за работу. Часов у меня нет, но я ясно чувствую, что прошло ужасно много времени, я устала до изнеможения.

– Перекур! – объявляю я.

Моя мужественная бригада протестует:

– Что вы, прошло не более двадцати минут!..

Конечно, может быть, и двадцать минут, но у меня нет больше сил, и нет сил ни у кого. Мы кладем лопаты и садимся на черенки.

– Кончай перекур! – команду я, и мы опять начинаем копать.

До обеда мы делаем, наверное, тридцать перекуров, и все труднее и труднее давать команду на работу, и вставать и втыкать ржавую, неудобную, облепленную глиной лопату в грунт, и выбрасывать обидно маленькие комки глины за бровку.

Привозят обед, роскошный с нашей точки зрения. Уха из свежей кеты, куски жареной кеты и даже кисель. Как мы ни устали, мы едим с удовольствием, но кажется, что звонок на работу прозвенел невероятно быстро. Мы становимся по местам и копаем. Рядом со мной стоит маленькая мужественная женщина Рая Гинзбург. Я вижу, как пот льется у нее со лба обильными ручьями. Она работает, закусив губу, но каждый раз, когда я собираюсь объявить перекур, она торгуется со мной: «Еще десять лопат». Она же толкает меня: «Давайте сигнал на работу».

Я смотрю на нее с удивлением. У нее маленькие изнеженные руки и необычайно хрупкая фигурка. У нее большое сердце. Она никогда не работала физически. Она гораздо слабее меня, но выдержаннее. Я люблюсь ею и стараюсь по ней равняться.

День длится невероятно медленно. Подходит Колмогорский. Я стараюсь по его виду определить, много ли мы сделали, но не могу понять.

В один из перерывов к нам подходят девицы из бригады поломоек и смеются:

– Ну, Колмогорский вам угодил. Вот так работенка!

– А вы делаете норму, справляетесь? – спрашиваю я.

– Мы? По три нормы и платочки обвязываем. Мы привычные, в лагере уже по пять-семь лет.

Я с уважением смотрю на нее.

– А что за человек Колмогорский?

– Он кончает срок, по лагерям с 1930 года. Казак. Мальчик не промах, устроился неплохо, девок хоть отбавляй...

Мы копаем. Наверное, никогда не будет отбоя. Я теряю счет перекурам, и под конец дня даже Рая не протестует, когда я их объявляю.

Мы копаем, а дождь моросит, наши тяжелые бушлаты мокры насквозь, глина облепила обувь. Мы копаем. Наконец звонок. Отбой. Обратный путь кажется невероятно длинным.

В первый день мы минуем столовую, заходим в бараки умыться перед ужином. Но оказывается, что вернуться из барака в столовую немислимо – нет сил. Мы валимся на койки и мгновенно засыпа-

ем — и очень скоро слышим звонок на подъем. В дальнейшем мы уже прямо с работы, грязные и облепленные глиной, идем ужинать, а потом добираемся до барака.

Мы копаем три дня. С тревогой мы смутно понимаем, что канава не подвигается, что ни о каких девяти кубометрах в день на человека не может быть и речи. Но я все-таки почему-то надеюсь, что мы сделали довольно много. Ведь мы так старались!

К концу третьего дня приходит Колмогорский с метром и замеряет. Потом странно ухмыляется и приглашает меня зайти в контору. Я захожу и вижу роскошно накрытый стол. На столе скатерть из чистого мешка, спирт, банка молочных консервов, соленая кета, зеленый лук, сало. Мне это кажется фееричным. Он приглашает меня за стол, и я сажусь. Он угощает меня спиртом и заявляет, что отказываться нельзя, «иначе блат будет поломан».

Я мужественно в первый раз в жизни пью спирт. Это очень противно, но я понимаю, что с ним надо установить хорошие отношения.

От спирта ноги слабеют, но голова еще ясная. Я перехожу к дипломатической беседе.

— Плохо, очень плохо. Вы сделали три процента. Наверное, ваши бабочки по кустам с мужиками шныряют?

— Что вы, у нас такой состав бригады! Все порядочные женщины, они стараются изо всех сил! Но нам трудна эта работа, женщины пожилые, горожанки, после четырех лет тюрьмы... Дайте нам другую работу, хотя бы мыть полы и окна, мы покажем, как добросовестно мы будем работать...

— Оставьте! Ну, сделали бы полнормы, а то три процента. Согласитесь, что это маловато. Признавайтесь, бегают ваши дамы к мужчинам?

— Нет, нет! Разве вы не видите, какие это люди? Как они стараются изо всех сил. Ведь это же все бывшие члены партии...

И вдруг с лица Колмогорского кто-то сдернул маску любезного собеседника, и я увидела звериный оскал.

— Ах, бывшие члены партии? Вот если бы вы были проститутки, я дал бы вам мыть окошечки и вы делали бы по три нормы. Когда эти члены партии в 1929 году раскулачивали меня, выгоняли из дома с шестью детьми, я им говорил: «Чем же дети-то виноваты?» Они мне отвечали: «Таков советский закон». Так вот, соблюдайте советский закон, выбрасывайте по девять кубометров грунта! — Он хохотал. — Соблюдайте советский закон!.. Подождите-ка, дамочка! Я вас могу перевести бригадиром к девушкам в дом. Ведь вы-то не были членом партии? Я видел ваше дело. Вы симпатичная дамочка, вам лично я с удовольствием услужу.

– Нет, вы ошибаетесь. Я тоже была членом партии, – сказала я и ушла.

Я первый раз в жизни выдала себя за того, кем я не была.

МАМА

У меня болели зубы. Вечером после работы я подошла к командиру и попросила отпустить меня в больницу. Командир внимательно посмотрел на меня и изрек:

– Не надо идти, пройдет и так.

Спорить было бесполезно. Я села у печки и начала терпеть. Я плакала от бессилия, от боли, от обиды. К утру боль начала проходить, но щеку вздул огромный флюс. На утренней поверке командир опять посмотрел на меня и изрек:

– Теперь идите.

Мороз был несильный, градусов 35, светило солнце, идти было десять километров. Боль отступила, мне было жарко, да устала я очень от бессонной ночи, от боли, от слез, от всей своей жизни.

Я решила отдохнуть и легла в сугроб. Сразу сладкое оцепенение охватило меня, и я заснула. И я увидела – в бреду ли, во сне ли – мамино лицо, красное от напряжения и гнева.

– Сейчас же вставай! – говорила мама.

– Мамочка, не надо меня будить, мне так хорошо! Хорошо так умереть и больше не мучиться. Мамочка, дай мне умереть!

– Ты умрешь, отдохнешь, а я? Я буду жить с мыслью, что никогда тебя не увижу, что ты погибла в сугробе? Я-то ведь не могу умереть, у меня твои дети на руках!

Я встала и пошла. Все плыло у меня перед глазами. Через полчаса я без сил опять легла в сугроб, и опять увидела мамино лицо, и опять встала и поплелась. Шла я эти десять километров часов пять. Ложилась в сугроб и вставала, потому что неотступно видела мамино лицо.

В больнице я свалилась без памяти с температурой сорок и пять и пролежала неделю. Доктор удивлялся, как я прошла в таком состоянии десять километров.

РАССКАЗ МАМЫ ПРО КРУПСКУЮ

Моя мать ходила, обивала пороги везде, где, ей казалось, могли мне помочь. Кто-то надоумил ее пойти к Крупской. Мама пошла к Надежде Константиновне и, увидев ее доброе лицо, начала плакать. Она уже привыкла просить, умолять холодных чиновников, а тут,

рассказывает мама, старая, грустная, уставшая женщина. «Ну, — думаю, — если кто поймет, то она. Я ей говорю: “Пусть разберутся в деле моей дочери, головой вам ручаюсь, невиновна она! Двое детей осталось, четырех и шести лет, вот карточки, посмотрите! Разве можно у матери детей отнимать! Какая она может быть преступница — работала она, а дома детей с рук не спускала, минуты без них не могла. Из дому нельзя было выгнать, от детей на вечер оторвать. Мать она, поймите!” А сама плачу — слезы льются рекой.

Надежда Константиновна мне говорит: “Успокойтесь, мамаша, не плачьте! К сожалению, в деле вашей дочери я помочь не могу, а вот внуков, если желаете, устроим в хороший детский дом...”

А я ей ответила: “Не могу поверить, чтобы жена Ленина не могла добиться, чтобы дело справедливо рассмотрели. Внуков, если у вас есть, отдавайте в детский дом. А я простая женщина, своих внуков сама воспитаю. Полы мыть пойду, а дети сыты будут”. Повернулась и хотела уйти. Взглянула на нее гордо — а у ней слезы по щекам бегут. И так мне жалко ее стало, поняла я, что она страдает, а сделать ничего не может.

“До свидания, Надежда Константиновна”, — сказала я.

“До свидания, будьте мужественны”, — сказала она. И я подумала, что ей так же горько, как мне. Так я и ушла».

ГАЛЯ

С Галей Прозоровской мы работали на пару на лесозаготовках. Она сначала была сильнее и ловче меня, но постепенно начала сдавать. Она работала все медленнее и медленнее, и мы кончали нашу общую норму (восемь кубометров в день на двух человек) все позднее и позднее. Все уже уходили домой, а наш штабель еще не был собран, и двигаться быстрее у нас не было сил.

Я всегда сдавалась первая: «Бросим, Галя, завтра сложим, я больше не могу».

Галя испуганно отвечала:

— А норма? Переходить на 400 граммов?

Выполняющие норму получали 600 граммов хлеба, а невыполнявшие — 400 граммов в день. Эти 200 граммов разницы решали вопрос жизни, потому что на 400 граммов хлеба в день нельзя было жить при работе на пятидесятиградусном морозе.

— Да... Норма! Ну, поднатужимся.

Мы складывали штабель дров, причем я немилосердно «туфтила», подкладывая внутрь штабеля снег и коряги. Галя меня умоляла:

– Не надо, вдруг поймут... Какой позор! Бывшие члены партии и подкладывают в штабель снег.

Так или иначе, восемь кубометров сложены, и уже совсем темно, а идти домой пять километров. И вот мы пускаемся в обратный путь. Мороз сковывает спину, руки и лица. Нужно все напряжение воли, чтобы идти и идти часа полтора-два по пустынной лесной дороге, когда каждая нога весит пуд, а от слабости и голода трясутся колени, платок, закрывающий лицо, превращается в ледяную заслонку, дышать трудно.

Но впереди теплый барак, горячая баланда, 200 граммов тяжело-го, мокрого и такого вкусного хлеба. Впереди отдых на нарах, пылающая печь. Итак, мы идем.

Каждый день мы выходим с участка все позже и позже, и дорога домой все удлиняется, потому что вырубка леса все дальше отходит от барачков.

Однажды мы с Галей шли, еле передвигая ноги. Было очень холодно. Луна сияла и, отражаясь в снегах, освещала путь. Мы уже приближались к лагерю, как вдруг Галя с размаху упала на спину и осталась лежать неподвижно.

– Галя, Галя, – тормошила я ее.

Никакого ответа. Она лежала как мешок. Нечего было и думать поднять ее, на это у меня не было сил. Вынула руку из рукавицы проверить пульс – ничего не услышала. Если умерла – подберут, а сейчас надо идти, а то я тоже замерзну. А что, если жива? Через час она превратится в кусок льда. Сделать я ничего не могу и решаю уйти, а то замерзнем обе. Я решительно делаю несколько шагов по дороге, потом возвращаюсь:

– Галя, Галя!

Ответа нет. Что же делать?

– Галочка! Галя!

Ответа нет. И вдруг я слышу скрип саней и топот лошади по параллельной дороге, метров двести от нашей. Бегом бегу, проваливаясь в снег, кричу, натыкаюсь на пни, падаю, задыхаюсь от мороза, крика, бега.

Наконец я около мужика, везущего навоз.

– Товарищ, ради бога, спасите, женщина замерзает!

Он очень недоволен. Он тоже замерз, устал и мечтает о печке, о баланде, о двухстах граммах вечернего хлеба.

Я умоляю его, плачу, цепляюсь руками за его бушлат, когда он хочет уехать. Ругаясь, поворачивает он на нашу дорогу, и мы вдвоем взваливаем на мерзлый навоз Галю.

Минут через пятнадцать мы с ним в нашем бараке, сидим у печки. По моей просьбе повариха наливает нашему спасителю миску баланды. Он оказывается ленинградским певцом. Мы говорим о театре, о музыке, а очнувшаяся Галя лежит на нарах, согревается, и слезы непрерывно бегут из ее глаз.

ХЛЕБ

Выполнявшим норму на лесоповале раз в месяц давали дополнительно один килограмм хлеба.

Об этом хлебе мы мечтали задолго. Какой вкусный был этот хлеб! Обычно я его получала, но один месяц дело у меня не ладилось. Я несколько раз недотягивала норму, и месячного выполнения не получилось.

Сердце мое задолго уже предчувствовало недоброе. Перед выходным днем, придя с работы, мы бросились к спискам, и я не нашла своей фамилии. Я надеялась, что мне все же выпишут этот килограмм хлеба.

Попавшие в список радостно побежали получать хлеб, а не попавшие делали равнодушные лица и притворялись, что не смотрят, как рядом пируют.

Выходной день был испорчен. Правда, кусочек мне дала соседка, но это совсем не то, что целый килограмм.

Назавтра, когда мы возвратились с работы, дневальная встретила меня возгласом:

— Беги в барак, посмотри, что у тебя под подушкой лежит!

Сердце у меня забилося. Я подумала: наверное, мне все-таки дали мой хлеб!

Я подбежала к постели и отбросила подушку. Под подушкой лежали письма из дома, три письма! Я уже полгода не получала писем.

Первое чувство, которое я испытала, было острое разочарование: это был не хлеб, это были письма! А вслед за этим — ужас. Во что я превратилась, если кусок хлеба мне дороже писем от мамы, папы, детей!

Я раскрыла конверты. Выпали фотографии. Серыми своими глазами глянула на меня дочь. Сын наморщил лобик и что-то думает.

Я забыла о хлебе, я плакала.

БАСЯ

Басе было девятнадцать лет. Она получила пять лет исправительно-трудовых лагерей за сионизм.

Арестована она была вместе со своим женихом, двадцатилетним студентом Осей. Наружность у Баси была типично ангельская, если

можно так выразиться. Золотые локоны, голубые глазки, ярко-розовые щеки, рост — сто пятьдесят сантиметров, губки как вишни. Но редко наружность бывает так обманчива. Бася была далеко не ангел, это была девица с очень сильным характером. И еще голос. Голос у Баси был невероятно пронзительный, высокий, она во все вмешивалась, стояла за правду, и, если она была в бараке, это было слышно.

Как-то на разводе подошел к ней нарядчик:

— Пойдешь в дежурку полы мыть.

Мыть полы считалось блатной работой: в тепле, дело женское, не то что возить дрова на быках или кайлить землю. Бася охотно согласилась, но, придя с работы, мы застали ее в бараке горько плачущую и рассказывающую своим пронзительным голосом, как сначала начальник угощал ее колбасой и салом, потом начал приставать к ней так, что ей пришлось смазать его мокрой тряпкой, он разозлился и сказал: «Завтра пойдешь возить бревна на быках».

Бася ужасно боялась быков, а они ее совершенно не слушались. Они привыкли к грубым голосам, мату, а Бася бегала вокруг них, ругала их противными животными и плакала. А они ложились и обращали на нее не более внимания, чем на муху. Проходило два-три дня, начальник опять звал ее мыть полы, и кончалось все это теми же быками. Наконец начальнику надоело, и он решился на крайние меры.

— Быков занимаешь, а никакого толку, — заявил он как-то на поверке. — Завтра пойдешь на пару с Прохоровым возить бревна.

Прохоров был один из немногих мужчин в нашем лагере. Он чинил сбрую, инструмент, возил самые тяжелые бревна. Это был мужчина лет пятидесяти, страшного вида: огромный, с плечами, похожими на комод, с длинными, чуть не до колен, руками. При раскулачивании он убил трех человек. Матерщинник, каких мы еще не видели, он казался Басе ужасно страшным. Она рыдала и говорила, что не пойдет с Прохоровым, лучше в карцер. Вдруг в барак вошел Прохоров.

— Ты что ревешь? — спросил он Басю. — Прохорова боишься? Прохорова не бойся, начальников бойся! Прохоров тебя не обидит. — Он повернулся и вышел.

Озадаченная Бася успокоилась и пошла назавтра работать на пару с Прохоровым с двумя упряжками быков. С этого дня началась странная дружба между огромным гориллообразным Прохоровым и ангелочком Басей. Он ее подкармливал и работал за нее. Наша Бася потолстела и говорила, что Прохоров очень хороший.

Однажды весь барак смеялся над рассказом Прохорова, а Бася топала на него ногой и кричала: «Замолчи, замолчи!» Прохоров, не обращая на нее внимания, продолжал рассказывать:

– Нагрузил я подводы, хватать, Баськи моей нет. Туда, сюда, гляжу – стоит за деревом, плачет, руки отморозила, штаны застегнуть не может. Ну, я чин чином застегнул ей штаны, ремень затянул, зажег охапку сена – грей руки, Баська. Посадил на бревна, целенькая приехала. Знай Прохорова!

Бася проработала с Прохоровым два года, и он охранял ее как цепная собака.

Освободившись, Бася поехала к своему жениху, который отбывал срок в одном из дальних мужских лагерей. Жених ее к тому времени уже освободился и остался работать в лагере снабженцем. Бася сразу почувствовала, что он сильно переменялся, даже в улыбке его была какая-то смесь самодовольства и угодничества. Перед ней был совсем чужой человек, отлично ладивший с начальством. Не попробовав даже приготовленного угощения, Бася села в попутную машину и уехала обратно. В Ягодном она поступила на работу в столовую, а через год вышла замуж за Моню Лурье. До ареста Моня был студентом Литературного института, но, к счастью, его отец, сапожник, в свое время заставлял своего ученого сына помогать ему в работе. Это спасло Моне жизнь. Весь свой срок он латал тяжелые, ржавые от пыли ботинки лагерников, их прожженные у костров валенки, а заодно шил изящные туфли женам начальников. И, освободившись, он работал сапожником в Ягодном. Бася родила прелестного ангелочка – Мишеньку. Она оказалась очень хорошей матерью и женой. Комната у них была большая, и Басин дом стал пристанищем для всех, кто освободился, но еще не успел устроиться. Я сама прожила у них недели две. Моня мне понравился, маленький Миша тоже. Главой семьи, конечно, была Бася. Это была первая настоящая семья, которую я увидела за восемь лет.

Моня мне говорил: «Много я видел чудес, но что можно пройти Колымский лагерь и остаться девушкой – в это я бы не поверил ни за что. Но Бася осталась».

ЗОЛОТО

Мы шли на покос. Остановились на отдых, варили кашу. А потом я пошла к ручью мыть посуду. Зачерпнула воды с песком, чтобы почистить миску, а когда вылила воду, на дне миски остались крупинки золота. «Золото, золото!» – закричала я. Все женщины сбились вокруг меня и глядели. Подошел Прохоров.

– Все бы такое золото было! Обманка это, – внушительно сказал он и, зачерпнув воду, выплеснул ее на землю.

Все успокоились, занялись своими делами и забыли о золоте.

Мы пошли дальше. Прохоров впереди вел лошадь. Я как-то очутилась рядом. После долгого молчания он сказал:

— Ну, значит, ты — дура. Образованная, а дура. Ну зачем тебе золото? Живем тут, сено косим. А найдут золото — знаешь, сколько людей покалечат? Ты видела, как на прииске работают? А мужик твой не там? Не знаешь? Может, давно за это золото в шурфе лежит. Один сезон человек на золоте может отработать — и конец. Как же не дура?

— Так это было золото?

— А что же? Конечно, золото.

ТРУД

Предметом спора было отношение к труду. Старые лагерники, особенно мужчины, издевались над нашим стремлением хорошо работать. — Через честный труд к освобождению? — смеялись они.

Нечего и говорить, что трудом нельзя ничего было добиться, что нас обманывали, что бригадиры-блатари записывали нашу выработку своим дружкам, что демонстративно для политических заключенных были отменены зачеты (уголовникам за хорошую работу день засчитывался в полтора и даже два). Нам давали негодный инструмент и самые тяжелые участки.

Кроме того, трудно было что-либо возразить на такое рассуждение: вы работаете и делаете рентабельной подлую лагерную систему. На вашем труде, на вашей жизни и здоровье делают карьеру и получают ордена и премии «начальнички».

А между тем труд — это было последнее, что нас отличало от массы деморализованных и циничных блатарей. Их отношение к труду было страшным. Я помню, когда я была бригадиром полеводческой бригады, мы выращивали капусту. Капуста в тех местах спасала лагерников от цинги. В условиях вечной мерзлоты мы нянчились с капустой, как с ребенком: по нескольку раз в лето удобряли и подкармливали ее, укрывали дымом от заморозков, без конца поливали. Как мы радовались, когда, вопреки засухе, вечной мерзлоте, июньским снегопадам, на наших участках завивались белые головки! Мы были очень голодны, но никогда не позволяли себе съесть несозревшие кочаны. Мы обрывали крайние листочки и варили серые щи. Однажды я, пройдя по полю, заметила, что у целых рядов капусты нет сердечек, из которых развивается кочан. Я сначала подумала, что это какой-то жучок-вредитель съедает их и нужно немедленно начинать с ним борьбу. И вдруг я увидела, как одна из работниц нашей бригады, уголовница Валя, преспокойно отрывает сердечки и, как семечки, их грызет.

– Почему ты это делаешь? Ведь ты погубишь весь урожай!

Она тупо улыбнулась и ответила:

– А на кой он нам нужен? Все равно начальничек кормить будет.

Я чуть не избила ее, ярость залила мне глаза, а она невинно улыбалась:

– С чего психуешь?

Труд был единственно человеческим, что нам оставалось. У нас не было семьи, не было книг, мы жили в грязи, вони, темноте, терпели унижения от любого надзирателя, который мог ночью войти в барак, выстроить полуодетых женщин и, под предлогом обыска, рыться в наших постелях, белье, читать письма. В банях нас почему-то обслуживали мужчины, и, когда мы протестовали, «начальнички» посмеивались и отвечали: «Снявши голову, по волосам не плачут»... Только труд был человекен и чист. Мы делали крестьянскую работу, которую до нас делали миллионы и миллионы женщин. Мы радовались делу рук своих. Мы хотели быть не хуже, чем деревенские женщины из раскулаченных, которые вначале посматривали на нас даже с некоторым злорадством: «А ну-ка, вы, образованные! Вы сидели на нашей шее, книжки читали. Попробуйте-ка косу да грабли...» Раскулаченные крестьяне, конечно, работали лучше всех, но бригадиры (бывшие кулаки) дрались за «политиков» — они знали, что мы будем работать добросовестно и систематически, уголовники же рванут в час так, что за ними не угнаться, а чуть отвернется бригадир, лягут и будут спать, пусть вянет рассада, пусть мороз побьет молодые растения.

Тяжелый крестьянский труд вдали от конвоиров, вдали от чужих, злых людей — единственно светлые воспоминания во мраке лагерной жизни.

Бывало, уйдем нашим звеном в шесть человек далеко в поле. Трое косят, трое гребут. Идешь с косой по полю. Светлый простор бедной колымской земли лежит перед тобой. Чудесный аромат увядающего поля. Бледное, прозрачное небо...

Больно было, когда труд, в который мы вложили душу, оказывался издевательством, бессмысленным трудом для наказания.

Мы долбили в мерзлой почве канавы для спуска талых вод.

Работали на пятидесятиградусном морозе тяжелыми кайлами. Старались выработать норму. Если за ночь снег заносил неоконченную канаву, мы ее очищали и углубляли точно до нормы. Вероятно, никто не заметил бы недоделанных десяти-пятнадцати сантиметров, но тогда ведь вода задержится, пойдет с полей не так, как надо!

Это был очень тяжелый труд. Земля — как цемент. Дыхание застывает в воздухе. Плечи и поясница болят от напряжения. Но мы

работали честно. А весной, когда земля оттаяла, пустили трактор с канавокопателем, и он в час провел канаву такую же, как звено в шесть человек копало два месяца.

Я спросила:

— Почему не роют так все канавы?

— А вы что будете делать? — ответил десятник. — На боку лежать и поправляться? Нет, милая, в лагерь вас привезли работать!

Мне стало необыкновенно стыдно. Боже, какой позор! Нас наказывали бессмысленным трудом, и мы выполняли наказание с энтузиазмом! Какие рабы! Я поклялась больше не вкладывать в труд души и обманывать лагерь где смогу. Мне это не удалось, я не смогла переделать свою природу и работать «по-блатному», но энтузиазма поубавилось.

И все-таки труд нас спасал. Те, кто не работал, погибали от голода, а также от душевного расстройства, вызванного отсутствием могучего отвлечения — труда, требовавшего напряжения всех физических и духовных сил. Бывали случаи, что погибали и те, кто работали, но гораздо реже. Так было у женщин.

У мужчин же за один-два золотопромывочных сезона самый здоровый превращался в инвалида.

Мужчины, естественно, не могли любить труд, который их убивал, и с ужасом говорили о приисках.

«ЧЕРТОВО КОЛЕСО»

На лагпункте, который мы прозвали «Чертовое колесо», было две рабочих палатки, домик, где жила охрана, и палатка бригадира. Тридцать заключенных женщин жили в рабочей «политической» палатке, а семь — в палатке, получившей название «веселой».

В нашей рабочей палатке были нары. Собственного имущества не было почти ни у кого, укрывались солдатскими одеялами, подушки были набиты соломой. Днем там никто не оставался, кроме старушки дневальной, топившей печи.

Вечерами рано ложились спать, измученные тяжелым трудом. Иногда попадалась в барак книга, и кто-нибудь вслух читал при свете самодельной коптилки.

Собирались на нарах группами и тихо разговаривали, чтобы не мешать спать измученным товарищам.

Совсем другая картина была в «веселой» палатке. Там стояло семь деревянных кроватей, покрытых розовыми, голубыми, цветастыми одеялами. Подушки с вышитыми наволочками. На наволочках изоб-

ражены румяные, с глазами в пол-лица девицы, голубки, цветы и вышиты надписи, вроде «Приснись мне, милый, люблю, нету силы» или «Днем и ночью без тебя нету мочи». Над постелями висели самодельные коврики из мешков с вышитыми кошками, лебедями, цветами, японками. На столе стояла, предмет нашей зависти, настоящая керосиновая лампа со стеклом.

Девицы из «веселой» палатки работали отдельно от нас и приходили с работы гораздо раньше, часа в два-три. Кроме того, они часто «болели» и вообще не выходили на работу. В этой палатке веселились далеко за полночь. Визжала гармонь, визжали пьяные голоса девиц, хрипели мужские. Бригадир Сашка Соколов, одесский жулик, хитрый и ловкий, как черт, принимал гостей с соседних приисков. С нами Сашка тоже неплохо ладил, ему надо было, чтобы мы не жаловались и работали. Чтобы мы не жаловались, он организовал нечто вроде карантина: нас не выпускали из поселка и к нам никто не приезжал из начальства в течение года, что мы там пробыли. Работать мы были вынуждены, потому что нас иначе не кормили. Первое время мы даже отчасти ценили его, потому что он ни во что не вмешивался и не воровал у нас продукты. Ему не надо было воровать, он был человек коммерческий и умел извлекать солидные доходы от гостей, посещавших «веселую» палатку.

Так и жили: бытовые — в «веселой» палатке, политические — в рабочей. Однако в нашей «политической» палатке было несколько крестьянок-старух с бытовыми статьями, против чего Сашка не возражал. Зачем ему были эти старухи? Но однажды к нам, на которых я спала, подошла молодая девушка Алла Швандер и довольно вежливо попросила: «Возьмите меня к себе, я не хочу в ту палатку». Мы ее пустили. Это была рослая, красивая девушка двадцати лет, с хорошей речью. Попала она в лагерь как наводчица шайки жуликов. Ее родители, интеллигентные люди, не заметили, как семнадцатилетняя Алла подружилась на катке с каким-то молодым человеком, сошлась с ним, а он оказался главарем шайки... Алла была добрая девушка, но с очень слабой волей, внушаемая. Она сама понимала этот свой недостаток и наивно просила нас: «Мне осталось сидеть один год (срок у нее был три года), не отпускайте меня в ту палатку, а то я испорчусь».

Мы взяли Аллу под свое покровительство. Сашка несколько раз за ней приходил, требуя ее переселения в «веселую» палатку, но мы поднимали такой крик, что он только уши зажимал и как будто уступал нам.

Алла работала с нами, очень любила слушать чтение или рассказы и мечтала, что кончит срок, выйдет замуж.

Вскоре нашелся и жених — плотник Костя с соседней лесопилки, хороший парень, глядевший на Аллу обожающими глазами. Он приходил к нам в палатку как настоящий жених, приносил угощение «тещам», как он называл меня и Раю, и целыми часами мог простаивать с Аллой на пятидесятиградусном морозе, обнявшись и укрыв ее своим тулупом. Он собирался ждать ее год, а потом жениться. Это была молодая любовь, так удивительно расцветшая на грязи лагерной жизни. Он восхищался Аллой, ее красотой, образованностью. Сам он был простой рабочий паренек из Сибири. Алла купалась в волнах его обожания, он ей нравился честностью, прямоотой, силой...

Мы наблюдали развитие этого романа и всячески ему покровительствовали. Сашка тоже знал о Косте и тоже, казалось, не собирался обижать молодую пару.

Однажды он послал Аллу отвезти дрова в лесную избушку.

«Там тебя Константин ждет», — шепнул он Алле, и она помчалась на неожиданное свидание на розвальнях, розовая, статная, туго подпоясанная, с сияющими глазами, она поехала по дороге, удалым гиканьем подгоняя лошадей.

Поехала и не вернулась к вечерней поверке.

Это было серьезным нарушением дисциплины, могущим повлечь за собой крупные неприятности.

Вернулась Алла на третий день вечером. Она вошла в барак измученная, с землистым цветом лица, с блуждающим взглядом. Повалилась на койку и завывала от боли, горя, обиды.

...Она ехала на свидание с Костей. Издали увидела, что в избушке топится печь. Значит, он ждет. Радостно открыла дверь и попала в лапы к шестерым бандитам, поджидавшим ее.

Это устроил Сашка.

Он получил от этих бандитов тысячу рублей.

Все были потрясены. Мы строили неосуществимые планы отмщения за Аллу. Мы проклинали Сашку.

В барак вошел начальник охраны.

— Где ты была три дня?

— Спросите Сашку, — начала Алла.

— Я оформлю твое безобразное поведение как побег, — заявил начальник и уселся писать протокол.

Мы начали объяснять, но он закричал на нас и пригрозил завести и на нас дело.

Протокол о побеге обеспечивал дополнительный срок в три года, пособничество — тоже. Мы замолчали. Алла плакала, а мы чувствовали себя как оплеванные.

Назавтра Сашка увел Аллу к себе, сказал, что замнет дело, если она согласится перейти в «веселую» палатку. Где ей, бедняге, было спотыреть? Она чувствовала себя в его власти, она боялась срока, понимала, что с Костей все кончено. Угрюмо она вошла к нам в палатку и собрала вещи. Я робко к ней обратилась и в ответ услышала страшный мат.

Неожиданно, дня через три после этого происшествия, меня вызвали в Эльген, где было все лагерное начальство и можно было найти управу на Сашку и командира.

Меня вызвали по поводу письма моей матери, которая, оказывается, год не получала от меня писем. Мать писала на имя начальника лагеря, толстой, полуграмотной бабы, вздорной, но иногда добродушной, если на нее находил подходящий стих.

Толстуха в военной форме, с оплывшим лицом сидела в кабинете, куда я попала впервые.

— Ты что же матери не пишешь? Совести совсем нет?

— Я пишу, гражданин начальник; значит, не отправляют.

— Да, у нас тоже сволочей много. Ну, ты напиши и отдай мне, я отправлю.

Такое начало меня ободрило, и я решилась.

— Гражданин начальник, я расскажу вам нечто, за передачу чего, если узнает наш бригадир Сашка, я безусловно погибну. Если вы не захотите вмешаться в это дело, ради бога, не говорите ему о том, что я вам передала. — Мне было страшно. Ведь ему ничего не стоило сделать со мной то же, что с Аллой, просто убить.

Я рассказала ей историю Аллы.

— Ах, сволочи, ах, мерзавцы! Это он с начальником охраны работает. А что, в пьянках начальник охраны участвует?

— Участвует.

— Ну, ты иди и молчи, я с ним расправлюсь.

Она с ним не расправилась, и все осталось по-прежнему. К чести ее надо сказать, что о моем доносе Сашка не узнал. Однако я долго не спала по ночам, ругая себя за донкихотство и представляя себе, что сделает со мной Сашка, если узнает.

Алла жила в «веселой» палатке и стала самой беспутной из ее обитателей. Пила она страшно, материлась с утра до вечера. К нам она совсем не приходила и смотрела на нас с какой-то злобой и презрением.

Через год она вышла на волю, а еще через восемь месяцев попала с бандой на «мокром» деле — они убили и ограбили целую семью.

Отношение Сашки к нам было довольно сложное. Он не решался входить к нам в белье, как он входил в палатку к своим девицам, он

не решался ругать нас и даже обращался к нам на «вы». Мы его очень интересовали, так как впервые в жизни он столкнулся с интеллигентными и порядочными женщинами. Его раздражала наша непрактичность. Вспоминаю такой случай: нам не давали аммонала, и мы долбили канавы кайлами вручную. К одной из наших женщин воспылал любовью подрывник из бригады дорожников. Он предлагал подорвать наши канавы, и нам осталось бы только выбросить грунт. Но не получив ответа на свою любовь, подрывник ушел от нас обиженный. Разъяренный Сашка ворвался в нашу палатку и, узнав, как обстоит дело, махнул рукой и горько произнес: «С вами социализма не построишь».

Он иногда заводил с нами разговоры и очень радовался, когда ловил нас на незнании каких-нибудь простых, с его точки зрения, вещей. Ему очень хотелось доказать нам, что он хотя в университетах не обучался, а поумнее других образованных. (Он действительно в практической жизни, во взаимоотношениях с людьми разбирался получше нашего.) Но еще больше радовался он, когда мог унижить нас и доказать, что мы хотя политики, а тоже не лучше ихнего брата и от сладкого куска не откажемся. Он очень хотел вовлечь наших женщин в ночные кутежи и приглашал то одну, то другую «повеселиться», но неизменно получал отказ.

Была среди нас красивая донская казачка Аня Орлова, жена крупного военного работника. Несмотря на свои сорок два года, она сохранила статность, горячий взгляд черных глаз, низкий виолончельный голос. Она была помощником бригадира.

Несмотря на свою физическую силу, ловкость и привычку к деревенской работе, Аня очень ценила свое положение, позволявшее ей не работать по десять часов в день на жестоком колымском морозе, не надрываться с пудовыми мешками. Сашка сыграл на этой струнке. Сначала Аня вскользь, как бы не придавая этому значения, рассказала нам, что Сашка просит ее как-нибудь вечером спеть украинские песни.

Она смотрела на нас и встречала уклончиво-осуждающие взгляды. Потом она однажды сказала: «Скука какая, пойти хоть к Сашке, попеть, баян послушать...» Опять молчание.

И вот когда Сашка ей поставил ультиматум: или «не гнушаться компанией», или со всеми идти на работу, она решила вечером пойти в «веселую» палатку. Мы увидели, как она нарочито спокойно надела свой единственный парадный наряд — вышитую украинскую кофточку, подмазала губы, накинула на плечи белую шаль и пошла между нарами, сквозь строй осуждающих глаз. Потом мы слышали баян,

низкий грудной Анин голос, поющий украинские песни, гул одобрения, аплодисменты и снова Анин голос.

Аня вернулась под утро, а назавтра Сашка нахально похлопал ее по плечу, мол, Аня – баба своя в доску, а мы все вшивая интеллигенция и черные монашки.

Аня ходила с вызывающим видом, будто ей море по колено, время от времени бросая фразы вроде: «Что ж, так и погибать в этом монастыре? Какие-никакие, а все-таки люди, песни...» Все молчали.

А через три дня Сашка ходил возле нашей палатки и нарочито громко утешал своего друга, жулика Володю:

– Володечка, ты не волнуйся, я тебе какую хочешь девушку представлю.

А Володя томным, капризным голосом отвечал:

– Нет, ты меня обманул. Обещал девушку, а утром проснулся – а со мной старая баба и еще об себе понимает.

– Володечка, ты не расстраивайся, мы с этой интеллигенцией по ночам будем спать (он выразился красочнее), а днем будем их гонять на работу. А не нравится – я тебе сегодня двадцатилетнюю представлю.

Сашка был счастлив. Он фиглярничал, хохотал и снова повторял:

– Будем с ними по ночам спать, а днем на работу гонять!..

Надо отдать ему справедливость, он не снял Аню с бригадирства, только не мог отказать себе в удовольствии при всех похлопывать ее по плечу и ободрять:

– Ты не тушуйся, он дурак, Володька, в бабах ничего не понимает. Ты еще бабочка в самый раз...

Аня больше не ходила в «веселую» палатку, да Сашка и не настаивал. Его цель была достигнута. В лице Ани он унизил всю «интеллигенцию» и был очень доволен.

НЕНАВИСТЬ

В 1942 году я отморозила ноги. Меня поместили в барак слабых. Нас, по существу, надо было класть в больницу и лечить, но мы были рады и тому, что не гонят на работу, кое-как кормят и топят печи. Большинство лежавших в бараке находились в той или иной стадии дистрофии, поэтому по целым дням разговор шел о том, как печь пироги, какие соусы можно изготавливать для индейки, как вкусна гречневая каша. С помощью соседки своей по нарам, Мирры Кизельштейн, доброй души, я кое-как восстанавливала свои ноги, от которых мне уже собирались отрезать пальцы и пятки. Мирра делала мне

марганцевые ванны, смазывала ноги рыбьим жиром, и я постепенно выкарабкалась. Мы прожили таким образом две недели, когда привезли новую партию больных с шестого километра. У нас давно ходили страшные слухи об этой командировке. Бригадиром там была некая Лиза Кешве. Я встречалась с ней на пересылке. Это была седая сорокалетняя женщина с наглыми, развратными глазами. Однажды у нас завязался литературный спор. Лиза была литературоведом, и голова ее была набита множеством литературных сведений, дат, имен. Я сказала, что за два часа разговора с Роменом Ролланом с радостью заплатила бы лишним годом тюрьмы. Я так мечтала доверить все пережитое большому писателю, чтобы он донес до людей то, что похоронено было в тюремных стенах, но что рвалось из души, что надо было рассказать людям. Я с благоговением называла имена писателей, которые были совестью мира: Толстой, Чехов, Вересаев, Гаршин, Короленко и единственный из живших тогда, который достойно стоит в этой плеяде, — Ромен Роллан. Лиза в ответ назвала меня сентиментальной и начала рассказывать всякие факты, характеризующие ханжество Льва Толстого, развращенность Маяковского, денежную нечестность Некрасова. По ее мнению, моральный уклад писателя и характер его творчества не зависят друг от друга и плохой человек, даже глупый человек, может быть великолепным писателем.

Я не знаю, зачем мне была бы нужна литература, если бы через нее я не общалась с душой тонкой и доброй, с умом, помогающим мне осмысливать жизнь.

Лиза же любила литературу, как любят ювелирные вещи, изящное решение шахматных задач, сборник интересных анекдотов. Словом, мы не сошлись.

Лагерная жизнь тоже развела нас: я стала чернорабочей, а Лиза — бригадиром и полной хозяйкой небольшой командировки, где тридцать женщин заготавливали лес. Остатки этих женщин (многие умерли) привезли в барак для слабых, и они рассказывали мне страшные вещи о Лизе, этой любительнице изящной словесности.

Лиза сошлась с командиром охраны, тупым и наглым мужиком, вместе с которым пьянствовала, обворовывала несчастных женщин, попавших в их власть. Страшные вещи творились на этой командировке: Лиза принуждала молодых девушек отдаваться ее любовнику и другим охранникам. Оргии устраивались в помещении охраны. Комната там была одна, и дикий разврат, ко всему прочему, происходил публично, под звериный хохот компании. Жрали и пили за счет заключенных, у которых воровали по половине пайка. Голодали там

страшно, при малейшей попытке сопротивляться или как-то подать жалобу избивали до полусмерти. Отказавшихся идти на работу привязывали к волокушам и тащили по снегу в лес. Я помню расширенные от ужаса глаза Маши Мино – одной из жертв Лизы. Она мне рассказывала шепотом, поминутно оглядываясь, боясь, как бы кто не передал ее рассказ Лизе. «Я ей говорю: нет у меня сил идти на работу, я голодная, хлеба хочу, понимаете? А она, полупьяная, с седыми растрепанными волосами, красная, наглая, уперлась в бока и говорит: “Хлеба хочешь? А я мальчика хочу, а нет – надо терпеть!” И хохочет: “Мальчика хочу, понимаешь?”»

Наконец, несмотря на побои и насилие, люди перестали работать. Они не вставали с нар и молча умирали. Лес с командировки перестал поступать. Послали комиссию. Люди были в таком состоянии, что их пришлось поместить в барак для слабых и освободить от работы на всю зиму. Командир получил срок в три года за смертность, а Лиза попала на общие работы.

В бараке для слабых я подружилась с тремя женщинами.

Первая – Мирра Кизельштейн. Она была биологом, дочерью врача и очень интересовалась медициной. В нашем бараке для слабых она всех лечила самыми примитивными средствами, и это поднимало людей на ноги – ведь все были молодые, организм, здоровый, только измученный голодом и непосильной работой, быстро отзывался на любую помощь и просто отдых. Например, больным желудком она давала пить марганцовку, и это, как ни странно, помогало. Мне она лечила ноги, кому-то делала массаж. Мы ее звали «наш доктор».

Вторая моя приятельница, Нина Гаген-Торн*, была из высококультурной семьи. В их доме бывал Блок. В бараке Нина писала повесть о своем детстве «Лебединая стая» и читала ее мне.

После реабилитации в 1956 году она стала известным этнографом, жила она в Ленинграде, и мы с ней не встречались.

Третья – Маша Мино. Ее мать была незаконной дочерью знаменитого Петипа. Петипа всегда заботился о дочери, дал ей образование. Когда Маше было лет шестнадцать, Петипа с балетной труппой приехал на гастроли в Сибирь, где жила семья Маши. Маша увидела очаровательного, блестящего танцора и влюбилась в него. Оказалось, что это ее дед. «Такой первой любви, как у меня, ни у кого не было», – смеялась Маша.

* Нина Ивановна Гаген-Торн – этнограф, литератор, автор рукописи «Колымский женский лагерь с точки зрения этнографа», с которой она познакомила составителя настоящего сборника в начале 60-х годов.

Маша до революции вступила в партию большевиков. Помню, рассказывала, как они отпечатали в типографии разрешенную цензурой верноподданническую книгу о помазаннике божьем Николае II, где были приведены (со ссылками на газетные публикации) отрывки из многих его выступлений. Все они кончались одинаково: «Так выпьем, господа».

Маша была арестована в 1930 году за резкое выступление против раскулачивания. У нее на воле оставались в ту пору отец и четверо детей (о муже ничего не помню). Жили они в собственном доме под Москвой, в Ильинском, где отец работал врачом — до революции земским. В 1956 году, через четверть века, Маша вернулась в Москву. Отца уже не было. Сыновья встретили ее горячо, любовно. Душевного контакта, однако, не получилось — слишком различен был круг их жизненных интересов.

Маша получала какую-то крохотную пенсию, потому что после лагеря в ссылке жила и работала в колхозе. Однажды к сыновьям пришел товарищ с завода, член парткома. Узнав о прошлом Маши, он начал уговаривать ее восстановиться в партии, сказал: «Вы, как член нашей партии с 16-го года, получите пенсию союзного значения и многие льготы». Маша помолчала, а потом ответила: «Нет, я была не в вашей партии, я была совсем в другой».

Я поправилась и, выходя на работу, с тяжелым сердцем просталась с бедными дистрофиками.

Меня и Мирру послали на легкую работу — кайлить и разбрасывать в поле торф. Работа действительно была не очень тяжелая, но холода в это время стояли 48–50 градусов, а работали мы по десять часов в день. Правда, посередине поля стояла теплушка, куда мы раза три в день забегали на десять минут погреться.

Первый человек, которого я встретила на разводе, была Лиза. Она радостно приветствовала меня: «А, мой литературный противник! Давайте работать на пару, хоть поговорим о чем-нибудь, отличном от хлеба и выполнения норм! Не единым хлебом жив человек, не правда ли?»

Я с ужасом глядела на спокойно-наглое лицо Лизы, а в ушах у меня звучали слова прощания с бедными моими дистрофиками, умирающими в бараке для слабых.

Я ничего не сказала о них Лизе. Вы спросите почему? Я боялась, я самым подлым образом боялась ее и не хотела иметь в ее лице врага. Я понимала, что падение ее — дело временное и она себя еще покажет. Единственное, на что у меня хватило гражданского мужества, это пробормотать, что моя напарница — Мирра. Мы выбрали участок

наиболее удаленный от Лизы и шли греться в теплушку, когда оттуда уходила Лиза.

Однажды я пошла греться в теплушку, села, протянула к огню отмороженные ноги и стала пить кипяток, наслаждаясь теплом и отдыхом. Вдруг дверь широко распахнулась, покачиваясь вошла Лиза, сделала несколько шагов и со стоном упала на пол. У нее был сердечный припадок. Я съезжилась, но не двинулась с места. Лиза задыхалась и что-то хотела мне сказать, но не могла. В раскрытую дверь врвался пятидесятиградусный мороз. Я встала, чтобы закрыть дверь, и сделала шаг по направлению к Лизе. Она подумала, что я иду ей помогать, и прокричала: «Воды!» Но я закрыла дверь и вернулась на свое место у печки. Я не хотела ей помогать. Я не думала, не решала, что я должна делать. Я не могла к ней прикоснуться, как не могла бы прикоснуться к крысе, попавшей в мышеловку. Я сидела как окаменевшая у печки, а Лиза задыхалась и билась головой о пол. В душе у меня бушевала ненависть к ней, я хотела, чтобы она умерла.

Открылась дверь, и вошла Мирра. Она бросилась к Лизе и начала расстегивать на ней одежду и развязывать платок, закрывающий лицо.

— Ольга, идите помогите мне перенести ее на скамью.

— Не пойду.

— Вы с ума сошли, человек умирает!

— Пусть умирает, я не буду за ней ухаживать.

У Лизы было перекошено лицо, один глаз сильно расширился. Она с ужасом смотрела на меня.

— Тише, — закричала Мирра, — она слышит, понимает, вы сошли с ума!

— Пусть слышит. Почему она должна умереть хорошо? Пусть мучается.

Мирра была вне себя. Ее душа врача возмущалась моим поступком.

— Я буду говорить с товарищами о вашем поведении! Человек умирает. Сейчас же помогите мне ее поднять! — кричала Мирра.

— Я не прикоснусь к ней. Пусть умирает, — сказала я, перешагнула через Лизины ноги и вышла из теплушки.

Лиза не умерла. Мирра с возмущением рассказывала о моем поведении, но, несмотря на это, мы с ней остались друзьями. Некоторые товарищи осуждали меня, другие хвалили, а мне было тяжело.

Мне было тяжело, и я ненавидела лютой ненавистью тех, кто довел меня до того, что я не подала умирающему воды, а острее всех я ненавидела Лизу, потому что из всех, кого я встречала на лагерном пути, она была самой подлой.

СКЕЛЕТ В ШКАФУ

Моя родственница, добрая и хорошая женщина, как-то сказала мне: — Ты знаешь, самый лучший в нашей жизни был наш первый год в Ленинграде. (Я прикинула: это был 1939 год.) Мы так весело проводили время, каждый день танцевали, было такое хорошее общество...

Она хорошо ко мне относилась, даже любила меня. Но я уже три года была в тюрьме. Не могла же она надеть траур. Я не обиделась, но я вспомнила один сон, который я видела как раз в этом году.

Мне снился сон. Я бежала по снегу, а за мной гнались собаки. Это была травля. Я была крестьянская женщина, и мои хозяева травили меня собаками. Я бежала без надежды, сил не было. Вокруг было мертвое снежное поле. Вдали чернел лес. А справа от меня стояли трибуны, и с них мой хозяин и его гости наблюдали травлю. Среди гостей я увидела двоих своих братьев. Они были опечалены, но прилично-спокойны.

Один брат показал другому часы, и я поняла, что он сказал: «Она продержится еще полчаса».

У Диккенса есть сказка о том, как в одном замке безвинно была замучена женщина и скелет ее замурован в шкаф. Об этом никто толком не знал, потому что боялись злого хозяина, который за одно слово о его преступлении мог жестоко отомстить.

Только на ухо передавали какие-то слухи, да изредка в ночной тиши слышались стоны и стук в стену, как будто кто-то томился, задыхался, хотел выйти на воздух и не мог.

Шли годы. Шла в замке жизнь. Люди влюблялись, женились, рождались дети, люди сеяли хлеб, охотились, писали стихи, пировали. Но на всем была печать ущербности. Не было радости в этом замке, не было искренней любви, друзья не доверяли друг другу, дети не уважали родителей, вино опьяняло, но не веселило, хлеб и мясо насыщали, но не были вкусны, даже птицы не пели в этом замке...

Потому что в шкафу был скелет безвинно замученной женщины.

Я не виню вас, братья мои и сестры! Вы не виноваты, что вам внушили, что вы не можете, не должны ничего делать, говорить, думать. Что эти явления вне пределов понимания обычных людей, вне категории справедливости, жалости. Вы заперли эту комнату мозга. Вы танцевали, жили, работали, произносили речи. Вы забыли о «скелете в шкафу», но он сидел в вас, он разъедал своим тлетворным дыханием вашу душу. И когда я через десять лет увидела вас, первое, что бросилось мне в глаза, — это след тлетворного дыхания скелета в шкафу.

Вы старались забыть о нем, но он был, и вы перестали верить в справедливость, перестали верить словам и речам, которые вы слышали и произносили сами.

Скелет в шкафу *был*, и вы о нем знали.

МИРАЖ

Сталь закаляют, разогревая ее докрасна
и потом опуская в ледяную воду.

Многие просили о пересмотре дела, писали заявления на имя Прокурора СССР и письма Сталину.

Я не писала ни разу, не из гордости, а потому что была глубоко убеждена, что из этого ничего не выйдет.

И еще одно: я поняла, что выдержать смогу, только стиснув зубы, не расслабляя души несбыточными мечтами.

Но мать моя жила надеждой. Она, как на службу, в течение первых четырех лет после моего ареста каждый день ходила «хлопотать». Обошла всех, вплоть до Прокурора СССР и приемной Калинина. Не было учреждения, где она не стояла бы в бесконечных очередях, не просила бы о пересмотре моего дела, не плакала бы, пытаясь тронуть сердца — ведь ее дочь, мать двоих детей, ни за что ни про что сидит в тюрьме.

И вот — каких только чудес не бывает! — она добилась пересмотра моего дела!

Оттого ли, что дело было состряпано уж очень небрежно, или началось какое-то временное ослабление репрессий, но с меня 3 июня 1940 года сняли обвинение в терроре против Кагановича.

Лето 1940 года мы работали на Птичьем острове — так называлась местность при слиянии двух горных рек. Здесь был большой лес, который мы рубили, и очень много выброшенных на берег бревен, которые надо было разобрать и связать в плоты. Бригадир у нас был хороший, из раскулаченных, сибиряк Саша. На берегу с прошлых лет стояли большие, никем не учтенные штабеля, так что всегда можно было к нашей работе добавить сделанное кем-то раньше. Работали спокойно, а показатели всегда были хорошие, и потому кормили нас по первой категории. Кроме того, мужчины, вязавшие плоты, такие же, как Саша, раскулаченные сибиряки, ловили рыбу и угощали нас, да и птичьих гнезд было много, и часто мы находили утиные яйца. За весь мой срок это было самое легкое лето.

Однажды утром приехал из Эльгена завхоз и привез почту. Мне была телеграмма: «3 июня 1940 г. постановлением Верховного суда СССР ты полностью реабилитирована. Счастливы». Подписи всей семьи.

И тут началось! Я ходила как пьяная от мечтаний, мысленно ласкала детей, мать, отца и рассказывала им все, что пережила. Я представляла себе свое возвращение во всех деталях, начиная со встречи на вокзале и до той блаженной минуты, когда я положу голову на мамины колени и впервые за четыре года заплачу. (Я эти годы не плакала.)

Но время шло, а мне никто из начальства не сообщал о пересмотре дела. Наступила зима.

Как сон кончилась жизнь на Птичьем острове. Нас перевели на рытье канав. Свиристествовали 50-градусные морозы.

И вот однажды на канаву, где мы работали, пришла бригадир Аня Орлова и остановилась около меня. Она долго молчала, а потом сказала: «Крепись, Ольга!» — и протянула мне телеграмму. Там было написано: «Прокурор СССР опротестовал решение Верховного суда, при вторичном рассмотрении дела ты осуждена на 8 лет лишения свободы за недонесение на мужа (ст. 58, пункт 12). Мужайся. Мама».

Я молча отдала телеграмму товарищам. Ее читали, и никто ничего не говорил.

Аня участливо на меня глядела.

— Ты бы пошла в барак полежала.

— Нет, не хочу. — Я принялась колотить кайлом. Мне казалось, что остаться сейчас одной в бараке, в бездействии — невыносимо.

Потом ночью, накрывшись с головой, я повторяла, как заклинание: «Выдержу. Еще три года и четыре месяца. Выдержу. Сорок месяцев. Выдержу. Даю тебе слово, мама. Ты меня дождешься. Выдержу».

А потом приходили письма. Мама подробно рассказывала мне, как она хлопотала, как все ее отговаривали и даже пугали, что вышлют из Москвы, а она не обращала внимания и добилась правды. Как в день пересмотра она с раннего утра и до пяти часов вечера сидела под дождем на улице у здания суда.

Мама писала мне, что все время скрывала от детей, что я арестована, говорила, что в командировке, а теперь все рассказала, ведь мальчику уже 10 лет, а девочке 8, и они могут понять свое несчастье...

Нет, человек крепче стали...

Что сталь!

ДОХОДЯГА

Зима 1943 года была очень трудной. Хлебный паек был уменьшен с 600 до 500 граммов. А так как кроме хлеба нам давали щи из черной капусты с селедочными головками (причем на пол-литровый черпак

шей капусты приходилось два-три листика, а селедки — одна головка), да три столовых ложки разваренной в кисель каши с половиной чайной ложки постного масла, да на ужин — хвост селедки величиной с палец, а работали мы по десять часов на пятидесятиградусном морозе, — люди начали «доходить».

Сначала я работала с Галей Прозоровской, но после того, как она упала в лесу, ее перевели на работу в мастерскую, где латали вещи заключенных.

Потом моей напарницей была Рая Гинзбург. Работали мы с ней дружно, хотя еле ходили — она покрылась нарывами, а у меня каждая нога весила пуд, и я ходила, подгибая колени, которые стали как из ваты. Так мы дотянули до марта, а в марте сформировался этап на агробазу в Эльген. Там начинались весенние работы, надо было очищать территорию агробазы от снега, подготавливать в теплицах рассаду. Наш бригадир, конечно, постарался отослать наиболее слабых. Рая попала в этот этап, и я осталась одна.

Вырваться с лесоповала было большим счастьем, в Эльгене все-таки легче: работа не в лесу, а на обжитой агробазе, хоть раз в месяц можно было достать буханку хлеба за пятьдесят рублей (мы зарабатывали в месяц рублей по пятьдесят). Но Рая очень не хотела уходить без меня. Мы полюбили друг друга, а расставшись, можно было никогда не встретиться, ведь какие-нибудь двадцать километров для нас были так же непреодолимы, как расстояние от Москвы до Нью-Йорка.

Она собралась в этап и оставила мне в наследство бедное свое хозяйство: я пересыпала из ее матраца в свой остатки сена — стало немного мягче спать; оставила мне свою коптилку (в Эльгене было электричество), нож — предстоял обыск, и нож все равно пришлось бы бросить.

Раньше я считалась сильной, и со мной многие хотели работать на пару, но тут почти все мои друзья ушли в этап, некоторые пары лесопильщиков не разъединили, а оставшиеся одиночки, более молодые и сильные, объединялись друг с другом. Я впервые поняла, что я почти «доходяга» и со мной не очень-то стремятся работать. Я не обижалась на людей. Я сама боялась соединяться с очень слабыми, ведь каждая пара должна была выполнить две нормы — восемь кубометров, из которых со слабым напарником на мою долю пришлось бы кубометров пять-шесть, а на это у меня, конечно, не хватило бы сил. Я решила работать одна. Сноровка уже была, я валила с корня метровой двуручной пилой лиственницы, распиливала их на трехметровку и укладывала четырехкубометровый штабель. Двуручной пилой можно было работать одной, потому что в снегу пила ходила как

в станке по узкому каналу. Я делала свою норму и кое-как держалась на первой категории. Но очень было тоскливо целый день в лесу одной. Тоскливо и страшно, потому что я плохо ориентируюсь. Кончала я свою работу, когда почти все уходили, и я никогда не была уверена, что найду дорогу домой, а заблудиться – смерть. Время тянулось медленно, казалось, что зима никогда не кончится. Но месяца через полтора вызвали дополнительный этап на агробазу, и я в него попала.

Двадцать километров мы шли с раннего утра до ночи, и мне казалось, что я ни за что не дойду – ноги были совершенно ватные.

Пришли мы поздним вечером, и сразу меня встретила Рая. Она приготовила мне кипяток, какие-то сухари, раздобыла целый узел сена для матраца, меня ждало место на нарах около нее. Ох как греет дружба! Мы долго говорили. Ей повезло: она попала на какие-то месячные курсы овощеводов и окончила их очень хорошо. Место на агробазе ей было почти обеспечено. Агробаза нам казалась спасением: работа на одном месте, более легкая, чем в лесу, летом всегда можно было украдкой поесть овощей, зимой работали в теплицах. Рая уже говорила обо мне с начальником агробазы Онищенко, что я хорошо работаю, ловкая, сильная, и она была уверена, что меня тоже оставят на агробазе. Я-то не была в этом уверена, я-то знала, как ослабела, да еще эти ватные ноги... Они никак не двигались. Но я все-таки надеялась, что отдохну, немного окрепну и меня оставят на агробазе.

На другой день мы вышли на работу. Надо было вывезти снег с территории агробазы. Вывозили его мы на санях, впрягшись в них по двое, как лошади.

Несколько раз я ловила на себе тревожный взгляд Раи, она старалась сильнее тянуть, потому что я еле шла.

– Тебе трудно со мной, – сказала я, – я очень ослабла.

– Совсем не трудно, только иди бодрей, а то смотрит Онищенко, он не любит доходяг.

Онищенко стоял у ворот агробазы и каждый раз, когда мы вывозили сани снега, внимательно следил, как мы работаем. Ему надо было отобрать рабочих на постоянную работу, и он нас изучал. Каждый раз, когда мы проходили мимо него, Рая тревожно смотрела на меня и умоляла:

– У тебя такой несчастный вид. Улыбнись, пожалуйста!

Я как со стороны себя видела: как вытянулась у меня шея и подбородок, как всем корпусом я подалась вперед, а проклятые ноги никак не идут и волочатся где-то сзади. Улыбнуться... Ох как это трудно! Получается дурацкий оскал, как у трупа...

Нет. Я не сумела обмануть Онищенко. Он меня не оставил. После уборки снега лишних людей отослали с агробазы обратно в лес.

Я снова простилась с Раей.

АЛТУНИН

К сожалению, я забыла имя этого замечательного человека. Фамилия его Алтунин, он был из Воронежской области. Сначала он работал, кажется, на заготовках кожсырья, а потом был на партийной работе. Красивый человек лет сорока, с рыжеватой бородкой, чисто русский тип. Тридцать восьмой и тридцать девятый годы провел на прииске и там, что называется, «дошел»: ослабел, кашлял, выхаркивал легкие. Руки у него были золотые, его и перевели инструментальщиком в женскую бригаду на стройку, в Магадан.

У меня с ним был такой разговор.

— Как началось в 1937 году — тот враг, этот враг, исключаем из партии, поднимаем руки, убиваем своих же товарищей, — я сказался больным, не ходил на партийные собрания, а потом вижу, надо что-то делать, так нельзя: партию губим, людей хороших, честных губим. Не верил, что все предатели, я же людей знал хорошо. Сел как-то вечером, написал заявление в трех экземплярах: одно — в свою партийную организацию, другое — лично Сталину, третье — в ЦКК. Пишу, что губим революцию. Может, все, что творится у нас, — местное творчество, вредительство — так это полбеда, а если так по всей России — так это контрреволюция. Написал — всю душу вылил. Показал жене. Она говорит: «Ты себя губишь. Как отправишь это заявление, тебя на завтра же посадят». «Пусть, — говорю, — посадят, лучше сидеть, чем руку поднимать и товарищей губить». Ну, по ее и вышло. Подал заявление, а через три дня меня посадили. Живо обработали, десять лет — и на Колыму.

— И вы никогда не жалели, что сделали это?

— Нет, один раз пожалел. Сильный мороз был, послали нас пеньки корчевать в лес. Инструмент был — топоры ржавые, ни лома, ни кайла. Помучились мы с пеньками, еле-еле четыре пенька вытащили. Говорим: ну их к черту, развели костер, пожгли эти пеньки. Вечером приходит десятник — ничего не сделали. Прямо из леса — в карцер. А карцер — три квадратных метра и окна без стекол. Печи нет. Бегал я, бегал по этой клетке, и вдруг мне так обидно стало: других сажали, а я сам себя посадил. И что толку, что написал? Все осталось по-прежнему. Сольцу, может, стыдно стало, а Усатому — все равно, его не прошибешь... Сидел бы сейчас с женой, с детьми в теплой комнате

за самоваром. Как подумал я это, стал головой биться о стену, чтобы мысли эти не смели мне приходиться. Так всю ночь бегал по клетке и себя ругал последними словами за то, что пожалел о спокойной жизни.

Алтунин проработал с нами одну зиму. Весной 1940 года он умер в лагерной больнице от туберкулеза.

ПОЛИНА ЛЬВОВНА ГЕРЦЕНБЕРГ

Некоторое время моей соседкой по нарам была доктор Полина Львовна Герценберг, польская еврейка, член Сейма.

Доктора пользовались правом давать освобождение от работы больным. За возможность отдохнуть от тяжелой работы те, кто что-то имел, согласны были многое отдать. Некоторые врачи, принимая добротные даяния, улучшали свою жизнь. Полина Львовна была совсем непрактична: голодала она так же, как мы все, и не хотела даже выписать себе рыбий жир, который давали самым истощенным.

В декабре 1941-го или начале 1942 года на доске объявлений появилась выписка из русско-польского договора, согласно которому все поляки, арестованные из польской территории после 1939 года, освобождались.

Поляков действительно освободили, но отправить с Колымы до начала навигации не могли. Они не работали и могли выходить за зону, но жили по-прежнему с нами в бараках.

Вдруг лагерное начальство заволновалось: пришел приказ самолетом отправить на материк шесть членов польского Сейма, в том числе и Полину Львовну. По этому поводу к нам на Эльген приехал главный прокурор Дальстроя. Первое распоряжение прокурора было — одеть ее хорошо. Полину Львовну вызвали на склад, и начальник лагеря торжественно преподнес ей сюрприз: шелковое платье, замшевые туфли и котиковое пальто. Каково же было его удивление, когда Полина Львовна заявила, что она поедет в том, в чем ходила два года. Как ни уговаривали ее, что ей ни предлагали, она не хотела снимать свои ватные брюки и залатанные ватные бурки, переодеть же ее насильно уже было нельзя. В таком виде она и пошла на прощальную беседу к прокурору. Прокурор сделал вид, что не обращает внимания на ее наряд. Он сообщил о договоре с Польшей и закончил речь такими словами: «Наши страны борются сейчас против общего врага — немецкого фашизма. Я надеюсь, что, вернувшись, вы никакой клеветы не будете распространять о Советском Союзе».

«Я могу дать слово, — сказала Полина Львовна, — что никакой клеветы о Советском Союзе я распространять не буду. Наоборот, после

Победы с трибуны Сейма, в печати, всюду и везде я буду говорить правду, только правду и всю правду».

Возражать было нечего, и она уехала, провожаемая мрачными взглядами начальства и нашими — завистливо-восхищенными.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

В 1941 году должна была освободиться Надя Федорович, которая была арестована в 1936 году и имела срок пять лет.

У нее на воле остался девятилетний сын, нервный, самолюбивый мальчик. Он сначала жил с бабушкой, а когда бабушка в 1938 году умерла, скитался по родственникам, которые тяготились им и, продержав его недолго, старались сплавить к другим дядькам и теткам. Он писал матери жалобы на родню: «Своим дают хлеб с маслом, а мне с маргарином, ношу только обноски с Леньки да Сашки, нового мне ничего не покупают». И еще: «Мальчишки говорят: твои мать с отцом арестанты».

Надя считала дни до освобождения и мечтала взять к себе сына.

Ко дню ее освобождения, 25 июня 1941 года, мы приготовили Наде целое приданое: кто подарил ей юбку, кто сорочку, кто платок. Надя была первая, кончавшая срок. О том, что началась война, мы не знали. (Газет не давали.) Но что-то чувствовалось в воздухе тревожное, Надя нервничала и, готовясь к воле, не верила, что она придет. Наступил день 25 июня, наступил и прошел. Прошел еще томительный месяц. Наконец Надю вызвали к начальнику лагеря к двенадцати часам дня.

Утром мы, как всегда, ушли на работу. Надя осталась в бараке. Я перед разводом подошла к ней.

— Может быть, последний раз тебя вижу, кончились твои муки.

— Не знаю, — ответила Надя, — что-то сердце болит.

Вечером вернулись — Надя сидит у печки, курит. Дневальная шепотом предупреждает:

— Не подходите, психует, не освободили.

Надя расписалась, что остается в лагере «впредь до особого распоряжения».

А сын-то ведь думал, что мать освобождается 25 июня, она все просила его не ссориться с родней, потерпеть немного. Она с ужасом думала о том, как он воспримет ее письмо, где она ему сообщила, что встреча откладывается на неопределенное время. Но сын письма не получил, цензура не пропустила сообщение о том, что человек кончил срок, а его оставили «впредь до особого распоряжения».

А Надя ждала ответа и не получила. Вдруг зимой 1942 года пришло ей письмо от неизвестного человека, который подобрал Борю на полустанке, где-то около Иркутска, с воспалением легких, взял к себе и выходил. Он упрекал Надю, что она, освободившись, забыла сына, что она дурная мать, наверное, вышла замуж и живет себе поживает, в то время как ее четырнадцатилетний мальчик, проехав «зайцем» из-под Рязани до Иркутска, погибает от голода.

Мы уже знали, что идет война, что многие письма не пропускают. Надя побежала к начальнику лагеря, написала заявление прокурору, чтобы сообщили сыну и этому человеку, что, отбыв срок, она все еще находится в заключении. Но ее просьбу не выполнили.

Так она и не узнала, что с сыном и где он, а сын беспризорничал, попал в банду и потом, уже в 1947 году, объявился в Колымском лагере уголовников со сроком в пять лет.

После Нади подошел срок освобождения еще нескольким женщинам, но всех с тяжелыми политическими статьями оставляли впредь до особого распоряжения. Образовалась целая плеяда «пересидчиков». Правда, на миру и смерть красна, другие, будучи как-то подготовленными, воспринимали это не так трагически, как Надя, но все же было несколько случаев самоубийств: люди не выдерживали мысли о том, что «воля», которой ждали, считая недели и дни, отодвигается на неопределенное время.

В лагере становилось все тяжелее и тяжелее. Мучительный непрерывный голод, свирепая дисциплина, всеобщее уныние. В этой обстановке 27 апреля 1944 года подходил для меня срок освобождения. Если верить письмам моих родных, то Верховный суд переменял статью 58-8 (террор) на 58-12 (недонесение). Это была самая легкая из политических статей, и с ней освобождали в срок. Но ведь мне в течение четырех лет не сообщили официально о перемене статьи, и я не знала, было ли такое постановление в действительности, или мать обманули и все осталось по-прежнему. Я истосковалась. Зима 1943–44 года была самой для меня тяжелой. Мне кажется, я немного помешалась, никак не могла переключиться на что-нибудь другое, все время гадала, освободят или нет. Шла с работы – гадала: если дойду до барака к пяти часам – освободят, если позже – нет. Если вон до той сосны 100 шагов – освободят, если больше – нет..

Наконец первого апреля 1944 года меня вызвали и сообщили, что 6 августа 1940 года мне переменяли статью на 58-12 (недоносительство).

«Воля» стала реальностью.

Последние недели я жила как в тумане, стала чужда лагерным интересам, боялась думать о воле и не знала, на что надеяться. Говорили, что к родным в Россию все равно не пустят.

Мечтала, что приду с работы в «свою» комнату, запру дверь (обязательно запру дверь), лягу на кровать и при настоящей электрической лампе буду читать книгу из библиотеки.

Мечтала, что буду есть досыта. Что в страшный колымский мороз не буду ходить на работу в лес, устроюсь где-нибудь в конторе, в тепле. Мечтала, что не будет проверок, ругани, мата, не буду жить вместе с проститутками и воровками, мечтала, что летом в воскресенье пойду гулять на целый день, буду идти по дороге сколько захочу, и никто мне этого не запретит, не заорет: «Приставить ногу! Шаг вправо, шаг влево – стреляю!» А о большем не мечтала, боялась разочарований.

Меня освободили день в день 27 апреля. Из всей нашей партии освободилась я одна. Остальные пересиживали до 1947 года.хлопоты моей матери сохранили мне три года жизни.

Все считали, что я счастливица. А я все время плакала. Я не знала, как буду жить одна, без родных, без товарищей, с которыми сблизилась в лагере.

Я сразу же подала заявление с просьбой разрешить мне выезд на материк, но получила ответ, что закрепляюсь *навсегда* на Колыме.

Навсегда... Сколько раз я подписывала это «Навсегда»!

Навсегда на Колыме, *навечно* в Караганде, *навсегда* запрещен въезд в Москву...

Эта вечность оказалась ограниченной двенадцатью годами, до XX съезда, но как долго тянулись эти двенадцать лет!

ВЕРОЧКА

Несмотря на категорический отказ, который я получила сразу после освобождения на мою просьбу о выезде на материк, все же благодаря хлопотам моих родных через два года, 31 июня 1946 года, мне разрешили уехать с Колымы с заездом в Москву на две недели.

Я ждала посадки на пароход «Дальстрой», который должен был увезти меня в большую жизнь после семи колымских лет.

Ко мне подошли две женщины с дочерьми. Женщины эти были из Эльгена. Одна Софья Михайловна – наш врач, другую я знала только в лицо. У Софьи Михайловны оставались на воле две дочери, и она ухитрилась даже из лагеря посылать им посылки и деньги, а освободившись, устроилась очень хорошо, так как была известна

как серьезный детский врач и лечила детей у всего начальства. Она работала в трех местах, имела частную практику и все заработанные деньги посылала детям.

В 1945 году ее дочери 13 и 20 лет приехали к ней, а вот в июле 1946 года старшая из них, Верочка, уезжала на материк.

Лицо у Софьи Михайловны было все в красных пятнах, глаза заплаканы. Верочка, тоненькая, темноглазая девушка, мрачно молчала.

Если Софья Михайловна была хорошо одета и имела вид дамы, то в ее спутнице, одетой в телогрейку и сапоги, с руками, изуродованными грубой работой, каждый узнал бы лагерницу. Она была явно растерянна и все говорила дочери:

– Надя, дай мне слово, что ты будешь учиться и оставишь свои глупости. Дай мне слово, Надя, ведь ты можешь погубить себя!

На это Надя целовала ее и говорила:

– Ну я же сказала, мама, что буду учиться! А красить губы и танцевать – изволь, не буду, если это тебе так неприятно. Успокойся.

Софья Михайловна подошла ко мне с просьбой присмотреть за дочерью, которая едет на материк, чтобы привезти в Магадан бабушку, мать Софьи Михайловны. Я обещала присмотреть за девушками. В это время началась посадка. Мы попали в один трюм, на верхний этаж тройных нар.

Я целыми днями лежала на нарах и думала о том, как я встречусь со своими почти взрослыми детьми. Как объясню им, что их мать и отца объявили «врагами народа». От этих мыслей я почти не могла спать по ночам, а днем, прислушиваясь к разговорам, отвлекалась и иногда засыпала.

Однажды, проснувшись, я услышала разговор Веры и Нади. Они разбирали Верин чемодан и смотрели, что дала дочери Софья Михайловна. Очевидно, вещи были хорошие, потому что Надя сказала:

– Все-таки у тебя хорошая мать: ведь ей тоже нелегко, в трех местах работает, а тебе сколько накопила.

На что Вера ответила с поразившей меня горечью:

– Лучше она была бы хуже как мать и лучше как человек.

– Ну, уж моя мама человек хороший, – сказала Надя. – Это тебе всякий скажет. А что толку? Не понимает она меня! Как начнет: «Мы горели, мы боролись, мы целыми ночами спорили! А вы только нарядами и танцульками интересуетесь!» А мне чем гореть? О чем спорить? Все ясно. Я как-то ей сказала: «Вы за что боролись, на то и напоролесь!» Так она вся побелела, затряслась, я даже испугалась за нее! «Не смей говорить о том, чего не понимаешь!» Так что спорить, собственно говоря, тоже нельзя. И какая непрактичная! С таким образо-

ванием работает билетершей в бане. За целый год еле наскребла мне на билет, а уж одеться и думать нечего!

Надя очень скоро обзавелась поклонником и простаивала с ним все дни, а порой и ночи на палубе. Любовь у них росла как на дрожжах. Когда я, выполняя наказ ее матери, попробовала с ней поговорить, она мне ответила, что она совершеннолетняя, а парень этот очень хороший и, наверное, она за него выйдет замуж. Возражать было бесполезно.

А Вера целыми днями лежала молча, иногда читала какие-то письма, иногда плакала. Ехали мы целый месяц, постепенно сблизилась, и она рассказала мне свою историю.

В 1937 году, когда вместе с гибелью семьи кончилось детство Веры, ей было двенадцать лет. Воспоминания о жизни в семье казались ей лучезарными до неправдоподобности.

Отец Веры был хирургом в небольшом южном городке, где они жили. Верочка любила приходить к нему в больницу, любила атмосферу всеобщего восхищения мастерством отца, его властные распоряжения, его мягкость, доброту. Он всегда говорил ей: «Ты будешь врачом. У тебя душа врача. У нас вся семья — врачи, и дед твой, и отец с матерью».

Работа отца и матери была самым главным, к чему приспособлялась вся жизнь семьи. Письменный стол отца был святыней, к которой Вера допускалась, только чтобы вытереть пыль, но никогда бы ей в голову не пришло переложить листочек или что-нибудь переставить.

К отцу приходили университетские товарищи и один заведующий горздравом, старый большевик. У него были какие-то неприятности. Он страстно доказывал что-то отцу. Верочка слышала слова: «Перерождение... Термидор...» Однажды отец пришел расстроенный и сказал матери: «А Николай арестован». Мать ужаснулась: «Где же правда, если такой человек, как Николай, считается врагом? Наверное, он прав — это перерождение». А отец ответил ей: «Я ничего не могу понять. Знаю одно: когда ко мне приносят человека с разбитым черепом и я его снова делаю человеком — я прав. Хорошая у нас с тобой работа. Уж врач-то, если он честный человек, всегда прав».

Когда пришли арестовать мать и отца, Верочка с ужасом глядела на отца, который сидел мрачный и молча смотрел, как рылись в его столе, листали книги, рукописи; когда какой-то энкавэдэшник сбросил на пол какую-то историю болезни, он сделал невольное движение, метнулся к столу. Раздался крик: «Сидеть!» Отец отвернулся от стола и все остальное время, два часа, которые длился обыск, сидел согнувшись и молчал.

Когда их увозили, мать, рыдая, обняла Веру и сказала: «Верочка, береги Юлю. Она маленькая, она забудет даже свою фамилию. Я не найду ее. Береги ее, Вера». Отец положил руку на голову Верочки и сказал: «Будь человеком, Вера, и береги себя. Береги себя и Юлю».

Верочка осталась одна в страшной, разгромленной квартире, с плачущей пятилетней Юлей. Через полчаса приехала машина, и детей отвезли в детдома, но в разные. Веру оставили в их городке, а Юлю отвезли в детский дом под Горький.

Двенадцатилетняя Верочка стала разыскивать мать, отца и Юлю. С сестренкой она связалась довольно скоро. Ей сообщили адрес детского дома, и в ответ на ее умоляющее письмо одна из воспитательниц, Ольга Арсеньевна, взяла под свое покровительство бедную сиротку и начала писать Верочке. (Потом Верочка узнала, что у Ольги Арсеньевны был арестован брат.)

Труднее было с родителями. Об отце она узнала лишь приговор: «Десять лет без права переписки». Была еще бабушка, мать Софьи Михайловны, но она жила где-то в Саратове, и адреса ее Вера так и не нашла. Мать через два года отыскалась на Колыме.

Я хорошо помню, как Софья Михайловна в 1939 году получила письмо от Верочки. Я была в бараке. Кто-то прибежал из КВЧ (культурно-воспитательная часть) и сказал, что для нее лежит письмо. До этого времени Софья Михайловна без конца запрашивала адреса своих девочек, но ей не отвечали. Она подумала, что это из НКВД ей сообщают о детях. Накинув платок, бледная, побежала она в КВЧ, а через полчаса, плача, вошла в барак с письмом Верочки, ее карточкой. Письмо, конечно, пошло по рукам. Все плакали, все с восторгом смотрели на худенькую, стриженную наголо девочку с темными смелыми глазами. Все читали ее милые мужественные слова, написанные полудетским почерком. Она утешала мать, сообщала ей адрес Юли, сообщала приговор отца. Она писала, что учится хорошо и обязательно будет врачом, что у Юли добрая воспитательница.

Софья Михайловна ожила. У нее появилась цель жизни: выжить, встретиться с дочерьми. Она стала всеми способами добывать деньги, чтобы послать их девочкам. Она лечила детей начальства, делала аборт, не брезговала подношениями пациентов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Бывали случаи, когда она за деньги освобождала блатнячек от работы. Это било, конечно, по нашим интересам, потому что она могла давать освобождения строго ограниченному числу заключенных, и часто явно больные не могли отдохнуть, а какая-нибудь Сонька Козырь или Машка Торгсин вылеживались в бараке. Многие очень осуждали Софью Михайловну за это, но,

с другой стороны, она старалась нам тоже немного облегчить жизнь: то рыбий жир или какой-нибудь витамин выпишет, то похлопочет о переводе на более легкую работу, а то и отдохнуть денек даст.

Детдом, в который попала Верочка, был плохой. Заведующая, не стесняясь, воровала молоко для своих детей, ее примеру следовал и персонал. У педагогов были любимцы из старших детей, которые ходили к ним на дом, помогали по хозяйству и в огороде и за это пользовались привилегиями. Питание, естественно, было плохое, в помещении грязь. Дети возмущались и между собой ругали заведующую и ее любимчиков.

Однажды на торжественном собрании по поводу 7 ноября 1940 года после доклада заведующей о заботе государства о детях неожиданно встал пятнадцатилетний Алик Андреев и сказал: «Может быть, государство и заботится о нас, но наши педагоги только и думают, как бы утащить у нас продукты. Даже ковер, который мы получили для красного уголка, лежит у заведующей в комнате».

Что тут поднялось! Председатель звонил и кричал, что слова Алику не давал, дети кричали: «Верно!» И шоколад, что выдали на праздник, почти весь взяли учителя, и топят плохо, а у себя в квартирах как в апельсиновом... Тут раздались голоса директорских подпевал: «Молчите, фашистские сынки!» Тогда Алик вскочил на стул и закричал: «Нет, я не фашистский сынок. Если бы заведующая была такой же коммунисткой, как мой папа, мы не голодали бы. Он был настоящий коммунист, за то его и посадили».

Верочка несколько раз пыталась крикнуть и поддержать Алика, но сидевшая рядом с ней воспитательница сжала ей руку и шептала: «Молчи, ты себя погубишь». И Верочка промолчала.

После выкрика Алика все стихли и вокруг него образовалась пустота. Он сошел со стула, понимая, что этого уж ему не простят, что этим воспользуются, чтобы погубить его.

И потом часто Вера вспоминала глаза Алика и то, как она промолчала. Она стонала по ночам и плакала, завернувшись с головой в одеяло. Алик был арестован и осужден на 5 лет исправительной колонии для малолетних преступников по статье 58-10 (антисоветская агитация). Ему вменялась клевета на советский суд. Воспитательница потом сказала Вере: «Видишь, хорошо, что я тебя остановила».

В 1940 году детдом, где жила Вера, перевели на восток, за Ташкент. К ее радости, случилось так, что Юлин детдом перевели в поселок, находящийся всего в 50 километрах от Вериного. И вот однажды из Юлиного детдома приехал шофер, который знал и Ольгу Арсеньевну, и Юлю. «Сестренка твоя сильно болела дизентерией, — сказал он. —

Тоненькая, как былинка, и вся запаршивела. Конечно, ей бы сейчас питание, а какое там питание».

Верочка незадолго до этого получила первую посылку от матери. В ней был сахар, яичный порошок, три плитки шоколада, пачка витаминов, блузочка и вязаный шарф. Она решила, что, обладая таким богатством, она выходит Юлю, спасет ее. И вот девочка убежала ночью из детдома и пошла к Юле. Она очень боялась, что ее поймут, боялась бродячих собак и злых людей.

Шла она пять ночей, а днем спала в кустах. На шестой день дошла. Юлю она действительно нашла бледной и худенькой, всю покрытую какой-то экземой. Сестры бросились друг другу в объятия и не отпускали друг друга, боясь, что их разлучат. Ольга Арсеньевна увела их в свою комнату, а сама пошла к заведующей просить, чтобы Веру оставили в их детдоме. Это ей удалось, и Вера действительно выходила Юлю. Она уступала ей свой сахар и масло, добывала иногда на работе в совхозе фрукты, меняла вещи, присланные матерью, на яйца и белый хлеб.

Когда Верочке исполнилось 16 лет, она ушла из детдома ученицей токаря на завод. Время было военное, и подростки заменяли ушедших на фронт рабочих. Верочка стала квалифицированным токарем и немного погодя взяла Юлю из детдома к себе на койку в общежитие. Маленькая мама воспитывала Юлю очень строго, следила за ее учебой. Софья Михайловна систематически посылала посылки, и девочки кое-как жили.

В 1945 году Софья Михайловна, которая уже работала в Магадане вольным врачом и имела большие связи, так как лечила детей у всего начальства, сумела достать пропуск, и девочки приехали на Колыму к матери. Какие счастливые они были, когда дождливым днем в августе 1945 года пароход привез их в бухту Нагаева!

После семи бесприютных лет их встретила мать, изменившаяся значительно меньше, чем они ожидали: те же длинные, блестящие каштановые волосы, те же нежные руки, те же добрые глаза!

У матери была хорошая комната, где все, начиная с кроватей с новыми ночными рубашками под подушкой и кончая духами на туалетном столике и вышитыми украинскими кофточками, было приготовлено для них. Мать варила им украинские борщи, вареники со сметаной, ласкала их, не могла с ними наговориться. Месяц прошел в блаженной суматохе, воспоминаниях детства, рассказах о семи годах разлуки, во взаимном узнавании. Первого сентября Юля пошла учиться в школу, и встал вопрос о том, что делать Вере. Она было заикнулась, что имеет квалификацию токаря по металлу и пойдет

работать на авторемонтный завод, но мать в ужасе заткнула уши. «Хватит, мы с тобой намучились. Теперь все будет по-другому. Я устрою тебя на легкую работу секретарем в Управлении Дальстроя, и ты поступишь в десятый класс школы рабочей молодежи. (Верочка окончила только девять классов.) А потом посмотрим. Ты ведь хочешь учиться, чтобы быть врачом. Это и моя цель — дать вам образование, как хотел папа».

И Верочка поступила секретарем в Управление Дальстроя. На новой работе Вера столкнулась с нравами, специфическими для Колымы. Там были две категории работников: бывшие заключенные и договорники. Бывшие заключенные работали, как правило, за двоих. Бывало так, что главный бухгалтер был договорник, а его помощник — бывший заключенный. Работал помощник, а зарплату получал вчетверо ниже своего начальника, который представлял. В плановом отделе заведующей была жена начальника отдела кадров, которая не только ничего не смыслила в работе, но не считала нужным даже высидеть свои восемь часов. Часто в рабочее время ее можно было встретить в магазинах или найти дома, наблюдающей, как дневальный (у ответработников были дневальные из заключенных) убирает квартиру. Но работа от этого не страдала, так как у этой заведующей, получавшей тысячи три зарплату, рядовым плановиком работал бывший экономист из Госплана. Это был тихий, запуганный человек, готовый сидеть в отделе день и ночь и работавший, наверное, не за двоих, а за троих.

Договорники приняли Верочку как свою. Но Вере чужды были интересы новых знакомых, сводившиеся к романам и нарядам, ее коробило пренебрежительное их отношение к бывшим заключенным.

Делами в бухгалтерии Управления заправлял помощник главбуха Андрей Петрович Шелест, красивый добрый человек, всеобщий любимец. Он не имел в прошлом политической статьи — сидел за растрату. Бытовики чувствовали себя гораздо более полноправными людьми, чем «враги народа».

Напротив Андрея Петровича за двумя небольшими, тесно поставленными столами сидели счетоводы: Симочка — красивая молодая женщина, жена договорника-инженера, и Ольга Ивановна — женщина лет пятидесяти, недавно вышедшая из лагеря, бледная и плохо одетая.

Шел обычный рабочий день. Андрей Петрович шелкал костяшками, а Ольга Ивановна заполняла картотеку. Симочка весело болтала с Офицеровым — блестящим и нарядным лейтенантом МГБ, который Верочке ужасно не нравился, потому что казался ей похожим на Дантеса.

Офицеров, нагнувшись к уху Симочки, рассказывал ей что-то смешное, поглядывая уголком глаза на Ольгу Ивановну. В это время Ольга Ивановна встала с места и подошла к Андрею Петровичу за какой-то справкой. Тотчас же Офицеров сел на ее место и, развалившись на стуле, продолжал болтать с Симочкой. Ольга Ивановна вернулась и попросила Офицера освободить ей рабочее место, а он, кинув: «Подождете», продолжал болтать с Симочкой. Ольга Ивановна стояла растерянная с красными пятнами на лице. Она и возмущена была его наглостью, и боялась вступать с ним в пререкания. Наконец она все же решительно сделала шаг к своему столу, но в это время Андрей Петрович, наблюдавший всю сцену, самым любезным тоном позвал ее: «Будьте любезны, Ольга Ивановна, дайте мне проводку за октябрь 1942 года, номер такой-то...»

Ольга Ивановна искала проводку, подала ему и хотела опять пойти к своему столу, прочно занятому Офицеровым, но Андрей Петрович крепко ухватил ее за руку и начал что-то длинно объяснять, а сам время от времени шептал: «Стойте. Не связывайтесь!» Потом он попросил Ольгу Ивановну составить картотеку по всем проводкам материальных ценностей за 1941 год и далее до 1944 года. «Извольте видеть, они нам понадобятся для проверки баланса...»

Наконец, выдержав какое-то время, достаточное, по его мнению, чтобы проучить «обнаглевшую» Ольгу Ивановну, Офицеров встал, поцеловал руку Симочке и вышел из бухгалтерии, оставив после себя запах духов, вина. Все продолжали работать, как будто ничего не произошло. Минут через 20 после ухода Офицера кончился рабочий день.

Все это время Вера ерзала на стуле и не знала, как ей подойти к Ольге Ивановне, в каких словах выразить свое возмущение Офицеровым и Симой, свое сочувствие.

Первой, как и всегда, упорхнула Симочка. Ушел Андрей Петрович, помахав на прощание рукой Ольге Ивановне и весело сказав: «Учитесь колымской жизни. То ли еще бывает».

Ольга Ивановна собиралась тоже уходить и натягивала какой-то старый плащ поверх лагерной телогрейки. И тут Верочка подошла к ней, обняла, ткнулась губами в щеку и стремительно выбежала на улицу.

К ее удивлению, мать не очень возмутилась, когда вечером она рассказала о случае в бухгалтерии. Софья Михайловна только грустно покачала головой: «Да, Верочка, такая здесь жизнь. Когда я прихожу лечить ребенка, они — сама любезность, а в глубине души считают нас последними людьми. Приходится делать вид, что не замечаешь их хамства. Иначе жить на Колыме нельзя».

В вечерней школе у Веры появился приятель — Иван Колосов.

Иван с начала войны был на фронте. В начале 44-го, тяжело раненный, попал в плен. Его освободили американцы. Иван рассказывал Вере, как сильно тянуло его на родину. Как ползли слухи, что всех, кто возвращается из плена, отправляют в лагеря. Как он, комсомолец, спорил, доказывал, что это вражеская пропаганда, что не может он отвечать за то, что, тяжело раненный, попал в плен, что надо верить тому, что говорят советские офицеры. А они говорили: «Родина ждет вас. Ваши семьи ждут вас». И Иван смело вышел вперед, когда советский представитель спросил: «Кто хочет вернуться на родину?»

Репатриантов посадили в поезд, украшенный лозунгами: «Родина ждет вас». В Негорелом пересадили в теплушки, заперли и повезли на Колыму. Во Владивостоке они — кто пять месяцев, а кто и дольше — сидели в следственной тюрьме. Большинство потом попало в лагерь. А Ивану повезло: ему разрешили жить на Колыме вольно, но без права выезда.

И вот Иван, провоевав почти четыре года, вместо того чтобы жить с матерью и братьями в станице на Кубани, работал слесарем на авторемонтном заводе в Магадане, жил в общежитии, где, кроме пьянства, не было других развлечений, и с ужасом чувствовал, что его все больше затягивает водка. Обида, попранное чувство справедливости кипели в его душе. Случалось ему тяжело срываться. Как-то в ответ на довольно обычную фразу: «Зря у нас не сажают» — он избил пожилого человека, договорника, просидел 15 суток и твердо заработал репутацию хулигана. Зимой 1945 года он решил поступить в 10-й класс вечерней школы и там подружился с Верой. Дружба их переросла в любовь. Софья Михайловна, конечно, узнала об увлечении дочери. Она с ней говорила, убеждала ее, что Иван — малограмотный парень, пьяница и хулиган, что у него в жизни нет никаких перспектив. Но Вера не поддавалась. И тогда Софья Михайловна с помощью своих знакомых в Управлении Дальстроя сделала так, что Ивана срочно отправили на отдаленный прииск. Верочка показала мне его письмо, оставленное перед разлукой:

«Прощай, моя Вера! Напрасно я размечтался, что нашел друга, жену на всю жизнь. Я знаю, ты меня любишь, но твоя мать, конечно, никогда не примирится с тем, что ее красивая, умная дочь, перед которой открыта дорога к образованию, к жизни в столице, на которой с радостью женится кандидат наук или полковник, выйдет замуж за человека бесправного, да еще пьющего...

Видно, мне доживать жизнь с матом, с водкой, в тяжелой работе, в грязи. Прощай, моя Вера. Прощай навсегда!»

– Что же вы ему ответили на это письмо, Верочка? – спросила я.

– А я ничего не ответила. Я собралась, села на попутную машину и поехала к нему на прииск.

А дальше было так: на прииск Верочка приехала в воскресенье утром. Грузовик довез ее до столовой, и там ей сказали, что бригада, в которой работает новенький из Магадана, живет в бараке № 2. Она подошла к низкому деревянному строению. Вошла в тамбур. Слышались выкрики, обрывки песен, хохот. Никто не услышал ее стука. Комната была темная, низкая, грязная. По стенам нары с какими-то тряпками вместо постелей. Человек двенадцать мужчин сидели за столом. На столе спирт, куски селедки на газете, окурки, хлеб. Кроме мужчин за столом были еще две намазанные пьяные женщины, каждая в обнимку с двумя мужчинами.

Иван сидел спиной к двери, но Вера сразу его узнала. Одна из женщин поймала Верин взгляд и сипло завизжала: «Ванька, б... буду, если это не твоя маруха!»

Иван обернулся, увидев Веру, побледнел. Все загалдели: «Ванька, точно это к тебе! Ишь, какая краля!» Иван подошел к Вере. Хмель с него слетел. Он взял ее за руку и вывел из барака. «Зачем, зачем ты приехала? Убедиться, что мать твоя права и я пьяница и хулиган?» – «Не говори глупостей. Пойди умойся и оденься, я тебя подожду».

Вере было мучительно жаль его. Когда Иван вернулся, сказала: «Пойдем в загс регистрируемся».

«Жалеешь? Нету здесь загсов».

«Все равно, я приехала, чтобы выйти за тебя замуж. Пойдем к вашему начальнику. Есть же здесь какое-нибудь начальство!»

Начальник прииска дал Ивану три дня на свадьбу... А когда я вернулась домой, мама чуть с ума не сошла. Конечно, ее тоже можно понять. Она натерпелась горя, хотела для меня благополучной жизни. Только меня она совсем не понимает. Вот спровадила меня за бабушкой в Саратов, надеется, что забуду Ивана. Ведь мы с ним и не расписаны, просто можно разойтись. А я его никогда не забуду.

– А не сопьется он?

– Нет. Вы не знаете его. Он сильный и верный.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АДАМОВ

В 1944 году я уже знала, что приговор, полученный моим мужем – десять лет без права переписки, – это шифр расстрела, что я вдова.

И вот явился друг, опора в жизни. Я вышла замуж за Николая Васильевича Адамова. Он был полной противоположностью моему

первому мужу. Закгейм – рафинированный интеллигент, энциклопедически образованный. Он глубоко знал естествознание (защитил диссертацию «Естествознание XVIII века»), прекрасно разбирался в музыке, живописи. Нельзя представить себе, чтобы он выругался или толкнул кого-нибудь.

Николай – сын шахтера из Донбасса, старший из четверых детей. Его отдали в городское училище. В тринадцать лет он пошел работать на конфетную фабрику. В 1918 году, когда Николаю было шестнадцать лет, белые заняли Донбасс. Шахтеры, чтобы не отдавать им уголь, затопили шахту, на которой работал отец Николая. Белые схватили его и повесили. Николай остался старшим в семье, кормильцем. Трудно было бросить мать с сестренками, но сильнее была тяга на фронт, желание отомстить за отца. И он ушел из дома в Красную Армию. Провел на фронтах всю Гражданскую войну.

В 1927 году Николай окончил ветеринарный институт. И снова его взяли в армию, в Особый Дальневосточный полк комиссаром. В 1935 году его арестовали – за антисталинские высказывания. Следователь начал спрашивать про жену. Поняв, что к ней тоже подбираются, Николай заявил, что хочет дать важные показания наедине уполномоченному НКВД. Когда они остались вдвоем, Николай сказал: «Имейте в виду, если мою жену арестуют, я дам такие показания на вас, что вы сядете крепче меня». Жену его не тронули, но она была так напугана, что сама от него отказалась.

Николай получил пять лет, и его привезли в Магадан весной 1937 года. Вскоре там начал свирепствовать полковник Гаранин, одно имя которого наводило ужас на заключенных. Он многим добавлял «за саботаж» новый срок – десять лет, в лагерях своей рукой расстреливал людей... В это время самым страшным местом была «Серпантинка» – штрафной лагерь. Николай попал туда.

Баракы там были так набиты, что сидеть на полу можно было только по очереди, остальные стояли. По утрам открывалась дверь, и вызывали десять-двенадцать человек по фамилиям. Никто не отзывался. Тогда хватали первых попавшихся и увозили на расстрел. Однажды и Николай попал в такую десятку, хотя называли фамилии совсем других людей. Их загнали в кузов машины и повезли. Все конвоиры были пьяные. В углу машины валялись мешки. Николай заполз под мешки. Приехали на место, заключенных вывели. Через несколько минут раздались выстрелы. Вернулись конвоиры одни и поехали в лагерь. Николаю удалось вечером выбраться из-под мешков и присоединиться к заключенным, пилившим дрова.

Однажды открылась дверь и вызвали Адамова. Он, конечно, не отозвался. Ушли. Потом опять спрашивали, который тут Адамов — ветеринар, у нас свиньи падают, заболели. «Ах так, — сказал Николай, — тогда Адамов — это я». Его повели в свинарник, где, чуть живые, по колено в грязи, стояли свиньи. Он их вымыл, убрал навоз, намазал ноги йодом, и свиньи ожили.

Начальство оценило его «квалификацию», и он прочно обосновался в свинарнике. Потом Гаранин куда-то исчез, оставшихся в живых заключенных перевели в обычные лагеря, окончивших срок освободили, в их числе и Николая.

На воле Николай стал работать на складе в Ягодном, а потом и заведовать им. Так уж случилось, что после моего освобождения я попала на работу на этот склад.

Часто на склад приходили энкавэдэшники. Я их ужасно боялась. Мне казалось, что они могут меня ни за что снова арестовать. Я старалась поскорее ответить на все их вопросы, быть с ними любезной. Николай наблюдал за мной с усмешкой. «Почему ты их боишься? Подумай, что из себя представляют они и что ты? Плевать на них! Привыкли дармовой спирт жрать — у меня не получают».

Мы прожили с Николаем на Колыме два года. Я любила в нем независимость мысли, отвагу.

В 1946 году благодаря хлопотам моих родных мне разрешили уехать с Колымы. Трудно было расстаться с Николаем, но материнское чувство победило. При прощании он мне сказал: «Жди меня, я приеду к тебе». Я в это не верила, но это сбылось.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ехали мы целый месяц: шесть дней пароходом, девятнадцать дней поездом, да еще ждали пять дней в бухте Находка, пока сформируют эшелон.

Я жадно глядела на людей, которые были все годы «по эту сторону», пережили войну и не знали лагерей. Люди были огрубелые, измученные. Удивило, что в очереди за кипятком женщины, ругаясь, кричали: «Ты человек или милиционер?»

В наше время (до 1936 года) милиционеров не ругали, тогда было — «моя милиция меня бережет».

Один раз на перроне ко мне подошел человек, махнул рукой в сторону востока, спросил: «Оттуда?» — и протянул мне пачку чаю. Не знаю, почему он выделил меня из толпы, что прочел на моем лице.

Я телеграфировала домой со всех крупных станций, но меня не встретили, потому что в последний день где-то около Ряжска нас загнули в тупик, и мы простояли восемнадцать часов. Потом повезли нас по Окружной дороге к Рижскому вокзалу, и только утром 6 августа мы подъезжали к Москве.

Я была так растерянна, что не знала, как добраться домой. Какой-то мужчина взялся меня проводить до дому за 200 рублей и доставил за полчаса на трамвае.

Я вошла в свою квартиру. Там была одна старушка родственница. Мать с отцом находились на даче, сестра и брат двое суток встречали меня на вокзале и теперь, наверно, были там.

Через пятнадцать минут приехала жена брата, а еще через час собрались все родные.

Сестра рассказывала, что они с братом встречали много поездов и подходили ко всем измученным старухам, им казалось, что это я. Я сбросила свое лагерное платье, жена брата дала мне свой синий английский костюм и желтую вязаную кофточку. Тогда я только рада была, что прилично оделась, но потом оказалось, что костюм мой выбран необыкновенно удачно.

Мы поехали на дачу. На платформе в Загорянке дети встречали все электрички уже третий день. Сестра сказала мне, что дочь одета в голубое платье, а сын в желтую рубашку. Поезд подходил к Загорянке. Я глядела во все глаза, на платформе было много людей, но я не находила своих ребят. Вдали бегали какие-то мальчик и девочка, я не могла понять, мои это или нет. Когда поезд остановился, на меня налетела высокая девочка, почти девушка (ей было пятнадцать лет) и каким-то неестественным голосом закричала:

– Мама! Мама! Мама!

Сестра сказала:

– Шурик, что же ты?

Подошел парень, высокий, нескладный, с ломающимся голосом. И у парня глаза были не то мои, не то Закгейма. И еще губы он поджимал, как отец, когда волновался.

Мы вошли в калитку нашего сада. На террасе сидела в кресле мама, а сзади стояла старшая сестра – врач, со шприцем наготове (боялись, что у матери не выдержит сердце).

Больше всех изменилась мама. Из крепкой шестидесятилетней женщины, которая могла перестирать кучу белья и натереть полы не хуже полотера, она превратилась в древнюю старуху, не встающую с кресла.

– Ты, ты, – сказала мама, и слезы покатались у нее из глаз. – Господи, дожила! Дожила! Ты, ты!

Я подбежала, встала на колени, уткнулась головой в ее грудь, в ее руки, вдыхала ее запах...

– Мама!

А она боялась нарушить счастье встречи сердечным припадком, прижимала руки к сердцу, беззвучно плакала и говорила:

– Дожила, дожила.

...Отец был в санатории в Болшеве. Он ослеп на один глаз, а на другом глазу созревала катаракта. Перед операцией его решили подлечить. Назавтра я с детьми поехала в санаторий. Я с сыном села на скамейку в саду, а дочку мы послали за дедушкой, чтобы она его пригостила. Через несколько минут показалась высокая фигура отца. Он почти бежал, вытянув руки, как слепой, и кричал:

– Где, где?

Эллочка шла за ним и растерянно говорила:

– Тише, дедушка, ты же обещал мне не волноваться!

Я подбежала к нему, подхватила его, мы оба плакали. Люди говорили:

– Наверное, дочка с фронта приехала...

Вечером за столом я спросила:

– Правда ли, что Сталин болен?

Никто не знал, а сын ответил очень многозначительно:

– Я не знаю, болен ли он, но если бы он был болен и нужно было бы отдать ему всю свою кровь и умереть, я это сделал бы.

Я поняла, что это мне урок и предупреждение, и замолчала. Еще помню слова сына. Я рассказывала, что в нашем эшелоне стоял у дверей теплушки парень в пиджаке, накинутом на плечи. От ветра пиджак слетел, и парень прыгнул за ним, так и отстал от поезда. Сын заметил:

– Наверное, в кармане был комсомольский билет. Я тоже прыгнул бы.

В другой раз я его спросила:

– Шурик, ты помнил меня, нашу прежнюю жизнь? Ты вспоминал нас?

Он ответил резко:

– Нет, я ничего не помню, не вспоминал никогда.

А потом, недели через две, сказал:

– Мама, ты нарочно надела синюю юбку и желтую кофточку?

– Почему?

– Так ведь ты ушла в синей юбке и желтой кофточке, и я был уверен: откроется дверь и ты войдешь в синей юбке и желтой кофточке. Так оно и вышло.

И только тут я вспомнила, как была одета при аресте. А он-то помнил. Значит, вспоминал.

Я твердо знала, что, погостив две недели, обязана уехать куда-нибудь километров за двести-двести пятьдесят от Москвы, где меня пропишут. Но кругом было так безмятежно, мы жили на даче, где не было ни одного чужого человека, казалось, никто не обращал на меня внимания...

Несколько раз я порывалась уехать. Один раз отправилась даже в Гусь-Хрустальный, сняла там комнату и прописалась. Стала искать работу, что было нелегко... А потом мой хозяин мне сказал:

– Поезжайте-ка вы, Ольга Львовна, в Москву, если вас будут спрашивать, в тот же день получите от меня телеграмму. Тут многие так делают.

Я заплатила ему за три месяца вперед, поехала в Москву и стала жить в семье.

Мать была как ребенок. Она плакала, когда я уезжала, и говорила:

– Зачем тебе уезжать? Никто не узнает, что ты живешь у нас. А если и узнают, скажем, что ты приехала проведать больную мать. Кто это осудит?

Самые горькие минуты мне доставлял горячо любимый мною отец, который в свои восемьдесят лет не очень хорошо разбирался в современной жизни. Не раз я заставала его на скамеечке у калитки нашего сада с каким-нибудь старичком или старушкой за увлекательной беседой, и эти его старички глядели на меня со слезами на глазах и говорили:

– Страдалица невинная, наконец-то вы вознаграждены судьбой! У вас такие чудесные дети, такие родители!

– Папа, опять ты рассказывал обо мне! Я же умоляла тебя молчать!

– Ты какая-то странная! Иван Матвеевич (или Марья Петровна) – чудеснейшей души человек, он тебе так сочувствует, а ты его подозреваешь, что он может донести!

После дачи мы переехали в город, в квартиру на Петровке, где я прожила до ареста шестнадцать лет. Естественно, соседи знали меня и понимали, откуда я вернулась. Я старалась днем не выходить на улицу. Но отец-то мой имел и там много чудесных приятелей, и вот ко мне стали подходить во дворе какие-то тихие интеллигентные старушки и таинственно шептать:

– Не бойтесь, никто на вас не заявит, живите спокойно, страдалица невинная!

Можно себе представить, как спокойно я могла жить, но вместе с тем я не имела сил уехать от прикованной к постели матери,

от ослепшего отца и от детей, которых я никогда не любила так сильно, как в этот период узнавания, сближения, обретения.

Самое удивительное, что я прожила в Москве на Петровке три года и на меня никто не донес, хотя о моем существовании знали десятки людей. Все эти три года я жила в непрерывном страхе. Помню, однажды, уже на второй год моей жизни в Москве, я с братом и семнадцатилетней племянницей Леночкой ехала на машине с дачи. Я мучительно думала, что на даче было относительно безопасно, а в городе, в доме, где меня знает так много людей, начнутся разговоры, кто-нибудь догадается, что я живу без прописки, придут, схватят, в лучшем случае я снова буду обречена на одиночество, на изгнание, на бездомность, неприкаянность. Говорят, что иногда ловят вот таких, без прописки, высылают в двадцать четыре часа, а при повторном нарушении могут даже отправить в лагерь. Надо бы уехать... Но куда? Как?

Я так задумалась, что не вслушивалась в болтовню Леночки. Потом до меня дошло, что она рассказывает что-то очень страшное о том, как шайка бандитов-шоферов заманивала и убивала молодых девушек-подростков. Серые Леночкины глаза округлились, брови сдвинулись, розовые губки дрожали... Она трагически говорила:

— Нет, ты подумай, папа, они предлагали покатать, а сами завозили в лес и убивали!

— Вот видишь, — сказал брат, — нельзя с незнакомым человеком ехать, мало ли что он предложит!

— Но почему я должна бояться людей? В нашей стране не должно быть страха. Все должны доверять друг другу, а я вдруг должна бояться! Страх — это что-то позорное, что было в старое время, теперь этого не может быть в нашей жизни!

Я взглянула на брата. Он бровями сделал мне знак: «Молчи, не надо нарушать ее душевного мира, не рассказывай о том, что сердце твое разрывает страх».

«Да, девочка, конечно, я не расскажу тебе, как твоя тетка от малейшего стука или внеочередного звонка вскакивает и наивно прячется за шкаф, как она по ночам клянется себе уехать, а утром опять сидит у постели матери и обещает ей: «Не бойся, мамочка, я не уеду, я буду с тобой!..»

С дочерью сложилось все очень просто. Мы спали с ней на одной кровати, она прижималась ко мне своим нежным полудетским-полудевичьим телом, я вдыхала аромат ее волос, губ, и мне казалось, что я не расставалась с ней ни на день. Она была убеждена, что маме надо все рассказывать, и вскоре я узнала все ее пятнадцатилетние сек-

реты, горести и радости. Это было ясное, прелестное существо, изливавшее на меня море нерастроченной нежности.

С сыном было сложнее. Я боялась рассказать ему о том, что открылось мне «по ту сторону». Вероятно, я смогла бы убедить его, что многое в стране неблагополучно, что его кумир Сталин весьма далек от совершенства, но ведь сыну было семнадцать лет.. Если бы я ему все объяснила и он согласился бы со мной — смог бы он аплодировать при упоминании имени Сталина, смог бы он писать «письма» Сталину, говорить на политзанятиях «мудрый, гениальный», говорить, что у нас в стране справедливость, правда?

А если бы не смог, он был бы обречен, погиб бы!

А если бы смог, какой надлом, какое двурушничество, какая двойная жизнь! И я боялась быть с ним откровенной. Но чем-то я постепенно завоевала его душу. Он внимательно присматривался ко мне. Примерно месяца через три он сказал мне:

— Мама, ты мне нравишься!

— Чем, сынок?

— Тем, что ты не похожа на тетю Соню.

Соня была наша дальняя родственница, у которой был арестован муж, когда-то очень большой человек. Соню выселили из ее квартиры в доме правительства, но почему-то не выслали из Москвы.

Она ходила по знакомым и родственникам, побиралась, плакала, вспоминала былое величие. Шурик не выносил ее заискивающего тона, ее сенсационных сплетен, ее жалких попыток поддержать увядающую красоту губной помадой и какой-то лиловой пудрой. В свое время она бывала за границей и теперь шепотом говорила, как там хорошо, а у нас все плохо.

Сын почувствовал правильно. О, как любила я Москву, в которой жила как на вулкане, как любила я жизнь, в которую меня не пускали, как я ненавидела, как остро я ненавидела тех, кто изуродовал нашу прекрасную жизнь, кто заткнул рот и связал руки народу.

Пришел мой товарищ, Алексей, член партии с семнадцатого года. Его привел папа, он встретил его на улице и, конечно, рассказал, под большим секретом, что я в Москве. Сначала я расстроилась и даже испугалась. Поскольку поправить ничего было нельзя, я усадила Алексея за стол, и мы начали говорить. Алексей жадно расспрашивал о делах тридцать седьмого года, почему сидела, почему подписывали неправду, почему признавали вину. Мы проговорили с ним почти всю ночь. Под утро я спросила его:

— А как вы, в вашей среде, говорите об этих вещах?

— Что ты, никогда! Разве можно?

– А ведь раньше ты со мной, беспартийной, не говорил бы о том, о чем и с партийными товарищами нельзя!

– То раньше. Раньше я немедленно сообщил бы куда следует о тебе, а теперь не сообщу.

Да, многое изменилось.

Так я прожила три года. В 1949 году говорили, что в связи с наступающим семидесятилетием Сталина началась чистка Москвы. Таких, как я, «нелегальных», в Москве я знала несколько человек. Мы замечались. Кое-кто срочно уехал (между прочим, это не помогло, арестовывали даже по деревням), было два случая самоубийства (это в моем узком кругу). Покончили с собой наши колымчанки Липа Каплан и Ольга Радович. Я поняла, надо уезжать! Опять эта бездомная, беспризорная жизнь!!! Я решила уехать в Рязск, где жила моя знакомая старушка учительница, взяла билет на 30 августа, а 29-го, когда я сидела на даче у постели матери и мирно читала ей книгу, – вошли два молодых человека в хорошо сшитых коверкотовых костюмах и попросили следовать за ними...

Я увидела искаженное ужасом лицо матери.

– Она не живет здесь, она навестила меня. Я больна, я, наверное, скоро умру.. Она навестила меня... Она...

У мамы начался сердечный припадок. Она задыхалась и в промежутках, когда могладохнуть, цеплялась за мою руку и продолжала свою беспомощную святую ложь, продолжала защищать свое дитя:

– Она навестила... Я умираю... Отпустите ее... Она не живет с нами... Она навестила...

Я оторвала руку от мамы и встала.

– Я иду с вами.

Появился отец. Он смотрел своими полуслепыми глазами. Ему только недавно сняли катаракту, и он чуть-чуть видел. На его бедных глазах были слезы.

– Товарищи, я объясню вам, она приехала навестить мать...

Его не слушали.

– Мать больна, мать, а я вот не вижу. Она приехала навестить мать.

Больше я никогда не видела ни матери, ни отца. Вскоре после моего вторичного ареста они оба умерли.

– Возьмите с собой вещи, ведь вы знаете, что надо, вас не учить.

Я подошла к шкафу. «Зачем я буду брать с собой вещи? Они пригодятся детям. Ведь совершенно ясно, что я не стану жить. Второй раз перенести «это»? Нет». Я не взяла ничего, кроме полотенца, зубной щетки и пачки папирос. Я твердо знала, что мне надо умереть.

1949 год. КАМЕРА № 105 В БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЕ

Никаких новых обвинений мне не предъявили, я была арестована как повторница. Приговор был предрешен – ссылка. Тем не менее таких, как я, держали в тюрьме по полгода. Когда я подписала 206-ю статью (окончание следствия), из тюрьмы на Малой Лубянке меня перевели в Бутырки.

После Колымского лагеря ссылка казалась не столь страшной. Ведь в ссылке люди живут вольно и работают по найму, только должны еженедельно отмечаться у коменданта. Страшно было думать, что могут загнать в глухую деревню, так далеко, что не увидишь своих родных, но все же предстояла какая-то жизнь, а не лагерная мука.

Я уже мечтала, что буду работать, читать, может быть, найдутся какие-нибудь друзья, что у меня будет свой угол. Я измучилась от нелегальной жизни в Москве в течение трех лет, когда я каждую минуту ждала ареста.

Однако приговора еще не было, хотя я сидела в тюрьме уже четыре месяца, и я очень боялась, что что-нибудь может измениться. Ведь я узнала: некоторых повторников загоняют снова в лагерь. Страх этот совсем бы меня доконал, если б я не решила твердо, что снова в лагерь не пойду, а покончу с собой. Слишком устала! Мысль о таком исходе успокаивала.

По странной случайности я попала в Бутырки в ту же камеру № 105, где сидела в 1936 году. За прошедшие 13 лет обстановка сильно изменилась; если в 1936 году камера была грязная, вонючая, на веревках сушились лохмотья, люди по целым ночам плакали, кричали, говорили, ходили, спали вповалку на дощатых нарах, то в 1949 году все было приведено в идеальный тюремный порядок: стены и пол сверкали чистотой, спали на отдельных койках с матрацами, каждое утро приходил врач и белым платком проверял, нет ли где пылинки, за плохую уборку дежурным грозил карцер. Одним словом, тюремная культура была доведена до совершенства. На стену так и просилась доска с показателями соцсоревнования с другими подобными заведениями... Стало страшно: это была уже не катастрофа, вроде землетрясения, как в 37-м году, а упорядоченный быт, рассчитанный на годы...

Я села на койку и стала наблюдать за своими товарищами по несчастью.

Состав арестованных резко отличался от того, который я помнила по 1936 году.

Если в 1936 году члены партии или жены членов партии составляли подавляющее большинство, то теперь их было процентов десять.

Много было женщин, арестованных за связь с немцами («из-под фрицев», как их называли), были члены какой-то религиозной организации, в большинстве своем полуграмотные крестьянки, которые имели даже своего претендента на престол, какого-то Михаила, по годам явно не соответствующего Михаилу Романову. Очень много латышек и эстонок, презиравших и ненавидевших русских и державшихся особняком. Была группа коммунистов, которым по всем признакам полагалось сесть в 1937-м, но которые случайно уцелели. Они в один голос говорили, что были уверены в справедливости арестов 1937 года. Доказательством этой справедливости для них являлся тот факт, что вот они не совершали преступлений, и их-то не тронули.

Только эта немногочисленная группа в очень ослабленном виде переживала нечто подобное тому, что переживали мы в 1937-м. Ведь еще на свободе, не признаваясь самим себе, они потеряли ту безусловную веру в справедливость советской власти, которая была у нас. Они уже сотни раз подставляли под понятие «справедливость» понятие «целесообразность», у них уже вошел в сознание нелепый довод, что, хотя данный человек невиновен, его можно изгнать из жизни ради каких-то высших целей. «Лес рубят — щепки летят».

Самой страшной была группа «детей».

В 1937 году, когда арестовали их родителей, им было по шесть, по восемь лет. Сейчас — по восемнадцать-двадцать. Их держат в тюрьме только за то, что они дети своих родителей. Еще вчера они были комсомолками, учились. Им страстно хотелось доказать, что они такие же, как все советские девушки, нет, они из лучших, хотя родители их клейменные.

Я сначала не могла понять, откуда взялись эти девочки, а когда поняла — вот тут я узнала, что такое ужас... Я представляла свою дочь на таких же нарах, испуганную, ничего не понимающую... Еще страшней: я представляла себе сына, все понявшего, разочаровавшегося во всем, со смертной тоской и страхом в глазах...

Я всех спрашивала, не видел ли кто-нибудь тоненькую высокую девочку по имени Элла, и некоторые отвечали мне, что, кажется, такая девочка была. Значительно позже я поняла, что брали не всех детей репрессированных, а только тех, на которых были доносы за их вольные высказывания. Безо всякого же повода брали детей особо важных «преступников». Мне встретились дети Косиора, Артема Веселого, брата Бухарина, дочь Раковского, а также ряд детей крупных работников МГБ. К счастью, мой муж не принадлежал к числу «врагов народа» такого ранга, и, видимо, поэтому мои дети арестованы не были.

Я смотрела на своих товарищей по несчастью со шемящей жалостью, потому что знала, что эти люди осуждены на тот крестный путь, который я уже прошла. Они приводили доказательства своей невиновности, надеялись, что «разберутся», — а я знала, что все они обречены.

Вот сидит сорокалетняя, хорошо сохранившаяся женщина-литератор. Даже здесь она довольно элегантна, ходит в шелковой пижаме, укладывает волосы, спичкой подводит брови. Узнав, что я уже отбыла лагерь, она жадно спрашивает меня, есть ли в лагере возможность применить ее профессию: «Ну, есть ли там стенгазета, какая-то культурная работа?..» Бедная женщина! Я ясно вижу ее будущее: вот она, потеряв свою элегантность, неумело копает землю и гребет сено. Вот она в ватных брюках идет в строю, и соседки-уголовницы матерят ее за то, что она семенит и задерживает шаг..

Подходит старуха инженер. Авторитетно говорит:

— Не правда ли, техники используются по специальности? Ведь глупо было бы не использовать культурные силы?

Я себе представляю ее плетущей корзины или чистящей уборные и уклончиво говорю:

— Как когда.

Отводит меня в сторону Ольга Павловна Кантор. Она журналистка, старый член партии. В 1937 году уехала на год в деревню к умирающей матери, а потом волна арестов уже схлынула. Вернувшись, она застала опустошенной свою редакцию, но, поскольку ее не тронули, она только удивлялась, как могла быть настолько слепой, что не видела подрывной деятельности врагов.

С тех пор она жила в блаженной уверенности, что все правильно, воевала, получила орден Красного Знамени, чуть не погибла в окружении и, если бы случайно не спаслась, так и умерла бы со спокойной душой.

Но, выжив, она в 1949 году была арестована и пошла по всем этапам страшного пути, проторенного в 1937 году.

Она отводит меня в сторону:

— Вы вызываете во мне доверие... Вы прошли все это. Как вы думаете, можно написать, чтобы дошло до Сталина? Он, конечно, ничего не знает...

О, сколько писали Сталину! Сколько зывали к нему в последней надежде!

Если бы устроить выставку «писем Сталину», она бы произвела впечатление посильнее, чем выставка подарков, и вправила кое-кому мозги!

Но как сказать это малознакомому человеку, ведь она может сообщить следователю, и я вместо ссылки получу лагерь по статье 58-10 за агитацию против Сталина!

Но мне очень хочется сказать ей — такой человек, как она, достоин того, чтобы быть умнее и смотреть правде в глаза.

— Я больше вас уважаю товарища Сталина, — отвечаю я. — Как руководитель государства, он не может не знать того, что знают все. Вероятно, ему не закрыт доступ в тюрьму. Если ему что-то не ясно, он может зайти и поговорить с арестованными, посмотреть, как идут допросы. Бедствие слишком массово, тюрьмы не вмещают преступников. Нет, я слишком уважаю его, чтобы считать его дурачком, которого все обманывают. Это — его воля. Это — его ответственность. Это — его линия.

— Это ужасно! Тогда нельзя жить! С его именем мы умирали в боях. Потерять веру в него — это потерять веру в революцию...

— А может быть, он и революция — не одно и то же? — задаю я мейфистофельский вопрос и умолкаю. Объяснять опасно. Можно только намекнуть наедине, чтобы в случае, если об этом разговоре будет доложено следователю, все отрицать и утверждать, что я говорила лишь, что все делается согласно воле Сталина.

В камеру входит худенькая девочка с косичками и тоненькими, как палочки, ножками. На вид ей лет шестнадцать-семнадцать. Девочка оглядывается и направляется в мою сторону. Я стремительно отворачиваюсь и иду прочь от нее. Нет, это не по моим нервам. Я не в силах смотреть в ее детские глаза, из которых непрерывно льются слезы. Целый день я ее избегаю, но вечером я обнаруживаю, что она устроилась на койке рядом со мной. Она лежит на койке, неумело курит и плачет. Худенькие цыплячьи плечи вздрагивают. Нельзя не заговорить с ней. Ее зовут Валя. Сегодня день ее рождения, ей двадцать лет. Несложная повесть:

— Мне было семь лет, когда арестовали отца. Мама была в таком отчаянии, что я и тетя сторожили ее, чтобы она не выбросилась из окна. Она всем делилась со мной, хотя мне было всего семь лет. Она без конца говорила о том, какой папа хороший, как его мучают, как страшно жить. Потом арестовали маму. Меня взяла тетя. Я должна была говорить, что мои папа и мама умерли. Наверное, меня запугала тетя, я не помню. Я только чувствовала, что, если узнают, что мои папа и мама в тюрьме, произойдет что-то ужасное. Может быть, меня будут бить, ругать, со мной никто не захочет играть. Мне всегда хотелось учиться лучше всех, быть лучше всех, тогда я «докажу». Что? Не знаю, но надо что-то доказать, чтобы не бояться всех, не чувство-

вать себя угнетенной. Я окончила десять классов. Поступила в институт. А потом я полюбила. У него тоже были репрессированы родители, он тоже скрывал это от всех, но друг с другом-то мы были откровенны. Он любил меня и восхищался мной, и все, что на мне лежало позором, стало достоинством в его глазах... Я любила. И теперь все, все кончено?!

Боже, как мне было жаль Валю! Как мне было жаль всех этих девочек, которые уже не верят в справедливость, не видят ни малейшего проблеска в черной бездне, куда их толкает непонятная им злая сила.

Постепенно моя койка превращается в девичий клуб. Мне очень страшно заработать вместо ссылки лагерь, но я не в силах удержаться и не утешать моих девочек. Я ругаю себя, даю себе слово быть сдержанной, а потом то одной, то другой говорю слова, которые, если узнает о них следователь, обеспечат мне десять лет лагеря.

— Безумные девочки, — говорю я, — вы считаете, что ваша жизнь кончена. Вам по двадцать лет. Через пять лет «его» не будет, а вам будет по двадцать пять лет, и вы будете жить и жить.

Девочки хором отвечают мне:

— Вы невероятный оптимист. Как вы не видите, что дело не в одной личности, а в системе? Уйдет он, останутся его соратники. Вы, что ли, будете выбирать новое правительство?

— Это противоестественно и длиться долго не может! — говорю я.

— Так вы и наши родители, вероятно, думали и в 1937 году, но с тех пор прошло двенадцать лет, а все длится!

Довод внешне убедителен, но я всем своим существом знаю, что так не будет. Знаю, потому что на воле я не встретила ни одного человека с ненадтреснутой верой в справедливость, с цельным мировоззрением. Знаю, потому что вижу разницу между обитателями этой камеры в 1936 году и набором 1949 года. Я помню, как у всех, и у меня в том числе, была вера в непогрешимость советской власти, советского суда, вера, которая заставляла иных оговаривать себя, потому что легче было обвинить себя, чем нашу советскую власть, а в особенности — Сталина, имя которого было синонимом революции, истины, справедливости.

Я люблю этих девочек с их ясными глазами, которые скоро обретут тусклый, безнадежный тюремный взгляд. Я люблю их до острой боли сердца. Я гляжу на них и представляю себе свою дочь, которая тоже, может быть, сейчас мечется в безумном страхе на тюремных нарах и ищет в глазах старших поддержки и утешения. И всей силой материнской любви я хочу влить в них бодрость и веру в жизнь, в человека. Я говорю им, что жизнь их не кончена, что много юношей

и девушек, которые сейчас живут в роскошных квартирах и отцы которых творят это черное дело, позавидуют нашим бедным детям со страшными анкетами, детям, запертым в тюрьмы, гонимым с учебы, из комсомола, из общества.

Юные скептики из моего девичьего клуба иронизируют надо мной, и я получаю прозвище «уникальный оптимист», а потом, ночью, то одна, то другая пробирается ко мне под одеяло, прижимается ко мне своим худеньким телом, плачет и требует, чтобы я ей поклялась, что я не утешаю ее, а твердо верю, что она будет еще жить! Ей так хочется жить!

Они требуют, чтобы я заверила их, что можно в страшной предстоящей им жизни сохранить чистоту, встретить настоящую любовь, и я клянусь им, что они будут жить, и ласкаю их, как свою дочь, и прижимаюсь к ним, и говорю им, что самое главное — это пройти эту бездну, сохранив себя, не потеряв к себе уважения.

Мне рассказывают про сына расстрелянного большевика. Мальчик был завербован МГБ. Он вращался в среде детей, у которых так же, как и у него, были репрессированы родители, доносил о каждом слове недовольства, о каждом недоуменном вопросе, который возникал в кругу молодежи. По его доносам было арестовано много его товарищей.

Мать мальчика я знала по Колыме. Это была чудесная честная женщина, прекрасный товарищ. Она много рассказывала о своем единственном сыне, о его исключительной доброте, блестящих способностях, честности. И вот он сыграл такую страшную роль, написанную для него людьми, которым он поверил.

Он, наверное, делал это, стараясь доказать, что он выше личной уязвленности, что он, как Павлик Морозов, готов уничтожить своего отца и мать во имя коммунизма. Бедняга. Он верил, что делает это во имя коммунизма. Его обманули. И вот он мечется сейчас на тюремных нарах и предпочел бы быть обезглавленным, чем подтверждать на очных ставках, что Шура сказал, что его отца расстреляли несправедливо, а Петя сказал, что в колхозах плохо жить, а Маня сказала, что в университет не принимают евреев.

Я жадно спрашиваю своих девочек, какой он, этот мальчик? Как это ни странно, они к нему очень снисходительны; общее мнение, что он хороший, но «розовый идиот».

Этот термин в устах моих юных собеседниц, считающих себя очень умными, обозначает наивных ребят, верящих каждому лозунгу и печатному слову.

Он «розовый идиот»... Но мой сын тоже «розовый идиот». Я боялась раскрыть ему глаза. Я боялась его юной честности и горячности

и, может быть, уготовила ему такую же судьбу.. Мне страшно. Я молю бога, в которого не верю, чтобы он был такой же, как сидящая рядом со мной маленькая Валя, которую все ругают за то, что она «режет правду» в глаза следователю и говорит, что с подлецами разговаривать не собирается.

Она чувствует себя героиней, хотя ужасно боится темного карцера с крысами, где побывала за свои геройские поступки уже три раза, хотя плачет горькими слезами при мысли, что все подруги пойдут в ссылку, а ей за плохое поведение следователь обещал лагерь.

Я тоже ругаю ее и требую, чтобы она вела себя дипломатично и вежливо. Но я люблюсь ею и хочу, чтобы мой сын был такой же, как она.

Трудно поверить, что эти четыре месяца в Бутырской тюрьме в 1949 году остались в моей памяти как светлое время. Я жила на таком подъеме, так напряжены были все силы души. Я так чувствовала себя нужной. Девочки липли ко мне, как цыплята к клушке. Я старалась вести себя так, чтобы видели, что можно пройти Колымский лагерь и остаться человеком. В эту тьму я принесла им немного света.

Потом я не была такой.

Я была унылой и сотни раз теряла веру в жизнь и людей, но я уже узнала, что в моей душе есть сила и эта сила нужна людям. Это сознание осветило мой путь.

ЭТАП В КАРАГАНДУ

В середине декабря 1949 года меня отправили по этапу в ссылку в Казахстан. До Куйбышева везли в «столыпинском» вагоне, а в Куйбышеве я попала на пересылку в очень тяжелые условия: камера, рассчитанная на двести человек, была наспех переделана из конюшни. В ней стоял неистребимый запах лошадей и навоза, что в сочетании с вонью параша и огромного количества скученных немывтых и больных тел создавало страшную атмосферу. Когда нас ввели в эту камеру и мы заняли места на двухэтажных нарах, нас было двести человек.

Но потом всё приводили и приводили, женщины лежали в проходах, под нарами, на столе и под столом. Мы задыхались в этой вони. Не давали ни книг, ни каких-либо лекарств. В огромной камере то и дело вспыхивали ссоры, истерики.

— Когда же нас отправят отсюда? — спрашивали мы корпусного, но он только разводил руками и очень наивно отвечал:

— Что я могу поделывать, все тюрьмы и лагеря забиты, никто вас не принимает. Кто же виноват, что вас такая орда?

Вот именно, кто виноват?

Понятно, что, когда после месяца ожидания нас наконец вызвали на этап, мы были рады.

— Хоть хуже, та иньше! — говорили наши украинки, и мы все были с ними согласны.

Но когда в ранних сумерках январского дня нас повезли куда-то далеко по путям к стоящему в тупике составу и втокнули в теплушку, стало страшно по-настоящему. Мороз стоял не менее 30 градусов. Было часов пять вечера, уже темнело. Когда я вслед за другими женщинами вскарабкалась в теплушку по приставной лестнице, мне показалось, что не видно ни зги. Теплушка была ледяная. Освоившись, мы заметили многочисленные щели, сквозь которые серел зимний вечер. В теплушке стояла печурка, но не было ни дров, ни спичек. Двойные нары покрыты слоем льда. Я была одета тепло, да еще родные передали мне ватное одеяло. Все, у кого были теплые вещи, начали развязывать свои узлы и кутаться кто во что. Рядом с собой я заметила молодую девушку, на которую обратила внимание еще в грузовике, когда перевозили из тюрьмы к поезду.

У нее было милое, смелое лицо. На вид ей было года двадцать три — двадцать четыре. Одеята она была в летнее ситцевое платье и казенную телогрейку. На ногах тонкие штопаные-перештопаные чулки. Я ее позвала к себе под ватное одеяло, и мы познакомились. Ее звали Оля Косенко. Она прижалась ко мне, никак не могла согреться.

— Оля, почему вы так одеты, почему без вещей?

— Собака следователь за мою дерзость не разрешил мне передач, вот я и осталась в чем была летом, когда меня арестовали. Дали на дорогу телогрейку да ботсы, вот и все.

Просидели мы в этой ледяной и темной теплушке несколько часов. Наконец послышалось какое-то движение, в соседних теплушках залязгали засовы, заходили по крышам. Наконец отворилась и у нас дверь, вошли охранники и монтер, провели электрическую лампочку. Потом бросили нам охапку дров и спички, ушли и задвинули засов. Дров было мало, когда дадут еще, мы не знали, но все-таки разожгли печурку и немного согрелись. Оказалось, что в темноте уже были заняты лучшие места над печкой. Там поселилась группа латышек, которые не говорили с нами, дав понять, что по-русски не понимают. (Потом оказалось, что по-русски они говорят, но они так были злы на русских, что даже с нами не хотели говорить.) Были в теплушке мать с дочерью, западные украинки. Они попали в тюрьму за сына и брата-бандеровца, который ушел в леса, а к матери ходил за хлебом. Мать все говорила:

– Ну как же я ему не дам, ну к вам бы сын голодный пришел, неужто не дали бы поесть?

Она была очень больна, да, видно, еще простудилась в этой ледяной теплушке и сильно кашляла. С нами была еще одна заключенная, старая опытная медсестра. Она считала, что у старухи воспаление легких, и все просила конвой вызвать врача, но так и не допросилась. У этой медсестры, Веры Самойловны Локкерман, было довольно интересное прошлое. Ее братья до революции были довольны видными меньшевиками. Один как будто даже членом ЦК меньшевиков. В молодости Вера Самойловна тоже участвовала в работе братьев и в 1905 году была арестована с оружием в руках на краснопресненской баррикаде.

По молодости (ей в 1905 году было 15 лет) она отделалась только ссылкой в Сибирь. Сейчас это была тучная, больная 60-летняя женщина, которая политикой совсем не занималась. На свою беду, она имела прекрасную комнату в трехкомнатной квартире. Две другие комнаты занимал работник МГБ, которому очень нравилось жить в отдельной квартире. Ничего не было легче, чем посадить соседку и занять ее комнату, что и было сделано.

В обвинительном заключении Веры Самойловны было написано: «Занималась антисоветской деятельностью с 1905 года».

Ехали до Караганды 16 дней. Сначала отчаянно мерзли, а потом на каком-то полустанке наш эшелон стоял рядом с составом с углем. Вдруг наш конвой, украинец, который иногда перекидывался по-украински парой слов с Олей Косенко, старостой нашего вагона, открыл дверь, дал Оле ведро и скомандовал:

– Набирай угля, сколько успеешь.

Оля соскочила и успела набрать десятка два ведер угля. Потом дверь закрылась, но мы ожили. Мы заметили, что из некоторых других вагонов тоже набирали уголь.

Я вспомнила, как Лев Толстой писал, что русские законы можно переносить только потому, что их все нарушают, если бы их не нарушали, жить было бы просто невыносимо.

Если бы мы не украли с благословения конвоира уголь – вряд ли доехали бы до места назначения живые с нормой топлива по охалке дров в день.

Я устроила постель вместе с Олей, и мы, прижавшись друг к другу, целыми днями разговаривали.

Срок у Оли был страшный: 20 лет. Его, по ее словам, «всунул» ей следователь, которого бесило ее бесстрашие, нежелание ему подчиняться, ее споры и резкие, иногда грубые слова.

Очень ей не повезло на следствии. Она была арестована в 1947 году с группой студентов-филологов Киевского университета.

Ее следователю не давали спать лавры эмгэбистов 1937 года, и он придумал версию о грандиозном террористическом заговоре с целью отторжения Украины от СССР. Оля ему показалась подходящей фигурой для дачи нужных показаний. Он фабриковал и заставлял ее подписывать чудовищные протоколы, обвинять десятки ее товарищей.

Придумана была даже связь с гестапо, якобы завербовавшим во время войны целую группу украинской молодежи. (Между прочим, во время войны пятнадцатилетняя Оля вела себя героически: чтобы не попасть в Германию, она заразила себя трахомой, зная, что немцы таких больных не увозят.)

Следователь рассчитывал, что угрозами, побоями, карцером, семисуточными допросами на конвейере сменявшихся следователей, посулами отпустить на волю и лишениями передач ему удастся сломить эту тоненькую двадцатитрехлетнюю девушку. Но он не добился от нее ничего и, взбешенный, пообещал: «Я тебе всуну двадцать лет строгого режима». Это он и выполнил. А однажды, уже после приговора, он вызвал ее и спросил: «Ну как, поплакала за свое упрямство?» И в ответ на Олины слова: «Не плакала и не собираюсь» – он расхохотался и добавил: «Ну давай спорить, что заплачешь! Твой женишок арестован, и я попросил дать его для следствия мне».

Тут он победил. Оле сделалось дурно. Жених ее, односельчанин, даже не знакомый ни с кем из обвиняемых, приехал в Киев для того, чтобы ходить в тюрьму с передачами, справляться об Оле – одним словом, на свою беду, заявил о своем существовании.

Во время этого тяжелейшего следствия, длившегося восемь месяцев, Олю поддерживала соседка по камере, пожилая женщина по имени Мария Герцевна, относившаяся к ней по-матерински. Эту Марию Герцевну Оля часто вспоминала и говорила мне:

– Все-таки мне везет: то около нее я согрелась душой, а теперь вас встретила.

Бедная девочка, у нее еще поворачивался язык сказать «везет»!

А теперь я должна рассказать об одной стороне нашей дружбы, доставившей мне немало горьких минут. Эта умная, смелая, великодушная девушка была антисемитка. Она рассказывала мне бесконечные истории о том, как евреи умеют устраиваться, о том, что в их селе заведующий магазином, еврей, всех своих родных устроил на теплые местечки, что у ее подруги по Киевской тюрьме следователь был еврей и какой он подлец.

Когда я говорила о том, что вот ее следователь был украинец, а другого такого палача не сыскать, она отвечала:

— Ах, Ольга Львовна, вы их не знаете. В Москве их мало, а в Киеве сил от них нет!

Я очень легко могла прекратить эти мучительные для меня разговоры, сказав, что я сама еврейка. Но ведь эта дурочка уже не смогла бы быть со мной. Она замерзла бы и голодала без присланных моими еврейскими родственниками продуктов и одеял. Так я и терпела до самой Караганды.

На шестнадцатый день этапа вошел охранник, назвал несколько фамилий и сказал:

— Собрать вещи, через два часа подъезжаем.

Нас, счастливых, ехавших в ссылку, было всего человек пять. Остальные, с огромными сроками, от десяти до двадцати лет, ехали в Новорудню на прииски в лагерь с тяжелейшим режимом. Мы начали собирать вещи. Оля смотрела на меня глазами, полными слез.

— Опять я одна!

Мы сели в уголок на нары.

— Олечка, — сказала я, — мне надо с вами поговорить. Вы очень мучили меня эти шестнадцать дней, ведь я еврейка.

Оля ахнула, закрыла руками лицо, и сквозь пальцы я увидела, как пылают ее щеки, уши, шея.

— Да, Оля, мне тяжело было слушать ваши разговоры, потому что я полюбила вас. Оля, на тюремном пути вы встретили двух женщин, меня и Марию Герцевну. Вы, наверно, не догадались, что она, как и я, еврейка. Как видите, евреи бывают разные, так что неправильно считать, что все евреи — подлецы, так же как и то, что все евреи сердечны и склонны к дружбе.

Оля молчала. Поезд наш подошел к станции. Я встала. Оля бросилась ко мне на шею, вся в слезах.

— Вы дали мне такой урок!

Я никогда не встречала больше Оли. Говорили, что она умерла в Новорудне. Если это неправда и строки эти попадутся тебе на глаза, отзовись, Оля!

В ССЫЛКЕ

В апреле 1949 года ко мне в Караганду приехал мой муж Николай Васильевич Адамов. 29 апреля 1951 года он был арестован, и повторился весь кошмар первых месяцев после ареста моего первого мужа — с той разницей, что в первый раз в 1936 году я все еще надеялась на справедливость советского суда, а на этот раз ясно понимала, что

его ожидает. К тому же надо сказать, что если я и первый мой муж были арестованы совершенно ни за что, то по сталинским законам Николай Васильевич несомненно заслужил пункт 10 статьи 58 (агитация).

Он был старый коммунист, убежденный враг Сталина. Он считал, что надо бороться, собрал группу молодежи и воспитывал себе смену, разъяснял им, что Сталин уничтожил партию, потопил в крови в 1937 году весь цвет мыслящих людей, виноват в огромных потерях начала войны, обвинял Сталина в позорном договоре с Гитлером, в уничтожении командного состава Красной Армии, в расстреле Блюхера, Тухачевского, Уборевича и сотен других.

Два года, которые мы провели в Караганде, он ходил по краю пропасти, но чувствовал себя каким-то окрыленным и на все мои просьбы побережь себя отвечал, что хочет погибнуть в борьбе, а не подлым рабом. На следствии он пытался сагитировать следователя, который его прямо-таки боялся, как бы с ним тоже не попасть во враги народа. Дело его быстро закончилось, и он законно получил свою десятку.

И снова у меня началось страшное время. Пустой, опоганенный, разгромленный дом, очереди за справками, очереди с передачами в следственную тюрьму...

ПРОЦЕСС ВРАЧЕЙ

Слухи об арестах врачей доходили до Караганды уже с 1952 года.

Секретарь дирекции нашей швейной мастерской Наташа Вакула рассказывала, что своими глазами видела, как на почте вскрывали посылку из Америки, адресованную какому-то Рабиновичу. В посылке была вата, а в этой вате ползали тысячи сыпнотифозных вшей.

У нас на общем собрании выступила одна работница – портниха – и сообщила, что помнит с детства, как евреи убили христианского младенца и взяли его кровь для мацы. Ее выступление встретили смущенным молчанием, а кто-то сказал: «Ну, это еще не доказано, не надо об этом говорить». На этом обсуждение инцидента с мацой окончилось.

В общем, настроение было предпогромное.

В то время я работала бригадиром в цехе массового пошива. Я же начисляла зарплату рабочим, для чего иногда сидела в конторе. В конторе я была одна еврейка и ссыльная. Когда я входила, замолкали оживленные разговоры и все взоры устремлялись на меня, как будто я была и врач-убийца, и потребитель кровавой мацы.

Как-то ночью я имела «удовольствие» прослушать по радио статью «Убийцы в белых халатах».

На работу я шла как на казнь. Села за свой стол и начала крутить арифмометр, шелкать на счетах. С некоторым опозданием явилась наш бухгалтер Мария Никитична Пузикова. Это была у нас самая знатная дама, жена члена обкома (в доме у нее собиралась вся карагандинская знать).

Сегодня Мария Никитична сияла как новенький пятак.

— Боже мой, — говорила она, — какой ужас! Какая потеря бдительности! Как могли допустить этих евреев в Кремль, доверить им здоровье наших вождей. Мы с Сергеем не спали всю ночь после того, как передали статью «Правды» «Убийцы в белых халатах».

Мария Никитична выпорхнула из конторы и через минуту вернулась с газетой в руках.

— Ольга Львовна, прочитайте нам вслух эту статью, вы так хорошо читаете!

— По-моему, вы кончили семилетку, Мария Никитична, и должны сами уметь читать, а мне некогда, — ответила я.

Так я жила в атмосфере враждебного любопытства и травли. Наш директор Анисья Васильевна была хороший человек. Полуграмотная деревенская девочка, потом прислуга, потом выдвиженка, член партии, она стала одной из знатных женщин Караганды. Она обладала природным пытливым умом и, несмотря на свое обожание Сталина, которому, по ее мнению, была обязана своей счастливой карьерой и жизнью, видимо, хотела понять, что же за люди мы, ссыльные. Со мной она любила разговаривать, но проверяла каждое слово. Так, однажды я сказала, что Маркс был еврей. Вскоре был какой-то юбилей, и в «Правде», в большой статье о Марксе, было написано, что Маркс — немец. Анисья Васильевна упрекнула меня:

— Вот, Ольга Львовна, я доверяю вашим словам, так как вы человек образованный, а вы, оказывается, сказали мне неправду.

— А кому вы верите больше, Анисья Васильевна, «Правде» или Ленину?

— Ну конечно, Ленину я верю безусловно.

Я пошла в красный уголок и принесла том Ленина со статьей «Карл Маркс», где было сказано, что Маркс немецкий еврей.

Однажды она спросила меня:

— Ну объясните вы мне, чего не хватало этим евреям-врачам. Плохо им жилось в СССР? Зачем они убивали наших вождей?

Я ничего не нашла лучшего ответить, как:

– По-моему, они были сумасшедшие. Иначе я не могу это объяснить.

Несмотря на все наши горести, я и четыре такие же ссыльные женщины решили встретить 1953 год. Одна из этих женщин, Ида Марковна Резникова, работала у нас в ателье портнихой, три других – медицинские сестры.

Мы приготовили вкусный ужин, испекли торт, раздобыли бутылку вина. Пора было садиться за стол, но одна из женщин, Гита Абрамовна, почему-то не пришла.

Я решила сходить за ней. Она жила неподалеку. Дверь была открыта, свет выключен. Сначала я не поняла, дома ли она. Зажгла свет и увидела Гиту, сидящую молча на кровати, с которой была снята единственная драгоценность Гиты – ватное одеяло. Рядом лежала упакованная и надписанная посылка.

– Что случилось? Что это за посылка?

– Тише! – сказала Гита. – Уходите скорее, меня, наверное, сегодня или завтра арестуют. Уже вызывали на допрос и спрашивали о моем брате, который в 1939 году убежал из Польши в Палестину. Когда нас с мужем арестовали, он посылал моей дочке деньги. Все, что у меня есть, я отправлю, если успею, дочери.

– Все равно пойдемте встречать с нами Новый год. Кто знает, увидим ли мы еще, да и вкусные вещи в тюрьме не дают. Пойдемте!

– Нет, вы из-за меня тоже попадете, я уже меченая!

Еле-еле я увела ее к себе. Дома мы немного развеселились, выпили вина, хорошо поели и решили, что, может быть, и не случится ничего страшного.

Так и было: Гиту не арестовали.

Шло совещание у директора.

Кроме меня, в кабинете не было ни одной ссыльной.

Вдруг без стука вбежала работница и крикнула:

– Анисья Васильевна!..

– Почему вошли без разрешения? Мы заняты, выйдите!

– Но, Анисья Васильевна...

– Я вам сказала: мы заняты.

– Сталин умирает.

Как будто бомба разорвалась. Анисья Васильевна вскрикнула и начала клониться набок, ей стало плохо.

Мне показалось, что все обернулись и смотрят на меня. Я страшно испугалась, что лицо мое выдаст меня, и закрыла его руками. Я дрожала. Я себе говорила: «Или сейчас, или никогда. Все должно изме-

ниться. Или сейчас, или никогда. А вдруг какой-нибудь Маленков, Берия, черт, дьявол поддержит этот колосс и подопрет его еще миллионом трупов? Этак он простоит еще лет двадцать, на мой век и хватит. Сейчас или никогда!»

Потом я услышала о себе разговор:

– Какая лицемерка: сделала вид, что плачет, а открыла лицо – глаза сухие.

Мне все казалось, что вот теперь, когда близится конец, меня схватят и прикончат.

Все надели траурные розетки.

Я мучительно думала: надеть или нет?

Меня подозвала Анна Петровна, наш парторг, и приколола розетку.

– Так надо, – сказала она.

Я потом все боялась снять ее и носила дольше всех, пока Анна Петровна не подошла ко мне и не сняла сама.

Мы слушали гражданскую панихиду. Выступал Берия... «...Мы умеем делать дело».

Да. Он умеет.

Маленков: «Пусть помнят враги, внешние и внутренние, что мы не ослабим бдительности». Я помнила... Мне кажется, что никогда не было так тяжело, как в год смерти Сталина, когда медленно-медленно начинало где-то что-то проясняться и шевелиться.

4 апреля 1953 года в обеденный перерыв я вышла погреться на солнышке, и вдруг из мастерской выбежала вся в слезах Ида Марковна, бросилась ко мне на шею и, захлебываясь, рассказала, что сейчас по радио передавали: весь процесс над врачами-отравителями сфабрикован Рюминым и его сообщниками. Счастью нашему не было предела. Воистину прекрасный день! Мы плакали, мечтали, что с нас тоже снимут позорные приговоры, что мы вернемся к своим детям.

Я вошла в контору и услышала слова Пузиковой: «У американцев денег много, они сумеют купить, кого им надо!»

Словно молния сверкнула в мозг: «Сейчас я тебе покажу, сукина дочь!»

Я подошла к двери кабинета директора и громко сказала:

– Анисья Васильевна, выйдите сюда! – Это было грубым нарушением субординации, совершенно у нас не принятым.

– Что вы говорите, Ольга Львовна?

– То, что вы слышите. Выйдите сюда вместе с Анной Петровной (наш парторг).

Они вышли.

— Сию минуту Мария Никитична сказала, что Верховный суд СССР подкуплен американцами. Я отсидела за недонесение на мужа восемь лет и не хочу сидеть еще за Пузикову. В ее словах полный состав статьи 58 пункт 10 — дискредитация советского суда. Обычно карается это десятью годами лишения свободы. Эти слова все тут слышали и могут подтвердить. В МГБ я не пойду, а вот вам при свидетелях сообщаю. Уж вы и идите в МГБ.

Все окаменели.

— Мария Никитична, как вы могли сказать такую вещь? — воскликнула Анисья Васильевна.

— Ах, я не знаю, не знаю, я не подумала! — Мария Никитична зарыдала и убежала домой.

Конечно, никаких судебных последствий неудачное выступление Пузиковой не имело, ее только избил муж, член обкома, да так, что она четыре дня не ходила на работу, а на пятый явилась с запудренными синяками.

Все же я не могла себе отказать в удовольствии подойти к Анисье Васильевне:

— Анисья Васильевна, я спрашиваю вас как члена партии, зачем Рюмину и его сообщникам было клеветать на невинных людей и позорить нашу страну этим дурацким процессом? Плохо ли Рюмину жилось при советской власти, зачем было идти на такое преступление?

А на улице я услышала песню блатарей, которые быстро отозвались на злободневные события:

Дорогой товарищ Вовси,
Я сердечно рад.
Что теперь выходит: вовсе
Ты не виноват!..
Вы работали, трудились,
Не смыкая глаз,
А лягавая зараза
Капала на вас.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Медленно-медленно прояснялось небо после смерти Сталина. Только через год, в 1954 году, начали снимать «вечную ссылку» и давать паспорта, конечно, с пометкой о судимости и запрещением жить в тридцати девяти городах. С меня почему-то ссылку сняли с самой последней, и я какое-то время жила в Караганде совершенно одна. Все мои друзья уехали, время тянулось невероятно медленно. Придя

с работы, я в восемь часов ложилась спать, а в три часа просыпалась, читала, мучилась, ждала утра.

Наконец в конце 1954 года с меня тоже сняли ссылку, и я смогла поехать в лагерь Джезказган к Адамову.

Об этом лагере ходили слухи, что там были волнения, что заключенные не выходили на работу, требовали пересмотра дел, приезда к ним Маленкова, изменения лагерного режима.

Зная характер Николая, я не сомневалась, что он был там заводилой.

Приехав в Джезказган, я узнала, что все уже позади, что волнения ликвидированы, в режиме произошли большие изменения. В частности, разрешены свидания с родными на неделю, причем для этой цели отводится помещение с двумя выходами, один для заключенного — в зону, другой для приехавших на свидания — на улицу. Ничего подобного в лагерь раньше не было.

Я вошла в тесную комнатку, где стояли кровать, стол и два стула. С бьющимся сердцем села.

Отворилась дверь, вошел Николай.

Я с трудом узнала его: за три года он превратился в старика, съеденного туберкулезом. Он еле ходил и говорил. Я пробыла у него неделю.

В моей страшной жизни эта неделя была одна из самых тяжелых. Я ясно видела, что он умирал.

Однажды пришел какой-то начальник и сказал, что Адамова можно активировать по здоровью, если я дам подписку, что буду содержать его и не предъявлять никаких претензий.

Я, конечно, дала эту странную подписку, и мы вместе вернулись в Караганду. Но после освобождения он прожил недолго.

Потом я уехала в Москву хлопотать о реабилитации.

В то время кое-кого уже реабилитировали, но все тянулось страшно медленно: для подачи заявления о реабилитации требовали справки со всех мест, где была я прописана после освобождения из лагеря, а я сама не помнила, где и сколько раз я была прописана, ведь жила-то я в Москве нелегально, а прописывалась за деньги то здесь, то там. Требовали характеристику с места работы, а на работе не очень-то давали характеристики, наверное, имели соответствующие указания.

Наконец я подала заявление о реабилитации. Дело мое попало к прокурору Иванову, человеку с оловянными глазами, который каждый раз, когда я, прождав пять-шесть часов в очереди, входила к нему, говорил деревянным голосом: «Ваше дело будет разобрано в свое время. Очередь до вас еще не дошла».

Однажды он открыл шкаф и показал мне целую библиотеку дел в одинаковых папках.

– Вот профессорское дело, по которому проходите вы и ваш муж. Видите – более ста участников, и все дела надо разобрать.

– А многие ли из участников живы? – спросила я.

Он замялся...

– Кое-кто жив.

– Так нельзя ли начать с дел тех, кто жив, а то, боюсь, до своей очереди никто не доживет...

Так это и тянулось до Двадцатого съезда. После съезда, в начале марта, я пришла в Верховный суд и узнала, что мое дело передано другому прокурору. Фамилии его, к сожалению, я не помню. Мне велели кратко написать о своем деле. Я написала: «20 лет жду суда. Дождусь ли я его до смерти или нет?»

Меня и жену моего брата, которая везде со мной ходила, впустили к прокурору. Нас встретил молодой, веселый человек лет тридцати пяти, по-видимому военный. Я подала ему свое заявление.

Невестка, которая раньше не видела, что я написала, ужаснулась и начала извиняться:

– Она такая нервная, уж вы извините ее.

Он широко улыбнулся.

– Будешь нервная, понять нетрудно. Теперь дело пойдет быстро. Я думаю, не больше месяца.

– Но меня выселяют из Москвы. Вчера была милиция, и велели мне в двадцать четыре часа покинуть Москву.

– Прячьтесь, прячьтесь от милиционеров. Скоро это кончится. Вы можете пожить немного в другом месте?

– Могу, у сестры.

– Дайте телефон, я вам позвоню.

8 марта раздался телефонный звонок и веселый голос моего прокурора сказал:

– Получите подарок на Восьмое марта. Ваше дело разобрано, справку о реабилитации получите в канцелярии Верховного суда. О дне вас известят. Поздравляю.

Когда я пришла в назначенный день за справкой, в приемной было человек двадцать, почти все женщины лет по пятьдесят и старше. Одна глубокая старуха украинка с полубезумным взором. Она все что-то шептала сама себе. У окна сидел и курил мужчина лет сорока.

Вызывали по очереди. Из кабинета выходили и опять чего-то ждали. Когда назвали фамилию мою и моего мужа, мужчина, сидевший у окна, встрепенулся. Я зашла и получила справки о реабилитации. Мне сказали, что нужно подождать в приемной, выдадут справки на получение паспортов и денег.

Справка моя гласила следующее:

Военная коллегия Верховного суда Союза ССР

От 6. IV. 1956 г. № 44-03393/56

СПРАВКА

Дело по обвинению Слизоберг-Адамовой Ольги Львовны пересмотрено Пленумом Верховного суда Союза ССР 24.V.1956 г.

Приговор Военной коллегии от 12.XI.1936 г., Постановление Верх. суда СССР от 21.XI.1940 года и постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 19.XI.1949 года в отношении Адамовой-Слизоберг отменены, и дело прекращено за отсутствием состава преступления.

*Председатель судебного состава Военной коллегии
полковник юстиции П. Лихачев*

Арестована я была 27 апреля 1936 года. Значит, я заплатила за эту ошибочку 20 годами и 41 днем жизни.

Когда я вернулась в приемную, мужчина, сидевший у окна, подошел ко мне:

— Скажите, ваш муж читал в университете историю естествознания?

— Да, до 1936 года.

— Я учился у него. Какой это был преподаватель!

Мы замолчали. Вышел военный и стал выдавать справки на получение паспортов и компенсаций.

Мне полагались двухмесячные оклады мой и моего мужа и еще 11 руб. 50 коп. за те 115 рублей, которые были у мужа в момент смерти...

Старуха украинка, получив справки, дико крикнула:

— Не нужны мне деньги за кровь моего сына, берите их себе, убийцы! — Она разорвала справки и швырнула их на пол.

К ней подошел военный, раздававший справки.

— Успокойтесь, гражданка... — начал он.

Но старуха снова закричала:

— Убийцы! — плюнула ему в лицо и забилась в припадке.

Вбежали врач и два санитары и ее унесли.

Все молчали, подавленные. То здесь, то там раздавались всхлипывания и громкий плач.

...Я вернулась в свою квартиру, откуда меня уже не будут гнать милиционеры. Дома никого не было, и я могла, не сдерживаясь, плакать.

Плакать о муже, погибшем в подвале Лубянки в 37 лет, в расцвете сил и таланта; о детях, выросших сиротами с клеймом детей врагов народа, об умерших с горя родителях, о Николае, замученном в лагерях, о друзьях, не доживших до реабилитации и зарытых в мерзлой земле Колымы.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА



Елена Львовна Владимирова родилась 20 сентября 1902 года в Петербурге в семье потомственных моряков: отец – морской офицер, мать – из семьи известного русского флотоводца адмирала Бутакова. Училась в Институте благородных девиц. Незадолго до революции сблизилась с прогрессивно настроенной молодежью. В октябре 1917-го резко порывает с отцом из-за расхождения в политических взглядах и уходит из дома. «В 1919 году, – писала о Владимировой Елизавета Драбкина, – шестнадцатилетней девушкой она вступила в комсомол. Была бойцом отряда, подавлявшего басмачей в Туркестане, участвовала в организации помощи голодающим Поволжья. По путевке комсомола приехала в 1921 году в Петроград учиться в университете. Была она и смелая, и застенчивая, и насмешливая, похожая то на мальчишку, то на тургеневскую девушку. И очень красивая».

В университете она знакомится с Л. Н. Сыркиным, одним из организаторов петроградского комсомола, который стал ее мужем. С 1925 года Владимирова сотрудничает в «Красной газете», «Ленинградской правде», журнале «Работница».

В 1937 году она уезжает с Сыркиным в Челябинск, куда он был направлен редактором областной газеты, работает вместе с ним. В том же году Сыркин

был арестован и расстрелян, а Владимирова как жена «врага народа» оказалась в заключении на Колыме.

В сорок четвертом году она работает в межлагерной больнице, там возникает подпольная группа из бывших партийцев и комсомольцев. Владимирова составляет программный документ группы: «Сталинский “социализм” в свете ленинизма». По доносу провокатора Елена Львовна Владимирова, Евгения Александровна Костюк и Валерий Александрович Ладейщиков были арестованы. Военный трибунал в Магадане приговорил их к расстрелу, позднее замененному каторгой.

Боле восемнадцати лет провела Владимирова в заключении. В войну погибла под Сталинградом ее единственная дочь Женя Сыркина. Дочери посвящены многие стихи Елены Львовны.

Юрий Люба. 1989 год

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. А. ЛАДЕЙЩИКОВА

31 декабря 1944 года. Небольшой зал суда. Читается приговор: «Военный трибунал Магадана... ВЛАДИМИРОВУ Елену Львовну, КОСТЮК Евгению Александровну, ЛАДЕЙЩИКОВА Валерия Александровича – РАССТРЕЛЯТЬ». Остальным – от 10 до 7 лет ИТЛ.

Мы – смертники – успеваем полуобняться с вызовом – «До встречи!». Конвой разъединяет нас и в магаданскую тюрьму («Дом Васькова» – когда-то там стояла избушка оперуполномоченного Васькова) доставляет раздельно. В тюрьме наши камеры в смертном коридоре оказываются рядом. Перестукиваемся. О «рылеевской» азбуке договорились заранее. Всячески поддерживаем друг друга: «Не вешать голову!»

Мое положение несколько сложнее: к высшей мере я приговорен второй раз. Основное обвинение против нас: антисталинская агитация с позиций ленинизма. Официально это звучит как «контрреволюционная агитация». В смертной мы просидели почти три месяца. Расстрел каждому заменен 15 годами каторжных работ.

Как-то нас троих, сидящих в маленьком здании пересылки, вызвали в коридор «выбрать» одежду и переодеться. Зимняя форма: бушлат темно-синий (как и другое), ватная телогрейка, рубашка х/б, ватные брюки, шапка ватная – «финка» с номером Б-505 (Б-506 и Б-507) на лбу, подобие ватных бурок, портянки. Номера на спине, на брюках – на колене.

Где-то в середине апреля вызвали на этап... Нас трое.

На машине нас довели только до Нижнего Бутугычага. Дальше шли пешком. День был ослепительно солнечным, долина сверкала снежными ущельями и склонами. Шли, наверное, километров 12. Поражался женщинам, особенно Лене. Здоровье у нее неважное, в тюрьме мы мало двигались, были истощены, а она шла и шла. Иногда конвой давал отдохнуть. Жене за месяцы молча-

ния хотелось выговориться и на будущее. Я пытался ее остановить: «Подожди, береги дыхание. Мы все время идем в гору. Но должны же пойти и вниз! Будет легче». В ту пору мы не знали, что с Нижнего Бутугычага дороги вниз нет. Только вверх до Среднего и Верхнего Бутугычага. В верхней части долины не росли ни кусты, ни трава, ни ягель – камень подпирал камень. Узенький каторжный лагерь помещался через хребет в другой долине, где прежде проходили геологи-романтики, и названия там были – долина Хозе, Кармен (обогатительная фабрика), Ваханка (лагерь).

Редко с худбригадой с Ваханки приходила Елена Львовна. Бутугычаг – страшная каторга, может быть, страшнейшая в мире. Но Елена Львовна мужественно переносила все невзгоды, умела ободрить других. И стихи ее – мужские, мужественные.

О ЛЕНЕ ВЛАДИМИРОВОЙ

С Еленой Владимировой на Колыме я знакома не была. Она находилась в Магадане, я – на Эльгене и в соседних лагпунктах. Но о ней я знала, потому что из уст в уста передавались ее стихи. Я их слушала и запоминала, как свои, – в них была выражена наша боль, наша жизнь. Вот одно, сохранившееся в памяти – может, не совсем точно.

Наш круг все слабее и реже, друзья,
Прощанья все чаще и чаще...
За завтрашний день поручиться нельзя,
И даже за день настоящий.

И в эти тяжелые, страшные дни,
В чреде их неверной и лживой,
Так хочется верить, что мы не одни,
Услышать из мрака: «Мы живы».

Мы прежним любимым знаменам верны,
И даже под небом ненастья
По-прежнему меряем счастьем страны
Свое отлетевшее счастье...

И пусть безнадежен мой путь и кровав –
Мои не смолкают призывы.
Кричу я, последние силы собрав:
«Мы живы, товарищ, мы живы!»

Вдруг (это было в сорок четвертом году) распространился слух, что у Лены изъяты стихи и она приговорена к расстрелу.

Это было истинное горе в нашей горькой жизни.

Прошло много лет. Я окончила свой срок, поехала на материк, вновь была арестована и сослана «навечно» в Караганду...

В 1954 году ссылка с меня была снята. В это время многие дела уже пересматривались и кое-кого выпускали из лагерей. Однажды я встретила с освобожденной из лагеря Гертой Ноуртен. Это была прелестная женщина, финка,

художница. Мы подружились. Она мне много рассказывала о своей лагерной жизни.

Вдруг я услышала от нее имя Лены Владимировой и узнала, что смертная казнь ей была заменена пятнадцатилетним заключением. После 1953 года Лена много раз писала заявления о пересмотре дела, но ответа не получала. Я тотчас же отправила ей письмо в лагерь, рассказала ей, каким ударом для меня и моих друзей был ее арест в 1944 году, как мы любили и ценили ее стихи, как счастлива я, узнав, что она жива. Окончила я свое письмо строчкой из ее стихов: «Мы живы, товарищ, мы живы!»

Так началась наша переписка. Когда я собралась в 1955 году ехать в Москву, я сообщила об этом Лене, и она прислала мне копию своего заявления и квитанцию на заказное письмо, отправленное на имя Шатуновской. Ольга Шатуновская вместе с нами отбывала срок на Колыме, одной из первых была реабилитирована и теперь работала в ЦК партии в Комиссии партийного контроля.

Приехав в Москву, я пошла к Шатуновской, передала ей заявление Лены и почтовую квитанцию полугодовой давности. Шатуновская выяснила в экспедиции, что письмо Владимировой было получено, но ей не передано. Попутно выяснилось, что это был не единичный случай противодействия сталинистов. Шатуновская занялась всеми этими делами.

Меньше чем через месяц Владимирова была реабилитирована и по дороге в Ленинград остановилась в Москве. За ту неделю, что она прожила у меня, мы сблизились, как родные сестры. Целыми днями были вместе, перепечатали ее поэму «Колыма».

Потом долгое время мы переписывались, но, к сожалению, больше не встречались.

Лена умерла в 1962 году.

Ольга Адамова-Слиозберг. 1988 год

ДРУЗЬЯМ

Раз уж речь зашла о северной повести*, расскажу, как она создавалась. Это ведь тоже целая повесть, и даже ты, Аля**, ее не знаешь. Когда мне заменили расстрел каторгой, я попала в горный глухой район, небольшую долину, со всех сторон замкнутую сопками. Такая безнадежность была во всем, что я задумалась: как, на что истратить остаток сил и дней? Работоспособность умственная, это я лишь теперь понимаю, была исключительная, в голове я могла делать все, что хочу,

* Так называет здесь автор свою поэму «Колыма». — *Прим. сост.*

** Этот адресат не установлен. — *Прим. сост.*

и при любых обстоятельствах. И я решила написать повесть, охватывающую все виденное. Но писать, конечно, было нельзя. Я начала «писать» в уме. Понимала, нужно сохранить сделанное, а на свое долголетие не рассчитывала. Пришла мысль, как будто неосуществимая, но в жизни многое неосуществимое осуществляется. Решила найти молодую женщину, которая возьмет на себя сохранить «написанное». Для этого нужно было со слов запоминать наизусть. Такой человек нашелся, и мы приступили к работе. Вернувшись с лесоповала, мы садились где-нибудь во дворе, делая вид, что просто разговариваем, и занимались нашим делом. Одно слово, услышанное посторонним, могло погубить обеих.

Но нас развели: меня увезли с Колымы, работа прервалась более чем на год. Потом я снова взяла себя в руки и в довольно быстром темпе закончила все. К бумаге прибежала лишь для того, чтобы временно закрепить (начальными буквами строк) рождавшиеся куски, потом выбрасывала. Вещь вышла большая – строк примерно на четыре тысячи. И тут оказалось, что я ею во многом недовольна. Переделывать такую вещь в уме?! Не думала, что это возможно. Но стала делать – и сделала. Это еще труднее, чем «писать». А можно! Очень гибкая штука – человеческий ум! Теперь нужно было «вынуть» повесть в стихах из головы и материализовать. Решила записать на папиросной бумаге и где-нибудь закопать. Конечно, я делала, как поняла потом, бесполезную работу – по неопытности засунула листки в жестяную коробку. Наверное, все проржавело и сгнило, хотя теперь это не имеет значения. Вспоминаю, как писала. Во-первых, делать это надо было обязательно открыто, не прячась – под самым носом начальства, на глазах у всех, но незаметно для них. Я брала иголку, какую-нибудь починку, а также кусочек карандаша и бумагу. Сидела обычно поближе к воде: в случае чего утопить листки в луже, кувшине, ведре – и ограничиться карцером. Помню, ранней весной сидела у нашего «клуба» и писала; позади была большая талая лужа. Вдруг вижу: с вахты бежит дежурный. Бежит ко мне! Я говорю себе: «Выдержка! Не двинусь до последней минуты!» И замечаю (а сердце-то уж черт знает где!): он глядит вверх моей головы. Значит, не во мне дело. Оказывается, кто-то святотатственно повесил сушить белье на крыше клуба. Меня может понять тот, кто знает, чем для человека, уже имевшего «вышку», грозила такая работа.

Наконец я все записала, строк по двадцать, на бумажке, значит, всего было бумажек двести, носила их в марлевом мешочке на шею, берегла, чтобы не очень смять, пока не спрятала в той железной коробочке.

Подстраховывала меня приятельница — большой друг, рисковавшая разделить мою судьбу. Она не разделяла моих взглядов, но никогда — это проверено годами — не воспользовалась во зло моим доверием.

Теперь повесть восстановлена по памяти, передана туда, куда мы, коммунисты, должны передать свои думы и свой опыт*.

Ну вот, коротко и все.

1956

Лена

ИЗ ПОЭМЫ «КОЛЫМА»

Вокруг стояла тишина
Та, что пристала только смерти,
Полярным льдам, провалам сна
И горю... Даже не заметив,
Как тихо тронулся развод,
Матвей, в раздумье погруженный,
Шагнул за всеми из ворот —
И обернулся пораженный.
Почти немыслимая здесь,
Фальшиво, дико, сухо, резко,
Как жесть гремящая о жесть
Звучала музыка оркестра...
В снега оставив свой костыль,
Окоченев в бушлате рваном,
Безногий парень колотил
В тугую кожу барабана;
Худой и желтый, как скелет,
Вот-вот готовый развалиться,
Дул кларнетист, подняв кларнет,
Как черный клюв огромной птицы;
У посиневших мертвых губ
Двух трубачей, стоявших тут же,
Блестела медь огромных труб,
Жестоко раскаленных стужей.
Казалось, призраки сошлись
В холодном сумраке рассвета,

* Поэма «Колыма» была отправлена автором (Е. Владимировой) XX съезду коммунистической партии. — *Прим. сост.*

Чтоб до конца наполнить жизнь
Своим неповторимым бредом.
Оркестр старался, как умел,
Жестоким холодом затравлен,
И барабан его гремел,
И сухо шелкали литавры.
Над жалким скопищем людей,
Желавших отдыха и хлеба,
В циничной наглости своей
Бравурный марш вздымался к небу.
Он нагонял людской поток,
Плывущий медленно за зону,
И спины согнутые сёк
Хлыстами звуков напряженных,
Вздымался к небу, тёк назад
И вновь метался по распадку
Среди глухонемых громад,
Застывших в царственном порядке,
Бесстрастно отводивших взор.
Никем не принятый, бездомный,
В блестящей сахарнице гор
Он бился мухою огромной.
Ни в ком ответа не родив,
Он симулировал свободу,
Отвергнут мертвою природой
И полумертвыми людьми...
Развод был долог.. На горе
Темнели первые бригады,
А хвост кружился во дворе
И изгибался за оградой.

БЕРТА БАБИНА-НЕВСКАЯ



Родилась Берта Александровна в семье инженера в 1886 году. Гимназию она окончила в Петербурге, затем училась на Высших женских курсах.

Еще в старших классах гимназии увлеклась она движением социалистов-революционеров, в двадцать один год стала членом партии эсеров. Берта Александровна занималась пропагандистской работой, исполняла роль «невесты» одного из матросов «Потемкина», заключенного в Петропавловской крепости, носила ему передачи, писала письма. Вышла она замуж за эсера В. М. Головина, уехала с ним в Италию. После его ранней смерти вернулась с сыном Всеволодом (погиб на фронте в 1942 году) в Россию.

В 1913 году она стала женой активного деятеля партии Б. В. Бабина (партийная кличка Корень), с которым и прошла через все последующие испытания. Он погиб на Колыме в 1945 году.

«Это была жизнь, – писала Берта Александровна, – со всем ее счастьем и со всей горечью, с ошибками и достижениями, с трудными испытаниями и частыми расставаниями. И она, эта жизнь, длилась почти четверть века, пока не была оборвана руками тех, кто когда-то также считали себя носителями

На фотографии: Берта Бабина-Невская и ее муж Борис Бабин.

нашей общей великой мечты, а потом убили ее живую душу и погибли от рук и своих и наших палачей».

В 1917 году, после Февральской революции и раскола партии эсеров, муж и жена Бабины примкнули к левым эсерам. Однако экстремизм, проявленный их товарищами по партии в 1918 году, в течение долгих последующих лет вызывал осуждение Берты Александровны. Не раз она упрекала их в разрыве с большевиками, приведшем к ликвидации многопартийности Советского правительства.

В 1922 году в числе многих других эсеров Бабины были арестованы и после Бутырской тюрьмы, следствия и суда высланы.

Во второй половине 20-х годов, вернувшись в Москву, Берта Александровна, прекрасно владевшая европейскими языками – французским, итальянским, немецким, стала переводить необходимые материалы для Коминтерна. Вновь арестована она была в 1937 году. На Колыме, на разных работах, провела Берта Александровна 17 лет. После освобождения в 1954 году жила в Ухте (Коми АССР) вплоть до 1958 года, когда смогла вернуться в Москву. Реабилитирована была в 1964 году.

В Москве в небольшой комнате Берты Александровны – сначала на Зверинецкой улице, а потом на Сиреневом бульваре – постоянно бывали люди. Она была душой «Колымского землячества». Вокруг нее собирались старые и новые друзья; вспоминали, спорили, шутили. Она привлекала своей революционной натурой, живым интеллектом, действенной добротой. Она любила жизнь, любила революцию, сохранила редкое ныне свойство – преданность идеалам своей молодости.

Однажды, 7 ноября, я зашла к ней с приколотой на груди красной ленточкой. «Как это прекрасно!» – воскликнула Берта Александровна и бросилась искать аналогичный символ дней революции. Мне было стыдно признаться, что не революционная дата, а случайно мной одетая кофточка дочери, вернувшейся с комсомольского мероприятия, стала поводом искреннего восторга и волнения человека иного поколения.

Жизнь Берты Александровны была нелегкой, но, безусловно, счастливой. Общественный темперамент не заглушил в ней и женского начала. Прожив более чем 90 лет, она сохранила все качества обаятельной женщины: была благожелательна к людям, общительна, красива, к лицу одета. Она сохраняла то человеческое достоинство, которое помогает воспринимать превратности жизни и неизбежность смерти. Не раз повторяла стихи Афанасия Фета:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет уходя.

С 50-х годов Берта Александровна стала заниматься литературой народов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Она пропагандировала их культуру, сле-

дила за появлением новых талантов, писала о них под псевдонимом Невская литературно-критические статьи в «Новом мире», «Дружбе народов», «Литгазете». Интересовали ее и молодые таланты в других национальных регионах. Так, одна из первых она оценила творчество Ч. Айтматова, Ю. Рытхэу, Вл. Санги...

Свою культурную миссию Берта Александровна исполняла с большим увлечением почти до конца своей жизни. Работать она, по существу, перестала только в больнице, где провела последние месяцы и где скончалась 17 февраля 1983 года.

Слова, сказанные ею перед смертью, удивили сестру милосердия, пытающуюся помешать больной подняться с постели.

– Конвой ждет, – сказала она.

Наталья Пирумова

ПЕРВАЯ ТЮРЬМА (февраль 1922 года)

Мы легче миримся с разореньем
нашего гнезда, чем с гибелью на-
ших воздушных замков.

Ч. Диккенс

Утром, лишь только мы успели выпить чай, в камеру вошел комендант с длинным списком в руках. Одну за другой он называл наши фамилии, к каждой добавляя: «С вещами!»

Едва он успел выйти и в дверях звякнул ключ, у нас поднялся радостный шум. «В Бутырки! В Бутырки!» – слышалось изо всех углов. Со стороны можно было подумать, будто нас вызвали, чтобы отпустить на свободу, или приглашали на веселый пир. Еще бы! Ведь Бутырки – это совсем не то, что Внутренняя тюрьма! Бывалые сидельцы нас информировали, что там мы увидим наших мужей и близких, кроме того, там существуют всякие льготы, которых здесь нет и в помине, – свидания, прогулки... В радостном возбуждении мы принялись собирать свои нехитрые пожитки.

Остальные обитательницы камеры тоже были довольны. «Наконец-то мы избавимся от этих социалисток! – с облегчением вздыхали они. – Хоть какой-то покой будет». Действительно, мы по всякому поводу устраивали обструкции: требовали то лишней бани, то прогулок, то свидания, то есть заведомо невозможного. И уж каждый день вызывали к себе начальника тюрьмы, настаивая на скорейшей отправке в Бутырки, что, конечно, зависело вовсе не от него, а от следователя.

Все это сильно портило нервы смирным и боязливым обывателям, нашим сокамерницам — спекулянткам, растратчицам. Они всегда старались держаться тихо и незаметно и во всех случаях от нас отмежевывались...

У нас забрали постельные принадлежности, и мы уселись на своих узелках. Потянулись долгие часы ожидания. За обедом почти никто не дотронулся до каши и баланды. Вызвали нас из камеры только к вечеру. Во дворе стоял «черный ворон». В те времена это был еще настоящий «честный» ворон, не то что пятнадцать лет спустя, когда он скрывался под псевдонимами «Мясо», «Молоко», «Сухофрукты», был раскрашен в яркие цвета, а внутри представлял собою форменную душегубку. Нет, тогда, в 1922 году, это была черная машина, напоминавшая собачий ящик, с крохотным решетчатым окошком на задней стенке и с длинными скамьями по бокам. Внутри царил почти полная тьма. Но лишь только мы туда вскарабкались, как раздались радостные восклицания. Там уже сидели мужчины, а также несколько женщин из других камер. Встретились жены с мужьями, сестры с братьями. Мы тоже увиделись с Борисом после трехнедельной разлуки. Она нам показалась такой долгой! А ведь когда-то совместная наша жизнь тоже началась с разлуки! Борис просидел тогда полгода и поехал в ссылку, так что сын родился без него. Но то было в царские времена. Теперь мы еще пока мерили жизнь по другим масштабам, а грядущее «таилось во мгле»!..

Не было конца расспросам и рассказам... Конвой помещался в кабине и нам не мешал. «Товарищи! — вдруг раздался чей-то молодой голос, покрывая весь наш приглушенный гул. — Сейчас нас посадят в карантин, где могут продержать дней десять. Не соглашайтесь на это, требуйте немедленно осмотра врача и отправки в социалистический корпус!» — «Конечно, будем требовать, обязательно будем!» — закричали со всех сторон.

Машина въехала в ворота тюрьмы.

Было уже совсем темно на дворе, когда всех нас ввели в большое, почти пустое помещение и там заперли. «Это “вокзал”, — объяснили опытные люди, среди которых преобладали наследники Мартова¹ — юные меньшевики.

«Вокзалом» называли нечто вроде сортировочной, откуда уже разводили по корпусам. Все мы порядком устали, замерзли и проголодались, но радость свидания с близкими заставляла об этом забыть. Прошло часа полтора, прежде чем к нам вошел комендант.

— Товарищи, — обратился он к нам (о времена, когда в тех местах к нам так обращались!), — вам придется некоторое время пробыть

в карантине. Это будет недолго. Там вас осмотрит врач, и тогда всех, кто здоров, отправят в камеры. Это делается в ваших же интересах, чтобы не занести в тюрьму каких-либо опасных заболеваний.

Надо признать, что в словах его имелся кое-какой резон: то было время, когда по нашей стране еще бродил сыпной тиф, да и всякие другие болезни. Но мы были молоды и чувствовали себя отлично. Карантин нас не устраивал.

— Не согласны, не согласны! — закричали все хором. — Если нужен медицинский осмотр, у нас есть свой врач. Позовите доктора Донского!

Дмитрий Дмитриевич Донской, эсер с давних дореволюционных лет, член ЦК, вскоре ставший участником процесса правых эсеров, уже давно сидел в тюрьме.

Отличный врач, фанатически влюбленный в свою профессию, он, будучи впоследствии сослан в Нарым, остался там до конца жизни. Огромные северные пространства, почти не знавшие до той поры медицинской помощи, получили прекрасную больницу, выстроенную в Парабеле по инициативе Донского и под его руководством. Он организовал целый ряд курсов для среднего медицинского персонала, где сам вел занятия, и подготовил много квалифицированных медсестер. Ему даже удалось преодолеть предубеждения местного национального населения против «русских шаманов» с их врачеванием. Так, женщины-националки стали нередко приходить рожать в больницу. Имя Донского не раз уважительно поминалось на съездах врачей в Москве.

В 1937 году, когда Дмитрий Дмитриевич понял, какая участь его ожидает, он покончил с собой.

Так вот в феврале 1922 года, сидя на «вокзале» Бутырок, мы все в один голос требовали, чтобы нас без промедления осмотрел Донской.

— Я не могу решить это сам, — сказал наконец комендант, — вызову начальника тюрьмы.

Примерно через час к нам явился Попов. Эта колоритная фигура стоит того, чтобы о ней сказать несколько слов.

Высокий, широкоплечий человек лет сорока (по моим тогдашним понятиям, почти старик!), участник Гражданской войны, принадлежащий к дореволюционной когорте большевиков, он, в общем, тогда неплохо относился к заключенным социалистам всех оттенков, особенно к левым эсерам. Потом в тюрьме товарищи уверяли, будто он равнодушен к моей подруге Соне Богоявленской, рыженькой и некрасивой, но на редкость обаятельной, веселой умнице и остроумнице. Во всяком случае, он даже разрешил ей держать в тюрьме

собачонку! И когда нужно было добиться какой-нибудь мелкой по-
блажки, дипломатические переговоры обычно поручали вести Соне.
С большим пиететом относился он к Б. Д. Камкову², иногда пытался
даже заводить с ним беседы на политические и философские темы.
Где ты сейчас, Сонечка, милая моя? Конечно, погибла, в лучшем
случае умерла в какой-нибудь лагерной больнице. В последний
раз мы виделись осенью 1936 года, когда она приезжала в Москву
из Туруханского края, где жила в ссылке со своим мужем Мишей
Самохваловым. Миша, левый эсер, сражавшийся во время Граждан-
ской войны в отрядах Красной Армии, нашел свой конец на Колыме,
на проклятом прииске Золотистый. Там, будучи уже доведен до со-
стояния полной инвалидности, он в последнее время работал
санитаром в медчасти. Там упал он как подкошенный на глазах
пришедшего навестить его Давида Шермана, нынешнего мужа Бэл-
лочки Якир. Через десять минут, не приходя в сознание, он скончал-
ся на руках Давида, которому за несколько дней до того дал адрес
Сониных родных в Москве. Через много лет искалеченным инвали-
дом Давид попал в Москву, но по этому адресу он, разумеется, нико-
го не нашел...

Что касается судьбы нашего бутырского начальника Попова, то и
она сложилась так же трагично, как у огромного большинства старых
большевиков. Когда начался период «закручивания гаек», ему при-
шлось активно закручивать их самому, что он исправно и выполнял,
пока в 1937 году не оказался узником «своей» же тюрьмы и был выве-
ден затем в расход сталинскими палачами.

— Товарищи, — сказал он, войдя к нам, — поймите, ведь сейчас ночь.
Доктор Донской уже спит. Ну что вам стоит подождать хоть до утра!

— Разбудите его! — кричала молодежь. — Они, врачи, к этому при-
вычны!

После довольно долгого препирательства соглашение было дос-
тигнуто, и вскоре к нам привели Донского.

Я тогда увидела его впервые, и он показался мне почему-то очень
похожим на водяного из старых немецких баллад. В длинной, до полу,
шубе-дохе, с длинными прямыми светлыми волосами, с длинной уз-
кой бородкой и усами. Но «водяной» приветливо улыбался и вообще
был очень весело настроен. Врачебный осмотр закончился быстро.

— Все здоровы! — объявил доктор.

Конвой нас вывел и повел куда-то, уж не помню куда. Было, веро-
ятно, около двух часов ночи, на дворе царила зимняя тьма.

Со звоном отперли какие-то двери, мы поднялись по лестнице,
открылась еще дверь... И внезапно, после тьмы, холода, долгих часов

ожидания, меня ослепил яркий электрический свет и оглушил громкий слаженный хор многих голосов, певший «Мы – кузнецы». Тут же к нам навстречу бросилась толпа мужчин и женщин, и я стала переходить из объятий в объятия. Ослепленная, оглушенная, я никого не различала, никого не узнавала. После оказалось, что здесь было много старых товарищей по петербургскому подполью, по студенческим годам, по работе в разных городах во время наших скитаний... Нас всех привели в так называемый «социалистический корпус», где сидели, некоторые уже не первый год, социалисты, принадлежавшие к различным партиям, кроме «уклонистов», из правящей партии, хотя, помнится, кое-кто из них – не то шляпниковцы, не то софроновцы – уже в то время попробовали тюрьму.

«Социалистический корпус» был заперт снаружи, внутри же царило полное самоуправление. О своеобразном быте этой тюрьмы короткого периода либерализма я буду рассказывать дальше.

После бурных приветствий нас повели в «клуб» пить чай. Там был накрыт стол: стояли громадные медные чайники с кипятком и маленькие с настоящей заваркой. Были выставлены всевозможные яства, которыми по тем скудным годам товарищи располагали из тюремного пайка и личных передач. А в это время в одном из коридоров тюрьмы за столиком важно заседал Совет старост, состоящий главным образом из членов ЦК правых эсеров (не помню уже, почему именно таковым был в то время его состав). В него входили Гоц³, Тимофеев, Гендельман, наш старый друг Гельфгот и другие, а также кто-то из ЦК меньшевиков. Впоследствии мы в насмешку прозвали их «теневым кабинетом». Перед ними лежал длинный список новоприбывших, и они распределяли всех по камерам: мужу с женой полагалась отдельная, одиночкам – общая. Распределение происходило на основе известной «табели о рангах», то есть соответственно еще недавнему положению в своей партии. В коридорах «социалистического корпуса» существовал свой «Арбат» и свое «Замоскворечье» – лучшие, более светлые и теплые, камеры, и другие – потемнее, потеснее. Нам с Борисом было безразлично, куда нас поместят. Хотелось просто поскорее отдохнуть от всех впечатлений этого дня и побыть наедине. Наша камера была расположена довольно далеко от бутырского «Арбата» – я-то ведь имела репутацию отступницы! – и оказалась она довольно холодной.

Центральное отопление тогда в тюрьме не работало, «жуликом» мы еще запастись не успели. Оставшись наконец вдвоем, мы не могли удержаться от смеха.

– Что все это тебе напоминает? – спросил Боря.

– Театр, – отвечала я, – мне все время кажется, будто мы на сцене и разыгрываем какую-то удивительную пьесу. Ведь не могут же они нас всерьез здесь держать. За что?!

Утром я не в силах была поднять головы от дикой мигрени, которой вообще страдала с полудетских лет. В таких случаях нужно было одно: лежать без движения, без слов, без глотка воды – иначе начиналась рвота.

Борис сидел возле меня, иногда уходил и возвращался, пытался что-то рассказать. Я ни на что не реагировала и ничего не понимала. К вечеру невыносимая головная боль сразу прошла, как не бывало. Выпив кружку воды с кусочком хлеба, я встала и оделась.

Тут в дверь к нам постучали. Борис вышел и вернулся с двумя товарищами.

– Пришли тебя приветствовать, – сказал он. – Узнаешь?

Одного я отлично знала: Володя Трутовский⁴, товарищ по подпольной работе, потом – по нашей милой питерской полулегальной газете, каждый раз выходившей под новым названием и закрытой перед Первой мировой войной.

В ней я, девчонка, осваивала свою будущую журналистскую специальность: вела корректуру и даже первую в жизни рецензию написала на крохотный сборник рабочих поэтов, среди которых были: А. Поморский и А. Безыменский, тогда никому не известный паренек.

После Октябрьской революции Володя был наркомом, а может быть, замнаркома по коммунальным делам. Сейчас он стоял передо мной, улыбающийся и оживленный, все такой же, ни капельки не изменился за многие годы. Длинный, худой, черный, с типично украинским красивым лицом, на котором блестели веселые черные глаза, с курчавой шевелюрой и маленькими темными усиками. Второй... Я знала его только по фотографиям, по литературе и по бесчисленным рассказам разных людей. Пожав мне руку, он представился: «Камков».

Он был довольно высокого роста, во всяком случае много выше среднего, крепко и плотно сложен. Большие темные глаза светились умом и жизнью. У него были густые и вьющиеся темные волосы, но, пожалуй, особенно характерны в его лице были брови, широкие и черные, в сочетании с такими же черными блестящими глазами. На нем была очень простая тюремная одежда того времени – свободная косоворотка без пояса, из грубой суровой парусины... Я вспомнила фотографию, где он снят был в элегантном черном костюме с галстуком на ступенях Большого театра, где шел тогда Пятый съезд Советов...

Но и эта теперешняя одежда его не портила. Какая-то своеобразная, может быть, несколько тяжеловесная, небрежная грация и эле-

гантность чувствовалась в его движениях под свободной, всегда безукоризненной свежей серой рубашкой, в его манере ходить, держа руки в карманах и чуть покачиваясь, подобно моряку на суше. (Ему тогда не было еще и сорока лет. В нашей революции нужны были руководители на десять лет старше!)

Мы обменялись несколькими приветственными словами. Потом все вместе пошли смотреть их обиталище. Будучи членами ЦК, они оба, так же как и другие цекисты, в отличие от «теневых кабинетов» правых эсеров, жили в большой общей камере, и это я наблюдала все время, пока длилось наше совместное заключение. Впоследствии я видела в ссылках — в Челябинске и Воронеже, — и о том же рассказывали мне товарищи, бывшие с Камковым в тверской ссылке, — всюду там царил дух не только полного демократизма, но и подлинно коммунистических отношений между товарищами. Любой из когда-либо близких по убеждениям, будь то мальчишка или девчонка, ничем не выделяющийся, находил в доме Камкова полное гостеприимство, самый радушный прием, теплую заботу и материальную поддержку. То же было и всюду там, где жила в 20–30-х годах знаменитая троица — Спиридонова⁵, Измайлович⁶ и Майоров⁷, а потом еще и Ирина Каховская⁸. Все названные мною товарищи в то время зарабатывали немало, но жили очень скромно и на себя тратили минимум, зато никто из окружающих их не столь удачливых или многосемейных друзей не знал нужды... То был пример настоящего коммунизма в быту и в сознании.

Но я отвлеклась в сторону и хочу вернуться к тому первому вечеру в Бутырской тюрьме.

Нам показали камеру, которая была преобразована в «клуб» — то, что теперь зовется красным уголком. Там имелись шахматы, шашки, лежали свежие газеты и журналы — даже «Социалистический вестник» (издающийся зарубежными меньшевиками, всегда осведомленный о событиях у нас и весьма ядовито их интерпретирующий). Тюремная библиотека была тогда еще очень богатой, так как по традиции, установившейся с далеких дореволюционных времен, каждый освобождающийся оставлял в тюрьме свои книги (кроме специально ему самому необходимых). В «клубе» можно было спокойно читать и заниматься, что многие и делали. Там же почти еженедельно устраивались разные доклады и происходили многочасовые дискуссии между представителями различных группировок. Они бывали столь ожесточенными, что можно было подумать, будто их участники сразу же отправятся проводить в жизнь свои идеи. Вспоминаю один такой жаркий диспут (правда, уже в другой тюрьме, в Кисельном переулке, — о ней скажу дальше). Кто-то из правых эсеров

доказывал, что настоящий социализм в России, несущий идеи правды, справедливости и свободы, если и будет когда-нибудь построен, то не раньше чем через двести лет! Оппонентом выступил Камков, утверждавший, что век революций далеко не закончен. Революция должна все же еще произойти в ряде стран в результате как послевоенной депрессии, так и событий в Советском Союзе, и социалистическая система в Европе победит к середине XX столетия...

Пройдет всего полтора десятка лет, и оба участника той дискуссии падут жертвами сталинского «социализма», а разгул фашизма в ряде европейских стран приведет после кровавой испанской трагедии к ужасам Второй мировой войны... Но разве могли тогда вообразить нечто подобное мы, считавшие, будто разногласия между нами и «ими» в конце концов не помешают строительству нового мира и, хотя всегда придется упрямо спорить, мы вернемся, и строить придется вместе!.. А то, что сейчас с нами происходит, — это несерьезно, это вроде театрального представления из времени Великой французской революции!.. Только, разумеется, без гильотины! Разве же не Маркс сказал, будто история повторяется дважды — в первый раз как трагедия, во второй — как фарс.

Никто из нас, в том числе и марксисты различных оттенков, включая и тех, кто пытался строить новое государство «по учителю», не подозревал, какая гигантская гильотина ожидает нас всех вместе в сравнительно недалеком будущем!

Пока же каждое утро на гулкой железной площадке одной из сквозных лестниц Бутырской тюрьмы происходила утренняя гимнастика, как теперь ее называют — физзарядка, в которой принимали участие все желающие. Руководил этим молодой статный красавец Жорж Качоровский.

Прекрасный певец и музыкант, он был еще и организатором самодеятельного оркестра на различных струнных инструментах. Он сумел также наладить регулярные занятия пением, составил отличный хор из мужских и женских голосов, занимался и с «солистами», некоторые из которых очень неплохо пели и доставляли нам большое удовольствие своими выступлениями.

Качоровский был студентом, когда началась Первая мировая война, попал под мобилизацию. Как человек с образованием, он был произведен в офицеры, и в этом звании его застала революция. Он был сразу захвачен ее волной и тут же примкнул к самой в те дни популярной партии — стал эсером. После раскола остался с теми, кто возглавлял ее ЦК, — с правыми. Вряд ли он особенно хорошо разби-

рался в политических течениях и оттенках, но хранил верность тем, кому поверил сначала и разделил их судьбу. В двадцать третьем году, отбывая трехлетний срок заключения в Соловецком изоляторе, Качоровский стал жертвой разыгравшейся там трагедии. Вместе со своей женой Лидой Котовой, ее братом Ваней, Наташей Бауман и еще тремя товарищами, имен которых не помню, он был убит конвойным с вышки за неподчинение приказу закончить прогулку. Этот приказ представлял собой одно из звеньев общей системы «завинчивания», которая должна была сменить период тюремного либерализма — относительной свободы внутреннего распорядка, и заключенные решили объявить войну подобному «новшеству».

Однако история эта получила широкую огласку среди зарубежных социалистических партий, с которыми тогда еще все же стремились считаться. Было назначено расследование, кое-кого сняли, кое-кто (из «стрелочников») получил наказание... Английские лейбористы, стоявшие в то время у власти, послали к нам делегацию, которая выразила желание проехать на Соловки. Но им объяснили, что зимой в те места попасть невозможно, так как замерзшее море не судоходно. Самолеты в те годы туда не летали. Члены делегации выразили удивление по поводу того, что в социалистическом государстве социалистов, хотя бы и иного толка, держат в таких условиях, там, куда большую часть года невозможно добраться.

После этого Соловецкий изолятор был ликвидирован, заключенных перевезли в другие тюрьмы — Суздальскую (опять монастырь) и Верхне-Уральскую. Замечу, между прочим, что лучше им там не стало: те же колебания режима, протесты, голодовки, карцеры и даже избиения... Соловецкий же изолятор снова возродился при Сталине. Лишь в 1939 году он окончил свое существование...

Хочу добавить, что теперь, спустя пятьдесят лет, наши внуки (мои в том числе) устраивают себе на Соловках летний отдых. По туристическим путевкам, а то и без них, они собираются группами и плывут по морю к этим островам изгнания и смерти. Северная природа живописна и прекрасна неяркой своей красотой. Цветут цветы, поют птицы, ловится рыба, поэзия белых ночей захватывает самых равнодушных. А могилы сровнены с землей, и монастырские стены молчат, и мало кто вспоминает о человеческих страданиях, о муках разлуки, о кровавых драмах, эхо которых, кажется, еще живет в этом хрустальном воздухе, в этих синих водах и зеленых лесах. А молодость бездумна и жизнерадостна.

Блаженны неведающие!

Но я снова отвлеклась — все это еще в далеком будущем...

А тогда, в начале 1922 года, быт нашего «социалистического корпуса» (вполне приятное было название!) отличался анекдотическим своеобразием. На третий день нашей тюремной жизни, когда я жималась от холода и сырости в камере, а Борис пытался наладить обогрев с помощью «жулика», подаренного товарищами, в дверь нашу постучали. Вошел красивый и стройный молодой человек в тюремной робе и, светски расшаркавшись, представился: князь такой-то. Мне, к сожалению, не запомнилась одна из самых громких аристократических фамилий царской России, которую он назвал. Помню, что я остолбенела от неожиданности.

— Не удивляйтесь, madame, и не думайте, что я вас мистифицирую, — сказал гость, слегка грассируя, — я пришел спросить, не нужно ли вам в чем-либо и вообще не могу ли я чем-нибудь быть вам полезен?

В дальнейшем выяснилось, что это бывший офицер «лейб-гвардии его величества», что таких, как он, здесь немало. Сидят они в качестве белогвардейцев и пользуются правом свободного хождения между корпусами и всякими тюремными службами, в чем нам, социалистам, отказано. Потому они и выполняют всякие поручения нашей хозяйственной комиссии, а иногда также обслуживают камеры. За это их подкармливают из нашего, несколько улучшенного, тюремного довольствия... Я призналась, что сильно мерзну в камере.

— О, этому так легко помочь! — улыбнулся бывший лейб-гвардеец. — К вечеру у вас будет стоять отличная маленькая печурка.

— Но как же это? — удивилась я.

— Очень просто, я вам ее сложу из кирпича. Да-да, мы теперь многому научились! Что поделаешь! *A la guerre comme à la guerre!*^{*}

— Merci, monsieur, — пробормотала я, не зная, что сказать.

— О, что вы! Я сочту за честь для себя помочь такой молодой даме! Тем более что мы ведь приставлены для обслуживания к социалистам.

Последнее заявление звучало довольно-таки иронически в его устах. Но так или иначе, к вечеру в нашей камере действительно топилась чудесная маленькая печурка, и друзья приходили греться у ее восхитительного тепла. Все время нашего пребывания в Бутырской тюрьме князь неусыпно о нас заботился, помогая чем только мог. Между нами установились вполне добрые отношения, мы даже иногда беседовали о французской поэзии, которую этот отпрыск старого русского дворянства очень хорошо знал. Политических вопросов

^{*} На войне как на войне (фр.).

с ним не касалась, не видела в том смысла. Вероятно, все же в дальнейшем попробовала бы заговорить о декабристах, но недолго длилось наше общение, очень скоро «социалистический корпус» был раскассирован.

Должна сказать, что всякие внешние вопросы быта в период пребывания нашего в Бутырской тюрьме меня мало интересовали и потому слабо запомнились. Меня в то время волновало совсем другое, и об этом я сейчас расскажу. Но хочется все же коснуться некоторых своеобразных черт тогдашней нашей жизни. Первые дни пребывания в Бутырках ушли на всякие «визиты». Там оказалось много старых знакомых, из которых некоторые – либо члены ЦК, либо особенно активные в отстаивании своих взглядов – сидели уже не первый год. К таким, в частности, принадлежал правый эсер Аркадий Иванович Альтовский. Ныне это кроткий и робкий, как агнец, старичок лет под девяносто. Старый партиец-подпольщик, участник революции 1905 года, он прошел царскую эмиграцию, с отличием окончил электротехнический институт в Гренобле и, вернувшись в 1917 году в Россию, с 1919 года то и дело посиживал. В дальнейшем, пережив около двух десятилетий сталинских лагерей, он много лет работал старшим инженером электростанции в Ухте, где отбывал заключение. Затем был реабилитирован и теперь живет в Москве на пенсии. Я его тогда не знала, но мне хотелось провести его жену Нину Аверкиеву, с которой мы вместе сидели на Лубянке и приехали в Бутырскую тюрьму.

Войдя к ним в камеру, я застыла от изумления. Потом я уже так не удивлялась, навещая других давних сидельцев, их камеры заставили меня вспомнить то, что мы в свое время читали о декабристах, которым, увы, гораздо более наивное царское правительство разрешало всякие поблажки, скрашивающие жизнь узника. Нечто похожее имело место и тут в этот краткий блаженный промежуток времени – примерно между 20-м и 22-м годами...

На стене, над койкой, висел ковер, и небольшой коврик лежал также на полу, перед кроватью. Постель была застлана домашним одеялом, и на ней разбросано было несколько подушек в цветных наволочках.

Все это вместе создавало непередаваемо яркий колорит для глаза, утомленного серым тюремным однообразием.

Однако колоритнее всего были хозяева этого необыкновенного жилья. Аркадий Иванович, в то время красивый молодой брюнет в красной рубашке, очень шедшей к его смуглому лицу с небольшой черной бородкой, сидел на кровати, наигрывая что-то на гитаре,

и даже не поднялся мне навстречу. Но больше всего меня поразила Нина, которая полулежала на подушках в домашнем цветном халатике. Обычно некрасивая, хмурая, с серым личиком, с двумя косами, как-то уныло висящими вдоль спины, она за одну ночь неузнаваемо похорошела и расцвела. Передо мной была совершенно другая женщина. Ярко пылали ее щеки, блестели глаза, волосы разметались по подушке... Я поняла, что мое присутствие здесь излишне, и, пожелав счастливым супругам всех благ, быстро ушла...

Давно уже спит вечным сном Нина Аверкиева, дочь старых интеллигентов-революционеров из Саратова. Ее брат когда-то учился с моим братом Владимиром в Петербургском политехническом институте. Они оба, и с ними еще несколько их товарищей, во время войны в 1914 году были арестованы и сидели в Спасской части, откуда, правда, их через месяц с небольшим освободили. Ордер на обыск выписан был также и на мое имя. Конечно, ничего компрометирующего не нашли, но обыскивали мою комнату особенно тщательно и даже заставили развернуть пеленки моего новорожденного сына Игоря, который теперь при случае заявляет, что его «обыскивали жандармы». Аркадия Ивановича я, вернувшись в 1955 году с Колымы, встретила в Ухте, когда он еще там работал в качестве главного инженера электростанции и где моему «обысканному жандармами» сыну пришлось безвинно отбывать второй лагерный срок...

Скромнее и проще выглядела камера наших старых друзей — Александра Павловича Гельфгота и его жены Елены Марьяновны Тумповской*. Об этой семье мне еще не раз придется упоминать в дальнейшем.

Александр Павлович по своему положению бессменного члена ЦБ, а порой и ЦК занимал камеру близ «Арбата». У них было довольно тепло, лежало много книг, имелось кое-что из домашних вещей. Был даже, если не ошибаюсь, собственный чайник, который тут же вскипятили с помощью «жулика».

К чаю нас угостили изысканнейшим тюремным лакомством — сырой клюквой, пересыпанной сахарным песком... А самое приятное в этой камере было — прекрасные и добрые глаза красивой ее хозяйки Елены Марьяновны, тихой, умной, перенесшей уже очень много в жизни горя. Она происходила из семьи известного петербургского врача — вдовца, вырастившего четырех дочерей, три из которых стали участницами революционного движения. Старшая из них, Лидия Арманд, была замужем за фабрикантом, с которым вскоре ра-

* Отбывши после 1937 года, подобно нам всем, восемнадцать лет лагерей, она умерла 7 марта 1966 года в Клину у дочери-врача. — *Прим. автора.*

зошлась. Она писала по вопросам кооперации и пользовалась большим авторитетом и уважением в партийных эсеровских кругах. Умерла она еще до 1917 года. Ее единственный сын был в детстве похож на маленького лорда Фаунтлероя со своими золотистыми локонами и прелестным нежным личиком. Сейчас он геолог, известный в Москве автор научно-популярных книг по своей специальности, и, надо сказать, книг интересных и живо написанных.

Другую дочь, Ольгу, я не знала. Она очень рано была арестована и выслана за границу, что часто практиковалось царскими властями. Поселившись во Франции, она связала свою судьбу с этой страной и в Россию не вернулась.

С самой младшей, Маргаритой, моей ровесницей, мы много лет были связаны близкой дружбой. Поэтесса акмеистского направления, она одно время была близка с Гумилевым, вращалась в среде петербургских поэтов и, единственная из всех сестер, совершенно не интересовалась политикой. Это не помешало ей погибнуть после 1937 года в лагерях. Она была в то время уже женой летчика и матерью двоих детей. Елена Марьяновна, вторая из сестер по возрасту, имела отношение к Боевой организации, военным судом была приговорена к смертной казни и сидела некоторое время в камере смертников, но потом смертную казнь ей заменили вечной каторгой. Ей удалось бежать, а там вскоре пришла революция...

С ней, Еленой Марьяновной, нас много лет связывала общая судьба – партия, затем годы невольных скитаний и горестей, пережитых на юге во время деникинщины (Ростов, Краснодар). Наши старшие сыновья были ровесниками, дружили между собой. В качестве жены А. П. Гольфгота и его верной помощницы Елена Марьяновна немало посидела и в наше время, и вот теперь мы с ней встретились в Бутырках.

Сам Александр Павлович, ярко-рыжий, со своей мэфистофельской бородкой, неизменной шуточкой на устах, словно забыл наши с ним долгие резкие споры во время моего «отхода». Теперь это стало уже пройденным этапом, и возвращаться к нему не имело смысла...

А пережито вместе было очень много, и плохого, и хорошего. Того, что нам еще предстояло, мы, к своему счастью, не знали. Нас связывала старая теплая личная дружба.

Мужчины сели играть в шахматы, а мы с Еленой Марьяновной потихоньку вспоминали оставленных на воле детей...

Дети революционеров всех направлений – в этом обе мы сходились – самые несчастные дети! И все же мы тогда не могли даже предположить, какой мерой отмерится им из чаши нашей судьбы.

Примечания

¹ *Мартов Л.* – псевдоним Цедербаума Юлия Осиповича (24.IX.1873 – 4.IV.1923) – социал-демократ. Из купцов. В 1897 г. был выслан в Туруханский край, потом жил в эмиграции. Входил в инициативную группу по подготовке «Искры» (Ленин, Потресов, Мартов). В 1903 г. возглавил искровское меньшинство и стал таким образом лидером меньшевизма. После Октябрьской революции был делегатом VII и VIII Всероссийских съездов Советов. В 1919 г. – член ВЦИК и депутат Моссовета. В 1920 г. с разрешения ЦК РКП(б) и Советского правительства уехал за границу.

² *Камков Борис Давидович* (1885–1938) – один из организаторов партии левых эсеров, крупный публицист. Из мещан. По образованию юрист. В 1907 г. вступил в партию эсеров. Жил в эмиграции (Женева, Париж, Милан). После Февральской революции 1917 г. был за переход власти в руки Советов. После Октябрьской революции член ВЦИК I, II и V созывов. Выступал против Брестского мира, активно участвовал в левозсеровском мятеже. Был арестован, но вскоре освобожден. Жил в Москве. Работал в области статистики. В 1937 г. арестован. Расстрелян.

³ *Гоц Абрам Рафаилович* (1882–1940) – член ЦК и Боевой организации партии эсеров (с 1906 г.). Политкаторжанин. После Февральской революции 1917 г. – один из лидеров правых эсеров. В 1920 г. арестован. В 1922 г. на процессе правых эсеров приговорен к расстрелу, замененному в 1924 г. пятью годами тюремного заключения. Впоследствии, до ареста в 1937 г., работал в Симбирском губплане.

⁴ *Трутовский Владимир Евгеньевич* (1876–1937) – член ЦК партии левых эсеров. В декабре 1917 г. вошел в состав Советского правительства в качестве комиссара городского и местного самоуправления. В 1918–1921 гг. трижды арестовывался.

⁵ *Спиридонова Мария Александровна* (16.X.1884 – II.IX.1941) – из дворян. В партию эсеров вступила в 1902 г. По заданию Боевой организации эсеров в Тамбове в 1906 г. смертельно ранила советника губернского правления, возглавляющего черносотенную организацию и карательные экспедиции в губернии, Г. Н. Луженовского. 12 марта 1906 г. военным судом приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Заключение отбывала на Нерчинской каторге. После февраля 1917 г. вернулась в Петроград, где стала одним из лидеров левых эсеров, членом ЦК. После Октябрьской революции М. А. Спиридонова была членом ЦИК и делегатом III–V съездов Советов. Разойдясь с Советским правительством в оценке Брестского мира, она взяла на себя моральное руководство мятежом левых эсеров, вспыхнувшим в Москве 6–7 июля 1918 г. Была арестована, но за прежние заслуги перед революцией амнистирована ВЦИК. В 20-х годах еще дважды арестовывалась.

Жила в ссылке в Ташкенте, затем в Уфе. От политической деятельности отошла. Последний раз арестована в феврале 1937 г. В начале войны она находилась в Орловской тюрьме. После бомбежки Орла, в условиях готовящейся эвакуации тюрьмы, в числе трехсот заключенных там же была расстреляна 11 сентября 1941 г.

⁶ *Измайлович Александра Адольфовна* (1879–11.IX.1941) – из дворян, дочь генерала, сестра Екатерины Адольфовны Измайлович, стрелявшей в 1905 г. в адмирала Чухнина и расстрелянной на месте. Член партии эсеров с 1906 г., член Боевой организации. Отбыла 11 лет Нерчинской каторги. После февраля 1917 г. – член ЦК партии левых эсеров. В декабре 1917 г. вошла в состав Советского правительства в качестве комиссара по дворцам республики. Арестовывалась в июле 1918 г., феврале 1919 г., октябре 1919 г. Последний раз была заключена в Бутырскую тюрьму до сентября 1921 г. До 1937 г. находилась в ссылке в разных городах. В феврале 1937 г. арестована в Уфе.

⁷ *Майоров Илья Андреевич* (1888–11.IX.1941) – член партии эсеров с 1906 г., член ЦК партии левых эсеров, один из авторов декрета о социализации земли (январь 1918 г.). Участник левоэсеровского мятежа 6 июня 1918 г. В 1919 г. осужден на два с половиной года тюремного заключения, в 1921 г. – на два года тюрьмы. В 1937 г. арестован в городе своей последней ссылки (Уфе). Расстрелян в Орловской тюрьме 11 сентября 1941 г.

⁸ *Каховская Ирина Константиновна* (1888–1.III.1960) – из дворян, внучатая племянница декабриста П. Г. Каховского, казненного в 1826 г., член партии эсеров с 1905 г., член Боевой организации (с 1906). Участница первой русской революции 1905–1907 гг. В 1907 г. приговорена к 15 годам каторги, которую отбывала в Мальцевской женской тюрьме на Акатуе, затем в Чите.

После Февральской революции – член ЦК партии левых эсеров, участвовала в организации террористического акта против наместника кайзера на Украине Эйхгорна. Была арестована и подвергнута пыткам. Готовила покушения на Деникина, а затем на Колчака. В июле 1918 г. – участница мятежа левых эсеров. С 1918 по 1921 год трижды арестовывалась. В 1921 г. арестована и приговорена к полутора годам тюрьмы. Затем жила в ссылке. В 1937 г. арестована в Уфе. Реабилитирована в 1956 г. После освобождения жила в Малом Ярославце Калужской области.

Наталья Пирумова

НАДЕЖДА ГРАНКИНА



Надежда Васильевна Гранкина родилась в 1904 году в Петербурге. Ее отец – вдовый священник – по закону не имел права жениться – двое его детей от второй жены считались незаконнорожденными. Брат их матери – дьякон царскосельской церкви – взял детей к себе и воспитывал как родных. И только поступив в гимназию, Надя узнала, что она незаконнорожденная: многие родители не разрешали своим дочерям дружить с ней, ее это глубоко ранило.

Вскоре после революции Надя подала заявление в комсомол. На вопрос: «Почему ты хочешь быть комсомолкой?» – ответила: «Потому что коммунисты – последователи Христа, и я во имя Христа хочу помогать коммунистам». Естественно, в комсомол ее не приняли.

В 1919 году мать увезла ее из голодающего Петрограда в Елизаветград. Там Надя работала санитаркой в больнице. Снова подала заявление в комсомол. Ее приняли, но вскоре, во время чистки, исключили как дочь священника.

Ей еще не было восемнадцати лет, когда она встретила тяжело раненого красного командира Е. Н. Гранкина и вышла за него замуж.

Прошло немного времени, и его, как троцкиста, исключили из партии.

В 1930 году с восьмилетней дочерью Гранкины приехали в Ленинград, поселились в тесной квартире у матери Нади. Здоровье Гранкина ухудшилось, он совсем не мог работать, а пенсия была крохотной, поэтому Наде приходилось работать за двоих. Ко всему девочка заболела полиомиелитом и осталась на всю жизнь хромой.

В первый раз Гранкина арестовали в 1931 году. Но ему удалось доказать, что из-за болезни он не поддерживал связи со своими бывшими товарищами. Во время следствия Надю вызвали на допрос. Она считала, следователю надо говорить всю правду, и сообщила, что читала «Письма Троцкого». Впоследствии за эту откровенность она дорого заплатила.

Гранкина освободили. А через год снова арестовали, приговорили к ссылке. Надежде Васильевне разрешили поехать к мужу, сказали, что он в Самаре, где его не оказалось, ее направили в Оренбург, а там отобрали паспорт. Гранкин же в это время лежал в тюремной больнице в Ленинграде. Без денег, бездомная, с больной девочкой на руках Надя оказалась в ссылке. К счастью, осенью 1933 года мужа реабилитировали, и Надя вернулась в Ленинград.

В 1936 году Гранкина вновь арестовали. Через год он умер в Белгородской тюрьме.

Вскоре забрали Надю, приговорили к десяти годам тюремного заключения, позднее отправили на Колыму.

Девочку взяла бабушка. В 1942 году они обе, бабушка и внучка, умерли от голода в Ленинграде.

В 1947 году Надя вышла на волю. С 1956 года и до смерти в 1983 году жила в Ленинграде.

Свои воспоминания – большую, в пятьсот страниц, рукопись – Надежда Васильевна писала много лет: она стремилась воспроизвести пережитое с предельной достоверностью.

Эльга Силина

ЗАПИСКИ ВАШЕЙ СОВРЕМЕННОИЦЫ

Не так важно, что ты переживаешь, как важно, что ты вынесешь из пережитого.

КУРСК

Трудно описать такое, я даже не знаю, сумею ли я это сделать? Но попробую.

С марта 1938 года из тюрем стали отправлять заключенных по месту назначения. Меня же взяли в этап только в июле, после восьми месяцев заключения в Белгородской тюрьме. В эти годы заключенных

нередко водили по улицам пешком. Прошли и мы, сопровождаемые толпой зевак и плачущих женщин. Они узнавали в этапной толпе близких, бросали мужчинам папиросы и хлеб, просили конвой передать продукты и кричали слова прощальных приветов. Некоторые подымали детей, чтобы отцы могли увидеть их и проститься с ними издалека. Дети плакали. Нас погрузили в «столыпинские» вагоны и привезли в Курск.

Здесь условия были еще тяжелее белгородских. В небольшой камере, с одним оконцем под потолком, сидело до ста человек и более. У стены налево, ближе к окну, стояли четыре сдвинутых по две кровати, на которых поперек лежали десять человек. У правой стены, ближе к двери, стояла одна кровать, на ней лежала молодая женщина с годовалым ребенком. Зато питание здесь было лучше, параша стояла в камере и дежурные меньше обращали на нас внимания.

Меня выбрали старостой камеры. Я взялась за это хлопотливое дело, чтобы скорее проходило время и было бы некогда думать. На мне лежала обязанность поддерживать порядок в камере (сейчас я не понимаю, как мне это удавалось при том конгломерате, какой составляли мои подопечные). Помню: пришла пора родить нашей беременной. Она сидела уже восемь месяцев. Дома у нее осталось пять человек детей. В этой тесноте мы по возможности оберегали ее. Утром она немного поохала, потом легла на спину, согнула ноги в коленях, натужилась. «Рожает! Рожает!» — закричали соседки. Я бросилась к двери и стала стучать кулаком. Никакого ответа. Ребенок выскочил на колени сидевших на полу женщин и запищал, суча тоненькими ручками и ножками. Женщина, принявшая его, перегрызла пуповину, сорвала с головы белый платок, зубами оторвала полоску от него и перевязала пупок. Вся камера поднялась и орала так, будто у всей сотни женщин, глядя на роженицу, открылись родовые схватки. Я схватила деревянную крышку с параша и бухала ею в дверь. Наконец явился дежурный, и роженицу с сыном увели в санчасть.

Я раздавала пищу и противочинготные средства: лук, чеснок, соевый и свекольный экстракты. Их давали раз в неделю, так как многие заключенные болели цингой. После поверки я укладывала женщин спать, буквально как селедки в бочку. Я заставляла всех повернуться на один бок и придвинуться плотнее друг к другу. Мне не оставалось места, и я уходила с рабочими на ночь мыть полы в тюремных коридорах. После работы нам разрешалось помыться в бане и постирать. Спала я два-три часа между завтраком и обедом.

Уже почти год я не видела газет и не имела связи с внешним миром. В канцелярии тюрьмы, где я мыла полы, я вынимала из корзин выбро-

шенные газеты, но это были местные малотиражки, не освещающие ход событий. Однажды в окно конторы я услышала радиопередачу, в которой кричали «ура». Должно быть, транслировался митинг, но громкоговоритель был далеко, и слов нельзя было разобрать.

Наша тюрьма была областной пересылкой. Каждую неделю приходили и уходили этапы из районных тюрем, и камера то освобождалась, то пополнялась вновь, а я все сидела. Все это был народ, давно сидевший в тюрьмах или мало интересовавшийся внешними событиями. Одна из уголовниц, недавно пришедшая с воли, сказала, что где-то на Дальнем Востоке идет война. Это меня встревожило.

Меня осудили заочно на десять лет тюремного заключения, а приговора не зачитали. Я думала, что приговорена к лагерю, и стремилась скорее попасть на место, чтобы написать письмо и получить известие от родных. В те годы переписку с родными из тюрем заключенным не разрешали, а я томилась неизвестностью о судьбе дочери.

После ухода одного из больших этапов нас осталось шестнадцать человек. Все обрадовались, что разместятся на кроватях и поспят вытянувшись и посвободнее. Только Сигулда ссорилась с соседкой:

— Я шесть месяцев лежала под кроватью, а теперь имею право спать на кровати, как я хочу! — кричала она.

— Перестаньте, — урезонивала я ее, — было сто человек, вам не было тесно, осталось шестнадцать, и стало тесно.

В это время зашуршал глазок, лязгнули замки и вошел корпусной дежурный. Все притихли.

— Что за шум? — спросил он. — Староста, кто шумит?

Я понимала, что он хочет узнать фамилию строптивой, чтобы наказать ее для примера и установить тишину в камере, которую из-за тесноты и условий пересылки (дескать, народ временный, завтра уйдет) не очень требовали. Знала, что, если ее посадят в карцер, я буду чувствовать себя виноватой и не смогу смотреть в глаза ей и остальным. «Зачем спрашивает? — с раздражением подумала я. — Ведь сам все видел и слышал».

— Мы не шумели, а разговаривали, — попробовала я сдипломатничать.

— Кто разговаривал?

— Я разговаривала! — дерзко ответила я.

— Трое суток карцера! — взбесился корпусной, не ожидавший от меня такого ответа.

— Пожалуйста. — Я хорошо знала расположение тюрьмы и сама, впереди его, отправилась в карцер.

Прогревели замки, и я осталась одна в каменном мешке без окна. В правом углу стояло не закрытое и не вынесенное последними

обитателями ведро и отравляло и без того спертый воздух. Я уселась на каменный пол, и мне стало так жаль себя, что я тихонько заплакала. Много месяцев я не спала и скоро уснула, свернувшись на полу, потому что вытянуться во весь рост было невозможно из-за тесноты.

Тишину скоро нарушил какой-то мужчина, которого протащили по коридору, а он рычал и матюкался, отбиваясь. Я слышала шум борьбы — должно быть, его вязали смирительной рубашкой.

Утром начальник тюрьмы обходил карцеры.

— А вас за что посадили? — обратился он ко мне.

— Ни за что, — ответила я.

— Ни за что у нас не сажают.

— А меня посадили.

— Ну и будете сидеть.

— Ну и буду сидеть, — упрямо ответила я.

Дверь захлопнулась. Через некоторое время меня выпустили. В камере одни встретили меня радостно и жалея, другие равнодушно. Сигулда промолчала, как будто все это ее не касалось. Боясь заболеть мизантропией, я отказалась быть старостой. Но теперь дни потянулись нестерпимо медленно, и я написала два заявления начальнику Курской тюрьмы, чтобы меня отправили на место назначения.

Осужденные на тюремное заключение, знавшие свой приговор и не писавшие заявлений об отправке, просидели все время в Курске, миновав Казань и Суздаль, попали прямо во Владимир, к этапу на Колыму. Этим они избежали многих неприятностей. Наконец меня назначили на этап, вероятно, для того, чтобы не отправлять меня одну спецконвоем, как это полагалось для таких «страшных врагов», как я, на моем сопроводительном пакете не указали, осужденная я или следственная. Об этом меня при каждой передаче этапа спрашивал конвой, а я этого не знала.

Довезли нас до Москвы. В Москве высадили и перестроировали. Меня одну отвели в вагон, стоявший на путях, где я просидела до вечера и страдала, глядя на стайку малолетних проституток. Они лезли к сидевшим здесь же мужчинам и кричали похабщину. Одна из них была до того хороша собой, что невозможно было оторвать глаз от ее личика, и, чем больше я на нее смотрела, тем тяжелее становилось на душе.

К вечеру меня посадили в какой-то поезд. В купе было очень тесно, и мне пришлось залезть наверх. Утром одна из пожилых женщин, сидевших внизу, рассказала, что ее осудили по заявлению соседа по квартире, члена партии, ответственного работника, пожелавшего обменяться с ней комнатами. Сперва он ей сулил деньги, потом чинил всякие неприятности и, наконец, оклеветал. Ей дали восемь лет

лагеря, а комнату забронировало НКВД. Сосед пришел к ней в тюрьму на свидание, принес передачу, плакал и просил простить его. Другая пенсионерка, ткачиха из города Маленков Ивановской области, проработавшая всю жизнь на фабрике, под старость лет занялась церковными делами и состояла в церковной двадцатке. Ее следователь, мальчишка, стучал по столу кулаком и кричал, что он упечет ее туда, где она будет то ж... гвозди дергать, то снег растаивать. «А я не выдержала, да и говорю: “Да что моя ж... то лучше всех, что ли?”» Мы посмеялись ее рассказу. Поезд остановился в Казани.

КАЗАНЬ

Я недоумевала: почему привезли в Казань? Меня и еще двоих вызвали из вагона и повели по улицам пешком, чему я была очень рада. Осеннее утро было ясно, солнечно, прохладно. Уже почти год я не видела городских улиц, не видела, как люди идут на работу, дети — в школу. Я никогда не была в Казани и с удовольствием рассматривала здания и улицы. За нами шли два конвоира; должно быть, хорошие ребята — они не придирались к нам, вели по панели, а не по мостовой — так, как будто они сами по себе, а мы сами по себе.

Наконец мы пришли в тюрьму. Дежурный запер нас, как обычно, в бокс. Меня одну в средний, а моих спутниц влево от меня. Спутницы мои меня не интересовали, так как я узнала, что они бытовички. Услышав, что справа от меня за тонкой перегородкой тоже кто-то есть, я спросила, кто он и откуда. Это оказался колхозник, он рассказал мне свое дело. У него была 58-я статья, пункт 8, что означает террор. Его обвинили в попытке покушения на Сталина. Я подумала: «О-о, важная птица!» Я спросила: «Где же вы видели Сталина?» — «Да я никогда не видел Сталина и даже не бывал в Москве». К этому «террористу» двое парней-хулиганов залезли на чердак и украли яблоки. Он узнал, кто украл (в деревне не утаишь), пошел в сельсовет и заявил. Тогда парни написали на него заявление в район, будто бы он грозился убить Сталина. Его забрали. В тюрьме он сидит уже девять месяцев, а сейчас его везут куда-то, а куда, он не знает. Мне очень хотелось посмотреть на него. Вдруг послышался топот ног, открылись соседние двери: «Выходи!» Потом вызвали меня, и мы столкнулись лицом к лицу с моим, так заинтересовавшим меня, соседом.

Это был человек на вид лет 40-45, ниже среднего роста, с бледным и заросшим колючей щетиной лицом, одетый в невероятно грязную и рваную одежду из домотканого холста, когда-то простеганного на льняных очесах, которые торчали и висели из многочисленных дыр.

От него исходил терпкий тюремный запах махорки, грязной одежды, в которой спят на полу не раздеваясь, смрад многочисленных прожарок, испарина грязного тела. Запах, к которому я за год привыкла, от него шел такой сильной струей, что даже мне перехватило дыхание. На голове у него была шапочка, а на ногах опорки неизвестно какого срока, с загнутыми носами. Мы кивнули друг другу и разошлись.

Между тем в тюремной канцелярии вскрыли мой пакет и отправили меня одну, с тем же конвоем, куда-то дальше. Все это меня даже занимало. И я не подозревала, что иду, чтобы быть заживо погребенной на десять лет. Наконец пришли в другую тюрьму. Она была посреди города и своим видом, пожалуй, не походила на тюрьму. Перед нами растворились ворота, мы вошли под свод и, повернув направо, оказались в дежурной. Женщина в форме взяла мой пакет, прочла, велела сдать вещи (у меня был небольшой узелок в платке, смена белья), переписала их на квитанцию и куда-то повела. Мы долго молчали по каким-то коридорам и наконец пришли в ванную. Торопливо помывшись, так как меня все время подгоняли, я вышла из ванны и получила казенное белье, платье и полотенце. Все было проштемпелевано крупными трехзначными цифрами, обозначавшими корпус, камеру и мой личный номер. Это было ново. Если мне память не изменяет, это был № 365, 3-й корпус, 6-я камера и мой 5-й номер. Белье было новое. Платье, состоявшее из темно-серой молескиновой юбки с коричневой полосой поперек у колен и такой же серой блузки с коричневыми полосами у ворота, манжет, посредине груди и на бедрах. Черные чулки без завязок, или, вернее, с пришитыми тесемками в палец длиной, так что они не могли держать чулок. Ботинки 45-го размера без шнурков. Громадный ватный бушлат тоже из серого молескина, на коричневой подкладке и с коричневой полосой на подоле, воротнике, манжетах и по бортам. Темно-серая туалъденоровая косынка, а для зимы невероятно уродливая, тоже молескиновая коричневая ватная шапка с ушами. Рукава бушлата свешивались до колен; ботинки стучали по полу, не держась на ногах; чулки спускались. Женщина повела меня в таком виде по коридору и все время торопила и шипела: «Тише... тише...» Мы вышли во двор и вошли в другой корпус, в полутемный коридор, усталый посредине во всю длину дорожкой. И вот передо мной, резко щелкнув замком, открылась дверь в полутемную камеру с каменным полом.

Прямо напротив двери было довольно большое окно с двумя рамами и железной решеткой из толстых прутьев между ними.

* Дешевая хлопчатобумажная ткань типа ситца.

За окном был приделан деревянный щит на высоту всего окна, сверху закрытый мелкой сеткой. В нижней правой части окна была маленькая форточка. Подоконника у окна не было. Стена была покато срезана почти к самому железному столу, приделанному к стене на кронштейнах. По сторонам стола были два одиночных железных сиденья, также на кронштейнах. Против стола железная скамья, на которой вплотную, очень тесно, могли усесться три человека. На правой стене камеры были приделаны на шарнирах четыре койки с сетками, поднятые стоймя, днем закрытые на замок. Под ними на стене черной краской были написаны цифры: 2, 3, 4, 5. К левой стене также была приделана койка в длину. В правом углу, ближе к двери, выступала печь, топившаяся из коридора; она обогревала две камеры. Около нее, в углу, стояло деревянное ведро с крышкой – параша. Посреди камеры была широкая красная, каменная же, полоса, похожая на линолеум. В правом переднем углу стояла непросыхающая лужа. Над дверью в толстой стене было сделано квадратное слуховое отверстие 40х40 сантиметров, заделанное мельчайшей черной сеткой. В этом отверстии висела двадцатипятисвечовая электролампа, вечером почти не дававшая света. В двери был неизбежный волчок, а под ним «кормушка» с дверцей, откидывавшейся с сухим треском, похожим на пистолетный выстрел, который постоянно будил и пугал нас по ночам.

Справа у стола сидела молодая, лет тридцати, женщина с повязкой на щеке, в таком же костюме, как и я. Мы познакомились. Это была Зина. Ее привезли из Москвы тем же поездом, что и меня, но со спецконвоем, и потому она приехала в тюрьму в «черном вороне».

Мы стали делиться впечатлениями. Разговаривали вполголоса. Каждую минуту с треском откидывалась форточка и шипели: «Тише!» Волчок все время мигал. Мы стали шептаться. Опять откинулась «кормушка»: «Тише!» Мы нарочно замолчали. Вошел дежурный, потребовал, чтобы мы встали, и опять зашипел: «Тише!» – и указал на правила внутреннего распорядка, висевшие в правом простенке у окна, подписанные Ежовым. В правилах было сказано, что мы должны говорить вполголоса и вставать перед начальствующим составом. Тем не менее каждые пятнадцать минут входили дежурные и требовали, чтобы мы вставали и вели себя тише. Мы договорились, и Зина попросила, чтобы нам вызвали корпусного. Пришел корпусной, и мы обратили его внимание на то, что дежурные заставляют нас вставать каждые пятнадцать минут, в то время как в правилах сказано лишь о начсоставе. После этого нас ненадолго оставили в покое.

Зина была беспартийной: как и я, сидела за мужа. Судила ее Военная коллегия, и она знала свой приговор: восемь лет тюремного

заклучения. Она была горьковчанка; в Горьковской тюрьме у нее заболел зуб, и тюремный врач, выдернув его, внес инфекцию. Началось воспаление надкостницы. В тяжелом состоянии ее увезли в Москву, в Бутырки. Там ей сделали операцию: пришлось вынуть все нижние зубы с правой стороны. Загноилась челюсть. Теперь у нее на челюсти около уха был свищ, через который шел гной и выходили секвестры челюстной кости. Впоследствии в Казани ей снова сделали операцию, и свищ закрылся, но лицо перекошилось.

Дома у нее остались двое детей — девочка семи лет и мальчик четырех лет, которых отдали в детдом и о которых она сильно тосковала. Зина была женщина малограмотная и несколько истеричная. Она рано осталась сиротой. Отец и мать умерли от тифа. Ее вырастили дядя с теткой, превратившие ее в домработницу. Она еле умела читать и писать. Рано вышла замуж. Замужество тоже не было счастливым. Жила она со свекровью, которая пила запоем. Сильнопил и муж. Он был инженером-металлургом, работал на горьковском заводе. В Москве ее долго держали в Бутырках в больничной камере, вместе с сумасшедшими. О них она так часто рассказывала, что мне они запомнились. Между прочим, среди этих осужденных больных, по ее рассказам, были две девушки, помешавшиеся на эротической почве. Они были влюблены в Сталина и считали себя его невестами. Они постоянно говорили о нем, какой он сильный, разбирали его внешность, рассказывали сны, в которых он неизменно участвовал; каждая ждала, что он придет за нею и возьмет ее себе в жены. Иногда они ревновали его друг к другу и тогда ссорились и даже дрались. До тюрьмы они друг друга не знали. Сталина они однажды видели издали, когда он проезжал по улице в машине. В 1937 году их странные речи, должно быть, показались кому-то не бредом сумасшедших, а контрреволюцией. На них донесли, и машина заработала. И вот их судили и держали в тюрьме, вместо того чтобы лечить в психиатрической больнице.

Весь режим Казанской тюрьмы был разработан до мельчайших подробностей с целью подавления личности. В коридоре на десять камер полагалось пять человек, специально только смотревших в волчок, и два коридорных. Мы должны были вставать по звонку в семь часов утра. Сразу одеться, заправить койки и стоять около них. Приходил дежурный, мы подымали койки и прижимали их к стене. Дежурный запирали на замок. Потом мы ждали своей очереди на оправку. С полотенцами, гуськом, заложив руки за спину, шли в полном молчании в уборную. По очереди несли парашу. На оправку давалось пять минут. Перед уборной стоял дежурный и выдавал каждой из нас по аккуратно вырезанному квадратному кусочку бумаги,

примерно 15х15 сантиметров. С этой бумагой постоянно происходили казусы. Должно быть, это был специальный номер, придуманный кем-нибудь, чтобы поразить, утратить, унижить. Вполне культурное мероприятие приводило к совершенно непредвиденным последствиям. В углу уборной стоял железный ящик. Использованные бумажки мы должны были бросать в этот ящик, но никто нас об этом не предупредил, и мы, естественно, бросили их в унитаз. То же самое, как мы потом узнали, сделали все вновь прибывшие. И со всеми случилось то же самое, что и с нами. Мы вернулись в камеру. Через минуту ворвался дежурный: «Где бумажки?» А мы уже и забыли про них. «Какие бумажки?» — «Которые вам дали». — «А мы их бросили». — «Как бросили?» И тут же являются дежурные женщины и начинается обыск, самый тщательный: во рту, в волосах, между пальцами и т. д. Это, конечно, сразу поражало. Ведь проще было бы предупредить человека. Но это не в интересах тюремщиков. Надо еще добавить, что счетом наших запачканных бумажек занимались взрослые, здоровые, молодые и пожилые люди в военной форме НКВД. После оправки каждой камеры в уборную входил дежурный с переносной киловаткой в руках и освещал стены, чтобы на них не было бы каких-нибудь знаков. А пока мы были в уборной, производился обыск в камере. Каждый раз просматривались книги, папиросы. В камере нам запрещалось подходить к стенам во избежание перестукивания. Физзарядка была тоже запрещена. После оправки приносили хлеб — пайки по 800 граммов — и чайник кипятку, покрашенного морковным чаем. Сахар нам выдавали раз в месяц по два куса на день, и мы хранили его в специальных мешочках с номерами. Обедали в два часа. Обед был почти без изменений: или жиденький горох с кусочками говяжьих легких, плавленными как пробки, или щи из сухих овощей, а на второе каша или чечевица. Вечером в шесть часов жиденькая каша и чай. Мне не хватало ни хлеба, ни сахара. Ложиться спать мы были обязаны в десять часов. Но перед этим проходила целая процедура. В половине десятого опускались койки. Мы должны были стоять у коек и ждать светового сигнала — разрешения постелить койку. По второму сигналу мы должны были снять верхнее платье и сесть на постели и только по третьему имели право лечь. Нам не разрешалось укрываться с головой. Лампочка к десяти часам разгоралась и горела всю ночь. Ночью спящих несколько раз будили треском форточки, потому что из волчка не были видны наши головы.

День тянулся томительно долго в серой полутьме, в безделье. Мы уставали шептаться. Зимний вечер был еще ужаснее. При слабом свете лампочки мы только что не натыкались друг на друга. Даже

ходить по камере мы не могли, так как наши громадные ботсы без шнурков громко стучали по каменному полу. Нам запрещалось открыть самим форточку, для этого мы должны были вызывать дежурного. В форточку вместе с воздухом врвался уличный шум, гудки машин, лай собак и голоса детей...

Днем нас выводили на получасовую прогулку по асфальтированному, обнесенному высоким фанерным забором дворику, где полагалось ходить по кругу, опустив голову и заложив руки за спину. Стоило одной из нас поднять голову — и всех уводили в камеру, не дав догулять. Чулки без завязок постоянно падали на прогулке, но мы не имели права остановиться, чтобы поднять чулок. Помимо того, что было уже холодно, мне казалось унижительным ходить с опущенным чулком. Я подняла его. Сразу всех завели в камеру. Нас было уже трое. Явился помощник начальника, спросил у каждой фамилию, узнав мою, с яростью сказал: «Не слушайте ее, она вас заведет. Я вам рога-то обломаю! Пять суток карцера!»

Карцером была маленькая, совсем без окна камера. Также с привинченным к стене столиком и табуреткой на одного и примкнутой к стене голой доской. Рядом за стеной была уборная, слышно было, как все время журчит вода. Бушлата и оправки в карцере не полагалось. В углу стояла параша. Давали 400 граммов хлеба и воду. Перед сном опускали доску. Она была совершенно мокрая от влажной стены. На ней заставляли лежать всю ночь и не позволяли вставать или сидеть. От этого платье сырело и тело была лихорадка беспрестанной мелкой дрожью. Уставали все мускулы, и невозможно было заснуть. Так я просидела пять суток. К концу их у меня отекали ноги.

У кого на счету были деньги, имели право выписывать газету. Раз в декаду нам давали книги. В камеру приносили каталог и бумажку, на которой мы выписывали номера книг. Библиотека была большая и составлена из реквизированных книг, это мы поняли из того, что на многих книгах были вырезаны из титульных листов углы, где обычно подписывают свою фамилию владельцы книг. Мы имели право раз в месяц, если были на счету деньги, купить в ларьке мыло, зубную щетку, тетрадь и карандаш-графитодержатель (другого почему-то не разрешалось), сахар и лук, купить по заказу учебник. Мыло приносили в камеру мелко изрезанное. Всего этого приходилось без конца требовать и добиваться. Дежурный корпусной на наши заявления о том, что мы не имеем газеты, неизменно отвечал: «Газет в продаже нет. Я сам не имею газет».

Два раза в месяц мы имели право написать письмо и два раза получить. Конечно, письма проверялись и часто приходили с больши-

ми купюрами. Письма, которых мы так страстно ждали, не радовали нас, потому что мы должны были их сдать на следующий день. Все с жадностью прочитывали их, и каждый реагировал по-своему. Таня тут же начинала плакать и говорить, что, конечно, дома все не так хорошо, как написано, просто ей не пишут, чтобы ее не беспокоить. Пелагея Яковлевна молча прочитывала и не делилась ни с кем. Только иногда вздыхала и, покачивая головой, говорила: «Да-а!» — отвечая каким-то своим мыслям. Только Зина просила меня прочесть письма руководительницы группы того детдома, где были ее дети. Она не была уверена, что прочла их правильно. Лена не получала писем, и, когда остальные их читали, она молча ходила взад и вперед по камере. Меня не радовали письма из дому. Моя мать не понимала, что я сижу невинно, и думала, что я совершила преступление, раз меня осудили на такой срок, и порицала меня за это. Ей, шестидесятилетней, было трудно воспитывать мою дочку, а ведь приходилось еще и работать. Дочке же, я это знала, было трудно с бабушкой, и я от этого страдала. Для меня дни получения писем были самыми тяжелыми, потому что мои родные писали редко и я оставалась без письма, когда другие получали.

Наконец жизнь наша наладилась и вошла в колею. Нам стали выдавать книги, Пелагея Яковлевна, одна из наших сокамерниц, имевшая деньги на счету, выписала газету «Правда». Добилась, чтобы купили учебник алгебры Киселева. Добилась разрешения купить мне и Зине за свой счет в ларьке карандаши и тетради. Она делилась с нами своими продуктами из ларька. Это был замечательный человек. Потомственная пролетарка, ивановская ткачиха и член партии с 1912 года, она была старше нас лет на десять. Мужа ее во время Гражданской войны белые сожгли на костре. Пелагея Яковлевна была на ответственной работе в текстильной промышленности и имела орден. У нее было двое взрослых детей, сын и дочь. Конечно, после ее ареста у них отобрали квартиру в Москве. Сын уехал в Воронеж, работал инженером и не писал ей. Дочь кончила десятилетку и уехала в рязанскую деревню учительницей. Пелагея Яковлевна переписывалась с дочерью. Я всегда с уважением вспоминаю эту мужественную женщину. Она учила нас не падать духом, не опускаться, не предаваться отчаянию и в любом положении быть человеком.

Нас было пятеро. Мы с Зиной беспартийные, остальные партийки. Была Таня, член партии с 1918 года, по образованию историк. Пятая, Лена, была моложе нас, член партии с 1928-го или с 1930 года. Обе они были с Украины.

Пелагея Яковлевна старалась нас организовать и подчинить нашу жизнь режиму. Она предложила мне заниматься вместе с ней алгеброй.

Я основательно все забыла и согласилась с удовольствием. Зина не знала даже четырех правил арифметики и не могла заниматься с нами. Арифметикой я занималась с ней вечером, когда в полутьме невозможно было ни читать, ни писать, а время тянулось нестерпимо медленно. Мы практиковались в устном счете, начиная с таблицы умножения. Это приносило пользу и мне — тренировало мозг. Я научилась складывать, вычитать и умножать в уме трехзначные числа. До обеда я была занята с Пелагеей Яковлевной алгеброй. После обеда с ней и Зиной занимались русским: писали диктовки, вспоминали правила. В три с половиной часа зимой делалось в камере темно, а лампочку зажигали только в шесть. У меня тогда еще было хорошее зрение, и я могла, сидя на скамье спиной к лампочке и держа книгу так, чтобы на нее падал свет, шепотом читать. Никто уже не мог читать, и потому все слушали. Пелагея Яковлевна, желая расшевелить Таню, которая не принимала участия в наших занятиях и часто плакала, предложила ей прочесть нам лекции по истории. Но, на мой взгляд, этот историк, по ее словам преподававший в педвузе, сама знала не больше моего, а потому ее лекции были неинтересны. Пятая наша сокамерница, Лена, была большая индивидуалистка. Она не хотела ни в чем участвовать, говорила, что наши занятия ее не интересуют, а наш шепот мешает ей читать. Они часто крепко ссорились с Пелагеей Яковлевной. Это были представительницы разных поколений, и каждая обвиняла поколение другой в том, что с ними случилось.

В этот год кончилась война в Испании. Много лучших людей из всех стран боролись с фашизмом и погибли. Проходил XVIII съезд партии, где Сталин, совершенно не стесняясь, заявил в своем докладе, что он приложил руку к уменьшению количества членов партии на 270 000 человек. И съезд, на который мои партийки возлагали большие надежды, что он во всем разберется и вернет их, рукоплескал Сталину. Перед съездом, судя по статьям «Правды», все низовые организации срочно переводили кандидатов в члены партии и принимали новых, чтобы пополнить ряды. Меня очень удивляло, что мои товарки, бывшие члены партии, не знали, что делалось в стране. Когда я рассказывала, какой голод был в Оренбурге в 1932–1933 годах, когда я была там в ссылке, они говорили, что это неправда, что я преувеличиваю, чтобы очернить нашу действительность. Когда я говорила о перегибах, допущенных во время коллективизации, они говорили, что я троцкистка, хотя эти перегибы уже были осуждены самим Сталиным в статье «Головокружение от успехов». Когда я рассказывала, как меня ни за что выслали и сколько горя принесла народу паспортизация в Ленинграде, они опять же говорили — это пра-

вильно, так и надо было поступать с такими, как я. Я думала: «Ну хорошо, Пелагея Яковлевна, живя в Москве, могла не знать о голоде в Оренбурге, Ташкенте и на Украине, но как Лена могла не знать этого? Ведь она была районным работником, инструктором политотдела. Разве не они сами десять лет участвовали в разжигании ненависти и недоверия в народе или одобряли это? Под видом повышения бдительности культивировали подозрительность и клевету и довели этот процесс до апогея, и он, наконец, поглотил их самих. Они считали, что со мной поступили правильно, потому что я критикую перегибы. Но то же самое, сделанное по отношению к ним, — ошибка, в которой разберутся, потому что они никогда ни в чем не сомневались и всегда все, что исходило сверху, поддерживали и проводили».

Они рассказывали, как в некоторых партийных организациях за год сменилось — были исключены из партии, арестованы и объявлены врагами народа — поочередно до семи секретарей. Они сами подымали руки за исключение первого секретаря, его место занимал второй, а через месяц-два исключали и второго, не без их же участия. Приезжал третий, и его ждала та же участь. А с ними председатели исполкомов и все их окружающие; и за это они опять подымали руки. А потом органы НКВД перестали спрашивать их согласия, зная, что они будут неизменно за, и просто арестовывали секретарей и их семьи в квартирах, на улице, где попало. Но теперь они считали это ошибкой, в которой разберутся. А некоторые, как Таня, говорили: «Так надо». Они рассказывали, что, когда их повезли из районных в областные и республиканские тюрьмы, они, встречаясь на этапах, шутили: едем на пленум обкома или ЦК. Да, эти люди в продолжение двух десятилетий ездили на пленумы обкомов и ЦК. Знали друг друга еще со времен Гражданской войны и подполья. Старшие давали младшим поручительства в партию. Младших зачастую сажали за то, что старые члены партии, вдруг оказавшиеся врагами народа, когда-то давали им характеристики. И когда их исключали из партии, никто из них не заступился друг за друга, а все промолчали или подняли руки за исключение. Это был какой-то всеобщий психоз. Многие из них заплатились за него жизнью, а мои соседки были объявлены врагами народа и отсидели по десять лет так же, как и я, грешная.

В «Правде» иногда печатались заметки о суде. Мы развлекались тем, что читали вслух изложение обстоятельств дела, а потом загадывали: какой приговор? Это было зимой 1938/39 года, и сроки против наших, вынесенных в 1937 году, были, как говорится, детские. Психоз начал спадать. В каждой газете, в корреспонденциях из-за границы с возмущением сообщалось, что в той или иной капиталистической

стране «только» за участие в демонстрациях протеста, за расклеивание листовок и за стачки коммунисты присуждались к тюремному заключению на шесть месяцев или к штрафу. Когда-то муж остерегал меня от аналогий, и действительно, аналогии были страшны. Мы не участвовали в стачках и демонстрациях, не расклеивали листовок...

Раз в неделю нас водили в баню. Конечно, и баня была с волчком, который беспрерывно шуршал. Под тремя душами мылись пять человек. На мытье давали пятнадцать минут. Я никогда не успевала как следует вымыться, и баня не доставляла мне удовольствия, но все же это было разнообразие. Однажды в предбаннике было довольно грязно, и мы надели чулки на грязные ноги. Придя в камеру, Таня решила сполоснуть ноги над парашей. Она сняла чулок и попросила Зину слить ей на ногу из кружки. Сейчас же шелкнула форточка, и взбешенный дежурный свистящим шепотом спросил: «Что вы делаете?» — «Мою ноги». — «В бане не могли помыть?» Форточка захлопнулась, мы были перепуганы. Через пять минут явился корпусной: «Что у вас тут случилось?» Таня объяснила. Он ушел. Через два дня Таню с кружкой и полотенцем вызвали из камеры. До самого вечера мы ждали ее и гадали. Наши партийки решили, что приехала комиссия и разбирает дело. Когда Таня не явилась и на другой день, то решили, что ее вызвали на переследствие и увезли в Москву или Винницу — по месту осуждения. Мы с Зиной, настроенные более скептически, говорили, что она сидит в карцере. Наш вариант отвергался с возмущением. Мы приводили в пользу его тот довод, что квитанция на ее вещи осталась в камере. На четвертый день к обеду открылась дверь и вошла наша Таня, дрожа мелкой дрожью, с перевязанным глазом, и заплакала. Она сказала, что, упав в обморок, она разбила глаз об угол доски, на которой спала. Мы с Зиной оказались правы. Ее вызвал начальник тюрьмы и прочел ей постановление из Москвы: трое суток карцера. На ее просьбы и оправдания он сказал, что не может изменить постановление Москвы.

Я пишу то, что слышала и видела, ничего не прибавляю. Оказывается, Москва занималась нашим поведением, разбирала такой криминал, как помытые в камере ноги над парашей, и определяла наказание, которого не мог отменить даже начальник тюрьмы.

Раз в месяц камеры обходил начальник. Это был уже пожилой человек, возможно старый чекист. Он разговаривал грубо и отрывисто и на какой-то наш вопрос ответил: «Снявши голову, по волосам не плачут». Он был службист и бурбон и вполне уверен, что мы опасные враги, раз к нам применен такой режим и на столько лет. Он ненавидел нас. Ведь для него мы были врагами его власти.

Однажды Пелагея Яковлевна, устав добиваться очередной просьбы, сказала нам: «Придет начальник, будем молчать». В тот же день начальник ходил по камерам, вошел и к нам. «Вопросы есть?» — отрывисто бросил он. Мы молчали. Он повел глазами по нашим угрюмым лицам, круто повернулся и вышел из камеры.

Наши дежурные, в сущности, сидели с нами вместе в тюрьме. Они так же молчали целыми сутками, шептались в коридоре, и оттуда раздавалось легкое побрякивание ключа о бляху ремня — это старший коридорный подзывал к себе кого-либо из подчиненных, чтобы прошептать ему распоряжение.

Скоро мы освоились с распорядком дня, и Зина, дольше нас просидевшая в тюрьме и более нервная, безошибочно определяла происходящее в коридоре, как будто смотрела сквозь стены: скоро ли обед, принесут ли газету или книги, дадут ли бумагу для писем или письма из дому. Дежурные называли нас не по фамилиям, а по номерам.

В нашей тишине особенно обострялся слух. Иногда мы слышали движение в коридоре и знали, что привели новеньких и сколько. Слышали, как «камеры» ходили на прогулку и на оправку, — наша камера была средняя. Раза два мы слышали приглушенный крик и шум борьбы. Кого-то тащили по коридору. Кого-то вели, и мы слышали рыдания, и, должно быть, кому-то затыкали рот.

По вечерам, когда мы ложились спать — в соседней камере со стороны Зининой продольной по стене койки, должно быть, была такая же койка, — в тишине был слышен скрип и осторожное постукивание. Зина пыталась отвечать, но мы шипели на нее. Зачем? Мы не собирались бежать или создавать подпольную организацию, а перестукивание ради перестукивания могло привести к наказанию, лишению прогулки, книг или, что всего хуже, переписки.

Мои товарки очень удивлялись, что я не знаю своего срока. Они говорили, что я, наверно, попала сюда по ошибке, советовали, чтобы я пошла к начальнику и узнала бы свой приговор. Я написала заявление. Начальник принял меня в кабинете. Надо было видеть, с каким удовольствием и чувством он прочел: 58-я статья, пункт 10, десять лет тюремного заключения! И странно, меня это даже не взволновало. Просто рассмешило его ударение. Было ли это мужеством или отупением? Надо признаться, что я очень редко плакала.

Наши писали заявления о пересмотре дела и просили заменить им тюремное заключение лагерем. Клялись, что они своим трудом заслужат, и т. д. Мне не хотелось в лагерь. Я не знала, что я должна там заслуживать или доказывать. И хоть письма из дому шли редко,

но книги – вот что меня со многим мирило. Ведь на воле я не смогла учиться, а читала только по ночам да в трамвае и у примуса. Я страстно добивалась причин всего случившегося с нами. Я думала: ну я, человек непролетарского происхождения, в свое время несправедливо обиженный, на каком-то этапе могу быть или казаться социально опасной. Но Пелагея Яковлевна, посвятившая революции свою жизнь, отнюдь не сомневавшаяся ни в чем и всегда поддерживавшая и проводившая политику партии, как она оказалась здесь? Что произошло в стране? Почему на 20-м году Советской власти ее основа, люди труда, и к тому же ни в чем не повинные, ввергнуты в такую бездну? Ведь даже произвол является отражением происходящих в стране процессов, и носители его не могут действовать долго и безнаказанно в таких масштабах, если их не поддерживает какая-то сила. Так что же это за сила? Люди были растеряны и ничего не знали. Книжки тоже не могли ответить мне на этот вопрос.

Скоро я поняла, что заниматься систематически здесь невозможно: книги давались на десять дней, выписанные не всегда появлялись в нужный момент, так как были на руках. Делать выписки из книг тоже было бессмысленно – новая тетрадь давалась взамен старой. Оставалась только память. Но на память можно было выучить стихи, а текст невозможно – каждую попавшую в камеру книгу старались прочесть все, не хватало времени для запоминания текста. Я написала заявление о снижении мне срока на пять лет, так как я беспартийная и не могла участвовать в троцкистской организации, а была только женой Гранкина, умершего за девять месяцев до моего ареста. Я указала на статью Сталина осенью 1936 года. В ней он писал, что есть разные троцкисты, и что это надо различать, и что есть люди, прошедшие только по одной дорожке с троцкистом.

Однажды мы пришли в камеры с оправки и заметили, что подпись Ежова на правилах внутреннего распорядка заклеена и на наклейке написано «Вайнберг». А через месяц подпись изменилась на «Берия». Мои партийки шептались, строили догадки и предположения и ожидали улучшений. На этот раз они оказались правы.

Вдруг вне очереди отобрали книги. Через полчаса нам велели взять с собой квитанции, кружки и полотенца и идти. Куда? Это нас не должно интересовать, так обычно отвечали нам. Мы и боялись, и радовались. Нас посадили в «черный ворон» и повезли. На вокзале нас погрузили в «столыпинский» вагон, смешав все камеры. Мы были страшно рады. Все это было так неожиданно. И все прошедшее казалось наваждением. И хоть мы боялись неизвестности, но хотелось верить, что будет лучше. И совершенно непонятно, для чего было нас

так тщательно прятать друг от друга, заставляя годами шептаться, чтобы потом смешать всех вместе.

Мне посчастливилось: я просидела в этих условиях с 25 октября 1938 года, а вывезли нас из Казани, должно быть, в апреле 1939 года. Следовательно, немного больше пяти месяцев. А в Ярославке многие просидели по три года. Казанская тюрьма была новая, специально для нас построенная.

Наши дежурные поехали с нами. Конечно, совершенная тайна, куда нас везут. Наконец прибыли куда-то. Встали где-то на путях далеко от города. Против железнодорожных путей были домики городской окраины, и мы видели, как женщины, глядя на нас из окон, вытирали слезы. Дежурные торопили. Нас посадили в грузовые машины, покрыли, как скот, брезентом и куда-то повезли.

СУЗДАЛЬ

Старый политизолятор, где, по слухам, сидели Каплан, Зиновьев и другие.

Раскрылись ворота и закрылись. Нас выгрузили и ввели в общее помещение. Мы знакомились, делились впечатлениями, догадками. Кое-кто встречал знакомых по воле и по Бутыркам. Узнавали судьбу друзей, родных. Ужасались, как мы изменились. Было много посевших в тридцать пять лет. Шла церемония сдачи и приема. Потом нас стали вызывать по алфавиту в какую-то пустую камеру. Посреди, против волчка, стоял стол. Вызвали пятнадцать человек. Вошел дежурный и объявил, что всякая попытка к сопротивлению повлечет кару, вплоть до расстрела. Мы не понимали, чему сопротивляться. Дежурный вышел. Вошли две женщины в форме, и начался обыск. Искали в волосах, во рту, между пальцами. Нам велели одеться, эти женщины ушли, вошли две другие. У одной на пальце был надет резиновый палец, другая держала стакан с какой-то жидкостью. Одна из женщин сказала: «Снимайте панталоны и ложитесь». Мы в ужасе, как овцы, жались в угол и молчали, прячась друг за друга. Наконец выступила молодая девушка, австрийка. Она тряхнула головой и сказала: «А! Не страшно!» — и легла на стол против волчка. Волчок все время шуршал. Это был гинекологический обыск. И это нам пришлось испытать. Все мы были привезены из тюрем с таким свирепым режимом, что ничего запретного у нас не могло быть, такой обыск был просто дикостью.

В остальном в Суздале режим и обстановка были гораздо легче. Гуляли мы не в огороженных двориках, а просто в саду, по дорожкам,

выложенным плитами. Идти в баню нужно было далеко, мимо чудесного цветущего вишневого сада. Камеры были светлыми, с деревянными крашеными полами. Спали мы на топчанах, на матрасах, набитых сеном. Разрешалось лежать и днем. У окон были козырьки, но не такие высокие, и сверху не было сеток, так что были видны высокие деревья сада. Форточка, из-за которой в Казани мы все время вели глухую борьбу, здесь была открыта день и ночь. Питание было лучше и разнообразнее. Правда, вода была ужасная – мутная, густая и невкусная. Бумажки нам тоже выдавались, нарезанные из ленинских сборников и всякой литературы. Но никто не считал их. После первой оправки мы в недоумении стояли в уборной с грязными бумажками в руках, не зная, куда их деть, и обсуждали вопрос: можно ли спросить у дежурной, куда их бросить, и как бы чего не вышло. А ведь я, приехав в Казань, считала недостойным гулять с опущенным чулком. Укатали сивку крутые горки! Дежурная, не дождавшись нас, открыла дверь. Мы спросили. Она в недоумении ответила: «Как куда? Бросить в унитаз». Мы облегченно вздохнули. После мы слышали шепот в коридоре и взрывы приглушенного смеха. Это дежурные потешались над нами, так как со всеми камерами произошло то же самое.

Состав нашей камеры изменился. Не было Тани. Куда она делась – неизвестно. На Колыму она не попала. Вместо нее к нам пришла Мария, член партии с 1920 года, хорошая, собранная и спокойная женщина. Она сидела за безграничную веру в человека. Он был старый большевик. Он дал ей рекомендацию в партию. Она знала его много лет. Он был директором института, она районным секретарем партии. Когда началась кампания против него, она поддерживала его. Его исключили из партии, и все отшатнулись от него. Она настаивала, чтобы он апеллировал, боролся за себя, твердила ему: это ошибка, недоразумение. Он признался ей, что был когда-то в оппозиции, что поэтому не хочет встречаться с ней, чтобы не компрометировать ее. Он предчувствовал, что его арестуют. Она говорила: «Ерунда, не может быть, ведь не за что», и он поклялся ей, что не за что. Его посадили. Через месяц посадили ее. На очной ставке она бросилась к нему и воскликнула: «Скажи им, что это неправда!» Он ответил: «Но ты ведь знаешь, что я завербовал тебя в троцкистскую организацию».

В Суздале атмосфера в камере разрядилась, потому что условия были лучше. Здесь мы могли не сидеть так тесно за столом, как в Казани. Лена могла читать лежа. В сущности, Лена была не плохим, но жалким человеком. Просто в тюрьме, так же как на корабле, когда он долго плавает, не заходя в порт, в тесном и постоянно вынужденном общении всё одних и тех же людей разных возрастов и культурного

уровня, даже небольшие человеческие недостатки и слабости вырастают в невыносимые для окружающих. На корабле люди должны трудиться, чтобы держаться на воде и продвигаться к цели. Мы же были отданы во власть злого безделья. В Казани мы не могли даже читать целый день, потому что с трех часов уже было темно; не могли прилечь днем, так как койки были примкнуты к стене.

Лена редко рассказывала о себе, о своей семье. Писем она не получала, а это в камере, где остальные получают, ужасно. Однажды она рассказала, как плакала дочка, когда она уходила на работу. Дочка умерла лет пяти-семи.

Учебник алгебры мы проштудировали с Пелагеей Яковлевной еще в Казани. Надо было поставить себе другую цель. Мария предложила мне заняться рассказыванием. Она взялась рассказывать «Дом кошки, играющей в мяч», я увлеклась «Фаустом».

Тут необязательно было шептаться, но мы уже так привыкли к этому. Я, к сожалению, плохо стала себя чувствовать, так как с переездом прекратилась переписка и я заболела бессонницей.

Пришла весна, ночи почти не стало, а в сад прилетели бесчисленные грачи и орали с рассвета до заката. Должно быть, в июне нас опять посадили в машины и, покрытых брезентом, повезли во Владимир.

На следующий день была медкомиссия, где врач не осматривал, а спрашивал: «На что вы жалуетесь?» — и пропускал. Потом нас, опять покрытых брезентом, доставили на железную дорогу и посадили в теплушки по семьдесят человек в каждую. Мы ликовали, смеялись, пели, плясали, читали стихи. Все говорили повышенно громко и спрашивали друг у друга: куда нас везут? Лена взялась гадать по линиям рук. Посмотрев на мою ладонь, она сказала: «Какая ужасная судьба у этой женщины, ее только о печку не били». Я поразила ее прозорливости.

Двери вагона были закрыты на замок, а в окна выглядывать запрещалось: в вагоне были трехъярусные нары и было довольно тесно; мы не знали своей дальнейшей судьбы, но были счастливы.

ЭТАП

Многие встретили своих знакомых по Москве, по Бутыркам. Перебирали общих знакомых, узнавали судьбу родных. Я тоже встретила свою землячку-ленинградку, однокамерницу по Шпалерке Полину. Полина была младше меня года на три-четыре. Потомственная пролетарка, отец и мать всю жизнь прожили и проработали на Пороховых. В 1918 году она осталась сиротой с двумя младшими, сестрой и братом. Отец и мать умерли от тифа. Девочка училась и воспитывала

младших. Потом определила их в детский дом. Потом сама стала работать, вступила в комсомол. В 1927 году она бывала на открытых партийных собраниях, как и все. Голосовать она не имела права, так как не была еще членом партии. К 1936 году она была секретарем партячейки в своем цеху. Вышла замуж за своего же рабочего, который учился в институте самолетостроения и стал инженером. Только жизнь наладилась, как вдруг арест. Полину знали все на заводе, так же как и она всех. На этом построили следствие. «Знаете ли вы такого-то?» — «Знаю». — «А знаете, что он враг народа?» — «Нет, не знаю, знаю, что он арестован». — «А кого вы еще знаете?» И так далее... «А почему вы знаете всех врагов народа?» — «Да потому, что они работали на заводе...» Она подписала все протоколы следствия, как и многие. И была осуждена на пять лет и отправлена на Соловки. Сначала там был лагерь, потом лагерники сами себе построили тюрьму и сели в нее. Теперь все политические тюрьмы ликвидировались и всех политзаключенных свозили на Колыму. В 1941 году в июле у Полины кончился срок, но началась война, и она просидела до 1946 года, то есть десять лет вместо пяти. Мужа ее с матерью и шестилетним сыном сослали в Красноярский край. Там он жил в лесу и работал лесорубом, так как жить в городе и работать по специальности ему не разрешали. Мать его умерла в ссылке. Такова была судьба Полины. Впрочем, такова была судьба многих, ведь 50 процентов женщин нашего этапа были бывшие члены партии и много выдвигенков...

Вскоре прибыли в Ярославль. Здесь к нашему эшелону прицепили еще четыре вагона женщин из Ярославской тюрьмы.

Путь до Владивостока в нормальных условиях труден: устаешь за десять дней, а мы тащились месяц. Часто без воды в июльскую жару, почти без горячей пищи, в закрытых вагонах. У нас в вагоне была больная диабетом, невыносимо страдавшая от жажды. Она умерла во Владивостоке.

У нас не было ни постелей, ни вещей. Мы спали прямо на голых нарах, подстелив себе бушлат и укрывшись им. Целыми днями, если поезд шел, мы сидели в одном белье, задыхаясь от жары. Ночью, если поезд стоял, мы просыпались от стука в стены и беготни по крышам — это конвой проверял целостность вагонов.

Мы развлекались как могли. Наша поэтесса Наташа сочинила поэму о нашем этапе, в которой были такие строки: «Постирать, вымыть руки и ноги ухитрились мы кружкой одной». Певица, меццо, пела нам романсы и арии из опер. Кое-кто рассказывал. Елена Михайловна* читала бесконечные стихи, так утомлявшие и раздражав-

* Тагер Елена Михайловна (1895–1977). — Прим. сост.

шие меня. Мне казалось, что передавать чужие мысли и чувства, хотя бы и красиво изложенные, сейчас не время. Я мучительно искала ответа на свои вопросы и оправдания всему происходившему с нами, а они старались уйти от этих вопросов в бездумье, в музыку стихов Блока, Ахматовой, Гумилева. Женя* читала наизусть целые поэмы Пушкина, «Русских женщин» Некрасова.

В Свердловске нас высадили и повели в баню, где мы продефилировали в чем мать родила между двумя шеренгами молодых парней — нашего конвоя. Кое у кого из нас сыновья были им ровесники. В Иркутске опять была баня, но то ли конвой сменился, то ли зрелище оказалось неинтересным, конвой остался за дверьми.

Мы всё ехали и ехали. Мелькали леса и поля, мосты и речки, тоннели и станции. Байкал проезжали ночью. Никто не спал в вагоне. Всем хотелось посмотреть на легендарное озеро-море. И вот сквозь решетки наших окошек и ветки деревьев за ними мы увидели лунные дорожки на темной воде.

Начался БАМ — строящаяся заключенными Байкало-Амурская магистраль. Проходили мимо бараки, окруженные колючей проволокой. Вышки с прожекторами и часовыми. Кругом были лес и трава, а на этих площадках все выбито — ни травинки, ни деревца. Иногда мы видели людей, работавших под конвоем, в накомарниках. Мы не понимали, что это такое. Соловчанки говорили — лагеря. Мы вглядывались через наши зарешеченные окошки и думали: неужели и нас ждет такая же неприкаянность на целых десять лет?

Чем дальше мы ехали, тем больше охватывала меня тоска и безнадежность. Я не умела, разучилась плакать, и потому так невыносимо ныло сердце. Однажды ночью, когда товарищи спали, а я мучилась бессонницей, я села на нарах и под стук колес, стараясь никого не разбудить, чтобы никто не видел моей слабости, уткнув голову в колени, завывала. Я была совершенно уверена, что не выдержу, что еду умирать.

Проехали Нерчинск. Это сюда, не узницами, а героинями, больше сотни лет назад приехали они к своим мужьям, в возках, по зимнему тракту, напутствуемые восторженным одобрением лучших людей своего поколения и доброй памятью последующих. Эту дорогу проторили тысячи ног борцов за счастье народа. Какая ужасная судьба ехать по той же дороге врагами народа, не чувствуя за собой вины. Узнают ли нашу муку будущие поколения?

Волочаевка. Мы принимаем к окошкам. Всем хочется взглянуть на эти воспетые песней места. В вагоне есть участница событий. Она

* Гинзбург Евгения Семеновна (1902–1977). — Прим. сост.

рассказывает нам о них и даже пытается показать сопки, где в февральских снегах погибло много героев. Но мало что видно через наши решетки. Мы знаем, что кое-кто из победителей, оставшихся тогда в живых, теперь проехали или проедут тем же путем и в таких же вагонах, как мы.

Проехали Хабаровск, и стало ясно, что нас везут во Владивосток. Во Владивосток мы прибыли к вечеру. Простояли на станции, потом передача конвою, перекличка, построение, счет и наконец, поздно вечером, в темноте, двинулись куда-то, окруженные конвоем. Ночь просидели в каком-то помещении. Наконец, уже днем, прибыли в зону Владивостокского лагеря-пересылки.

И на Тихом океане
свой окончили поход.

Конечно, баня и, конечно, медосмотр. Блатари, пристроившиеся в парикмахерской в бане, обрадовались, что им предстоит удовольствие брить лобки, но развлечение не состоялось. Среди нас нашлись свои парикмахеры, и мы договорились с начальством, что процедуру эту мы произведем своими силами. Врачебная комиссия назначила мне вторую группу труда по диагнозу: миокардит. Сейчас я плохо помню Владивосток. Меня поразили тысячи людей со всей страны, проходившие здесь, то прибывая, то убывая, как морские волны. Наш этап был предпоследним большим женским этапом до войны. Приехали мы все вместе, имевшие в приговоре тюремное заключение — «тюрзаки», а уехали в три партии. Заболевшие пеллагрой отстали, а несколько человек-хроников остались там навсегда. Последний большой этап были «жены», перевезенные на Колыму из Мариинских лагерей и направленные прямо в Магаданский промкомбинат. Они там и жили, и мы с ними почти не встречались. После них до 1944 года, когда были привезены «указницы», больших женских этапов не было, кроме отдельных штрафниц.

Лагерь произвел на меня тяжелое впечатление; мне все думалось: неужели вот за это боролись наши мужья и братья на фронтах Гражданской войны?

Помню сильную жару днем, яркие закаты солнца и довольно холодные ночи. Бараки с двойными и тройными нарами, зараженные несметным количеством клопов. Их было так много, что спать в бараке было невозможно даже днем, и мы ложились на дворе, прямо на земле, парами, чтобы можно было один бушлат подстелить, а другим укрыться. Но и здесь заснуть было трудно: то ели комары, то накрапывал дождь. Почти до часу ночи громко и вдохновенно

митинговал больной в больничной зоне. Услышав его первый раз, я подумала, что работает радио, но, прислушавшись, поняла по бессвязности речей, состоявших из набора митинговых фраз времен Гражданской войны, что это помешанный. Впрочем, скоро его не стало слышно. Половина этапа была больна цингой и еле двигала опухшими, блестящими ногами в синих пятнах. Весь этап, за исключением двух-трех человек, заболел куриной слепотой. Поэтому старались постелиться засветло. Приближение сумерек вселяло в душу безотчетный страх. Двое или трое зрячих водили целые вереницы слепых, как только наступали сумерки. Наши врачи, их было человек десять, пошли к лагерному начальству, и из лагерной больницы выдали бутылку рыбьего жира. После двух-трех ложек слепота прошла. Питание было: ржаные галушки с селедкой. Очень много селедки иваси, на которую мы с жадностью набросились, так как не видели ее три года. Вскоре выявились заболевания пеллагрой, самых тяжелых больных взяли в больницу, а для остальных выделили барак, ухаживали свои врачи и сестры. Наша зона была огорожена забором. Вокруг были мужчины, и многие нашли своих знакомых и даже мужей. Наш вид, истощенный и бледный, и отсутствие у нас вещей поразили даже уголовников, и когда мы появились в лагере, то многие плакали, а мужчины бросали нам через зону майки и трусы, и кое-кто из женщин переоделись. Тут впервые я услышала лозунг: «Спасайся, кто как может». Пришли мы все в одинаковой тюремной одежде, с кружкой и полотенцем в руках. Через день-два некоторые переоделись и даже заимели узелок, а из лагеря впоследствии вывезли чемоданы с вещами. Но были и такие, которые проходили до конца срока и вышли из лагеря в казенном.

Кстати, о вещах: многие приехали в тюрьму с набитыми чемоданами. Ведь ехали на десять лет. Никто не знал, в какие условия попадет. Были и обеспеченные люди. Вещи наши начали расхищаться еще в тюрьме и понемногу таяли, прилипая к рукам то одного, то другого конвоя. Кое-кто из нас получил их во Владивостоке, кое-кому их отдали в Магадане. Потом они лежали кучей, покрытые брезентом, прямо на улице, никем не охраняемые, и в конце концов были розданы кому попало, так что случалось опознать свои вещи на других. В продолжение всех десяти лет вопрос «Где наши вещи?» задавался каждому новому лицу, появившемуся в бараке и показавшемуся нам начальством. Сначала нам нагло отвечали: «Зачем вам вещи? Получите после освобождения». В смысле — сначала выживите десять лет. После реабилитации кое-кто из подавших заявления получил деньги за вещи.

Вскоре меня послали на работу в амбулаторию. Лагерное начальство было возмущено тем, что я вышла в тюремном одеянии, и меня загнали в зону, сказав, что я демонстрирую. Я ответила, что у меня нет другого. Они не понимали, — почему у других есть? Но все же через несколько дней послали меня опять...

В амбулатории работал санитаром молодой русский парень, забывший русский язык. Вся его речь состояла из производных от трех существительных, которые пишут на заборе такие, как он, впоследствии я встречала много таких, как он, но этот был мне в диковинку и потому запомнился. И еще, работая в больнице санитаркой, я увидела впервые покойника. Он лежал в коридоре на носилках. Лицо его было закрыто простыней. Он был очень длинный, и ноги его высунулись из-под простыни. Я увидела на щиколотке деревянную бирку с номером и подумала: так же похоронили и мужа. Недели две я там работала, пока не заболела дизентерией.

Уже из Владивостока кое-кого вызвали на переследствие, а кое-кому пришла реабилитация. Так, реабилитировали одну из нашего вагона, секретаря колхозной партячейки Калининской области. Однажды нас послали перетаскивать какие-то бревна. С нами вместе работали несколько мужчин, ехавших с Колымы на материк на пересмотр дел... Мы с жадностью расспрашивали мужчин, как там, на Колыме. Они рассказывали неохотно. Я знала, что работать везде придется, но меня интересовало, дадут ли нам постель. Я устала ежиться под бушлатом и спать не раздеваясь, без подушки: ночи стали уже холодные. Меня успокоили, что дадут. Первый этап собрался, а у меня была температура сорок градусов, и я его не помню. Уехали 70 процентов наших людей. Остались больные и врачи. Стало тихо и уныло. Дней через десять опять стал собираться этап, а у меня опять температура. Тут я не выдержала и стала просить врача, чтобы меня включили в список. Врач неохотно включила, и вот 25 августа после обеда мы отправились. Нас было всего семьдесят человек. Остальные — уголовники. К вечеру нас посадили на пароход «Джурма». В трюме были трехъярусные сплошные нары. В ту же ночь начала рожать женщина, и мы были разбужены ее криками и стонами. Врач Елена Александровна Костюк вызвала медпомощь, и ее унесли в медпункт. Пароход вез очень много людей и кондитерских изделий: конфет, шоколада, печенья. Уголовники, выпущенные на палубу для obsługi, взломали замок и обокрали один из трюмов. Кто-то им помешал, и они, чтобы скрыть следы, подожгли помещение. Деревянные крашенные перегородки начали гореть. Рядом был мужской трюм. Мужчины, задыха-

ясь от дыма, полезли из трюма, конвой стал стрелять. В трюм были опущены простые, грубо сколоченные лестницы. Они не выдержали тяжести тел и сломались. Явился капитан, отстранил конвой и велел вытаскивать людей веревкой. В панике многих потоптали. Бросились тушить пожар, заливали водой из брандспойтов, и наконец в трюм, где еще были мужчины, пустили сжатый пар. В это время двое из уголовников прокрались в наш трюм и нашли себе подружек, угостили их шоколадом и получили желаемое. Один из них рассказал своей подружке происшествие. За нашим трюмом установили особое наблюдение, так как под ним были цистерны с бензином. Нас вывели на палубу. Девка одела своего хахалю в платье, а он оставил ей свой пиджак. Тем не менее конвой вывел его из наших рядов. Вернувшись в трюм, она поделилась со своей подружкой тем, что он рассказал ей. Тут поднялся дикий крик и шум. Все кричали, что ее надо убить, потому что она с врагом народа продала нас за шоколад, что она хотела, чтобы нас всех утопили, что она вредительница и, конечно, троцкистка. Это было всего удобнее и привычнее. На нее набросились и чуть не разорвали те же подружки, которые час назад покровительствовали происходившему и ели шоколад. Конвойный опустил в трюм дуло винтовки и сказал, что будет стрелять. Тогда вышла на середину Зинаида Павловна и крикнула конвоиру: «Стреляйте троцкистов!» Наконец конвой забрал бесшабашную любовницу и увел в изолятор. Там она и доехала. В Магадане ее, преступников и конвой (за нераспорядительность) судили. Она получила второй срок — десять лет — за соучастие.

Должно быть, положение парохода было тяжелое, потому что встретившийся нам пароход «Феликс Дзержинский», шедший во Владивосток, вернулся и конвоировал нас. Нас еще раз выводили на палубу, и мы видели, что вольным раздали пробковые пояса. Нас спасать никто не собирался. Море, к счастью, было спокойно, и тридцатого мы причалили к берегу в бухте Веселая, вблизи Магадана. Конвой сразу же сняли и арестовали, так как капитан отказался подписать акт о том, что они стреляли при попытке к бегству. Говорили, что потоптали в панике и сварили сжатым паром сто двадцать человек. наших женщин вызвали сшить мешки, в которых их побросали в море.

ВЕРОНИКА ЗНАМЕНСКАЯ



Давным-давно, в начале двадцатых годов двадцатого века, девочка Вероника Знаменская жила в Москве в Малом Знаменском переулке и училась в школе, находившейся на Знаменке. Мы с ней были в одном классе. Тогда это называлось не классом, а группой, и все было иначе, чем теперь. Еще был жив Ленин. Школа помещалась в старинном господском доме, наискосок от Народного комиссариата по военным и морским делам (теперь Министерство обороны СССР). Иногда мы видели, как туда приезжал на автомобиле народный комиссар Троцкий. Однажды мальчики на школьном дворе играли в футбол, и мяч, перескочив через забор, попал прямо в открытый автомобиль наркома. Нам сделали внушение играть осторожнее.

Девочке Веронике было тринадцать лет. Нас связывала детская дружба, первая любовь. Я часто провожал ее из школы до большого серого дома в стиле модерн. Потом стал бывать в этом доме. Брата Вероники я знал по школе, он был старше нас. Помню его, высокого, немного заикающегося. Он славился как один из лучших бегунов школы. С остальными членами семьи познакомился, когда приходил в большую, недавно барскую квартиру, которую реквизируют и дали семье Знаменских после того, как ее покинули прежние обитатели.

Родители Вероники показались мне необычными. Константин Знаменский носил длинные волосы, вместо галстука у него было красиво повязанный черный бант; он выглядел художником. А на самом деле был обыкновенным служащим.

Необыкновенной красотой отличалась мать, Эсфирь Григорьевна. Высокая, статная, она мне всегда казалась царственной. Овальное лицо обрамляли черные волосы с двумя кудельками по бокам, как у пушкинской Татьяны, запомнимшейся мне по какой-то иллюстрации.

Но еще более романтической выглядела тонкая, хрупкая Дина. В ней чудилась неуловимая прелесть и, как мне казалось, что-то таинственное.

И сама Вероника – высокая, ладная, полная энергии, прошедшая через все бури эпохи с несокрушимой жизненной силой. Надо, чтобы написанная ею книга о своей жизни дошла до читателей. Здесь только отрывки, а она создала непридуманный роман о судьбе женщины от двадцатых до восьмидесятых годов нашего столетия, книгу большой человеческой правды.

Возвращаюсь на Знаменку. Детская любовь проходит быстро. Но осталась дружба, сохранившаяся и после того, как мы закончили семилетку. Жизнь мотала нас обоих, каждого по-своему, но одно было общее, как у многих из нашего поколения. Моего отца расстреляли, мать прошла через семь лагерных лет, я годами носил клеймо сына врагов народа. Оба мы выжили случайно. Теперь мы древние люди железного, кровавого века. Но не о нас речь.

Дойдет ли до следующих поколений боль, страдания, муки тех, чьи жизни были насильственно оборваны? Им не дали осуществить своего человеческого назначения, отняли все – родных, друзей, любовь. Они погибли безвестно, думали, что не останется и следа их существования. Ведь не осталось даже могил, куда кучами сваливали их трупы...

Надо помнить о них. Святой долг живущих – чтить память ушедших, не только славных, но и тех безымянных, кто, как и мы, мог бы чувствовать, думать, страдать, иногда радоваться – словом, жить обыкновенной человеческой жизнью, которой их безвременно лишили.

Александр Аникст

ДОДНЕСЬ ТЯГОТЕЕТ...

...Мою сестру Дину арестовали в 1936 году. Ордер был подписан нашим дядей Геной*. Но арестовали ее не в Москве, а в Сальске, куда она только что уехала вслед за своим мужем Владимиром Георгиевичем Голенко. Он окончил Институт красной профессуры, был генетиком, биологом. В этом качестве его и послали в Сальск – проводить там работы по селекции лошадей.

* Генрих Григорьевич Ягода (1891–1938). – *Прим. сост.*

Перед отъездом, собирая свой чемоданчик, Дина сказала мне:

– У меня такое чувство, что я сюда больше не вернусь.

На перроне она повторила:

– Мама, у меня предчувствие, что мы больше не увидимся.

– Не говори глупости, – резко сказала мама.

Но Дина была права: мы больше не увиделись...

С ордером на ее арест пришли к нам после ее отъезда дня через три. Они провели у нас всю ночь, до шести часов утра, пока из Сальска им не сообщили, что Дина взята.

Их было четверо – трое мужчин и одна женщина. Всю ночь они производили обыск в комнатах Дины и Голенко, в нашей с моим мужем, Владимиром Германовичем Корицким, в столовой и в общей комнате. В столовой искать было нечего, там стояли стол, стулья и пианино. Времени у них было много, а вещей мало: у Голенко с Диной – собрание сочинений Ленина, специальная литература по генетике, старые записи лекций, учебники немецкого языка, который изучала Дина, а у нас с Володей – книги и учебники по физике и геологии, конспекты лекций, в обоих гардеробах – у меня и у Дины – такая скудость, что одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что и здесь искать нечего.

Они перелистывали книги, заглядывали под корешки, читали конспекты и письма.

Владимир Георгиевич вернулся из Сальска через неделю. Еще через неделю пришли конфисковать имущество Дины...

На этот раз их было трое.

Оперативники стояли перед раскрытым гардеробом в злой растерянности. Слева на полках лежали стиранные-перестиранные простыни, наволочки, вылинявшие мужские трусы и рубашки с потертыми воротничками, кое-какая женская мелочь – начатый флакон духов, нераспечатанная коробочка пудры, несколько носовых платков, пара новых чулок – подарок мамы, несколько штопаных... Справа висели на плечиках шерстяное коричневое платье, халат, сарафанчик, жеребковый жакет, потертый на сгибах и локтях, единственная зимняя вещь Дины, а под ними стояли стоптанные туфли и фетровые боты, давно вышедшие из моды.

– Успели припрятать, – сказал наконец один из оперативников.

– Что? Что вы сказали? Как это «припрятать»? – возмутился Голенко.

Те даже не взглянули в его сторону. Один что-то сказал другому, тот кивнул, сел к столу и приготовился писать протокол конфискации, или как это у них называется.

— Я на вас жаловаться буду, вы не имеете права оскорблять... Я член партии...

Губы у Голенко дрожали, он побледнел. На этот раз все трое обернулись к нему, лица угрожающие, враждебные. Сейчас разразится скандал, может случиться непоправимое... Я взяла его выше локтя. Он вырвался.

— Мы... мы так живем. Мы живем на свою зарплату, нам не на что обогащаться... Да и не ставим себе этой цели...

— Володя, перестань, замолчи. — Я пыталась увести его из комнаты. Мой муж стоял в дверях и звал его.

— Припрятали! Мы припрятали! — не унимался Голенко. — Да как вы смеете... У нас никогда ничего не было... Да если бы и было, мы бы себе этого не позволили. Вы за это ответите...

Ах, наивный Володя Голенко! Он верил, безоговорочно верил в закон, в справедливость, в печатное слово, особенно если оно, это слово, напечатано в газете, верил, как все, в непогрешимость Сталина, верил, вопреки своей безграничной любви к Дине, даже в справедливость возмездия: ведь Дину арестовали за то, что она в прошлом была женой троцкиста. «Ну что из того, что это было десять лет назад, — рассуждал он, — все равно надо нести ответственность, как бы она ни была тяжела! Значит, так надо, значит, там считают эту меру необходимой...»

Мне удалось оттеснить его в столовую, и я сказала мужу, чтобы он его не выпускал из комнаты.

Между тем оперативники расстелили на полу одну из простыней, разделенную утюгом на квадраты, и в трогательной беззащитности обнаружили аккуратные заплаты, поставленные Диной. И в эту простыню полетели и Динины стоптанные туфли, и ситцевый халатик, и заштопанные чулки. Я как-то ухитрилась стянуть у них из-под носа газовый платочек, красный в горошек, смяла его в комочек и, дрожа всем телом, стиснув зубы, чтобы не стучали, держала его в кулаке, а кулак в кармане. Я так боялась разоблачения! Но мне надо было что-нибудь оставить себе на память о Дине, хоть что-нибудь! Они побросали в кучу этих жалких вещей даже начатый флакон духов, даже коробочку пудры... Я скрыла свое «воровство» и от Голенко, так как, зная его, имела все основания бояться, что он не только осудит меня, но и заставит вернуть им этот платок.

Я храню его, красный в горошек платок Дины...

«Скажи маме и Володе, — писала мне потом Дина в одном из трех от нее писем, — что я могу высоко держать голову и мне не за что просить прощения, мне не в чем раскаиваться, я ни в чем не виновата...»

Это письмо пришло через несколько месяцев, а Володю Голенко арестовали через несколько дней...

— Если увидишь Дину, — сказал мне Володя, когда его уводили, — скажи ей, что я ни в чем не виноват...

Стоит ли говорить, что эти его слова так же не дошли до Дины, как и ее — до него...

Дина умерла в лагере. Дело ее было пересмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР 28 января 1958 года.

...Приговор Военной коллегии от 31 мая 1937 года и постановление от 4 января 1938 года в отношении Знаменской Христины Константиновны по вновь открывшимся обстоятельствам отменены, и дело за отсутствием состава преступления прекращено.

Знаменская Х. К. реабилитирована посмертно.

*Председательствующий судебного состава
Военной коллегии Верховного суда СССР
полковник юстиции Цирлинский*

Аналогичную справку получил и сын от первого брака Владимира Георгиевича Голенко. Родители его, старые большевики, до этого дня не дожили.

Мой дед, Григорий Филиппович Ягода, был часовым мастером в Нижнем Новгороде. Детей было много — пять дочерей (моя мама была старшей) и три сына. Столь большую семью содержать было трудно, поэтому некоторых детей отправляли в Рыбинск, к бабушкиной родне.

В квартире деда, в Гусином переулке, была подпольная типография: в одной из комнат мой отец печатал на ротаторе прокламации. Мама ему помогала. Так они познакомились.

В 1905 году во время сормовских событий старшего из сыновей, Мишу, зарубили казаки. А в 1917 году погиб второй сын, Лева. Его расстреляли на фронте за большевистскую агитацию среди солдат корниловской армии.

Остался младший — Гена, Генрих Ягода, с начала 20-х годов работавший в ВЧК — ОГПУ и потом ставший наркомом внутренних дел.

В середине 30-х годов я, студентка, конечно, и подумать не могла о зловещей роли Сталина и его подручных — «соратников», как их тогда называли, среди которых был и мой дядя Гена. Он был первым в троице — Ягода, Ежов, Берия, — крутившей кровавое колесо.

Когда в 1937 году Генрих Ягода был арестован, его родителей и всех сестер сначала выслали в Астрахань, через год всех арестовали, и след их исчез... Тот же смерч террора смел с лица земли и всю рыбинскую родню.

...Мы стояли в прихожей бабушкиной квартиры, входная дверь была уже открыта — еще один шаг — и никто никогда сюда не вернется.

— Видел бы Генрих, что делают с нами, — тихо сказал кто-то.

И вдруг бабушка, которая никогда не повышала голоса, обернувшись к пустой квартире, громко крикнула:

— Будь он проклят! — Она переступила порог, и дверь захлопнулась, и звук этот гулко отозвался в лестничном проеме, как эхо материнского проклятия.

И эхо это все звучит и звучит в моей памяти: «Будь он проклят!»

По неизвестной причине (и к всеобщему удивлению) меня не арестовали. Мне повезло и в другом: я успела закончить геологоразведочный институт и получить диплом инженера-геолога. Однако на этом мое «везение» кончилось: на работу меня никуда не принимали, даже в геологическую экспедицию в Якутию! Так как на вопрос, содержащийся тогда во всех анкетах, есть ли репрессированные родственники, я честно отвечала: есть. Но вот на моем пути встретился Московский молодежный театр. Анкета не содержала вопроса о репрессированных родственниках, и я была принята.

Это мое превращение из геолога в актрису произошло в тот год, когда мама жила еще в Астрахани. В мае 1938 года от нее перестали приходить письма, она не вышла на мой телефонный вызов — я поехала к ней.

...Комната, которую она снимала, была пуста: не было ни мамы, ни единой маминой вещи. В соседней комнате хозяева пили чай. Хозяйка, толстая баба в грязной кофте, равнодушно рассказала, что, когда мама вернулась с переговорного пункта 6 мая, ее уже ждали. Она очень кричала, билась, рыдала... Увели ее силой. Хотя я и не думала спрашивать о маминых вещах, мне и без того было все ясно, женщина с поразительной торопливостью начала говорить, нагло глядя мне в лицо, что, мол, «Есфирь Григорьевна все вещи взяла с собой, вот только таз и оставила...».

Постояв еще немного посреди этой голой комнаты, стараясь представить маму здесь, в этих стенах, простившись с ней еще раз, я ушла, ничего не сказав этим людям. Мужчина продолжал сидеть за столом и по-прежнему хлебал чай из блюдца, хрупая сахаром.

Я поехала по другому адресу, к дому, где жили все остальные.

Мне долго пришлось кружить по пыльным окраинам астраханских улиц, ходить по дощатым тротуарам, заглядывать в щели сплошных высоких заборов, пока нашла этот дом. Он стоял за таким же забором и был таким же, как и все другие, — не очень большим, крепко сколоченным, под железной крышей. Я вошла в калитку

и очутилась в небольшом дворике, заросшем нежной молодой травкой. Было очень тихо. Я сразу почувствовала пустоту дома. Дверь была приоткрыта, я остановилась на пороге и постучала.

— Кто там? — раздался мужской голос.

Я узнала его, это был голос Мордвинкина, мужа Таси, одной из моих четырех теток, — мужа всех остальных были арестованы поодиночке и расстреляны. Только один из них при аресте успел пустить себе пулю в лоб. И лишь сейчас я вспомнила, что мама писала мне, что Владимир Юрьевич недавно приехал к Тасе, так как его уволили с работы, из Главреперткома, и выселили из квартиры.

— Здравствуйте, — сказала я, входя в комнату.

— Здравствуй, — ответил он равнодушно, как будто мы виделись по десять раз на дню и ему надоело здороваться.

Он был все такой же — в своем неизменном пенсне на шнурке, с острой бородкой и зачесанными назад волосами. Когда я вошла, он что-то читал. Рядом с ним играла трехлетняя Виолка, его и Тасина дочка. То, что это ведь моя двоюродная сестра, мне тогда в голову не пришло. На столе было не убрано, стоял закопченный чайник, грязные тарелки, чашки, кастрюлька с высохшей кашей, два-три стула стояли как-то боком, пол был давно не мыт, замусорен. Это была комната мужчины, ничего не умевшего делать дома, мужчины, которому было к тому же на все наплевать.

Мы с Диной мало его знали. Встречались с ним на каких-нибудь семейных торжествах за столом у бабушки. Общение ограничивалось равнодушным «здравствуйте» с нашей стороны и небрежным кивком — с его. Мы его не любили. А не любили мы его люто за то, что именно он запретил во МХАТе «Дни Турбиных». Возможно, впрочем, что запретил не он, но тогда мы думали, что он. Мы с Диной успели посмотреть этот спектакль до его запрещения. Кажется, он был последним. В те годы об этом спектакле так и говорили: «До запрещения» и «После возобновления». С тех пор при словах «Дни Турбиных» в моем воображении встает образ Мордвинкина. Но сейчас вся прошлая жизнь, со всеми ее интересами, куда-то отступила и стала казаться такой маленькой, как в перевернутом бинокле.

Я села на стул, сняв с него полотенце, и почувствовала, как я устала. В комнате был полумрак и приятная прохлада.

— Чаю хочешь? — спросил Владимир Юрьевич. — Кажется, еще не остыл.

Я выпила стакан едва теплого жидкого чая с куском хлеба. У меня слипались глаза. Я хотела спать. Мы оба понимали, что говорить не о чем, и молчали. Я сидела, подперев голову рукой, уставясь в стол,

Владимир Юрьевич смотрел в книгу. Ребенок что-то лепетал, обращаясь к отцу. «Боже мой! — подумала я, глядя на Виолку. — Каково же было Тасе оставлять эту кроху — ребенка, которого она так хотела иметь, которого купала в кипяченой воде и держала в стерильной чистоте?!»

— Когда их взяли? — спросила я наконец.

— Шестого.

Значит, в тот же день, что и маму..

— Можно посмотреть... — я не договорила, не зная, как сказать — дом? комнаты? то, что осталось?

Но Мордвинкин понял:

— Можно.

Он опять стал смотреть в книгу, но, по-моему, он ее не читал, за все время он не перевернул ни одной страницы.

В комнатах царил полный разгром. На полу валялись разные вещи — чулки, платья, газеты, а в самой большой, в которой, по моим предположениям, жили старики, пол был покрыт слоем писем и фотографий. Эта комната была самой светлой, и при ярком солнечном свете разгром казался особенно ужасным. Я представила, как сапоги ходили по этим белым листочкам и пожелтевшим фотографиям, хранившимся много лет как самое дорогое, трепетно старческими руками уложенным в шкатулочку, и привезенным сюда, и теперь, кем-то выброшенным, как ненужный хлам, и растоптанным... Я подняла одну из фотографий. Это были сестры бабушки. «Нашей дорогой Марии на долгую память, — прочла я на обороте надпись, выведенную старинным тонким, витиеватым почерком, — от любящих сестер». Какое-то число... какой-то год... Девятый? Двенадцатый? А сейчас «дорогой Марии» шестьдесят пять лет и она в тюрьме...

Владимир Юрьевич сказал, где находится тюрьма. Сказал он также и о том, что разрешена передача денег в сумме 50 рублей.

Я тотчас пошла разыскивать тюрьму. Но мамы в ней не оказалось. Там были они все, кроме нее! Эта тюрьма называлась Внутренней, и была еще другая, и мне объяснили, как туда проехать. Мама, наверное, там. Где же еще? Ведь третьей тюрьмы в Астрахани нет.

На другой день чуть свет я подходила к огромному полю. Оно было полно народу. Кто сидел прямо на земле, вытопанной до пыли, кто в одиночку, кто группами. Очень немногие стояли, наверное, не решаясь сесть в пыль и надеясь, что так они смогут простоять несколько часов. Где-то далеко, на том краю поля, виднелось какое-то здание. Мне сказали, что это и есть тюрьма, что весь этот народ — это очередь к ней и что я должна найти последнего.

Шесть часов под палящими лучами солнца я приближалась к маленькому окошку. Шесть часов я надеялась, что передам маме 50 рублей и она обрадуется, поймет, что я здесь, что я на свободе, пока на свободе... Через шесть часов я назвала мамино имя и сунула в щель под едва приподнятым непрозрачным стеклом окошка свои 50 рублей. Но у меня их не взяли, а стали сначала сверяться по спискам. Я слышала шелест переворачиваемых страниц. Потом мне сказали:

– В списках не значится. Выбыла. Следующий.

– Как выбыла? Куда? Проверьте еще раз!..

Мне повторили:

– Выбыла. Следующий.

Сзади напирали, меня оттеснили. И снова я стою на вытоптанном поле. И снова на меня льется нестерпимый зной и ослепительный свет. Но почему-то мне все кажется каким-то черным и стучит в висках. На трамвае еду обратно, добираюсь до дому, и последнее, что я помню, – кровать, на которую я падаю, потеряв сознание.

Очнулась я, когда было совсем темно. Мордвинкин спал. Голова разламывалась от боли. Ощупью я пошла в кухню, гремела ведрами, отыскивая воду, пила, мочила тряпки и прикладывала их к голове...

Когда я вернулась в Москву и пошла в свой театр, то первая, кого я встретила, была Наташа, которая ввела меня в этот театр. Мы с ней в очередь играли Беатриче в «Слуге Двух господ» и дружили. Она схватила меня за руку и куда-то потащила.

– Слушай, – шепнула она, – арестовали Инку!

А эта Инка была не только нашей с ней общей знакомой, но и женой Додика, из той, рыбинской, родни, которая седьмая вода на киселе, но он с Инкой жил очень близко от меня, и я его знала лучше, чем других «рыбинских», мы ходили друг к другу в гости. Он был очень хорошим фотографом, и у меня осталось много снимков его работы. И его Инка арестована!.. Я было ахнула, но Наташа шикнула:

– Тише!

Мы стояли в углу пустой сцены среди ящиков, старых декораций, каких-то рваных «деревьев» и сломанных скамеек. Театр был пуст, занавес поднят, и зрительный зал зиял своей гулкой пустотой. Мы были одни, но говорили шепотом.

– А как Додик? – спросила я едва слышно.

– Кто? – не поняла Наташа.

– Ну Додик, ее муж?

– Ах, муж... Так его арестовали еще до нее.

– А ребенок? У них ведь была маленькая девочка. Ей, наверное, еще и года не было...

Послышались шаги, кто-то спускался по лестнице. Мы метнулись друг от друга.

– Молчи, – успела бросить Наташа.

СПРАВКА

Военная коллегия Верховного суда СССР

21 июня 1957 г.
№ 4н-028223/56

Москва,
ул. Воровского, д. 13

Дело по обвинению Знаменской Эсфирь Григорьевны, арестованной 6 мая 1938 года, пересмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР 8 июня 1957 г.

Постановление НКВД СССР от 16 июня 1938 года в отношении Знаменской Э. Г. отменено, и дело за отсутствием состава преступления прекращено.

Знаменская Э. Г. реабилитирована посмертно.

*Председательствующий судебного заседания
Военной коллегии Верховного суда СССР
полковник юстиции П. Лихачев*

Через какое-то время я получила такую же справку и относительно моего брата Руси – Германа Знаменского. И так же посмертно...

ВЕРА ШУЛЬЦ



Вера Александровна Шульц родилась в Москве в 1905 году. С детства знала несколько языков. В 1926 году закончила отделение литературы и языка факультета общественных наук Московского университета.

Бурная культурная жизнь Москвы 20-х годов – пора расцвета советского театрального искусства. «Дни Турбиных» во МХАТе, Театр Вахтангова, Театр Михаила Чехова, Театр Мейерхольда, Театр Таирова, Театр Михоэлса. Возникли новые театры, и на сцене Театра-студии Рубена Симонова Вера Александровна начала свою артистическую карьеру. Все оборвал арест в 1938 году.

Впервые имя тети Веры я услышал в 1953 году, когда она вернулась в Москву из ссылки. Из лагерей вернулся и мой отец – дипломат, первый посол СССР в Бельгии. И однажды он сказал мне: «Тетя Вера хочет с тобой познакомиться и приглашает тебя в театр на „Синюю птицу“».

И вот мы в театре. Мне одиннадцать лет. Я гомозился в кресле партера, к спинке которого была привинчена медная дощечка, где было выгравировано: «К. С. Станиславский». На сцене шло завораживающее действие, и я почти забыл о пожилой женщине, сидевшей рядом и не смотревшей на сцену – она смотрела на меня.

После спектакля она проводила меня до вагона метро, дала мне бумажку, где записан был ее телефон, просила прийти, обняла, поцеловала. Образ ее очень быстро растаял в окружающих впечатлениях жизни. Мог ли я тогда понимать, что ждала она нашей встречи более десяти лет?..

Я появился на свет весной 1942 года в приволжской глубинке, в эвакуации, а в конце того же года при пожаре погибла моя мать. Вера Александровна узнала об этом, находясь в ссылке в безводных степях Арала, и страдала от бессилия оказать помощь. Никогда не видел меня, она привязалась ко мне какой-то особой болезненной любовью. Она думала обо мне, плакала, но сделать ничего не могла, будучи бесправной ссыльной, ходившей на отметку в органы НКВД и живя впроголодь.

В те времена она и создала себе мечту: если доживет до счастливого дня и вернется домой в Москву, то первое, что сделает, – поведет меня на любимый спектакль своего детства «Синюю птицу», бывшую с начала XX века событием в жизни московской интеллигенции. Пьеса, проникнутая гуманизмом и добром, с малых лет должна была пробуждать в ребенке добрые чувства к родителям, к животным, воспитывать благородное и бережное отношение к дарам природы: хлебу, воде, свету, огню очага...

После той первой нашей встречи прошло почти 30 лет. Все эти годы Вера Александровна жила сложно, бедно, с трудом налаживая быт в доме, за 16 лет скитаний переставшем быть ей домом. Работала в школе, преподавала иностранный язык. Ютилась в девятиметровой комнате вместе с сыном и матерью...

Ее воспоминания были написаны в начале шестидесятых годов. Ни она, ни я в то время не могли даже подумать, что они могут быть опубликованы в нашей стране. Плотной затворив дверь, тихим ровным голосом, взяв слово, что никто не узнает об этом, читала она эти горькие строки.

Восстановление правды и справедливости по отношению к жертвам сталинского террора вдохнуло в нее новые силы. Еще два года назад она говорила: «Я поверю в перемены, если напечатают „Реквием“ Анны Ахматовой».

Вере Александровне за восемьдесят, но она не перестает удивлять меня своим максимализмом, жадным интересом к тому, что происходит в жизни нашей страны. Несмотря на больные ноги, готова ехать на окраину Москвы смотреть фильм «Комиссар» или бежать на выставку художника Белова. Ее стол завален ворохами газетных и журнальных вырезок, испещренных красными восклицательными знаками...

Александр Рубинин. 1988 год

* * *

Конец двадцатых годов... Я принят в младшую группу студии, руководимой Р. Н. Симоновым.

Среди студийцев обращала на себя внимание молодая, красивая, энергичная женщина – Вера Александровна Шульц. Помню, она инсценировала для студии

роман Константина Федина «Города и годы». Инсценировку в театре приняли, уже распределили роли, но главрепертком отклонил постановку: Николай Старцов, герой романа Федина, не нес в себе черт, нужных герою эпохи 30-х годов.

В первом спектакле студии, поставленном Р. Н. Симоновым и долженствовавшим заявить право на существование театра-студии – это был спектакль по пьесе Заяицкого «Красавица с острова Люлю», – Вера Александровна Шульц играла роль Красавицы. Спектакль был принят, и театр начал свое существование. С Верой Александровной мы проработали бок о бок почти десять лет.

В начале 1938 года меня и всех наших товарищей ошеломила весть об аресте Веры. Представить ее себе врагом народа – это не укладывалось в сознании.

Через некоторое время я был вызван в органы. Со мной беседовал военный, не помню, сколько ромбов было в его петлицах.

Напомнив мне, что я являюсь председателем месткома театра, он сказал, что в силу этого я должен хорошо знать жизнь театра и его работников, просил дать общую характеристику Веры. Потом последовали вопросы: почему она всегда элегантно одета? Нет ли среди ее знакомых иностранцев?

До сих пор не могу забыть того волнения и страха, которые меня охватили: оклеветать Веру – значило бы стать подлецом; а если не подтвердить явно требовавшегося от меня, то меня могут отсюда не выпустить. Страшно волнуясь, я сказал только правду о том, что я о ней знаю.

Велико было мое удивление и радость, когда в конце беседы военный подписал мне пропуск на выход...

Арсений Барский

ТАГАНКА. В СРЕДНЕЙ АЗИИ

...Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде...

Анна Ахматова
«Реквием»

ТАГАНКА

Круг от лампы, зажженной ночью на столе, – первое, что всплывает перед глазами, когда я вспоминаю ту страшную черную пору, неожиданно свалившуюся на меня в марте 1938 года. С этой ночи, и уже навсегда, во мне живут свои *иды марта*, с каждым приближени-

ем весны наполняющие меня смутным беспокойством и страхом. Естественно, если человеку неожиданно и беспричинно нанесен удар, разможивший всю его жизнь, — он не забудет его до конца. Самую возможность в любой момент стать униженной и бесправной пешкой — не забудет! Такие переломы в области психики не срастаются.

На часах, стоявших под лампой, было четыре часа двадцать минут. И тут звонок повторился. Муж на несколько дней уехал в Минск читать лекции. Накинув халат, я пошла открывать дверь. Была абсолютно спокойна. Дворник заверил, что это он, и просил открыть. За дверью, кроме него, оказались трое военных.

Они предъявили ордер на обыск. Была я тогда молода и наивна. Приняла все за какое-то недоразумение. Ничего предосудительного или запрещенного у нас не было. Теперь, впрочем, я вспоминаю, что в книжном шкафу со времени моей учебы в Московском университете на отделении литературы и языка факультета общественных наук стояла книга Л. Д. Троцкого «1905 год», которая была одним из наших учебников истории. Как это повлияло бы на мою судьбу, если бы они наткнулись на нее, — не знаю. Но они весьма поверхностно, на выдержку, вынули в разных местах несколько книг, перелистали, поставили на место и перешли в другую комнату, где в поисках спрятанного оружия протыкали штыком матрас моего ложа. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю — они всё очень хорошо понимали, знали и какая я «преступница»... В комнату, где спала старуха няня с нашим шестилетним сыном, они даже и не зашли.

Когда все «проформы» были окончены, мне предъявили ордер на арест. Больше всего меня поразило, что на нем стояла факсимильная подпись бывшего нашего ректора, ректора Московского университета, — Андрея Януарьевича Вышинского. Училась я еще сравнительно недавно — в двадцатые годы. Было чему удивляться.

Отправилась я в свой крестный путь, которому суждено было длиться шестнадцать лет, — санкта симплиситас! — с чемоданчиком, в котором кроме ночной рубашки и смены белья лежал однотомник Пушкина и том «Саги о Форсайтах» Голсуорси. Очень вежливые пока что, представители «Госужаса», зная, что мне предстоит обретаться в камере на троих, ныне же вмещающей восемнадцать человек — где не до ночных рубашек, и никаких книг не разрешается приносить, — не предупредили об этом.

Помню, как простилась с сыном. Он, тепленький и сонный в своей кроватке, даже не проснулся, когда я целовала его, думая об одном — увижусь ли с ним скоро опять? То, что могу вообще не увидеть его, в тот момент еще не приходило в голову.

У ворот легковая машина «М-1». Садимся. Москва, по-зимнему еще морозная, спит в фиолетовых тонах начинающегося рассвета. Проезжаем малорослый в те времена Охотный ряд. Он пустынен, но кое-где уже зажигаются огни. Я хочу курить. Машину останавливают, и красноармеец командирится за папиросами. Про себя отмечаю эту любезность. Вскоре он возвращается. Едем дальше.

Лубянка. Приехали. Меня ведут по высоким коридорам. Лестница. Опять коридор. Открывается высокая дверь, из которой выводят какого-то человека. Его ведут мне навстречу, и я узнаю своего брата. Это, конечно, «накладка». Брата, оказалось, взяли в одну ночь со мной. Он тоже видит меня. В глазах удивление.

— Как, и вы здесь? — пытается он шутить.

Нас быстро разводят в разные стороны. В эти минуты я видела брата в последний раз в жизни.

В комнате с высокими холодными стенами, крашенными зеленой масляной краской, меня сажают за стол, дают бумагу: я должна написать автобиографию. Оставляют меня одну. Потом я заполняю бесчисленные анкеты.

Внешний декорум законности еще соблюдается: со мной очень вежливы. Еще являю собой видимость человека. Но вскоре все атрибуты лицемерия отбрасываются постепенно, и с каждым шагом, с каждой минутой все ниже спускаешься в ад, где человек лишается права на сохранение человеческого достоинства и превращается в бессловесную, бесправную пешку.

Опять коридоры, переходы и ведущие уже вниз лестницы. В каком-то помещении без окон, напоминающем раздевалку в подвале, меня обыскивают. Отбирают и Пушкина, и Форсайтов. Молодой военный пытается снять с моего пальца золотое колечко с алмазом — подарок и память покойного отца, — но оно сидит так туго, что он, махнув рукой, оставляет мою руку в покое. Более интимный обыск производит женщина. Затем мне вручают чемоданчик с бельем и снова ведут куда-то.

Останавливаемся у двери. Ее отпирают, предлагают войти. Дверь захлопывается. Поворот ключа. Первый поворот ключа темницы. Я одна. Одна в окрашенном в розовый цвет вертикальном каменном футляре, где нельзя ни сесть, ни лечь, а можно только стоять. Где-то очень далеко под потолком тусклая лампочка, забранная в проволочную броню.

Сколько я там простояла — часы отобрали, — не знаю. Помню только дикое кружение мыслей в голове. Время тянулось томительно. От долгого стояния отекли ноги. Я болезненно осознавала мою полную

оторванность от своих и безнадежную, такую же полную, беспомощность.

В сумерках вывели во двор. «Черный ворон» поглотил в своей утробе кучку ежащихся от нервного озноба, бледных, уже потерявших свой обычный вид людей.

Легендарные Бутырки, куда нас отправили, оказались переполненными. Нас отказываются принять. «Ворон» едет в Таганку. Это исстари тюрьма уголовная. Рангом ниже. Примитивная грубость внутреннего устройства. И персонал такой же.

В Таганке снова обыск. Затем в комнате, напоминающей лабораторию, у нас берут отпечатки пальцев, намазывая их черной типографской краской и тыкая ими в расчерченный на белые квадраты лист бумаги. Удивительно унижительная процедура. Внешне спокойная, внутренне сгораю от оскорбительности всего этого и от отвращения. Я же не бандит и не убийца! Чувствую себя растоптанной. В каких-то случаях в жизни спасает юмор. Но здесь... здесь тяжелая поступь трагедии, и юмору места нет. Первый день заключения наносит мне нестираемые зарубки.

Нас ведут в здание тюрьмы. Тяжелые, кованого железа двери замыкаются за мной. Гремят средневековые засовы. Внутри тюрьма напоминает серый эллипс с идущими вдоль него длинными балконами-ярусами в несколько этажей. Они защищены проволочными сетками, на тот случай, если бы кому-нибудь вздумалось разmozжить себе голову о каменный пол. На балконы выходят двери камер. На каждой двери – закрытый глазок. В молчании прохаживаются здесь надзиратели и надзирательницы. Временами приникают к глазку.

У одной из дверей нижнего этажа ведущая меня надзирательница останавливается, отпирает ее и вталкивает меня в камеру. Дверь за моей спиной захлопывается. Рычит засов. Скрежещет ключ. Всё...

Стою в нише двери, возле параши, как бедная родственница: ни одного шага вперед сделать нельзя – весь пол покрыт лежащими людьми. В тусклом свете никогда не гаснувшей лампочки под потолком различаю еще три железных койки и на каждой еще по три человека.

Время позднее, и камера давно уже спит. Грохот засова и отпираемой двери разбудил ее. Навстречу мне приходит в движение нечто подобное темной волнующейся водяной поверхности. С коек и с пола поднимаются взлохмаченные головы с заспанными бледными лицами. Мелькает тряпье. Камера шевелится в молчании, как темный, разбуженный среди ночи зверь.

Приход нового человека – всегда событие. В унылом мареве маленькой камеры все вдруг оказываются сидящими.

На меня сыплются вопросы:

- По какой статье?
- Вы как жена или самостоятельное дело?
- Что нового происходит в мире?
- Массовые аресты продолжаются?
- А семья осталась?
- Не встречали такого-то... такую-то?
- Как вас зовут?
- Кто вы по профессии?

Сама я была внутренне растерзана в этот первый вечер и вопросов не задавала.

Когда страсти поутихли, стали обсуждать вопрос, как потесниться, чтобы мне можно было лечь на полу. В 1938 году, в год апогея репрессий, в камеру на троих нас было затиснуто восемнадцать. На трех койках девять человек, остальные на полу, под и между койками. В распределении мест соблюдалась строгая иерархия очередности. Поэтому первую ночь я провела на самом плохом месте: между дверью и парашей. Потом началось медленное продвижение, и недели через две я оказалась на койке.

Камера, в которой начались мои «университеты», как и все тюрьмы в те годы, являла собой торжище маленького Вавилона. В ее четырех стенах были заперты вместе русские, украинцы, белорусы, евреи, немцы, венгры, французы, англичане, кавежединцы. Молодые и старые, пожилые и юные – все это текло и сменялось беспрерывным потоком.

В одну из первых ночей – я лежала на полу, подстелив одну половину драпового пальто и накрывшись другой, – в голове ворочался разъедающий хаос мыслей о сыне, о его отце – не спалось, с комом в горле сжимала зубы. Всё внутри – не дать вырваться наружу!.. Вот тогда-то я и услышала впервые крики из подвала. Где-то близко из-под пола, у своих ушей. Кричал мужчина. Как зверь, которого убивают... в смертной тоске. Оттолкнувшись от пола, опершись на локоть, я приподнялась. Кругом все спали. «Привыкли!» – с ужасом подумала я. Крики повторились... режущие, протяжные. Сердце бешено стучало. Вдруг я почувствовала сзади чье-то прикосновение. Лежавшая рядом бабушка из Подмосковья смотрела на меня ввалившимися печальными глазами.

– А ты не слушай, хорошая моя... не слушай... нельзя это слушать – сердцем изойдешь! Они, бедняги, почитай, каждую ночь кричат. Ох, больно тяжко, чего там говорить! Под нами-то – подвал. А там –

допрос. Есть ведь — и не подписывают... А следователь-то от этого звереет... пуше бьет.

— А если сознаваться-то не в чем?

— Все одно... люди говорят, — добавила она. — Каждому живому охота остаться... своих еще увидеть. Не знай чего подпишешь!.. Ведь и в лагерях люди живут, чать не волки.

О том, что из себя представляли сталинские лагеря, я в то время имела только смутное понятие, сознаюсь со стыдом и горечью. Это была ночь моего боевого крещения. Народная трагедия начинала открываться передо мной.

Потом я узнала, что тихо в подвале бывает только по субботам и воскресеньям, когда заплочных дел мастера отдыхают. На этом пути приобретения всяческого опыта я узнала, что человек может привыкнуть ко всему: я засыпала, счастливая уже тем, что могла отключиться от ужасной действительности, меня окружавшей. Вероятно, это было постепенно обволакивающим, спасительным в данных условиях отупением.

Раз в десять дней водили в баню. Это могло бы стать маленькой радостью в нашем положении. Но из этого сделали лишнее мучение. В баню вели обязательно ночью. В три часа. С грубыми окриками подымали спящих, пригревших в сне людей, хоть ненадолго забывших во сне о своей беде, выгоняли их на холод и, торопясь, гнали в темноте.

Баня представилась мне темной преисподней: в клубах пара проступали черные, струящиеся сыростью стены, уходящие куда-то ввысь. В пару шевелились и колыхались обнаженные тела... души грешников...

Жар и духота охватили меня удушающим кольцом. Я стала задыхаться, и, помню, инстинкт самосохранения заставил меня броситься к запертой двери и прильнуть губами к спасительной замочной скважине, в которую проникал воздух. Я жадно глотала его. Имевшийся у меня порок сердца давал себя знать. Но надзирательница оттолкнула меня от двери.

И еще опыт. Твоя жизнь зависит иногда и от людей, тебя окружающих. В Таганке славилась жестокостью и грубостью одна надзирательница. О ее зверском обращении с заключенными ходили в тюрьме легенды. Тупая злобная сила расправлялась с бесправной, униженной слабостью. Она исходила неистощимой злобой к заключенным, видя в них ненавистных и опасных врагов. Она с удовольствием уничтожила бы их разом. И чего с ними возиться?! Она видела в каждой из нас личного врага. Безмозглое, хорошо натасканное животное...

Именно эта свирепая блюстительница закона и повела нас в баню в ту ночь. Я отошла, шатаясь, взяла шайку и в каком-то полусознании начала намыливаться. В полутьме, среди испарений, оставленное на моем пальце кольцо вдруг сверкнуло. Надзирательница внезапно возникла передо мной из пара как нечистый дух. Рванула к себе мою руку.

— Это что у тебя?! Золото пронесла в тюрьму?! Кольцо скрываешь?

Я объяснила ей, что ношу кольцо уже много лет и что оно было надето, когда пальцы были тоньше, и теперь не снимается, что военный на Лубянке не смог его снять и оставил...

— Не сняли! Ловка ты, видно, враты! Дураков ищешь? Не на такую напала! Я вот тебе сейчас покажу, как кольца-то снимают...

Она как спрут обвилась вокруг моей руки и, намылив палец, почти выкручивая его, сопя и ругаясь, все-таки сняла кольцо.

Я оставалась внутренне совершенно отстраненной от всех ее манипуляций. Все было безразлично. Даже то, что это кольцо было подарено мне любимым и умершим отцом. Все потери казались ничтожными по сравнению с тем, что навалилось на меня. Окаменев, наблюдала за всем, происходившим со мной, со стороны. Память делала свое дело, фиксируя какие-то моменты навсегда.

После бани свирепая женщина сунула мне бумажонку, где безграмотными каракулями удостоверилось, что она получила от меня медное колечко. Месяца через два после этого в тюрьме как-то узналось, что она сама оказалась в камере на положении заключенной. Говорили, что она попала за уголовщину и была осуждена. Должна признаться, что в возмездие верю. Оно представляется мне каким-то еще пока необъяснимым законом равновесия добра и зла в мире.

Камера как Ноев ковчег с затиснутыми туда женщинами разного возраста, разных национальностей, разной культуры, интересов и характеров. Днем лежать не разрешалось. Надо было как-то моститься сидя. Время тянулось ужасающе медленно. Тягучее однообразие дней нарушалось только вызовами на допрос или «с вещами». Надо было чем-то отвлекать голову от тяжелых мыслей. Они и так овладевали всеми вечером, когда в устроившейся спать камере с полу и с коек доносились всхлипы и сморкания.

Хлебные пайки почти всегда бывали плохо пропечены. Из зеленого закала заключенные лепили, хотя это и запрещалось. Сев спиной к глазку, лепили из этой несъедобной глины пепельницы, мыльницы, горшочки, вазочки, зверушек и петушков. Все было сделано грубо, бесформенно и жило в камере до ближайшего обыска, когда безжалостно отбиралось. На следующий же день лепили снова.

Другим видом запрещенных занятий являлось вышивание. Иглы, разумеется, запрещались, и их делали сами из отломанных зубьев гребенки. Ушко прожигалось обязательно у кого-нибудь да сохранившейся, пронесенной сквозь все обыски английской булавкой, кончик которой раскалялся на спичке — курение нам не запрещалось, и спички были. Нитки добывали, распуская рваные чулки и трико. Разрывали на куски ветхое белье, искусно мережили их и вышивали. У меня до сих пор где-то хранится такой вышитый кусочек, своеобразное тюремное «*memento mori*».

Но главным и самым любимым занятием были рассказы. Их слушали затаив дыхание, вымысел заставлял забывать действительность. Те, кто могли рассказывать, пользовались особым расположением камеры. За время моего пребывания там было пересказано не поддающееся подсчету множество рассказов Чехова, Горького, Тургенева, Мопассана и других. Большим спросом пользовался роман Этель Войнич «Овод», «Джен Эйр» Шарлотты Бронте. Сколько стихов было прочитано: Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Блок, Некрасов, Есенин.

Еще в юности я боготворила Ахматову. Многое знала наизусть. Любила и Гумилева. Но там, в эти годы, они, несмотря на свои высокие достоинства, не читались. Божественный «Реквием» лишь начинал создаваться в те годы, и узнала я его только в начале шестидесятых — он ходил по рукам. Пастернака, Цветаеву и Мандельштама я почти не знала.

На ампула рассказчиков выдвинулось четверо: старая интеллигентка Фагэ, жена француза — литератора, жившего у нас в Советском Союзе, сама она была русская; острая, умная, совсем еще юная, полудевочка, еврейка Леночка; немолодая, но полная жизни и темперамента венгерка Иолан Ярой-Грооб, к ней я еще вернусь; и я, до ареста бывшая актрисой молодого московского театра-студии под руководством Рубена Николаевича Симонова. Он в те годы был уже художественным руководителем театра им. Вахтангова, но, будучи талантливейшим режиссером и актером, мечтал об экспериментах. Для этого ему нужен был молодой, всецело ему послушный коллектив. Так он создал наш театр.

В столичной жизни, уносимые ее бешеными ритмами, когда, кроме работы, нас влекут соблазны всех видов искусства — книги, музыка, картинные галереи, спектакли, — мы в молодости начинаем жить без оглядки. И нужны безмерные встряски, рушащие и ломающие привычный уклад. И тогда неизбежны переоценки. Только в камере мне открылось новое значение человеческой памяти. До этого я жила,

просто не замечая ее, как воздух, которым дышишь. Она нужна была профессионально: для запоминания учебного материала, для сдачи экзаменов, для запоминания ролей... Она играла подсобную роль.

Здесь же, в обстановке полной изоляции и бездействия, она оказалась благоденствием, и я могла делиться им с другими, не менее обездоленными людьми. Память помогала мне переносить на необитаемый остров тюремной камеры мысли и образы большой литературы мира. Помогала забываться на время, переключаться в иную жизнь. Были среди моих сокамерниц и такие, которым жизнь не дала возможности приобщиться к культуре: и я всегда буду помнить минуты высокого счастья, которые я там испытала, внимание и интерес в глазах, иногда даже блеснувшую слезу или бесхитростный шепот: «Как хорошо... прямо мороз по коже...»

Перед арестом я готовила для концертного исполнения отрывок из поэмы Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин» («Если бы выставить в музее плачущего большевика...»). Читала и видела слезы на глазах у этих женщин, нахолившихся, как темные угловатые птицы, на койках, на полу. В другой раз они как зачарованные слушали фрагмент из «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова – последний каторжный путь Катерины Измайловой, Сергея и Сонетки, по-особому остро воспринимавшийся и мной, и ими в эти страшные дни нашей жизни...

Бывала и я слушательницей. Помню, как Фагэ, обычно суховато-сдержанная, неожиданно раскрылась, рассказывая «Учителя словесности» Чехова. В душную, полутемную от железного щита на окне, оставлявшего наверху только узкую полоску голубого неба, камеру ворвалась другая жизнь. Зашумели липы старого сада вокруг провинциального помещичьего дома... мы увидели очаровательную юную Марию Годфруа... ее отца, старого русского помещика... Леночка с горящими глазами передавала вечно жгучего «Овода». Венгерка Иолан ломаным русским языком, но очень живо пересказывала бесконечные, полные старых замков с привидениями и любовных драм, романы венгерского классика Моора Йокаи.

Иолан – одна из самых интересных женщин-сокамерниц, встреченных в Таганской тюрьме. Она принадлежала к разряду так называемых «жен». Высокая, несмотря на возраст, стройно-худощавая, темноволосая с легкой проседью. У нее были глаза Катюши Масловой, блестящие, как влажные вишни. Она обладала привлекательнейшей чертой: врожденным юмором. Ее муж, венгерский коммунист, политэмигрант, член Коминтерна, давно уже жил в Москве. Иолан

по рождению происходила из пролетарской рабочей семьи. До того как она с мужем эмигрировала в Советский Союз, она работала костюмершей в будапештском театре. Там у нее произошла встреча с замечательной венгерской актрисой Франческой Гааль, которую ныне знает весь мир. Получить образование в Венгрии Габсбургов Иолан не смогла — она рано осиротела, и дальние родственники отдали ее в монастырскую школу. Вскоре она почувствовала, что органически чужда этому миру и стать монахиней не сможет никогда. Но ей некуда было деваться, и до какого-то времени она терпела. Потом произошел взрыв, и из школы ее исключили. Кто-то помог ей устроиться в костюмерную. Она работала, много читала. Потом встретила своего будущего мужа и вскоре вместе с ним уехала в Москву.

В 1937 году одновременно были арестованы. Муж намного старше ее. Больной, старый человек. Она постоянно думала о нем и часто плакала, не надеясь его увидеть.

— Он так больной... так больной... Он будет умирать в тюрьме! — говорила она, прижимая к глазам сжатые кулаки.

Где она теперь? Жива ли? Сложила ли голову где-нибудь на Севере, в Сибири? Думаю, что ее уже нет.

...Недели через две после ареста меня впервые вызвали на допрос. Было это днем. Конвоир повел меня вниз. Днем подвал не казался страшным, большой широкий коридор с красной ковровой дорожкой. Дневной свет из окон. По одну сторону окна, по другую — двери в кабинеты следователей. Конвоир вводит меня в один из них.

На стуле посреди комнаты, широко расставив ноги в начищенных до блеска сапогах, сидит молодой военный. Он сероглаз, сидит набычившись и, пытаясь сделать тяжелый взгляд, смотрит на меня в упор.

— Когда вы приехали в СССР?

Вопрос показывает, что, арестовав меня, блюстители законности даже не удосужились предварительно установить данные моей жизни, что было достаточно легко сделать, ибо я родилась в Москве и тридцать лет моей жизни протекли в ее центре.

— Никогда! — отвечаю я не без иронии.

— Как это так? — топорщится на своем стуле следователь.

— Очень просто. Я родилась здесь, в Москве. Вся моя жизнь прошла здесь в трех домах: на углу Кузнецкого моста и Лубянки — в доме, принадлежащем ныне Наркоминделу, в доме Строгановского училища на Мясницкой и в Левшинском переулке, что между Кропоткинской и Арбатом, где меня и арестовали по неведомой мне до сих пор причине.

Я абсолютно спокойна и смотрю ему прямо в глаза.

Он, по-видимому, ждал чего-то другого. Чувствует себя явно не в своей колее. Задает еще несколько пустых вопросов, которых я даже уже не помню, зовет конвоира, ожидающего за дверью.

Первый допрос окончен и явно сорван. Сфабриковать из меня иностранную шпионку не удалось. Надо изобрести что-то новое. Меня уводят.

После первого неудачного допроса время тянется невыносимо медленно. Дни идут. Мне иногда кажется, что про меня забыли. Не покидает мысль о сыне. Может быть, он совершенно один. Отца его могли забрать по возвращении из Минска так же, как и меня. Эта неизвестность ужасна.

Однажды утром мне приносят засаленную зеленую бумажку. Военный в белом халате объясняет, что это квитанция тюремного ларька, к ним поступили на мое имя деньги, и я могу получить на них хлеб, селетки, папиросы, сухари... Я что-то заказываю, но думаю только о том, чтобы скорей взять в руки зеленую бумажку и прочесть, что там написано. Там же должна стоять подпись... Чья это будет подпись? В ней сейчас сосредоточена жизнь. От волнения я ничего не вижу... Руки дрожат.. Вот внизу знакомая тонкая подпись. Муж на свободе! Сын с ним! Привалившись к железной спинке койки, плачу от радости.

В те мгновения, как это ни странно, я благодарила судьбу за то, что на мои плечи брошен груз испытаний, что я повлекусь горестным путем в неизвестное будущее, скорее всего страшное и губительное. Почему это было так? С полудетских лет жизнь приучила меня переносить ее тяготы, начиная с войны 14-го года, разрухи, голода, Гражданской войны. Муж был старше, более избалован и изнежен жизнью. Проявлялась иногда неврастеничность. Для него тюрьма была бы непереносимее. В тюремной обстановке он неминуемо бы погиб. С его трудоспособностью, положением он сможет создать лучшие условия жизни для сына. Для воспитания мужчины необходима мужская рука. Да, я так думала...

Я радовалась и тому, что в этой кровавой лотерее он вытащил счастливый билет. Он отвечал тем же: не отказался от меня, а это, к сожалению, делали тогда многие. Наоборот. Он ринулся в добровольное «хождение по мукам». И я считаю, что в те годы в подобном таился элемент героизма. Он ходил в Наркомат внутренних дел, в прокуратуру, в трибуналы. Везде доказывал, что произошла ошибка, что я абсолютно честный человек и гражданин. Одновременно он разыскивал меня по тюрьмам. Об этом я узнала впоследствии.

В течение месяцев зеленые бумажки-квитанции, в какие-то сроки обновляющиеся, носившие его подпись, были единственным нашим связующим звеном. По ночам я редела над ними. Потом берегла всю жизнь.

Однажды юмор все же проник к нам в камеру. Загремели засовы, и на пороге оказалась маленькая старушка. Как обычно, потеснились, дали ей сесть. Сначала она испуганно озиралась на обсевшую ее разношерстную хмурую ватагу. Принадлежала она к числу тех древних неграмотных старух, у которых и на лбу-то написано, что ничего, кроме физического труда, забот о крестьянском хозяйстве, о своей семье и по домашности, она не знала в силу своей давнишней еще нищеты и темноты. Воплощение санкта симплиситас. При взгляде на нее невольно вспоминалась старуха, принесшая охапку хвороста на костер Яна Гуса.

Кто-то задает ей вопрос – за что она в тюрьме? Старушка оказалась словоохотливой – видно, уж очень долго пришлось ей молчать.

– За сыночка... за сыночка своего родименького. И чего там случилось – досе невдомек. Може, вы, бабоньки, мне, старухе беспонятной, потолкуете. Привезли-то меня индо за сотни верст из деревни. Конвойный солдат вез в каком-то закуте. Я ему, значит, говорю: за что ты, милай, меня волочешь-то, в какие такие дальние края? Да с ружьем? Да по чугунке – страх-то какой! А, батюшки! «Молчи, – говорит, – бабка, мне с тобой говорить не положено! И ничего я не знаю, окромя, что есть ты народный враг!» Так вот в молчанку и играли всю дорогу.

А как приехали сюда-то, так меня в махоньку клетушку и затолкнули. А там одна-разъединая койка стоит. На койке две бабешки сидят, да, видно, не нашенские: как из пулемета меж собой строчат, а ни единого словца не понять. Видно, опять мне молчать приходится.

А утресь – разом на допрос и потащили. Заждались, что ли? Засуетилась я, закрестилась... чистым платком повязалась и пошла. А солдат, что вел меня, руки мне за спину велел заложить. Пришли, это, мы в горницу. За столом мужик военный сидит.

«Как твоё фамилье? – спрашивает. – Зовут как?»

«По-уличному нас Феклистовыми зовут. Матрена я, Прохорова».

«Садись, – говорит, – бабка. Я – следователь».

Гляжу я на него: сидит молчит, бумаги на столе перебирает. И чего-то он вдруг туманиться стал. Потом как вылупит на меня зенки – ну чистые бурова, ей-богу, не вру! – и говорить:

«Сказывай, бабка, когда заербовалась?»

«Чего это?» — спрашиваю.

«Когда заербовалась, отвечай!» — кричит. А я нешто знаю, чего он от меня хочет?!

«Батюшка, прости ты меня Христа ради! Не пойму ведь я тебя никак, старуха темная...»

«Сын твой тебя ербовал?»

Вижу, совсем осатанел. Глаза бешаны стали... дрожу вся. «Ну, — думаю, — пусть лучше по его будет!»

«Ербовал, батюшка, ербовал!» — говорю.

«Вот видишь! Ербовал, значит, а говоришь, не понимаешь! Обмануть хочешь?! — Да зубами-то как скрипнет, словно чумовой какой! — Ну и ты, понятное дело, заербовалась?!»

«Заербовалась, батюшка, заербовалась!» — Пес знай чего говорю, не знай чего на себя валю!

Потом крестик за неграмотностью на бумаге, где он писал, поставила. А он сразу словно опять в себя зашел, успокоился. Отпустил. А я и рада-радехонька — авось уж Господь Бог спасет, помилует меня, старушонку.

Было ей тогда за семьдесят. Вскоре ее вызвали на приговор с вещами... И угнали в чужие земли. Что, кроме гибели, могло ждать ее там?

Вот она, твоя мягкая податливость, Россия... пугливое непротивление. Доброта и надежда на Бога... Но насколько мне ближе и милей этот образ простой, неграмотной русской старухи, в котором отразились некоторые национальные черты, чем другой, наблюденный мною в той же камере. Прошли через нее и две немки.

Это были две настоящие представительницы германской расы. По-русски они еле изъяснялись, обиходно только. Обе были женами немецких коммунистов, эмигрантов из Германии. После прихода Гитлера к власти они приехали в Советский Союз. В 37-м были арестованы. Голубоглазые, светлые блондинки. Несмотря на тюремный режим, они сохраняли свою белорозовость, пухлые щеки, ямочки на них и щебетание. Они находились в чужой стране, языка которой не знали, среди чужого народа, но не унывали. Одну из них звали Мари. Даже здесь, в этой камере, где всех нас когтил слепой рок, где отчаяние вгрызалось в наши души, не отпуская их никогда, она ухитрялась петь легковесные, пошловатые немецкие песенки.

Пела весело, с опереточным пошибом, с синкопами, притоптывая и размахивая руками. Может быть, в это время у кого-нибудь и появлялась на лице тень улыбки. Только тень. Начинался стук в дверь: петь в тюрьме строго запрещалось. Надзирательница приказывала замолчать. Грозила карцером.

Никогда, ни разу я не видела отчаянья в их глазах. Или вера в логику жизни была в них так сильна? Невозможность осуждения за несовершенные преступления казалась им незыблемой? Поступь истории для них еще не была слышна. Возможно, для них все находилось еще в стадии, малоприятного правда, водевиля? Нет. Это характер!

Поворачиваю калейдоскоп воспоминаний. Агафья Петровна, жена железнодорожника-кавежединца. Их взяли обоих. По утрам у нее всегда красные глаза: плачет только по ночам; днем — никогда, пытается даже быть веселой. Из рабочей семьи, образование — несколько классов, домашняя хозяйка, она растила детей. Обычная, простая русская женщина. Внутренне сильная, энергичная и волевая, она старалась поддерживать дух у более слабых. Твердо верила сама и старалась вселить в других веру во временность происходившего. Ни разу она не произнесла имени Сталина, не утешала себя и других легендой о том, что все творится помимо него, что он ни о чем не знает. А попадались и такие. Но подобные ламентации встречало холодное молчание камеры, и они, не находя отклика, умолкали. До сих пор помню ее широкое доброе лицо, отливающие рыжиной волосы, неизменное бордовое фланелевое платье и войлочные туфли.

«Правда все равно победит!» — говорила она.

Была в камере еще одна жена железнодорожника-кавежединца молодая белоруска Любинская. Бледная и худая до прозрачности и как бы отстраненная в оцепенелом молчании. В этом состоянии она пребывала постоянно. За несколько месяцев до ареста у нее родился ребенок. Разлученная с младенцем, она находилась теперь на грани тихого помешательства. Не в состоянии как-то осмыслить то, что с ней произошло, она как сомнамбула двигалась, ела, пила, ложилась и вставала... Агафья Петровна как бы взяла над ней шефство: больше других заботилась о ней, проявляла к ней чуткость, разговаривала с ней, утешала.

Комком сгущенной энергии вспоминается мне маленькая хрупкая еврейка Леночка, еще полудевочка, черноглазая, темноволосая. Умная, острая, она иногда впадала в бурные приступы отчаяния: молодая жизнь, со всеми ее радостями, жажда знаний, способности — все тупилось здесь, в этой безмерной тюремной нелепице, и пропадало.

Самая молодая среди нас, она уже набралась за полгода кое-какого тюремного опыта, за это время ей не раз пришлось соприкоснуться с урками, и те сумели заразить ее своей бесшабашной смелостью. В те времена шепота и страха она с беспечным удовольствием рассказывала нам в камере, как уголовные расшифровывают буквенное

сокращение СССР — «Смерть Сталину — собаке революции!» Доносчиков среди нас, к счастью, не оказалось. Ее рассказ дал мне понять, что в народе уже рождалось понимание наступившего в стране сталинского террора. Пощадила ли ее судьба или сгинула она в общей могиле? Не знаю...

Почему теперь, когда мне уже более полусотни лет, когда я, как старая черепаха, набралась жизненного опыта и как-то ожесточилась, тонкая, пронзительная грусть скребется у меня в сердце, когда я вспоминаю бабушку Акутину? Я думаю, что тут в основе всегдашнее чувство ответственности и, главное, вины, которое интеллигент органически испытывает перед другим человеком за совершенное над ним зло, не имея к этому злу никакого отношения. Это высший вид «мировой совестливости». К тому же судьба сталкивала меня с бабушкой Акутиной три раза, словно яростно высвечивая для меня фрагменты жизни этой старой русской женщины и весь позор творившегося вокруг.

Однажды в камеру привели новенькую. У дверей, возле параши, как я когда-то, стояла маленькая, седенькая старушка с круглым личиком и носом пуговкой. Выцветшие, подслеповатые глазки смотрели ласково, с просящей, неуверенной полуулыбкой. Она вся лучилась добротой, неиссякаемой и успокаивающей. Вот это и была Татьяна Павловна Акутина.

Одинокая, не оставалось у нее ни кола ни двора, старая крестьянка притулилась в жизни в подмосковной сельской местности у другой, зажиточной старухи-домовладелицы домовницей. Топила печи, таскала воду из колодца, когда и скотину покормит, а скотины-то — корова да куры, варево сготовить поможет — словом, справляла нехитрые дела по домашности.

Связывало их еще то, что обе были баптистками. Ходили молиться. Жили потихоньку, никому не мешали, никого не трогали. В 1938 году обеих забрали.

Судьбу свою старуха приняла с безропотным спокойствием. В вопросах религии я, воспитывавшаяся в сознательном возрасте уже в советское время, разбираюсь плохо, мы все росли атеистами, поэтому не могу судить, какую роль играла тут вера, думаю, что в ней Татьяна Павловна находила утешение.

Маленькая и невзрачная, часто помаргивая слезящимися глазками, она подходила ко мне и тихо, нерешительно просила:

— Верынька, доченька, поищи ты у меня в головушке, сделай милость, — мочи нет, чешусь... завшивела, видать, окаянная. Глаза у тебя молодые...

Я распускала жиденькую луковку волос на ее макушке. Перебирала желтовато-седые пряди, искала и давила вшей. Делала это легко, без отвращения — уж очень кроткая старушка была, хотелось помочь ей. Она открыто и охотно ответила на все вопросы, при ее появлении заданные ей камерой, и теперь все больше сидела, где-нибудь притулившись, и молчала.

«С вещами» меня вызвали раньше ее: обедев всех взглядом, я покинула своих подруг и камеру навсегда.

Прошло больше года. Я уже давно жила на месте ссылки — в Казахстане, у берегов Аральского моря. Работала в казахской школе, учила казахчат, весьма причудливо говоривших по-русски — меня они звали «Бэрлехсандровна», так как наш «В» произносится у них «Б», — премудростям иностранного языка.

Город Аральск, если можно назвать городом скопище глинобитно-соломенных хижин, разбросанных под жгучим солнцем, тонул в песках подошедшей к Аралу безводной пустыни. Я болезненно и непрерывно ощущала отсутствие зелени родной среднерусской полосы. Со стороны России часто проходил товарняк, груженный березовыми кругляками. Смотрела на них и утирала слезы.

Как-то, с трудом шагая в зной по пескам, я увидела издали ковылявшую мне навстречу старуху. Шла трудно, с палочкой, и когда я подошла к ней уже близко, то узнала бабушку Акутину.

Я бросилась к ней:

— Бабушка!.. Татьяна Павловна! — обняла ее. Увидев, обрадовалась как родной. — Вот и пришлось нам свидеться!

Она подняла на меня глаза:

— Никак ты, Верынька! Здравствуй, доченька! И не чаяла больше тебя увидеть... а вот сошлись пути-дороженьки. Радость-то какая нежданная!

Бабушка Акутина рассказала, что несколько дней назад их партию заключенных привезли сюда.

— Выгрузили, это, нас. Всё больше старухи. Конвоиры и повели нас сдавать. Как увидели мы: кругом ни дерева, ни травинки... — пали мы им в ноги. «Куда, — говорим, — привезли вы нас? Кругом песок да ветер! Что делать будем? Как жить? На погибель только привезли. Сразу лучше пристрелите!»

Конвоиры все же сдали старух в районный отдел НКВД. Нашли какое-то жильё...

Третья встреча была горше. Я лежала больная тропической дизентерией в эпидемическом бараке городской больницы. Лекарства для этой болезни в больнице не имелось. Поправиться не надеялась.

Помогла невероятность, словно кто-то свыше не хотел моей гибели. У одной из ссыльных, работавшей медсестрой, нужное лекарство имелось дома: ей прислали его из Москвы для профилактики — вдруг заболит! У нее случилась острая нужда в деньгах, она уступила мне драгоценные ампулы, спасшие мне жизнь.

Больничный барак стоял на краю города, почти у самого моря. Чуть дальше белела небольшая саманная хижина, а за ней начинались бесконечные волны песка.

Когда мне стало лучше, утром выходила на воздух, сидела, спасаясь от тропической жары, в полоске тени, падавшей от дома. И тут кто-то из больных сказал мне, что умерла ссыльная старушка, говорят — баптистка. Перед смертью наказывала схоронить ее в одном саване, на квартире он, давно она его заготовила. А лежит она в морге, вон там, и мне показали на белую саманную хижину, окруженную волнами песка.

Я подошла к хижине, толкнула дверь, она была незаперта, — и остановилась у порога. На полу, посреди комнаты, лежало запеленутое в белый саван маленькое тело, вытянувшееся в строгой неподвижности смерти. Это была бабушка Акутина.

Долго простояла я на пороге, глядя на нее. В подобные минуты я особенно остро видела и понимала все. Это не подлежало забвению. Не подлежало прощению. Когда переполнится мера зла? Когда наступит расплата? За что эта простая душа, эта неграмотная крестьянка была оторвана от родной земли? За что она должна была умирать с сознанием, что тело ее никогда не будет лежать на сельском погосте под серым деревянным крестом, замытым дождями, и что не увидит она, перед тем как навеки смежить глаза, ни плакучей березы, ни рябинки... и не будет вокруг ее могилки ни покосившихся крестов в высокой траве, ни щебета птиц, ни случайно забредшей стреноженной лошади с застрявшими в хвосте репьями, ни веселой возни воробьев на Пасху среди яркой яичной скорлупы... Ничего не будет... Даже родной земли, в которую суждено отойти. Тело ее ляжет навеки в чужие соленые пески, взрастившие один бурьян да колючки; где вода желта и горька, как моча, где мимо будут вышагивать одни экзотические верблюды с красивыми и мудрыми глазами, на длинных, словно подагрических ногах, такие чужие и непонятные... Почему?... За что? Не находила ли идея «без вины виноватых» новое, трагически всенародное звучание?

Второй раз меня вызвали на допрос около двух месяцев спустя. Утром. Вечера, видимо, приберегались для более опасных «преступников». Следовательно уже другой — совсем молодой, светловолосый

и очень любезный. Он начал разговор совсем с другого конца: спрашивал о жизни театра, где я работала.

Новая версия моего обвинения состояла в том, что я была завербована представителем германской контрразведки, — а им они сделали очень дальнего родственника, то ли сына племянницы, то ли приятельницы моей бабушки Бориса Б., жившего в Энгельсе и там учительствовавшего. Он бывал в Москве очень редко; заходил в последний раз пять лет назад, в 33-м году.

Я, по изобретенному следователем сценарию, должна была сообщать сведения о том, когда в театре бывают члены правительства. Я резонно ответила молодому следователю, что театр наш молодой, маленький, существует недавно и за все время его существования ни один член правительства его еще не посетил.

— Это не имеет значения! — ответил следователь.

Во время допроса он все что-то писал и теперь предложил мне прочесть и подписать протокол допроса.

— Нет. Подписывать эти бумаги я не буду — там нет ни слова правды.

— Рано или поздно все равно подпишете, — сказал он усмехнувшись. — Хорошо, на первый раз даю вам возможность подумать. Чем скорее подпишете, тем лучше для вас.

На обратном пути в камеру случилось нечто странное: конвоир велел мне повернуться лицом к стене, что я и сделала. Проскрежетал ключ, отворилась дверь, конвоир подтолкнул меня, и я оказалась в небольшом помещении без окон, но под потолком горела обычная лампочка, забранная в проволоку. Дверь за моей спиной закрылась. Каморка была пуста, только табуретка стояла у стены. На ней я провела нескончаемо тянувшиеся, долгие часы. Обо мне забыли? Или следователь таким способом давал мне возможность «подумать» в одиночестве? Когда меня привели, камера уже устроилась на ночь. Все, конечно, пробудились, последовали вопросы. Спать пришлось лечь, так и не евши за весь день.

При следующем допросе, когда я вновь отказалась подписать весь этот бред, он вдруг взял совсем иной тон — тон дружеского уговора, который я должна понять, как истинно советский человек.

— Мы знаем, что того, что здесь написано, не было на самом деле. Но нам, нашему государству, это нужно, очень нужно. Понимаете — нужно! И поэтому, как советский человек, вы должны это сделать для своей страны!

Весь цинизм, все лицемерие этого, с позволения сказать, действия дошли до меня позднее. Тогда же была одна мысль: как взвалить

на себя этот предельно чуждый мне ужас? Из честного человека превратиться одним росчерком пера в бесчестного? Превыше всего была честь. И я отказалась подписывать.

И тут «приятный блондин» внезапно преобразился: он вскочил и начал расстегивать ремень, подпоясывающий гимнастерку. Лицо было перекошено злобой, нижняя челюсть высунулась вперед, зубы обнажились, в глазах бешенство.

– Последний раз говорю: подписывайте, а то... – Он замахнулся ремнем.

– Подождите! – крикнула я. – Подождите...

В голове дикая коловороть мыслей... Если он меня ударит... я знаю себя: я никогда это не забуду и никогда не прощу. Не ему – он пешка. Родине?.. Нет! Страна больна... что-то происходит не то... Люди подписывают... иного пути, чтоб остаться в живых, нет. И вдруг мелькнул выход... странный, маленький, ненадежный...

– Дайте мне бумагу, – крикнула я, – и обещайте оставить ее в деле! Сделайте это, и я все подпишу.

И он дал мне бумагу. Я написала в ней, что все, подписанное мной в деле, – ложно, ни единого слова правды. Следователь вынудил меня это сделать, угрожая побоями. Я буду жить надеждой, что в моем деле когда-нибудь разберутся и восстановят в отношении меня справедливость...

Надеяться я могла до второго пришествия, но бесполезность борьбы с Левиафаном была мне уже тогда абсолютно понятна. Время показало, что, подчинившись историческому ходу событий, я поступила правильно – иного выхода ни для кого не было. Ни побои, ни иголки под ногти дела не меняли.

Вскоре меня вызвали с вещами. Собравшись, простилась со всеми, знала, что в эту камеру более не вернусь.

Мне был зачитан приговор: пять лет административной ссылки в Казахстан как социально опасному элементу. Вот и все.

Новая камера, новые люди. Но они как-то растворились в тумане лет – я, правда, недолго пробыла в ней. Мои «университеты» продолжались.

...Моя бабушка, мать моего отца, была англичанкой. Когда ей было шесть лет, ее отец, потеряв жену, эмигрировал со всеми детьми в Россию. Вся дальнейшая ее жизнь продолжалась уже в Москве. Родным языком стал русский, говорила чистейшим московским говором. Воспитала меня она. Очень любила, была подлинной матерью. Родители разошлись, когда мне было всего полтора года.

Отец бабушки, мой прадед – на сохранившейся фотографии настоящий диккенсовский тип, – рано умер, бабушке было восемь лет; оставшись круглой сиротой, она попала в учебное заведение Веры Гаспаровны Брок, находившееся на Остоженке во втором Обыденском переулке, где девочек готовили для поприща гувернанток и домашних учительниц иностранных языков, так как в те времена высших учебных заведений иностранных языков в России не существовало. По окончании пансиона девушки поступали на работу в богатые дворянские или купеческие дома. Бабушка передала мне свои знания. И это после 38-го года прямо-таки спасло меня. Имея университетское образование (языкознание и литература), работать по специальности я бы не смогла: преподавание русской литературы и языка ссыльным, или, попросту говоря, репрессированным, не разрешалось на основании негласного циркуляра. Что касалось иностранных языков, тут запретов не было. Жизнь переквалифицировала меня, и я на собственном опыте познала мудрость лозунга Карла Маркса о том, что знание иностранного языка есть оружие в борьбе за существование.

Когда я в 1953 году вернулась летом, по первой амнистии, домой в Москву, это своеобразное вето не было снято. Сначала все было очень хорошо, работа всегда имелась, но как только узнавали, что я из породы репрессированных, скисали... просили зайти на следующий день... и на этом все кончалось. Вместе с тем я обязана была устроиться за достаточно короткий срок на работу, иначе Москва, где я родилась, где прожила всю жизнь, где и тогда находился мой дом, ушла бы от меня навсегда. Это был заколдованный круг.

Тогда всем известный талантливый артист и писатель Ираклий Андроников (он и его жена Вивиана знали меня близко с молодых лет) поехал к заведующему Московским отделом народного образования со всеми моими характеристиками с мест работ, чтобы помочь. В ответ он услышал только одно: «Я не могу доверить воспитание молодого поколения репрессированному человеку!» Это происходило осенью 1953 года. «Машина» скользила по прежним накатанным рельсам. Мне ничего не оставалось, как идти ва-банк. В следующий раз я умолчала о том, что была репрессирована, и тут же поступила на работу, где и проработала восемь лет, до пенсии.

...Итак, я после приговора оказалась в новой камере. И здесь произошла самая памятная и глубоко всколыхнувшая меня встреча. Мое внимание привлекла мальчишеская фигура светловолосой молодой женщины, очень интеллигентной, с лукавинкой в светло-зеленых глазах. Она мне кого-то очень напоминала... И я вдруг поняла, что

она похожа на Буратино. Здесь, в «узилище скорби», у нее сохранились внутренний покой и ясные глаза. Меня неудержимо потянуло к ней. Вечером мы уже лежали рядом на полу и шепотом, чтобы не мешать другим – камера расположилась спать, – вели жгучий, томительный разговор двух бедствующих душ, кинутых в пустоте друг к другу.

Ее звали Кэрол Митянина. Австралийка, она родилась в Сиднее в скромной семье служащих. Детство на берегу океана. В начале 30-х годов она вышла замуж за работника советского посольства в Австралии Митянина. Когда мужа отозвали в Москву, она, конечно, поехала с ним. К 37-му году у них уже было двое детей. Они жили в переулке на той Кропоткинской, что и я, в нескольких шагах от меня, но мы никогда не встречались и не знали друг друга. На то и Москва. И вот обоих – и мужа и ее – забрали в тюрьму. Два сына остались с бабушкой. Она ничего о них не знала. И как же велика была вера в непогрешимость нашей великой страны! Она глубоко верила в справедливость людей и в логику того, что совершается в мире. Они с мужем ни в чем не виноваты, и это не может не выясниться. А если они погибнут до этого, то страна вместо них воспитает и сделает людьми их сыновей. В том, что она была абсолютно искренна, я ни минуты не сомневаюсь. Я объясняла себе ее непонимание того, что вокруг творится неладное, тем, что она находится в чужой стране, совсем плохо знает ее язык и круг людей, с которыми она общалась, был очень узок. И если она в этой ужасной обстановке находила утешение как мать и жена в непоколебимой вере в конечную государственную справедливость – не мне было разрушать ее. Помочь вершившемуся ходу вещей это все равно не могло. Но отраду в каком-то горячечном общении мы находили.

Я рассказала Кэрол об английских корнях своей бабушки. Я плохо знала английский, она плохо знала русский, и мы поверяли друг другу свою жизнь, свои мысли и чувства на какой-то невообразимой обжигающей смеси из обоих языков. Мы ощущали рождающуюся между нами родственность, возникали связи, благодаря которым мы больше не были чужими. Возвышенные бредни?.. Не знаю. Но как они нас обогатили в ту унылую страшную пору всеобщей оторванности и одиночества! На замызанном каменном полу камеры Таганской тюрьмы мы засыпали, прижавшись друг к другу и больше не одинокие.

В ту пору Кэрол тоже уже знала свой приговор: десять лет лагерей. О муже не знала ничего. Это было только начало, а впереди – холод, непосильная работа, голод и бесчеловечность, возведенная в норму. Тогда мы этого еще не знали...

Всему приходит конец. Вскоре Кэрол вызвали с вещами. Мы крепко обнялись на прощание. Сквозь застилавшие глаза слезы я не отрываясь смотрела на это, ставшее таким близким и дорогим, лицо. Лукавые серо-зеленые глаза Буратино в последний раз улыбнулись мне. И больше никогда, ничего. Но я до последнего дня помню своего безвинно обреченного тюремного друга. Помню с яростью не-прощения! На Колыме ли, в Магадане поглотила и хранит вечная мер-злота ее кости?

Вскоре и меня вызвали с вещами. Крестный путь продолжался...

В СРЕДНЕЙ АЗИИ

В начале сентября 1938 года партию заключенных отправляют из Москвы. Где-то на запасных путях, далеко от здания Казанского вокзала (народу зрелище противопоказано, лучше, если оно происходит шито-крыто), стоит длинный зарешеченный вагон. Он еще пуст – начинку для него еще не привезли.

Утром во дворе Таганки стоит «черный ворон», или, как его называла мой тюремный друг Кэрол Митянина, Блэк Марайа, что по-английски значит Черная Мария. Нас выводят во двор, сажают в машину. Внутри она перегорожена. В задней ее части – отделение для конвоиров. «Ворон» трогается.

Все заметно взволнованны – прощаются с Москвой; возможно, навсегда. Сидя в полутьме, а иные закрыв глаза, чувствуем еще под собою ее мостовые. Отрываем их от себя. Что ждет впереди? Напоследок судорожно представляем себе знакомые улицы, по которым должен ехать «ворон».

Наконец он останавливается, и нас выпускают. Вокруг бесконечные скрещения путей и вагоны, вагоны, вагоны... Нас выстраивают. Один из конвоиров выходит вперед, держа в руках стопку синих конвертов. На каждом конверте – фамилия. Это наши «дела». Происходит быстрая проверка. Это пустая формальность, так как политические считаются у конвоиров «божьими коровками».

И вот перед нами длинный пульмановский вагон с зарешеченными окнами. В те недоброй памяти трагедийные годы редкий состав шел без такого прицепленного к нему вагона. Позднее, уже в ссылке, и я не раз наблюдала их с «воли».

Приказ садиться.

Противников теории Дарвина следовало бы приводить сюда и показывать им эти вагоны изнутри: сходство существ, громоздящихся

за железной сеткой, натянутой вдоль вагона во всю его длину, с обезьянами — поражает! Человек возвращен к первобытности. За сеткой в верхней части каждого отделения, где полки соединены в сплошной настил, возятся косматые, заросшие, грязные существа. Из-за сетки беспокойно сверкают белки, бледные серые пальцы с черными ногтями цепляются за нее. Женщины в этих равных с мужчинами условиях умели как-то сохранить человеческий облик.

Женщины, все новые и мне незнакомые, втиснуты, как сельди в бочку, в одно из верхних отделений. Солнце палит в крышу. Нестерпимо жарко. Только в сумерках вагон прицепляют к поезду. И вот наконец под равномерный и словно успокаивающий стук колес, одинаковый и для свободных и для заключенных, начинается наш путь на восток.

Первый этап в пути — Сызранская пересыльная тюрьма. Добираемся туда в череде движения и длительных стоянок. Вагон, по-видимому, то прицепляется, то отцепляется... Проходят дни.

От Сызрани остались в памяти серое небо, клубившееся тучами, холодный ветер, сжатые поля и черная грязь под ногами. Длинная череда заключенных бредет по дороге, спотыкаясь на неровностях сырого скользкого грунта. Кругом тяжелая тьма быстро наступившей ночи, только на горизонте тлеет фиолетовая полоса. Впереди все холодно и неприятно. По бокам — конвоиры с ружьями. Людей не видно; вокруг только пустынные черные поля.

Какие неистовые искажения внезапно врываются в жизнь! Почему я здесь? Почему меня ведут как бандита, окруженного конвоем? В те дни я еще не разучилась иногда поражаться роковым несурразностям, происходившим на глазах.

Белое здание тюрьмы наконец выступает перед нами из мрака. Оно на окраине города. Утром я обнаруживаю, что мы находимся в большой, светлой, в два окна, камере, покрашенной белой известью. У каждой из нас койка с тюфяком и тощей, жесткой подушкой. Мы на седьмом небе. У дверей огромная деревянная бадня — провинциальная параша. Две-три женщины уже живут в камере, дожидаясь отправки. Среди них — Марта, очень некрасивая женщина лет сорока с лошадиными зубами и выпуклыми бесцветными глазами. Она из немок Поволжья, спокойно-доброжелательна. В углу лежит худая, скелетоподобная и стриженная наголо старуха. Она мучается животом и, пошатываясь, еле живая, ежеминутно пробирается к параше.

В Сызрани нас держат 10 дней, и мы немного «отходим». Сызранская баланда кажется нам вкусней московской, а каша жирней.

В день отъезда чувствую себя плохо. К вечеру начинается озноб, поднимается температура. Если я об этом скажу, то меня оставят здесь, как и эту больную старуху, от которой я, несомненно, заразилась. Но отстать от женщин, уже ставших «своими», кажется невозможным. И я молчу.

Наступает ночь. Отъезд. Опять идем, окруженные тьмой, по черной дороге, мимо черных полей... В полубредовом состоянии, с подкашивающимися ногами, спотыкаясь, достигаю своего обезьянника на путях.

Когда обнаруживается, что я без сознания и вся горю, поезд давно идет, а следующий этап – Ташкент; впереди несколько суток пути. Конвоир приносит термометр. Жар свыше сорока.

Как я оказалась одна, внизу, в отдельном «купе» – не знаю. Весь путь до Ташкента – это короткие вспышки сознания и снова провалы в беспамятство. Меня мучила жажда. Как сквозь сон помню, что конвоиры поили меня горячим и очень крепким чаем. Это были минуты блаженства. Конвоиры попались человечные – они давно могли сдать меня как тяжелобольную где-нибудь по дороге. Но женщины просили за меня. Пожалели. Марта предложила ухаживать за мной, и ее заперли ко мне.

Однажды, когда я пришла в себя, меня вывели в коридор и поставили около окна. В Средней Азии еще стоит жара, и стекло опущено. Мне снова плохо, пальцы конвульсивно хватают оконную решетку и сжимаются на ней, и я теряю сознание. Обвисаю, но сзади поддерживает конвоир. Обо всем, что впоследствии произошло, мне позднее рассказали мои женщины. Поезд стоит на небольшой станции. Вдоль него проходит женщина с ребенком на руках. Ребенок держит белую булку. Смертельно бледное лицо с закатившимися глазами за решеткой окна привлекает внимание женщины с ребенком.

– Ой, что это с ней? Больная, видно? – сердобольно спрашивает она.

– Больная, больная, проходите, – нехотя бросает конвоир.

Женщина берет у ребенка булку.

– Разрешите булочку беленькую хоть подать ей, – просит она.

– Не разрешается, гражданка, они у нас всем обеспеченные, проходите, вам говорят! – мрачнеет конвоир.

Женщина молча и неодобрительно качает головой.

– Милостыньку Христа ради не дадут подать! Безбожники...

«Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества», – сказал когда-то Достоевский. Но в *те* годы сострадать не разрешалось, да и не безопасно было. На него был спущен с цепи зверь посильнее: страх.

Наконец Ташкент. Как во сне вспоминаю баню в санпропускнике Ташлагпункта... Кто-то меня, видно, раздел. Сажу в чем мать родила на каменной скамье. Подходит пожилой узбек с бритвой: его обязанность – брить женщинам лобок. В связи с болезнью я почти не осознаю этого нового унижения.

Другое сновидение: скуластая и чернявая, загорелая до черноты небольшая женщина с узкими угольными глазами трет и поливает меня из шайки.

При Ташлагпункте есть маленькая больничка, и я попадаю туда. Это барак из двух палат – мужской и женской. Между ними даже не было двери, висела старая, рваная простыня.

Заведовал больничкой отбывавший здесь срок «политический» – врач из Ленинграда, доктор Анненков. В жалких условиях он делал все возможное для спасения своих больных, а если не мог помочь в силу обстоятельств, то отправлял в более медицински оснащенный больничный городок ГУЛАГа, находившийся в шести километрах от Ташкента.

Доктор Анненков взялся за меня. Жара у меня уже не было. Но я явно превращалась в доходягу. Отвернувшись от всех, уставившись глазами в окно, неотступно думала о сыне, о том, что больше никогда не увижу ни его, ни мужа, что предстоит только одно: умереть.

Однажды в палате появилась новая больная. Высокая, сухошавая, с некрасивым, но энергично-властным лицом, говорившем о привычке управлять другими. Возраст – за тридцать. В лице ее поражала какая-то нехорошая меловая бледность. Она ходила, разговаривала, бывала на воздухе во дворе, читала что-то и не производила впечатление тяжелобольной.

Она оказалась одним из ответственных работников Бакинского горкома партии Антониной Тарасовой. Доктор Анненков с первых дней, как я заметила, настороженно-внимательно присматривался к ней. Впоследствии я поняла, что он уже тогда заподозрил страшный диагноз. Но пока что Антонина оставалась энергичной и даже иногда улыбалась.

Антонина как-то сообщила мне, что в мужской палате лежит молодой уже профессор права, политический с большим сроком, заболевший в пути. Она никак не могла бы предположить, что это сообщение подействует на ее недужную соседку по койне как внезапный невидимый шок, пробудивший во мне желание немедленно встать, добрести до его койки, говорить с ним и, может быть, узнать от него о судьбе очень близкого нашей семье и очень любимого и чтимого мною человека.

Тут я должна вернуться вспять. Лишь в январе 1937 года во мне впервые появилась твердая уверенность, глубокая и незыблемая, в том, что в тюрьму бросают и невинных людей, не совершивших, по самой своей сущности неспособных совершить, преступления против революции и народа. Я имею в виду так называемых политических. В том январе был арестован и, по слухам, тут же расстрелян в казематах Лубянки Евгений Брониславович Пашуканис.

Это был давнишний и самый близкий друг нашей семьи. Нас всех связывало постоянное и тесное общение. Евгений Брониславович, литовец по происхождению, с молодых лет пошедший в революцию, талантливый ученый-правовик, к концу 1936 года должен был баллотироваться в Академию наук СССР. В «Известиях» появилась статья с его портретом. Помнится, в декабре. К тому времени он возглавлял Институт государственного строительства и права, Институт красной профессуры и был заместителем народного комиссара юстиции СССР Крыленко.

При всем при том это был человек большой простоты и необыкновенной легкости в общении. Это была ленинская простота, нам так хорошо известная, простота подлинной интеллигентности и ума.

Должна сказать, что, арестованная, попав в камеру и увидав, что происходило с другими, я не раз подумала: не за знакомство ли и дружеские отношения с Евгением Брониславовичем Пашуканисом я нахожусь здесь? Оказалось, что всему виной моя фамилия. Разыскивая меня и брата по тюрьмам, муж и мать установили, что в одну ночь с нами было арестовано еще восемь человек с той же фамилией. Но мне это стало известно только через год.

Итак, Антонина из бакинского горкома партии рассказала мне о правовике профессоре, лежавшем в мужской палате. Судя по фамилии, грузин – Гигинава.

Обмотавшись простыней наподобие юбки, худая как палка, изможденная, постучала о косяк дверного проема и, откинув залатанную простыню, я переступила порог мужской палаты. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, кто из лежавших на койках доходяг профессор Гигинава.

Пожилой, с очень интеллигентным лицом и явно грузин. Я подошла, сказала, что мне очень нужно поговорить с ним. Он предложил мне сесть в ногах его койки.

– Вы должны, по моему разумению, знать Евгения Брониславовича, поэтому я и пришла к вам.

Фамилию я умышленно не назвала. Он приподнялся на локте и впился в меня глазами. Я прочла в них и удивление, и словно тень

радости, и внутреннее волнение. Я сразу поняла, что не ошиблась. Вот какие подарки жизнь неожиданно бросает нам на пути. Для меня это был подарок. Тот, кто не был «по ту сторону черты» в те годы, никогда не сможет понять чувств, которые рождало хотя бы и призрачное соприкосновение с прошлым. Вновь стать человеком...

Я рассказала о тесной дружбе, связывавшей наши семьи. Потом мы долго и жадно говорили. Говорили вполголоса, да нас никто и не слушал. Не до нас было. Почти каждый в этой палате «умирал в одиночку».

Я узнала страшную правду: Евгений Брониславович действительно был почти сразу расстрелян в подвалах Лубянки. Профессор Гигинава тоже работал в области права и госустройства СССР. «Дело» у них было одно. Пашуканиса обвиняли в создании некой антисталинской организации правовиков, которую он якобы возглавлял. Профессор Гигинава был ее членом и получил десять лет лагерей.

— Никакой организации не существовало. Все абсолютный вымысел. Не было ни следствия, ни суда. Арестовано по этому делу великое множество людей. Пашуканис был великолепным человеком... и очень талантливым ученым. Был. Да, был. При таком обвинении иного ждать не приходилось... — добавил профессор и откинулся на подушку.

Я простилась с ним.

В тот вечер все окончательно встало на место в моем сознании. Сомнения исчезли. А список злодеяний продолжал расти, и конца ему не было видно.

Войдя в чью-то жизнь и завершив ее, трагедия не всегда спешит покинуть место действия. Страницы, посвященные памяти Человека и жертвы — Евгения Пашуканиса, я хочу завершить еще одной, кажущейся мне порой великолепной и в то же время призрачной страницей.

В военную зимнюю ночь 1941/42 года в далеких снежных пространствах Казахстана меня отыскала еще одна смертная весть.

Я уже жила в ссылке. На так называемой «свободе». Уже повидалась со своими, посетившими меня на берегах Арала. Узнала от них, что жена Евгения Брониславовича в лагерях. Дочь Соня, уже девушка, живет самостоятельно, работает. Лютика взял к себе и воспитывает двоюродный брат Евгения Брониславовича. Все как-то образовалось. И вот настала война.

Ночь, когда меня настигла и потрясла эта весть, я никогда не забуду. Я сидела у стола и исправляла ошибки в тетрадях учащихся. Саксаул в печке, обогревавшей мое жилье, давно прогорел, и становилось

холодно. Ветер налетал со степи и набрасывался на стены моего дома. Стены – маты из камышовой соломы, обмазанные глиной, не могли долго хранить тепло домика-комнаты, в котором я жила одна «на квартире». Я встала со стула, чтобы накинуть на плечи еще что-нибудь теплое, и увидела на табуретке еще не прочитанные газеты. В одной из них, я не помню ее название, но знаю, что это была молодежная газета, наподобие нашей «Комсомольской правды», издававшаяся в Казахстане на русском языке, мне бросился в глаза заголовок: «Подвиг юной партизанки». В статье был описан подвиг юной девушки-москвички, ставшей партизанкой и на подступах к Москве отдавшей жизнь в борьбе с наступавшими фашистскими ордами. Лишь незадолго до этого мы узнали о подвиге Зои Космодемьянской. То, что теперь читала ночью, при коптилке в Казахстане – было подвигом аналогичным. Имя девушки было Соня Пашуканис.

Своей героической смертью она хотела реабилитировать имя отца. Но есть для меня непонятное и темное в этой истории. Когда я в пятидесятых годах вернулась в Москву, там никто о подвиге Сони ничего не знал. Жена Евгения Брониславовича, к тому времени вернувшаяся из лагерей, со мной встречи не искала. Меня это очень удивило, так как мое сообщение было ей передано.

Моя жизнь не была легка после возвращения в родной дом. В скитаниях прошло шестнадцать лет... много воды утекло с ними. Пропицаться дома помог мне только широко известный в то время фельетон С. Нариньяни «Жесткие сердца» в «Известиях». Дегуманизация людей во времена сталинизма давала плоды.

Во всяком случае, я до сих пор испытываю чувство вины перед памятью отца и дочери, чьи имена, имена героические, сгинули и поглощены навсегда.

Газету со статьей о Сонечке я долго берегла. А потом, видно при отъезде из Казахстана в 1943 году – еще шла война, и отъезд был труден, к тому же у меня уже жили сын и мать, – газета пропала.

Иногда все кажется мне не явью, а сном.

В больничке квалифицированного ээка-доктора я провела в общей сложности недели две. Улучшения в моем состоянии не наступало. Доктор решил отправить меня в больничный городок: к этому времени подобрался «этап» больных.

К вечеру во двор больнички въехал грузовик – его надо было догрузить. Меня кто-то поддержал, и я оказалась в кузове сидящей, опершись спиной о кабину водителя. Из состояния ужасной слабости внезапно меня вывел знакомый голос. Это была Марта, ходившая

за мной в поезде. Оказалось, что и она, и другие заключенные все еще пребывали на пересылке в Ташлагпункте. Заболела — что-то с печенью серьезное. Она села рядом. И тут в край борта вцепились крепкие, загорелые до черноты пальцы и над бортом грузовика возникло лицо. Оно было мне знакомо... загорелое, темное, в прорезях узких глаз сверкали белки, угольно-черные зрачки и такие же черные косматые вихры. Одно гибкое движение, и это создание очутилось в грузовике. И я вспомнила: это она мыла меня, находившуюся в полусознании, больную, когда этап прибыл в Ташкент и сразу был отправлен в баню.

Марта уже знала ее, провела с ней две недели в бараке Ташлагпункта на пересылке. Это была всем известная урка Катька, сызмальства мотавшаяся по тюрьмам. Теперь она отбывала срок за вооруженное ограбление и убийство. Неудержимо смелое, страшное в приступах злобы создание.

Во всем сказанном мне пришлось убедиться самой впоследствии, когда мне довелось попасть в барак пересылки. Катька оставалась там — отбывала срок. В пересылке в это время находилась молодая женщина с годовалым ребенком, родившимся у нее в тюрьме. Повода я не помню, но она чем-то вызвала гнев Катьки. На столе стоял чайник с только что принесенным кипятком для чая. Мать с ребенком на руках стояла перед Катькой. Та схватила в порыве бешенства чайник и занесла его над ними, чтобы ошпарить обоих. Находившиеся рядом женщины бросились к ней и сумели помешать ей, сами получив при этом ожоги.

Катька не боялась никого и ничего. Она знала, что все равно приговорена к смерти неизлечимой болезнью — пеллагрой, видом авитаминоза, от которого спасенья нет. На ее темной коже все больше проступали светлые пятна — зловещий знак. Ломбардская проказа — ныне пеллагра.

Посредине кузова на полу лежало несколько мужчин. Все это были узбеки. Почти неподвижные, с полузакрытыми глазами. У двоих только пальцы перебирали обнажившиеся вверху животы. Это агония, подумала я с ужасом — не видела я этого раньше. Измученная, угасающая человеческая плоть.

Наконец грузовик тронулся.

В нескольких километрах от Ташкента когда-то стоял монастырь. Вокруг него остались земли и до сих пор, как в старом парке, росли большие развесистые деревья. Количество заключенных настолько возросло в конце тридцатых годов, что там решили построить больницу для заключенных. Овцы и козлища были здесь перемешаны:

попадали сюда из тюрем, из лагерей, из пересылок, и уголовные, и политические эки. Теперь на месте, где стоял монастырь, белело шесть одноэтажных корпусов и седьмой поменьше – морг.

...Грузовик едет. На выбоинах нас так встряхивает, что я не надеюсь, что выдержу этот путь. Катька политических презирает и, сидя на своем узелке, не глядя на нас с Мартой, поплеывает семечками.

У меня в ногах лежит молодой узбек в задравшейся рубаше и полу-расстегнутых брюках. Я не могу оторвать глаз от тонких смуглых пальцев, перебирающих впалый живот... от молодого лица, с легшими на него тенями приближающейся смерти.

В воздухе быстро темнеет. Наконец грузовик останавливается. В сгустившихся сумерках пахнет травой, свежестью, над головой листва деревьев, и я вдруг чувствую острую радость, внезапное исцеление сходит на меня. Я жадно дышу... дышу... дышу.

Стенку грузовика откидывают. Короткая команда: «А ну слазить!» Сначала слезают мужчины, потом мы. Двое узбеков остаются лежать. Пальцы молодого – остановились. Оба недвижимы.

– Эй, вы! Сказано слазить! Оглохли, что ли?

Грубый окрик конвоя не может вернуть к жизни тех двоих. Конвоир разъярен. Он тупо видит одно: неповиновение приказу. Одним прыжком он взлетает на машину и наотмашь бьет сапогом одного из лежащих в бок. Тело остается неподвижным. Грязно ругнувшись сквозь зубы, конвоир подкидывает тело ногой, и оно, перевалившись через край грузовика, с глухим стуком падает на землю. За ним – второе. А мы? Мы, все остальные? Пешки, почему мы бесстыдно молчим?

Что пронеслось над этим простым русским парнем? Что заставило его превратиться в это тупое и свирепое существо, потерявшее уважение даже к таинству смерти? Приходят на ум слова Толстого о том, что достаточно оторвать человека от семьи, надеть на него мундир, дать в руки ружье и ударить в барабан, чтобы пробудить в нем душу зверя...

Нас по темной аллее ведут к белеющему вдали дому. Окна его кажутся ярко освещенными. Внутри в большой комнате душное скопище людей. Сидят на скамьях, лежат на полу. Мельканье. Многоязычный говор. Притуляюсь где-то у стены, впадая в полузабытье.

Под утро, когда уже светает, попадаю в кабинет дежурного врача. Мы одни. За столом молодая светловолосая женщина. Прочитав историю болезни – не знаю, какие сведения обо мне у нее есть еще, – она долго и очень внимательно разглядывает меня.

Обследовав меня, она тихо и быстро спрашивает, остались ли родные в Москве. Да, остались. Она кладет передо мной листок бумаги, конверт.

— Кратко сообщите о себе, где вы и куда на ваше имя послать деньги. Быстро. Дежурство кончается, и я должна взять письмо с собой. Я беру вас в свое отделение и сама буду лечить.

Считаю эту встречу с доктором Валентиной чудом. Считаю, что она спасла мне жизнь. Спасла совершенно бескорыстно. Подвергая себя ужасному риску. Она была вольнонаемной. Могла не только потерять работу, сама могла оказаться за решеткой.

Чудо этого письма непонятно мне и поныне. Муж получил его на следующий день!.. Кто-то улетал на самолете в Москву и захватил его. Все, что я могу предположить. Деньги были тут же переведены телеграфом.

В одной и той же стране, в одну и ту же «эпоху», в одних и тех же обстоятельствах, в одном и том же месте два человека одного поколения, одной национальности, различен только уровень культуры, — я имею в виду конвоира, выбросившего ударом ноги тело умершего заключенного из грузовика, и врача, поставившего под удар собственную судьбу, чтобы спасти жизнь такому же заключенному, — действовали противоположно: зверски и милосердно. Насколько прав был Достоевский, говоря о милосердии. Человек всегда и во всем должен помнить, что он человек. Социологи... психологи будут когда-нибудь делать выводы об эпохе «сталинских вакханалий». Я, как ее современник, только вспоминаю и фиксирую. В этих воспоминаниях — долгий путь, по которому мы были обречены идти около полувека. Это — крупинки истории.

Доктор Валентина давно поняла происходившее вокруг. Ежедневно перед ее глазами волочился этот живой поток измученной человеческой плоти. И, пораженные насмерть, не чувствуя за собой вины и чувствуя одну жестокую обиду, эти полумертвые тени людей не теряли своего человеческого достоинства. Они — бесправны, они — пешки. Но внутренне гордые пешки. Валентина научилась читать в их глазах. Все они верили, невзирая на свою растерзанность, на временность происходящего... надо было только в своем обличье продержаться это время разгула большой неправды, *выжить!*

Беспрецедентность происходившего, вызывавшего у большинства только страх и ужас, пробудила в Валентине активное желание помочь им. И она помогала.

Доступа к пришедшим на мое имя деньгам я не имела, но могла по доверенности поручить пользоваться ими кому-нибудь из персо-

нала больничного городка. С помощью их доктор Валентина ежедневно и настойчиво выволакивала меня из доходяг. Она покупала мне масло, сахар, белый хлеб, молоко, фрукты и другие питательные продукты. И я стала возвращаться к жизни. Но все это было позднее, а тогда, после первого осмотра и записки-письма домой, доктор Валентина вызвала санитарку и дала ей распоряжение положить меня в свое отделение. Марта попала в другой корпус, урка Катька – тоже.

Смею ли я забыть, с какой легкой легкостью и простотой доктор Валентина вернула мне великое благо: жизнь.

Узкая длинная комната с окном против двери. Три койки. Две из них пусты, на третьей лежу я. Наслаждаюсь покоем, одиночеством, простынями, подушкой с наволочкой, тишиной... не много нужно после долгих месяцев валяния на голом полу под койкой или на грязном тюфяке на койке в лучшем случае.

Окно открыто. Оно выходит в сад, где большие деревья и кое-где даже цветы. Комната полна утренней свежести, ароматами сада, несмотря на то что окно затянуто мелкой металлической сеткой. Ярко-голубое небо. Кусты в саду залиты солнцем. Одолевает блаженная дрема, и я снова засыпаю.

Проходят дни. Я поправляюсь. Уже начало октября, но ташкентское небо безоблачно. Еще тепло. На солнце даже жарко. Отваживаюсь выходить в сад. На скамьях сидят бритоголовые мужчины с бледными лимонно-бронзовыми лицами. Грубые черные халаты, бязевые рубахи и кальсоны, бронзовые ноги в стоптанных тапках. Очевидно – узбекские коллеги, политические. Но я еще не в состоянии вести разговоры, общаться с людьми...

Под вечер в палате загорается под потолком тусклая лампочка. И она не погаснет всю ночь. С ненавистью смотрю на нее. Не гаснущий по ночам свет был для меня пыткой в тюрьме. И теперь она опять тянет щупальца к моим закрытым глазам. И всю ночь я ее чувствую, хотя и сплю. Когда проем окна начинает синеть, проклятая наконец гаснет, и я засыпаю по-настоящему.

Однажды ночью просыпаюсь от ощущения, что я больше не одна. Открываю глаза. На койке у противоположной стены сидит, подобрав под себя ноги, странное существо. Девушка. Она напоминает выпавшего из гнезда птенца... настороженного и очень больного. Голова склонена набок. Волосы короткими черными сосками торчат во все стороны. Лицо заострилось. Узкие синеватые губы сжаты. На скулах красноватые пятна. Глаза – поражают: черные, блестящие и дикие;

они слегка косят и широко открыты. Вероятно, у безумных должны быть такие глаза – они как бы блуждающие в пустоте звезды, полные вечного мрака.

Бязевая больничная рубашка с рукавами разорвана и, сползая с плеча, обнажает смуглые девичьи груди с острыми лиловатыми сосками.

Ночь. Тишина. Больница спит. Смотрю не отрываясь на этот неподвижный сфинкс передо мной, с пустыми и все же тоскливыми глазами. Проходят долгие минуты... От тоски, неожиданности и непостижимости всего этого бредового видения мне хочется зареветь.

Обхватив колени, девушка начинает раскачиваться, медлительно и равномерно. Хриплый клекот в ее горле нарушает тишину, переходит в заунывное бормотание нараспев. Напряженно вслушиваюсь.

Господи, господи!
Ты сидишь на небе
И не работаешь...
Ох, а я-то, господи,
Всю-то жизнь работала!
А теперь – нет мочи!
Что ж ты меня, господи,
На земле оставил?
Ой, мне тяжело, господи!
Нету больше силы...
Где ты, моя мамушка,
Где, моя заступница?
Отзовись, родимая!

Приступ кашля прерывает ее. Она хватается за грудь. Глаза у нее широко открыты. Особый блеск в их темной глубине погас, теперь они мутны и жалки. И вдруг она вскакивает на кровати во весь рост. Опираясь спиной о стену и затравленно озираясь по сторонам, всхлипывая, зовет:

– Мамонька! Мамонька моя! Ой, игде же ты? – Потом тихо и хрипло добавляет: – Мамонька! Пропадает ведь твоя Маруся... совсем пропадает.

Дрожь сотрясает ее худенькое, жалкое тело.

Я встала. Подошла. Схватила ее обжигающую от жара руку, похожую на птичью лапку, и стала гладить ее и уговаривать лечь. Маруся долго разглядывала меня косящим воспаленным взглядом, склонив набок голову. Потом послушно легла. Накрыв ее одеялом, я пошла и села на свою койку. Спать я не могла. Прошли какие-то мгновения,

и она, снова подняв с подушки острую, в черных сосках голову и хитро глядя на меня, стала манить пальцем. Я подошла.

— А у нас дома поросенок есть! — сказала она скрипучим голосом и подмигнула мне. — Напишешь мне письмо домой? А?.. Напишешь?

— Напишу. Конечно.

— Велю я, мать сала тебе придет в посылке. Не веришь?.. Пра, ей-богу, придет! — добавляет она певуче-заманивающим голосом. — А может, и сама приедет привезет... скучилась я по ней... ох как скучилась... тошнехонько мне, сестрица... не видать мне дома родного... не видать...

Окна начинают синеть. Светает. Лампочка под потолком наконец гаснет. Ложусь и долго еще думаю о Марусе: судьба ее намного чернее моей.

На следующее утро — Маруся еще спала — я вышла в сад и долго ходила по пустынным дорожкам. Потом я услышала крики. Они доносились со стороны моего корпуса. Я поняла, что это буйствует Маруся.

На траве под окном валялись одеяла, простыни, подушки, тощие тюфяки, полотенца, тапки, кружки, миски, ложки, осколки стекла. Все это она выбросила в разбитую ею верхнюю, не затянутую сеткой, фрамугу окна. Сама она металась по подоконнику и что-то выкрикивала.

Марусю увезли. Говорили — в городскую психиатрическую ташкентскую больницу. Известно о ней было только, что она родом из Фрунзе, что сидит по пятьдесят восьмой, что в тюрьме сошла с ума.

Я ее больше никогда не видела. Ничего о ней не слышала. Едва ли она могла выжить: туберкулез, воспаление легких, психическое расстройство.

Недели через три привезли в больничный городок бакинку Антонину Тарасову. С тех пор как мы расстались в больничке доктора Анненкова, она очень изменилась. Устрашала худоба, кожа неестественной белизны, равнодушный тусклый взгляд. Она даже не обрадовалась встрече.

Доктор Валентина поместила ее в мою палату. Часто заходила к ней и, склонившись над койкой, ласково что-то говорила. Антонина отвечала равнодушно и односложно. Она почти не вставала. Часами лежала молча, уставившись глазами в потолок, сумрачная, мучнисто-белая. Когда глаза ее были закрыты, мне казалось, что она мертвая.

Пыталась и я говорить с ней, пробудить ее интерес к чему-то. Предлагала ей то винограду, то яблок, то молока... Но она почти перестала есть, ей ничего не хотелось. Ничто ее не интересовало. В ней все больше чувствовалась полная отрешенность. Не вспоминала свой бакинский горком, друзей, работу, в которой была вся ее жизнь, все ее

интересы. Уже в неволе она подружилась с молодой и очень красивой грузинкой, носившей прозвище или имя Бабуля, очень не подходившее к ней. В больничке на Ташлагпункте Бабуля навещала ее. Мне запомнилось, как они часто упоминали имя старухи Мусабековой – матери члена правительства Мусабекова, тоже находившейся здесь, в Ташлагпункте.

Однажды ночью я сквозь сон слышала, как в палату входили и выходили. «Ночной обход...» – подумала я и только повыше натянула на себя одеяло, защищаясь от света ненавистной лампочки под потолком, и снова заснула.

Наутро койка Антонины оказалась пуста. Вскакиваю с постели. Рванув дверь в коридор, остаиваюсь на пороге. То, что я увидела, до сих пор перед глазами и, наверное, не исчезнет уже никогда.

На темном крашеном полу у противоположной стены коридора лежит мертвое тело. В полутьме оно холодно белеет мраморной наготой. Левая рука откинута в сторону. Раскрытая кверху ладонь как будто еще просит о чем-то. Решетка ребер, обтянутая меловой кожей. На левой ноге, на щиколотке, – бирка, подвязанная обрывком веревки. На ней безграмотные фиолетовые каракули: пропуск в седьмой корпус, а оттуда – в общую яму.

У гипсово-белого тела мертвой Антонины вновь вижу черную тень «человека», с маниакальной жестокостью и равнодушно шагающего по трупам в слепой вере тянувшихся к нему жертв. Вижу дикий путь Антонины из бакинского горкома в общую яму. Солдаты на войне тоже ложатся в общие ямы, но это братские могилы. Они освящены уважением. Над ними звучат салюты. Возле них – скорбь родных и близких. Нагое тело Антонины ждет совсем другая яма. В нее сваливают отбросы общества: убийц, бандитов и нас, «врагов народа»...

Стою над Антониной, склонив голову перед великим страданием, и во мне неистовое желание – жить!

ГАЛИНА ЗАТМИЛОВА



С Галиной Ивановной Затмиловой я познакомилась на Чукотке в поселке Певек, куда как молодой специалист была направлена из Ленинграда.

В многолюдном номере гостиницы сквозь головную боль и дрему я услышала разговор об итальянском кино. Говорила, как выяснилось позже, Галина Ивановна. Неореализм итальянцев был для нас тогда (в середине 50-х годов) глотком свежего воздуха. Промолчать было невозможно. С первой моей фразы установился контакт и началась моя дружба с Галиной Ивановной, которая оборвалась лишь с ее смертью в 1982 году.

Полной и последовательной биографией ее я, однако, не располагаю, поскольку говорила она обычно о событиях и впечатлениях, имеющих определенное общественное значение.

Родилась Галина Ивановна в семье мелкого чиновника в 1906 году в Саратове. Училась в Уральском политехническом институте в Свердловске. В 20-е годы была активной комсомолкой, но в период коллективизации, видя крестьян, согнанных с родной земли целыми семьями, лишенных крова, самого необходимого имущества, она вернула свой комсомольский билет в райком комсомола. Перечисляя свои обвинения «сталинскому руководству», она

ставила всегда на первое место не репрессии 30-х годов, с которыми были связаны ее собственные страдания, а это безжалостное разорение истинных хозяев земли.

Замужество Галины Ивановны и последовавший затем переезд в Уфу, где отбывали ссылку в 30-х годах некоторые деятели бывших политических партий, ознаменовали новый значительный период ее жизни. Не будучи сама членом партии левых эсеров, Галина Ивановна, благодаря свойственным ей социальным интересам, доброжелательности, глубокой порядочности, органически вошла в круг последних представителей когда-то господствовавшей в революционном движении в России народнической идеологии.

Центром этой среды были бывшие лидеры партии левых социалистов-революционеров: И. К. Каховская и М. А. Спиридонова, А. А. Измайлович, И. А. Майоров... Они, как и все их окружение, находились вне политической и общественной деятельности, хотя и успешно работали в советских учреждениях. Весь облик этих людей, их этические представления, высокий уровень культуры, требовательность к себе, большая терпимость и внимание к людям, твердые жизненные принципы, их революционное прошлое – все это оказало сильнейшее влияние на жизнь Галины Ивановны.

Особенно близкая дружба связала ее с Ириной Константиновной Каховской. «Еще до знакомства с нею, по рассказам мужа, – писала Галина Ивановна, – она представлялась мне сочетанием всего самого лучшего, самого светлого, что может быть в человеке. Узнав ее лично, я не только не изменила своего отношения к ней, наоборот, ее образ вошел в мою жизнь навсегда, до моей смерти».

Арестованы все они были в феврале 1937 года. Встретиться с мужем, П. А. Егоровым, Галине Ивановне больше не пришлось. Но с Ириной Константиновной судьба свела ее в одной камере на четыре месяца. А через 19 лет они снова нашли друг друга. Пересылая Галине Ивановне посвященные ей стихи, Каховская писала: «Это я сочинила, когда увезли Вас от меня, и никогда не думала, что Вы сможете прочесть... Как я счастлива, что Вы живы и благополучны... – И далее спрашивала: – Как у Вас с реабилитацией? Ведь Вы легко можете ее получить, потому что никогда не занимались никакой политикой и не принадлежали ни к каким организациям».

Галине Ивановне «повезло». После десяти лет заключения она не получила второго срока. Однако уезжать с Колымы не захотела сама. Нигде в России ее не ждали.

На Колыме вышла замуж за отбывшего свой срок раскулаченного крестьянина. В 1957 году уехала с ним к его родне в Рубцовск, где помогала мужу воспитывать его племянников.

После смерти Ирины Константиновны и мужа Галина Ивановна стала проводить все летние сезоны у друзей в Москве и в Ленинграде, выезжала со мной

в полевые геологические партии, где даже в трудных условиях высокогорья работала поварихой.

В часы отдыха Галина Ивановна читала нам на память стихи Николая Гумилева, Игоря Северянина и других поэтов, которых в 60-е годы мы еще почти не знали.

Она, как и большинство людей близкой ей судьбы, сохраняла остроту критического мышления и умение радоваться любым прогрессивным явлениям социальной жизни.

Наталья Громова

ПРИНАДЛЕЖАТ ИСТОРИИ

Трудно мне начать эти воспоминания. Я ясно отдаю себе отчет в том, что у меня нет не только литературного таланта, но даже способности представить людей, имена которых принадлежат если не истории нашей страны, то истории революции. Но сознание того, что я осталась почти одна из тех, кто их знал (кроме Берты Александровны Бабиной¹), любовь и уважение к ним заставляют меня начать записи.

Начну с моей первой встречи с одним из тех, кто был близок к кругу этих людей.

В июле 1930 года я приехала на работу в город Шадринск Уральской области. До того я жила в Свердловске, была комсомолкой, была замужем. И замужество, и комсомол принимала серьезно, пожалуй, комсомол даже серьезнее, и мне казалось, что я счастлива.

Осенью 1929 года я оказалась на Аромильской суконной фабрике в качестве заведующей школой ликвидации безграмотности (ликбез). В это время уже шла коллективизация, следовательно, и раскулачивание.

Непосредственного отношения к коллективизации я не имела, так как сельсовет и фабрика принадлежали к различным ведомствам, но там я увидела, что такое коллективизация и раскулачивание на самом деле. До этого времени серьезных расхождений с политикой, проводимой нашим правительством, у меня не было, хотя трещины уже были.

Надо сказать, что дискуссии 1927 года не очень глубоко задели меня: в принципиальные споры я пускаться не могла – не была достаточно компетентна в этих вопросах, да и не очень много принципиальных вопросов поднималось у нас, комсомольцев. Дискуссии проходили больше по ячейкам, общего собрания всего коллектива я не помню. Конечно, резолюция всегда была за генеральную линию. Сразу после окончания месячника дискуссии собирались общие собрания ячеек, и всех оппозиционеров исключали из комсомола

и из партии. Мне тогда это казалось справедливым, более того, я думала, что быть в организации, программу которой ты не разделяешь, невозможно. Потом их исключили из института. Вот уж с этим я была совсем не согласна. Так появились трещины в моем комсомольском мировоззрении, но все же я была еще далека от трезвого понимания происходящего в стране настолько, что, когда ко мне пришел товарищ, которого я очень уважала, и сказал: «Ты знаешь, где наши ребята, которых исключили из института? Они все в Верхне-Уральском политизоляторе», я ему сердито ответила: «Ты мне таких вещей никогда не говори: я этому все равно не поверю!»

Но раскулачивание и коллективизацию я увидела собственными глазами, и они на меня произвели страшное впечатление, хотя, как я потом узнала, они в Аромильском сельсовете проходили более мягко, чем в других местах. Но эти толпы людей, выгнанных из их домов, дикие вопли женщин, плач детей — все это было так ужасно, что я долго не могла прийти в себя. Я подала заявление о выходе из комсомола. Ни осуждение товарищей, ни сознание того, что я уйду в пустоту, не изменили моего решения. Меня исключили. После большого любимого коллектива я осталась одна, а тут подошел развод с мужем, который назревал уже некоторое время. Я не могла оставаться в Свердловске и уехала в Шадринск. После шумной комсомольской жизни, после постоянных споров, рассуждений, какая будет жизнь при социализме (мы не сомневались, что она будет хорошая, главное — справедливая), да еще после развода с мужем я чувствовала себя очень одиноко.

Однажды ко мне подошел молодой человек, мы разговорились. Я спросила его:

— Вы член партии?

Он пристально посмотрел на меня и ответил:

— Не коммунистов.

Для меня это был гром среди ясного неба. За все время моего пребывания в комсомоле я ни разу не задумалась о том, куда девались все политические партии, существовавшие до Февральской революции и после Февральской до Октябрьской революции. Услышав такой ответ, я как-то даже растерялась и спросила:

— Как же так?

Он, не скрывая насмешки, посмотрел на меня и сказал:

— Что же вы думаете, что те партии, которые существовали до революции и в период революции, сквозь землю провалились, что ли?

Я не обиделась на насмешку, я ее словно не заметила, меня охватил огромный интерес, я хотела узнать все: кто он, к какой партии принадлежит, как очутился в Шадринске.

Оказалось, он принадлежал к партии социалистов-революционеров (эсеров), организовал студенческий кружок, за что и попал в ссылку, звали его Аркадий Степанович Петров.

Однажды я зашла к нему и застала у него еще двух человек. Один из них, рекомендуясь, сказал:

– Егоров Павел Александрович.

Аркадий добавил:

– Левый эсер.

Я опустилась на стул и сказала:

– Ой, я совсем запуталась, ничего не понимаю. Эсеры, левые эсеры, анархисты, максималисты – голова кругом идет!

– Не беспокойтесь, – сказал Аркадий, – Павел Александрович вам все о себе расскажет.

Потом Павел действительно рассказывал мне о себе. От февральской до Октябрьской революции он жил в Казани, где до этого учился в семинарии, которую окончил без последних двух богословских классов. Поступил в Казанский университет. В партию левых эсеров вступил в 17 лет, в конце 1917 года, и остался ей верен до смерти.

Для меня было большой неожиданностью его объяснение в любви.

– Галина Ивановна, я очень вас люблю и все для вас сделаю, но свое положение ссыльного я сам менять не собираюсь. Я буду ходить по тюрьмам и ссылкам до тех пор, пока наша власть не изменится настолько, чтобы перестать преследовать инакомыслящих. – Помолчав, он добавил: – Жен у нас в тюрьму не сажают, но передачу им носить приходится.

11 января 1931 года мы поженились, а через два-три дня Павлу пришел «минус»...*

...И Павлу и мне казалось просто невыносимым поехать в город, где нет товарищей, а они были разбросаны главным образом по местам северным, отдаленным, куда ехать, конечно, не хотелось... Написали письмо Н. Железнову, прося совета и какого-нибудь адреса. Николай писал, что он точно не знает, но, кажется, «старики» из Ташкента переведены в Уфу, он советовал поехать к ним. Под «стариками» подразумевались четверо, которых ГПУ не разделяло уже с самаркандской ссылки, переводя из одного города в другой всех вместе. Это были Мария Александровна Спиридонова, Ирина Константиновна Каховская, Александра Адольфовна Измайлович и Илья Андреевич Майоров².

* «Минус» – запрещение жить в целом ряде городов страны. Мог быть минус столичные, областные и прочие города, где не давали прописки. – *Прим. автора.*

У нас совсем не было уверенности в том, что в Уфе мы найдем кого-нибудь из товарищей, но и выбора у нас не было тоже, и мы тронулись в Уфу³.

В городе мы обратились в адресный стол и узнали адреса Каховской и Спиридоновой.

Время подошло к четырем часам, а рабочий день служащих тогда кончался в три – в половине четвертого часа, и мы двинулись к Марии Александровне.

Мария Александровна и Илья Андреевич жили в большой коммунальной квартире. Мы вошли в длинный коридор и после яркого солнца шли по нему почти ощупью. Но вот приоткрылась одна из дверей, и из нее вышла маленькая хрупкая женщина. Бегло взглянув, Павел сказал:

– Здравствуйте, Александра Адольфовна.

Женщина пристально посмотрела на него и ответила вопросом:

– Вы Паня Егоров? Я вас узнала по фотографии, которую вы нам прислали из Чердыни.

– Нет, – ответил Павел, – мы с вами встречались в Москве.

Разговаривая, мы вошли в комнату. Навстречу нам поднялась женщина невысокого роста, молодая и красивая. Бросался в глаза прекрасный цвет лица с ярким румянцем, большие серые глаза и толстые косы, уложенные на голове короной. Это была Мария Александровна. Я была поражена ее видом: по дороге в Уфу Павел говорил мне, что если «старики» и окажутся в Уфе, мы ходить к ним часто не будем, чтобы их не беспокоить, так как Мария Александровна очень больна: шесть месяцев она была в Ялте, в санатории, куда ее из Ташкента увезли в лежачем состоянии, после того как в заграничных журналах появились статьи, что Спиридонова умирает в Ташкенте от туберкулеза, а ей не разрешают выехать в Крым для лечения. Естественно, что я приготовилась увидеть худую, болезненного вида женщину.

В комнате был Майоров – высокий, широкоплечий мужчина, немало грузноватый, с большой бородой, в которой уже было немного седины, с такими же волосами, подстриженными в кружок. Может быть, борода, может быть, стрижка придавали ему вид крестьянина, чему очень способствовал его окающий говор. У Павла был такой же, и потом я всегда с большим удовольствием слушала, как они втроем – третий был Лева, сын Ильи Андреевича, – оживленно разговаривали, окая.

Потом появилась Ирина Константиновна. Она была высокая, сутуловатая. Выглядела старше своих лет, хотя и была моложе Марии

Александровны. Ее необычайно красили мягкая, добрая улыбка и глаза. Встретили нас очень радостно, все говорили, что они в Уфе очень одиноки, что им очень скучно без товарищей.

Ирина Константиновна Каховская родилась в 1888 году, отец ее умер, насколько я помню, когда она была еще совсем маленькой, во всяком случае, я никогда не слышала от нее никаких воспоминаний об отце. Зато о матери (Августе Петровне) Ирина Константиновна говорила много и часто: вся ее жизнь была неразрывно связана с матерью, все у них было вместе, вся революционная деятельность Ирины Константиновны была известна ее матери, и, когда дочь сослали на каторгу, мать поехала следом за ней.

Судили Ирину Константиновну за принадлежность к «Союзу максималистов»⁴. По царским законам за участие в боевой террористической организации полагалось восемь лет каторги. Она не отрицала, что состоит в союзе максималистов, что ведет пропаганду, но ей еще предъявили обвинение в террористическом акте, о котором Ирина Константиновна даже не знала. Военный суд состоял из трех человек: председателя и двух членов. Председателем был генерал Комаров (за точность фамилии не ручаюсь). Он предлагал восемь лет каторги, так как участие в теракте считал недоказанным, но члены суда настояли на двадцати годах.

Каково же было удивление Ирины Константиновны, когда спустя шесть с половиной лет начальник каторги сообщил ей о ее освобождении. Ни она, ни ее мать о пересмотре дела заявления не подавали. Что же произошло? Оказалось, что председатель суда, конечно убежденный монархист и враг революционеров, только в силу чувства справедливости сам возбудил дело о доследовании, которое доказало непричастность подсудимой к теракту. Из восьми лет ее срока полтора года были сброшены вследствие амнистии, объявленной в честь рождения наследника Алексея.

Этот случай хочется сравнить с судом надо мной Военной коллегии в 1937 году, когда председательствующий задал мне один-единственный вопрос: знала ли я, когда выходила замуж за Егорова, что он левый эсер. Я ответила, что знала. Меня осудили на десять лет тюремного заключения. Я, конечно, отбыла весь срок и была реабилитирована только в 1957 году, то есть спустя десять лет после окончания срока. Как изменились понятия о чести и справедливости за тридцать лет!

Возвращаясь к моим воспоминаниям об Ирине Константиновне. Пока она отбывала каторгу в Мальцевской тюрьме, ее мать жила

близко, на руднике, где давала уроки детям местных жителей. Население рудника относилось к ней очень хорошо, и, когда она каждую субботу ехала на свидание с дочерью, ее коляска всегда была доверху наполнена разными продуктами, которые ей приносили люди, жившие на руднике. Люди эти отнюдь не были революционерами, но все, и богатые, и победнее, считали долгом хоть иногда помочь людям «в неволе». Потом женскую каторгу перебросили в Акатуй, поблизости от которого не было ни одного поселка, в котором могла бы поселиться Августа Петровна (в самом Акатуе ей поселиться не разрешило тюремное начальство), и ей пришлось поехать в Читу. Там она и дождалась освобождения дочери.

В Чите Ирина Константиновна стала работать в детском садике, который был организован для детей солдаток, мужа которых были взяты на войну. Она считала это время самым счастливым в своей жизни. Иногда она говорила, что, если бы жизнь в нашей стране была устроена более справедливо, она никогда бы не занималась ничем, кроме работы с детьми. После Февральской революции она активно включилась в организационную работу.

Часть женщин, ехавших с каторги, задержалась на некоторое время в Чите, среди них была и Мария Александровна, потом она с Ириной Константиновной поехала в Петроград.

Там они сразу примкнули к левому блоку партии эсеров, который потом стал называться партией левых социалистов-революционеров⁵. После Брестского мира, с которым Ирина Константиновна была абсолютно не согласна^{*}, она поехала на подпольную работу на Украину. В Киеве вместе с Борисом Донским⁶ она организовала покушение на Эйхгорна, заместника кайзера на Украине. Борис Донской, убивший Эйхгорна, был арестован раньше Ирины Константиновны. Ее взяли через несколько дней после него на той самой даче под Киевом, где велась вся подготовительная работа. Ирина Константиновна и несколько товарищей шли друг за другом ночью в полной темноте. Она шла первая, так как считалось, что она лучше всех знает дорогу и не произведет никакого шума. Но на даче была засада, и, как только она вошла в дверь, ее сразу схватили, остальным удалось бежать.

Следует отметить, что розыски по делу Эйхгорна вела не немецкая, а белая контрразведка, и Ирина Константиновна и Борис Донской сразу попали в руки белых офицеров.

^{*} По рассказам Марии Александровны и Александры Адольфовны, мнения по этому вопросу расходились тогда не по партийным линиям, а внутри партий, так Александра Адольфовна говорила, что наиболее потрясены Брестским миром были два человека: Н. И. Бухарин и И. К. Каховская. — *Прим. автора.*

Каким пыткам подвергали Бориса, сказать не могу, так как этого не знала и Ирина Константиновна, знала она только то, что к виселице он шел с трудом, говорили, что у него была сорвана кожа ног, но что это была только часть мучений, которым он подвергался. О Борисе ей рассказал спустя некоторое время немецкий солдат, он же дал ей фотографию уже повешенного Бориса.

Сама Каховская тоже после первого формального допроса была отдана в руки палачей, которые начали с того, что сорвали шомполами кожу со спины, а когда это не дало желаемых результатов, начали втыкать иголки под ногти. Должна сказать, что Ирина Константиновна неоднократно говорила, что только на Украине она увидела всю жестокость и низость белого офицерства. Это не потому, что они ее подвергали пытке, а потому, что все поведение офицеров и юнкеров было ужасным. Она рассказала, что однажды ей пришлось наблюдать следующую картину: на террасе небольшого домика сидела семья евреев и пила чай, на тротуаре играл ребенок лет трех, по всей вероятности из этой семьи.

Мимо проходила группа юнкеров, как всегда, с шомполами в руках; один из юнкеров отшвырнул ногой ребенка с тротуара, на террасе вскрикнула женщина и бросилась к ребенку. Может быть, она крикнула что-нибудь оскорбительное (кто бы мог удержаться!), во всяком случае, через полчаса от людей, сидевших на террасе, остались изуродованные трупы, а от мебели — поломанный стол и разбитая посуда. С особенным отвращением говорила она о юнкерах, которые отличались своей наглостью и жестокостью. Они так и ходили по городу по нескольку человек, подходили к какой-нибудь группе людей, собравшихся в силу каких-нибудь причин, и спрашивали: «А что, жидовским духом здесь не пахнет?»

На другой день после пытки в камеру Ирины Константиновны вошел немецкий полковник. Может быть, он уже знал о ночном допросе, а может быть, внешний ее вид обратил на себя его внимание, во всяком случае, он сказал: «Фрейлейн, это больше не повторится. Мы вас осудим и расстреляем, как полагается по нашим законам». Действительно, пыток больше не было. Через некоторое время Ирину Константиновну взяли на суд и, конечно, приговорили к расстрелу. Как-то утром весь коридор тюрьмы наполнился немецкими солдатами. Ирину Константиновну уже вывели из камеры, и она стояла, окруженная солдатами, как вдруг появился тот же немецкий полковник и сказал, обращаясь к ней: «Ваш расстрел придется на время отложить, так как по нашим законам смертный приговор для женщины должен быть утвержден кайзером. Но кайзер, конечно,

его утвердит!» Приговор послали на утверждение, а пока он путешествовал, в Германии произошла революция и кайзер отрекся от престола. Немецкие войска были выведены с Украины, место Скоропадского занял Петлюра, который до этого сидел в той же тюрьме, что и Каховская, только в другом коридоре. Тогда Петлюра писал ей восторженные записки, восхищался ее героизмом, а когда пришел к власти, вместо того чтобы освободить, перевел ее в Лукьяновскую тюрьму.

Ирина Константиновна была человеком, не легко раскрывающим свою личную жизнь другому, только один раз за все время общения со мной она приоткрылась: рассказывая мне о казни Бориса Донского, она сказала, что надеялась, что их казнят вместе, и очень этого хотела, добавив: «Ведь для меня Борис был тем же, чем для вас является Павел!» Тогда я тоже безумно хотела увидеть Павла, хоть на пять минут, и мне было понятно, каково было Ирине Константиновне в то время.

Между тем товарищи в Москве, уже знавшие о казни Бориса, совсем потеряли из вида Каховскую. По решению комитета два человека — Надя Терентьева и, кажется, ее муж — перешли через фронт и, добравшись до Киева, принялись разыскивать Ирину Константинову. Прежде всего они обратились в официальные инстанции. Там им ответили, что Каховской в тюрьмах Киева быть не может, так как власти высоко оценили ее помощь в борьбе за освобождение Украины от немцев и она, разумеется, освобождена.

Приехавшие товарищи прекрасно поняли, что это только красивые слова, и решили действовать неофициально. Они разузнали адреса всех тюрем Киева (и постоянных, и временных) и начали ходить по ним прямо с передачей. В Лукьяновской тюрьме у них передачу приняли, тогда они стали добиваться у тюремного начальства свидания, которое в конце концов им дали. Ирина Константиновна рассказывала мне, что, увидев в комнате свиданий Надю, она решила, что у нее галлюцинации, что Надя ей только видится, но Надя бросилась к ней и начала ей торопливо говорить, что они делают все возможное и невозможное для ее освобождения, что дело трудно поддается, потому что власти ни за что не хотят сознаться, что она в тюрьме, но так или иначе они добьются своего.

Каховская сидела в камере, где были еще три женщины, две какие-то белогвардейские дамы, а третья — коммунистка Галя. Красная Армия была в это время на подходе к Киеву, армия Петлюры разлагалась на глазах, и каждую ночь пьяные гайдамаки врываются в коридор женской тюрьмы и требовали у надзирательницы ключи от камер.

Надзирательница, прятавшая предварительно ключи, божилась всеми богами, что ключи ей на ночь не оставляют и открыть камеры она не может. Тогда пьяная орда брала скамью, стоявшую в коридоре, и пробовала выбить двери, но скамьи оказывались менее прочными, чем двери старинной Лукьяновской тюрьмы, и гайдамаки, отчасти уговоренные надзирательницей, уходили. Так вот и жили заключенные женщины под страхом жуткой расправы.

Однажды Ирину Константиновну утром вызвали в коридор, где ее ждал мужчина, который назвался помощником начальника тюрьмы. Он сказал ей, что после полудня ее освободят, но он очень советует ей скрыться где-нибудь и на улицах не показываться. Придя в камеру, Ирина Константиновна рассказала все Гале, но та, не поверив в освобождение, буквально умоляла ее не уходить из камеры, уверяя, что ее обязательно убьют. Все же Каховская договорилась с Галей, что если у нее все будет благополучно, то она принесет Гале передачу: свою серенькую кофточку и пирожки.

После обеда Ирину Константиновну вызвали из камеры, тот же помощник начальника ждал ее в коридоре, он же и вывел ее из тюрьмы, около которой ее ждали Надя с мужем. Несмотря на настойчивый совет своего освободителя, Ирина Константиновна сходила по адресу, данному ей Галей, где встретила Косиора⁷, которого она убеждала любой ценой извлечь Галю из тюрьмы. Косиор ей отвечал, что освобождение Киева – вопрос нескольких дней, максимум недели, тогда все будут свободны. После взятия Киева Ирина Константиновна пошла к тюрьме, но в ней уже никого не было, – отступая, войска Петлюры позаботились об «освобождении» заключенных. Повинуясь тяжелому предчувствию, Каховская пошла в морг и среди массы трупов разыскала Галин. Он был очень изуродован, но узнать Галю было можно, к тому же она была одета в серенькую кофточку Ирины Константиновны.

Я потом спросила у нее: как же устроили ее освобождение? Она ответила, что товарищи достали поддельный ордер, но что помначальника знал об этом и пошел на риск. Многие товарищи в Москве считали, что она погибла, так же думала и ее мать, от нервного потрясения у нее отнялись ноги. И вот, больная, потерявшая дочь, в которой у нее была вся жизнь, она написала в комитет партии левых эсеров, что хочет хоть немного, насколько сможет, быть полезной той партии, в которой состояла ее дочь, и просит комитет дать ей какое-нибудь поручение.

Должна сказать, что Ирина Константиновна написала подробную статью о деле Эйхгорна, и она была издана в Берлине. Ромен Роллан

прислал ей письмо, в котором, помимо своего глубокого уважения, выражал удивление и восхищение той объективностью, с которой была написана эта статья. Он писал, что дар такой объективности присущ только русским. Ирина Константиновна очень высоко ставила Ромена Роллана как писателя, однажды в разговоре о нем она сказала: «Ромен Роллан — это французский Толстой». Я тогда не сказала ей, постеснялась, что мне Ромен Роллан ближе, чем Толстой. Это письмо находилось у Ирины Константиновны до ее ареста в 1937 году.

О своей второй поездке на Украину Ирина Константиновна мало рассказывала мне⁸, думаю, потому, что поездка не удалась, так как она заразилась сыпным тифом и возвращалась в Москву уже совсем больная, в бредовом состоянии. Помню только несколько эпизодов из ее рассказа. Ей приходилось в силу конспирации выступать в различных ролях. То она была женой белого офицера, то учительницей иностранных языков, то женой ломового извозчика (в этой роли мне очень трудно было представить себе ее, хотя она и говорила, что ни ее наружность, ни ее поведение не вызывали ни у кого не только недоверия, а даже удивленного взгляда).

Когда Ирина Константиновна изображала учительницу иностранных языков, у нее была квартира из двух комнат и кухни. Неизвестно по какой причине, дворничиха этого дома невзлюбила ее и часто шипела ей вслед злые слова, вроде: «Антиллегенты тут всякие... Вот доберутся до вас, будете знать!..»

По городу упорно шли слухи, что намечается еврейский погром, даже называлось число. Естественно, что в квартире Ирины Константиновны, расположенной в фешенебельной части города, спряталось довольно много товарищей. Они затаились во второй комнате, которая должна была считаться ее спальней. Сама Ирина Константиновна расположилась за рабочим столом в первой комнате. На двери в квартиру была прибита медная дощечка с фамилией, именем и указанием профессии.

Часов в 11 звонок в дверь. Ирина Константиновна открывает и видит перед собой группу военных. Один из них на плохом английском языке просит извинения за вторжение и продолжает уже на русском, что он надеется, что в этой квартире «жиды» не спрятаны. Ирина Константиновна приглашает их войти, предлагает чай (на английском языке) и говорит, что она одна. Военные еще раз извиняются и уходят. От сердца отлегло, она идет во вторую комнату и говорит, что, кажется, пронесло. Вдруг опять резкий, настойчивый звонок, и в дверь буквально врывается «злая» дворничиха, бросается на шею Ирине

Константиновне и, плача, говорит: «Пронесло!.. А уж я то вся издрожалась, думаю, найдут у вас, всех порубают!»

Второй эпизод: у Ирины Константиновны был паспорт на имя жены белого офицера по фамилии Ценгари, паспорт был не липовый, а настоящий. Собираясь уезжать из города, она стояла в очереди на вокзале за билетом. Очередь была огромная, был составлен список; перед открытием кассы делают переключку. В ответ на названный номер Каховская называет фамилию, стоящую в паспорте. Вдруг она видит, что к ней, активно расталкивая толпу, направляется офицер. Немного не добравшись до нее, он кричит: «Евгения Константиновна, Евгения Константиновна, а где Владек?» Она, понимая, что скрыться уже невозможно, отвечает: «Я не знаю, я его разыскиваю, вот еду в... думаю, что найду его там». — «Да он здесь, он здесь, я его сейчас разыщу и приведу к вам, он тоже на вокзале!» Тогда Ирина Константиновна просит офицера подержать ее жакет и большой белый платок, говоря, что пойдет и приведет себя хоть немного в порядок, и с маленьким чемоданчиком, который она не выпускала из рук, выходит через туалет из других дверей вокзала.

Я не могу удержаться от вопроса: «Ну как же вы не побледнели?» «Ну не побледнела», — ответила она.

Потом еще Ирина Константиновна рассказывала, как она приехала в какой-то город поздно вечером, думая, что еще успеет дойти в назначенное ей место до патрульного обхода. Но, поняв, что она ошиблась, присела на какое-то крылечко, надеясь, что, если появится патруль, она успеет шмыгнуть в калитку. Вдруг к ней подошла женщина, сильно накрашенная, и спросила, почему она здесь сидит. Она ответила, что только что приехала и что ей негде жить. «А ты пойдешь со мной, я тебя проведу, там меня швейцар знает и пустит. Ты молодая, понравишься еще, и деньги будут, и закуска всякая!» Ирина Константиновна, не возражая, сказала, что сегодня хорошо бы выспаться, чтобы выглядеть получше, а вот завтра можно пойти. Женщина повела ее к себе (она жила в этом дворе) и уложила спать на полу, а утром Каховская, как бы идя за покупками, ушла из дома.

О детстве своем Ирина Константиновна вспоминала очень тепло, никогда не высказывала сожаления, что воспитывалась в Институте благородных девиц, считала, что образование, полученное ею там, было отнюдь не хуже того, которое она получила бы в любой классической гимназии.

На каторге было, конечно, очень много тяжелого, особенно беспокоилась она о товарищах, ведь с наступлением реакции ужесточился режим каторги и начальство принялось отнимать те немногие

свободы, которые были добыты тяжелой борьбой заключенных. Но на каторге все женщины были вместе, и это давало им огромную силу и радость.

Я много читала по истории каторги (журналы «Каторга и ссылка», «Былое», сборник «На женской каторге», в котором есть статья И. К. Каховской, брошюру М. А. Спиридоновой о Егоре Сазонове и его смерти и еще много других книг), но должна сказать, что когда я сравниваю царскую каторгу с «тюрьмой особого назначения», в которой я провела год, и лагерь на Колыме, где я отработала семь с половиной лет (отнюдь не худший в системе ГУЛАГа), то женская каторга мне кажется детской игрушкой в сравнении с тем, что выпало на долю арестанток после 1937 года.

Начнем с тюрьмы. Мы сидели с окнами, задраенными почти до верха щитами, и дневной свет проникал к нам через узкую щель, прогулка длилась пятнадцать минут (должна была длиться тридцать, но с переходами, с ожиданиями в коридорах на долю действительной прогулки не всегда оставалось пятнадцать минут), книги давались в очень ограниченном количестве (камера из трех человек получала три книги на десять дней), общения никакого, и обыски, личные обыски! Такие обыски переживать каждый месяц (иногда чаще) было невыносимо тяжело. Я умела заставить себя не реагировать на волчок, на то, что бумажки для туалета нам выдавали надзиратели-мужчины, строго по одной, на то, что, идя из бани, я должна была поддерживать штаны и юбку рукой, так как личного белья у нас не было, но после обыска я бывала больна несколько дней.

Для иллюстрации расскажу, что моя сокамерница Елена Рубинштейн во время обыска сказала, что у нее менструация. Обыскивающая ничего не сказала, но на другой день Елену увели в карцер, где она пробыла пять суток за отказ от обыска.

До революции на женской каторге каторжанки работали на тяжелой работе (обслуга всей тюрьмы, включая подвозку воды, дров, чистку помойных ям, стирку, топку тюрьмы и бани), но они сами распределяли свою работу: здоровые работали на самой тяжелой работе, женщины среднего здоровья делали более легкую работу, больные не работали совсем. Книг у каторжанок было достаточно для получения самого высокого образования, толстые журналы они получали, правда, с годичным опозданием, посылки могли получать без ограничения. Каждая имела право выписать продукты на 4 руб. 40 коп. в месяц. Эту выписку не всегда удавалось использовать целиком – на всех не хватало денег, но все у них распределялось поровну, а слабые и больные получали особый паек. Кажется, они совсем не получали сахара

и мыла, им приходилось выписывать их не только для себя, но и для уголовных каторжанок, так как они не могли не поделиться с ними такими необходимыми вещами. С уголовницами они жили отдельно, но всегда чем могли помогали им. Конечно, у политических каторжанок было сильное недоедание, но хлеб у них оставался всегда (из него делали квас), каши тоже было достаточно, не хватало жиров, сахара, витаминов, но никто у них не доходил до того, чтобы хлеб был пределом мечтаний, как для абсолютного большинства лагерниц Колымских лагерей.

Помню, после начала войны меня и других тюрзачек* направили на разные мелкие командировки**, где мы работали только на лесоповале и кайловке. Паек у 1-й категории был 500 г хлеба и два раза в день щи из черной капусты, в обед каша, на которую по норме полагалось 11 г крупы. Некоторое время я работала, конечно, нормы не выполняла, но по справке врача получала 1-ю категорию (какое-то время по справке врача не выполняющим норму давали 1-ю категорию), но не более чем через месяц я уже работать совсем не могла, только добиралась до леса и там садилась у костра.

К счастью, производственному начальству удалось добиться возвращения тюрзачек в зону главного лагеря. Нас вывели двенадцать человек: восемь с молфермы и четверых с агробазы. Молфермовки еще держались, поскольку им товарищи иногда могли послать овес или что-нибудь из комбикорма, а наши товарищи ничего послать нам не могли, так как сами были голодные. Конвоир, окинув нас критическим взглядом, сразу отделил молфермовок и сказал: «Ну, стройтесь, и пойдём. А вы, — обратился он к нам, — идите как хотите». Вот мы и шли «как хотели», едва передвигая ноги, но не садились, потому что знали, если сядем — не встанем. Все-таки тринадцать километров мы прошли и пришли в зону, хотя значительно позже тех восьми человек, которые шли с конвоиром.

И все-таки женский лагерь был санаторием по сравнению с мужским. Но вернусь к нашей жизни в Уфе.

К осени 1933 года Ирине Константиновне удалось снять довольно большую квартиру в очень стареньком, ветхом домике, стоящем над спуском к Белой, а мы поселились прямо на берегу реки. Часто, возвращаясь домой с работы, мы проходили мимо их дома и, конечно, не могли удержаться, чтобы не зайти хоть на полчасика.

* *Тюрзачки* — заключенные, имевшие по приговору тюремное заключение, считались особо опасными и использовались на тяжелых работах.

** *Командировка* — лагерный пункт в стороне от основной зоны.

В квартире этой обосновалась целая коммуна: сама Ирина Константиновна, Александра Адольфовна, Николай Подгорский и семья Новиковых (Елена Моисеевна с сыном Сережей и дочерью Анной), которым она отдала самую большую комнату. У Александры Адольфовны была крохотная, но зато самая теплая комната: в нее выходила большая русская печь. В своей комнате Ирина Константиновна поселила и Леву (Майорова), образование которого она целиком взяла на себя. Пока Новиковы оставались в Уфе, Ирина Константиновна занималась также и с Анной, Мария Александровна и Илья Андреевич остались в прежней комнате, но обедали в коммуналке, сразу же после работы шли туда. За обедом собиралось много народу, было шумно, весело, совершенно естественно, что нас тянуло туда. По выходным дням к обеду приходил Борис Белостоцкий, Фишель, кто-нибудь еще забредал. Было так уютно, ласково и дружно, что уходить не хотелось, и обеды, и послеобеденные часы затягивались до глубокого вечера. Думаю, что, несмотря на то что на Ирину Константиновну ложилась большая часть заботы и работы по обслуживанию коммуны и занятиям с детьми, ей тоже было хорошо в этой обстановке. Так прошла зима.

Ирина Константиновна начала работать, считая, что занятий с одним Левою для нее недостаточно. С Левою она занималась до дня ареста. Для своих лет он был образованным и развитым мальчиком, и ни у кого не было сомнения, что вступительный экзамен в любой институт Лева выдержит прекрасно. Но держать экзамен Лева пришлось в застенках НКВД, так как он был арестован вскоре после нашего ареста, не знаю, закончив или не закончив 10-й класс. Экзамен этот он не выдержал; может быть, в период следствия, может быть, в период лагерных мытарств, но он сломался, и когда Ирина Константиновна в 1957 году, разыскав его, отправила ему письмо, ответ его был совершенно несообразный. Она прислала мне его письмо, но адреса не прислала, а мое письмо, запечатанное и отправленное ей для отсылки его Лева, не послала. Это я узнала уже после ее смерти от Машеньки Яковлевой, с которой она жила все годы после лагеря.

Возвращаясь к быту ссылки, хочется сказать, что мы никогда не ощущали острой нехватки в книгах: всегда было что читать, и не просто «что-то», а всегда что-нибудь интересное.

Мы много гуляли... 1 Мая всегда, по инициативе Ирины Константиновны, мы ходили в лес большой группой, человек по пятнадцать-восемнадцать, тогда нас всегда сопровождали два-три агента.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что все были счастливы и довольны жизнью, однако это было далеко не так. У каждого

в душе жил червяк большой неудовлетворенности, каждый в душе тосковал о том, чему он отдал свои мысли, свои устремления.

Как-то однажды мы большой группой, вернувшись с фильма «Земля в плену», сидели на террасе у Ирины Константиновны, и Николай Подгорский, глядя вдаль, с тоской проговорил: «Невыносимо думать, что и у нас земля осталась в таком же плену, как была до революции, а может быть, даже большем». В молчании, которое последовало за его словами, была такая напряженность, что не почувствовать ее было нельзя. Помню разговор Павла, Алексея и Бориса Белостоцкого о Кубани, о том, что там целые станицы стоят с заколоченными домами: большая часть населения вывезена в Нарым, на Игарку, в прочие отдаленные места, меньшая — мёрла от голода, кое-кому удалось сбежать в город. Террор принял катастрофические размеры, задавил все и вся. «Не могу понять, как мы еще можем жить, видя и понимая все это, — сказал Борис, но, помолчав некоторое время, добавил: — И все-таки мы очень счастливые люди! Подумайте, много ли сейчас людей у нас в СССР, которые могут собраться, выговориться до дна, не боясь, что завтра же на них будет написан донос в органы!»

Так вот и жила ссылка каждым днем, не надеясь на близкую возможность своего участия в общественной жизни страны и все-таки надеясь на что-то.

Однажды, в начале лета 1934 года, у нас сидело много народа, точно не помню кто, но помню, что были Николай, Леонид Вершинин, Игорь Саблин и еще несколько человек. Вошла Анна Антоновна и, пройдя по комнате, повернулась ко всем и смущенно сказала: «Товарищи, я получила “чистую”!» Все были очень удивлены, до этого никто «чистых» не получал, так и ходил в «минусниках». Павла дома не было, когда он вернулся, я рассказала ему, и он был тоже удивлен, а в следующий приход Анны Антоновны он со смешинкой в глазах сказал: «Анна Антоновна, вам скоро порядочные люди перестанут подавать руку». Надо сказать, что Анна Антоновна и сама чувствовала себя как-то неуютно, пока «чистой» была одна. Но число получивших «чистую» стало увеличиваться.

Вскоре «чистая» стала приходиться всем, независимо от партийной принадлежности. Не получили ее из всей ссылки только «старики». Благодаря «чистой» Павлу удалось три раза съездить в отпуск, в первый раз в Москву и в Казань, а два последующих лета, в 1935 и 1936 годах, — на Кавказ.

Летом 1935 года был арестован Вершинин и через два месяца «следствия» отправлен в Минусинск. Так, казалось бы, мирная жизнь, которая должна была последовать за «чистыми», нарушалась время

от времени. Надзор то снимался, то опять появлялся, НКВД все время давало чувствовать, что его «недремлющее око» зорко следит за всеми.

Летом 1936 года я ездила в дом отдыха. Вернувшись, застала дома много народа. Почувствовав, что что-то неладно, я спросила: «Почему у вас такие лица?» — «А что, ты ничего не знаешь? — ответила Лида. — Ведь идет процесс». Речь шла о зиновьевском процессе.

Как все отнеслись к этому судилищу? Все были в полной растерянности. Как объяснить поведение обвиняемых? Илья Андреевич сразу сказал, что Гриша Зиновьев никогда не был порядочным человеком и ждать от него чего-нибудь порядочного было нечего.

— Ну Зиновьев, а другие? — возразила Ирина Константиновна. — Все, что ли, оподличались до того, чтобы поливать себя такой грязью? Но может быть, это гипноз?

Кстати говоря, она так до смерти и осталась уверена, что гипноз в застенках НКВД играл большую роль. Правда, при нашей встрече в 1957 году она уже думала, что там было все: и загримированные актеры, и гипноз, и пытки, и моральные и физические. Но в 1936 году все ходили подавленные и старались объяснить себе — чем, какими средствами НКВД сумело довести столько людей до состояния полной утраты человеческого достоинства, заставило забыть, что они члены партии, которой большинство из них отдало всю жизнь и которую они так позорят фактом своего членства в ней.

...7 февраля 1937 года ночью к нам пришли. Произвели тщательный обыск, закончившийся в 10 утра. У нас всегда после обыска был обычай идти к кому-нибудь, чтобы узнать, только ли у нас или же и у других был обыск. Оставшись одна, я сразу пошла к Новиковым, которые жили через несколько домов, и попала у них в засаду. Там было человек восемь «гостей», и оттуда меня уже непустили. Съездили к прокурору за ордером на арест и предъявили его мне. Я сказала, что, прежде чем ехать в тюрьму, я должна взять белье для себя и Павла. Меня отвезли домой, я там вымылась, переоделась, приготовила белье для себя и Павла и сказала, что я готова. Меня отвезли в тюрьму.

11 февраля начались допросы. Вызвали меня часов в 7-8, вернулась я в камеру часов в 9 (уже на улице было светло), но этот допрос кончился так быстро потому, что был осведомительный, и под выходной день, с 13 февраля начались настоящие допросы, продолжавшиеся по пять суток, только утром выходного дня я возвращалась в камеру. Надо сказать, что этот выходной был гораздо мучительнее дней допроса, так как надзиратели (их было четверо на восемнадцать

камер) то и дело заглядывали в волчок и твердили: «Не спите, не спите», а спать хотелось гораздо больше, чем на допросах, так как там было нервное напряжение, поддерживаемое или самим допросом, или диким ором с матерной руганью, в которой изощрялись следователи, так как им самим хотелось спать и надо было как-то себя взвинтить.

До часу — до двух допрос вел следователь, потом он уходил или в буфет, пить чай с коньяком, или просто домой спать, на его место садился какой-нибудь сержант, который произносил одно только слово: «Не спите». Фамилии своих следователей я не помню, за весь период следствия их было человек пять, кажется, у одного была фамилия Япатов. Конвейер продолжался у меня месяц.

О чем же меня спрашивали на допросах? Спрашивали мало, больше орали, требуя разоружаться, сознаваться во всем, чистосердечно покаяться. Один из разумных вопросов был: какие политические разговоры у нас велись? Сначала я ответила, что они это знают лучше меня из регулярных докладов их агентов, стоящих под нашими окнами, что следователи отрицали, но потом толково объяснили мне, что пользоваться агентурными сведениями они могут только для личной информации, а для суда нужны показания самих участников.

Все требовали от меня признания в том, что я член партии левых эсеров, на что я твердо ответила, что призналась бы в этом сразу, если бы имела на это право, но меня в члены партии никто не принимал, и признаться в этом я не могу.

Вообще меня никто ни в чем серьезном (терроре или вредительстве) не обвинял, один раз только следователь как бы случайно обронил фразу о падении люстры в доме правительства и пристально смотрел на меня, чтобы определить впечатление, произведенное его словами. О падении люстры я, конечно, знала. В новом доме правительства (только что выстроенном) Антон Маковский с бригадой в пять человек взялся произвести все электромонтажные работы. Это была работа «налево». Маковский работал электромонтером на макаронной фабрике Уфы. Зарплаты на семью в четыре человека, конечно, не хватало, и он всегда подыскивал себе дополнительный заработок. Павел и Алеша (Грошев), узнав о том, что Антон собирается монтировать электропроводку в доме правительства, не советовали ему браться за эту работу, но Антон ответил, что договор он уже заключил. Работник и организатор он был хороший, и работа была закончена вовремя, не знаю, сдана или нет, но дня за три-четыре до ареста к Марии Александровне прибежал Антон, испуганный, бледный, и сказал, что его только сейчас вызывали в дом правительства, где в зале заседаний оборвалась огромная люстра, висевшая

над столом. Если бы люстра оборвалась во время заседания, несомненно были бы человеческие жертвы. Антон твердо уверял, что эту люстру он сам укреплял и укрепил очень хорошо, ему же показали люстру, висевшую без всякого крепления, почти на одном проводе. Несомненно, над ней поработали чьи-то руки.

В ответ на слова следователя о люстре я удивленно посмотрела на него и спросила: «Какая еще люстра? Где?» Он ответил: «Никакая», — и остался в уверенности, что мне о ней ничего не известно.

Месяца полтора меня совсем не вызывали, только возили на квартиру на дополнительный обыск, во время которого перерыли весь подпол, копали клумбы в саду и обыскивали дровяник. Так как на обыске присутствовали все высшие чины, включая начальника НКВД, мне на минутку показалось, что это не инсценировка, а они действительно думают что-нибудь найти. Обыскивали сразу в нескольких местах, и я, боясь, что что-нибудь подложат, сказала, что подпишу только то, что найдут при мне. Но подписывать мне ничего не пришлось: найдено ничего не было.

У меня опять начались допросы, но они длились не по пять суток, а часов пятнадцать-шестнадцать: меня брали часов в шесть-семь вечера, а приводили часов в восемь-девять утра, когда спать надзор уже не давал. Поместили меня в камеру, где сидели беременные женщины и одна женщина с ребенком. Сидеть мне стало легче хотя бы потому, что на весь коридор была одна надзирательница, правда, и камер у нее было только шесть, но она не очень активно ходила по волчкам, и я могла сесть на койке, около меня садились сокамерницы, и я могла немного подремать.

В сентябре меня вызвал совершенно квалифицированный следователь и без всяких пререканий, без ругани написал протокол допроса, который я подписала и под каждой страницей и целиком. Видимо, дело шло к концу. В протоколе были еще показания Маковского о том, что я будто говорила, что ни один порядочный человек ни на первомайскую, ни на октябрьскую демонстрацию не пойдет из-за тех лозунгов, под которыми идет эта демонстрация. Против последнего обвинения я возражала, но я так не хотела очной ставки с Маковским, так ее боялась, что решила наплевать на все и подписать. Я не осуждала Маковского: он совсем не готовился к судьбе борца, он забыл, что когда-то в юности вступал в партию левых социалистов-революционеров, он хотел жить, работать, растить любимых детей. Его схватили, выслали в Уфу, он и там кое-как приспособился, и опять — история с люстрой, ясно, что он был напуган, а тут допросы, издевательства над его ребенком, над его мальчиком... Где же ему было устоять!

Итак, я подписала протокол допроса. Сколько я ни вчитывалась в него при подписывании, сколько потом ни анализировала по памяти, я не нашла ничего, что могло бы хоть косвенно бросить тень на кого-нибудь.

Позже, в пересыльной тюрьме, во время разговора я сказала, что ни одного слова, которого я бы не хотела, — не подписала. Один из мужчин, уже не молодой человек, ответил:

— Вы не гордитесь, что подписали только то, что хотели. Просто вы им перестали быть нужной. Если бы они хотели, они бы заставили вас подписать все.

Я не гордилась, я просто была очень рада этому. Подумав, я поняла, что он, может быть, и прав. Ведь какой-то гестаповский следователь писал, что для каждого приходит свой час и нет ни одного человека, который бы не подписал то, что требуется его палачам, если за него хорошо взяться.

4 октября в камеру вошла первая «обкомовская дама», Мильда Оттовна Булле. Она была членом бюро обкома. В камере рядом (как выяснилось потом) сидела жена первого секретаря обкома Быкина. Булле потянулась к нам. Она вообще была неплохая, если говорить в целом, по сравнению с другими «дамами», но, конечно, уже совершенно отравленная и своим положением, и своими платьями, которых «оказалось двадцать четыре», и своей домработницей, которую она послала сначала в столовую, чтобы та научилась готовить, потом в ателье, чтобы там научилась гладить, и которую она потом одаривала своими обносками... Она расспрашивала меня о допросах, я ей рассказывала о своих, рассказывала о том, что люди подписывают ложные показания, чтобы избавиться от пытки допроса. Слушая такое, она сказала:

— Галина Ивановна, а вы видели когда-нибудь человека, который написал бы на себя и других ложные показания?

— Нет, — ответила я, — не видела, но я знаю, что такие есть.

Она не возражала, но по ее скептической улыбке я видела, что она этому не верит.

Дня через два ее взяли на допрос, и она не вернулась в камеру, надзорка пришла за ее вещами. Камера начала постепенно наполняться, и скоро, рассчитанная на девять человек, она вмещала сорок. Спали на кроватях, под кроватями. Все спали на одном боку, поворачивались по команде. Состав был очень пестрый, начиная с «обкомовских дам», кончая женами самых обыкновенных милиционеров.

Не буду долго останавливаться на моих тюремных встречах, которых было так много, хочется только сказать, что недели через две

к нам опять привели Булле, которая сразу же подошла ко мне и сказала, что она подписала все, что от нее требовали.

— Почему? — воскликнула я.

— Я сидела семьдесят два часа, не поднимаясь; у меня начало рябить и двоиться в глазах, я ничего не соображала! — ответила она.

Мне показалось это неубедительным, семьдесят два часа сидки не такое уж тяжелое средство, чтобы нестарая, крепкая женщина не могла его выдержать, да еще сразу после ареста. Я и теперь думаю, что дело было не в семидесяти двух часах допроса, а в каком-то изломе психики, который заставлял подчиняться представителям этого учреждения. Как-то в одну из резких минут откровенности Булле рассказала, что Мария Александровна в начале нашего следствия написала письмо Выкину (первому секретарю обкома) о том, как ведется следствие, что применяются конвейерные допросы, длящиеся очень долго (более семи-восьми суток), что применяются стойки. Быкин, по рассказам, якобы поехал в НКВД, а там ему сказали, что это не его дело. Не знаю, так ли это было, но на правду похоже.

Так вот мы и сидели, 40 женщин, в небольшой камере, днем глотали затхлый воздух, ночью спали на одном боку, тесно стиснутые соседками.

24 декабря 1937 года открылась дверь камеры и надзорка вызвала меня и Надю с вещами. Быстро собравшись и простившись с остающимися, мы подошли к двери, а когда она открылась, я увидела в коридоре Ирину Константиновну. Я бросилась к ней... Нас не развели, а прибавили к нам еще Елену Моисеевну Новикову, которая тоже сидела в одной из камер этого же этажа, и повели опять в маленький корпус, в котором я сидела сразу после ареста.

Тамошний надзор раскрыл одну из камер, и мы увидели Александру Адольфовну. Когда восторги поутихли, опять открылась дверь и надзиратель всунул нам в дверь щит, сбитый из нескольких досок, и три матраца. Мы уложили этот щит на две кровати, — получились сплошные нары, и мы улеглись спать. Ночью нас опять разбудили, и какие-то люди, одетые в штатское, вручили каждой из нас обвинительное заключение. Мы поняли, что нас готовят к суду.

Но на другой день нас на суд не взяли, и мы провели его легко, полные радости от нашей встречи. Рассказывали друг другу о следствии.

Ирина Константиновна на допросах больше молчала, но как-то раз, когда следователь что-то сказал про революцию, она ему ответила: «Не говорите о революции. Революция для вас — это власть и деньги». Думаю, что ей совершенно сознательно следователь на одном из допросов дал возможность услышать допрос Маковского, во время которого издевались над его двенадцатилетним сыном.

Так мы прожили этот день, а наутро нас всех увезли в НКВД. Опять всех посадили в одну камеру внутренней тюрьмы НКВД и спустя часа два-три вызвали всех, но развели по разным комнатам. На суде... получила я десять лет тюремного заключения.

Очень скоро нас перевели в четырехэтажный корпус, в котором я уже сидела некоторое время. Камера там была рассчитана на двоих, но для пятерых все-таки очень тесная. Спали мы опять так же: клали щит на две койки, получались сплошные нары, но было более свободно, можно было поворачиваться. Александра Адольфовна сразу же установила распорядок дня: с утра какие-нибудь занятия, после обеда она потребовала полного молчания до раздачи кипятка, после кипятка до отбоя можно разговаривать. И вот однажды во время часов молчания, когда Ирина Константиновна, убрав щит, пыталась ходить, делая три шага вперед, потом три шага назад, а мы сидели на кроватях, поджав под себя ноги, и молчали, тетя Санечка, подняв на Ирину Константиновну свои большие, широко открытые глаза, громко сказала:

– Ира, какая Катя счастливая: она ничего этого не знает.

Катя была сестрой Александры Адольфовны, которая стреляла в адмирала Чухнина в 1905 году и была расстреляна тут же, на месте.

Да, Катя действительно была счастливая: она не узнала того, во что обратилось то, чему она, не раздумывая, отдала свою молодую жизнь.

Так мы и сидели в маленькой камере впятером, но были счастливы уже тем, что мы вместе. Примерно через две недели меня и Ирину Константиновну перевели в другую камеру, через одну от той, в которой мы сидели. Мне было очень грустно расставаться с Александрой Адольфовной, но я была счастлива, что буду вместе с Ириной Константиновной. Мы просидели вместе с середины января по 9 мая, и я почти уверилась в том, что так будет весь срок. С Александрой Адольфовной, Еленой и Надей мы общались очень активно через уборную, Ирина Константиновна это умела идеально. Из перестука мы узнали, что все башкирское правительство уже тоже осуждено, большинство получило очень большие сроки, как будто принялись уже за НКВД, во всяком случае, нам постучали, что начальник отдела, в который входила политссылка, тоже арестован.

Ирина Константиновна рассказала мне довольно подробно свою эйхгорновскую и деникинскую эпопею.

Вдруг в начале мая ночью дверь камеры открылась, вошел надзиратель. Я сразу поняла, что меня берут в этап. Только я успела сказать об этом, как начала плакать, да не плакать, а реветь.

Проплавав всю ночь и все утро, пока за мной не пришли, я совершенно запухла, но мне было на все наплевать, я знала только одно, что

последняя и очень дорогая ниточка, связывающая меня с моей прошлой жизнью, рвется навсегда. Как сквозь туман помню восковое лицо Ирины Константиновны. Прислонясь к стене головой, она говорит:

– Вот так отпустить вас совсем и никогда не узнать, что с вами! Ужасно!

Я вышла из камеры и громко крикнула:

– Тетя Санечка, прощайте!

Надзиратель бросился на меня, но потом махнул рукой, и мы спустились на 1-й этаж.

Везли нас вместе с мужчинами с большими сроками – 25, 20, 15 лет, меньше не было. Много было инженеров-нефтяников, которых обвинили во вредительстве. В Сызрани дней пять сидели на пересылке, встречали там большие этапы жен и КВЖД⁹.

...Нас выгрузили под Владивостоком в транзитном лагере, не помню, как он назывался*. На женской половине лагеря стояло несколько барачков с двухэтажными сплошными нарами. Мы поселились все рядом: Надя, Катя, Елена, Люся Оганджян и я. Потом в лагере, вспоминая наше пребывание под Владивостоком и перебирая в уме всех заболевших и умерших там же, мы насчитывали из всего тюрзачного этапа, в котором было примерно триста человек (из Владимира, Казани и Ярославля), – десять человек. Для одного месяца это было немало, потом в течение всего лагерного периода такой смертности никогда не было.

Должна сказать, что в противовес многим моим товарищам по этапу я не считаю женские лагеря на Колыме лагерями истребления. Конечно, я не говорю о каторжных женских лагерях, которых я совершенно не знаю, а только о тех, в которых была сама или мои товарищи. Тюрзачки всегда жили в худших бараках, работали на самых тяжелых работах, и все-таки, вспоминая всех умерших в лагере, я не могу сказать, чтобы нас истребляли, как истребляли мужчин. Я знаю из верного источника, что на прииск Штурмовой (Северное управление Дальстроя) в конце ноября прибыл этап в 5000 человек, а к апрелю осталось 350 человек. Это мне рассказывал человек, прибывший с этим этапом и остававшийся все это время на том же прииске. Сведения эти у него были из точного источника – УРЧа (учетно-распределительной части). У нас же за весь лагерный период из нашего этапа умерли: Елена Новикова, которая была еще и на воле очень большим человеком, Ляля Кларк – молодая, здоровая, но умерла она от воспаления легких в 1940 году, Ася Гудзь, причину смерти

* Пересыльный пункт Черная речка. – *Прим. сост.*

не знаю, Морданова, сердечница, Надя Королева, Межлаук, Мельникова, но она повесилась*, Таня Крупеник, тоже повесилась. Мы все работали на очень тяжелой работе, все были голодны, истощены, но мало кто умирал.

В Магадане мы познакомились с Зорой Гандлевской¹⁰, анархисткой, жила она в другом бараке, так как приехала в лагерь раньше нас, но часто к нам приходила. Работала она в больнице.

В Магаданском лагере мы пробыли до апреля 39-го года. Второго или третьего апреля нас отправили в совхоз Эльген.

Я не буду описывать свое пребывание в лагере; о лагере много написано, а о нашем Эльгенском лагере написала Женя Гинзбург¹¹. Я сама не читала ее записки (как-то не пришлось), а отзывы о них слышала самые различные, от хвалебных до очень отрицательных.

В Эльгене я встретила с Бертой Александровной Бабиной, о которой знала раньше по рассказам мужа и других товарищей. Она и ее муж, оба были на Колыме, некоторое время на Колыме был и ее сын, Игорь Борисович¹², арестованный накануне защиты диплома, конечно, арестован он был как сын своих родителей.

...Хочу сказать еще, что первые год-два лагеря я еще надеялась, что когда-нибудь увижу Павла, потом, больше узнавая об условиях в мужских лагерях, я начала сомневаться, а к концу срока ясно поняла, что его уже нет. Освободившись, я сделала запрос и получила ответ, что Егоров П. А. умер в 1942 году.

В марте 1956 года (в то время я была на Чукотке) получила письмо от Нади Лобыциной, в котором было написано: «Много неожиданного происходит сейчас в подлунном мире, к такой неожиданности отнесите то, что Ирина Константиновна жива и живет в Малом Ярославце». Мало сказать, что я была потрясена, я буквально не верила своим глазам. Сразу же побежала на почту и дала телеграмму. Через несколько дней я получила ответную телеграмму, а потом и письмо. Между нами установилась переписка. В июне 1957 года я приехала в Москву, а оттуда в Малый Ярославец, к Ирине Константиновне.

Через два года мы встретились снова. Я провела у нее три летних месяца. В этот мой приезд я сказала, что теперь у меня чистый пас-

* Полина Мельникова была незаурядным человеком. Окончила Лазаревский Институт восточных языков. Работала на Китайско-восточной железной дороге в правлении стенографисткой. После возвращения с КВЖД русского состава работала в Коллегии Наркомата путей сообщения стенографисткой. В Магаданском лагере, для того чтобы иметь время для чтения древних классиков (Платона и др., кого удавалось доставать), она согласилась работать ассенизатором в зоне. — *Прим. автора.*

порт и я могу остаться с нею, но она категорически возражала. Тогда я не понимала, почему она так упорно настаивает на моем отъезде, даже немного обиделась, а потом я узнала, что в это время она уже знала, что у нее рак, но только от всех скрывала, уговорив врача-рентгенолога не говорить об этом никому. Уезжала я с большой болью, мне так хотелось остаться. Летом мы очень много гуляли по живописным окрестностям городка. Перед самым отъездом я попросила Ирину Константиновну свести меня в березовую рощу, если таковая имеется поблизости. Она сказала, что роща совсем близко, и вечером мы пошли. Роща оказалась сказочной, и Ирина Константиновна, тихо бродя по ней, как-то задумчиво сказала:

– Вот, Галечка, бродите и наслаждайтесь, больше вы ее не увидите, и мы тоже.

Я тогда не обратила внимания на эти слова, приписывая их возможному переезду Ирины Константиновны и Машеньки в Москву.

За лето мы переговорили обо всем. Ирина Константиновна сказала, что собирается отослать заявление с описанием «дела» 1937 года. За год до этого она, без всякого заявления с ее стороны, была реабилитирована и получала уже пенсию. Правда, пенсия была маленькая, так как исчислялась по ее уфимскому заработку. Она прочла мне кусочек из своего заявления, касающийся ее очной ставки с Дравертом и Маковским, и допрос Маковского вместе с его сыном. Теперь я знаю весь текст ее заявления, ознакомилась я с ним не более двух лет тому назад.

1 марта 1960 года она скончалась.

Передавая составителю настоящего сборника свои воспоминания, Галина Ивановна пообещала прислать дополнения к ним – воспоминания о М. А. Спиридоновой. Она сделала это незадолго до своей смерти.

О МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ СПИРИДОНОВОЙ

За те шесть лет, которые я прожила в одном городе с ней, очень часто общаясь, я мало узнала о ее прошлом, так как мне редко приходилось быть с ней наедине: кроме постоянных жителей квартиры всегда был кто-нибудь из товарищей, и разговоры были всегда общими. Только по отдельным, сказанным в разное время фразам у меня содалось некоторое представление о ее детстве и юности.

Мария Александровна Спиридонова родилась в 1884 году в Тамбове. Еще будучи гимназисткой, она вела революционную работу, за что ее и исключили из гимназии как неблагонадежную.

Я помню, как она говорила, что с шестого класса сумела отстоять свою независимость в семье, право идти своей дорогой. Очень рано она вступила в партию эсеров, работала пропагандистом.

Когда в 1905 году начались усмирения крестьянских волнений и карательные экспедиции зверствовали по деревням, Мария Александровна взяла на себя выполнение постановления комитета партии эсеров – казнить генерала Луженовского, карателя-добровольца, прославившегося своей жестокостью. Она в коричневой гимназической форме, видной из-под пальто (ей было тогда двадцать два года, но выглядела очень молодо, как и потом), в шапочке с гербом гимназии пробралась на платформу станции Борисоглебск, тщательно охраняемую жандармами, и шестью выстрелами из револьвера смертельно ранила карателя. Тут же, на станции, она была страшно избита жандармами, а потом отдана на потеху пьяным казакам. Только через два дня два жандарма, Аврамов и Жданов, привезли ее, полумертвую, в Тамбовскую тюрьму.

И русская и зарубежная общественность бурно реагировали на издевательства, которым подвергли Марию Александровну. Нам пришлось пожить в Уфе некоторое время на квартире у вдовы железнодорожного машиниста. Как-то однажды я упомянула в разговоре с нею имя Марии Александровны. Татьяна Степановна (так звали нашу хозяйку) взволнованно спросила, не та ли это Мария Александровна, из-за которой ее муж бастовал. Получив утвердительный ответ, она очень просила меня позвать ее к себе, если Мария Александровна когда-нибудь забредет к нам. Когда это произошло, она благодарила меня и вспоминала об этой встрече как об очень счастливом для нее событии.

Вследствие реакции общественности на безобразия, сопутствующие аресту Спиридоновой, смертный приговор был заменен пожизненной каторгой. Путь на каторгу стал для нее триумфальным шествием. Я сама слышала по радио в 1927 году, как один челябинский рабочий рассказывал о том, как он стал революционером. Кто-то его позвал на станцию послушать, как там агитирует революционерка, которую везут на каторгу. Он пошел, и речь Марии Александровны (произнесенная со ступеней вагона) произвела на него, тогда еще подростка, такое впечатление, что он немного позже вступил на путь революционера.

На каторге у Марии Александровны еще долго были нервные припадки, но ее огромная воля и не меньшая жизнестойкость, а также близость товарищей помогли ей выстоять, только слух ее так и остался поврежденным на всю жизнь. В разговоре она участвовала всегда свободно, научилась хорошо читать по губам, да и слух у нее, хоть и сильно поврежденный, все-таки немного помогал ей.

Конечно, мне и в голову не приходило задавать ей какие-нибудь вопросы об акте над Луженовским, но Мария Александровна сама как-то, когда я сказала, что меня поражает сила воли людей, подвергающихся пыткам, ответила:

– Все можно пережить и вытерпеть. У меня и у Ирочки это было.

Общаться с Марией Александровной всегда было очень приятно и интересно. Читали они все и всегда, и на столе у них постоянно лежали интересные книги, которые доставали они частично из библиотеки, но главным образом у сослуживцев. Мария Александровна обладала каким-то магическим даром располагать людей к себе. В очень большой коммунальной квартире все соседи ее обожали, на работе тоже. Мне однажды пришлось просидеть около ее стола, дожидаясь ее, минут сорок, за это время к столу подходили несколько человек из ее клиентов, некоторые оставались ждать, все говорили, что Мария Александровна уходит в отпуск, и высказывали по этому случаю беспокойство, и все хором твердили, что она хороший, добрый человек.

...Пожалуй, единственный дом, в котором Мария Александровна бывала, был наш с Павлом. Наверно, это происходило потому, что я умела пригласить ее к нам, и она, зная, как мне приятно видеть ее у себя, не хотела меня огорчать. Думаю, что и Павлу были приятны ее посещения. Если это были дни каких-либо событий, в доме собиралось полно народа, было шумно, дружно, радостно; если же это были случайные посещения Марии Александровны, тоже всегда кто-нибудь приходил.

У нее был легкий, открытый характер, правда, немного вспыльчивый. Если ей что-нибудь не нравилось, она говорила прямо, иногда даже резко, но, высказав, сразу переходила на мирный, дружелюбный тон.

Один раз, когда мы жили еще на частной квартире, Мария Александровна, узнав, что воду нам носит хозяйка (носить воду было очень неудобно, так как жили мы на горе над Белой, а воду надо было брать из Белой, спуск и подъем к которой были очень скользкими, и хозяйка, видя, как мы неуклюже скользим по тропке, сама предложила нам носить воду, за отдельную плату конечно), накинулась на Павла, говоря, что стыдно, когда тяжелую работу вместо мужчины делает женщина, и высказала предположение, что это мое мелкобуржуазное влияние. Я, конечно, в обиду себя не дала и заявила, что у меня мелкобуржуазных привычек меньше, чем у Егорова. Спустя некоторое время мы собрались уходить, но Мария Александровна, притянув меня к себе поближе, спросила:

— Уж ты не обиделась ли? Не стоит, я сказала, и все, за тобой ничего не осталось.

Разумеется, я ее заверила, что нисколько не обиделась, это было и в действительности так: я слишком их всех любила, чтобы обижаться на них. Да и если говорить по существу, то привычек, которые Мария Александровна называла «мелкобуржуазными», у меня было значительно больше, чем у Павла, у него их вообще не было.

Мария Александровна любила шутку, смех, любила ходить в кино. Они всегда первыми смотрели новые фильмы, и, когда я звала Павла в кино, он говорил:

— Заиди к старикам после работы, узнай, что за картина, они уже, наверно, смотрели!

Мария Александровна очень верила в свою жизнестойкость, она иногда говорила:

— Я Ванька-встанька, меня столько раз старались уложить прочно, насовсем, а я все поднимаюсь.

Действительно, заболевшая в Ташкенте туберкулезом, дошедшим до каверн и кровотечения, она за несколько месяцев санаторного лечения в Ялте восстановила свое здоровье настолько, что за шесть лет, проведенных мною в Уфе рядом с ней, я ни разу не слышала об обострении у нее туберкулеза. Жили материально они очень скромно, хотя денег зарабатывали много, но и расходы у них были тоже большие.

Были еще люди, которых нужно было постоянно поддерживать, например полунормальный эсер Студенцов, который при царском режиме сидел в Шлиссельбурге, а потом его прислали в Уфу. Кроме Студенцова, был еще Лукаш, которому тоже надо было помогать. Потом постоянные приезды — сначала мы, приехавшие без копейки, затем Борис Белорецкий и т. д., поток этот не прекращался все шесть лет с перерывами в несколько месяцев. Денег на всех постоянно не хватало.

После своего ареста я очень долго горевала о том, что я мало заботилась о них, мало доставляла им удовольствий и хотя бы маленьких радостей. Это ощущение возвращается ко мне каждый раз, когда я вспоминаю их.

Когда я думаю о смерти Марии Александровны в Орловской тюрьме, вернее, о том, что ее там застрелили, даже не расстреляли по приговору суда, а застрелили, волна гнева и горечи поднимается во мне, мне становится трудно дышать, хочется кричать! Как могло случиться, что пламенная революционерка, отдавшая всю жизнь борьбе за справедливость, забывшая обо всем ради этой борьбы, погибла от пули того солдата, который даже не знал, в кого он пускает эту пулю...

Примечания

¹ *Бабина Берта Александровна*. – См. воспоминания Б. А. Бабиной «Первая тюрьма» в данном сборнике.

² О Спиридоновой М. А., Каховской И. К., Измайлович А. А., Майорове И. А. см. там же.

³ Уфа была пятым городом, куда направилась Галина Ивановна с мужем, за невозможностью в течение шести месяцев устроиться в четырех предыдущих.

⁴ «*Союз максималистов*» – здесь автор имеет в виду «Союз социалистов-революционеров максималистов» – левую группировку анархического направления, отколовшуюся от партии эсеров в 1906 г. Максималисты требовали немедленной социализации земли, фабрик и заводов. В своей тактике решающую роль они отводили террору и экспроприациям. После Октябрьской революции максималисты признали Советскую власть, входили в Советы, имели представителей на IV–VII Всероссийских съездах Советов и во ВЦИКе, но выступили против Брестского мира, централизации управления экономикой, рабочего контроля. В 1918 г. среди максималистов произошел раскол. Часть их вступила на путь вооруженной борьбы против Советской власти. Другая часть в 1920 г. вошла в РКП(б).

⁵ *Левые эсеры* – политическая партия в России. Образовалась из левого крыла партии эсеров в мае – июне 1917 г. Выражала интересы трудящегося крестьянства. Летом 1917 г. в ряде Советов левые эсеры провели резолюции о немедленной передаче земли крестьянам. Вместе с большевиками они вошли в военно-революционные комитеты, участвовали в Октябрьском вооруженном восстании, на II Всероссийском съезде Советов голосовали за его декреты и были избраны во ВЦИК. В конце ноября 1917 г. они вошли в состав первого Советского правительства – Совет Народных Комиссаров.

Конфликт левых эсеров с большевиками возник в связи с вопросом о заключении Брестского мира с Германией, против которого они выступили на заседании ВЦИК 23 февраля 1918 г. Крестьянство их не поддержало, что показали выборы в местные Советы в июне 1918 г. В этих условиях ЦК партии левых эсеров принял решение всеми доступными средствами «выпрямить линию советской политики». 6 июля левым эсером чекистом Я. Г. Блюмкиным был убит германский посол В. Мирбах. В тот же день в Москве вспыхнул левозсеровский мятеж, который был подавлен 7 июля. По приговору ВЧК 8 июля 13 активных участников мятежа, захваченных с оружием в руках, были расстреляны, 11 человек приговорены к тюремному заключению на три года.

Решением V Всероссийского съезда Советов та часть левых эсеров, которая поддерживала тактику ЦК своей партии, была исключена из состава Советов. Однако за ЦК пошли далеко не все. Партия левых эсеров раскололась. В начале 20-х годов она окончательно сошла с политической арены.

⁶ *Донской Борис Михайлович* (1893–1918) – из крестьян Рязанской губернии. В 1915–1917 гг. служил на Балтийском флоте. Член партии эсеров с 1916 г. После февраля 1917 г. – левый эсер. Советский суд приговорил к смертной казни и палача, казнившего Донского, и надзирателя Лукьяновской тюрьмы.

⁷ *Косиор Станислав Викентьевич* (18.XI.1889–26.11.1939) – деятель коммунистической партии. Член ее с 1907 г. Из рабочих. До 1917 г. вел партийную работу на Украине и в Москве, отбывал ссылку в Сибири. В 1918 г. во время оккупации немцами украинской территории руководил нелегальной партийной работой. Последние годы (с 1930 г.) – член Политбюро ЦК ВКП(б). Арестован в 1938 г. Расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.

⁸ Очевидно, речь идет о той поездке, когда И. К. Каховская готовила покушение на А. И. Деникина.

⁹ КВЖД – Китайско-восточная железная дорога. Была построена Россией в 1897–1903 гг. согласно Русско-китайскому договору 1896 г. В 1924–1935 гг. имела совместное советско-китайское управление. С 1952 г. принадлежит Китаю. Современное название – Китайская Чанчуньская железная дорога (КЧЖД).

¹⁰ *Гандлевская Зора Борисовна* (1897–1987) – анархистка. Из мещан. Училась в Киеве в гимназии и университете. С 1917 г. входила в группу анархистов-неонигилистов, созданную ее мужем – политкаторжанином А. Н. Андреевым.

В 1919 г. по поручению подпольной большевистской организации Гандлевская и Андреев вели работу в тылу армии Деникина. С 1921 г. они жили в Москве, Новосибирске, Саратове, Астрахани и других городах. Работали в различных издательствах и книжной торговле. Неоднократно арестовывались и выслались. В декабре 1937 г. арестованы и отправлены на Колыму. Оба реабилитированы в 1954 г. Жили в Москве.

¹¹ *Гинзбург Евгения Семеновна*. – См. воспоминания Е. С. Гинзбург «Здесь жили дети» в данном сборнике.

¹² *Бабин Игорь Борисович* (21.IX.1914–2.IX.1977) – сын Б. А. Бабиной. Инженер-конструктор. Окончил Московский станкоинструментальный институт. В апреле 1937 г. арестован. После тюремного заключения направлен по просьбе А. Н. Туполева (также в то время заключенного) на «шарашку» в Болшево. Освобожденный в 1943 г., Бабин продолжил работу под руководством Туполева. В 1950 г. – снова арестован и сослан на 5 лет в Ухту. В 1953 г. амнистирован и возвращен в конструкторское бюро Туполева. Реабилитирован в 1956 г.

Наталья Пирумова

НАДЕЖДА СУРОВЦЕВА



С Надеждой Витальевной Суровцевой я познакомился в 1975 году – и бесконечно благодарен судьбе за то, что пересеклись наши дороги.

Я вырос в селе, работал шахтером в Донбассе, учился в школе рабочей молодежи. Отслужив в армии, приехал к родным в Умань, поступил грузчиком на завод.

Время от времени в украинских газетах стали появляться мои стихи и рассказы. Надежда Витальевна обратила на них внимание, захотела со мной познакомиться, пригласила к себе. С тех пор я стал бывать у нее, мы подолгу беседовали.

Надежда Витальевна родилась в 1896 году в Киеве в семье юриста. В 1903 году Суровцевы переехали в Умань.

Окончив гимназию, Надежда училась в Петербурге, потом – в Киеве.

В годы Гражданской войны она оказывается в кругу украинских националистических деятелей, едет с дипломатической миссией во Францию. Суровцева остается в Европе, заканчивает философский факультет Венского университета, защищает докторскую диссертацию «Богдан Хмельницкий и идея украинской государственности». Она переводит на немецкий язык Короленко,

Стефаника, а также украинские народные сказки; в 1924 году совершает поездку в США и Канаду, где печатается в прогрессивных украинских газетах.

В том же году Надежда Витальевна вступила в Австрийскую коммунистическую партию. Вместе с Францем Коричонером (членом Коминтерна от Австрии), Вильгельмом Либкнехтом и Василием Коссаком она переводит и публикует в издательствах «Малик» и «Риколя» произведения В. И. Ленина.

В конце 1925 года советский посол в Вене помог Суровцевой вернуться на родину. Она преподавала в Харьковском университете, сотрудничала в РАТАУ (Телеграфное агентство Украины).

В 1927 году Надежду Витальевну арестовали.

Через тридцать лет, после реабилитации, она возвращается в Умань, на общественных началах работает в местном краеведческом музее, по ее инициативе в городе отреставрирован бывший костел – в нем разместились картинная галерея.

Никогда не встречал я человека такой глубокой культуры и такой светлой души. К ней тянулись люди: из разных городов приезжали писатели, историки, в гостеприимном доме Надежды Витальевны каждое лето жили ее колымские подруги.

Я видел, что Надежда Витальевна нуждается в заботе и постоянной помощи (ей шел уже девятый десяток), старался облегчить ее быт – наколоть дров, сварить еду, помыть полы. Надежда Витальевна жаловалась на одиночество и в конце концов попросила меня перейти жить в ее дом. Я согласился. С годами моя привязанность к Надежде Витальевне росла. Когда мне представилась возможность поступить на учебу в Киевскую консерваторию, я предпочел остаться грузчиком в Умани, лишь бы не расставаться с Надеждой Витальевной.

Она скончалась на 90-м году жизни 13 апреля 1985 года.

Дмитрий Калюжный

ИЗ ПИСЬМА Д. КАЛЮЖНОГО СОСТАВИТЕЛЮ СБОРНИКА

Умань. 29.05.91

...Оказывается, у Вас в Москве была одна моя знакомая из Киева (Леся Никаноровна Падун-Лукиянова. – Сост.). Для меня ее встреча с Вами была полной неожиданностью. [...] Эта женщина честная и порядочная. Я знаю ее около 20 лет. Принципиальная, хорошая женщина, полная филантропии к старым людям, хотя и сама уже в пожилом возрасте. Она сказала мне, чтобы я сделал для Вас копию с протокола обыска – именно с того, когда его производили «в поисках изготовленных нами 25-рублевых купюр». Купюр, конечно, не нашли, но забрали очень много воспоминаний Надежды Витальевны, которых так и не возвратили до сих пор. Сказали, что уничтожили. Много раз и много разных видных деятелей Украины обращались в КГБ г. Умани по этому вопросу, но все напрасно. Воспоминания эти были очень важные, и таких больше не сохранилось. Очень жаль, но ничего уже теперь не сделать.

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

Город (село) Умань 26. сентября 1977 г.Малыш Александр Борисович
(должность, звание, фамилия)
капитан милиции Мокроусна основании постановления
от 24. сентября 1977 г. в период с 11 час. 00 мин. до 16 час.12 минут с участием участковых БХЭС Уманского ГОВД
Якименко А. Ф. и Суцацкого В. В.в присутствии понятых Шушарова Сергея Тимуровича,
(фамилия, имя, отчество, адрес)
прож. в г. Умань, ул. Шевченко, 11/5 и Кравцовой
Олеги Филипповны, прож. в г. Умань, ул. Летняя
№ 56, кв. 31которым в соответствии со ст. 127 и 181 УПК УССР разъяснены их права и обязанности обя-
вил гр-ну (ке) Суровцовой Надежде Викторовне
(фамилия, имя, отчество обыскиваемого)

или соответствующего представителя)

о цели своего прибытия и предложил выдать названные в постановлении
вещей и ценные бумаги
(предметы, документы, ценности)Гражданин (а) Суровцова Н. В.
или соответствующего представителя)(здесь)
на это предложение заявил (а) что разменивавшимися ранее-
вых 25-ти рублевых купюр по истребов.В связи с отказом (частной выдачей) требуемого, соблюдая ст. ст. 183-186, 188 и 189 УПК
УССР, произвел обыск на кровати и Суровцовой Надеж-
ды Викторовны, в г. Умань, ул. "Летняя", кв. 56,
(где, у кого* по какому адресу)

В результате обыска обнаружено изъято:

1. Общедоступный серого цвета с уколочными
штемпелями на 189 стр. листок прокламационных
направлений, на первой странице: "Люди нашей
добы" и окончание на 184 стр. "Видел я когда
идешь свое государство без милиции"
2. Общедоступный конспиративный листок, пронумерован-
ный со стр. 188 до стр. 345, начало текста: "на-
цели в сельской местности" и окончание текста:
"... что мы обрели неслышано, думая и думая"

наширивел:

3. Общедоступная темно-коричневого цвета, пронумерована со стр. 376 до стр. 546 рукописного текста, начало текста: „Ситимося це убак...“ и окончание текста: „Я пішов від пілов з каїни, а пішов“

4. Общедоступная темно-коричневого цвета с рукописным текстом со стр. 574 до стр. 767, начало текста: „воспомню до своей предельности...“ и окончание текста: „Твердили на каїни“

5. Общедоступная темно-коричневого цвета с рукописным текстом, начало текста на стр. 787: „По перше вона бучи...“ и окончание текста на стр. 893: „Явилі миха закебукам!“

6. Общедоступная белой цвета с рукописным текстом, начало текста на стр. 935: „Яко так довів, як вийде зраїна и моталина на стр. 985: „Вона воступилі додам, то мибив.“

Обнаруженное при обыске было предъявлено понятым и всем присутствующим, от которых поступили следующие заявления:

8. Фотопортрет „Землі“ с 02, гечка (фотопортрет).

9. Фотопортрет с пидонкой (зарплати) - всего 2 шт.

10. Фотопортрет с пидонкой изв'ятал оз тракторизація.

Перечисленное в п. п. 1-10 изъято.

Валечатий оїл пох'ябитх по доступило.

(изъято, составлено по сохранину расписку, опечатано)

Три оїлки уїветатіковані го. Каринско вїдетар Курдичко.
(если изъято, то куда отбравено)

Протокол прочитан, записано правильно.

Обыскиваемый: Сурбидіа = Сурбидіа =
(фамилия)

Понятые: 1. Діма = Шершак =
(фамилия)

2. Кристія = Кравцова =
(фамилия)

Участовавшие в обыске: А. Діма / Сергій Тришайнічак:

Обыск произвел: Малашкин обхвот Киевского ГСВЯ

каменіст мїлиціи: И. Мосиш = Мосиш =
(должность, звание, подпись)

Один экземпляр протокола получил Сурбидіа
(подпись)

Формат пр. подлинне, г. Чигрин, райтипография. 111. 1976 г. Зак. № 104) Т-5000
Мибивіи скорішею востраценіи дїл работоріа

КОЛЫМСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

...Становилось все холоднее. По утрам, просыпаясь раньше прежнего, мы наблюдали, как каждое утро открывались ворота мужской зоны и оттуда выносили носилки. Сперва это были единицы; затем носилок становилось все больше, уже десятки. Мы думали, что это уносят в больницу заболевших, но скоро убедились, что выносили мертвецов.

В зоне вспыхнула какая-то таинственная эпидемия. Однажды мы насчитали сто носилок. Становилось жутко — за близких, которые тоже были где-то невдалеке, за этих людей, товарищей по несчастью за соседней колючей проволокой, и, наконец, за себя.

Так нелепо погибнуть, и никто никогда не узнает, как тебя сволокут без гроба, голую в морг, накрыв брезентом, и вывезут с десятком других под сопку. Ой, да как же это можно? А между тем очень даже можно! И это «можно» мы наблюдали собственными глазами каждое серое безрадостное утро...

Неожиданно нас перевели в другой, более изолированный от мужской зоны, барак, уже заселенный ранее. Стало невообразимо тесно. Мы лежали как шпроты, непрерывно ощущая тело соседки. Было жарко и душно. Чадя горела коптилка. Темные косматые силуэты голов. Стоны, вскрикивания, тяжелый храп, дыхание сотен людей и бессонница... Мысли.

Скоро появились вши. До сих пор мы о них только брезгливо слышали. Теперь обовшивели все поголовно. Бани по-прежнему не было.

С этого времени установили полную изоляцию: мы жили на пустыре, на юру, окруженные только колючей проволокой; на углу — вышка с часовым. Еду нам подвозили в бачках к воротам, и служба отходила. Наши вносили бачки, раздавали и выносили пустые за зону. То же — с хлебом. Как зачумленным. Распоряжения передавались за проволоку.

Однажды мимо вели мужчин. Бледные, шатающиеся. Кто-то из женщин бросил пайку хлеба. Мужчина поднял. Конвоир тотчас же отнял у него хлеб, отшвырнул его, а мужчине велел стать на колени. Он стоял, наклонив голову, а мы стояли по другую сторону проволоки. Многие плакали.

На дороге, на склоне горы, стали строить какое-то каменное здание. По мокрой, скользкой, расплзающейся глине, под осенним дождем, босые, оборванные мужчины, запряженные в телегу, возили под конвоем гранит.

Строили новый большой морг.

В декабре неожиданно появилась какая-то комиссия; а несколько дней спустя предложили тем, кто имел медицинское образование, записаться на работу по обслуживанию больных лагерников в больнице и бараке при ней. О характере эпидемии нам не сказали, но было ясно: в зоне — сыпняк. Записалось двадцать три человека, три врача, фельдшерица и девятнадцать сестер.

Пока оформляли документы, принялись за борьбу со вшивостью. Стали через день гонять в баню: «жарили» в специальной камере белье и одежду, стали давать мыло и много воды. Трижды в день барак должен был раздеваться догола, просматривать белье и одежду и подсчитывать количество жертв. Ежедневно я передавала через проволоку ротному сводку о своей деятельности. И прозвали меня в ту пору «наркомвошь».

Наконец нас вывели за проволоку. Меня, сестру Артемьеву и Марию Николаевну (фамилию забыла) направили в один большой двухэтажный барак. Внизу находились выздоравливающие, сверху — тяжелые, в сущности безнадежные. Туда назначили меня и Артемьеву.

По пути мы проходили мимо палаты цинготников — зрелище страшное. Просто не верится, что люди могли гибнуть от цинги так беспомощно, страшно и в таком количестве. Мне приходилось не раз болеть цингой, но при наличии помощи она проходила быстро и бесследно.

Прежде всего нам выдали обмундирование и накормили. Наш начальник — молодой военврач двадцати девяти лет. «Товарищи!» — обратился он к нам. Такое бесконечно дорогое, забытое слово! Сдавило в горле.

На второй день заболела сыпняком единственная «вольная» сестра, остались только мы — заключенные. Вообще по слухам, которые сюда просачивались гораздо свободнее, чем в нашу зону, во Владивостоке участились случаи сыпняка среди вольнонаемного населения. Была эпидемия и в городской тюрьме. Очевидно, изоляции было мало, нужно было ликвидировать сам очаг заразы, чтобы спасти город. Были брошены огромные средства, даже мы это чувствовали; принимались серьезные меры по расследованию: как же вышло, что болезни дали разрастись до таких грандиозных масштабов?

Главный корпус больницы, сверх тысячи коек, был переполнен: наш барак — четыреста и множество палаток, в каждой не менее ста человек.

Начальник зоны исчез. Очень настойчиво поговаривали, что его судили и расстреляли.

Как же так вышло с сыпняком? А вышло довольно просто: для навигации было всего несколько пароходов: «Джурма», «Дальстрой»,

«Кулу» и еще два. Ежемесячный оборот был тридцать тысяч. А этапы с Большой земли все шли и шли. По ночам заключенные мужчины выли: «Воды...» Но, кроме выстрела, порой с вышек никаких мер не предпринималось. Люди голодали. Позже, когда эпидемия, еще не признанная, уже была в разгаре, заключенные скрывали смерть соседей по нарам, чтобы возможно дольше пользоваться их хлебным пайком. В июльскую, августовскую пору они терпели рядом с собой разложившийся труп, только бы съесть эти дополнительные граммы.

Наконец кому-нибудь из администрации становилось подозрительным, почему так упорно не встает заключенный, его дергали за ногу, и рука погружалась в мягкую кашу.

Больных не лечили, уносили только в морг. Теперь как-то моментально все преобразилось: любые лекарства, неограниченное количество белья, ванны, прекрасное питание – не было только людей, но это восполнилось нашей добровольной мобилизацией. Однако теперь на борьбу ушло несколько месяцев, а жертв – кто же считал их в ту пору...

Итак, наступила первая ночь моего дежурства. Сразу же с закатом солнца барак погрузился в непроглядную тьму. Малейшие щели в окнах тщательно замазаны, огромное угрюмое помещение освещалось убогой коптилкой; было время хасанских событий. Вторая коптилка горела у меня в дежурке, еще одна – у санитаров за их занавеской.

Широкий проход посреди, и по двое двойных нар по сторонам. На каждой из них человек. Всего их у меня было двести. В немыслимо тяжелом положении.

– Пить! Да, пить! Тут вода была.

Мне нужно было начать поголовный обход с уколами камфары. Я заглянула за занавеску, чтобы вызвать санитарку (их набрали из бытовичек). Но... пришлось немедленно ретироваться. Несколько позже вышла неохотно полураздетая санитарка, ткнула мне баночку с камфарой, шприц, ручную лесенку, фонарь «летучая мышь»:

– Вот!

– А как же у вас стерилизуется шприц?

– Еще что?! – И она снова исчезла, на этот раз окончательно. Это были уголовники – совершенно определенного типа.

Сделав уколы лежавшим внизу, вооружилась лесенкой и полезла вверх. Если люди были в сознании, все еще шло хорошо. Но сколько из них металось, отбивалось, кричало, вырывалось... Балансирую на лесенке с «летучей мышью», банкой, шприцем... Ох и нелегка же была эта ночь!

Под утро санитары вышли, обошли нары и убрали трупы за вторую занавеску в конце барака. В этот раз умерло семнадцать. Тащили их безразлично, интерес вызывали только зубы — нет ли золотых, главной добычи блатняков.

Утром пришел врач. Нижний персонал был немедленно сменен до единого человека. Была наложена стерилизация, появились ампулы, иглы — все как по мановению руки. Были приняты меры в отношении огромного числа нарывов от загрязнения.

Наш врач был, вероятно, очень хорошим человеком. Но он был молод, неопытен и боялся сыпняка. Это мешало ему в работе. Мы же могли быть только исполнителями, а этого было мало.

Через несколько дней наш врач пришел сияющий и сообщил, что сейчас к нам придут три врача из зоны. Это было грандиозно.

Время шло, а врачи не шли. Наш шеф забеспокоился, послал санитаря.

Вскоре тот явился с сообщением:

— Врачи есть, из зоны они вышли, путевки в барак получили.

— Так где же они? — нетерпеливо спросил врач.

— Они... они... без штанов сидят, — запинаясь, ответил санитар. И тут же пояснил: — В жарилке сожгли!

Мы хохотали до слез. Немедленно была послана скорая помощь, и три врача, одетые как сиамские близнецы, появились в бараке. Памятуя свое недавнее прошлое, мы прежде всего их накормили.

Началась дружная бешеная работа. Рабочего дня у нас не было. Мы работали до тех пор, пока не начинали засыпать на ходу. Тогда уходили в клуб, сваливались на стоящие на сцене койки.

Санитарки работали нормально — сменами. Третий состав был значительно лучше, и среди них встречались просто героические работницы. Как я уже говорила, у нас были двухэтажные нары. Ну и понятно, никаких суден. Больные, лежавшие наверху без сознания, испражнялись непосредственно на нижний этаж. Нетрудно себе представить, сколько раздражения вызывала работа в таких условиях у низшего персонала, однако встречались бытовички, выполнявшие ее просто самоотверженно.

Несмотря на большую загруженность, я все-таки понемногу знакомилась с составом барака. Я не помню у нас ни одного уголовника — «набор» был политический.

Как-то утром на обходе я обратила внимание на человека на верхней полке с очень интеллигентным лицом. Он был слепым, точнее, он перестал видеть. Как и все, был в тяжелом положении, еще более ухудшавшемся из-за слепоты. Я подошла к нему, взглянула на фамилию —

Б. Ясенский. Неужели «Человек меняет кожу»? Я спросила его сразу же, сгоряча: «Вы литератор, товарищ?» «Да, я художник», — ответил он. Меня же сейчас срочно позвали к кому-то, я только сделала ему прищипку на глаза и не успела в этот день вернуться к разговору. Он заснул, как мне показалось. Меня сменила сестра Артемьева.

На следующий день с утра у санитаров был какой-то спор.

— Сестра, погляди, мы перепутали бирки. Не помнишь, который Ясенский?

Они проводили меня за перегородку. Да, я помнила вчерашнего собеседника. Был ли он тем Ясенским, я так и не узнала. Теперь я только могла помочь санитарам, прикреплявшим к ногам умерших их паспорта на тот свет — с фамилией, годом рождения и, главное, статьей и пунктом.

Сколько их там, на Страшном суде?

Вообще в бараке было много иностранцев, чехов, болгар, итальянцев. Все они были коммунистами, в основном — политэмигрантами.

Помню, раз меня позвали к умирающему итальянцу. Он понимал, что умирает, не ждал ничего. Никто вокруг не понимал его речи. Он кое-как объяснялся по-французски. И вот держал меня за руку, исхудавший, страшный, но совсем еще молодой, лихорадочно, торопливо подбирая слова, мешая их с итальянскими, он говорил:

— Если когда-нибудь... может быть... скажите товарищам, что все это ложь, я — коммунист, я никогда не был предателем...

Начиналась агония. Держа его руку, я дала ему слово, что передам товарищам. Я не помню ни имени, ни его фамилии, время стерло их из памяти. Но данное слово я исполняю сейчас.

Лежал у нас болгарин, секретарь Димитрова. Были товарищи: венгры, чехи. Кто выжил, кто, — большинство конечно, — умерли.

Но, умирая, они неизменно убеждали меня в своей невинности, словно с этим им было легче уходить из этого мира.

Какой-то сибирский ответственный работник, заместитель Эйхе, все время бредил и не давал никому сделать себе укол. Я пробовала понять, вслушаться в его бред и с тех пор нашла ключ: ему надо было сказать, что телеграммы о хлебозаготовках уже посланы. Тогда он покорно подставлял руку, принимал лекарство, давал сделать компресс.

Был еще председатель колхоза. Этого преследовала навязчивая идея, что пришли его расстреливать. Он срывался, залезал под нары, и только путем длительных переговоров удавалось выманить его заверениями, что он оправдан судом — невиновен, и уложить его

на место до следующего раза. Он выздоровел, председатель. Во время болезни он клялся, что неграмотен, и кричал из-под нар:

– Как же меня расстреливать, когда я неграмотный!

После болезни он оказался весьма грамотным человеком.

Несмотря на питание и лечение, люди продолжали умирать. Вероятно, сказывалось предшествующее истощение.

Умер Вивинский из украинской Академии наук. Умирая, просил передать о его смерти жене – Вере Заневич.

Вымирали долго. Выздоровливающих переводили на первый этаж, новых больше не поступало. Эпидемия заканчивалась.

Мобилизованных сестер вернули в зону и только троих перевели работать в главный больничный корпус. Я была в их числе.

Началась новая полоса жизни, непохожая на предыдущую. Работа ограничивалась суточным дежурством, закончив которое мы возвращались в зону, в палатку, сооруженную за это время на дворе. Было несколько сыро, так как палатка почти наполовину находилась в земле, но мы не придавали этому значения. Питание улучшилось, в рабочее время мы питались в больнице. Снега уже не было, на солнышке было так радостно.

Больничная атмосфера, начиная от входа, швейцара, широкой лестницы до чистых коек, безукоризненной сверкающей белизны халатов, косынок, блестящих полов, больших окон, – все это было так далеко от нас в это время, что казалось, и вообще-то этого нет на свете. А тут оказалось – есть, и вот мы сами бесшумно движемся между кроватями, выполняя свою работу так, как «на воле».

Тяжелобольных было гораздо меньше, большая часть поправлялась, смерти стали реже, зато как же было обидно, если люди, перенесшие уже сыпняк, теперь умирали от дистрофии, голодного поноса, воспаления легких и множества других последствий и осложнений.

В одной из палат этого корпуса лежало несколько человек: профессор Ошман, врач, ректор астраханского не то института, не то университета. В углу – знаменитый летчик, напротив – журналист, в другом углу – художник. Журналисту нужно было делать массаж, и мною руководил профессор, очень деликатно исправляя мои промахи. А летчик разучился ходить, и мы медленно ходили с ним по палате, иначе он падал.

У профессора была жена-музыкантша. Мы жили с ней в одной палатке, и, когда наших вели в баню, я предупреждала профессора, – он подходил к окну и махал рукой старушке, проходившей мимо него в строю. Со второго этажа он не видел слез на ее лице. Эти молчаливые

свидания бывали праздниками для них. Все-таки они видели друг друга... Второй профессор – зоолог – лежал в другой палате. Очень слабый, очень немолодой, одержимый одной идеей – проблемой заселения полезными животными огромных просторов сравнительно недавно открытой Колымы. Он много путешествовал по неизведанным районам Советского Союза и вообще земного шара, имел множество трудов по этому вопросу, и с ним был большой исчерпывающий доклад на эту тему. Он продолжал над ним работать, лежа в постели, и наконец закончил и был очень озабочен отсутствием бумаги (доклад был с добрую сотню страниц), а также тем, что сил у него становилось все меньше и меньше, несмотря на усилия врачей. Он волновался: не ел, не спал. Мы решили помочь ему, добыли бумагу, и товарищи в палатке посменно переписывали доклад.

Наконец профессор передал его для направления правительству в Москву, и как-то просветленно стал ждать. Он слабел с каждым днем, угасал на глазах.

Была еще нелепая трагическая смерть. Лежал какой-то «хозяйственник». Сыпняк он перенес, но решил, что жить ему незачем – срок был все двадцать пять. Он сознательно пошел на гибель и довел себя до дистрофии и голодного поноса. Он слабел с каждым днем. Когда пришла телеграмма от жены о пересмотре дела и отмене приговора, ему безумно хотелось жить! Но было поздно! Когда пришли по телеграфу деньги на сопровождающую сестру – он был уже в морге.

А все-таки многие выздоравливали. Работа в корпусе все больше входила в норму и становилась похожей на обычную больничную жизнь, с той разницей, что перспективы у выздоравливающих были не слишком соблазнительными. Трудно было даже представить, как же эти люди, точнее, тени людей, выдержат трудности самого опасного отрезка пути – через море и сухопутный этап, мы не знали, на машинах ли, пешком ли – по неведомой колымской страшной земле.

Стали появляться слухи, что самых слабых вернут в Сибирь, в Мариинский лагерь, представлявшийся нам каким-то раем, чем-то средним между курортом и домом отдыха. Никто из нас не имел понятия ни о Мариинске, ни о его лагерях, но все-таки это был путь «назад», хотелось верить в это Эльдorado, и мы верили. Так страстно хотелось, чтобы эти люди, как-никак возвращенные к жизни, не погибли сразу же в корабельных трюмах на пути во Владивосток, пролив Лаперуза, Сахалин, Охотское море, Магадан.

Врачи и администрация стали составлять списки для Мариинского этапа. Туда набрали целый поезд слабосильных. В списки отправ-

ляемых вошли еле живые дистрофики из Азии, почти вся бывшая в корпусе интеллигенция, дохленькая, слабенькая, но восторженно верующая в свое воскресение в Мариинске: все эти профессора, журналисты, летчики и прочие.

Наступила уже настоящая весна: солнце светило ослепительно ярко, дни становились длинными, светлыми и — радостными.

Больных уже вызвали, и они расположились в ожидании на широкой внутренней лестнице корпуса, усевшись на ступеньках, площадках — сверху до самого низа. Через окно падали солнечные лучи, зайчики прыгали по бледным, изможденным, взволнованным лицам.

Самое страшное в их жизни было позади: и душные ночи в зоне, когда они, сгрудившись, стояли в толпе, воющей: «Воды...» — и выстрелы с вышки, и разложившиеся трупы рядом на нарах, и сотни вшей, шевелящихся на теле и не дающих ни минуты покоя, и бредовые кошмары сыпняка, и безжалостные мысли; трупы товарищей за простыней в углу, споры санитаров, вырывающих у мертвецов золотые зубы, трагические смерти среди смрада испражнений и многое другое, о чем не сказать, — все это было уже, казалось, так далеко позади.

А впереди — весенние разбухающие почки на деревьях, теплые солнечные лучи, безумная жажда жизни — невыразимое счастье, что это их — именно их, уцелевших, — ждет этот поезд на запад, туда, где все самое дорогое. Слабые, счастливые, ждали они последние минуты в больнице. Во дворе к ним присоединился этап женщин, самых слабых, больных, старых. Среди них была и жена профессора Ошмана.

Больница опустела. Я дежурила последнюю ночь. Меня тоже ждал этап на восток, Колыму.

Я бродила по коридорам, заглядывала в палаты. Всюду царили тишина и покой. Тяжелобольных не было, люди спали. Пустовали койки ушедших на этап. О них вспоминалось с облегчением: хоть эти вырвались!

Приближался рассвет. Где-то за сопкой подымалось солнце, уже зеленели контуры гор. А в распадке, где стоял корпус, было еще темно. Я подошла к окну тыльной стороны корпуса и услышала шум колес. Как всегда в эту пору, приезжали грабарки и вывозили из морга трупы. Сколько раз я, заслышав этот шум, уходила в палаты, не имея силы взглянуть в окно. Сегодня я в последний раз в корпусе. Нет, я должна во что бы то ни стало подойти к окну — я не имею права уйти так, не увидав всего!

И подошла к окну. В предрассветной мгле у темной открытой двери морга стояли три грабарки: одна, загруженная, уже отъезжала;

вторая, с серой лошадкой, стояла, нагруженная с верхом голыми закостеневшими трупами; третью грузили. Выволакивали трупы из морга и бросали в грабарку. С каким-то деревянным звуком мертвецы падали друг на друга. У одного торчавшая рука мешала грузить следующего. Блатной приналег с матерщиной, рука хрустнула и подалась... Грузили дальше. А лошадь тянулась мордой к стоявшей впереди, уже груженной, грабарке и глодала торчашую оттуда ступню. Нет! Ты не уйдешь, ты будешь смотреть до конца!

И я смотрела... Накрыли брезенты, заскрипели колеса, и в утреннем тумане исчезли силуэты лошадей, людей и страшного груза...

А из-за сопки вставало сверкающее золотом радостное, светлое весеннее солнце...

Мариинский этап, по слухам, не дошел. Когда поезд прибыл на место назначения — живых в вагоне уже не было...

Пусть этот слух, если он не соответствует истине, останется на совести донесших его до нас, если же...

Вскоре наша зона собралась в этап, и триста женщин двинулись в далекий путь — за океан.

Колыма, прииск Утиный. 1946 год

ЮЛИЯ СОКОЛОВА



Юлия Соколова-Пятницкая родилась в 1898 году в Курске в семье православного священника. Как и многие русские девушки из интеллигентной среды, Юля рано увлеклась идеями социальной справедливости, равенства, свободы. Во время Первой мировой войны она стала сестрой милосердия. Февральская революция застала ее на фронте. В Гражданскую войну она вместе со своим мужем Борисовым, в прошлом генералом русской армии, была в рядах Красной Армии. Обстоятельства гибели ее первого мужа неизвестны. А Юля Соколова под именем княгини Юлии Урусовой, близкой своей подруги, умершей от сыпного тифа, работает... в колчаковской контрразведке по заданию разведотдела 5-й армии. Ее информация была чрезвычайно важной для Тухачевского, который в то время командовал этой армией. Юля была знакома с ним еще до революции. Связной был схвачен, Юлия Соколова чудом избежала смерти. Ей удалось спрятаться в доме купца Кривошеева. Когда части Красной Армии ворвались в Челябинск, полумертвую Юлю нашли там в погребе на ледяном полу. Много дней прошло, пока она стала видеть и слышать, пока появилась возможность перевезти ее в Москву и положить в больницу. Здесь и произошла ее встреча со старым большевиком Иосифом

Ароновичем Пятницким, который приходил навещать лежавшую в одной палате с Юлей свою знакомую. Вскоре Юля стала его женой. Она закончила институт и работала инженером.

Семья Пятницкого жила в пятикомнатной квартире в «доме на набережной». Их было семеро: Пятницкий с женой и двумя сыновьями, отец Юли со своей второй женой и дочерью.

Выступление Пятницкого на июньском пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 году, где он высказался против предложения Сталина предоставить Ежову чрезвычайные полномочия, было той роковой чертой, которая разделила жизнь этой семьи на «до» и «после»... Все, что было после, отражено в дневнике, который Юлия Иосифовна Соколова начала вести сразу после ареста мужа. Дневник ее – уникальный документ эпохи, ибо не по памяти, а непосредственно «по живому» воссоздает страшную атмосферу того времени. В 1938 году конфискованный при аресте дневник послужил основанием для приговора. В 1956 году прокурор Борисов, который вел реабилитационные дела И. А. Пятницкого, Ю. И. Соколовой-Пятницкой и их старшего сына Игоря, отдал часть дневника, сохранившуюся в ее следственном деле, младшему сыну Владимиру Пятницкому.

Зоря Пятницкая

ИЗ ДНЕВНИКА. 1937–1938 годы С комментариями Игоря Пятницкого*

18. 07. 37 г.

26. 06. 37 г. – после работы Суянов (отвез меня) в Серебряный Бор на дачу Ярославского, которую нам предложили и... напоминали время от времени (зав. управделами ЦК ВКП(б) Иванов). Ярославский понемногу перевозился на новую дачу в Нагорное, вещи взяты из двух комнат, внизу и сверху. Детская свободна. Решила завтра, 27.06, переезжать. Пыталась гулять с Людмилой и Рольфом. Приехала вечером. Пятницкого нашла в ванне, – на пленуме ему выражено недоверие и подозрение в причастии к троцкизму.

Сообщение делал Ежов. Пятницкий на вывод из ЦК не согласился, просил расследования и обвинение, предъявленное ему, отклонил.

28.06 не пошел на работу. Наступили тяжкие дни...

[25.06.37 г. я был на футболе, на стадионе «Динамо», где наша сборная играла с «басками» – испанцами. Вернувшись домой, застал отца и мать дома. Тогда же мама сказала мне, что отцу на пленуме ЦК

* Комментарии И. Пятницкого помещены в квадратные скобки. – *Прим. сост.*

ВКП(б) было выражено недоверие. Так что можно сомневаться в правильности тех дат, которые мама привела выше. В дальнейшем же, много лет спустя, я узнал, что 24 июня Сталин предложил предоставить Ежову чрезвычайные полномочия. Отец выступил против. После перерыва, 25 июня, Ежов обвинил отца в принадлежности к троцкизму... Сведения о пленуме мне сообщила Е. Д. Стасова. А Л. М. Каганович рассказал Володе Губерману, что «в перерыве мы окружили Пятницкого и убеждали его отказаться от своих слов; на это он нам ответил, что выразил свое убеждение, от которого он не откажется». Каганович считал, что Пятницкий был случайной жертвой террора. Я так не считаю... Моя бабушка – Софочка – была второй женой Иосифа Алексеевича Соколова, который после революции сложил с себя сан и в дальнейшем работал бухгалтером. Людмила была их дочерью. Рольф – собака, боксер.]

Я работала, он, не выходя из дома, ходил по своему кабинету, не надевая обуви, читал Павленко «На Востоке», советовала ему убирать газеты со стола, писать, не думать все время об одном, чтобы не потерять голову... Сразу осунулся, глаза пустые, и тяжело с ним...

Очень хотелось умереть. Я ему это предложила (вместе), зная, что этого не следует. Он категорически отказался, заявив, что он перед партией так же чист, как только что выпавший в поле снег, что он попытается снять с себя вину, только после снятия с него обвинения он уедет. Обедал всегда со мной эти дни (обед ему привозила уборщица его кабинета). Каждый день он звонил Ежову по поводу очной ставки с оклеветавшими его людьми... Ежов обещал, несколько раз назначал день и час и откладывал. Наконец 3.07 он ушел в 9 часов (вечера) в НКВД.

Я волновалась за его страдания, легла в кабинете у него и ждала... Наконец он вошел в 3 часа утра... Это был совершенно измученный и несчастный человек. Он сказал мне только: «Очень скверно, Юля».

Попросил воды, и я его оставила.

Насос без отдыха стучит, строят мост, душно.

[18.07.37 г. мы жили уже в бывшей квартире Карла Радека, кажется, во втором подъезде дома правительства, куда нас переселили из 20-го подъезда этого дома после ареста отца. Мост строили рядом.]

Я решила в отчаянии все же переехать, чтобы немного ему подышать воздухом. Невыносимо здесь... Переехали, но он все время, как говорит бабушка, до моего возвращения из Москвы не выходил из кабинета.

4, 5, 7 июля заказывала машину, и она увозила меня и дедушку на работу и привозила к Серебряному Бору. Нестерпимо тяжкие дни для Пятницкого...

Он ждал ареста, я тоже была к нему подготовлена, то есть кое-как подготовлена, Пятница дал мне все свои облигации на сумму 6 тысяч руб. Дал свою сберегательную книжку на сумму 11 750 руб. и парт-взносы с литературного заработка за все время, как оправдательный документ, дал мне 10 тысяч, которые у него были (литературного заработка), чтобы я их внесла в сберкнижку — на мое имя...

Все это он передал мне 5.07 (кажется) в своем новом маленьком портфеле, который он подарил мне с тем, чтобы я свой отдала Игорю. В портфеле кроме этого были мои личные письма, за какой период, я не знаю, только он предупредил: самые «больные», очевидно, в период моей нервной болезни. Я не смотрела, что там было. В портфеле были и мои облигации на сумму 1,5 тыс. рублей и 11-я лотерея Осоавиахима — 5 лит., и 5 Вовиных, а 10 Пятницкого остались в ЦК у Наташи.

Кроме того, Пятница дал мне перевод на мое имя денег из кассы ЦК на 11 500 руб., я вынула этот перевод из портфеля, чтобы Наташа осуществила перевод денег в мою кассу № 10, и забыла, куда я его дела.

Думала, что он у Пятницкого, и 6.07 его об этом спросила, он сказал, что отдал мне, так как с Наташей ему не удалось видаться. Что было еще в портфеле — я не знаю. Пятница сказал мне, что все счета, оплата за мебель тоже в портфеле, как оправдательные документы. Вот так я и приготвилась к аресту: вложила портфель со всем содержимым, даже с последней зарплатой Пятницкого в размере 560 руб. 44 коп., и жили мы эти дни на мою зарплату и деньги, которые у меня были еще от моего отпуска. В моей комнате гардероб, а в гардеробе чемодан, в который я и закрыла портфель.

[Комната в нашей квартире № 400 в 20-м подъезде.]

6.07 мы гуляли с Пятницким по берегу реки (был дождливый серый день), людей было мало. Мы мучительно говорили, т. е. не было выхода для него иного, как только положиться на волю Ежова, и даже не Ежова, а тех, кого он, Ежов, выбрал для него, чтобы пытаться его, чтобы сделать с ним все, что вздумается. Все эти мысли, они ужасно отвратительные, я ему высказывала. Отвратительность не в том, что, может быть, воля людей, ведущих расследование, такова, чтобы обязательно найти в Пятницком врага, а это нетрудно: наводящие вопросы к арестованным шпионам из Коминтерна, подобрать материал у (тех), с кем он был в работе не согласен, и человек погиб. Шансов больше за гибель, чем за спасение, тем паче что и Ежову выгоднее, коль он начал дело против старого, ничем до сего времени не запятнанного большевика, закончить дело полной победой, то есть раскрыть еще одного троцкиста, члена ВКП(б) с 1898 г. Все равно после

этого, в случае оправдания для Пятницкого и для всякого большевика – жизнь невозможна. Вот поэтому и было несказанно тяжело...

Я говорила тогда ужасно, то есть то, что чувствовала. Я не оставляла ему ни крошки надежды, я доказывала, что он не сможет возвратиться, упирая на то, что при отсутствии фактов и при полной невинности, которая будет ясна и Ежову и Сталину, – его больше не выпустят, что для дела так выгоднее, все равно он старый и разбитый человек...

Он просил меня не говорить так – очень серьезно и значительно, он сказал: «От таких слов, Юля, мне действительно лучше было бы застрелиться, но теперь нельзя». Он просил меня ничего из вещей не покупать, хотя у Вовы нет шубки, валенок, нет у Игоря костюма, нет ни у кого... Он просил только кормить хорошо детей, чтобы они были здоровы и могли учиться хорошо. Больше ни о чем со мной не говорил. В Москве, до выезда на дачу, когда я просила ответить Вове на письмо, которое он прислал отцу, Пятница невыразимо печально сказал: «Нет, что дал я ему?» Больше ничего он не сказал, но велики его переживания, я их остро почувствовала.

Ведь 23. 06, когда начался пленум, а я с Игорем была в Нагорном и не ждала его... пленум должен был работать в выходной, он вдруг приехал, когда я уже спала. И проснулась я от его взгляда, необычайно светлый и печальный взгляд был у него. Я сразу проснулась и почувствовала, что он чем-то потрясен. Он сказал мне: «Кнорин шпион», а потом он говорил о детях, о всех этих невинных несчастных маленьких гражданах Советского Союза, которые должны мучительно жить в ненормальных психологических условиях, в нужде...

Он часто говорил о детях и следил за ними, начиная с этих преступлений и процессов. Как же он должен был страдать за своих двоих детей, которых он крепко любил... Об Игоре он сказал, еще мы не переезжали на дачу (но Игорь узнал от меня, и Пятница прямо испугался, как я могла это сделать? Все-таки и у него иногда была надежда, что все кончится хорошо, но это только мимолетно), он сказал мне об Игоре: «Он далеко пойдет, если не сломится. У него есть и воля и голова. Он уже очень идейный мальчик, он несравненно сильнее и лучше тебя».

5-го и 6-го, гуляя, мы заходили к Илько Цивцивадзе.

5-го сказала Anne Степановне и Илько о положении Пятницкого. Они были потрясены. Пятница был рассержен на меня за болтовню, дескать, она [Анна Степановна, жена Илько] все разболтает в Институте Ленина. Я не понимаю его: зачем нужно скрывать? Как будто можно об этом не закричать на весь мир, когда обвинен и страдаешь напрасно? Все равно я этого не пойму.

6.07 нам было тяжело, грустно. Я уже рассказала, что мучила Пятницкого своими разговорами именно в этот день. Мы обошли кругом весь Серебряный Бор и зашли к Илько, он был один, Анна Степановна зачем-то была в Москве (она энергичная, она все использует, чтобы спасти мужа).

Мы застали Илько синегубого, зеленого, со слезами на глазах. Дрожащим и тихим голосом он сказал: «Вчера меня исключили из партии» (на парткоме). Он сказал, что произошло.

Нужно было видеть Пятницкого — он о себе забыл, а был только товарищ, он убеждал Илько не волноваться так сильно, он успокаивал, он давал советы. И простились они замечательно. Илько, потрясенный и несчастный, дает ему руку. Пятница говорит: «Чего, Илько, мы не делали, не переживали ради партии. Если для партии нужна жертва, какова бы ни была тяжесть ее, я с радостью все перенесу».

Сказал ли он это для бодрости Илько или сам хотел освятить себе свой последний тяжелый путь... этого я не знаю, только слезы душили меня и не было для меня святее и прекраснее этого человека...

7.07 я уехала на работу, и когда нас привез Суянов в Серебряный Бор, он сказал: «Завтра машины не будет». Тут я поняла, что арест состоится очень скоро. Пятницкому об этом не сказала, обедали в тягостном молчании. От Пятницкого осталась только тень, он похудел наполовину. Никаких сентиментальностей не проявляла я по отношению к нему, для меня он был все дни какой-то особенный, нездешний. Об обычном мы с ним вообще никогда не говорили (о житейских делах и обычных чувствах).

7.07 в 11 часов я легла спать, Игоря не было, легли уже Пятница, я не знала, только вдруг входит Люба ко мне и говорит: «Два человека пришли к Пятницкому». Не успела я встать, как в комнату вбежал высокий, бледный, злой человек, и когда я встала с постели, чтобы набросить на себя халат, висевший в шкафу, он больно взял меня за плечо и толкнул от шкафа к постели. Он дал мне халат и вытолкнул в столовую. Я сказала: «Приехали, «черные вороны», сволочи», повторила «сволочи» несколько раз. Я вся дрожала. Человек, толкавший меня, сказал: «Мы еще с вами поговорим в другом месте за оскорбления». Я сказала громко: «Пятницкий, мне угрожают какими-то ужасами». Тогда вышел военный человек, похожий на Ежова, наверное, это был он, и выяснил у толкавшего меня, что [случилось], и сказал, обращаясь ко мне: «С представителями власти так не обращаются советские граждане». Потом он ушел к Пятницкому, и я слышала, как Пятницкий как-то уверял его относительно меня, но в чем именно,

я не знаю. Что делали там с Пятницким, я не знаю. Я слышала только, что он говорил спокойным голосом, он просил зафиксировать, «какая именно переписка была именно у него». Они записали: «Разная переписка». Пятница не соглашался с таким определением – «разная». Там были Вовины письма, Игоря выписки, а что еще у самого Пятницкого, я не знаю. Мне дали адрес: «Кузнецкий, 24», чтобы справиться о нем. Дали Пятницкому полкоробки зубного порошка, два полотенца, щетку, и больше ничего.

Были минуты или секунды, я не знаю, когда я ничего не видела, что было, но потом возвращалась... Одно сознание, что больше его никогда не увижу, и страшное сознание бессилия и праведности его жизни, беспрестанное служение делу рабочего класса, и эти люди – молодые, грубые, толкавшие меня... Преступный, извращенный человек, он на всех произвел тяжкое впечатление, когда он пришел в столовую, когда меня толкнул. Он взял с особым выражением столовый нож со стола. В чемодане была коробка конфет шоколада для Игоря, он рассыпал их на дне чемодана, у меня перевернули все вверх дном, хотя я сказала, что ничего нет здесь, может быть, найдете в квартире. Мы только что переехали.

Другой человек – военный, немолодой, белобрысый, широкий, весь надутый, под шинелью, всяким оружием. Он стоял все время, расширив ноги, около несгораемого шкафа Ярославского, а когда толкавший меня спросил, что это такое, я сказала, что у бедных людей не бывает [таких шкафов], это... Ярославского. Военный усмехнулся и покачал головой. Военный, очевидно, охранитель, исполняющий обязанности палача, когда надо.

Еще был штатский мальчик, хорошо одет, и вполне благообразен, и доволен обстановкой, он бегал за Людмилой. Были другие военные: кто стоял, кто ходил за Ежовым. Может быть, то не был Ежов, хотя все (дедушка, бабушка, Людмила) сказали, что это его рост и лицо. Он положил на стол часы Пятницкого, ручку, и карандаш, и записную книжку; он полон иронии и серьезен, в нем врага я не чувствовала. Единственный страшный враг – это тот грубиян, которого я так оскорбила, но он, правда, враг.

Потом в последнюю минуту в мою комнату вошел Пятница (я была в своей комнате потому, что позвала Ежова посмотреть на работу «врага»). Ежов сказал – это арест, ничего в этом особенного нет).

Пятницкий пришел и сказал: «Юля, мне пришлось извиниться перед ними за твое поведение, я прошу тебя быть разумней». Я сразу решила не огорчать его и попросила прощения у этого «человека», он протянул мне руку, но я на него не смотрела. Я взяла две руки

Пятницкого и ничего не сказала ему. Так мы простились. Мне хотелось целовать след его ног...

Я решила дождаться... крепиться. Игоря все не было.

Пришел Игорь, он сразу догадался. Я сказала, что папа увезен, просила его лечь в папиной комнате, но он ушел к себе наверх. Ночь я не спала. Не знаю, кто спал. Было очень нужно умереть.

Утром мы пошли на работу. Я все сказала директору. Мне дали приводить в порядок библиотеку под предлогом, что мне в таком состоянии трудно проектировать. Копалась с книгами в архиве.

Пришла на квартиру. Все взломано. Комната Пятницкого опечатана: что там, я не знаю. Портфель со всем содержимым (то есть с деньгами и облигациями), патефон с 43 пластинками, детские ружья, готовальня Игоря, три тетради неписанные по 5 рублей из моего стола, часы Игоря со сломанным стеклом, все мои и детские книги, мои документы об образовании — то есть все, что могло дать нам возможность первые 2—2,5 года прожить без него, — все похищено. Даже у отца похищена его сберегательная книжка на 200 рублей и его трудовые облигации (не знаю, на какую сумму). У Людмилы похитили золотые часы и все Сашины документы (ее товарищ). И так мы остались без всего. Бельишко у всех взбаламучено и выпачкано, в моей коробке с пуговицами нашла две папиросы. Чемоданы с выломанными замками — не могут закрыться. Два чемодана со статьями и докладами Пятницкого увезены. Я все это увидела и уехала в Серебряный Бор. Там плачет бабушка. Утром приходил комендант и предложил срочно выбираться из дачи. Потом вечером пришел Григорий-сторож и тоже заявил о выезде из дачи.

Утром 9.07, до работы, часов в 6,5, пришел помощник коменданта и попросил меня расписаться о сроке выбытия. Я расписалась на 10.07, о вещах сказала бабушке, чтобы она забрала сколько может, а за помощь Григорию (чтобы он сложил данные вещи) уплатила деньгами...

Игорь убирал свою комнату [после переезда в Москву], Люба помогала у меня и запихала взломанные вещи в гардероб, завязали взломанные вещи веревкой, и как будто бы стало не так страшно... Поели черной каши с молоком и легли спать.

Я дала бабушке последние сто рублей, а она их отдала Матвеевне, которая ушла совсем 11.07. Она оставила нас глубоко опечаленная, как говорит бабушка. Мы не остались ей должны ни одной копейки. Начали питаться так: масла нет или почти нет. Суп, щи — почти всегда без мяса. Каша и картошка. А утром и вечером чай с хлебом. Игорю бабушка покупает или сосиски, или сыр. Но он тоже сильно похудел.

Игорь все время лежит и читает. Он ничего не говорит ни о папе, ни о действиях его бывших «товарищей». Иногда я ему говорю злые мысли, ядовитые, но он, как настоящий комсомолец, запрещает мне это говорить.

Он говорит иногда: «Мама, ты мне противна в такие минуты, я могу убить тебя». Он мне сказал на днях: «Мама, у меня большие замыслы, поэтому я все должен перенести». Он хочет работать и учиться. Работать ему было бы нужно, чтобы немного лучше питаться, но его не принимают, на нем клеймо «Пятницкого».

В комнате Пятницкого на балконе заточены все лимоны (растения) — 5 штук, два аспарагуса (метелки) — шести- и двухлетние, Воины кактусы и другие цветы — они обречены на умирание от жажды. Каждый день я мучаюсь этим, и даже ночью; так хочется полить эти цветы — так бесконечно жестоко расправились с нашей семьей. При переезде с дачи Игорь оставил с цветами, которыми я украсила большое окно на лестнице, белую, только что распускающуюся розу, за которой я ухаживала два года, и рододендрон, который я купила у Петра Тер. Мог. за 7 рублей, он начал превращаться в дерево. На другой же день, когда я хватилась, их уже украли. Наверное, соседи с 10-го этажа, вот люди-товарищи.

10.07 я написала письмо Ежову, копию которого оставила у себя, но ответа нет, хотя письмо при мне регистрировали, значит, оно попало к нему. Заходила к Сольцу [Арон Александрович, старый большевик, жил в нашем подъезде] и написала ему письмо с просьбой указать, что можно предпринять, чтобы получить мою сберегательную книжку, 600 рублей — 1/2 месячной зарплаты Пятницкого — и облигации, что, если он может меня принять, пусть напишет на моем же к нему письме «зайди», если нельзя, то он должен только передать письмо. Вечером я зашла, и испуганная Анна Алексеевна (старая экономка его) сказала: «Он сам боится, он меня прогонит, если вас увидит. Он сказал, передайте ей, что я ее не знаю».

13.07 я пошла посоветоваться с Бобровской [старая большевичка], она сначала не хотела принять меня — по телефону сказала «Юля», но через секунду она разрешила мне зайти к ней, это было 20 минут девятого, перед работой, она не стала меня выслушивать, а со слезами на глазах, вся взволнованная, сказала: «Иди прямым путем, то есть действуй через Ежова, и ни к кому из товарищей не обращайся. Никто не поможет и не может помочь. Дело очень серьезное. Пятница был обижен снятием из Коминтерна. Ничего нельзя сказать». Какая же цена этим товарищам, что они идейность расценивают, исходя из личных интересов?

Пятница всегда мне и раньше говорил в сердцах, когда я видела что-нибудь отвратительное в отношении к нему: «Запомни, я служу только рабочему классу, не отдельным лицам». Стоило только какому-то поганому шпиону указать на него – и все поверили в возможность...

Людмила ходила к Надежде Константиновне Крупской с письмом моим, но она не принимает никого, а письмо не попадет к ней, поэтому я порвала письмо к ней и к Солцу.

О моей жизни, о Пятницком, знают: инженер Гаркуша, инженер Кузнецов, инженер Жданов, инженер Шварц. Каждый из них видел мои заплаканные глаза, или то, что я ужасно выгляжу, или то, что я не работаю над проектом. Я не говорила подробно, но основное: что Пятницкий арестован и что у нас все «конфисковали», вплоть до заработной платы Пятницкого.

Никто ничем помочь не может. Всем очень страшно. Они знают, что мы не одни, что таких семейств много, что расправляются за одно слово жестоко. И страшно мне, что я им сказала. Может быть, кто-то захочет использовать для своей пользы...

13.07 я ходила на Кузнецкий, 24 узнать о Пятницком и посоветоваться насчет денег; ждала 2,5 часа, с 7.40 до 10 часов (вечера). Принял зевающий, равнодушный и враждебно отнесшийся ко мне человек – «представитель наркома». Насчет Пятницкого сказал: «Какой это Пятницкий? Их много». Когда я сказала какой, он мне сказал: о нем можно будет поинтересоваться в окне № 9, и не ранее 25–26 июля. Насчет денег он сказал: «У нашего брата не бывает таких денег», то есть ясно выразил мысль, что Пятницкий жулик и вор. Он сказал: такие суммы обычно не возвращают и что после процесса или суда можно будет узнать, как ими распорядятся. Заявления насчет облигаций он пропустил мимо ушей.

Два раза я ходила в партком Замоскворечья, что на улице Пятницкой, но милиционер оба раза не пропустил: оба раза секретарь отсутствовал, хотела с ним поговорить насчет Игоря.

Была у коменданта дома Лаврентьева два раза: первый раз узнавала, был ли кто от дома при обыске, он сказал, был дежурный комендант, что все вещи занесены в акт, за исключением наличных денег. Я спросила его, можно ли продать радио. Он сказал, что нет, но он проверит. Второй раз вчера я заходила к нему насчет радио, он дал телефон первого отдела, чтобы я сама справилась. Носильные вещи продавать можно, но ведь у нас даже необходимого нет. Можем продать меховую шубу Пятницкого, относительно которой я в прошлом году еще говорила с ним, что он ее не носит, что ее можно продать;

он сказал, что, если будет зимой в командировке на Севере, она ему пригодится. Но теперь я думаю, она ему не пригодится и ее можно продать. Потом можно продать мое пальто, которое Пятницкий мне сшил в Карлсбаде. Только меня могут надуть. Больше продать нечего. Мы обречены на голод.

Людмила нашла себе работу за 200 рублей. Все дни она была в обществе своих ребят, ее положение все же лучше. Только не знает, куда ее выселят. Дедушка, бабушка и Людмила очень хотят теперь отделиться от нас, лишь бы им дали комнату. Им больше нечего от нас получить. Особенно это ярко показывает бабушка, она просто говорит: «Если все не могут спастись, пусть спасается тот, кто может». Обидно, но почему? Это ведь правильно. Обидно только то, что за 7 лет, что их кормил Пятницкий, Людмила училась в хороших условиях, жили в хорошей квартире; обидно то, что, когда нас унижают, они думают, чтобы скорее удрать от этих несчастных, то есть меня и ребят. А как прожить втроем на 350 рублей при моем умении... Мне все еще кажется, что я во сне, что Пятницкий скоро придет. А гибель мучительная все ближе и ближе. Скоро нагрянет выселение, куда и как, и нет денег. Скажут: «Молчите обо всем». Даже умереть нужно как-то тихо, а Вова ничего не знает.

Да, я еще ходила к Муранову [старый большевик], но там замок, он в больнице. Вовка про отца спрашивает в каждом письме.

Вове с ареста Пятницкого ничего не пишу, страшно врать и страшно сказать правду [мой брат Вова, 12 лет, был в пионерлагере «Артек»]. У Вовы украли 19 рублей денег, и он во вчерашнем письме просил прислать 15 рублей, но у меня нет, лучше я ему куплю учебники на эти деньги. Он спрашивает о Рольфе, но 10.07 его отдали команданту. Рольф все чувствовал, он тихо стонал...

Вова прислал Игорю сегодня, 18.07, письмо, в котором сообщает, что он дружит с четырьмя испанскими мальчиками и что он дружит с русским, но это русский украл у него 19 рублей. Вова сообщает, что он сильно ранил ногу и она нарываёт... Если узнают, что с ним случилось, сделают ему какую-нибудь пакость («проявят бдительность»). Уж хотя бы скорей вернулся в нашу нищету.

Даже если бы все кончилось и Пятница был бы реабилитирован – жить невозможно. Нужно только дожить до конца расследования. Видеть же ни в чем не повинных детей – это мука, которую трудно выразить, это положение страшнее террора в Испании, они все вместе борются за правду, за свою лучшую жизнь и умирают в надежде, а здесь... никого нет. Зачумленные дети «врага народа», можно только тихо умирать. Если выброситься из окна, тихо заруют в землю

и даже никто не узнает... Если упасть под поезд в метро, скажут – нервнобольная, а дети совсем без помощи. Нужно все-таки немного побороться. Как продать вещи? Это самое трудное для меня.

Сегодня целый день дождь. От Игоря постепенно отвернулись его товарищи – Самик Филлер, Витя Дельмачинский, никто ему не звонит. Вчера вышел было и сейчас же вернулся. Сегодня не встает с постели, все лежит.

Чем может это кончиться? Кому какое дело?

Я выяснила, что горе имеет какой-то запах, от меня и от Игоря одинаково пахнет – от волос и от тела...

20. 07

Вчера совсем вышла из нормального состояния. Написала директору Артека ужасное письмо с просьбой передать Вовке обо всем, что произошло в нашей семье, несчастный Вова. Неизвестно, какой человек этот директор, которого я не знаю, что он преподнесет Вове... Может быть, обидит его...

Комендант предложил, когда я попросила его принять [Игоря] в ученики по электромонтерскому делу: «Пусть через отдел переменит фамилию, легче будет устроиться». Мне инженер Шварц предложил: «Разведитесь с мужем, легче будет». 10 дней проработала в архиве вместо проектирования. Вчера и сегодня работала над проектом, но голова занята совсем другим. Со мной никто не хочет разговаривать. И начальник совсем игнорирует. Что будет, если узнают все в конторе [все сотрудники]?

Что Вова будет делать в нашей обстановке? Даже есть не сможет вволю, ребят нет, отца нет, Рольфа нет, книг нет, и вещей его нет, с которыми он мог бы заниматься, и воздуха нет. Сразу после Артека сил нет держаться.

Днем во время работы уже второй день находит столбняк: ничего не вижу и ничего не делаю, просто исчезаю куда-то из жизни. Потом возвращение очень болезненно воспринимается.

Вчера вечером о Пятницеком думала со злобой: как он смел допустить нас до такого издевательства?

На Пятницкого вся обида горькая. Отдал своих детей на растерзание, какие деньги, во всем ограничиваемый и отдал этим, кто грабит, и вещи и деньги. Но кто же эти люди? В чьей мы власти? Страшный произвол, и все боятся. Опять схожу с ума, что я думаю, что я думаю?

[Постепенно мама начинает понимать, что в НКВД действуют преступники – политические и уголовные. Вероятно, к ней приходят мысли о том, что Сталин и Ежов – тоже преступники, главные

преступники, но эти мысли еще не завладели ею целиком, как это случилось позже: летом 1939-го она мне об этом четко сказала, в Карлаге. Теперь же она терзается в сомнениях. Она правильно упрекает отца в том, что он не предупредил ее о методах, которые практиковались в НКВД, не принял меры против кражи денег и вещей из квартиры в Москве, где преступники из НКВД хозяйничали без хозяев. Отец должен был знать, как НКВД проводит аресты и обыски. Теперь мы знаем, что 24 июня 1937 г. на пленуме ЦК ВКП(б) он выступил против Сталина, против его предложения – предоставить Ежову чрезвычайные полномочия; он выступил за усиление партийного контроля над действиями НКВД. Что же касается средств к существованию после возвращения семьи в московскую квартиру, то можно было сорвать печать на двери в кабинет отца. Там была богатая библиотека, политическая и художественная. Можно было продавать книги. На балконе этого кабинета-спальни отца стояли цветы, они погибали без воды, и мама страдала из-за этого. Но ни она, ни я – а мне было уже 16 лет – не посмели войти в кабинет отца. Может быть, это и к лучшему: иначе мама могла подумать, что меня арестовали именно за этот поступок, а арестовали меня через несколько месяцев; и тогда она упрекала бы себя в моем аресте.]

21.07. 12 часов ночи

Сегодня консультировалась по поводу моего проекта с Б. П., он внес большие изменения, если их принять, нужно большое напряжение в работе в короткие сроки, если оставить мои некоторые вопросы, документации не будут вообще разрешены, но мне больше советоваться не с кем. Придется проработать «рабочий наряд». Самая трудная для меня работа.

На работе меня сторонятся, а сильное желание как раз иметь от людей какую-то поддержку, хотя бы вниманием, советом. Я, кажется, поступаю не как организатор (трудового процесса). Ежедневно стираю после работы, то есть сначала обед, потом 30 минут почитать «На Востоке» Павленко, а потом – стирка, непроизводительный труд в этой области: нет соды, нет приспособления.

Сегодня получила зарплату 170 рублей, вычли за заем и так далее, а бабушке я дала 150 рублей, дедушка дал бабушке за 1/2 месяца 80 рублей, вот и живи как хочешь. Кажется, скоро будем по-настоящему голодать. Продать ничего не умею.

Игорь лежит целый день и сегодня даже не выходил...

Встретила в метро Ночину О. П. ...Она смотрела на меня, но не поздоровалась, я тоже. Потом в вагон вошел тов. Лапьер – железно-

дорожник, что с Пятницким хорошо был знаком, он увидел меня и все время смотрел в другую сторону от меня.

Газету сегодня попросила через бабушку от А. Г. Зеленской (родственница А. Г. Сольца, жена И. А. Зеленского; ее муж арестован, и она живет у Сольца). Я ей сама принесла через два часа. Очень боюсь за письмо, которое послала директору Артека. Как бы мне за это не отомстили, ну уж теперь не вернешь. Ой, тяжко: хорошо бы не прогнуться совсем.

24. 07. 37 г.

22. 07 был очень тяжкий день для меня. Работать я не могла, не было сил; мысли о выселении без денег — неизвестно куда и как — совсем меня измучили. Инженер Шварц, заметив мое тяжелое состояние, предложил мне бросить детей и уехать куда-нибудь под Москву, чтобы издали наблюдать за ребятами и помогать им, из того расчета, что без меня и отца — детей правительство не бросит. Это, конечно, не так.

Правительство, конечно, обратит внимание на ребят, только после того, как они дойдут до крайнего бедствия. Игорь может покончить с собой, Вова станет беспризорником. Об этом даже никто не узнает, потому что вообще никто не интересуется.

После обеденного перерыва пошла в партком, там был дежурный, тов. Жарких. Я ему высказала мысль, что не справлюсь с возложенной на меня задачей прокормить ребят... на 350 руб. Он указал на то, что большинство населения живет в таких условиях, что ведь я была женой ответственного работника, я жила в лучших материальных условиях и что, когда я стала женой «врага народа» Пятницкого, я не могу претендовать, так же как и дети «врага народа» не могут претендовать на благоприятные условия, и сразу же сослался на себя, что он имеет ребенка и жену, которая не работает, и что до сего времени он жил на 450 рублей и квартира не была такая, «как у вас, ничего, приспособитесь». В общем, ко всему подход исключительно шкурный, дескать, вот я в каких условиях жил, а ты «враг народа» и т. д.

Итак, неужто обречены мы на такое поругание, на такое бесчеловеческое отношение? Да, я ему еще сказала, что старший сын со дня ареста [отца] не выходит из дому, что он нервно заболел. На это Жарких сказал: «В 16 лет парень должен начать работу, а не лежебочничать, в это время я уже работал. Ничего, пусть и он попробует, как зарабатывают себе хлеб. Нечего распускать себя, никто его не накормит, если сам не заработаешь. А если издеваться кто будет, голову снедем за ребят», — вот как сказал Жарких.

После работы стирала две простыни – ничего, справилась. К 12-ти освободилась, и ничего не осталось для жизни. Легла.

Вчера, 23.07, работала плохо: горе никак не тупеет, только боюсь его высунуть наружу – боюсь думать о Пятнице...

Не стирала, пошла вечером к Жабе [А. Г. Зеленской] на пятый этаж. Она хоть и дрянь, но все же, из любопытства или иного чувства, не боится со мной говорить. Я, по правде сказать, пошла к ней, чтобы узнать, что бы она в моем положении предприняла... Она сказала: «Не медли продавать имущество из расчета жить в одной комнате». Я сказала: «Нет знакомых». Она: «Объяви в газете и на службе. В комиссионный магазин не стоит продавать, так как скупают за бесценок». Жабка не издевалась и была пряма, как всегда. Она сказала то же, что и Жарких, что так живут все служащие страны, что никто мне не посочувствует, что никому не надо жаловаться, что «у тебя все же положение лучше, чем у меня и Арона» [А. А. Сольца]. «Чем же лучше?» – «Ты еще не старая, красивая баба, и сил у тебя больше». Вот мое преимущество – так она говорит. «А дети быстро обживутся в новых условиях. Им легче». Все это было тяжело, очень тяжело слушать, потому что внимание, которым нас окружал Пятницкий, было действительно невелико. Он весь был в работе, и жили мы так тихо и незаметно, что, очевидно, у всех, кто хапает, у всех Ляпкиных-Тяпкиных – а хаповых большинство, – сложилось такое мнение. И это и было ценно для меня в Пятницком, что он скромнейший и честнейший человек, что мы у него пятое блюдо, и если что имели от власти, так это самотеком, даже дачи не имели, пайки не всегда получали, только в последние два месяца, после процесса (Пятакова, Радека и др.), Наташа навязала паек, а я не отказалась.

Имела только самое необходимое для ребят, сама этими продуктами и семья не питалась...

[О даче. Насколько я себя помню, в Клязьме и в Серебряном Бору мы жили на втором этаже дачи среднего размера, обычного деревянного дома, а на первом этаже жили хозяева дачи – знакомые отца; в Серебряном Бору хозяином дачи был Илько Цивцивадзе. Материальные преимущества шли к отцу самотеком, он их не добивался; дело в том, что большинство руководителей хапали у государства, что только можно, и они были заинтересованы втянуть в процесс обогащения всех руководителей. Поэтому отцу подсунили паек, о котором пишет мама, и дачу Ярославского – большой дом с огромным садом – непосредственно перед арестом отца.]

Еще Жабка мне сказала: «Самое страшное для меня то (для нее то есть), что я уже не переживаю, как в процессе Каменева, Зиновьева,

я уже привыкла. Меня это не трогает, как прежде, — ведь половины ЦК нет, так что к этому можно привыкнуть». Когда я спросила, как же могли поступить так с Пятницким, ведь не может он быть ни шпионом, ни троцкистом, она сказала: «Дело не в том, был он виновен или нет, — дело все в том, верят ему или нет... — И развила дальше мысль: — Елена Дмитриевна [Стасова] пропустила через себя массу шпионов, устроила их на работу, но ей верят и не трогают. Серго Орджоникидзе ужасных дел натворил, окружив себя шпионами, но ему верили. Клим [Ворошилов] окружил себя шпионами и ничего до последнего времени не заметил, но ему верят... Все зависит от этого. Ну а Пятницкому не верят... Больше сказать ничего не могу». Потом она сказала: «Была в Нагорном [дом отдыха ЦК партии], никого из прежних, все новые. Смена нужна, старики меньше смогут дать. Но почему стариков так жестоко обидели?»

Потом я сказала: «Может быть, самый лучший выход — смерть для меня?» Она засмеялась и сказала: «Ну, это не так просто. Люди уходят из жизни, когда уже сил нет. А ты еще их сначала растреть».

Потом я ушла, не показав ей виду, что я таких людей, как она, терпеть не могу близко. Всю жизнь она хапает, была буржуйкой и в партии осталась таковой. Видите ли, оттого, что муж Зеленский разлюбил ее, она перешла жить к дяде — Сольцу, в те же привилегированные условия. Совсем отказавшись от детей, Зеленский, тоже сославшись на новую семью, как-то устроил ребят на полное государственное иждивение, с дачей, с поварами, одеждой... и никому это в глаза не бросается, и даже преподавателей для Леночки... теперь она готовится в биохимический институт, она взяла на государственный счет из какого-то своего пайка на самообразование...

Она сказала: «Я все устроила, чтобы Леночку приняли в институт, у меня там близкие люди. Ребенка, когда зачеты сдаст, придется отправить на юг. Жаль ее очень, много работает». Ну не Жаба ли она: перед ней распластанный в горе человек, мать двоих детей, обреченных на позор и гонения, а она имеет наглость так все размазывать.

И вот время от времени я к ней ходила, чтобы она показывала свою пакостную натуру — свое отношение к работе, к жизни...

Для меня ясно, что, так как многих мерзавцев поймали и работы много, — не сумеют разобраться в правде Пятницкого и должен он нести до конца свой тяжкий крест. Подойдут к нему как к «замаскированному чекисту» и, так как гадов и врагов в партии много, поверят в «правду», которую скажут о Пятнице. Страшный конец его светлой жизни. С какими мучениями он оставит жизнь? И никто об этом не узнает... Вместе с врагами имя его... Доля вины есть и на нем.

Как часто я ставила перед ним вопрос: почему ты терпишь, а не борешься с разложением отдельных людей, почему ты не кричишь о правде, которая живет в твоём сердце? Почему молчишь и послушен? Большевик должен не только слушать вождей, но и бороться, но и свое проявлять. Он должен всегда творить новую жизнь, а у нас терпят факты Стецкого [старый большевик], терпят нахальство Ляпкина-Ярославского [сталинист, главный фальсификатор истории партии].

Разговор всегда кончался ссорой. Он называл меня «бабой». Говорил, что я завидую, что сама так хотела бы жить. В общем, оскорблял, потому что даже последний паек я всегда получала как наказание, не знала, как выйти из этого положения, ждала, что прекратят это, как только Наташа и Пятница пойдут в отпуск.

Пятница говорил: «Какой я был всегда, таким и останусь: не лучше и не хуже. Мне дела нет до других, пусть будет на их совести».

Тогда я отступалась, в душе с ним не соглашаясь...

[Мама, несомненно, была права в спорах с отцом. Разложение партии было налицо, и с этим разложением он должен был бороться, так как дело партии было делом его жизни. Но можно понять и отца: Сталин поддерживал разложение людей, создающих его культ, — таких, как Ярославский. Этим он крепче держал их на крючке. Поэтому борьба с ярославскими фактически превращалась в борьбу со Сталиным. Отец по-своему боролся с культом, например, изданием «Записок большевика», примером своей личной жизни, своего поведения, своими выступлениями, не содержащими восхвалений в честь Сталина.]

25.07.[37 г.]

Утром встретила коменданта. Он со мной поздоровался. Я спросила его о выселении. Он сказал: «Намечены к выселению, получил распоряжение, но куда и как, не знаю». Он улыбался, когда отвечал мне. Но выражение этой улыбки я не поняла. Я попросила его помочь мне продать какие-нибудь вещи. Он на это сказал: «Там видно будет». Что это означает, тоже не ясно. Горячо стало в сердце. Как обреченная пошла на работу. Никогда меня не оставляла мысль о смерти. Но никогда не забываю я о детях. Физически представляю то одиночество, то горе и решаю еще и еще терпеть.

И Пятница сказал: «Только терпение и терпение, — я никогда не признаюсь в том, чего я не делал, поэтому следствие может длиться два года, а ты терпи и борись. Денег вам пока хватит, должно хватить. Трать на самое необходимое». Он не представлял, что нас раздавят одним взмахом. Ну и пусть он не знает, ему будет легче бороться.

А я в борьбе погибну. Пока смогу, буду бороться. Только силы так быстро уходят, и физические и нравственные – вот грызет тоска о нем, теперь я так не хотела о нем думать, чувствовать его трагедию. Но уже два дня неотступно мучаюсь его жизнью. Хотя бы Игоречек выдержал и вырос. Он бы доказал своей жизнью, кто был его отец...

[Должен сообщить, что еще в Москве, до переезда на дачу, но за несколько дней до его ареста, отец позвал меня в столовую и сообщил мне о возможности своего ареста. Он сказал, что была очная ставка его с бывшими коминтерновцами и что они на него клеветали. Он сказал, что ни в чем не виноват перед партией, что своей вины не признает, что будет бороться за правду. Но может пройти очень длительное время, пока признают его невиновность. Он предупредил меня, что не следует бороться против Сталина. Это главное из того, что он мне сказал.

Еще раз о деньгах, которые он оставил нам перед своим арестом. Эти деньги просто украли люди из НКВД. Украли их во время обыска на московской квартире. Обыск делали в наше отсутствие. Может быть, одновременно с обыском на даче. Отец не предусмотрел такой возможности.

Не все он знал о методах НКВД 1937 года, хотя долго и много работал с ЧК, ОГПУ, НКВД, в Коминтерне, хотя с 1935 по 1937 год, целых два года, от ЦК ВКП(б) контролировал работу НКВД. Видимо, его не допускали до следствий, арестов и обысков – с их избиениями, издевательствами, воровством, уголовщиной. Но тогда что же это был за контроль со стороны ЦК ВКП(б) – одна видимость контроля. Бороться за правду на следствии отцу фактически не дали. Его просто били и требовали, чтобы он оклеветал себя и других. Били его целый год. Били и после окончания следствия. Следователь Ланфанг вызывал его к себе для того, чтобы бить, когда «дело» отца ждало своей очереди для так называемого суда. В это время отец сидел в одной камере с Ароном Семеновичем Темкиным, который остался жив, вернулся и это засвидетельствовал на процессе Ланфанга в 1956-м или 1957 году; рассказал об этом он и мне. Во время реабилитации я узнал от помощников главного военного прокурора СССР – товарищей Борисова и Терехова, а также из материалов в Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС, что отец не признал себя виновным и что его били сотни часов в общей сложности. Например, за два месяца было 200 часов следствия с битьем. Таким образом, он выполнил свое намерение «не признаваться в том, чего не делал», но и только. В те годы он не доказал своей правды.]

25.02.38 г.

День мой: утром Вове завтрак, очередь в молочной за кефиром и сметаной до 12 часов утра. Поездка в тюрьму для передачи Игорю – до 16.30. Потом готовка обеда на завтра. Уборка посуды. Вове ужин. С Вовой занятия по ботанике. Вове мало внимания и времени. Комнату сегодня не убирала. На завод директору позвонить не успела, там до 16 часов. Об Игоре узнала, что он там, но ему передача не разрешена. А что это значит, я не знаю [я не давал показаний на себя и других, и меня лишили передачи]. Наверное, вымогают то, чего Игорь не знает, не говорил, не делал. Вымогают у него последние силы. Он уже был измучен за 7 месяцев. У матери нет слов, когда она думает о своем заключенном мальчике...

В мыслях о нем даже себе страшно признаться [видимо, мысли у мамы были о преступлениях НКВД или даже самого Сталина; поэтому ей было страшно дать себе отчет в таких мыслях]. Буду ждать, пока есть немного разума и много любви. Но предвижу страшные для моего сердца пытки в дальнейшем. Могут его совсем загубить (физически уничтожить), могут убить в нем желание жизни, могут зародить в нем страшную ненависть, направленную не туда, куда надо (а без ненависти в наше время при двух системах жить невозможно), – могу я его никогда не встретить. Могу его встретить и не найти в нем, что растила, что особенно в нем ценила. Могу его встретить физическим и нравственным калекой.

Потому что арестовывают того, кого хотят уничтожить!

Вова лег сегодня в хорошем настроении, но поздно – в 23.30. Все думает о своих военных делах. Сказал сегодня: «Тридцать раз прокляну тех, кто взял у меня винтовку и патроны. Я не могу теперь стать снайпером». Просил меня написать Ежову о винтовке и военных книгах, которые он с таким интересом всегда собирал. Интересуется все, не пошлют ли нас в ссылку поблизости от границы. Всегда огорчается, когда я даю отрицательный ответ. Сегодня купил какую-то военную книгу и читал ее с увлечением, Зато о папе он вечером тоже сказал: «Жаль, что папу не расстреляли, раз он враг народа». Как он его ненавидит и как ему больно. Об этом говорить не любит.

Тюремная очередь тяжела. Народу много, все время стоишь и слушаешь. Воздух спертый, и специфический тюремный запах, как прежде запах казарм. Что я слышала? Я потеряла свою очередь (то есть свое место), потому что женщина, которую я заметила, ушла, а я отходила, чтобы опереться о стол возле привратницы, у которой ключ от входной двери в тюрьму.

Маленькая группа: две пожилые женщины. Одна очень измучена, плохо одета, другая полная, спокойное лицо (спокойное терпение) и одета неплохо. И третья – совсем девочка, хорошенькая. Из-за нее-то я и подошла к этой группе. Оказалось, все три – латышки. Что я слышала? Во-первых, что все латыши, как правило, арестовываются. Я вмешалась, указав на тех, кто не арестован (из известных мне), когда девочка назвала несколько фамилий еще не арестованных и сказала: «А остальные из занимавших ответственные посты уже арестованы». Сказала, что клуб латышский закрыт, что последним был взят преподаватель русского языка, что все «пролетарские» (вероятно, выходцы из рабочих) арестованы. Рассказала, при каких условиях был арестован Межлаук, Гвахария [известный металлург, орденоносец], сказала, что это племянник Серго [Орджоникидзе], сказала, что арестованы Егоровы. Я просила ее говорить тише или лучше вообще не говорить. На что она мне сказала, что «об этом уже знают, знает вся Москва». Она сказала, что он [неизвестно кто] бывал в салоне у Саньки Радек, как она ее назвала [дочь Карла Радека]. Сказала, что все, кто бывал у Саньки в салоне, скатились. Сказала, что расстреляны двое сыновей Дробниса и Прокофьев Жора. Я никого не знаю, но вспомнила, что когда первый раз пришел Коля Амосов, он об этом тоже сказал Игорю, и про Туполева [авиаконструктор] тогда же он сказал, вот, наверное, эта сволочь нагадила Игорю. А был-то он у нас три раза. Два из них Игорь с ним куда-то уходил, а может быть, один раз уходил, точно не помню [мама не ошиблась. На меня дал показания именно Николай Амосов].

2.03.38 г.

Не спится. Газет не читала, не достала [а в этот день открылся процесс над Бухариным и др.]. Мало сделала для «дома». Вовка заболел, жалуется на живот, а глазки смотрят невольно. Искала ему курицу, с трудом нашла за 14 р. 40 коп. Вечером ел с удовольствием и лег в хорошем настроении. Я обошла кругом здание РАМ [Реввоенсовета на ул. Фрунзе] – все спокойно снаружи. Нет ни машин больше, чем всегда, ни военных. А внутри, наверное, страшно. Грозный меч правосудия революционной диктатуры занесен над 21 врагом... Это они посеяли недоверие, вражду, наговоры, жестокость. Как теперь верить? Кому верить? Я еще верю немногим, но что мне дает эта вера, когда все от меня отшатнулись и я как бы в одиночке. Не могу я к людям без боли подходить, вся я... Нуждаюсь в искренней весточке о Пятницком. Сразу было бы облегчение, когда б я узнала, в чем его вина. Как он сам себя рассматривает.

[Бедная мама, она узнала правду только после своего ареста, в 1938 году, в Кандалакше. Летом 1939 года ей, заключенной, разрешили свидание со мною, в Карлаге. Она приехала под конвоем на ЦПО, где мы провели в садике, за проволокой, несколько часов. Она мне сказала, что во всем виноват Сталин и его окружение, что надеяться не на что при жизни Сталина.]

Сегодня об Игоре думала с меньшим горем. Если не дурак, все переварит, перестрадает и закалится для борьбы. Не может же быть иначе. Ну какой же смысл НКВД терять способного мальчика? Это ничего, что он ест два раза в сутки, что, может быть, мучается на скамье, может быть, грязь и вонь – ведь переполнена тюрьма. Не это страшно. Чтобы он сумел себя не потерять. Не могла я пойти насчет работы. Эти дни должны быть такие, как ненависть к врагам (а я ведь – жена врага) – нет сил себя предлагать. И завтра не пойду, пока процесс не кончится.

3.03.38 г.

Опять не выходила на воздух. После большого подъема утром – реакция вечером. Абсолютно нет физических сил, а днем, когда никого в квартире не было (бабушка мне принесла газету), – я вдруг очнулась от боли внизу живота, не заметила, как протанцевала танец «радости» по поводу окончательного разгрома этих «зверей», а ведь кой-кого из них я уважала, хотя уже Пятница предупредил насчет Б. [Бухарина]. Это мразь какая, и рассказал, как он стоял среди всех, обросший бородой, в каком-то старом костюме, на полу.. И никто с ним не поздоровался [речь идет о пленуме ЦК ВКП(б) в конце февраля 1937 года]. Все уже смотрели как на смердящий труп. И вот он еще страшнее, еще лживее, чем можно себе представить. Мала для этих кара – «смерть», но дышать с ними одним воздухом невозможно трудящимся. О Пятница, не можешь же ты быть с ними, мое сердце никак не хочет принять. [Бедная мама! Она совсем запуталась, не знает, кого винить в несчастьях. Выбрала виновника – Бухарина, вспомнила, каким он был на пленуме ЦК ВКП(б): обросшим, в неопрятной одежде. Но ведь он был в таком же нервном состоянии, как и она теперь. Я спрашивал отца о Николае Ивановиче Бухарине после его ареста в марте 1937 года. Отец сказал, что Бухарин, конечно, не враг. Он говорил о Бухарине с большой теплотой и еще большей грустью. А 2 июня 1937 года, на следующем пленуме ЦК ВКП(б), он выступил против предложения Сталина о физическом уничтожении Бухарина и бухаринцев, предложил использовать их на советской работе и сослался на Ленина.]

Вовка пришел из школы и тоже до пяти читал газету. Смеялся над Крестинским. «Ох и смешной же он, мама». И читал мне вслух смешные для него слова. Мне не смешно, а гадливо. Силой вырвала у него газету, зато прочла статью Кольцова. [Над чем смеялся мой брат 13-ти лет! Крестинский, как известно, единственный на процессе, кого не сломали следователи, он отказался признать себя виновным в первый день процесса, он — герой! А Вовка невольно издевался над ним, как и многие-многие в стране, обманутые сталинской пропагандой. Страшно и отвратительно!]

А вечером перед сном читали с ним «Таинственный остров». Об Игоре днем не вспоминала, а к вечеру тяжело, тяжело — нет слов. Штопаю ему его старое бельишко. Нужно купить на всякий случай 6 пар носков, и у Вовки порвались ботинки, ничего нет. И валенки порвались. Нужно похозяйничать.

7.03.38 г.

Сегодня в 11 часов вечера (8 месяцев тому назад) окончилась жизнь Пятницкого в семье.

Сегодня Вова принес «плохо» по русскому языку, я очень рассердилась на него: он ленив.

8.03.38 г.

«Эх, мать, ну и сволочь же отец. Только испортил все мои мечты. Правда, мать?» У меня предчувствие такое, что Игорь наш не виноват, только проболтался, а отец — какой-то большой виновник. В 11,5 часов вечера вчера Вовка разговорился сначала о моральной силе Красной Армии, о пограничниках (всегда ведь мечтает о жизни пограничников) — и решил, очевидно, что его не возьмут из-за отца. Я разговор не поддерживала, сказала только: «Сначала выучись, будь хорошим общественником, а там посмотрим, а папу не забывай так. Мы еще не знаем, может быть, он не виноват, а ошибся, может быть, его враги обманули». А Вовка сказал: «Нет, нет, не верю» [т. е. он думает, что отец — враг]. Как придет из школы, берет газету и читает показания [с процесса], он буквально в ужасе от их «дел». Часто спрашивает об отдельных личностях. Особенно ему страшен Ягода и Буланин, спрашивал меня, как приготавливали они яд. Могут ли эти дети не думать о том, что произошло с их отцами, матерями. Что произошло с «наркомаами», как работает сейчас НКВД, как поступает с семьями, с детьми? Могут ли они обо всем не разговаривать друг с другом? Вовка увлекается очень серьезно военным делом и даже теперь, когда все, что он собрал по «военному вопросу» [у него было

много книг и альбомов по этому отделу], было конфисковано вместе с отцовской библиотекой, он покупает брошюры. Вот сегодня он читает, как должен относиться красноармеец к своему командиру. «Он должен во всем доверять командиру». Вовка сделал замечание: «Нет уж, такому, как... Егоров, например. Мама, здесь неправильно». Как он тоскует по своей винтовке. Каждый раз после военных занятий в кружке он о ней говорит. Молчит о Жене Логинове*. Теперь он уже к нам не ходит, а Вовка очень любил его и бывал у него. Единственная благополучная семья [Логиновых] – теперь одни только разгромленные. Это очень тяжело. Вчера сообщил, что у Рябчика [его одноклассник] взяли брата 18-ти лет, который хотел поступить в военную академию. Отец и мать взяты раньше, и он живет с бабушкой. Часто он говорит: «Эх, мать». Это значит – ему тяжело, но в чем дело, он не говорит. Сегодня сказал, что Нина... читала показания Максимова, который упомянул имя ее отца, и она заплакала при всех. Ей 12 лет...

9.03.38 г.

Принимают передачу в Бутырской тюрьме. У Игоря опять то же: «Ему запрещено» – это хитрые слова [я не давал показаний]. Может быть, его там и нет. Оттуда заехала на Кузнецкий. Окно 9. Огромная очередь, которую я заняла и ушла к Пешковой** сообщить, что Леплевский [зам. Вышинского] – не принимает. Как узнать об Игоре? Пешкова на процессе. Вчера тоже показания об умиротворении М. и А. Горьких. Принимала В. А. [секретарь], она дала мне адрес, куда я завтра пойду, и «...по наблюдению за домами заключения», потом я взяла адрес приемника детского НКВД. Тяжко мне с Вовкой расставаться, но как же мне жить, ведь я еще ничего не знаю ни об Игоре, ни о себе. Семья разгромлена только наполовину по численности своей, по материальному состоянию – окончательно, а в дальнейшем могу быть поставлена в нечеловеческие условия, и с квартирой, и с работой. Сейчас от всего оторвана. Но как умереть, когда могу

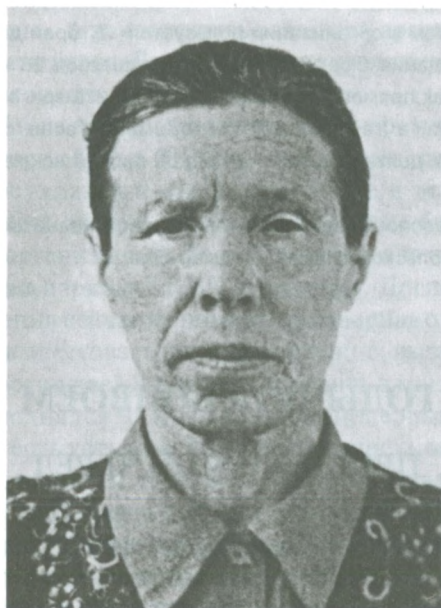
* «Женя Логинов и Юра Кнорин были моими лучшими друзьями все это время и остались до сих пор. В 1937 году, после ареста матери, несколько месяцев я жил в семье Логиновых». (Из письма В. Пятницкого составителю сборника.)

В дальнейшем Владимир Пятницкий находился в детском доме. В феврале 1942 года ушел добровольцем на фронт, скрыв свое происхождение. Окончил диверсионно-разведывательную школу, выполнял задания командования в тылу у немцев. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

** Екатерина Павловна Пешкова в 1918–1938 гг. возглавляла отделение Политического Красного Креста, оказывавшего помощь политзаключенным и их семьям.

быть полезна? Ведь в нем могут убить уверенность в свои силы. Он так был уверен в справедливости всех арестов, в хорошем человеческом отношении. Он говорил: «Это все логично», то есть арест отца, конфискация, издевательское ко мне отношение, — то есть «логично», раз мы поставлены в положение врагов. Но как он смирится с тем, что он-то ведь не враг. [Мама говорит обо мне. Но она, бедняжка, не знала тогда, что стоит только попасть в камеру — и все становится ясно, то есть что арестовывают невиновных людей.] Он рос и хотел много знать, предложить свои силы революции. А его бросили в тюрьму. Может быть, отправят в лагерь отбывать наказание, и оттуда он может приехать уже взрослым, измученным душевно, мрачным и больным. Как тот человек, который тоже был у Пешковой вчера. На костылях, с воспаленными от голода и страдания глазами, без копейки денег. Что он пережил, я не знаю. Только я слышала в голосе слезы, и он говорил секретарше: «Вот я какой теперь, а поехал здоровым. Теперь не знаю, куда мне жизнь. Да и на билет нет». Куда ему нужно ехать? Она ему написала, где получить литер бесплатно. Уходя, он сказал: «Вот так от одного к другому, подниматься-то на костылях трудно, да и никто не поможет, правильно?» А у Игоря больные легкие — 4 раза он пережил воспаление легких, и нервы измотаны. Вот из-за него-то я и жить не хочу и не должна умереть.

ЕЛЕНА СИДОРКИНА



Елена Емельяновна Сидоркина родилась в 1903 году в семье марийских крестьян.

В пятнадцать лет, уложив котомку, обувшись в лапти, Елена отправляется в Сернур, где поступает учиться на педагогические курсы. В Сернуре стала комсомолкой, потом вступила в партию, была инструктором женотдела кантонного* комитета партии, затем – в той же должности – работала в обкоме ВКП(б) (в ту пору женотделом обкома руководила А. Д. Кедрова; судьба сведет их вместе совсем при других обстоятельствах).

Четыре года Сидоркина училась в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Ее, отличницу учебы и активистку, ждала аспирантура. Но на областной партконференции она заочно избрана членом Марийского обкома партии – и Елена Емельяновна возвращается в Йошкар-Олу. Последняя ее должность до ареста в 1937 году – редактор республиканской газеты «Марий коммуна».

* Марийская АССР с 1920 по 1936 год была автономной областью и до общесоюзного районирования делилась на кантоны (уезды). – *Прим. сост.*

В партархиве Марийского обкома КПСС в личном деле Е. Е. Сидоркиной привлекают внимание два документа. Первый – характеристика Сидоркиной как члена бюро обкома, датированная 9 июня 1937 года: «В оппозиции и анти-партийных группировках не участвовала. Политически грамотна, дисциплинирована, авторитетом в организации пользуется». Второй документ – выписка из протокола заседания бюро обкома, состоявшегося 26 ноября 1937 года: «Сидоркину Е. Е. как прямого пособника и защитника врагов народа буржуазных националистов, в течение долгого времени тесно связанную с ними и прикрывавшую их деятельность, – из рядов партии исключить».

Полный текст воспоминаний Е. Е. Сидоркиной хранится в республиканском Музее комсомольской славы в Йошкар-Оле.

Александра Тришина

ГОДЫ ПОД КОНВОЕМ

ПРИШЕЛ И МОЙ ЧЕРЕД

Время было тревожное.

Еще в 1936 году начались аресты партийных и советских работников областного и районного масштаба, лучших представителей интеллигенции. Люди исчезали каждый день, и никто не мог предположить, чей черед настанет завтра.

Арестовали В. А. Мухина – директора МарНИИ, преподавателей МГПИ Ф. А. Смирнова, М. И. Веткина, И. А. Шабдара, В. Т. Соколова и других, посадили писателя С. Г. Чавайна, артистов Йывана Кырлю – Мустафу, Настю Филиппову, Якшова и Мусаеву. Добрались и до секретарей обкома – Н. Н. Сапаева, М. Е. Емельянова. Посадили также Г. Голубкина, Ф. Голубцова из редакции, Кузнецова из издательства, И. П. Петрова – председателя облисполкома, и многих других. Все эти товарищи – члены партии с 1918–1920 годов. Трудно было поверить, что они оказались врагами народа.

На работе голова шла кругом. Все шепотком только и говорили, что вчера взяли того-то, а сегодня – того-то. Попробуй сообрази, о ком как и что писать в газете. Например, во время предвыборной кампании кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР выдвинули председателя облисполкома Петра Ильича Андреева как достойного сына марийского народа. В избирательном округе развернули активную предвыборную агитацию за него, его биография и портрет были опубликованы. Это было в середине ноября 1937 года,

а в конце месяца его арестовали «как одного из злейших врагов народа».

Никто не был уверен в завтрашнем дне. Боялись друг с другом говорить и встречаться, особенно с теми семьями, где отец или мать были «изолированы». А уж выступать с защитой арестованного вообще редко кто отваживался. Если же и находился такой смельчак, тут же сам становился кандидатом на «изоляцию».

8 октября 1937 года пришла моя очередь. Вечером того дня состоялось заседание бюро обкома ВКП(б), на котором среди многих других вопросов обсуждался и «мой». Накануне я всю ночь писала объяснение, напрочь отвергая обвинения в связи с буржуазно-националистической организацией. То же самое сказала и на бюро, после того как выступил нарком НКВД Карачаров. Дословно, конечно, я своего выступления сейчас не помню, но говорила о том, что партия меня воспитала, выпестовала, дала образование, вывела в люди, разве могу я идти против нее? Я просила поверить в мою искренность.

После этого поднялся Ч. И. Врублевский, первый секретарь обкома. Если у нас есть хоть малейшая возможность оставить Сидоркину в партии, говорил он, то надо это сделать. Она родилась здесь, выросла, ее воспитала партия, и мы все знаем ее как активного работника. Из девяти членов бюро восемь голосовали за его предложение. Партбилет мне сохранили. Но обвинения полностью не сняли и в постановлении записали: «Тов. Сидоркину Е. Е. за то, что она в своей работе не заняла четкой линии в борьбе с буржуазно-националистическими элементами, с работы редактора республиканской газеты «Марий коммуна» снять, вывести из состава членов бюро и пленума обкома ВКП(б)».

Заседание бюро закончилось поздно ночью. Я брела по темной улице, не выбирая дороги. Зашла в типографию, сказала метранпажу и дежурному редактору, чтобы сняли мою подпись из газеты, а взамен поставили подпись вновь назначенного редактора — Искакова (который, кстати, впоследствии тоже был посажен; не пощадили даже его беременную жену — с ней мы встретились в тюрьме).

В один день со мной на бюро обсуждали «дело» руководителей «Заготзерно» Захарова и Крылова. Их исключили из партии, а при выходе из обкома посадили в «черный ворон» и увезли в тюрьму.

У меня это было еще впереди. А пока я шла домой, и мысли, одна горше другой, теснились в голове.

Огни в городе были погашены. Муж сидел со свечкой в спальне, ждал меня. Не нужно говорить, наверное, о том, что он пережил за то время, что меня не было. Не спала и наша домработница Маруся. Они

прислушивались к каждому звуку и стуку в ворота и в двери. Слышали, как вернулись с заседания бюро Иван Степанович Фокин, зав. сельхозотделом обкома, И. Е. Павлов, зав. общим отделом, — жили мы с ними в одном четырехквартирном доме. А я задержалась, зайдя в типографию.

Когда постучала в дверь, Маруся тут же открыла мне. Я прошла в спальню, ничего не сказав мужу, только достала из кармана партбилет и показала ему. Он понял, что в партии меня оставили, и значит, все в порядке.

После всех треволнений было уже не до сна, и утром поднялась с постели опустошенной. Не знала, что меня ждет впереди. Куда пойти? Кому сказать? С кем поделиться?

Пошла в редакцию, сдала дела новому редактору, ознакомила его с работой и попрощалась. Я и потом иногда заходила сюда, но многие сторонились меня, боялись даже разговаривать, и чувствовала я себя тут чужой.

Оформили мне месячный отпуск, выдали отпускные. Сидела дома, никуда не выходя. Побывала, правда, на пленумах обкома и горкома и сессии горсовета, где меня по очереди выводили из их составов. Точно не помню сейчас формулировку, а суть одна: за связь с буржуазными националистами или за сочувственное отношение к ним — что-то вроде этого.

Сняли с работы и исключили из партии моего мужа, Дмитрия Петровича Васильева. Он был заместителем управляющего Госбанком, членом ВКП(б) с 1926 года. Теперь мы оба оказались не у дел. Никто нас никуда не вызывал, никакой работы не предлагал, никому мы были не нужны.

Невмоготу было без дела в то время, когда не хватало кадров, везде требовались рабочие руки.

26 ноября я решила пойти к новому секретарю обкома партии Жданову (прежний — Врублевский — в то время был уже отозван в ЦК ВКП(б). Говорили потом, что направили его директором какого-то завода, а после тоже арестовали), попросила послать простой работницей на какое-либо предприятие. Жданов выслушал меня и обещал помочь.

Домой я пришла успокоенная, в надежде, что все в конце концов уладится. Пошлют меня куда-нибудь на работу, не буду больше болтаться без дела и на кусок хлеба для семьи заработаю.

На следующий день утром дочь ушла в школу, и мы с мужем снова остались одни. Сходила в магазин, купила, помню, пеклеванного хлеба, маринованных белых грибов и стала готовить обед на плите.

Около часу дня в дверь постучали. То был следователь НКВД Ухов. Он сказал, что меня просит зайти нарком Карачаров.

Попросила его немного обождать, пока оденусь, прошла в зал и сказала мужу, что за мной пришли из НКВД. Он стоял у стола, собирал какие-то бумаги. Они выпали у него из рук и веером рассыпались на полу. Я постаралась успокоить его, сказала, что раз я не виновна, то должны во всем разобраться, ничего страшного в этом вызове нет. Он мне в ответ: «Лена, счастье мы делили и горе разделим поровну. Будем надеяться, что это — недоразумение».

Потом я прошла в спальню. Взяла в руки револьвер (оружие мне выдали после того, как однажды вечером напал на меня с угрозами человек, которого мы покритиковали в газете. А стрелять я умела, этому нас обучали еще в ЧОНе). Теперь я держала револьвер в руках и думала: пустить пулю в лоб — и конец моим переживаниям... Но я же ни в чем не виновата, не совершила ничего противозаконного. Удержала от этого рокового шага и мысль о муже, о единственной дочке: зачем им-то причинять лишнее горе? К тому же к ним могут придрасться: мол, раз она застрелилась, значит, чувствовала за собой вину. Я положила револьвер на место, а патроны спрятала подальше, чтобы муж их не нашел. Надела пальто, взяла партбилет, паспорт, немного денег и вышла к ожидавшему меня Ухову. Дочку я так и не увидела — она не пришла еще из школы. Марусе сказала: «Скоро приду...» С этим и ушла из дома, ушла на долгих восемнадцать лет. С мужем мы так больше никогда и не встретились.

С того дня, 27 ноября 1937 года, и начались мои мытарства.

«ВЫ АРЕСТОВАНЫ...»

Я вышла из дома, не уронив ни слезинки. Теплилась в душе надежда: поговорит со мной нарком и отпустит. Ведь знает же он меня по работе. Мы оба были членами бюро обкома... Шли с Уховым по улице Советской, мирно разговаривая о дочке, о муже (он расспрашивал о них). Он ввел меня в здание НКВД, усадил в комнату Гилева — заведующего одним из отделов, и ушел. Никто меня не допрашивал, никто со мной не разговаривал. На вопросы, где же нарком и почему он не вызывает меня, если просил к нему зайти, Гилев отвечал успокаивающе: нарком вот-вот подойдет и вызовет.

Через полтора или два часа меня пригласил к себе следователь Крылов. Вежливо усадил на стул против себя, развернул лежавший перед ним лист бумаги и так же вежливо проговорил: «Хочу сообщить, что вы, Елена Емельяновна, арестованы...»

От этих слов мне стало не по себе. Из глаз невольно брызнули слезы. Я только и спросила: «За что?» И услышала в ответ: «За принадлежность к контрреволюционной буржуазно-националистической организации». Собравшись с мыслями, решила: надо бороться. Иначе такое напридумывают... Тут же заявила, что не признаю себя виновной. А следовательно, словно не слыша, сказал: «Выкладывайте партбилет и паспорт». Я ему в ответ: «Не НКВД принимал меня в партию, и не НКВД меня исключать».

Крылов позвонил кому-то. Часа через полтора явился Гилев (он был членом горкома) с постановлением об исключении меня из партии. Пришлось подчиниться и отдать ему партийный билет.

А потом начались допросы. Они продолжались трое суток, беспрерывно днем и ночью. Вставать и ходить не разрешалось, спать – тем более. Следователи менялись через каждые пять-шесть часов. И каждый требовал признания в контрреволюционной деятельности. Я все отрицала, говорила, что никакую контрреволюционную деятельность нигде и никогда не вела, даже в уме такое не держала. А они твердили свое: «Все враги народа так говорят». Приводили какие-то ошеломляющие факты. Будто, работая в обкоме, я расставляла буржуазных националистов на разные участки работы. В МГПИ – А. Э. Эльчибаева, Д. Н. Китаева; в Наркомпрос – И. Н. Суворова; Голубцова и Кузнецова – в издательство и т. д. Обвинили в том, что я собирала бурнацев (буржуазных националистов) на 1-ю языковую конференцию со всех областей Советского Союза, что, будучи редактором «Марий коммуны», пригрела там всех писателей и литераторов-националистов. Утверждали, что арестованные В. А. Мухин, Н. Н. Сапаев, И. П. Петров, А. Ф. Эшкинин, А. К. Эшкинин и другие буржуазные националисты, с которыми вместе работала, показывают, что и я состояла в организации бурнацев.

Дали мне очную ставку с бывшим инструктором культпропотдела обкома М. К. Ивановой. Мы вместе с ней работали когда-то. Что она могла сказать против меня? Сказала, что, будучи завкультпропом, я расставляла национальные кадры на разных участках, что все это протаскивала через бюро обкома совместно с Врублевским. Оно, в общем-то, так и было, если не обращать внимания на слово «протаскивала». Мы действительно выдвигали на руководящие должности многих опытных партийцев, выполняя установку партии о том, что в национальных районах надо опираться на национальные кадры, хорошо знающие местные условия работы. Это я и сказала на очной ставке. Следовательно вмиг сориентировался: «Вот видите, вы

расставляли на культурном фронте республики националистические кадры».

Отрицая все эти небылицы, я доказывала, что всюду, где бы ни работала — в обкоме, в редакции, в других местах, — всегда проводила ленинскую национальную политику. И без согласования с обкомом, без его решений никто из марийцев и русских никуда не назначался и не посылался. Работники, приезжавшие из других областей, имели путевки ЦК партии, а в пределах республики — путевки обкома. А в ответ слышала: «И в ЦК партии сидели враги народа, и в обкоме».

Казалось, всему этому не будет конца. Я была измотана до предела. Хотелось спать. Глаза закрывались сами собой. Но тут же следовала команда: «Встать, сесть, встать, сесть!» И опять — одно и то же. Все следователи уже казались на одно лицо, ни имен, ни фамилий их я не помню, кроме Крылова и Метрехина — эти основные как будто были.

Иногда предлагали поесть — приносили хлеб, баланду и чай. Но я ничего в рот не брала: не могла есть. Да и очень уж издевательски угощали они меня баландой, а сами в это время распивали чай с лимоном, какао с белым хлебом. Демонстративно поковыряются в своей тарелке и отставляют ее в сторону, а меня с эдакой ухмылкой вопрошают: «Что же это вы, Елена Емельяновна, ничего не кушаете?»

За трое суток они довели меня своими допросами до бессознательного состояния. Не помню, как и что я им подписала, но, видимо, что-то все же подписала. До сих пор не знаю, что именно.

До ареста, до этих изнуряющих допросов я благоговела перед органами НКВД, всегда считала их правой рукой нашей партии, верным стражем революции. Но глядя на мучивших меня следователей, я думала, что попала в руки фашистских извергов. Было обидно, что такие люди живут, работают и называются советскими следователями, а на самом деле только дискредитируют Советскую власть и подрывают ее авторитет. Даже с явными врагами Советской власти так не должны были поступать. А со своими товарищами, бок о бок работавшими с ними, они поступали хуже, чем фашисты. Те хоть издевались над своими противниками. Это еще понять можно. А эти, сами называясь коммунистами, истязали преданных делу партии людей.

Позже я много думала над этим и пришла к выводу: что-то неладное делается в нашей стране. В тюрьмах и пересылках встречалась со старыми большевиками, опытными партработниками. Да и в нашей тюрьме перебивали чуть ли не все руководящие кадры республики и районов, начиная с секретарей обкома, райкомов, советских

руководителей, работников суда и прокуратуры, председателей колхозов и их актива. Почти половину областной партийной организации (а в ней насчитывалось около 2000 коммунистов) пересажали. Что же, каждый второй оказался врагом? Можно ли в это поверить!

И следователям пыталась доказать то же самое. Приводила конкретные примеры. В редакции газеты «Марий коммуна» со времени ее основания работало тринадцать ответственных редакторов, и все мы сидим. Редакторы были членами партии с солидным стажем, за спиной у многих ответственная партийная работа, участие в революции и Гражданской войне. А теперь они пошли против своей же власти, за которую боролись? Такого не может быть. Но следователи не признавали никакой логики...

ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА

Через трое суток, 30 ноября, меня привели в камеру внутренней тюрьмы. Сначала обыскивал дежурный Симонов, а затем следователи, предложив раздеться, перетряхнули одежду, изъяли все содержимое карманов. А при себе у меня были деньги – 150 рублей, ридикюльчик – подарок с краевой партконференции, золотой перстень – подарок дяди, и наручные часы. Взяли всё и никаких следов не оставили, в деле не значились ни деньги, ни вещи. Значит, даже дежурные в тюрьмах позволяли себе присваивать отобранное у арестованных. Это – лишнее свидетельство того произвола, который царил в органах НКВД. Никто тут, думается, не отвечал за него ни перед партией, ни перед законом.

На всю жизнь запомнился и такой случай. Со мной в одной камере сидела наша ведущая артистка из марийской труппы Настя Филиппова. Как-то, вернувшись после допроса, она горько разрыдалась. Рассказала, что была в кабинете у наркома Карачарова, он ей предложил: «Согласишься со мной жить – освобожу тебя». Закрыв дверь на ключ, подошел к ней вплотную, начал лапать. Настя стала его стыдить: как же он, нарком, коммунист, позволяет себе издеваться над заключенной? Предупредила, что будет кричать, пусть знают, какой он подлец, и ударила его по щеке. Тогда Карачаров открыл дверь и вытолкнул ее из кабинета, сказав своему секретарю: «Уберите».

В тот же вечер Настю вызвали из камеры с вещами, и больше я ее не видела. После перевода в общую тюрьму расспрашивала многих, но никто ее там не встречал. Так заматали они свои следы...

...Меня втолкнули в камеру, и дверь с лязгом захлопнулась. Первое, что бросилось в глаза, – зарешеченное окно. Сердце екнуло,

будто подсказало: отсюда уже не вырваться на волю, и ты насовсем отрезана от семьи, от прежней жизни.

В камере было несколько женщин. Одна — Инна Грановская (бывшая Чернова), артистка, вторая — преподаватель института, была тут учительница из Звенигова и еще йошкаролинка — Розой ее звали. Они тут же начали расспрашивать: кто я, за что посадили? Когда назвала свою фамилию, оказалось, знали меня раньше.

Едва осмотрелась в камере, как слышу, в коридоре кто-то спрашивает: «Скажите, кто у вас новенькая?» Наши женщины отвечают: «Прибыла Сидоркина, редактор «Марий коммуны». Я сначала не поняла, кто это мной интересуется, думала — знакомые спрашивают за дверь. Порядки тюремные еще не знала, потом только женщины посвятили меня в свой быт и научили переговариваться и перестукиваться с соседними камерами.

Во всех камерах узнали, что меня тоже посадили. Во внутренней тюрьме тогда сидели В. Г. Аникин, И. С. Носов, Георгий Голубкин. П. И. Андреева привели через день-два после меня. О нем также объявили по коридору во время отсутствия дежурного. Мужчины из соседних камер, проходя мимо нашей, передавали мне привет. А с Носовым мы сидели рядом и по утрам всегда переговаривались через форточку. Он, мой старый товарищ по учебе и работе, все время успокаивал меня, говорил: подпиши, что им нужно, не давай себя мучить, все равно дадут десять-пятнадцать лет, хоть подпишешь, хоть нет.

Прошло несколько дней. От сердца немного отлегло. Рядом были товарищи, которые тоже сидели ни за что, надеялась, что в конце концов когда-нибудь разберутся, кто прав и кто виноват.

Многие передавали, что их тоже безжалостно мучили. Ивана Петровича Петрова мучили так шесть или семь дней непрерывно. А Владимира Алексеевича Мухина — в течение шести месяцев, он все держался, не подписывал, что ему подсовывали, а потом был вынужден подписать им угодное, в общем, довели (пишу это со слов следователя Военного трибунала из Куйбышева, который в 1956 году, кажется, вызывал меня по его «делу» и «делам» других).

Следователи применяли к арестованным разные методы, вплоть до физического воздействия. Сидя внизу во внутренней тюрьме, мы каждую ночь слышали плач, крики, вопли, доносившиеся с верхнего этажа, где шли допросы. Со мной в камере сидела одно время Изотина из Юрина, член партии с 1920 года, выдвиженка, зав. облсобесом, была членом президиума облисполкома. Она говорила, что следователь Ухов бил ее. Приходила в камеру после допроса в синяках.

Придет, бывало, сразу бросается на кровать со слезами и с оханьем, рассказывает, что следователь ее то в бок, то в спину тычет кулаками и говорит: «Старая карга, сознайся, что ты враг народа, что ты буржуазная националистка». И так ее довели, что она заболела. Увезли ее в тюремную больницу, где она умерла, как я узнала после освобождения от ее дочки Сони.

С приходом в камеру началась для меня настоящая тюремная жизнь. Тут были деревянные топчаны, на них соломенные матрацы и набитые соломой подушки. На шесть человек три топчана, спали по два человека, «валетом». Мне в пару досталась Инна Грановская, благотворно влиявшая на всех нас своим оптимизмом. Каждый день она занималась физкультурой, обтиралась снегом: захватит во время прогулки горстку, принесет в камеру и потихоньку от надзирателей обтирается. Чтобы они не видели ее «снежную процедуру», мы старались в это время стоять около волчка.

В камере нечем было заняться. Литературу читать не разрешали. Сидели целыми днями да разговаривали шепотом (громко не разрешалось говорить); мысленно шили костюмы, готовили разные блюда, делились рецептами, так что от этих разговоров только слюнки текли. Время проходило в ожидании десятиминутной прогулки днем, обеда (баланды из сечки с мелкой рыбешкой и несколькими кусочками картошки) и ужина. Пол-литра супа, чай, 600 граммов хлеба и полтора куса пиленого сахара – таким был дневной тюремный рацион.

На таком «рационе» все женщины за несколько недель осунулись, побледнели. Но духом мы не падали, поддерживали друг друга.

Через три или четыре дня меня снова вызвал следователь и сказал, чтобы я сообщила избирательной комиссии, поручившей мне еще до ареста выпустить стенную газету на избирательном участке, где находится материал для нее. Материал остался дома, я сказала, где он лежит. Но едва ли его нашли, так как в ночь после моего ареста, как я впоследствии узнала, был у нас обыск, рылись во всех книгах и вещах. Что искали и что нашли, мне до сих пор неизвестно.

30 ноября арестовали мужа. А дочку Розу двенадцати с половиной лет отвели в детприемник НКВД. Домработнице велели уходить из квартиры. Вещи наши, книги, мебель вывезли на склад НКВД. Многие вещи в опись не вошли, о чем я узнала уже после освобождения. После реабилитации за все это уплатили мне 2000 рублей (200 рублей на нынешние деньги). На эту сумму в 1955 году смогла купить только одно приличное пальто. Не знаю, куда подевались отобранные у меня и у мужа сберкнижки, облигации, часы...

Люди в камере все время менялись. Как-то ночью увели Инну Грановскую, других перевели в общие камеры, кое-кого увезли, видимо в тюрьмы других городов. Я оставалась в этой камере почти пять месяцев. Привели ко мне, уже к одной, инженера с бумкомбината Иду Осиповну Раппопорт. Ее трехмесячный ребенок остался с дряхлой старушкой. Муж, главный инженер бумкомбината Лебинзон, тоже был арестован и сидел во внутренней тюрьме. Изредка они пытались переговариваться.

Мы с Идой сидели в камере вдвоем, горе у нас было одинаковое, обе переживали за детей, не знали, где они, что с ними — никто об этом нам не говорил. Ида ходила по камере, в бессилье ломала руки. Плакать она уже не могла, только тяжело вздыхала да тихонько шептала: «Что с моей Майкой? Где моя малютка? Что будет с ней?»

А я все стояла у окна, прислушивалась к шагам и голосам ребят, когда они утром шли в школу и днем возвращались домой. Пыталась услышать голос дочки. Она ходила в то время в школу по улице Советской. Бросала через форточку записки, завернутые в мякиш хлеба, думала, может, кто подберет, передаст ей. Иногда выкрикивала ее имя в надежде, что дочка или ее подруга услышат мой голос. Но никто меня не слышал.

Новенькие в нашей камере сразу спрашивали, в уме ли я. Наверное, видом своим я производила удручающее впечатление.

О том, что происходит на воле, мы узнавали только от вновь поступавших или от соседей, перестукиваясь с ними через стены. Таким образом передавались из камеры в камеру все новости.

Регулярно, через десять-пятнадцать дней, в камерах проводили обыски. Обыскивали всегда под руководством коменданта Цветкова — палача тюрьмы. Женщин он заставлял раздеваться до нижней рубашки, его помощники все везде прощупывали, смотрели и во рту, и в носу, и в ушах, в волосах... Обращались только на «ты». А когда дежурного по привычке называли «товарищ», то слышали один ответ: «Твои товарищи в брянском лесу». То же самое было и в лагерях. Заключение не считали за людей.

Правда, были среди дежурных и неплохие люди, они нас жалели, сочувствовали нашим страданиям и переживаниям, старались ободрить, говорили, что, мол, разберутся со временем. Даже эти слова нас успокаивали, и как-то легче становилось на душе. Запомнились Ваня Соколов, а особенно Шалагин. Останется баланда, Шалагин обязательно нам подольет, а то даст лишний кусочек сахара или в кармане принесет луковицу, видимо из дому, откроет форточку и подбросит в камеру. Нам, изголодавшимся, не получавшим ни от кого

передач, эти луковички и кусочки сахара были очень дороги, всю жизнь они будут помниться. Он видел, как мы переживаем за детей, и сочувствовал нам.

Сидя во внутренней тюрьме, я узнала, что Василий Гаврилович Аникин, бывший заместитель председателя облисполкома, сошел с ума, его увезли в тюремную больницу, там, говорят, он и умер.

В апреле меня вызвали из камеры с вещами и перевели в общую тюрьму. Повели ночью через тюремную контору. Там встретила Кирилла Васина, с которым вместе училась в Сернуре. Он узнал меня. Когда дежурный вышел из конторы, шепнул, что мужа в марте, кажется, отправили в этап в Беломоро-Балтийские лагеря, брат Алексей сидит здесь, а дочка вроде бы в детдоме. Кирилл был арестован по какой-то бытовой статье и работал в тюремной конторе делопроводителем.

После освобождения услышала, что он умер, где, точно не знаю. А так хотелось с ним поговорить. После него осталось два сына, один из которых – Ким Васин – стал известным марийским писателем.

Ввели меня в камеру № 2. Она была рядом с камерой брата. И я очень обрадовалась, что хоть через стену буду чувствовать близость родного человека.

В камере не знала, куда ступить: кругом на полу лежали люди, многие стояли – им негде было ни лечь, ни сесть. Камера маленькая, длинная, кроватей нет, столик да параша – вот и вся обстановка. На шестнадцати-семнадцати квадратных метрах тут разместили человек семьдесят или восемьдесят.

Многие из обитателей камеры меня узнали, встретили как старую знакомую. Были тут Лиза Андреева, жена бывшего председателя облисполкома, жена Чавайна Таня и другие. Из-за тесноты я не знала, куда приткнуться. Лиза Андреева пригласила меня на свое место, она, видимо, спала, а сейчас сидела, и я, кое-как пройдя к ней, положила котомку на ее постель в полметра длиной. Уселась кое-как вдвоем.

По сравнению с этой камера во внутренней тюрьме показалась мне раем. Дышать было нечем в тесном непроветриваемом помещении, то и дело кто-то падал в обморок, его выносили временно в коридор, а некоторых увозили в больницу. Сидели по очереди – всем места не хватало. Спали на полу, тоже по очереди. Некоторые дежурные, сжалившись, выпускали спать в коридор, чему мы были несказанно рады.

Состав арестованных был разный. Вместе с нами, политически, сидели уголовники. Целый день в камере стояли гул, ругань, споры, песни, плач – словом, все что хочешь. Наблюдать за поряд-

ком была выбрана староста, она получала и раздавала хлеб, сахар, баланду.

Мне недолгое время пришлось быть старостой камеры и отвечать за все. Один раз вызвал начальник тюрьмы Егоров — за объявленную заключенными нашей камеры голодовку. Решились на это не от хорошей жизни. Стояло лето. Жара. Накануне ночью было совсем нечем дышать. Мы начали стучать в дверь и требовать, чтобы открыли ее и устроили сквозняк. Дежурный дверь не открыл. Тогда мы стали стучать еще громче и требовать прокурора, чтоб заявить ему о невозможности дальше находиться в камере в такой духоте. Когда и это не удалось, решили объявить голодовку. Вот тогда меня как старосту и вызвал начальник тюрьмы Егоров: «Как это, Елена Емельяновна, вы посмели объявить голодовку? Кто зачинщик?» Я ему в ответ: «Решали всей камерой из-за нечеловеческих условий в ней. Вы нас лишили свободы, общества, семьи, — говорю ему, — теперь хотите лишить и воздуха».

Дело кончилось тем, что из камеры на следующий день человек двадцать пять или тридцать перевели, остальные вздохнули свободнее.

Я уже говорила, что камера брата находилась рядом. По вечерам мы с ним тихонько перестукивались, через Кирилла Васина передавали друг другу записки. Тогда только я подробно узнала о своей дочке Розочке и о его семье. Каждый день видела Алексея в форточку. Как же это тяжело — смотреть на родного брата и на своих товарищей лишь через тюремную решетку, зная, что ни ты, ни он, ни все другие ни в чем не виноваты и не являются врагами народа.

Однажды утром, это было весной 1938 года, во время прогулки брат, проходя мимо нашего окна, сказал мне, что сегодня отправляют этап, может, попадем вместе. Ждала я этого, радовалась, надеялась. И все напрасно.

В этап вызвали наших женщин — Лизу Андрееву, Таню Чавайн, Варю Ярускину и других, а меня — нет. Услышала, как вызвали брата. Переговариваться при дежурных было нельзя, он кашлянул, проходя мимо, давая знать, что его вызвали в этап. Я не выдержала и разрыдалась, думая, что, может быть, это наше последнее прощание, может быть, больше никогда не увидимся...

В мае 1938 года меня повезли под конвоем в здание Верховного суда. Там сидели знакомые мне члены Верховного суда Ф. Кудрявцев, Рыбаков и еще третий — не помню уж кто. А о Кудрявцеве и Рыбакове я в свое время, будучи заведующей отделом кадров обкома ВКП(б), вносила предложение на утверждение бюро обкома. Теперь мои «выдвиженцы» судили меня.

Выслушав обвинительное заключение, я заявила, что не признаю себя виновной. Они возразили: вы же подписали материал на следствии, не школьница ведь, должны помнить, что там написано. А потом Тройка удалилась на совещание. Я не помню, дождалась ли ее решения. Только позже мне сказали: тебе дали десять лет исправительно-трудовых лагерей и пять лет поражения в правах.

Я просидела в тюрьме еще пять месяцев в той же камере и в тех же условиях. Иногда вызывали на кухню чистить картошку, это было как праздник. Там наедались досыта картошки с отварной треской.

ПЕРЕСЫЛКА ЗА ПЕРЕСЫЛКОЙ

В октябре поздно вечером меня и Кедрову вызвали с вещами, посадили на грузовую машину и повезли. Куда везут, мы не знали. С нами вместе оказались мужчины, осужденные на десять-пятнадцать лет, приговоренные к расстрелу. Тихонько спросила у одного из сидевших рядом: куда нас везут? Наверное, на расстрел, отвечает. У меня волосы дыбом встали. Подумала: видимо, прежнее решение отменили и нас тоже везут расстреливать.

Но привезли нас на железнодорожный вокзал, высадили из машины под проливным дождем. Стрелки приказали встать на колени, и мы опустили прямо в грязь и лужи. Стерегли нас собаки-овчарки и стрелки с винтовками.

Потом всех повели к составу, поместили в общий вагон. Так мы ехали от станции к станции. Я все время думала, что вот нас высадят в Куяре, или Сурке, или где-нибудь в лесу и расстреляют. В тюрьме мы слыхали, что на расстрел вывозят обычно куда-то в лес и там зарывают.

С такими вот невеселыми думами доехали до самой Казанской пересылки. Когда нас повели туда, стало легче на душе — значит, везут куда-то в лагерь.

Примерно через месяц из Казани нас отправили вагонзаком в Кировскую тюрьму-пересылку. На станцию тоже везли на грузовой открытой машине. Вместе с нами ехали жены начальника Юдинской железнодорожной станции Юхневича и его заместителя. Вдруг на улице Юхневич увидела свою сестру с дочкой и окликнула их. Когда машина остановилась у вокзала, видим, ее дочка и сестра стоят поблизости. Дочка успела крикнуть: «Мама!» Мать, входя в вагон, крикнула: «Милая дочка, до свидания!» На том и кончилась эта грустная встреча.

Не успели забыть это переживание, как на станции Юдино вторая наша спутница, выглянув в окно вагонзака, закричала: «Мой сынок Юрок!» А тот ходит по платформе, слышит голос мате-

ри, но не видит ее и никак не поймет, откуда он раздался. Поезд тронулся, и, может быть, в последний раз сын услышал родной материнский голос, а мать увидела своего сына. Мы все зарыдали в голос, переживая вместе с ней расставание с родными местами, со своими детьми...

В Кировской пересылке, похожей на крепость, темной, мрачной на вид, нас тоже продержали целый месяц. Отсюда отправили в Котласский пересыльный пункт. Поместили в брезентовопалаточный барак, где температура была такая же, как и на улице. День и ночь топили железные печки-«буржуйки», да что толку. Спали на голых нарах, укрывшись всем, что имелось под руками. Утром встаешь, оконченев от холода, сделаешь несколько гимнастических упражнений, чтоб ноги и руки размять и немного согреться. Работали на переборке овощей в подвалах. Там нам было лучше и сытнее, и если бы можно было, согласились бы там и жить...

В январе 1939-го в телячьих вагонах без окон нас привезли из Котласа в Соликамск. Город мы видели мельком. Тогда это был деревянный захудалый районный центр. Нас поместили за городом в бывших пионерских лагерях. Спали вповалку на полу. Жили в одном здании вместе с ворами, спекулянтами разных мастей и разными «статьями». Работать никуда не водили. Сидели безвылазно в бараках. Чтобы скоротать время, пересказывали друг другу прочитанные когда-то романы и повести. Это отвлекало немного от горьких дум, от нашей печальной действительности. Не все выдерживали ее. Помнится, жена одного бывшего военкома из Узбекистана была совсем ненормальной, ходила все время в шинели, в буденовке, на ногах бахилы ватные, все кого-то искала, с кем-то говорила. И никакое начальство не обращало на нее внимания.

В марте восемьдесят человек вызвали в этап для отправки в лагерь. Тут мы и расстались с Кедровой: меня вызвали, а ее нет.

Повели нас пешком по тайге, для котомок наших дали одну подводу, а в сопровождение – трех стрелков. Они шли сзади, мы – впереди, протапывали снежную целину. По пояс мокрыми приходили вечером к назначенной остановке – ночлежке где-нибудь в холодной заброшенной церкви, лесной караулке. Считали, что счастье нам улыбнулось, если останавливались на ночлег в таежной деревне. Но это было редко, за весь 150-километровый путь два раза только ночевали в деревне, смогли обсушиться. И хоть спали на голом полу, все-таки в тепле передохнули. А в одной колхозной деревне для нас даже заказали горячие постные щи и как людей посадили за стол, дали миски и алюминиевые ложки.

Мне запомнилась одна кошмарная ночевка. Остановились в заброшенной церкви. Кругом лес, ни деревни, ни села поблизости. Пришли мы туда ночью, дров нет, топоров – тоже. В лесу снегу полно. Наломали сырых сучьев, с горем пополам разожгли их. Но печка вся в щелях, труба выломана, и дым повалил в помещение. Кое-как скоротали ночь, прижавшись друг к другу. А утром, пожевав мерзлого хлеба, согретого за пазухой, снова тронулись в путь – надо было одолеть положенные тридцать километров.

В последней деревне мы оказались аккурат в последний день масленицы. Тут, наверно, не видели до тех пор такого зрелища, чтобы одних «баб» погнали этапом в лагеря. Повыскакивали из домов женщины, и каждая старается нам подать что-нибудь съестное – блины, шанежки с картошкой, а кто яиц вареных, кусок мяса, хлеба, сахару. На окрики конвоя не обращали внимания, лишь отмахивались: «Не застрелите. А может быть, и мой где-нибудь вот так же идет».

Так мы шли до Бондюга – центра Усольских лагерей. Кое-кого оставили при управлении – машинистку, нескольких бухгалтеров. А нас отправили в лагпункт Синяег, за семь километров от Бондюга.

В УСОЛЬСКИХ ЛАГЕРЯХ

Пришли мы туда днем. В старых деревянных бараках бывшего лесоучастка было холодно, темно и сыро, но хоть прикрыто наше новое жилище от ветра. Мы и этому были рады.

К моему счастью, встретила я там фельдшера-акушера из Донбаса Анну Николаевну Яковлеву, с которой сидели вместе в Котласской пересылке. Она знала, что я когда-то училась на медсестру по программе РОКК (Российского общества Красного Креста), и решила поговорить с врачом, чтобы взял меня в санчасть при организуемом стационаре для больных заключенных. Не имея практики, я поначалу даже побоялась идти на эту работу, но Анна Николаевна обещала помочь на первых порах, и я согласилась.

Дали мне белый халат, указали место работы в так называемом стационаре. Это была маленькая полуосвещенная комнатка, в которой стояли сдвинутые вместе четыре деревянных топчана с настеленной соломой. На них вповалку лежали заключенные с разными заболеваниями, исхудалые, голодные, еле прикрытые своими бушлатами. Еду приносили из общей кухни: 400 граммов черного хлеба, суп-баланда, чай с кусочком сахара.

Главный врач был человек очень внимательный. Он тоже заключенный, хирург-гинеколог из города Симферополя. Звали его Эмиль

Петрович Киблер. Он регулярно осматривал больных и назначал лечение, перевязки и другие процедуры. Я старалась аккуратно выполнять его указания, с больными находилась почти круглые сутки.

Стационар постепенно расширялся, его вывели в отдельный домик из зоны – за вахту. Домик был побеленный, топчанов стало больше, и не вповалку теперь лежали больные, а отдельно. Появились матрацы, простыни, одеяла и соломенные подушки. Даже своей маленькой кухней мы обзавелись. И дежурила теперь я не одна, были и другие медсестры. Стало больше врачей. Хирург Эмиль Петрович Киблер, терапевт Мария Исаевна Ходырева из Серпухова, зубной врач Эмма Борисовна Файнберг из Москвы. Все это мы заимели благодаря организаторским способностям главврача, его настойчивости. Он даже разные операции делал в том деревянном доме. Обходилось все без осложнений. Эмиль Петрович сам этому удивлялся, говорил: если бы на воле предложили сделать в таких условиях операцию, я бы никогда не согласился.

В таких же условиях работала и зубной врач. Один момент запомнился. Как-то Эмма Борисовна начала удалять зуб одному уголовнику. А, надо сказать, урки – народ очень нервный, нетерпеливый. Топько наложила она щипцы для удаления зуба, как ее пациент соскочил со стула и со щипцами во рту побежал в зону. Она – за ним. Кое-как догнала его и с помощью заключенных нашла отброшенные в сторону щипцы. Эти щипцы и все другие инструменты Эмма Борисовна получила из Москвы, в лагерях при амбулаториях таких инструментов не было, их не давали.

У Э. Б. Файнберг и других наших врачей лечились и лагерная охрана, их семьи, так как хороших специалистов в таком захолустье не было. Медиков-заключенных не раз вызывали на консилиум в ближайšie больницы.

Впоследствии наша больница расширилась. Под нее отдали целый барак в зоне лагеря. Тут пришлось открыть даже несколько мест для рожениц. Анна Николаевна Яковлева, как я уже говорила, была фельдшер-акушер, и мне вместе с ней приходилось принимать роды. Рожали женщины из числа уголовниц. Для них лагерные порядки не существовали, они почти свободно могли встречаться со своими приятелями, такими же ворами и жуликами.

Уголовники главенствовали в лагерях, и охрана поощряла их, относились к ним лучше, чем к политическим. Нас посылали на самые тяжелые работы, а кормили нередко тем, что осталось от жуликов и воров, которые «сняли сливки» в общей кухне. Ведь в пищеблоках и по снабжению работали главным образом рецидивисты. На общие

работы, особенно в зимнюю пору, они не выходили, а околачивались всегда в зоне. Они отнимали у других заключенных пайки, получаемые ими посылки. Тех, кто не хотел отдавать, жестоко избивали. Политические и многие заключенные по общим статьям из-за этого голодали, теряли последние силы, ходили по помойкам, подбирали отходы. Голод превращал их в «доходяг». Нам, больничным работникам, приходилось самых немощных подбирать и помещать в стационар, чтобы немного поддержать и подлечить.

В этом отношении нужно особо подчеркнуть роль врача-терапевта Марии Исаевны Ходыревой. Она была человеком отзывчивым, жалостливым. Мне с ней приходилось работать на приеме в амбулатории. Если кто-нибудь из приходивших на прием жаловался на усталость, она всегда шла на то, чтобы дать человеку возможность несколько дней отдохнуть. Заключенные относились к ней как к родной матери. А вот лентяев и филонов из числа рецидивистов Мария Исаевна терпеть не могла. Те, как правило, приходили с искусственно набитой температурой, с какими-нибудь надуманными болезнями, лишь бы не идти на лесоповал. Они сжигали в «буржуйках» полученное обмундирование, а потом жаловались на отсутствие одежды для выхода на работу. В таких случаях администрация лагеря выдавала им новую одежду первого срока.

На работе от них толку мало было. Посидят в лесу у костра, а бригадир им запишет какую-нибудь «туфту» о якобы выполненных нормах, опять же за счет политических. В результате урки получают полные пайки хлеба и хорошие обеды, а политические — урезанные...

Это было самое тяжелое испытание — изо дня в день находиться вместе с ворами и жуликами. Сколько унижений от них пришлось вынести! Прикладывало к этому руку и лагерное начальство.

ПО НОВОМУ КРУГУ

С оказией я послала заявление на имя Сталина. В марте 1941 года меня вызвали обратно в Йошкар-Олу на переследствие. Не знала я, чем оно закончится, но очень радовалась, что еду в родные края.

В Йошкар-Олу попала только через месяц. Мое дело вел следователь Чижов. Был он из вновь прибывших, очень вежливый, внимательный, говорил, что в 1937 году очень много погубили партийных кадров, теперь, мол, мы стараемся разобраться по справедливости. «Вашего брата Алексея Емельяновича Сидоркина освободили, и вы тоже скоро будете на свободе», — обещал он.

О моем приезде в Йошкар-Олу узнали многие знакомые. Кое-кто видел меня на улице, когда под конвоем шла я по Коммунистической к следователю. Некоторые вытирали слезы, но окликнуть никто не осмеливался. Однажды у подъезда НКВД увидела брата Алешу. Глазам своим не поверила, растерялась. А поднялась к следователю и расплакалась навзрыд. Узнав, что случилось, Чижов обещал мне устроить свидание с братом. И сдержал слово, разрешив мне свидание с Алексеем и дочкой, приехавшей к тому времени из детдома.

Брат дождался моего возвращения от следователя и пошел рядом, проводил до самой тюрьмы. Мы поговорили с ним немного. Конвоир был человеком добрым, делал вид, что ничего не замечает.

Напрасными оказались надежды. В июне 1941-го началась война, и про меня словно забыли. Лишь в ноябре вызвал какой-то молодой следователь и дал подписать решение Особого Совещания НКВД СССР, по которому выходило, что отбывать срок мне еще придется до ноября 1942 года...

Дней через десять, кажется, вызвали меня в этап. Путь лежал обратно в лагеря, но только не в Усольские, а в Карагандинские. Сама писала заявление начальнику тюрьмы, просила по состоянию здоровья направить в сельскохозяйственные лагеря. Меня, крестьянскую дочь, выросшую в деревне, сельхозработа не утруждала, я к ней с малых лет была привычна, может, это меня и спасло.

Снова вагонзаки, пересыльные тюрьмы Казани, Свердловска, Новосибирска, Караганды. Поездом прибыли в Карабас.

Отсюда, спустя какое-то время, группами нас отправили работать на овцеводческой ферме.

В овцеводстве в Карагандинских лагерях я отработала шесть с половиной лет. Все время считалась ударником труда, и до самого отъезда моя фотография висела на Доске ударников в Ортаусском отделении Карагандинских лагерей.

Работала помощником бригадира на ферме, а потом и бригадиром. Дело это еще ответственнее, так как отвечаешь тут за все поголовье. Как бригадир подчинялась вольному начальнику Ортаусского отделения Беззубу. Бывший раскулаченный, он плохо относился к коммунистам, находившимся в лагерях. «Вы, — говорил он, — в 30-х годах нас раскулачивали, а теперь попали в наши руки». Вставал он поздно, когда вся работа была уже выполнена бригадиром, и как помещик обходил свои владения. Я делала все добросовестно. И не из-за боязни перед этим озлобленным человеком. Хотелось выполнить свой долг гражданина — помочь, насколько это в моих силах, стране победить фашистов. Да и труд меня поддерживал во все

сложные периоды моей жизни. Меня с малых лет учила добросовестно трудиться мать, учили этому комсомол и партия.

Весной, когда растаял снег и показалась травка, овцы стали беспокойными, рвались на волю. Но в горах еще лежал снег, а ферма наша была окружена горами. По утреннему морозцу сакманщица Маруся выгнала тридцать овцематок за речушку. А к обеду засияло солнце, с гор пошла вода, речушка эта разлилась. Вода поднялась почти на метр выше мосточка-временки. Ни люди, ни овцы не могли перейти через воду. Я на одном берегу, а Маруся с овцами – на другом. Начальник с зоотехником стоят рядом и смеются надо мной: «Как хочешь, Сидоркина, спасай овец, хоть на себе перетаскивай. Потонут овцы – будешь головой отвечать как бригадир».

Кому охота снова зарабатывать лагерный срок! Взяла быка, запрягла в телегу и повела его по мосту. Ледяная вода выше пояса, но куда деваться, переехала. Положили с чабаном три овцы на телегу, привязали их, и я повела быка обратно. Так перевезла всех.

В мае сорок пятого меня вызвали в Ортаусское отделение Карлага и объявили об освобождении без права выезда. Оставили здесь как вольнонаемную. Стала я экспедитором по Ортаусскому отделению.

Через полтора года освободили совсем, но без права проживания в административных центрах областей и республик.

Получив паспорт, я приехала в Йошкар-Олу. Тут было много знакомых, знавших меня по прежней работе. Они помогли мне устроиться. З. Е. Яковлева, заместитель наркома просвещения республики, А. А. Мосунова, бывшая в то время заведующей отделом кадров обкома партии, предлагали разные места, но я сама попросилась в детский дом. Хотелось только, чтобы был он поближе к железной дороге – мне надо было навещать в Казани лечившуюся в психбольнице дочь. Не выдержала Роза выпавших на ее долю страданий, тронулась рассудком. Врачи не оставили никакой надежды на выздоровление.

Так я оказалась в Куяре. Педагогическую работу мне не доверили – стала заместителем директора по хозяйственной части.

А в ноябре 1948 года начались новые аресты. Всех политических, освобожденных из заключения, опять арестовали. В их числе и меня. Сослали нас с Кедровой в Красноярский край без указания срока...

МИРА ЛИНКЕВИЧ



Мира Линкевич родилась в 1909 году. Окончив Московский институт иностранных языков в 1931 году, работала переводчицей, вышла замуж за немецкого коммуниста Карла Вейднера, эмигрировавшего из Германии. В 1937 году Вейднер был арестован, умер в заключении. Через полгода была арестована и приговорена к десяти годам лагерей. Мира Израилевна отбывала срок в Коми АССР.

КАК КОВАЛИСЬ КАДРЫ

На одном из первых допросов я как-то без всякого внимания отнеслась к присутствию в кабинете молоденького курсанта с добродушным лицом простого деревенского паренька. Паренек этот первое время был очень добр ко мне. Когда мы оставались одни, он предлагал мне покурить, но предупредил: как только услышу шаги в коридоре — сразу бросать папиросу. Надо сказать, что я в этот первый период следствия еще сидела, но потом была лишена такого комфорта: стояла с небольшими

перерывами и дни, и ночи (это называлось «конвейер»). Следователь и его молодой помощник сменяли друг друга.

К моему пареньку в первый период заходил его коллега из другого кабинета. Тоже очень молодой. У нас завязывалась беседа. Этот юноша был, по-видимому, городской – довольно грамотный и общительный. Ребята принимали меня за девчонку, сверстницу, хотя было мне в ту пору двадцать восемь лет. И вот завязывался непринужденный разговор. Но это продолжалось недолго. Мой «дружок» замолчал, замкнулся, прекратил всякие поблажки, когда мы оставались одни.

Впоследствии я узнала, что ребята эти – ученики саратовской школы НКВД. Ковались кадры. Легко было проследить программу этого семинара в Саратове: первая фаза – присматривайтесь, прислушивайтесь, наблюдайте; вторая фаза – не верьте им, они умело маскируются, не жалейте их! На измор надо брать этих врагов народа...

Первая фаза у меня закончилась, началась вторая. Стою ночь напролет. Мой практикант пока просто меня караулит. Не обращается ко мне ни с одним словом. А занять себя ему нечем. Даже жалко его. Ну, позвонит в буфет, несколько слов с буфетчицей: «Клава, ну что там у тебя? А-а-а...» Больше говорить не о чем... Но обучение на этом этапе долго не задерживается. Ребятам, видимо, говорят: «Готовьтесь допрашивать сами».

Мой парень готовится: он кладет на стол кипу бумаги и практикуется в... росписях. Расписался на листе и – в корзину. Затем на втором, на третьем... Корзина наполняется бумагой доверху. Примял немного – и дальше. Но вот кончился и этот этап. Учителями сказано: «Начинайте понемногу допрашивать. Пока не слишком круто, но настойчиво!...» Мой парень берет лист бумаги и медленно выводит: «Протокол допроса...» – и начинается нечто, очень похожее на пытку, о которой я читала в детстве у Майн Рида. Тогда не понимала, почему капание воды в одно и то же место на голове считалось мучительной пыткой? Ведь это же не больно! Ну а тут поняла: мой бедняга обладал весьма ограниченным словарным фондом, оперировал все одними и теми же фразами, которые повторялись бесконечно, монотонно и убийственно долго. Фразы-вопросы – тупые и бессмысленные, но надо было отвечать! Я отвечала, экономя слова, чтобы не пересыхало во рту. Часами, часами один и тот же диалог:

- Ну, рассказывай.
- Мне нечего рассказать.
- Как это нечего! Почему нечего?
- Потому что нечего.
- Нет, потому что есть чего!

И опять, и опять, и опять...

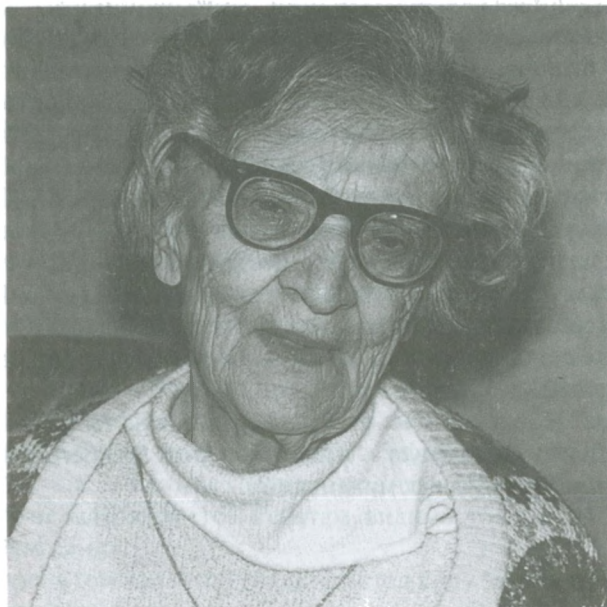
Я старалась отвлечься, думать о чем-нибудь, вспоминать что-нибудь... Находила рисунки на дверце шкафа, фантазировала, насажая древесину всякими видениями... А то принималась мысленно составлять списки знаменитых людей на какую-нибудь одну букву...

А этот бедняга... Ну вылитый попугай! Бубнит все одно и то же, а я думала: «До чего же примитивна дрессировка, и какое же это варварство – дрессировать неразвитый интеллект, превращать неискленного, к добру расположенного юношу в бездушного робота».

Но вот наступила и третья фаза. Сказано наставниками: «Действуйте! Хватит миндальничать!» И мой добряк, по примеру своего опытного шефа, принимается орать и стучать линейкой по столу. Психическая атака! Делает это он натужно, неумело, грубо. И с матюгами. А его коллега, с которым мы так мило беседовали на первом этапе, тоже стал иногда заходить. Ну этот оказался восприимчивым, преуспевающим учеником.

– Ну что? Не раскололась еще твоя краля? А ты чего с ней церемонишься? Двинь как следует – живо заговорит! Я своего уже хорошо обработал, раскололся как миленький!..

ЗОЯ МАРЧЕНКО



С Зоей Дмитриевной Марченко я познакомилась в доме Берты Александровны Бабиной – женщины удивительной судьбы, интереснейшей собеседницы.

То, что я открыла в Берте Александровне, было свойственно не только ей, но и ее подругам – и тем, кого я видела, и тем, кого узнала по рассказам: Зое Дмитриевне, Паулине Степановне Мясниковой (Самойловой), Евгении Семеновне Гинзбург, Вере Яковлевне Устиевой (Ефимовой), Гизе Максовне Горазеевой (Лихтенштейн), Антонине Алексеевне Шелкуновой, Галине Ивановне Затмиловой, Зоре Борисовне Гандлевской, Агнесе Иосифовне Дейч-Юнеман... Все они называли себя колымчанками. Их связывало незабываемое колымское прошлое.

Как я вошла в их круг? Однажды в зеркале парикмахерской я увидела поразившее меня лицо. На меня смотрели огромные, живые глаза с высоко поднятыми тонкими бровями, придававшими ему удивленно-романтическое выражение. Даже мысленно я не решилась бы назвать эту женщину старухой.

Мы успели перекинуться несколькими фразами, а когда я увидела, что она, прихрамывая, опираясь на палку, пошла к выходу, я вызвалась проводить ее. Через несколько минут мы с Бертой Александровной оказались в ее крохотной комнате, которая, как вскоре я убедилась, была способна вмещать фанта-

стическое количество народа. Здесь я и познакомилась с колымчанками, их родственниками, друзьями, людьми разных поколений.

Как-то само собой получилось так, что после смерти Берты Александровны Зоя Дмитриевна стала центром сильно поредевшего колымского кружка. По-прежнему регулярно отмечались дни рождения и дни памяти живых и ушедших друзей. Здесь не было слов, сказанных всуе, и превыше всего ценились духовность и доброта.

То, о чем рассказывалось спокойно, потрясало до глубины души. Несколько раз я задавала один и тот же вопрос: «За что?» Однажды Зоя Дмитриевна сдержаннее, чем обычно, сказала: «Неужели вы не понимаете, что среди нас этот вопрос неуместен?»

Мне было стыдно, но я знала: меня правильно поймут. Человеку другого поколения невозможно было поверить, что столь страшное зло висело над миллионами невинных и нашло конкретное воплощение в их судьбах.

Зоя Дмитриевна мало рассказывала о себе. Человек скромный, немногословный, она через всю жизнь пронесла чувство долга перед теми, кто слаб, одинок, кто в беде. Родилась она в 1907 году в украинском городке Ямполье, в семье учителя. С восемнадцати лет работала стенографисткой в Наркомате путей сообщения в Москве. Арестована в 1931 году за хранение записи прощального разговора со своим братом Григорием перед его отправкой на 10 лет в Соловки. Отбывала первый срок – 3 года – в городе Люберцы под Москвой в трудкоммуне НКВД № 2. В 1937 году арестована вторично и осуждена на 8 лет лагерей за отказ подписать ложные показания против мужа – немецкого коммуниста Германа Таубенбергера. И муж и брат погибли в заключении. В 1948 году она была арестована в третий раз и решением Тройки приговорена к бессрочной ссылке в Красноярский край. Работала там на строительстве железной дороги Ермаково – Салехард. В 1956 году реабилитирована по всем судимостям.

Зоя Дмитриевна жила в Москве в семье своего племянника Алексея.

Бианна Цыбина

ТАК БЫЛО...

Опять поминальный приблизился час,
Я слышу, я вижу, я чувствую вас...

Анна Ахматова
«Реквием»

...Меня увели теплой июльской ночью. За несколько дней до этого вернулась в Москву из Кисловодска – впервые в жизни была на курорте; отдых-праздник, веселая толчея на пяточке, полные солнца улицы городка и дорожки парка, праздник с утра. И хотя думы и тоска о брате – он был арестован в феврале 1929 года и получил десять

лет Соловков — всегда глубоко таились в душе и не давали легко и свободно вздохнуть, но молодость брала свое. Шел 1931 год — мне только что исполнилось двадцать четыре года.

И вот — ночной визит, ордер на арест, обыск. В томе энциклопедии найдена забытая запись последнего прощального разговора с родным братом, студентом второго курса юридического факультета Московского университета — Марченко Григорием Дмитриевичем. И последняя его фраза: «...за чистоту ленинской линии!» Ужас прощания, горящие глаза, невозможность в эти несколько минут вложить все чувства расставания так запечатлелись в памяти, что, вернувшись домой, я записала — освободилась от этого бремени, засунула бумажку подальше. И через два года она была найдена, и я полчу за нее три года лагерей по решению Тройки...

А пока что меня привезли в помещение отделения ОГПУ Московско-Белорусской железной дороги. Там было полно работников правления этой дороги. В ту ночь была проведена операция по «очистке» Правления Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги, где я работала стенографисткой у начальника дороги Е. В. Полюдова.

Смутно помню первые часы, да и быстро нас развезли, — и я попала в знаменитые Бутырки.

Недолгое оформление — и меня ведут по низким широким пустым коридорам. За дверьми с окошечками — приглушенный гул, чувствуется, что там много людей. Один коридор, второй, двор, опять ворота, опять коридор, двор со слепыми окнами. Наконец последняя дверь — серый, сыроватый коридор. Тишина, где-то капает вода в уборной, стоят ярко начищенные медные чайники. Молчаливая бледная надзирательница, кутаясь в наброшенную на плечи шинель, отпирает дверь — и я в камере. Дверь закрылась, звук ключа. Жизнь далеко...

Камера невелика, вдоль стен широкие нары. На них сидят и лежат женщины. Мой приход встретили молча, дали осмотреться, староста показала место. Порядок был такой: новенькая ложится на худшее, ближе к краю, к параше. Если кто уходит из камеры — соответственно идет передвижка ближе к окну, где светлее и чище. Окна, насколько помню, были наполовину покрашены. Козырьки на окна навесили позже, в камере стало намного темнее, и нельзя было ничего увидеть во дворе. А пока редкая возможность выглянуть из окна — для нас большое событие, и это долго потом обсуждалось.

Уголовниц в камере не было. Поэтому порядок, чистота, тишина легко поддерживались. Но что за разные люди вынуждены были здесь жить в тесном соседстве друг с другом, спать бок о бок, слушать общие разговоры, дышать одним воздухом...

Первой мне бросилась в глаза молодая высокая, стройная женщина с одухотворенным лицом: большие серые глаза, длинная коса, разделенные прямым пробором темные волосы. Ум, энергия, воля — и спокойствие... Это Валентина Лосева¹ — астроном, глубоко религиозный человек, жена бывшего преподавателя Московской консерватории². Как я поняла из ее рассказов, он был гегельянец, метафизик и соответственно наставлял своих студентов. Мало того, жена смогла добиться в каких-то «сферах» издания его статей. Теперь ее обвиняли в этом... Муж тоже сидел. Оба были раньше на Лубянке. Но ее увезли оттуда. Где он?

В передаче она получила гребень, где между узоров было выцарпанно: «В ГПУ». И вдруг...

Была жара, мы упросили разрешить приоткрыть окно, была видна часть двора и ворота в соседний двор, куда выводили на прогулку мужчин. Кого-то вели из соседнего двора, ворота приоткрылись, вереница гулявших там мужчин попала в поле нашего зрения — и Лосева узнала рыжую бороду своего мужа... Миг — ворота закрылись. Все! Но как много значит такая секунда для любящей женщины. Лосева вся засветилась. Значит, жив, значит — здесь.

Звук ключа в замке, дверь открылась, мы обернулись. Вошла пожилая женщина в темном длинном дорогом пальто, в оренбургском платке. Не раздеваясь, молча села на нары. На вопросы не отвечала, сама ничего не спрашивала, не пила, не ела. Так просидела сутки... Потом чуть «отошла», рассказала: купчиха из Черкизова. Вдова. Старший сын, тоже купец, во время волнений в Москве в дни революции был убит. Она ходила его искать среди множества трупов. Младший сын в 14-м году был ранен в мочевого пузырь, теперь у него недержание, всегда ходит с бутылочкой. Жила с ним... Не знает, за что взяли, богатства у нее нет, сдать нечего.

Через два дня ее вызвали на допрос. Сутки не возвращалась. Вошла в камеру, не раздеваясь повалилась на нары и завывала таким страшным голосом, что нам всем стало не по себе... В камере правило: после допроса не расспрашивать. Накормить, уложить. После сама все расскажет.

И она сказала:

— Сама, сама все отдала!

Не знаю, что и как там с ней было, только она указала место, где были зарыты ее драгоценности, уложенные в стеклянные банки, как ей казалось, недосягаемые...

Нас то соединяли, то разъединяли, то переводили в одну большую камеру.

Так я попала в общество московских антропософов, вернее, антропософок. Как говорили, в Бутырках сидел «весь второй Художественный театр». Во всяком случае, были люди, связанные с театром, в соседней камере сидела артистка Скрябина — не знаю, дочь или просто родственница композитора. В нашей камере была жена символиста Андрея Белого — стройная женщина с шапкой густых седоватых волос, подстриженных «под челку», с большими глазами, вся какая-то одухотворенная, парящая над прозой жизни. Была группа молодых девушек из московской интеллигенции. Расспрашивать их подробно было неудобно — в камерах разные люди, и громкий рассказ можно было подвести под категорию «пропаганды чуждых взглядов». Но Наташа Моисеева, бывшая среди них как бы «заводилой», всегда раздававшая свою передачу всем в камере, немного мне рассказала, и я поняла, что они стремились к усовершенствованию общества путем совершенствования каждого человека в отдельности. У них был какой-то «вождь» в Германии, то ли он приезжал сюда, то ли к нему ездили, — одним словом, им всем предъявляли шпионаж или что-то в этом духе. Много мне не удалось узнать, только я видела, что и в этом обществе равенства не было: одним носили передачи получше, другим беднее, одни одевались у Ламановой, другие — в Москвошвее...

Иногда, когда нас выводили на прогулку — что было долгожданной радостью после темноватой и сырой камеры, — антропософки оставались, видимо, им что-то надо было сказать друг другу, но делали это осторожно, ибо знали, как и мы все, что в каждой камере или есть «наседка» — специально посаженная доносчица, или найдется кто-то, готовый «услужить» следователю.

Вскоре всех антропософов вызвали и, кажется, дали высылку.

...Помню концертмейстера Большого театра — Клеменкову, имя не сохранилось в памяти. Худошавая женщина, высокий лоб, косой пробор, прямые волосы почти до плеч; замкнутая и малообщительная, она часами сидела в стороне и на доске тренировала пальцы, «играла» бесконечные «гаммы» без звука, чтобы сохранить технику. Кажется, она потом вышла и осталась в Москве. Думается, и она была по делу антропософов, но не уверена.

Запомнилась мне еще одна женщина, мысленно я всегда ее называю Ахросимовой из «Войны и мира» — думаю, и внешне и всем обликом она была именно такой. Крупная, даже немного слоноподобная. Некрасивое лицо, простая прическа. Но столько ума в глазах, такой удивительный голос, благородство и достоинство! Такое

умение находить слова для всех! Эту женщину невольно все слушали и считались с ней.

Была в ней внутренняя сила и готовность вынести все, но не сдаться! Как я поняла, сидели они с мужем и до революции, и после, уже не первый раз.

Помню, она рассказывала, как в «своей губернии» организовала артель кружевниц и ездила в Италию выбирать образцы кружев. У меня долго хранился платочек, вышитый по ее рисунку.

Очередное перемещение принесло мне знакомство, перешедшее в дружбу. Камера была большая, низкая, внутри был большой столб. Вдоль стен шли сплошные нары. Спали вповалку, головой к стене. Около столба тоже пристроились женщины. Помню двух крестьянок, говорили, что они из скопческой секты, точно, конечно, не знаю — они сидели молча рядом весь день, какие-то пухлые, зеленоватые... Не жаловались, не плакали.

Была какая-то молодая итальянка, артистка, очень миловидная и молчаливая. Еще помню женщину, жених которой ушел с белыми, затем они списались, и она хотела уехать к нему, но вместо этого попала в Бутырки... Была пожилая переводчица из какого-то технического института; какие-то непонятные, думаю, спекулятивного типа, женщины; молоденькая девушка Рита Кунина, как она говорила, работавшая секретарем у сестры Джона Рида — Мэри Рид...

Словом, камера была пестрой, перенаселенной, и люди в ней самые разные.

И вот однажды утром, после завтрака и оправки, открылась дверь и вошло странное существо: стриженное как мальчик, даже не в пальто, а в какой-то свитке, я бы сказала крестьянского покроя, подпоясанной чуть ли не веревкой. На ногах тоже нечто, что нельзя назвать обувью. Сперва мы решили, что это уголовница, и хотели требовать, чтобы ее убрали от нас. Но вело себя это существо спокойно, сидело на нарах в уголке возле параша, как и подобало новенькой, не кидалось, не бранилось. Мне сразу показалось, что в этом полумальчике, полудевочке что-то особенное. И я сама к ней подошла, что-то предложила, о чем-то спросила. При такой внешности она держалась с удивительным достоинством, и чувствовалось в ней что-то незаурядное. Звали ее Натой. Бросался в глаза ярко выраженный тип какой-то южной народности: черные большие красивые глаза, очень густые и сросшиеся брови, тонкий нос и особенно интересная линия рта — губы крупные, но не выпуклые, а как бы широким мазком проведенные вдоль рта. И еще одно мы заметили — у нее были изумительно красивые руки, но какие-то не рабочие, хотя, надо сказать,

и не очень чистые... Наши дамы сразу отметили: руки существа, предки которого не знали физической работы.

Как-то несколько дам сидели в стороне и говорили по-французски. То ли они говорили о Нате, то ли еще о чем-то, не знаю, но она вдруг поднялась со своего места, подошла к ним и на чистейшем французском языке, грассируя, что-то сказала... У тех слова застряли в горле... Вот тебе и нищенка в опорках! Тут уж пошли расспросы.

Прежде всего мы узнали, что Ната – последний и единственный в мире потомок хана Гирея! Причем потомок самый прямой! Дальше следовало что-то в таком роде: родилась она в Турции, затем, в первые годы Советской власти, с матерью – отец умер раньше – оказалась в Крыму, в Бахчисарае. Это были, по ее словам, «золотые годы». Она запомнила скачки, шумные байрамы, когда собирались толпы жителей под балконом дворца и оттуда кидали в толпу серебряные деньги.

И хотя я понимала, что речь шла о том сугубо националистическом правительстве, которое примерно в 1925–1926 годах было в Крыму и для которого все эти «красочные увлечения» окончились большими неприятностями, – но, глядя на эту маленькую княжну, которая рассказывала с таким истинным вдохновением и гордостью о «своем ханстве», не хотелось охлаждать ее пыл. После Крыма Ната с матерью попала в Москву. Кажется, ее мать вышла замуж за врача, который работал в Кремлевской больнице. Ната поступила учиться в Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ). Как и почему – не помню. Там, поскольку она была «голубой крови» (говорилось все это совершенно серьезно!), она избрала себе жениха – студента Ли, сына Чан Кай-ши, который наиболее подходил под мерку «принца крови». Иного человека Нате ее традиции предков не позволили бы избрать. Какие у нее были планы – не знаю, но помню, как она, сверкая своими огневыми глазами, рассказывала, что когда какая-то другая девочка заинтересовалась этим Ли и попробовала с ним ближе познакомиться, то Ната отвела ее в сторону и, показывая нож, зажатый в руке (думаю, не перочинный!), предупредила, что Ли принадлежит ей и всякую, кто на него посягнет, ждет «это»...

Что было дальше – не знаю, но потом уже Нате потребовалось перебираться за границу, ибо она решила учиться в Сорбонне. Там были родственники, видимо, она на них надеялась. Выхать за границу было невозможно легальным путем, и Ната решила перейти границу на Дальнем Востоке. Вот почему она и была одета в грубую суконную свитку – где-то должна была переползти границу, но попалась...

При всей пестроте обитательниц камеры такая история все же обращала на себя внимание. Тем более что при ближайшем знакомстве Ната оказалась покладистой девочкой; иногда на нее находила задумчивость, она забиралась в уголок, таилась от всех. Бывали и вспышки дикости. Все к ней относились как к девочке, а со мной она особенно сдружилась. У нее ничего не было, и я дала ей половину полотенца, что-то из белья и позже еще синее платице, в котором она и вышла из камеры. Куда? Оказалось, на волю. Она потом отыскала мою сестру и, предъявив половину полотенца как доказательство дружбы со мной, рассказала ей о моей жизни.

Но чего не выносила Ната — это малейшей неосторожной фразы или даже слова о Крыме. Я была молода, еще мало видела жизнь, но даже и бывалого человека удивила бы такая подлинная страстность, такое преклонение перед всем, что относилось к татарской национальной культуре.

Когда нас перевели в «церковь» — в бывшую церковь в центре Бутырок, превращенную в пересылку, — где было сравнительно просторно, мы стали устраивать «концерты». Тихонько пели, даже танцевали. И Ната исполняла хайтарму — национальный крымский танец. Его танцуют босиком, с шарфом в руках. Вместо шарфа было полотенце, и Ната сама выводила мотив, а мы подпевали. А как танцевала! Священнодействовала! И горе было тому, кто не смотрел на танец, — она могла наговорить грубостей или разразиться слезами...

...Хотя родные носили мне передачи, да и питание было относительно терпимое, я так исхудала, что врач направил меня в больницу.

Здесь можно было в любое время выходить из камеры-палаты в уборную, пройти кусочком коридора, где светило солнце... Конечно, были новые женщины, расспрашивали меня, рассказывали о себе. К тому же удавалось перестукиваться с соседями. За стеной в мужской палате лежал юноша, — как он мне сообщил, сын Скворцова-Степанова. У нас наладилась с ним переписка через общую ванную комнату, но увидеться мы никогда не смогли... Может быть, еще судьба мне пошлет знакомство, уже в конце жизни, и тогда вместе вспомним наш «почтовый ящик», который никак не могли найти бдительные надзиратели... А может быть, он уже давно лежит во мхах Воркуты или в мерзлом грунте приисков отдаленной Колымы. Скорее — именно так!

А сейчас — Москва, 1987 год, живу недалеко от Бутырской тюрьмы и, проходя мимо открытой арки, через которую виден уголок собственно тюремного здания, чувствую, как близко все бывшее!

После ареста в 1931 году и отбывания трехлетнего срока в трудкоммуне № 2 под Москвой, в Люберцах, мне выдали временное удостоверение, по которому в Москве не прописывали. Поэтому, когда мы осенью 1936 года с Германом вернулись из Новочеркасска, я кочевала между родственниками, ночуя в одном месте, обедая в другом, муж поселился на своей старой квартире в Сокольниках. Первая жена его, Эльза Евгеньевна, была арестована несколько месяцев тому назад. В квартире жили двое его детей — старший Гейнц, лет девятнадцати, и младший Буби (Герман), мальчик лет двенадцати, очень похожий на отца, — и домработница Нюра, не бросавшая детей, тоже тоже горько поплатившаяся за это...

Герман Иосифович Таубенбергер — уроженец Мюнхена, участник революционных событий 1918 года, защитник Баварской республики, бывший военным комендантом Дахау — станции, где революционные рабочие защищали Мюнхен от войск Носке. После трех лет тюрьмы в Германии бежал во Францию, оттуда прибыл в Советский Союз. Работал инженером в Наркомате тяжелой промышленности.

Мы каждый день встречались или в кафе или у моих родственников. Время было смутное, уже шли процесс за процессом, судили то правых, то левых, газеты выходили с огромными речами прокуроров. Поскольку была арестована Эльза, приехавшая с ним из Германии в 1926 году, Герман не сомневался, что дойдет и до него... Тучи сгущались, мы уже были счастливы, если могли утром услышать голос друг друга или повидаться. Каждая встреча могла быть последней... Москва была так насыщена страхом, в воздухе висело всеобщее недоверие. Мое пребывание у родственников могло обернуться для них большими неприятностями. Поэтому я решила уехать к родителям на Украину.

Меня провожали на Брянский (ныне Киевский) вокзал два любимых человека, которых я, сама того не ведая, видела в последний раз, — Герман и мой младший брат Женя, только что поступивший в Бауманское училище. Что-то мне говорило, что я больше их не увижу, — и в то же время было облегчение, что я уезжаю из Москвы, где чувствовала себя зверем, за которым идут по следу... Я сказала: «Прощайте!» — и они ушли в темноту вокзала — высокий худощавый Герман и светловолосый коренастый Женька...

Германа арестовали недели через полторы-две после моего отъезда. Женя окончил Бауманское училище весной 1941 года, поступил инженером на какой-то завод на Красной Пресне, потом, имея бронь, пошел добровольцем в армию и был убит 10 апреля 1945 года при освобождении Вены. Похоронен там на кладбище советских воинов.

...Печален был мой приезд к родным в ту осень 1936 года. Их любовь и забота, как всегда, окружили меня с первого дня. Тогда еще был жив дедушка — дядя матери, старый учитель математики. Отец пока работал, с трудом дотягивал свои уроки, приходил из школы и, молча пообедав, ложился — сил не хватало.

Первые дни я еще надеялась, что Герман сможет приехать, ежедневно писала ему, затем получила письмо от тети, что в назначенный день он к ним не пришел... И хотя на следующий день получила от него письмо, я поняла, что это свет потухшей звезды. Продав несколько дней, я поехала в Москву. Пошла на Лубянку. Отстояв в очереди отчаявшихся, оцепенелых женщин, я узнала, что Герман там. На другой день бельевую передачу приняли, в ней было полотенце, вышитое петухами, подарок матери, которое очень нравилось Герману, — он должен был понять, что это я передала... Продуктовую не приняли и тут же велели зайти в какой-то кабинет. При допросе особого пристрастия не было, я ведь и не отрицала, что его жена, что мы жили почти два года вместе, но я ничего не знала о московских его друзьях-немцах, ведь эти годы мы жили в провинции, в Муроме, затем в Выксе, в Воронеже и последние месяцы — в Новочеркасске.

Я вернулась в Ямполь. Работать не могла — у меня почти отнялась правая рука. Мама меня поила с блюдечка чаем. Кроме того, не хотелось показывать в местечке, где все знали нашу семью, временное удостоверение, полученное после освобождения из трудкоммун в 1934 году. С 1929 года сидел в Соловках старший брат Григорий, уже давно на семью косо смотрели, а тут еще и мне объявить себя... Поэтому я всем говорила, что муж в командировке на Дальнем Востоке, а я болею и потому живу у мамы.

Дедушка — Тимофей Иванович, несмотря на свой возраст, помогал мне чем мог: пока было тепло, мы с ним с утра бродили по окрестностям Ямполья. Часами шагали рядом молча, и я забывалась. Много километров мы выхаживали — все перевидавший, умудренный старик и молодая, 29-летняя женщина.

Дедушка уже второй раз в жизни так «ходил»: в 1915 году был убит муж моей тети, и она, как израненная, бродила по округе, забыв детей, забыв все. Дедушка был рядом, заботливо охраняя ее и от других и от самой себя.

Честнейший человек, неисправимый идеалист, он все же не вытерпел... Когда меня в 1937 году арестовали в Ямполье, а затем учительский коллектив школы, где отец преподавал и где рядом с ним уже работали его же ученики, «постановил» (как мне потом рассказали: «Мы опустили глаза вниз и подняли руки вверх») изгнать отца

из школы, и семья осталась почти без средств, и все отвернулись, и друзья перестали узнавать нас на улице, — старик не выдержал...

Как-то утром отец, развернув газету, нашел записку, написанную рукой бабушки: «Прошу в моей смерти никого не винить!» Ахнул, бросился искать. Дверь садовой будки оказалась заперта. Сорвали, и, к счастью, отец успел вынуть старика из петли еще живым. Но Тимофей Иванович так и не дождался моего возвращения с Колымы...

Каждый месяц я ездила в Москву. Продавала книги, вещи из того небольшого, что имела, помогала детям Германа, переводила ему деньги, сколько позволяли.

В августе 1937 года в лубянской справочной мне сказали: наведаться через 2 недели. Много позже в справке о реабилитации было указано, что он скончался в мае 1937 года! «Наведаться» я не успела, осенью была сама арестована в Ямполье.

Уже потом мне рассказывала мама, что после моего ареста пришло письмо от младшего сына Германа — Буби. Он писал, что старший брат арестован, и просил помощи.

Кто мог ему помочь? Я была в тюрьме, а мои старики сами еле сводили концы с концами. Отец уже был без работы, взять к себе ребенка они не могли.

И лишь в 1939 году в Магадане я кое-что узнала о детях Германа. Во Владивостоке на пересылке зимовала группа женщин-тюрзачек (приговоренных к тюремному заключению), среди них была Эльза Таубенбергер. Я решила ей написать наугад. Сообщала все, что знала о детях. Ведь я была арестована на год позже ее. Получила ответ — что само по себе было чудом! — Буби попал в детдом. Ей в тюрьму (Ярославскую или Казанскую, не помню) принесли письмо, показали конверт, сказали, что от сына из детдома, но *не дали прочитать*...

Затем, когда этих тюрзачек привезли в Магадан, я смогла с группой художественной самодеятельности прийти в их лагерную зону и повидала Эльзу. Говорить нам долго не пришлось, время не позволило.

В 1937 году мои хождения по мукам начались с маленькой камеры местной милиции, помещавшейся в доме бывшего купца Журавлева на базарной площади, куда мы еще девочками бегали покупать ленточки и открытки с цветами...

Милиция находилась недалеко от моего дома. Вечерами, когда утихал шум улиц, прогоняли стадо, проезжали телеги и машины, — я слышала звуки радио, доносившиеся с балкона нашего дома. Все еще пахло домом — и передачи, и теплый чай и кофе, приносимые мамой, и белье. Все было знакомым: и милиционер, и фельдшер, знавший меня девочкой... Однажды я услышала во дворе, куда выхо-

дило окно камеры, улюлюканье и свист: милиционеры выгоняли какую-то собаку, а она металась по двору, нюхала следы и куда-то рвалась. Я вгляделась — да это наш Дружок! Он попал во двор, видимо, через открытые ворота, нашел мои следы... Я высунула руку через решетку, он жадно стал ее лизать, дрожа всем телом...

Пришел час моего отъезда. Видимо, чтобы не вызывать лишних разговоров, меня решили отправить в ближайшую большую тюрьму — в Конотоп — ночью. Ничего этого не зная, я заснула, проснулась от звона ключа: «Собирайтесь с вещами!» Я заявила, что, не простившись с родителями, не поеду, что они живут недалеко и можно их вызвать. Пошли за ними.

Низкая комната с типичным запахом милицейского участка. Горит керосиновая лампа, тускло пропускает свет через грязное стекло... Все торопят, за окном слышен шум машины. Бегают дежурные. И вот вошли мои дорогие старики... бледный отец с седой бородой, весь собранный, величавый, мама тоже непривычно спокойная, как бы бравшая на себя всю тяжесть их жизни без меня... Крики охраны, лай Дружка. Зажглись фары, мы двинулись по темным улицам городка.

Прощай, родина, на много-много лет!

На маленьком вокзальчике среди поля, в пяти километрах от поселка Ямполь, меня, как положено, поставили в угол, рядом стоял человек, вещи легли к ногам. Народу было немного, все свои, местные. Среди них — наш районный врач, доктор Зайковский. Он часто бывал у нас в семье, его жена — близкая подруга моей матери. Он прошел мимо, «не узнав» меня. Я не окликнула его. Ведь все это было в порядке вещей...

И повезли меня в благословенный Конотоп, тот самый Конотоп, где умер Хулио Хуренито Эренбурга и где была большая тюрьма, окруженная высокой побеленной кирпичной стеной.

Внутри — тюрьма, а вокруг — бушует украинский базар, в базарные дни особенно явственно слышны гомон, крики, мычанье, хрюканье, бляенье, шум колхозных полуторок. Все эти звуки докатывались до тюремной стены и гасли. Но во двореке, куда нас выводили на прогулку, особенно когда день был ясный, сверху спокойно, для всех одинаково, светило солнце и уходила ввысь бездонная голубизна, и все же перекатывались через стену волны свободной, такой желанной и недосыгаемой простой жизни.

Камера наша — в нижнем этаже, рядом с уборной. Стена, отделяющая от нее, зеленая от сырости. Воздух тяжелый, печь не топят, иначе делается невыносимо жарко. Наше дыхание и тепло наших тел нагревают так, что всю зиму не топили...

Уже прошли страшные «урожайные» месяцы второго полугодия 1937 года. Но все еще бушуют аресты. Летят судьбы. Сиротеют семьи. Уже сменилось три состава правления Московско-Киевской железной дороги, которое находилось в Калуге. Жены всех трех составов сидят здесь. Их мужья, после ареста одного состава, становились выдвиженцами в правление, почти все они конотопцы — здесь большой железнодорожный узел и много потомственных железнодорожников. Переезжали — или не успевали переехать — в Калугу. Арестовано было второе правление, посадили их жен. Затем — треть... Последняя смена — самая молодая: пересажав старых инженеров, их замещали молодыми, даже техниками. Затем этих тоже убрали.

Все, абсолютно все, сидящие в камере, уверены, что они ни в чем не виноваты... Да так оно и есть.

Мы обречены долгие месяцы сидеть здесь, впритирку друг к другу, в одной комнате, ходить два раза в сутки в уборную, где нет отдельных кабинок и над тобой стоит очередь. Горе, если у тебя не сработал желудок вовремя! Надзиратель, проси не проси, тебя не выпустит вне очереди — изволь оправляться тут, в парашу, рядом со столом, на котором лежат наши пайки, и рядом с товарищами, которые потом будут задыхаться...

У меня уголок на сдвоенных кроватях, там еще четверо, родные сестры. Все верующие. Все на одно лицо — иконописные, светлые, голубоглазые. В белых платочках, бледные, молчаливые. Весь день тихо лежат или сидят рядышком, изредка о чем-то пошепчутся. Ко мне трогательно заботливы, предупредительны. Готовы всем помочь. Никогда не спорят из-за пайки, берут, какую дадут. Живые натуры картин Нестерова или «Уходящей Руси» Корина. Есть еще две религиозницы — из католической общины. Еще четыре родные сестры — монашки, но более земные, суетливые. Есть бывшая учительница, дочь кулака. Есть жены военных из местного гарнизона...

Уже притупились и тоска, и вечный страх за близких. Месяцами мы взаперти, без жизни, без свободы. Весь мир — камера, прогулочный двор, обнесенный высокой стеной, где надо успеть наглотаться свежего воздуха. И бесконечные рассказы-воспоминания...

В неуточное время — ни проверки, ни обхода, ни обыска (он начинался иначе — внезапным и шумным вторжением в коридор ватаги надзирателей) — шаги у двери, поворот ключа, дверь распахивается, на пороге женщина «с вещами» и надзиратель. «Староста, дайте место новенькой!» Надзиратель уходит. Она смотрит на нас с ужасом, потом бросается к двери, стучит, плачет... К ней подходят женщины,

успокаивают, дают место, покормят, если голодная, она уснет... О себе расскажет потом, когда осмотрится.

Было и так: поворот ключа, скрип двери — и на пороге сама секретарь Конотопского горкома партии... Камера оцепенела. А она сразу застучала в дверь и потребовала перевода в отдельную камеру. «Здесь, среди всех этих, мне не место!..» Никуда ее не перевели, но и к ней никто не подошел, и камера ей не простила... Парадокс: единственная, кто с ней говорил, — я, «троцкистский рецидив», как она сама привычно казенно, прямо в лицо меня и окрестила...

Помню нежный и слабый аромат «душистого горошка», которым веяло белье, переданное мне сестрой в 1931 году в Бутырки... И тут же встают в памяти серые, сводчатые, длинные, холодные коридоры, чуть освещенные слабыми лампочками, где приказано идти тихо и не говорить и где с двух сторон двери, за которыми битком набитые камеры — люди без пространства, без воздуха... И вдруг тебе передача — в свертке вещей, в изрезанных чужими руками, перелопаченных продуктах — струя домашнего тепла, жизни, свободы, солнца, зелени, как будто смотришь через узкое отверстие и за ним, расширяясь во все стороны, встают такие недостижимые улицы Москвы, родные лица, тепло, движение, звуки — все, что вмещает в себя повседневная человеческая жизнь.

...Поздней осенью 1947 года я вернулась в родной Ямполь после десяти лет Колымы...

В первые дни 1949 года меня вновь арестовали и повезли в областной центр — город Сумы. На допросе следователь сказал: «Вас рано освободили из лагеря!» Меня поместили одну в небольшую камеру, у стен стояли три койки. Окна не было. Над дверью — застекленная фрамуга, через которую падал свет из коридора. В камере днем и ночью горела электрическая лампочка.

Одна, как замурованная. Мысли метались. Мерой времени была смена дежурных. Все летело и катилось куда-то... Опять ты не в жизни, опять ты во власти чужих сил, которые с тобой что-то сделают, что-то решат, куда-то отправят, и опять надо выплывать и как-то жить, ведь тебе еще только сорок лет, еще не скоро освободит смерть, если сама ей не поможешь. В том, что помогу, — сомнений не было. Третий арест, третья тюрьма — хватит мучиться и мучить близких. Просила прокурора сменить следователя, так как уже изнемогала. Нелепость обвинений, вся обстановка допроса — молодой, сытый, отдохнувший следователь и я, уже живущая лишь кусочком сознания, которое крепилось, пыталось не сдаваться перед тупым и злым

натиском, еще кричало и требовало помощи... Надо устоять, надо отбиться, а вокруг немые стены, злые люди, и силы на исходе... Подпишешь протокол – не простишь себе всю жизнь...

И спасение, вернее облегчение, пришло в образе молодой, еще мало искушенной в тюремных делах женщины, ставшей моей соседкой. Сопричастность к чужому горю спасла меня от самой себя! Затем меня увели уже в пересыльную, по дороге заведя в контору и сообщив о бессрочной ссылке в Красноярский край, что я приняла как второе рождение.

В этой камере разрешались шашки. Я не могла играть. Почти ежедневные допросы сделали свое: даже партия в простейшие шашки, где я чувствовала какое-то (самое невинное!) противостояние, – напоминала допросы следователя...

В каждой тюрьме – человеческий материал, мешавший тому порядку в стране, который, по мнению ее тогдашних руководителей, был для всех обязателен и неоспорим. И материал этот убирали слой за слоем... За три своих тюремных сидения я насмотрелась на эти негативные слои...

Весной 1948 года в Харьковской пересылке, опять-таки переполненной, я встретила с новым для меня «слоем» – это бендеровки, вернее, члены семей бывших бендеровцев. Были, конечно, и «повторники», которые уже собирались группами в пересыльных камерах, и уголовницы. Но запомнились крепкие, молчаливые, полные достоинства и даже пренебрежения к окружающему, молодые женщины с Западной Украины. Они держались очень дружно. Некоторые были одеты в рубахи из домотканого холста. Косы, платки на голове. Красивые, сильные, как бы от земли и лесов. Они никогда не мелочились из-за пайки, брали, что дадут, но умели постоять за себя (уголовницы от них отскакивали). С нами – «интеллигенцией» – они не общались. Крестились, шептали молитвы. Иногда, собравшись в кружок, пели. Слова одной из песен и сейчас звучат в памяти:

...Сибир, Сибир, далекий край!
В Сибир пойдем, опять приидем,
С друзьями повидаймо!

Там, конечно, были слова о тюрьме, передаче, матери, далеком крае, о памяти, о надежде, о любви... В этих молодых женщинах чувствовалась большая внутренняя сила и несгибаемость.

Харьковская пересыльная камера была на последнем, шестом этаже, и в тюрьме ее называли «небо». Узкая, длинная. У входа – параша,

в передней стене – открытые окна. Но воздух от них редко доходил до противоположной стены, от которой, по тюремной традиции, начинался путь пришедших последними. Ложились впритык друг к другу. Кого-то забирали в этап, очередь двигалась...

Мне не удалось подышать свежим воздухом – начался путь к полусвободе – в Куйбышев, затем Красноярск, Игарка, Ермаково – уже как ссыльной...

Примечания

¹ *Лосева Валентина Михайловна* (1899–1954) – математик и астроном, в 1930 г. была арестована, а в 1931 г. осуждена на 5 лет лагерей за участие в напечатании философских книг своего мужа А. Ф. Лосева, и особенно «Диалектики мифа». Сначала отбывала срок в Сиблаге (Алтай, Боровлянка), а затем была переведена в лагерь к мужу (Свирьстрой, Беломорско-Балтийский канал). После освобождения в 1933 г. работала в Государственном астрономическом институте им. Штернберга, защитила кандидатскую диссертацию. Вплоть до своей кончины – доцент кафедры теоретической механики Московского авиационного института. В 1941 г. дом, где жила Валентина Михайловна с мужем и родителями, был уничтожен немецкой фугасной бомбой (Воздвиженка, 13). Огромных усилий и здоровья стоило Валентине Михайловне спасение библиотеки и архива мужа.

² *Лосев Алексей Федорович* (1893–1988) – профессор, доктор филологических наук, выдающийся ученый-энциклопедист, философ, эстетик, филолог. К 1930 г. – действительный член Государственной академии художественных наук, профессор Московской консерватории, автор философских книг, за которые он в 1930 г. был арестован, а в 1931 г. осужден на 10 лет лагерей. Отбывал срок на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Он и его жена досрочно освободились со снятием судимости в 1933 г. и вернулись в Москву (А. Ф. Лосев в лагере почти ослеп). А. Ф. Лосеву было запрещено заниматься философией, и он вынужден был молчать 23 года, не переставая, однако, работать научно и преподавать в вузах. С 1944 г. и до своей кончины – профессор МГПИ им. Ленина. После 1953 г. издал более 400 печатных работ. Лауреат Государственной премии 1986 г. за капитальный труд «История античной эстетики» (к 1988 г. завершены полностью 8 томов).

Сохранилась частично переписка А. Ф. Лосева и его жены из лагерей.

Аза Тахо-Годи

ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ



Евгения Семеновна Гинзбург в середине тридцатых годов преподавала в Казанском университете. Ее муж, Павел Васильевич Аксенов, был председателем горсовета. Их обоих арестовали в 1937 году.

Наше знакомство с Женей произошло в июле 1939 года в товарном вагоне эшелона, который вез заключенных из Ярославля во Владивосток. Все в нашем вагоне как-то сразу потянулись к молодой – лет тридцати с небольшим – худощавой женщине с красивым бледным лицом и чудесными темными локонами. Это была Евгения Гинзбург. Общительная и благожелательная, она располагала к себе. Долгий путь на Колыму сдружил нас, на Колыме дружба окрепла.

Сначала мы вместе работали на лесоповале, потом Женя стала лекпомом и в этой должности всемерно старалась хоть чем-то нам помочь.

Помню, в 1943 году она получила первую посылку из дома, отправленную, как оказалось, еще до войны! Она надела юбку и коричневую кофточку, и тут мы, с обмороженными, почерневшими и задубевшими на ледяном ветру лицами, одетые в ватные брюки третьего срока, много раз залатанные, и в мужские

хлопчатобумажные серые рубашки, залюбовались Женей: так женственна, так мила и привлекательна была она в этой домашней, давно забытой, одежде.

Постоянно помня о бесприютности своего четырехлетнего Васи, Женя, уже отбыв срок, взяла из детского дома на воспитание девочку. Сейчас она – артистка.

В 1956 году, освободившись после лагеря и ссылки, я уехала на материк, а через год Женя поселилась во Львове. Мы сразу же нашли друг друга, стали переписываться. Женя часто приезжала в Москву, колымское землячество тут же собиралось у Берты Александровны Бабиной, были шумные разговоры, вспоминали лагерь...

Однажды мы с Женей зашли в кафе. За наш столик сели две молодые женщины, и одна из них стала тихо рассказывать другой про «Крутой маршрут». Женя под столом толкнула меня ногой, мы переглянулись.

– Скажи им, что это твоя повесть! – прошептала я, но Женя только грустно улыбнулась.

Как же ей хотелось увидеть повесть напечатанной! Она отдала повесть в «Юность» Борису Полевому, но публиковать ее не стали. «Крутой маршрут» был издан в Италии.

Из Львова Женя перебралась в Москву, мы постоянно виделись, летом несколько раз совершали совместные поездки на пароходе: Женя страстно любила путешествовать по воде. Как-то раз, когда наш пароход причалил к пристани в Саратове, на палубу хлынула группа молодежи с цветами. Женю окружили. Она была смущена и растеряна (кто-то из Москвы сообщил о ее поездке), а молодые люди и девушки – все они читали «Крутой маршрут» – встретили Евгению Гинзбург охапками цветов.

Паулина Мясникова

ЗДЕСЬ ЖИЛИ ДЕТИ

Деткомбинат – это тоже зона. С вахтой, с воротами, с бараками и колючей проволокой. Но на дверях обычных лагерных бараков неожиданные надписи: «Грудниковая группа», «Ползунковая», «Старшая».

В первые дни я попадаю в старшую. Это вдруг возвращает мне давно утраченную способность плакать. Уже больше трех лет сухое отчаяние выжигало глаза. А вот теперь (в июле сорокового) я сижу на низенькой скамейке в углу этого странного помещения и плачу. Плачу без остановки, вздыхая, как наша няня Фима, всхлипывая и сморкаясь по-деревенски. Это шок. Он-то и выводит меня из оцепенения последних месяцев. Да, это, несомненно, тюремно-лагерный барак. Но в нем пахнет теплой манной кашей и мокрыми штанишками.

Чья-то дикая фантазия соединила все атрибуты тюремного мира с тем простым, человеческим и трогательно-повседневным, что осталось за чертой досягаемости, что казалось уже просто сновидением.

По бараку сновали, ковыляли, визжа, хохоча и заливаясь слезами, душ тридцать ребят в том возрасте, в каком был мой Васька, когда нас разлучили. Каждый отстаивал свое место под колымским солнцем в неустанной борьбе с другими. Они нещадно лупили друг друга по головам, вцеплялись один другому в волосы, кусались...

Они пробудили во мне атавистические инстинкты. Хотелось собрать их всех вокруг себя, стиснуть покрепче, чтобы ни один не попал под удары молнии. И причитать над ними хотелось... Опять же по-нянькиному: да вы ж мои касатики... да вы ж мои головушки болезные...

Выводит меня из этого состояния Аня Шолохова, моя напарница по новой работе. Аня – воплощение здравого смысла и деловитости. Шолохова она только по мужу. А так-то немка, менонитка, с детства привыкшая к пунктуальности. Таких в лагерях зовут «аккуратистками».

– Послушайте, Женя, – сказала она, ставя на стол котел, благоухающий неземным ароматом мясной пищи, – если вас в таком виде заметит кто-нибудь из начальства, вас завтра же отошлют обратно на лесоповал. Скажут – нервная... А ведь здесь нужны не нервы, а канаты. Возьмите себя в руки! К тому же пора кормить детей. Я одна не справлюсь.

Нет, грех сказать, чтобы их морили голодом. Кормили досыта и, по тогдашним моим понятиям, кажется, даже вкусно. Но почему-то все они ели как маленькие лагерники: сосредоточенно, торопливо, старательно вытирая свои жестяные миски куском хлеба, а то и просто языком. Бросались в глаза их не по возрасту координированные движения. Но когда я сказала об этом Ане, она горько махнула рукой:

– Что вы! Это только за едой! Борьба за существование. А вот на горшок мало кто просится. Не приучены. Да и вообще их уровень развития... Ну, сами увидите...

Это я поняла на другой день. Да, внешне они все мучительно напоминали мне Ваську. Но только внешне. Васька в свои четыре года шпарил наизусть огромные куски из Чуковского и Маршака, разбирался в марках машин, рисовал отличные дредноуты и кремлевскую башню со звездой. А эти!

– Что это, Аня? Они еще не говорят?

Да, только некоторые четырехлетки произносили отдельные несвязные слова. Преобладали нечленораздельные вопли, мимика, драки.

– Откуда же им говорить? Кто их учил? Кого они слышали? – с бесстрастной интонацией объясняла мне Аня. – В грудниковой груп-

пе они ведь все время просто лежат на своих койках. Никто их на руки не берет, хоть лопни от крика. Запрещено на руки брать. Только менять мокрые пеленки. Если их, конечно, хватает. В ползунковой группе они все толпятся в манежах, ползают, смотри только, не убили бы друг друга или глаза не выкололи. А сейчас — сами видите. Дай бог успеть всех накормить да на горшки высадить.

— Надо с ними занятия проводить. Песни... Стихи... Сказки им рассказывать...

— Попробуйте! У меня и так к концу дня еле сил хватает до нар доползти. Не до сказок...

Работы действительно было невпроворот. Таскать воду четырежды в день из кухни — а она в противоположном конце зоны, — оттуда же переносить тяжелые котлы с едой. Ну и, конечно, кормить, сажать на горшки, менять штаны, спасать от огромных белесых комаров... А главное — полы. Чистота полов в лагерях вообще составляла предмет помешательства начальства. Так называемое «санитарное состояние» определялось только белизной полов. Любая удушливая гарь и вонь в бараках, любые окаменевшие от грязи лохмотья проходили мимо взоров хранителей чистоты и гигиены. Но не дай бог, если недостаточно блестят полы. Так же неусыпно блюли «половой вопрос» и в деткомбинате. А полы были некрашенные, и их надо было скоблить ножом до блеска.

Однажды я все-таки попробовала осуществить свой план занятий по развитию речи. Раздобыв огрызок карандаша и кусок бумаги, я нарисовала ребятам классический домик с двумя окошками и трубой, из которой валил дым.

Первыми отреагировали на мое начинание Стасик и Верочка, четырехлетние близнецы, больше всех остальных напоминавшие «материковских» детей. Аня говорила мне, что их мать Соня — чистая бытовичка, не блатная, а какая-то просчитавшаяся бухгалтерша, спокойная, хорошая женщина средних лет, работала в нашей лагерной прачечной, то есть на одной из самых привилегированных лагерных работ. Раз два-три в месяц она, пользуясь знакомством с вохровцами, которых она по блату обстирывала, пробиралась в деткомбинат. Здесь она, тихо всхлипывая, расчесывала осколком гребешка Стасику и Верочке волосики и совала им в рот, вынимая из кармана, ядовито-розовые леденцы. На воле Соня была бездетна, а тут, от случайной связи, сразу пара.

— Детей своих она обожает. Да вот перед самым вашим приходом погорела, бедняжка. На связи с вольнягой попалась. Так что сейчас она загремела на самый дальний сенокосный этап. С детьми разлучили, — рассказывает Аня своим бесстрастным менонитским голосом.

А я сразу вспоминаю, что Стасик и Верочка — единственные из всей группы знают загадочное слово «мама». А сейчас, когда маму отправили, они иногда повторяют это слово с грустно-вопросительной интонацией и при этом недоуменно оглядываются вокруг.

— Посмотри, — сказала я Стасику, показывая ему нарисованный мною домик, — что это такое?

— Барак, — довольно четко ответил мальчик.

Несколькими движениями карандаша я усадила у домика кошку. Но ее не узнал никто, даже Стасик. Не видели они никогда такого редкостного зверя. Тогда я обвела домик идиллическим традиционным забором.

— А это что?

— Зона! Зона! — радостно закричала Верочка и захлопала в ладоши.

Однажды я заметила, что вахтер на деткомбинатской вахте играет с двумя маленькими щенятами. Они копошились на какой-то подстилке прямо на вахтерском столе, рядом с телефоном. Наш страж почесывал щенят то за ушами, то под шейками, и на деревенском лице его выразилась такая умиленность, такой добрый юмор, что я решилась:

— Гражданин дежурный! Дайте их мне! Для детей... Никогда ведь ничего, ну как есть ничего не видали... Кормить будем... В группе остается иногда...

Растерянный неожиданностью просьбы, он не успел стереть с лица человечность и натянуть свою обычную маску бдительности. Я застала его врасплох. И он, приоткрыв дверь вахты, протянул мне щенят вместе с подстилкой.

— Недельки на две... Пока подрастут... А там — вернете. Собаки-то деловые!

В сенях, при входе в барак старшей группы, мы создали этот «живой уголок». Дети дрожали от восторга. Теперь самым страшным наказанием была угроза «Не пойдешь к собачкам!». А самым большим поощрением — «Пойдешь со мной собачек кормить!». Самые агрессивные и прожорливые ребята с радостью отламывали кусочки своей порции белого хлеба для Бачка и Черпачка. Так называли щенят именно теми словами, которые были хорошо понятны детям, повторялись в их быту. И дети поняли шуточный характер этих кличек и весело смеялись.

Кончилось все это дней через пять. И большой неприятностью. Главный врач деткомбината, вольный главврач Евдокия Ивановна, обнаружив наш «живой уголок», страшно разволновалась.

Очаг инфекции! Нет, недаром ее предупреждали, что эта пятьдесят восьмая на все способна!

Щенят она приказала немедленно сдать охране, а мы несколько дней ходили как в воду опущенные, ожидая репрессий: снятия с этой легкой работы и отправки на сенокос или лесоповал.

Но в это время началась эпидемия поноса в грудничковых группах, и в больших хлопотах, очевидно, главврач забыла про нас.

— Ладно, — сказала Аня Шолохова, — обошлось. Не будем горевать. Тем более собачки-то действительно были «деловые». Те самые овчарки, которые вырастут и пойдут с нами на развод. А при случае и схватят любого зэка за горло...

Да, но ведь это еще когда вырастут! А пока... Как «по-материковски» улыбались им наши дети! Как оставляли им еду, приговаривая: «Это — Бачку! Это — Черпачку!»

Впервые догадались, что можно думать не только о себе самом...

...Эпидемия поноса упорно не шла на убыль. Грудники умирали пачками, хоть их старательно лечили и вольные, и заключенные врачи. Но условия, в каких вынашивались эти дети тюрьмы, горечь материнского молока, да и климат Эльгена — все это делало свое дело. Главная беда была в том, что и этого прогоркшего от горя материнского молока было мало и с каждым днем становилось меньше. Редкие счастливицы пользовались материнской грудью два-три месяца. Остальные все были искусственниками. А для борьбы с токсической диспепсией не было ничего более важного, чем хоть несколько капель женского молока.

Пришлось мне расстаться с моими старшими. Приглашенный на консилиум заключенный врач Петухов посоветовал перевести меня, как «культурную сестру», к больным грудничкам. Взялся сам меня проинструктировать. Несколько дней я ходила в больницу заключенных, где работал Петухов, и он в спешном порядке обучал меня всему. Я добросовестно проштудировала «Справочник фельдшера». Научилась ставить банки и делать инъекции. Даже внутривенные вливания. Вернулась в деткомбинат законченной «медперсоной», ободряемая похвалами Петухова.

(За доброту, ум и честность выпало доктору Петухову великое, поистине уникальное в те годы счастье: в том же сороковом его вдруг неожиданно реабилитировали, и он уехал в Ленинград. Говорили, что известный летчик Молоков — брат его жены — лично вымолил у Сталина своего родственника.)

...Кроватки младенцев стоят вплитирку. Их так много, что если непрерывно перепеленывать всех подряд, то к первому вернешься не раньше чем часа через полтора. А все подопрели, исхудали, извелись криком. Одни пищат жалобно и тоненько, уже не рассчитывая

на то, что кто-нибудь отзовется. Другие орут отчаянно и дерзко, активно отстаивают себя. А некоторые уже не кричат. Только стонут, как взрослые.

Мы как заводные. Кормим из бутылочек, вливаем лекарства, делаем уколы и, главное, перепеленываем. Крутим без конца бязевые, плохо просушенные пеленки. От этого четырнадцатичасового кружения на ногах, от тяжелого смрада, идущего от огромной кучи изманных пеленок, — перед глазами туман. Даже есть нам — всегда голодным — уже не хочется. Жидкую манную кашницу, остающуюся от детей, мы глотаем с отвращением, чтобы только поддержать существование.

Но самое ужасное это то, что каждые три часа, с очередным разводом, приходят «на кормежку» мамки. Среди них есть и наши политические, рискнувшие произвести на свет эльгенское дитя. С тоскливо-вопросительным выражением лиц они заглядывают в наши двери. И не поймешь, чего они больше боятся: того, что младенец, родившийся в Эльгене, выживет, или того, что он умрет.

Однако основная масса мамок — это блатные. Каждые три часа они устраивают погром против медперсонала. Материнские чувства — отличный повод для бесчинств. С непотребной бранью врываются они в группу, проклиная нас и грозя убить или изуродовать в тот самый день, как умрет Альфредик или Элеонорочка. (Они всегда давали детям роскошные заграничные имена.)

...Когда меня перевели на работу в изолятор, я сначала даже довольна была. Там все-таки поменьше детей, только сложные или острозаразные больные. Там будет физическая возможность каждому уделить внимание. Но, оставшись впервые на ночное дежурство, почувствовала почти непереносимый приступ тошноты душевной.

Вот они лежат — маленькие мученики, родившиеся для одних страданий. У того годовичка с приятным круглым личиком уже начался отек легких. Он хрипит и судорожно дергает руками с ярко-синими ногтями. Как скажу матери? Это Маруся Ушакова из нашего барака...

А вот этот — за грехи отцов. Порождение проклятого блатного мира. Врожденный люэс.

Те две крайние девочки умрут, наверно, сегодня, при мне. На камфаре держатся. Заключение врач Полина Львовна, уходя в зону, долго просила меня не манкировать уколами.

— Пусть хоть до девяти утра протянут... Чтобы экзитус не в наше дежурство.

Полина Львовна из Польши. Только два года до ареста успела прожить у нас. Не то с непривычки к нашим порядкам, не то просто

по натуре, но только боязлива она, бедняга, до крайности. Боязлива и рассеянна. Прикладывает фонендоскоп к груди двухмесячного и деловито приказывает ему: «Больной, дышите! Теперь задержите дыхание!» Невропатолог она. Непривычна к детской практике.

Особо запомнилась одна ночь в изоляторе. Не простая, а белая. Одна из последних в том году белых ночей. Нисколько она не была похожа на ленинградскую. Никаких золотых небес и никаких, естественно, спящих громад. Наоборот, нечто первобытное, нечто глубоко враждебное человеку ощущалось в этом студенистом белом разливе, в котором как-то колебались привычные формы: и сопки, и растительность, и строения. И вся она была пропитана, пронизана комариным звоном, эта ночь. Звон ввинчивался не только в уши, но и в сердце. И никакой накомарник не спасал от ядовитых укусов этой летучей нечисти, похожей на обычных материковых комаров в такой степени, в какой разъяренный тигр — на домашнюю кошку.

Свет, как это часто бывало, вдруг погас. Только небольшой ночник слабо мигал на столе, и при его колеблющемся свете я каждый час делала уколы умирающей девочке. Эта пятимесячная дочка двадцатилетней матери-бытовички уже давно лежала здесь, в изоляторе, и каждая дежурная при передаче смены говорила: «Ну, эта, наверно, сегодня».

А она все теплилась. Скелетик, обтянутый стариковской морщинистой кожей. А лицо... Лицо у этой девочки было такое, что ее прозвали Пиковой дамой. Восьмидесятилетнее лицо, умное, насмешливое, ироническое. Как будто все-все было понятно ей, на короткий миг брошенной в нашу зону. В зону злобы и смерти.

Я колола ее большим шприцем, а она не плакала. Только чуть покряхтывала и в упор смотрела на меня своими всеведущими старушечьими глазами. Умерла она перед самым рассветом, ближе к тому рубежу, когда на безжизненном фоне белой ночи Эльгена начинают мелькать неясные розоватые блики.

Мертвая — она опять стала младенцем. Разгладились морщины, закрылись глаза, преждевременно постигшие все тайны. Лежал изможденный мертвый ребенок.

— Светочка скончалась, — сказала я своей сменщице, передавая дежурство.

— Какая Светочка? Ах, Пиковая...

Она осеклась, взглянув на вытянувшееся тельце.

— Правда, на Пиковую больше не похожа. А матери нет... В этап, на Мылгу угнали...

Их нельзя забыть, эльгенских детей. Нет, нет, тут даже и сравнения быть не может с детьми, скажем, еврейскими в империи Гитлера. Эльгенских детей не только не уничтожали в газовых камерах, но еще и лечили. Их кормили досыта. Я должна подчеркнуть это, чтобы не отступить ни в чем от правды.

И все-таки когда вспоминаешь плоский, серый, подернутый тоской небытия пейзаж Эльгена, то самым немислимым, самым сатанинским измышлением кажутся в нем именно эти бараки с надписями: «Грудниковая группа», «Ползунковая», «Старшая»...

АННА БАРКОВА



Анна Александровна Баркова (16.VII.1901 – 29.IV.1976) родилась в Иваново-Вознесенске в семье сторожа гимназии, в которой она потом училась. С 1918 года начала печататься в областной газете «Рабочий край», а вскоре и в столичных журналах. В 1922 году вышла первая и единственная книга стихов Барковой «Женщина» с предисловием Луначарского. Семь стихотворений Барковой вошли в сборник И. С. Ежова и Е. И. Шамурина «Русская поэзия XX века. Антология русской лирики». М., 1925. Баркова печаталась в журналах «Красная новь», «Новый мир», «Красная нива», «Печать и революция»... С 1924 по 1929 год она работала в «Правде».

Начинались тяжелые времена, а у Барковой был мятежный характер: она не умела молчать или говорить «да» там, где душа кричала «нет». В декабре 1934 года Баркова была осуждена на пять лет лагерей. В 1939 году освобождена и отправлена в ссылку. В годы войны судьба забросила ее в Калугу. Как и на что она там жила – неизвестно.

В 1947 году Баркова вновь арестована и осуждена на десять лет ИТЛ. Отбывала этот срок по январь 1956 года в Коми АССР, сначала в Инте, а потом в Абези. Здесь мы встретились и долгое время были вместе. В этом лагере

было много незаурядных людей, но Анна Александровна и на таком фоне выделялась своей самобытностью, остротой суждений. Небольшого роста, некрасивая, с хитрым прищуром, с вечной самокруткой во рту, в бахилах и не по размеру большому бушлате... Не имея родных «на воле», она не получала никакой помощи извне. Но никогда не жаловалась, держалась мужественно и не теряла чувства юмора.

Освободившись в 1956 году, Баркова приехала в Москву, но столица встретила ее неприветливо: ни прописки, ни крыши над головой она, несмотря на все хлопоты, не получила и по приглашению своей подруги, вместе с которой отбывала срок, переехала в Штеровку Луганской области. К тому времени Анна Александровна была реабилитирована.

Приятельница Барковой, портниха, шила на дому. Одна из заказчиц, задолжав за работу и не желая платить, донесла на Баркову и ее подругу. Нашлись и другие «свидетели», утверждавшие на суде, что обе они «опошляли советскую печать и радио». Так в пятьдесят седьмом году за 120 рублей Баркова и ее приятельница получили новый срок – по 10 лет лишения свободы.

В 1965 году Анна Александровна была реабилитирована и по этому делу, направлена в Потьму Мордовской АССР в инвалидный дом.

В 1967 году при содействии А. Твардовского и К. Федина Анна Александровна вернулась в Москву, получила комнату в коммунальной квартире на Суворовском бульваре, была принята в Литфонд, ей назначили пенсию в 75 рублей. Жизнь как будто начала налаживаться.

Каждое утро («как на работу», говорила она) шла в Дом книги на Калининском проспекте и всю свою пенсию тратила на книги. Они заполняли всю комнату. Подаренный кем-то старый холодильник никогда не включался: он тоже служил книжным шкафом.

Анна Александровна несколько раз предлагала свои стихи в разные московские журналы, но их нигде не принимали: «Нет оптимизма, нет жизнеутверждающего начала».

Несмотря на то что характер у Анны Александровны был не легкий, колючий, одинокой она не оставалась: люди к ней тянулись – в том числе и молодежь.

Стихи Анны Александровны очень трудно собрать, а многие вообще пропали. Сколько стихов, написанных на клочках бумаги ее резким угловатым почерком, завертел, разбросал, унес «русский ветер»!

Пусть о ней вспомнят.

Вы, наверно, меня не слышали
Или, может быть, не расслышали.
Говорю на коротком дыхании,
Полузадушенная, осипшая.

Ирина Угримова, Надежда Звездочетова

**ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО
К СБОРНИКУ СТИХОВ АННЫ БАРКОВОЙ «ЖЕНЩИНА»**

Трудно поверить, что автору этой книги 20 лет. Трудно допустить, что, кроме краткого жизненного опыта и нескольких классов гимназии, ничего не лежит в ее основе. Ведь в конце концов это значит, что в основе книги лежит только богато одаренная натура.

Посмотрите: А. А. Баркова уже выработала свою своеобразную форму... Посмотрите: у нее свое содержание. И какое! От порывов чисто пролетарского космизма, от революционной буйственности и сосредоточенного трагизма, от острой боли прозрения в будущее до задушевнейшей лирики благородной и отвергнутой любви...

ИЗ ПИСЬМА А. В. ЛУНАЧАРСКОГО ОТ 16.12. 1921 года*

Иваново-Вознесенск
Отдел Народного Образования
В редакцию местной газеты
Тов. А. А. Барковой

...даже с риском Вам повредить похвалами, так как я знаю, что похвалы часто бывают губительны для молодых писателей, – я должен сказать, что остаюсь при установившемся моем о Вас мнении: у Вас богатые душевные переживания и большой художественный талант. Вам нужно все это беречь и развивать. Я вполне допускаю мысль, что Вы сделаетесь лучшей русской поэтессой за все пройденное время русской литературой, но, разумеется, это при условии чрезвычайного отношения к собственному дарованию.

* Письма А. В. Луначарского к поэтессе Анне Барковой / Публ. В. Борщукова // Изв. АН СССР. Отделение лит. и яз. – М., 1959. Т. 18. Вып. 3. С. 255.

СТИХОТВОРЕНИЯ

МИЛЫЙ ВРАГ

У врагов на той стороне
Мой давний друг.
О смерть, прилети ко мне
Из милых рук.

Сижу, грустя на холме,
А у них – огни.
Тоскующую во тьме,
Мой друг, вспомяни!

Не травы ли то шелестят,
Не его ли шаги?
Нет, он не вернется назад,
Мы с ним – враги.

Сегодня я не засну...
А завтра, дружок,
На тебя я нежно взгляну
И взведу курок.

Пора тебе отдохнуть,
О, как ты устал!
Поцелует пуля в грудь,
А я – в уста.

1921

* * *

Пропитаны кровью и желчью
Наша жизнь и наши дела.
Ненасытное сердце волчье
Нам судьба роковая дала.
Разрываем зубами, когтями,
Убиваем мать и отца,
Не швыряем в ближнего камень —
Пробиваем пулей сердца.
А! Об этом думать не надо?
Не надо — ну так изволь:
Подай мне всеобщую радость
На блюде, как хлеб и соль.

1925

* * *

Смотрим взглядом недвижимым и мертвым,
Словно сил неизвестных рабы,
Мы, изгнавшие бога и черта
Из чудовищной нашей судьбы.

И желанья и чувства на свете
Были прочны, как дедовский дом,
Оттого, словно малые дети,
Наши предки играли с огнем.

День весенний был мягок и розов,
Весь — надежда, и весь — любовь.
А от наших лихих морозов
И уста леденеют и кровь.

Красоту, закаты и право —
Все в одном схоронили гробу,
Только хлеба кусок кровавый
Разрешит мировую судьбу.

Нет ни бога, ни черта отныне
У нагих обреченных племен,
И смеемся в мертвой пустыне
Мертвым смехом библейских времен.

1931

* * *

Где верность какой-то отчизне
И прочность родимых жилищ?
Вот каждый стоит перед жизнью
Могуч, беспощаден и нищ.

Вспомянем с недоброй улыбкой
Блужданья наивных отцов.
Была роковой ошибкой
Игра дорогих мертвецов.

С покорностью рабскою дружно
Мы вносим кровавый пай
Затем, чтоб построить ненужный
Железобетонный рай.

Живет за окованной дверью
Во тьме наших странных сердец
Служитель безбожных мистерий,
Великий страдалец и лжец.

1932

В БАРАКЕ

Я не сплю. Заревели бураны
С неизвестной забытой поры,
А цветные шатры Тамерлана
Там, в степях... И костры, и костры.

Возвратиться б монгольской царицей
В глубину пролетевших веков,
Привязала б к хвосту кобылицы
Я любимых своих и врагов.

Поразила бы местью дикарской
Я тебя, завоеванный мир,
Побежденным в шатре своем царском
Я устроила б варварский пир.

А потом бы в одном из сражений,
Из неслыханных оргийных сеч
В неизбежный момент пораженья
Я упала б на собственный меч.

Что, скажите, мне в этом толку,
Что я женщина и поэт?
Я взираю тоскующим волком
В глубину пролетевших лет.

И сгораю от жадности странной
И от странной, от дикой тоски.
А шатры и костры Тамерлана
От меня далеки, далеки.

Караганда, 1935

ИНКВИЗИТОР

Я помню: согбенный позором,
Снегов альпийских белей,
Склонился под огненным взором,
Под взором моим Галилей.

И взгляд я отвел в раздумье,
И руки сжал на кресте.
Ты прав, несчастный безумец,
Но гибель в твоей правоте.

Ты сейчас отречешься от мысли,
Отречься будешь и впредь.
Кто движенье миров исчислил,
Будет в вечном огне гореть.

Что дадите вы жалкой черни?
Мы даем ей хоть что-нибудь.
Все опасней, страшней, неверней
Будет избранный вами путь.

Вы и сами начнете к Богу
В неизбывной тоске прибегать.
Разум требует слишком мно́го,
Но не многое может дать.

Затоскуете вы о чуде,
Прометеев огонь кляня,
И осудят вас новые судьи
Беспощадней стократ, чем я.

Ты отрекся, не выдержал боя,
Выходи из судилища вон.
Мы не раз столкнемся с тобою
В повтореньях и смуте времен.

Я огнем, крестом и любовью
Усмиряю умов полет,
Стоит двинуть мне хмурой бровью,
И тебя растерзает народ.

Но сегодня он жжет мне руки,
Этот крест. Он горяч и тяжел.
Сквозь огонь очистительной муки
Слишком многих я в рай провел.

Солнца свет сменяется мглою,
Ложь и истина – все игра.
И пребудет в веках скалою
Только Церковь Святого Петра.

1948

* * *

Ночь. И снится мне твоя рука
На безумной голове моей.
Ночь. Постель холодная жестка,
За окном свистящий снеговой.

Словно сбились ветры всей земли
В буйный и нестройный пьяный круг
И мятеж свирепый завели,
Рушат все, ломают все вокруг.

И дрожит от ужаса жилье –
Наш приют и наш казенный дом,
Одеяла наши и белье –
Все казенным мечено клеймом.

Где-то строго охраняют лист
С записью преступных наших дел,
А за окнами злорадный свист:
«Восставайте с нами все, кто смел!»

1954

БЛАГОПОЛУЧИЕ РАБА

И вот благополучие раба:
Каморочка для пасквильных писаний.
Три человека в ней. Свистит труба
Метельным астматическим дыханьем.

Чего ждет раб? Пропало все давно,
И мысль его ложится проституткой
В казенную постель. Все, все равно.
Но иногда становится так жутко...

И любит человек с двойной душой,
И ждет в свою каморку человека,
В рабочую каморку. Стол большой,
Дверь на крючке, замок-полукалека...

И каждый шаг постыдный так тяжел,
И гнусность в сердце углубляет корни.
Пережила я много всяких зол,
Но это зло всех злее и позорней.

1954

ТОСКА ТАТАРСКАЯ

Волжская тоска моя, татарская,
Давняя и древняя тоска,
Доля моя нищая и царская,
Степь, ковыль, бегущие века.

По соленой Казахстанской степи
Шла я с непокрытой головой.
Жаждающей травы предсмертный лепет,
Ветра и волков угрюмый вой.

Так идти без дум и без боязни,
Без пути, на волчьи на огни,
К торжеству, позору или казни,
Тратя силы, не считая дни.

Позади колючая преграда,
Выцветший, когда-то красный флаг,
Впереди – погибель, месть, награда,
Солнце или дикий гневный мрак.

Гневный мрак, пылающий кострами,
То горят большие города,
Захлебнувшиеся в гнойном сраме,
В муках подневольного труда.

Все сгорит, все пеплом поразвееется.
Отчего ж так больно мне дышать?
Крепко ты сроднилась с европейцами,
Темная татарская душа.

1954

* * *

Она молчит полузадушенно,
Молчит, но помнит все и ждет,
И в час, когда огни потушены,
Она тихонько подойдет.

Согнет и голову, и плечи мне,
И ненавдя, и любя,
И мне же, мною искалечена,
Мстит за меня и за себя.

1950-е годы

* * *

Нет, о прошлом не надо рассказывать,
Было пламя и – протекло.
А теперь игрою алмазною
Ледяное блещет окно.

Да. Я стала совсем другая,
Не узнают друзья меня.
Но мороз иногда обжигает
Жарче солнца, больше огня.

1954

* * *

Хоть в метелях душа разметалась,
Все отпето в мертвом снегу,
Хоть и мало святынь осталось, —
Я последнюю берегу.

Пусть под бременем неудачи
И свалюсь я под чей-то смех,
Русский ветер меня оплачет,
Как оплакивает нас всех.

Может быть, через пять поколений,
Через грозный разлив времен
Мир отметит эпоху смятений
И моим средь других имен.

1954

* * *

Ожидает молчание. Дышит.
И струной напрягается вновь.
И мне кажется: стены слышат,
Как в артериях бьется кровь.

От молчания тесно. И мало,
Мало места скупым словам.
Нет, нельзя, чтоб молчание ждало
И в лицо улыбалось нам.

1954

* * *

Белая ночь. Весенняя ночь.
Падает северный майский снег.
Быстро иду от опасности прочь
На арестантский убогий ночлег.

В душном бараке смутная тьма,
На сердце смуга и полубред.
Спутано все здесь: весна и зима,
Спутано «да» с замирающим «нет».

1954

* * *

Люблю со злобой, со страданьем,
С тяжелым сдавленным дыханьем,
С мгновеньем радости летучей,
С нависшею над сердцем тучей,
С улыбкой дикого смущенья,
С мольбой о ласке и прощенье.

1954

* * *

Такая тоска навяжется,
Что днем выходить нет мбчи.
Все вокруг незнакомым кажется
Глазам близоруким ночью.

Выйду после заката,
Брожу по коротким дорогам,
Никуда не ведущим, проклятым,
Отнявшим жизни так много.

В низком небе светлые пятна,
Крутит ветер их в беспорядке,
И все кругом непонятно,
И видятся всюду загадки.

Какие-то белые стены
Каких-то тихих строений.
И в сердце странные смены
Капризных ночных настроений.

1955

* * *

Как дух наш горестный живуч,
А сердце жадное лукаво!
Поэзии звенящий ключ
Пробьется в глубине канавы.
В каком-то нищенском краю
Цинги, болот, оград колючих
Люблю и о любви пою
Одну из песен самых лучших.

1955

* * *

Ты опять стоишь на перепутье,
Мой пророческий, печальный дух,
Перед чем-то с новой властной жутью
Напрягаешь зрение и слух.

Не родилось, но оно родится,
Не пришло, но с торжеством придет.
Ожиданье непрерывно длится,
Ожиданье длится и растет.

И последняя минута грянет,
Полыхнет ее последний миг,
И земля смятенная восстанет,
Изменяя свой звериный лик.

1950-е годы

НАДРЫВНЫЙ РОМАНС

Бродим тихо по снежной дороге,
По вечерней, чуть-чуть голубой,
Дышит все нашим прошлым убогим,
Арестантскою нашей судьбой.

И судьбы этой ход нам не ясен,
Мы давно не считаем утрат.
Белый снег. И оранжево-красен
Сиротливый тоскливый закат.

И закату здесь так одиноко,
Ничего, кроме плоских болот,
Как мы все, осужден он без срока,
Как мы все, никуда не уйдет.

Мы с тобой влюблены и несчастны,
Счастье наше за сотней преград.
Перед нами оранжево-красный
Сиротливый холодный закат.

1955

* * *

Десять часов. И тучи
За коротким широким окном,
Быть может, самое лучшее —
Забиться глубоким сном.

Взвизги нудной гармошки,
И редкий отрывистый гром,
И мелкие злые мошки
Звенят, звенят за окном.

А тучи проходят низко,
Над проволокой висят,
А там у тебя так близко
Тополя и огромный сад.

* * *

Чужих людей прикосновенья
Скучны, досадны, не нужны.
И в серой жизни нет мгновенья
Без ощущения вины.

И слов невысказанных тяжесть
Быть может, худшая вина,
И никогда того не скажешь,
Чем вся навеки сожжена.

1955

* * *

Восемь лет, как один годочек,
Исправлялась я, мой дружок,
А теперь гадать бесполезно,
Что во мгле — подъем или бездна.
Улыбаюсь навстречу бедам,
Напеваю что-то нескладно,
Только вместе, ни рядом, ни следом,
Не пойдешь ты, друг ненаглядный.

1955

* * *

Опять казарменное платье,
Казенный показной уют,
Опять казенные кровати –
Для умирающих приют.
Меня и после наказания,
Как видно, наказание ждет.
Поймешь ли ты мои терзанья
У неоткрывшихся ворот?
Расплющило и в грязь вдавило
Меня тупое колесо...
Сидеть бы в кабаке унылом
Алкоголичкой Пикассо.

1955

* * *

Мы должны до вечерней поры
Заходить на чужие дворы,
Чтобы сбросить мешок наш с плеч,
Чтобы где-то раздеться и лечь.
Может быть, в неопрятном углу
Мы в чужую упрячемся мглу
И вздохнем, может быть, тяжело.
Нет, не греет чужое тепло,
И чужой плохо светит свет,
И на воле нам счастья нет.

1955

* * *

Не сосчитать бесчисленных утрат,
Но лишь одну хочу вернуть назад.
Утраты на закате наших дней
Тем горше, чем поздней.

И улыбается мое перо:
Как это больно все и как старо.
Какою древностью живут сердца.
И нашим чувствам ветхим нет конца.

1955

* * *

Бульдोजьи складки. Под глазами мешки.
Скитаний печать угрюмая,
Пройдены версты. Остались вершки.
Доживу, ни о чем не думая.

Старость. Сгибаются плечи,
И тело дрожит от холода.
Почему же на старости в зимний вечер
Незаконная дикая молодость?

1955

* * *

Ты, дождь, перестанешь ли такать?
Так... так... А быть может, не так?
В такую вот чертову слякоть
Пойти бы в какой-то кабак.
Потом над собой рассмеяться,
Щербатую рюмку разбить;
И здесь не могу я остаться,
И негде мне, кажется, жить.

1956

* * *

Отрицание. Утверждение.
Утверждение. Отрицание.
Споры истины с заблуждением.
Звезд насмешливое мерцание.

Ложь вчерашняя станет истиной,
Ложью истина станет вчерашняя.
Все зачеркнуто, все записано,
И осмеяно, и украшено.

В тяжком приступе отвращения
Наконец ты захочешь молчания,
Ты захочешь времен прекращения,
И наступит твое окончание.

В мертвом теле окостенение,
Это мертвым прилично и свойственно,
В мертвом взгляде все то же сомнение
И насильственное спокойствие.

ЛАКОНИЧНО

Лаконично, прошу – лаконично.
У читателя времени нет.
Солнце, звезды, деревья отлично
Всем знакомы с далеких лет.
Всем известно, что очень тяжело
Жить с друзьями и с жизнью врозь.
Все исписано на бумажках,
Все исчувствовано насквозь,
Всем известно, что юность – благо,
Но и старость полезна подчас,
Почему же скупая влага
Вдруг закапала едко из глаз?

1965

ЧЕРНАЯ СИНЕВА

Сумерки холодные. Тоска.
Горько мне от чайного глотка.
Думы об одном и об одном,
И синее что-то за окном.

Тишина жива и не пуста.
Дышат книг сомкнутые уста,
Только дышат. Замерли слова,
За окном темнеет синева.

Лампа очень яркая сильна,
Синева вползает из окна.
Думы об одном и об одном.
Синева мрачнеет за окном.

Я густое золото люблю,
В солнце и во сне его ловлю,
Только свет густой и золотой
Будет залит мертвой синевой.

Прошлого нельзя мне вернуть,
Настоящим не умею жить.
У меня белеет голова,
За окном чернеет синева.

1973

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Героям нашего времени
Не двадцать, не тридцать лет.
Тем не выдержать нашего бремени,
Нет!

Мы герои, веку ровесники,
Совпадают у нас шаги.
Мы и жертвы, и провозвестники,
И союзники, и враги.

Ворожили мы вместе с Блоком,
Занимались высоким трудом.
Золотистый хранили локон
И ходили в публичный дом.

Разрывали с народом узы
И к народу шли в должники.
Надевали толстовские блузы,
Вслед за Горьким брели в босяки.

Мы испробовали нагайки
Староверских казацких полков
И тюремные грызли пайки
У расчетливых большевиков.

Трепетали, завидя ромбы
И петлиц малиновый цвет,
От немецкой прятались бомбы,
На допросах твердили «нет».

Мы всё видели, так мы выжили,
Биты, стреляны, закалены,
Нашей родины, злой и униженной,
Злые дочери и сыны.

ОТРЕЧЕНИЕ

От веры или от неверия
Отречься, право, все равно.
Вздыхнем мы с тихим лицемерием:
Что делать? Видно, суждено.

Все для того, чтобы потомство
Текло в грядущее рекой,
С таким же кротким вероломством,
С продажной нищенской рукой.

Мы окровавленного бога
Прославим рабским языком,
Заткнем мы пасть свою убогую
Господским брошенным куском.

И надо отречься, надо
Во имя лишних дней, минут.
Во имя стад мы входим в стадо,
Целуем на коленях кнут.

1971

* * *

Такая злоба к говорящей своре,
Презрение к себе, к своей судьбе.
Такая нежность и такая горечь
К тебе.

В мир брошенную — бросят в бездну,
И это назовется вечным сном.
А если вновь вернуться? Бесполезно:
Родишься Ты во времени ином.

И я тебя не встречу, нет, не встречу,
В скитанья страшные пушусь одна.
И если это возвращенье — вечность,
Она мне не нужна.

1975

* * *

Жил в чулане, в избушке, без печки,
В Иудее и Древней Греции.
«Мне б немного тепла овечьего,
Серной спичкой могу согреться».

Он смотрел на звездную россыпь,
В нищете своей жизнь прославил.
Кто сгубил жизнелюба Осю,
А меня на земле оставил?

Проклинаю я жизнь такую,
Но и смерть ненавижу истово,
Неизвестно, чего взыскую,
Неизвестно, зачем воинствую.

И, наверно, в суде последнем
Посмеюсь про себя ядовито,
Что несут серафимы бредни
И что арфы у них разбиты.

И что мог бы Господь до Процесса
Все доносы и дразги взвесить.
Что я вижу? Главного беса
На прокурорском месте.

1976

* * *

Помилуй, Боже, ночные души.

Не помню чье

Прости мою ночную душу
И пожалей.
Кругом всё тише, и всё глуше,
И всё темней.

Я отойду в страну удушья,
В хмарь ноября.
Прости мою ночную душу,
Любовь моя.

Спи. Сон твой хочу подслушать,
Тревог полна.
Прости мою ночную душу
В глубинах сна.

21.I.1976

ХЕЛЛА ФРИШЕР



Воспоминания Елены Густавовны Фришер начаты в ссылке и завершены в Москве.

Она родилась в Брюре (ныне Брно, в Чехии) в 1906 году.

С шестнадцати лет училась в Вене, где получила гуманитарное образование. Там же участвовала в работе «Союза свободной молодежи», а позднее вступила в коммунистическую партию. По совету Клемента Готвальда она с мужем, инженером А. А. Фришером, в 1935 году приехала из Праги в Советский Союз.

Муж Хеллы участвовал в разработке технического оснащения первой очереди Московского метрополитена. Хелла преподавала немецкий язык детям шуцбундовцев (участников венского вооруженного восстания рабочих 1934 года), вывезенных в Москву. Фришеры жили в доме работников Коминтерна и иностранных специалистов (Телеграфный пер., д. 11/16). В 1937 году начались аресты жильцов этого дома. Забрали немцев, потом поляков... К тому времени, когда пришли за ними, рассказывала Хелла, вечерами светилось всего два окна.

Муж Хеллы был расстрелян, она получила десять лет лагерей, в Коми АССР, а затем, с 1947 года, – ссылка, возможно, для нее не менее страшная, чем лагерь: негде было жить, никуда не принимали на работу.

Вскоре начались повторные аресты отбывших срок в лагере. Забрали многих ее друзей, среди них Миру и Алексея Линкевичей (в «Воспоминаниях» — Римма и Леня).

Сама ожидая ареста, Хелла простаивала долгие часы в очереди у Сыктывкарской тюрьмы с передачами для друзей.

Вернулась Хелла в Москву в 1956 году. В 1957 году и муж и она были реабилитированы.

В Москве Хелла работала на кукольной фабрике при ВТО (пригодилась лагерная «квалификация»). Кроме того, по совету писательницы Н. Гернет она переводила с чешского и немецкого, в основном пьесы для кукольных театров. До сих пор в Театре Образцова и в других кукольных театрах идут пьесы в ее переводе (например, пьеса «Девушка и эхо» чешского драматурга Поспешиловой). Была поставлена пьеса, написанная ею по сказке Г. Х. Андерсена «Свинопас».

Умерла Хелла в 1984 году.

Хрупкая, изящная, с копной седых волос, изможденным лицом и яркими молодыми глазами, она притягивала к себе окружающих. Чувство собственного достоинства, дар и талант дружбы помогли ей перенести все тяготы. А в жизни Хеллы, по ее выражению, «много раз — так трудно еще не было».

Кира Тверовская

В НАШЕЙ ЖИЗНИ МНОГО РАЗ — «ТАК ТРУДНО ЕЩЕ НЕ БЫЛО»

Всякие есть поезда, всякие есть вагоны. Есть и вагоны для заключенных — вагонзаки. В них нет ни сидячих мест, ни лежащих. Есть только пол и узкое окошко за решеткой под потолком. Оно снабжает вагон не светом, а воздухом. Источник света — свеча — прикреплена над ведром воды, тоже высоко. Восковые слезы в медленно-унылом ритме падают в воду. Вода выдается каждому по кружке. Утром — кружка, вобла и хлеб. Вечером — хлеб и кружка. Как бесконечно далеко от начала дня до начала ночи!

Мчится ли поезд или ползет — какая разница? Не это важно. Важно другое: долго ли еще? И куда, куда же?

Здесь никто никого не знает. Это выяснилось в самом начале. По голосам. И сразу вызвало настороженность. Затем молчание. В тесноте и мраке такая настороженность ощущается как удушье. А холод, безжалостный, заставляет нас прижиматься друг к другу еще ближе, еще крепче.

В тишине бессонной ночи отчетливо слышны размеренные шаги конвойного в тамбуре. Стук колес, стук винтовки. Стук... Стук...

Где-то в углу женщина застонала, всхлипнула, вскочила, упала – обморок. Кто-то забарабанил в дверь. На руках приподняли кого-то к ведерку, чтобы достать кружку воды. Это запрещено. Потеснились, чтобы поудобнее уложить женщину, зашумели. Тревога. Капля переполнила чашу.

Потом опять затихли. Из темноты донесся слабый голос:

– Спасибо, что помогли, дорогие.

Помогли. И это помогло нам. Все стали всем нужны. Пропала настороженность, и будто даже чувство обреченности отступило куда-то.

До этого обморока все были словно заморожены. Как же это мы раньше не знали, что среди нас – четыре беременных, одна совсем дряхлая старушка, семнадцатилетняя девочка, две иностранки, почти не умеющие говорить по-русски? Не знали, что всех одинаково мучает тревога за близких: арестованных мужей, страдающих дома стариков, за детей, оставшихся без матерей.

Вдруг команда:

– Собирайся с вещами!

Отперли вагоны, из всего состава вывели людей.

– По четыре!

Справа женщины бесконечным рядом, иные с малышами на руках, другие на костылях. Слева мужчины. Впереди – старики и совсем слабые. По сторонам колонны конвоиры с автоматами и собаками. Сзади тоже конвой, собаки, автоматы.

Голос:

– Шаг влево, шаг вправо – считается побегом. Конвой применяет оружие без предупреждения.

Только позже вспомнилось многое: что ослепительным показался бледный дневной свет, что, когда увезли, была осень, а теперь падал густой снег. Падал на по-летнему одетых арестантов. Не увидев вокзала, не узнав названия станции, мы медленно брели по бесконечным путаным улочкам захолустного городка. Жители отворачивались: не то от ужаса, не то от привычки к этому ужасу. Шли, шли люди... чемоданы... узлы. Вот женщина с непокрытой головой, в черном траурном платье, а рядом другая, в белом, порванном. Оно развевалось на холодном ветру, как истлевший белый флаг мира... Лица, покрасневшие от мороза, сотни лиц или одно, сотни раз повторяющееся лицо. Вот старик бросил рюкзак – он уже не в силах нести его. Подросток помог поднять рюкзак, и вдвоем они тащили его до широко распахнутых ворот лагерного пункта.

Пункт — это точка. Но это был целый город, обнесенный стенами. Внутри — множество длинных строений: жилбараки, склад, кухня, баня, дезокамера, санчасть, контора, мастерские, хлеборезка.

Каждый барак стоит в отдельном квадрате, отгороженном от других густой высокой сеткой.

Пересылка всегда переполнена — каждый день прибывают все новые и новые эшелоны. Поэтому и отсюда ежедневно отправляют заключенных. Мужчин — пешком, на строительство шоссе и железной дороги, которую недавно начали прокладывать сквозь непроходимую тайгу.

Барак за бараком не спеша поглощают прибывающих. Внутри — сплошные двухэтажные нары вдоль стен; в узком проходе длинный стол, скамейки, печка, сделанная из жестяной бочки. Кажется — все.

Проверка: 58-я статья... 58-я... 58-я... 120 женщин. Каждую, как давнего друга, обнимают с доброй улыбкой две женщины: маленькая старушка Берта и очаровательная, изящная даже в лагерном ватнике, Жаннет, рыжеволосая, неопределенного возраста.

Тепло и как ни плохо, а все-таки хорошо. Сейчас, сидя наконец на своей тесной жилплощади, на шершавых досках, мы слушаем бодрый голос Жаннет:

— Скоро к нам завтрак придут...

— Принимай посуду!

Жаннет раздает глиняные миски и деревянные ложки. Есть что-то трогательное в ее нерусском произношении и по-детски веселом нраве.

— Верхние нары, слазь на скамейки! Нижние — кушать на месте! Для всех стол не хватит!

Суп — Жаннет называет его «баландес» — жидковат, но горяч. А к нему по 150 граммов хлеба, горького, как всякий тюремный хлеб.

Потом Берта показывает, где мыть миски и как при этом экономить воду. Затем все ползут на нары, затихают. Всем тягостно, мрачно и пусто.

— Завтра всех определяют на работу, а на работе время бежит незаметно. Увидите! — уверяет Берта.

Но мы очень боимся всего, что нам предстоит.

— Надо, Бертушка, тебя старостой поставить. Как вы думаете?

Жаннет права. Все согласны. Бертушка тоже согласна.

И снова пусто, тягостно, страшно.

Но тут Жаннет сбрасывает телогрейку и, вскочив на грубо сколоченную табуретку, задорно и в то же время удивительно просто начинает петь французские песни, песни своего народа.

Ничего более бодрящего в этот раз быть не могло!

Прошлое и будущее, страхи и горе незаметно куда-то пропали.

Жаннет поет. Поет так, будто здесь же, для нас, на наших глазах придумывает эти дивные песни... Такой она осталась навсегда в нашей памяти, потому что у памяти есть благодарность.

Скоро нас повели, открывая и запирая по пути множество решетчатых дверей, в полутемную от дыма баню. Старый китаец выдал каждой два талона на две шайки горячей воды и немного зеленого «вшивого» мыла. Когда все разделись, выяснилось, что у одной из наших – Марины – нужно снять грязные бинты, стягивающие ее опухшие груди.

– Чем крепче перевяжем, тем легче вам будет, не плачьте, – негромко успокаивал ее кто-то. – Я – врач, меня зовут Ольга Павловна.

Она разорвала самую чистую из наших рубашек, сама вымыла и забинтовала Марину. «Грудница», – сообразили те, кто постарше.

Отнесли одежду в дезокамеру. Старый китаец оказался очень добрым: безропотно прибавил всем понемногу воды. Тем из нас, кто был в летних платьях, выдали лагерное – кому что попало: бушлат, фуфайку, брюки, ботсы, шапку-ушанку.

«Ольга Павловна уже пять лет пробыла в подобных местах. Ее везде уважали, – как-то гордо заявила Рита Зоммерс. – Я ее знаю, я у нее сестрой работала, хотя вообще я – пианистка».

В тот вечер мы узнали многое: что здесь есть мать с дочерью – семья бывшего члена ЦК ВКП(б) – и они боятся, как бы их не развеедишили; что Жаннет – модистка, Маргит – переводчица и совсем недавно приехала из своей родной Венгрии; Ира и Сонечка – студентки; Сарочка – певица на радио; Никель – балерина; высокая полька Ядзя – профессор Комакадемии; Эрика – учительница; Лида, у которой в тюрьме повредили три позвонка, – оперная певица; матушка Мина – колхозная повариха, была депутатом и имела орден; Марта – авиаинженер; Мария – чертежница...

После отбоя на нарах еще долго шептались. Начали о разном, а возвращались все к тому, о чем говорить и думать бесполезно. В бараке до утра дежурила добрая наша старушка – Бертуска.

С работой было не так-то просто: женщины должны были работать отдельно от мужчин, да и свободных должностей немного – разве что заменять заболевших. Но есть одна нескончаемая работа – уборка территории и пустых барачков. И еще было одно очень «осмысленное» занятие – складывать доски и кирпичи.

Многие сидели в бараке и при скудном свете лампочки чинили безнадежную рвань – одежду, варежки, спецовки. Латку на латку...

Все это затвердевшее от грязи и вечного просушивания добро аккуратно, по счету, выдавал и принимал словоохотливый и вечно голодный дядя Костя, хозяин дезокамеры. Иголки и ножницы тоже выдавал и отбирал по счету. Нитки оставлял. Был он раньше военный, принадлежал к высшему комсоставу. Жадно он съедал объедки, слитые нами в его глубокий жестяной котелок. Затем сооружал себе из окурков «козью ножку» и вразумлял нас:

— Тут многое запрещено. Ну, например, стоять около решетки, разговаривать с соседями из другой клетки, петь хором в бараке, передавать записки. Да, слава богу, у них не хватает ни рук, ни глаз!

Так оно и было. Вот и завязались межбарачные знакомства у железной сетки. А однажды какой-то человек в драном бушлате поцеловал Эрике пальцы, протиснутые сквозь проволоку. Оказывается, раньше они несколько лет вместе преподавали.

— Но как же он все-таки узнал меня? — оглядывая свою лагформу, недоуменно спрашивала Эрика.

С новым этапом прибыл высокий, красивый молодой человек, сын Ирины Георгиевны, той, которая здесь вместе с дочкой. Три члена одной семьи! Заволновался весь барак. Поспешно связали для юноши неизвестно из чего теплые, смешно пестрые носки и куцей шарфик.

— Мама, я должен разыскать одну чешку, я слово дал, зовут ее Элли.

Так меня позвали. Так я узнала, что там, в тюрьме, мой муж был ближайшим другом этого славного юноши, что он, муж, открыл в камере курсы англо-французско-немецкого и... увы, что было дальше — я не узнала. Юношу Андрея взяли на этап, а муж остался... Весть облетела бараки. Все притихли. Сарочка в этот вечер как-то особенно хорошо пела «Люблю тебя» и «На крыльях песни». А я смотрела на обнявшихся мать и дочь, и слезы закипали в сердце. Долго. Горько.

Часто говорили об одном пожилom человеке.

— Он восемь раз профессор, — хвасталась своей осведомленностью Жаннет. Она знала всех, так как работала санитаркой в амбулатории.

Когда профессора* перевели в соседний барак, мы по очереди — то одна, то другая — подходили к сетке, чтобы поговорить с ним.

У него, этого невысокого, сгорбленного, страшно истощавшего человека, было лицо мыслителя, а глаза — огромные, голубые, совсем молодые... Казалось, они всех замечают, всех знают и всем помогают. Мне тоже.

* Гавронский Александр Осипович (1888—1958), кинорежиссер. Впервые арестован в 1934 году. — *Прим. сост.*

– Профессор, одна наша сказала на допросе: «Мне не нравятся фразы, восхваляющие Сталина, они производят на каждого мыслящего человека впечатление неискренности».

После длительной паузы профессор сказал:

– Мужество – не защита, а победа!

Вскоре он, опираясь на палочку, без всяких вещей ушел на этап. Попрошаться не удалось. В бараке нашем стало тихо и скорбно, как после похорон. Ольга Петровна, сжав кулаки, возмущалась:

– Как же они смели... как... ведь у него большие ноги. Вы же видели!

Жаннет, веселая Жаннет, горько плакала, и я поняла, что меня снова обокрали, лишили чего-то очень нужного, надежного.

А мать и дочь были рады, что Андрей попал в один этап с профессором. Рады за обоих.

Трудно было со стиркой. Мужчинам белье меняли в бане, а женщины должны были ухитриться стирать свое где и когда удастся. Ночью почти никто не раздевался. Переодеваться не во что. Укрыться ночью – тоже нечем. Особенно тем, чьи ватники сушатся. Вдвоем под одним бушлатом не очень-то укроешься. Ноги у всех непокрытые, торчат как-то убого, беспомощно. Ночью все здесь выглядит призрачным, застывшим – будто никогда не может наступить день или живая жизнь. Как в злой сказке, а злых сказок не должно быть!

Изредка заходило начальство. Тогда надо было выстроиться и коротко отвечать на вопросы. Мы не жаловались и ничего не спрашивали. Знали, что с навигацией, с первыми речными пароходами, женщин отошлют, распределив их по разным лагпунктам. Этого и ждали и боялись. Как не бояться разлуки здесь, где дружба так дорога. Дороже хлеба. А ведь его по кусочку можно обменять на махорку, спички, суррогатный чай. Да, дружбой дорожили больше хлеба. Недолюбливали только тех, кого по ночам вызывал кто-то из начальствующих. Эти чувствовали всеобщее отчуждение, может быть, и стыдились иной раз.

Не было книг, газет, радио. Не полагалось. Поэтому особенно важной была единственная связь с внешним миром – письма. Их было совсем немного, и слов немного. Но они словно предназначались нам всем – изъятым... Было в них что-то согревающее, волнуемое, прекрасное!

Какое число сегодня? Какой месяц? Какой день недели? Будто все остановилось или идет «пятое через девятое», как говорят чехи. Беспорядок. Но в этом беспорядке свой метод, скрытый, направленный к тому, чтобы обезличить людей страхом, неизвестностью и сознанием своей полной беспомощности. Но были какие-то неправильные расчеты в этом методе: страх, ютившийся где-то в тебе и вокруг, постепенно вызывал протест против себя самого, против страха. Этот

внутренний протест укреплял сильных, выпрямлял слабых. Он стал могучим, непобедимым светом, идущим изнутри.

И мы, отверженные, нищие, стали почти богатыми. Мы удивлялись ярко-серебряным звездам, северному сиянию и все меньше говорили о тоске, холоде, болезнях и голоде. Мы были рады тому, что не разучились радоваться.

«Как хороши, как свежи были розы», — часто по вечерам читала нам Бертушка. Ей далеко за шестьдесят. Может, поэтому проза-стихи Тургенева остались для нее всегда сокровенными. А студентка Сонечка читала Маяковского, да так, будто другого поэта никогда не было и быть не могло на свете.

А Ирочка читала тюремные стихи. Заключенный просит проводить в страшный путь — ветер, птичку, тучу...

Но те не идут.

«Я пойду», — откликнулась вошь...

Да, только вошь!

Мы очень полюбили венгерскую песню «Акацо Шут». Нам казалось, Маргит поет не о «Ветре акации», а о тоске по родине. У Сарочки была неисчерпаемая программа — от старинных романсов до знаменитых арий. И я иногда пела. Мою чешскую колыбельную «Листочек дубовый» все уже сами себе напевали перед сном, как много лет тому назад напевала мне моя старая няня Матильда.

А Лида — наша «оперная» — рассказывала, как год училась в Ла Скала, год в Париже, как в Москве с небольшой группой «юных дарований» получила от государства в награду беккеровский роуаль. Но она никогда не пела.

— Не могу, будто мне не спину перебили, а голос, — твердила она. — Но профессор уверял меня, что это пройдет.

Профессор... О нем мы ничего не знали, как и об Андрее и всех других, исчезнувших в тайге... Из лагеря в лагерь писать запрещено.

В месяц полагалось два выходных дня. В эти дни выдавали маленькие листки бумаги и несколько карандашей: можно писать заявления о пересмотре дел, о помиловании. О каком деле может быть речь? Тем более — о каком помиловании? Никто не писал. Писали только матери во все концы страны. Неужели не ответят матерям, разыскивающим своих детей?

Все заметно похудели, ослабли. У меня начала кружиться голова, и я стала пошатываться. «Никотиновое отравление», — определила Ольга Павловна. Но я продолжала добывать махорку, меняя ее на хлеб. Хлеб мог кое-как утолить голод, зато махорка успокаивала.

Жаннет стала меня мыть, причесывать, стирала за меня, приносила дрожжи и витамины в пилюльках.

— А ну, глотай, — приказывала она. — А то цинга, болеть будешь, цинга — плохой истуар.

Все чаще слышались взрывы. «С чего это?» — вздрагивая при каждом залпе, спрашивали мы дядю Костю, одетого в немыслимую солдатскую шинель и рваную буденовку.

— Обыкновенное дело. Взрывают реку. Иначе им навигацию к сроку не открыть.

— Вот оно что...

Где-то уже тепло, весна, зеленая травка. Это трудно даже представить себе. А здесь все тот же снег, мороз, пронзительный ветер и закутанное серыми облаками солнце, едва поднимающееся над горизонтом. Здесь весны не бывает. Вместо весны — начало навигации.

Не сегодня завтра расформируют женский состав и отправят по этапу. Этап так этап, лишь бы вместе, лишь бы не расставаться снова, лишь бы не отняли у нас песни и стихи наших стран, все, что стало для нас уже не просто привычкой, а вторым дыханием...

Отняли. Разъединили. Так, просто. Принесли список: 5 мая готовиться на этап. Сорок человек. С указанием имени, отчества, фамилии. Там и моя.

Оказалось, что 5 мая — завтра. Нет, ты не смогла бы описать этот злосчастный вечер перед разлукой. Горевали каждая по-своему: кто — слезами, кто — молчанием, кто — суетой, а кто — оцепенением. Но боль была одинаковой у всех — и у «назначенных», и у «оставленных».

Никто не слушал отбоя. Мы разговаривали всю ночь, ходили друг к другу — не прощаться, а будто разыскивая что-то — то, что непременно нужно взять с собой или отдать тем, кто остается, или тем, кто уходит. Казалось, ночь эта никогда не сможет... не посмеет кончиться. Но утро все же настало. Такое же темное, как ночь. Сорок женщин молча обняли восемьдесят женщин. Сорок женщин молча выстроились в колонну, восемьдесят женщин — в почетный караул. Привели еще много женщин из незнакомого нам барака. Трех принесли на носилках.

Все по-старому: «По четыре. Шаг влево, шаг вправо...»

Собаки, автоматы... Медленное движение по дороге, протоптанной бесчисленными этапами мужчин. Шли к реке, по которой они раньше пешком добирались куда-то по льду.

Идти нам пришлось недолго, но долго длились формальности у пристани: проверка формуляров, их передача начальнику охраны, сопровождающему «врагов народа». Сколько еще можно слышать это

бессмысленное, проклятое: пятьдесят восьмая... пятьдесят восьмая... пятьдесят восьмая...

Всех нас спустили в трюм.

Снова двухэтажные нары. И круглые окошки, откуда видны правый и левый берег, тайга, заснувшая в снегу. Неба не видно. Как в тюрьме, где казалось, что небо исчезло навсегда.

Три раза в день — сухая вобла, хлеб, вода. Махорки нет.

Вдруг у меня на лбу оказывается мокрая, кисло пахнущая тряпка. По-докторски строго и по-матерински нежно смотрят на меня Ольга Павловна и Жаннет... Смутно вижу лица, знакомые... чужие. Говорить не хочется, думать — тоже. Так бы лежать и спать, спать до конца или до какого-то начала... Но бессонница не дает ни думать, ни видеть... Одной ли тебе?

Везут, везут... Кто-то замешивает хлебную тюрю, кто-то лепит из хлеба шахматные фигурки, кого-то кормят хлебом, кто-то бережно прячет хлеб в мешочек. Хлеб... хлеб...

Лида опять повторяет свой рассказ о «Ла Скала», твердит, что скоро опять сможет петь. Это профессор правильно ей предсказал. Какое-то упорство есть в ее словах, жалкое и нелепое, но все же упорство.

Стало известно, что наши формуляры разобрали по пачкам. Значит, скоро по пачкам разобьют и нас. Скоро первую пачку высадят... уведут.

Неужели никто... неужели так, без сопротивления? Да почему? Отчего? Доколе?

Но вот однажды, как-то днем, я незаметно спустилась в уборную, выбила окошко, выпрыгнула и поплыла в ледяной воде, мгновенно пропитавшей одежду, к берегу. А там торчали громадные каменные и ледяные глыбы. Выбраться на берег невозможно: волны отбрасывали назад.

С верхней палубы заметили. Отправили шлюпку к берегу и вытащили.

Позже я узнала, что было короткое совещание и решение: «Побег. Расстрел».

Но и в трюме заметили. Доктор, Жаннет и Ядзя дорвались до капитанского мостика. Доказывали: «Бессонница, никотиновое отравление!..»

Капитан зло молчал. Но, видимо, понял: считать это заступничество бунтом — нецелесообразно.

Продержали несколько часов в сушилке как в карцере. Я смотрела на свои изрезанные до крови руки спокойно, будто выполнила долг. Ожидала допросов. Их не было. Только режим стал более строгим. И все же мы одержали победу над угрожающим нам всем безразличием и отупением.

Три пристани. Три раза прощание. Женщины, уходящие в тайгу, — серые, бесформенные тени.

На четвертой пристани высадили последних. Захотелось верить в Бога, когда я заметила, что Жаннет, Ольга, Ядзя — все, кто оставался из барака Бертушки, были все еще рядом со мной.

Подкомандировка.

Это небольшое «пароходное» подразделение. Высокий забор и те же вышки охранников по углам. Несколько барачков. Много инвалидов. Работа только по хозобслуживанию. Даже мастерских нет, но есть прачечная. Она работает непрерывно для переполненной больницы.

«Баландес» — слишком лестное название для пищи, которую дают тем, кто стоит в очереди перед окном кухни.

Дизентерия. Уже через несколько дней она стала свирепствовать и в нашем бараке. Мыли, дезинфицировали, проветривали — бесполезно. Квалифицированный медперсонал и приставленные к нему случайные помощники сбивались с ног, обслуживая больницу и женские бараки. Палат для женщин не было.

Зловоние несло отовсюду. Оно текло с верхних нар на нижние. Доползти из барака в уборную, хоть на четвереньках, не было сил.

В предутренние часы выносили умерших. По десять, пятнадцать и больше. Тайком. Но мы видели, знали и ждали своей очереди.

Наконец все же обнаружили источник эпидемии — гнилая вода. Непонятно, почему не изволили начальники вовремя спохватиться. Неизвестно, сколько погублено людей, которых кто-то помнит, любит, ищет, ждет.

Вырыли новый колодец, питание заметно улучшилось: истощенные понемногу стали поправляться и, выйдя из барачков и палат, смотрели на небо, на солнце. Не то чтоб было по-настоящему тепло, чтоб можно было без ватников... но уже началось северное лето — непрерывный день, круглосуточный.

Стаями летели высоко над нами незнакомые птицы. Несли нам привет с юга, а наш — еще дальше, еще севернее.

Здесь мы впервые познакомились с другой категорией арестантов. С уголовным миром. В нем было, если судить по названиям, много разновидностей: шпана, урки, крохоборы, майданщики, блатные, бандюги и т. д. Так как настоящей работы не было, то и настоящих отношений между ними и нами не создалось, да и жили все в разных бараках. Особого доверия друг к другу не питали.

Пришел наряд, на Ольгу Павловну. Она специалист по туберкулезу.

— Не грустите... меня там ждет настоящая моя работа. Неужели вы этого не понимаете?..

Да нет, мы понимали, но от этого было не легче.

После проводов мы словно осиротели. Жаннет молчала, только без конца терла полы и нары. Ольга Павловна так любила французский язык...

Затем была комиссия. Она определила: работоспособных I категории — на тяжелый, II категории — на средний, III категории — на легкий физический труд. Слабосильных пока оставить на месте.

На меня тоже пришел наряд — в больницу для нервно-истощенных. Отправить не с кем, так как охраны — «в обрез». Тогда провожающими назначили двух блатных, выдав им пропуска под расписку.

«Будь умницей», — хрипло просила Ядзя. Жаннет что-то пихала в мой узелок и ничего не говорила. Может, невысказанные слова найдутся в узелке позже, когда они будут очень нужны.

Блатные — здоровые детины — шли рядом со мной. Один из них нес запечатанный конверт с моим пресловутым формуляром (58-я), другой — узелок.

Красива была проснувшаяся после долгой зимы тайга. Идти было трудно. Не шоссе, не лесная дорожка, а лежневка.

«Всего шесть километров — пустыки, а там сразу санмашина», — объяснили мне. Шесть... Но уже после двух я сильно устала и легла на серо-зеленый мох. Охранники куда-то удалились. Было тихо кругом и тихо в моей душе. Я ведь запретила себе думать о том, что нарушило бы эту трудную внутреннюю тишину...

Но тут вернулся один из телохранителей.

— Закрутку дать?

— Дать.

Ехидно смеясь, он продолжал:

— А платить за провода будешь?

Я растерялась.

— Чем же платить?

— Не хошь — сам возьму, — сказал он и кинулся на меня. Стал срывать одежду, стараясь скрутить мне руки.

Я закричала не своим голосом, билась с какой-то дикой силой, брыкалась, кусалась...

Прибежал второй провожатый. Он тоже кричал, тоже кинулся, но не на меня, а на первого.

Силы меня оставили. Я лежала в полузабытьи, пока эти «джентльмены» поспешно мастерили какое-то сиденье из веток. До лагпункта меня несли.

Меня заперли в санитарную машину. Что было дальше – мне рассказали позже, спустя много месяцев.

Сказать, кто я такая и что болит, я не могла. Собственно, ничего не болело. Я просто дошла до точки. Лежала глухая, немая и слепая. Не в общей палате, а в отгороженном ширмой месте, в процедурке. Так распорядился замглавврача отделения Антон Андреевич.

Камфара, питательный раствор, на ночь – хлоралгидрат. Только стон мой говорил о том, что мне что-нибудь нужно. Андреевич завел историю болезни... Она росла с каждым днем. Врачи всех отделений очень хотели помочь. Врачи тоже – 58-я. А чем сможешь, если кончилась всякая сопротивляемость организма?

Но Андреевич не признавал никакого «не сможешь». Он упорно вел свою линию. Боролся – против чего-то, за что-то.

Никто не знает, сколько часов, ночей и сил стоила ему эта хилая больная. Он сам мыл, купал, подстриг под ежик, следил, чтоб осторожно меняли белье, выносили на тюфяке на свежий воздух, в так называемый сад отделения, отгороженный – зона в зоне – от всего остального лагеря.

Вливали в меня жидкую пищу. Сначала из поильника, затем с ложки.

Понемногу я окрепла. Уже не трудно было поворачиваться, сидеть, глотать кашу, кусочки свежих огурцов и помидоров. Их добывал Андреевич бог знает откуда.

Иногда он подолгу держал и ласкал мои руки. Это было приятно. В ответ я улыбалась и прижималась к его плечу.

Однажды мне снился сон: тихая музыка и тихие, добрые слова. Но это не был сон. Это было заглушенное далекое радио, и чей-то мягкий голос вблизи: «Ты меня слышишь, скажи, слышишь меня?»

Я ответила скоро, через несколько дней. Обыкновенно, вот так: своим голосом. Только странно путала русские слова с чешскими. Но Андреевич все понимал:

– Тебя зовут Елена?

– Нет, сокращенно, Элли.

– Я так привык. Мою любимицу дочку звали Елена.

– Тогда зовите Елена.

Для него одного я навсегда осталась Еленой.

Когда мои глаза стали впервые реагировать на свет, стали видеть ясно, как прежде, – вокруг собрались все: врачи, медсестры, санитары. Кто плакал, кто смеялся, принесли бумажные цветы, говорили... Я тоже хотела сказать что-то, вроде: я очень вам всем обязана. Спасибо. Но это было бы просто нелепо. Доктор Маревская всех быстро выпроводила...

— Поймите, ей нужен покой.

Андреевич смотрел ласково, как, должно быть, всегда смотрел. А я-то на него впервые. Радостно, удивленно и без стеснения.

За окном — все бело, в снегу. Не следует удивляться: здесь десять месяцев зима. А остальное давно прошло.

Меня перевели в одну из женских палат. Так приказал главврач. Я ходила свободно по отделению и на второй этаж, где жили медики. Напротив приличной комнаты доктора Маревской — маленькая конурка Андреевича. Там мне было легко говорить о своем, наверное, потому, что Андреевич никогда ничего не спрашивал. А сам... «Дали пятнадцать лет. Многократно таскали на расстрел. Затем отменяли приговор до следующей ночи... Дочку Еленку заслали в Узбекистан. Там она погибла. Жена и мать не вынесли. Умерли. Почти одновременно. Обоих сыновей загнали на Колыму».

— И мой муж там, с ними! — Я это не выдумала, а верила в это, защищаясь от мук неизвестности.

Было что-то психологически очень верное в том, что Андреевич, не щадя, говорил мне откровенно все. Это мне придавало уверенность в том, что я не больна, могу идти дальше, не сгибаясь, одна среди всех, не хуже всех. На меня надели белый халат, и я стала стажеркой этой психо-неврологической больницы. Кипятила шприцы, стирала и сматывала бинты, готовила по-латыни санитаров, сдававших экзамены на средний медперсонал. Многого от них не требовалось. Лишь бы умели читать и писать рецепты.

На самодельном календаре в процедурке я зачеркивала дни. Уже начало мая. Уже снова взрывают реку. Второй раз.

Андреевич всегда умеет прервать мои мысли вовремя, когда они уходят к наболевшему.

Персонал и больные относились ко мне как к старой знакомой. Поэтому и они для меня были будто старыми знакомыми. Много было спокойных пациентов — не безнадежных. Но была палата и тяжелых. На первый взгляд, они не производили впечатления обреченных. Скорее, бестолковых и ребячливых.

Вот — скрипач, говорит только по-польски. Приехал недавно на гастроли, затем... ну и т. д. Он всегда прятался за спиной санитаря, специально к нему приставленного, огромного и большерукого, как все здешние санитары.

Андреевич много думал над этим больным. Потом заказал ему скрипку. Со скрипкой в руках Стасек стал неузнаваемым, задумчиво счастливым. Он часами играл, импровизировал. Даже при посторонних. Но стоило отнять инструмент, и кончалось его волшебство.

Стасек плакал, не принимал пищи и тупо глядел в одну точку – туда, где висел шизофренический рисунок.

Его нарисовал Алим, классически сложенный, красивый, гибкий юноша, добродушный и абсолютно безвольный. Получив от матери посылку, он аккуратно делил кишмиш, рахат-лукум и орешки и с неопишуемой доброй улыбкой раздавал кулечки по палатам. Доктор Мареvская его любила.

Когда стало теплее, Алим смастерил парничок и посадил семена огурцов; старательно рыхлил землю, обильно поливал и, не отрывая глаз от своего сокровища, – ждал. Когда ему объяснили, что ростки появятся только через три недели, он страшно рассердился и, не слушая уговоров, затоптал все свое драгоценное хозяйство.

Главврача и Андреевича Алим считал своими родными, но *слушался* он только Крайкова, угрюмого и властного, не считавшего себя больным. А между тем это был самый трудный пациент. Высокий, надменный, он шагал по помещениям и расклеивал по стенам свои приказы – о высылках, массовых арестах, и особенно охотно вот такие:

«Приказываю сегодня... в 24 часа 00 произвести расстрел заключенного Н. Н. Статья 58-Б-17. Без суда. Без пересмотра.

Крайков

Замнаркома НКВД».

Причины его гнева были ничтожными, или их вовсе не было. Вернее, они были в нем самом. Крайков много лет служил на Лубянке.

«Приговоренных» – однажды и меня тоже – приходилось от него прятать, пока он за новым «гениальным» распоряжением не забывал прежде.

С ним все держали себя подчеркнуто вежливо, учтиво, терпеливо. Другого подхода к нему не знали, потому что не понимали, где граница между болезнью и привычным зверством.

Если Андреевич был мне отцом и другом, то Мендель был братом-другом. Он много лет тому назад заболел эпилепсией. От побоев. В Варшавской тюрьме. Прибыл в СССР «в обмен» на какого-то политзаключенного поляка. Официально. Потом окончил Институт красной профессуры. Он никогда не рассказывал, как трудно ему, потомственному часовщику, достались знания и звание. Зато рассказывал о другом: «Представь себе, я ходил в форме, учили меня западным танцам...» Я представляла себе: Мендель, крошечный, тщедушный, неуклюжий, ноги как буква икс, в толстых очках, в парадной форме, танцует на паркете танго с высокой толстой дамой. Я хохотала до слез... Но иногда он говорил о своей жене Фирочке –

учительнице музыки — и о своей дочурке. Родилась она за день до его ареста. Попрощаться не удалось. Взяли.

Снова начались белые ночи. Больные их плохо переносили. А Андреевич, Мендель и я подолгу сидели перед корпусом на бревне, смотрели в бездонное небо и думали, думали...

А днем проводилась трудотерапия: все ходячие работали в садике под строгим наблюдением. Рассаду приносила завтеплицами Татьяна, похожая на мальчишку-старшеклассника. Она весело давала указания, помогала, назначила Алима ответственным. Он больше всех любил цветы, любил составлять букеты. Мне было жаль сорванных цветов, особенно подаренных главврачу Маревской.

Очень хотелось познакомиться с Татьяной. Приходила она часто, сразу же объявляя: «Мне некогда». Всегда в летних выцветших брюках, майке и тубетейке. Низко наклонившись и прищуривая глаза, рассматривала клумбы, грядки. У нее был очень низкий процент зрения.

Красавицей ее не назовешь, но было в ней что-то, вполне заменяющее красоту.

— Это вы мне посылали огурцы и помидоры, Татьяна?

— Ну да, а что?

Разговор не получился. Но Андреевич, как и в прошлое лето, в своей конурке нередко угощал меня овощами, однажды даже дыней.

Многие выписались. Андреевич поехал за новым «транспортом больных». На три дня. У ворот он коротко сказал:

— Обязательно узнаю о Жаннет, Ольге Павловне, профессоре и Ядзе.

За ним закрыли ворота на все замки и засовы. Я медленно шла вдоль забора и смотрела на длинные ряды табака. Днем этот цветок всегда вялый, неживой, неароматный. Прелесть его и дивный запах знает только ночь. Стало грустно. Это потому, что лето кончается, что ли?

Меня позвала доктор Маревская:

— Собственно, делать тебе у нас больше нечего. Выпишу. В сельхоз. На легкую работу. Тебе полезно будет, да и веселее.

Я не ответила. Да это и не был вопрос, это было решение, принятое, видно, еще раньше.

Вечером я ушла в сером фланелевом платье арестантки и связанных из шпагата тапочках — подарок Андреевича. Под платьем ничего не было. Ноги тоже голые.

— Ко всем чертям, — сказал Мендель, — завтра и я попрошусь, в самом деле...

Санитар вывел меня «на свободу» — в сельхоз. Зона была огромная. Бывший женский монастырь. Все здания каменные, толстые

стены; такая же добротная, массивная ограда кругом. Очень внушительная бывшая церковь с мощными куполами. Сторожевые вышки тоже напоминали башни. Страшно.

Санитар отнес мой конверт с «58-й» куда следует, затем повел меня в жилкорпус № 5, на второй этаж, потом по длинному неосвещенному коридору и сдал на руки дневальной, тете Ирише.

Не барак, а комната – просторная, многонаселенная. Нары одноэтажные, не сплошные. Между ними ребром поставлены ящики – эрзац тумбочек.

Знакомых никого. Осознав это, я сразу почувствовала усталость. Легла на голые нары и уснула, закрываясь локтем от недобрых лучей электрической лампочки – выключать свет по ночам в лагерях запрещено, как во всякой тюрьме.

Пронзительно-настойчивый удар в гонг. Утро. Все вскакивают, бегут, собираются. Надо успеть одеться, убрать на нарах, умыться, сбежать в столовую и вовремя явиться на развод.

Я много раз слышала железный гром гонга, но сегодня он впервые имел ко мне прямое отношение. В утренней стуже и суете я стояла одна около вахты, не зная, к кому обратиться. Отмечая людей, бригаду за бригадой, пропускали за зону, где их ожидали бойцы-конвойные. Вышли пропускники. А я ждала и чувствовала себя «ничьей», как никогда раньше.

Подошел нарядчик и, ничего не спрашивая, будто ему обо мне все известно, что-то сказал. Не мне, а крепкому, краснощекому, тепло и ладно одетому человеку. Тот расписался в чем-то, и я побрела вместе с ним за зону. В конюшню. Он запряг лошадь в борону, сунул мне ведро, мешки и сказал: «Поехали, любезнейшая». Мне ли сказал или лошади – я не поняла, а пошла рядом, удивляясь, какие медленные, ленивые шаги и движения у моего шефа. Мне хотелось все делать быстрее – и оттого, что озябла, и оттого, что, как вся «58-я», считала, что надо честно зарабатывать свой хлеб, что бы там ни было. А шеф так не считал, – значит, он не «58-я».

Вокруг зоны разные домишки вольнонаемных. Видимо, живут по рангам. А дальше – длинные голые полосы полей. Тут и там – кучи пней. Ведь совсем недавно здесь превратили тайгу в пашню. Тяжелейшим каторжным трудом. Теперь тайга отступила далеко.

У одного поля мы остановились.

– Проедусь, – сказал шеф, – а ты за мной, картошку подбирай.

До меня дошло: после уборочной надо еще раз «проехаться», чтобы собрать оставшуюся, выскакивающую из-под бороны картошку и подготовить поле к зиме. Я старательно кидала картошку за кар-

тошкой в ведро. Немного задыхалась. Все же не очень была крепка, да и непривычна.

Протянув борозду к лесу метров так на двести, шеф преспокойно бросил поводья, разложил мешки и удобно уселся.

— Ну, чего глазеешь, перекур сделаем. С «дремотой», — сказал он.

— Так мы же еще ничего не сделали, — осмелилась возразить я.

— Подумаешь, не сделали! От работы кони дохнут. Сядь, говорю.

Я сильно дрожала, голая под платьем, с голыми ногами. Шеф заметил:

— Ерунда. Сколько-нибудь дней промантулишь — одежду выдадут. Ну — третьего срока. Для общих работ и то шикарно, раз тепло.

Он достал кусок хлеба и шпика и поделился со мной. Пока мы ели, он меня рассматривал.

— А ты — девка ничего, только шибко худущая. Давай с тобой жить. Сапоги справлю и провилку (жилетку). На работу ходить не будешь. Ни-ни! С нарядчиком устрою. Не впервые. А спать будешь приходиться мне в барак.

Из всего этого я поняла, что дело мое плохо, что я в опасности...

Но тут «не 58-я» бесцеремонно придвинулся ко мне. Толстые пальцы, уродливо растопыренные, полезли все ближе и ближе. Кругом никого... Кричать бесполезно, сбежать невозможно. Я окаменела от ужаса и холода. А он продолжал:

— И чтоб ни с кем другим не крутить, а то зубы выбью — поняла?

— Поняла. Но, знаете, я должна вам сказать правду: я ведь больна.

— Врешь, выпустили — значит, здорова! — И со всей силой навалился на меня.

— Послушайте, жалеть будете... ведь у меня... ведь у меня... болезнь... нехорошая... сифилис! — выпалила я.

Я заставила себя поверить в это, чтоб поверил и он.

— Врешь, говорю, гадюка, не хошь с простым блатарем путаться. Все врешь.

— Да нет. Это — правда. Вы у Андреевича спросите.

Шеф отодвинулся, запахнул телогрейку и буркнул:

— Ладно, спрошу. Но если ты, стерва эдакая, обманула — смотри у меня... так твою мать...

Он повернулся на бок и мгновенно уснул. Спал весь день. А я весь день тряслась: от страха, от холода и от сознания, что надо работать. Но страх был сильнее всего: я не будила шефа. До самого гудка, означающего конец работ. Он зевнул, лениво встал, нашел лошадь и сказал:

— Все. Отработали.

Я смотрела на него с недоумением.

— Не твое дело, — отозвался он. — Пусть начальнички надрывают-ся и эта ваша братва. — Он явно был очень сердит.

Уже стемнело, когда мы вернулись в лагерь, где бригада за бригадой ждали допуска в зону.

Шеф опять расписался, за ним прошла и я. Около больницы я остановилась, но зная, что Андреевич еще не мог вернуться, не позволила, а побрела к своему корпусу № 5.

В этот день по всем его комнатам шла побелка, генеральная уборка перед зимой. Вся «мебель» и все пожитки были выброшены в темный коридор, где царил невообразимый шум и беспорядок. Наконец все разобрали свой хлам и перестали визжать и ругаться. Я нашла поломанный щит, положила его в самый дальний угол и легла...

Плохо, что тревожные мысли нельзя выключать, как, например, электричество. А еще хуже, что не можешь понять, ничего не можешь понять...

Снова утренняя суета. Горит фитилек. Кошмарные тени плывут и сливаются на стенах. Я сворачиваюсь в клубочек и снова засыпаю. Но сознаю, что должна встать немедленно, выйти на развод... что делаю нечто недопустимое, вредное для себя и своих. Но ничего не могу с собой поделать.

Будит меня дневальная.

— Интересно, с чего это ты смеялась во сне?

— Это мне сон снился, кажется, о том, что кто-то меня оскорбил или я кого-то...

— А что тут смешного, дуреха? Смешно, что обход был и не заметили тебя — отказчицу. Счастье твое. Живо бы в карцер посадили, в одиночку. Я смутилась.

— А что же мне теперь делать, тетя Ириша?

— А ничего. Шмыгай в хлеборезку и приходи. Столовка уже закрыта. А лучше я сама с тобой пойду. Нарядчика уговорю.

Весь день я затыкала мышинные дырки, терла и шпарила нары, в общем, делала все, что велела тетя Ириша. Работала она умело, красиво. Толково умела указать, что и как делать. Такой пристало быть на руководящей работе. А она...

— Да, детка, в колхозе было — куда пошлют... и здесь — куда пошлют... Мужа давно нет. А сына, Ванюшу, тоже посадили, — рассказывала она между делом.

— За что же это, тетя Ириша?

Тут она вздохнула, села и, скорбно сложив натруженные пальцы, сказала:

— А бог его знает. «Сын твой — троцкист». Это следовательно мне сказал. А я ему: «Я — мать, я лучше знаю — тракторист он. На тракториста кончил, а не на троцкиста». Но куда там! По десятке дали нам обом — антихрист эдакий! — Она встала и взялась за пол.

— Тетя Иришенька, давайте — вы с одного конца, я с другого.

— Нет, нет! Куда тебе, слабосилие, не пушу!

Ириша была неутомимая, опрятная и по-строгому добрая. На черной тесемке у нее висел крестик. С ним она не расставалась даже в бане.

Вечером зашел Андреевич. Так, будто ему не странно видеть меня здесь.

— Привет, Елена, от Жаннет. Она в Центральной. В пошивочной. Славная она, очень славная. А Ольга Павловна в туберкулезном отделении, как будто неплохо живет.

— А профессор, а Ядзя?

— Вот о них я ничего не мог узнать. Не так это просто. Ну, идем со мной.

В своей конурке Андреевич вручил мне мое богатство — легкое пальто, пуловер, подаренный сестрой... давно; платье, о котором я уже забыла, какое оно, — пражское, красивое, единственное и изношенное в тюрьме. И белье.

— Я держал твоё барахлишко у себя. В кладовке очень сыро, — объяснил он, застенчиво улыбаясь. — Приходи когда угодно.

— А доктор Маревская?

Лицо его несколько омрачилось.

— Она не возражает. А пусть она... да ладно.

Тут я сбивчиво стала рассказывать о первом своем трудовне в сельхозе. Андреевич курил, смотрел в окно, потом сказал:

— Знаю я его. Все они такие грубые. Не по своей вине. И уверены, что наш брат их за человека не считает.

Я хотела спросить, кем же они нас считают, но Андреевич связал узел, и мы вышли. Уже у ворот он сказал:

— А если этот блатарь меня спросит о твоей болезни, я скажу: «Это врачебная тайна». И не бойся, слышишь, никого не бойся.

Я засмеялась: сейчас я не боялась ничего.

На нарах лежит старая фуфайка. Это матрац. А прикрыться можно теперь своим пальто. В узелке оказались завернутые в газетный обрывок помятые конфеты, пачка махорки и даже спички.

Соседка научила меня аккуратно делить каждую спичку на две — куском старой консервной банки. Ножи и вилки держать здесь строго запрещено.

– Богатая махорка! – одобрительно сказала она. – Тута такой нету! Ты, кажись, политичка, да? Ну и тетя Иришка тоже. А мы все по уголовным статеечкам.

Мне хотелось узнать о Татьяне.

– Так те, кто хитро, по блату, устроились или по специальности, живут отдельно от нас, вместиныке.

Включили меня, как некатегорийную, в бригаду мамок, то есть кормящих и беременных. Такие бригады работают на два часа меньше других и не на тяжелом труде. А на обед их ведут в зону, в ясли.

Под навесом мы перебираем картошку. Сорта I–II – для начальства и на «экспорт», сорт III – для детской, мамочной и больничной кухни. Последний сорт для заключенных – эков и скота. Норма большая. Дается нелегко: надо мигом распознать качество, сорт, кидать по корзинам, затем высыпать их в соответствующие кучи. Сданные корзины отмечает на дощечке бригадир Рая, типичная украинская дивчина, чернобровая и насмешливая. Все идет чин чинком. «Тянут» норму и даже перевыполняют. Мамки – ради детей, чтоб как можно дольше не разлучали. А еще – из-за премиальной махры и «премблюда».

Тон в бригаде задают Рая, рыжая Анька и Зина-огородиха. Ничего, тон дружеский. Брань в него входит как-то органически. Равняться на бригадниц – не шутка. Но Рая, отметив мое усердие, выписала мне телогрейку, ватные брюки, ватные чулки и резиновые чуни-лапти и все принесла мне «домой». Сама она жила в другом корпусе, более «почетном».

В нашей комнате крик и ругань не прекращались. И мелкое воровство. Тут даже Ириша-хозяйка была бессильной. Но не отчаивалась. Даже если какой-нибудь уркаган врывался, чтобы отлупить свою кралю. Да и сама краля не отчаивалась, а скорее гордилась: «Лупит – значит, любит!»

Выходные дни отменили. До окончания уборки капусты, овощей и вообще завершения сельхозсезона.

Раньше в этом суровом климате мало что выращивали. Кое-какие культуры удалось вырастить только в самые последние годы, когда за дело взялась агроном Инесса. Взялась серьезно, профессионально.

Она проявила такое умение и понимание, что ее не могли не заметить начальник работ – зэк Рыбин, главагроном – зэк Багров и зэк-прораб Марина. Они доложили полковнику – он же и начальник колонны, и директор сельхоза и первого отдела, производственного. Инессе был выписан пропуск «на вольное хождение», и тогда она уже смогла начать систематическое изучение местности, определять, как

она выражалась, «возможные возможности». Она составила карту почв — где залежи торфа, где глина, где песок. Особенно ее интересовало внедрение капусты и картошки, испытание сортов для Севера. Уже на второй год Инесса списалась с одиннадцатью научно-опытными учреждениями.

В ответ она получила не только советы, но и конкретную помощь: определение растений, насекомых и анализ проб почв. Щедро посылали ей семена. Инессе удалось вывести урожайный и морозоустойчивый сорт картофеля «Имандра» — 35 тонн с га. Позже «Имандра» перекочевала на самый крайний Север. Сельхозу она давала немалый доход. Но главный агроном, несмотря на сотворенные Инессой чудеса, держался осторожно. Он придерживался своего сорта картошки «Красная роза», с гарантийным урожаем в 10 тонн с га.

— Теперь нам без лаборатории не обойтись, — подсказала начальству Инесса и быстро выстроила в зоне небольшой домик — лабораторию. Там уж Инесса развернулась вовсю.

Рыбин и Багров были удивлены и довольны. Довольны были и научные организации, которым Инесса посылала отчеты. Бесплатно и охотно они помогали друг другу.

Благодаря снабжению овощами при сельхозе могли существовать ясли, детдом, больница и слабкоманда.

Инесса — осетинка. В ее темных глазах есть и строгая непримиримость, и зоркость. Такая бывает только у людей, очень любящих природу. С детства.

Поговорить с Инессой пока не пришлось. Слишком она занята, а я — недостаточно смела. Но от Татьяны кое-что узнала: несколько лет Инесса прожила с мужем в ссылке. Там и родился их сынишка. Теперь о муже ничего не известно, а малыш здесь, в детсадыке.

Через несколько дней приехала сестра Инессы, хирург. Приехала, чтобы взять с собой на юг маленького племянника. Инесса вела сына за руку через зону. В ее молчании было что-то категорическое, не позволяющее никому ни приблизиться, ни заплакать.

Уснуть в эту ночь я не смогла. Перед глазами без конца стояли лица тех, кого хотелось видеть. Но голоса услышать не удалось. А правда, почему не удается сохранить в памяти голос, даже самый любимый?

Уборочная все еще тянулась. Это потому, что всерьез трудились только 58-я, кормящие матери и беременные. А мужчины-уголовники — это преимущественно люди без профессии и трудовых навыков. Поэтому и без всякой дисциплины. Работать они согласны лишь на «выгодных» местах или единолично. В бригаде они придерживались «туфты» — видимости работы. Начальство устраивало даже такой

«выход на работу». Ведь приходилось идти на любые уступки и сделки, чтобы шпана не грабила, не затевала страшных драк, не проигрывала в карты кого угодно, будь то хоть сам начальник лагеря.

Презрение к труду, к честно трудящимся лагерникам только постепенно переставало быть основным законом их поведения. Переходя от карцерных 300 граммов хлеба на недоработанные 400 граммов или уже заработанный паек, урки, как бы извиняясь, говорили: «Голод не тетка».

Моя бригада перешла на рубку капусты. Трудно — кочаны нужно с размаху сбивать топорами и осторожно, не повредив, бросать на повозки. Земля уже застыла. Но Инессина капуста устойчива, не боится холода. Тайком от конвоя все мы с удовольствием грызли кочаны. «Иначе цингой заболеешь», — говорили мы, как когда-то говорила Жаннет.

Обед возили в поле. Миски — тоже. Походные деревянные ложки у каждого при себе — за ватным чулком. Часто слышались поговорки, употребляемые, наверное, во всех лагерях: «Суп да каша — пища наша», «Тресочки не поешь — не поработаешь». Суп был без соли, мучной, и плавала в нем картофельная шелуха. Каша — скользкая, без всякого вкуса. Соленая треска — вонючая, нередко тухлая. Масло — льняное или конопляное — по одному наперстку на миску. Наперсток прикреплен на длинной проволоке, и урка-повар ухитрялся набирать его полным, а выливать не до дна. Те, кто давал выше 120 процентов нормы, получали премблюда — постную запеканку из серой крупы-сечки, твердую, как резина.

Хлеб и талоны на питание в столовой отпускал по рапортичкам хлебобрез. Столовая находилась в церкви. Со стен, еле заметно, выглядывали из-под облезлой побелки печальные лики святых. Купол не виден, так как «на верхотуре» построили помещение для нескольких мужских бригад. От алтаря осталось только возвышение. Единственный уцелевший колокол унесли на службу в пожарку.

Когда я в первый раз зашла к Инессе в лабораторию, она что-то высчитывала. На столе — много папок, тетрадей, весы и пара истоптанных детских сандаликов. Инесса задумалась; там, в последней ссылке, когда родился малыш, муж сказал: «Видно, тяжесть воспитания всецело ляжет на тебя». Так нет — пришлось возложить на сестру.

— Но ты, Инесса...

— Что я? Я голый человек на голой земле.

Голос ее звучал гордо и горько.

Уже был октябрь. Темный, студеный. На поле остался только турнепс — кормовая брюква, отвратительная на вкус. От нее всегда тошнило.

Теперь мы уже стали получать выходные дни.

В один такой день я лежала на нарах. Злая. Мне хотелось побыть одной, никого не видеть и чтоб никто не видел меня. Открылась дверь, и вошла молодая женщина в хорошем зимнем пальто, по самые глаза закутанная в меховой воротник и вязаный платок. «Вот-вот родит», — подумала я равнодушно.

За ней вошла другая. Поставила большой тяжелый чемодан — такого здесь нет ни у кого — и сказала:

— Ну, довезла вас благополучно, Римма. Всего вам хорошего. И не скучайте.

Она обняла беременную и сразу вышла. Кто-то буркнул:

— Обратно 58-я!

А Римма испуганно смотрела вокруг. Да и я вдруг испугалась, ведь тут майданщицы в два счета ее обокрадут!

Я медленно подошла и шепнула:

— Здесь вам нельзя оставаться. Отдайте чемодан пока дневальной.

Она уловила мой нерусский акцент и спросила:

— Вы немка?

Я засмеялась:

— Не очень. Но язык знаю.

В коридоре я ей по-немецки объяснила, что это опасная комната, нужно немедленно проситься в другую. Ну, например, где живут специалисты или медики.

— Так я не на работу, а родить приехала, — возразила Римма.

— Вы в бухгалтерии что-нибудь смыслите?

— Да, конечно.

— Так вот, скажите им, что до родов поработаете в конторе, и все наладится. А коменданту не попадайтесь на глаза. Не терпит наш унтер «58-ю»!

Через час Римма перешла в «приличную публику». Через несколько дней туда перевели и меня. Случайно или по ходатайству кого-то — я так и не узнала.

В ряду нар, под окнами крайней, жила хозяйка Ириша, перешедшая сюда за день раньше меня. Рядом с ней — бывшая балерина Зоя. Затем Римма и я. Татьяна и Леля — журналистка... Вся «улица» — 58-я. Последняя — Инесса.

Весь ряд напротив — одни уркачки. По ночам многие из них исчезали.

Выходя из столовой после ужина, я издали замечала Андреевича, шедшего навстречу. Есть человек, который тебя ждет! Дорогой человек! Он был в курсе всех моих дел. Слушал, советовал, да так

внимательно-сосредоточенно, будто важнее ничего не могло быть. Как-то он сказал: «Есть люди, которые спасают себя, а есть такие, которые спасают других. Но именно это их спасает».

У себя в конурке он рассказывал о событиях в мире. Ему было многое известно – так и я узнала о трагической судьбе Чехословакии, Польши, Франции, Австрии, о финской войне, о пакте с фашистской Германией, о тучах, нависших над всей землей.

Дружба с Риммой завязалась мгновенно. Она превосходно говорила по-немецки, любила театр, музыку, книги. Все это мне нравилось, нравились ее чудесные карие глаза и темно-медного оттенка волосы, ее смех и эмоциональность. Андреевичу Римма тоже очень понравилась. Она регулярно получала из Москвы посылки и письма от своих сестер и матери. Посылки ее сестрам приходилось таскать далеко – куда-то за город. Москва не принимала посылок по адресу: п/я № такой-то.

Об этих посылках из далекой столицы, о нежности писем трудно рассказать. Ясно было одно: им так же важно заботиться о Римме, как ей чувствовать их заботу. Сестрички и нас всех согрели и нам помогли – посылали понемногу махорку, лук, чеснок.

Ноябрь. Праздники. Для начальства и уголовников, но не для нас. Мы – враги народа. Они – нет.

7 Ноября урки гуляют по зоне свободно, а нас держат под замком. В этот день нас даже в столовую ведут под конвоем.

Неизвестно, кто именно начал, но вдруг из одного барака раздался хор. Пели «Варшавянку». Мелодия звучала серьезно и торжественно, хоть и негромко. И тотчас запели все бараки. По лагерю неслись народные песни, революционные песни... Пели вместе и урки, и «58-я».

Впервые возник какой-то контакт с уголовниками; они все-таки стали нас уважать! Но из-за этого несколько пошатнулся престиж начальников. Весь день никто из них не появлялся в зоне. Как будто они ничего не заметили.

На другой день перед разводом я увидела Менделя, маленького Менделя с длинной пилой. «Наверное, он самый непригодный в бригаде», – грустно подумала я. А Мендель, радостно улыбаясь, показал на инструмент: смотри, мол, с хозбригадой иду дрова заготавливать для всех.

Вечером мы сидели рядом с ним в столовой и, перебивая друг друга, говорили, говорили... Многое было и так известно – Андреевич передавал, – а все-таки... Затем Мендель галантно проводил меня

домой. А сам спешил. Его бригаде сегодня мыться-бриться. Такое событие никак нельзя пропускать.

Римма больше не ходит в контору. На днях уйдет в родилку. Хорошие были тогда часы перед сном. Все женщины из нашей компании, лежа на нарах, задавали друг другу вопросы: «Ну-ка, угадай, что я напеваю?» Угадать легко. Самое знакомое, самое популярное. Зоя всегда фальшивила. Но это ничего.

Как-то, возвратившись, я не застала Риммы, а только записку от нее: «Не волнуйся, сестрица, все будет хорошо». Тем не менее я страшно волновалась, к тому же в родилку никого не пускали. Волновались все по нашей «улице». Особенно Леля, у которой в яслях была дочка, и австрийка Эмми, мать ползунка Эдика, Инесса, Татьяна и тетя Ириша. Но все меня успокаивали: «Там хорошо, чисто. Прелесть. В яслях тоже. Ведь дети ни при чем. Они считаются вольными». Ты поверила, что хорошо... Но на работе, выдалбливая замерзший турнепс из замерзшей почвы, без конца думала: «Ой, хоть бы сегодня, хоть бы до вечера...» А тут еще пришла записка от Лени, отца ожидаемого ребенка...

19 ноября, как бы отметив этот день, в который ровно два года тому назад увезли мужа, — рождение человека!

На шестой день мы отнесли Инночку в ясли. Я была не менее горда, чем сама мама Римма.

— Быть ей красавицей, — сказал Андреевич, увидев девочку месяц спустя в первый раз...

Совсем маленьких детишек матерям разрешено самим выносить на воздух — ненадолго, перед обеденной кормежкой.

Бригадир Рая стала очень строгой. В сущности, она не злая. Злая Зинка-огородиха. Она ехидно смеется над Раей: «Вовке всего годика два, Славке года нет, а папки все улетучились. Вот и дает нам жару красotka!»

Положение Раи между начальством и бригадой — нелегкое. Это Зине и в голову не приходило, а между тем: брак, недоработка, приписки, споры... нет, нелегко.

Работали мы в ту пору в большом сарае. Лепили торфонавозные горшки под рассаду на ручных убогих станках. Немолодой уркач по кличке Рябой топтал эту вонючую массу. А подавал ее Ракель. Как все южане, он больше всего боялся холода. Рая вечно подгоняла Ракеля, на что он невозмутимо отвечал: «Чай попил — какой работа? А не пил — какой работа?!» Все смеялись, а он иногда плакал.

Инициатором этого производства была Инесса. Она нас обучала, объясняла: торф-навоз дает растению питание и тепло. Без этих

горшков на Севере не обойтись ни в теплицах, ни в парниках. Дело, в сущности, очень простое, но телогрейки мешали движениям. Холодная масса невыносимо жгла руки. Готовый горшок выскакивал и ломался при малейшей неосторожности. Фу ты! Но мы все же приладили и здорово увеличили выпуск продукции. Сразу же увеличились нормы в равной степени. Тогда мы, не сговариваясь, остановились на 125 процентах новой нормы и – ни с места. Нормировщик негодовал. А Инесса и Рыбин – нет. Они были одинаково заинтересованы как в том, чтобы получить столько-то миллионов горшков, так и в том, чтобы мы заработали себе наивысший паек. «Наше дело – наши люди» – так судили они.

По ночам я думала, думала о своих там, на родине, о муже, о котором тщетно всех расспрашивала, о тех, кто страдал моими страданиями. Я заметила, что Римму, счастливую мать, тоже куда-то уносят мысли... наверное, к первому мужу. Погиб в пути, в самом начале... Он было очень гордился, что привез свои знания режиссера в Страну Советов... С Ленией Римма встретилась после. «С ним надежно, – шептала она. – Он такой славный и будто всегда рядом». Я смутно осознала: жизнь все-таки продолжается. Но хорошо это или плохо – нет, я не могла разобраться.

– Эй, братцы, пойдем сегодня вечером на репетицию самодеятельности, – предложила как-то Лёля.

Неплохо и, во всяком случае, лучше, чем смотреть в окно на пургу. Снег, казалось, не падает, а будто рвется снизу вверх.

Клубом служит столовая, сценой – алтарь. В зале несколько парочек, тесно обнявшихся. Попали мы раз на генеральную. Эстрадная программа. Конферансье нет. Определенного порядка номеров тоже нет. Главные звезды: дядя Миша – цыган, Шурка-Завялиха и Саша Говяжий, еще Гришка-Баян...

Завялиха пела неумело, зато громко и самоуверенно: «А кто его знает, о ком он мечтает» («Не иначе как о ней», – шепнула мне Татьяна). Худая, невысокая, лицо необычно длинное, особенно подбородок и шея. Зубы – тоже. Ей-богу, кажется, что их 39 и все они устремлены вперед. Низкий лоб покрыт челкой. На певиче – малиновая узкая кофта и уже совсем узкая, коротенькая сатиновая юбка. Черная. Надо отметить еще костлявые голые руки и кривые ноги.

Дядя Миша, смуглый, с черной бородкой, в косоворотке навывпуск под бархатной жилеткой, танцует «цыганочку». Отлично! Ему самому так нравится, что он никак не может кончить, все повторяет и повторяет. Наконец его гонит Саша Говяжий. Тот пляшет лезгинку. Лохматая кубанка едва держится на огромных оттопыренных ушах. Лицо

багровое. Рукава и сапоги так и летают. А Гришка-Баян, весь в поту, всем аккомпанирует. Дальнейших номеров посмотреть не удалось. Отбой. За нами выходят парочки. Они к нам обращаются: «Видели — молодцы какие! А дядя Миша-то... А одна Шурка чего стоит! Блеск!»

Мы конфузливо молчим. Эти наивные отклики доказали, что публика принимает пыл и старание своих артистов за умение. Но, как это ни карикатурно, все же этот «концерт» не надругательство над искусством.

Андреевичу кто-то за зоной сообщил авторитетно: «Наука собирается повернуть течение Гольфстрим».

— Хорошо, — ответил мой друг. — Тогда это будет Гольфстрим имени Сталина.

На Инессины приготовления к далекой весне, на ее теплицы и лаборатории презрительно поглядывает комендант. «Не в университет приехали, а срок отбывать», — злобно фыркает он. Так же судили и в отделе учета рабсилы. Там не ахти как интересовались производством, а больше — распределением рабсилы по сети лагерей, трудоспособностью «на предмет отправки на строительство». А есть еще, разумеется, и отдел наблюдения за з/к, особенно з/к по 58-й. Комендант, типичный унтер Пришибеев, работал с начальницей отдела учета Артюхиной рука об руку. Наблюдая из окна своей квартиры — во втором этаже домика за зоной, а может быть, с чердака, — он видел всю территорию как на ладони. Ничто не оставалось незамеченным, обо всем докладывалось мадам Артюхиной.

Начальник колонии понимал, что такое рвение скорее мешает, чем помогает работе, но остановить «бдительность» коменданта не мог, не имел права. Такая уж система в лагере. Каждый отдел тянет свое. Причины, даже помимо системы, — всевозможные: кто спасает шкуру, кто хочет выслужиться; сталкиваются противоположные личные интересы.

Все это сложно и сильно отражается на лагнаселении, никогда не знающем, откуда ветер дует.

Инесса не разрешала никому из вольнонаемных брать овощи с поля, а только со склада, то есть за деньги и под расписку. Комендант с такой «дерзостью» еще не встречался.

— Никудышный ты дипломат, — злилась Татьяна еще осенью. — Ты ему промышлять не даешь, не забудет он, порадует тебя как-нибудь, пакостник.

К Новому году привезли несколько елок. Синих. Для яслей и детского сада. Репрессий никаких не было. Но и настроения праздничного

не было. На переходе от одного года к другому всегда невольно вспоминаешь, что было тогда-то... и там-то... думаешь о том, что будет. А я думала о том, что могло бы быть... и не может.

В первых числах января — генеральная проверка. Весь состав эзков выводят за зону. Выстраивают в большой круг. Посредине, за столом сидят представители органов НКВД. Они по алфавиту читают фамилии заключенных. Вызванный должен назвать свое имя-отчество, затем — год, место рождения, бывшую профессию, национальность и, разумеется, статью...

58-я, 58-я, 58-я... этих вы всех знаете. Но Рая и Огородиха — за убийство!

Кажется, даже равнодушный, каменный «усиленный» конвой вздрогнул.

Горят костры. При громких вопросах и ответах — гнетущая тишина. Когда же конец? Но с китайцами — а их много — неладно. Никто из них толком ничего не понимает и поэтому не может ответить. Да и имена у них у всех — кто их может различить! Вот проверяют снова: оставшихся в зоне, в больнице. Рышут по чердакам, по уборным, еще где-то, потому что одного китайца не хватает. И нас проверяют снова. Теперь один китаец лишний.

— Сдохнуть можно! — злится Татьяна. У нее кончились махорка и терпение.

Как разрешили «китайский вопрос» — нам неизвестно, а «По четыре!» скомандовали, когда мы от усталости и холода чуть не падали.

— При генпроверках мы — люди, живые цифры, а при выборах нас нет, — не то зло, не то насмешливо замечает Мендель.

Еще прошлогодняя генпроверка выявила: здесь много неграмотных. Особенно среди женщин, даже молодых. Сразу кто-то из 58-й (может, по давней памяти) организовал группу ликбеза. С разрешения начальства достали несколько книг для первого класса. Но взрослым грамота дается куда трудней, чем школьникам. А уж при нашем образе жизни... Но результаты доброго начинания все же есть. Даже неожиданные.

Вот года через полтора после знакомства с буквой «А» для одной совсем молоденькой девушки из глухой северной деревни наступил день освобождения. Она «отбухала» три года за мелкое мошенничество. И вот пишет большими нескладными буквами:

«Гражданин начальство.

Меня здесь научили ходить в баню и в кино и еще научили читать и писать. Я и пишу Вам. Никуда я отсюда не пойду. Я честно работала дояркой, сами знаете, и не имеете права выгнать».

Начальник был немало озабочен, но какие крутые меры он ни принимал — доярочку выставить не удалось. Она была оставлена вольнонаемной при скотном дворе.

«Холодная-голодная!» — всегда кричала я, возвращаясь к своим. Татьянку очень забавляло неверное произношение буквы «л», и она дразнила меня: «Холёдная-голёдная».

Как мало мы знали о Татьяне! Только то, что на окраине Москвы у нее осталась больная мать и где-то в других лагерях живет или не живет ее друг. У него тоже очень слабое зрение. «Мой сын», — говорила Татьяна. Он был на много лет моложе ее.

Цветы плывут и пропадают,
Их контур нежный
Порою пальцы угадают.
Ну что же! Сказать, что жизнь обманула?
Чиркнул сверчок, прополз жучок.
Сосна столетняя вздохнула,
И вечер близится прохладой,
Усталость спутывает ноги,
Тайга надвинулась громадой,
Мне не искать дороги.

Стихи Татьяны... Может, это не совсем стихи, но это — совсем Татьяна.

Мы узнали: без усталости идет стройка шоссе, мостов, железной дороги, нефтяных и угольных шахт. Мы ничего этого не видели. Жили в глуши, где когда-то кому-то вздумалось воздвигнуть монастырь.

Отношение к «58-й» явно изменилось. Сверху. Многие уже имели пропуск для хождения за зону, бесконвойно.

Неужели оценили геройский наш труд или хотя бы поняли, что без нас, без интеллигенции, нельзя и, наконец, что за нами мало-помалу большинство уголовников стало работать по-честному. Последнее, все же неожиданное, обстоятельство было чрезвычайно важным для лагерей. А для нас — исключительным достижением. Но мы ничего для этого не сделали. Мы просто жили как жили, поэтому даже и не заметили, что все же сделали.

Начальник вызвал старшего экономиста Фринберга и приказал, нет, не приказал, а *предложил* ему создать агитбригаду.

Культурную, настоящую, без дураков... «С отбоем можете не считаться, если дело этого потребует. В общем, пойду навстречу», — кончил он свою речь.

Мы не против. Но как... с чего начинать, если есть два-три артиста, музыканта, но нет нужной литературы, инструментов, художника, костюмов, грима?

Стала заседать комиссия по театральным делам. В ответ на письма многие стали получать из дому бандероли: книги, сборники. Фринберг решил поставить «Предложение» Чехова. Никогда раньше он не был режиссером, но у него явно было прирожденное «чувство театра» и вкус. Я предложила свои услуги в качестве костюмерши. Это было не пустое дело. Начальник обещал выделить денег.

Я сидела в столовой, далеко от тех, кто на сцене за столом чин чин переписывали роли, и думала: «...Сколько вокруг людей, ежедневных событий... Так почему так пусто, почему так ноет сердце? Куда деваться с этим вечным “Почему?”».

У Андреевича лежит газета.

– «Правда», – громко читает он.

Смотреть друг на друга невозможно.

А в лаборатории появилось радио. Но оно такое хрипкое и визгливое, что больше раздражает, чем радует. Вскоре оно и совсем вышло из строя.

– Завтра не выходной, а комиссовка, – пронеслось по всему лагерю... Ах, да, это определяют категории рабсилы.

С одной стороны стола сидят врачи, передавая один другому формуляры, с другой к ним подходит шеренга обнаженных до пояса заключенных. Утром – мужчины, после перерыва – женщины. Новый главврач тщательно осматривает и выслушивает.

– Ничего, на трассе люди нужны до зарезу, а здесь они зимой все околачиваются без делов, – вмешивается «унтер Пришибеев». Он явно поддерживает «выполнение плана» отдела учета, а заодно и спецотдела.

Отстаивать хотя бы и очень нужных людей было нелегко ни врачам, ни руководителям производства.

Главврач вызвал часть комиссованных на пересмотр. В кабинете он один и медсестра. Про меня он диктует: «Снять немедленно с общих работ». И говорит:

– Пойдете в детсад, в группу поправляющихся после болезни детей.

Я испугалась.

– Что вы, доктор, я не умею делать уколы, делать перевязки, не могу даже видеть кровь и гной...

Но главврач спокойно объясняет:

– Не сестрой, а воспитательницей будете. Детей любить – это не так уж трудно, а?

Скверно было в холодном сарае с вонючим, холодным торфонавозом. А уйти страшно. В лагере всегда боишься перемен.

Детдом стоит посреди зоны. Не огороженный. Недалеко от больницы Маревской.

Детей в моей группе около двадцати. От двух до четырех лет.

Говорят мало и плохо. Видимо, здесь не успевают следить за их умственным развитием. Играют вяло и быстро устают слушать, даже самые короткие стишки.

Есть три Верочки. У одной мама русская, папа — кореец. Она мне кажется хрупким цветком, вот-вот упадет со стебелька. Когда Верочка в ночной тишине топ-топ топает босиком за дверь к своему горшку, тебе хочется кричать, именно — криком кричать.

В эти часы детская комната мягко освещена бледной лампочкой, кажется доброй и уютной, а ты сама уже не воспитательница, а андерсеновский Оле-Лукойе...

Изредка приходят матери, те немногие, что оставлены при сельхозе. Дети их узнают, но особого любопытства и радости не выказывают. А ребята, к которым никто не может прийти, реагируют по-разному: многие смотрят на женщин пристально, даже жадно. Иные вдруг начинают капризничать, чтобы тети и на них обратили внимание. Маленький Петя как-то гордо заявил: «У меня мама на Севере работает лагерницей!» А Ниночка-кривоножка шепчет ему: «Моя мама красивше всех и вчера за мной приедет». Дети не понимали разницы между «вчера» и «завтра» и не могли знать, что мама придет не завтра, а только после освобождения.

Поскольку я теперь — медперсонал, мне разрешено ходить в ясли. Инночка ко мне уже привыкла. Любит, когда с ней занимаешься гимнастикой. Особенно — качаться в воздухе, головкой вниз. За эту акробатику я получила строгий выговор от детврача Митрофановой. Недавно одна мать — рыжая Анька — плеснула докторше в лицо миску с супом только потому, что невыносимо видеть около малышей эту бездушную «казенную» особу. Детей она по-своему любит. А мамок терпеть не может, особенно Римму. За что? За то, что Римма не раз указывала на неполадки в детском саду и пользовалась большим авторитетом среди матерей. Еще докторша не выносила Клару, бестолковую, пришибленную... Клару где-то около смолокурни, в глухой тайге, изнасиловал блатарь. Она так одеревенела от ужаса, что никому не призналась. Беременность заметила слишком поздно... аборт запрещены... сама беспомощна... Когда родилась девочка, Клара первые дни проливали над ребенком потоки слез. А потом полюбила крохотное существо. «Чокнутая», — говорили мамки-урки, посмеиваясь над ней.

Мамки-политички старались подбадривать Клару. А ей надо было просто дать возможность постепенно, потихоньку прийти в себя.

Узнав о Кларе, я невольно схватилась за шрам над грудью, оставшийся от удара тупой финкой после той истории с первым моим прожатым.

Матерей, кончивших кормить, Митрофанова старалась отправлять за пределы сельхоза. Тут она легко спелась с вольной заведующей яслями и, уж конечно, с мадам Артюхиной. Этой дружбы боялись даже самые дерзкие мамки.

«Домой хочу, домой!» — думала я упрямо, дежуря ночью. Но нет ведь у меня никакого «дома». Нигде.

Кто-то застонал. Очень жалобно. Я вскочила: это Верочка-корянка. Она вся мокрая, горячая. На худеньком тельце выступают темно-фиолетовые круглые пятна. Она маленькая, ничего сказать не может. А я, я что могу? На счастье, поблизости оказалась ночная медсестра. Она сделала укол, дала капли, обещала вызвать кого-нибудь из врачей.

Верочка уже не смуглая — или это из-за ужасных темных пятен? Но где же врачи? Я открываю окно и кричу вниз:

— Гражданин боец, позовите доктора Митрофанову. Тут у меня девочка очень больна!

— Ну и лечи, коль поставлена, — отвечает он и удаляется, окликнув своих собак.

После нескончаемо тягостных минут пришли... Главврач долго осматривал девочку, затем растерянно сказал:

— Это неизвестная нам странная болезнь. Непонятно. Может, в Китае, Японии, Корее ее знают. Подождем до утра.

— Странно, непонятно! — вторят остальные.

Делают еще раз укол. Запахло камфарой.

Я снова одна с детьми. Ношу Верочку на руках, хожу, хожу.. Она как будто уже не такая горячая и смотрит на меня доверчиво своими раскосыми глазенками.

...Когда погасла жизнь в этом маленьком существе — я не заметила. Казалось — спит! Я даже немного обрадовалась. Но вдруг поняла и без дум, без слез завернула девочку в простынку, отодвинула кровать в угол за ширму и стала ждать прихода утренней смены.

...Вниз по лестнице, по зоне, вверх по лестнице, по коридору, в дверь... В это время никого уже нет. Одна тетя Ириша. Она еще ничего не знает. Но когда я легла, не раздеваясь, почему-то не на свои, а на Татьянины нары, она подала кружку кипятка, присела и тихо сказала:

— Все равно жизнь наша пропащая!

Андреевич не отговаривал, когда я твердо сказала:

— Не пойду больше туда, ни за что.

Но главврач Сангородка обрушился не только на меня, но и на Андреевича:

— Вы в своем уме? Это значит — снова общие работы, в этот треклятый холод... И учтите: кто при санчасти, тот не так легко попадает на этап.

Однако ни его благожелательность, ни моя благодарность не помогли. Утром я вышла на развод. Врач был прав: треклятый холод и треклятые этапы.

Чтобы отправка отмеченных проходила более или менее гладко, их выводили на зону и там уже распределяли. Наглые лучи прожекторов отвели в сторону, в закоченевшую тайгу.

Идет «58-я»... Прощается. «Там тоже свои» — эти три слова — все что мы можем дать товарищам в дорогу.

Идет «всякая» статья. В нарочито громких выкриках: «Прогуляемся, на строечках милашечки нас ждут!» — нет веселья.

А оставшиеся здесь «милашечки» дорвались до ворот и, проклиная все на свете, не отходят, пока тайга не проглотила последних. Комендант победоносно закрывает ворота. Начальник ВОХРа* зевает во весь рот.

— Кто забудет, тот сам подлец, — сказал кто-то.

А я спросила Андреевича:

— Неужели нельзя создать лагерникам какое-то подобие оседлой жизни? Чтобы они привыкли к месту, к работе...

— Нет, — ответил друг, — это было бы слишком человечно.

На новой работе мне не везет. Никак не могу ухитриться вязать маты быстро, крепко и аккуратно.

Работать надо стоя. Ноги и руки немеют. Солома ломается. До обеденного перерыва — долго, до вечернего — вечность.

Бригадир на сей раз не убийца, а гулящая. Лицо милое, а сама — грубая, колкая. За брак ругает несусветно. Кого надо и кого не надо. А мне говорит:

— Не гонися, на шо оно тебе...

Будто ни норма, ни качество, ни ругань ко мне не относятся.

Перекур. Все садятся на чурки, прислонившись усталыми спинами к дощатым стенам амбара, и дружно затягиваются махоркой.

— А ведь не просили они начальничка...

— А кто — они?

— Ну, пятьдесят восьмая.

* ВОХР — вооруженная охрана.

– А чего ж просить-то?

– Так, чтоб в этакий холодище на этап не гнали, да еще не с нашими.

– Не просили, – медленно и удивленно отзываются многие.

Я слышала подобные разговоры и в столовой:

– Не верится, что это уж такие контрики. Зря их гонят к... матери.

– Не просили... – удивляются девки.

– Не просили... – говорят мужчины.

Что-то в этом отношении к нашим было важное, даже закономерное. Я засмеялась.

– Пошла ты на... – загавкала бригадирша.

– Нет, не пойду...

Девки очень развеселились. С тех пор никто, нигде меня никуда не посылал...

На другой день бригадир посоветовала мне:

– Перешла бы ты на другую работенку, где полегче.

– Проситься?

Она посмотрела на меня, потом, не сразу, кивнула. Одобрительно. Почти целый час работала над моей рамой. Затем сказала:

– Да я вовсе не хочу, чтобы ты ушла из бригады. Да уж скоро кончится эта гадость, перейдем на парники или еще куда.

А бригадницы продолжали свой нескончаемый разговор:

– А он мне сказал... а я ему сказала...

По дороге домой я думала: «Почему у них так все перемешано – хорошее и плохое? Почему?» Но тут я увидела на телеграфном проводе воробья. Он висел с распластанными крылышками, головой вниз, прилипший замерзшими лапками к проводу...

Репетиции «Предложения» шли так весело, будто репетиция – самоцель. Декорации делать некому. Зато часть костюмов уже готова. Остальные обещали достать сам начальник и его заместитель. Они были уверены, что у нас «получится» и что этой самодеятельностью можно будет похвастаться там, где она разрешена приказом. В спектакле очень хотел участвовать секретарь санчасти (бывший заместитель наркома) Лидин. Но двигался он по маленькой сцене как медведь и был до того безнадежен, что в скором времени сам отказался от артистической карьеры. На репетиции все же ходил и искренне смеялся, глядя на сцену. Обычно он сидел рядом со мной.

Однажды подсел не он, а молодой, красивый здоровяк. Я знала, что это – завгуж, то есть заведующий транспортом. Он как-то требовательно спросил меня:

– Вы образованная, это правда?

— Ну, как вам сказать... как все наши.

Он нахмурился.

— Но немецкий язык вы ведь знаете, и чешский?

— Да, наверное.

С тех пор он стал задавать мне множество вопросов, и я старалась отвечать ему вразумительно. Был он почти неграмотный, но очень быстро соображал. Кажется, не столько хотелось ему что-нибудь знать, сколько удивляло, что есть на свете так много всяких наук. Но однажды он попал в самую мою слабую точку — спросил что-то по математике или по физике...

— Не знаю, Вася, тут я профан.

— Чего? — спросил он.

— Ну, ничего не смыслю в математике. Никогда она мне не нравилась.

— Еще чего! Раз образованная — должна знать.

Я почувствовала себя очень виноватой и посоветовала ему обратиться с подобными вопросами к Лидину. Тут он окончательно разозлился.

— Черта с два! Не хочу. И вообще нечего тебе с ним дружить! Паршивец он — кругом.

У Васи была девушка. Славная. Работала машинисткой в санчасти. Там ее все уважали. Вася гордился:

— Анюта не какая-то там блатная. Порядочная. За пустячок попала, случайно.

Было ясно, что он ревнует ее ко всем, особенно к ее начальнику Лидину.

— Обмирает об ней! — восхищенно и немного завистливо говорили девки об отношении Васи к Анюте.

Биография Васи короткая: сел в 16 лет за соучастие в темном деле и сидит уже 16 лет. Сперва «дали» три года. Остальные он заработал в лагерях: за отказы, хулиганство, драки и т. д.

Анюту увезли в центральную лагбольницу. Гнойный аппендицит. Операции она не вынесла. Вася взбунтовался, помчался туда, избил хирурга и всех, кто попался под руку, кричал, угрожал... Получил за это добавочных пять лет, но был оставлен при сельхозе. Даже пропуск «на хождение» у него не отняли.

— Это не баба моя была, я ее любил, — сказал он горько Римме и мне.

Римма его очень жалела. И мне он стал каким-то близким. В нем не было ни фальши, ни подхалимства.

Наша бригада очистила парники от снега, уложила туда, в самый низ, сосновые ветки, затем землю и золу, собранную за зиму Татьян-

кой. Холод, особенно по утрам, еще нестерпимый, и ветер не прекращается, но это уже не считается зимой.

В конце апреля Зою и меня сделали культработниками, на несколько дней: писать транспаранты, лозунги к 1 Мая. Ну, например: «Честным трудом вернемся досрочно в семью советских народов».

Теперь уже ничего не удивляет. Ни то, что нам, «несоветским», поручают писать лозунги, ни то, что в «досрочно» никто не верит, ни то, что на сей раз праздник будет для всех, невзирая на статьи.

Я, как всегда, обо всем доложила Андреевичу. Он улыбнулся и загадочно бросил:

– Правильно, некоторое совпадение интересов. – И добавил: – Временное.

Уже была кое-как намалевана часть лозунгов, когда в зал, то есть столовую, заявился, слегка прихрамывая, очень худой китаец в изношенной одежде. Рассматривая помещение, он повернулся, и тогда стало видно, что у него довольно сильно искривлена спина.

– Привет, дамы, – сказал он, – меня послали вам на помощь.

– Нашли кого, – фыркнула Зоя на весьма неважном французском.

– Не беспокойтесь, я – художник, – на безукоризненном французском языке ответил незнакомец.

Я была готова провалиться сквозь землю. А Зоя протянула ему руку и великосветским тоном сказала по-русски:

– Очень приятно. Будем знакомы: Зоя Аркадьевна. Я – балерина, хореограф то есть...

– Разрешите приступить к работе, – прервал ее художник резко, но вежливо.

Он взял щит, умело натянул красный ситец и, обращаясь ко мне, сказал:

– Зовите меня Лин*.

Зоя работала с топографом, далеко за зоной.

– Подальше, чтоб меньше мешала и меньше попадалась мне на глаза, – признался Рыбин Инессе.

В канун праздника обещали подготовить концерт.

– Чтоб публика довольная была, – решила тетя Ириша.

Кто обещал? Кто подготовит? Чего проще: вызывают зэка Фринберга:

– Подобрать программу, подходящую для Великого праздника международного пролетариата!

* Лин – Цю Дзинь Шань, после лагеря и ссылки в Коми АССР вернулся в Китай, где работал редактором одного из журналов. В годы культурной революции подвергался репрессиям. – Прим. автора.

Собрал. Наскоро. Артист столичного театра вел конференс и читал торжественные (не очень складные) стихи. Лёля пела. Фельдшер Левка играл на скрипке. Беда была с Зоей. Сначала она не хотела выступать.

— Это — бывший алтарь, — упрямылась она, — не могу я там танцевать!

— А ты о людях думай, как Христос, а не о пустяках, — возражала ей тетя Ириша.

Начальник уговорил «знаменитость».

— Хорошо, балетное танго, — согласилась она наконец. — С Агаповым. Я его научу.

Учить его, собственно, было незачем. Он только и любил, что танцевать. Странный такой парень, учился раньше не то в эстрадном, не то в цирковом училище. Рядом с Зоей он выглядел невысоким и узкоплечим.

Выписали для Зои много марли из фонда санчасти. Я выкрасила ее (не помню как) в черный цвет, потом стала шить. Но Зоя была недовольна, все не то: тут убери... тут немного укороти...

По правде сказать, мне понравилась только Лёля. Пела она увлеченно, будто забыла в тот час, что от нее, заключенной, отказался муж.

Ты смотри никому не рассказывай,

Что люблю, что навеки твоя...

И публика действительно была довольна. Она увидела новое, захватывающее, пошатнувшее авторитет прежних героев рампы, которые никогда не обновляли своих программ. Но и они тут как тут. И жилетка дяди Миши, и непревзойденная Шурка, и кубанка, и баян.

На другой вечер — танцы. Лин изящно танцует. Он прожил шесть лет в Льеже и в Париже.

Начальство «с женой» присутствовало на концерте, в отгороженной клетке — ложе. Слева от сцены.

— При следующем выступлении немного прикройте наготу. Это будет полезно для вашей репутации, — сказал полковник Зое.

Кто-то услышал.

— Еще бы, ведь на алтаре танцует... Немного прикрыться не грех, — острили Андреевич и Мендель.

Наступили белые ночи. В третий раз. Снег внезапно исчез. Грязь непроходимая. Нашу бригаду увеличили, и под внимательным наблюдением Инессы и Татьяны мы вынесли рассадку огурцов, помидоров и капусты из парников. Было время — мы ненавидели вонючие горшки, а тепер, когда из них робко выглядывали первые ростки, мы ими

искренне гордились. Какая-то красота, что-то архитектурное было в том, как один к другому, тесно-тесно, мы приставляли граненые горшки. Насколько легче живется, когда работа нравится! Эту истину каждый открывает сам для себя.

Надо было бы это учесть там, «наверху»... Но им-то что за дело...

Часть бригады перебросили на корчевку. Теперь, когда земля «отошла» (хоть и неглубоко), надо выкорчевывать пни, оставшиеся после зимнего лесоповала, чтобы расширить посевную площадь. И так каждый год.

Наконец сыграли «Предложение». Сыграли хорошо.

Многие преступники, особенно рецидивисты, впервые увидели театр. Они приняли все происходящее на сцене «взаправдышно», автор и режиссер для них ровно ничего не значили, зато актеры, действия, диалоги... Доходила даже ирония. Они впервые испытывали воздействие искусства.

О спектакле еще долго говорили. Полковник вынес благодарность. «Свой» театр он поощрял, но хотел единолично властвовать над ним, над его составом. Если помещик времен герценовской «Сороки-воровки» мог продать свою актрису кому захочет, то начальник в любое время мог отправить своих артистов в любое место.

Кстати, Римма однажды попала в список этапников. Из-за сущей ерунды – принесла Инночке в ясли тертую морковку. Морковка, разумеется, была всего лишь предлогом. А причиной – усердие «святой троицы»: детврача, заведующей яслями и Артюхиной. Сварливые склочницы, шантажистки! Бывают же такие, будь они неладны.

Начальник отстоял Римму. А отстоять было куда труднее, чем отправить или уступить «на съедение».

Главврач, неофициально всеми прозванный «Ильюшка», заботился о Лине. Лин был очень слаб и истощен. Главврач установил ему инвалидность – якобы из-за туберкулеза костей, так как искривление позвоночника не могло спасти Лина от тяжелых работ.

Заботились о нем и мы. Я отдавала ему свои талоны, а сама ела с Риммой «мамочный паек». Римма была «богатая», сестрички не переставали помогать ей. Через несколько недель Лин заявил:

– Прошу вас, отдайте талоны кому-нибудь другому. Я уже поправился.

Не очень он поправился, но был гордый. Хорошо, что он никогда не узнал, что эти талоны были «кровные», а не «дополнительные», как мы сумели его убедить.

– Два года в одиночке просидел, – старался Лин объяснить свою внезапную привязанность к нам. Больше всех он уважал Инессу и Татьяну. Он был таким же трудолюбивым.

По профессии Лин — переводчик китайской, французской и русской литературы, а по призванию — я в этом уверена — товарищ. Настоящий.

Художником он был не случайно. Он трогательно любил все красивое, да и работал красиво. Это, может быть, инстинктивная, но мудрая реакция на физический дефект.

Татьяна ежедневно рассказывала, как растет рассада, точно мать о росте своего младенца. Что-то заразительное есть в любви Татьяны и Инессы к садоводству, огородам, полям. Весной они «готовят» осень, осенью — весну.

Работы было много, нередко казалось, что не останется времени для друзей, для себя, для тоски и дум. А иногда наоборот: думалось, что от всех «дел по дружбе», от всех тревог и воспоминаний некогда будет работать.

Уже июнь. Капустные горшки высадили в поле. Предстоит посадка картошки «Имандра». Об одном совещании ВАСХНИЛ, куда съехались представители северных хозяйств, Багров рассказал Инессе: «Почти все, что там было нового, — твое...»

Он протянул ей рукопись.

— Береги, пригодится, если он захочет тебя съесть.

Это был доклад, собственноручно написанный Инессой обо всех ее аграрных делах.

Оказывается, начальник прочитал его на совещании как свой собственный, присвоив все Инессыны достижения.

Но самой Инессы там не знали. Нас это возмущало. А Инесса смеялась: «Мелкие вы душонки!» Ей было важно дело, а не слава. Но всякая неправда, всякая несправедливость ложилась тяжким добавочным грузом на нашу главную обиду.

Позже приехал представитель из Москвы, какой-то эксперт по земледелию. Он кое-что «содрал» у Инессы и даже списал ее агрокалендарь. Пришлось «унтеру Пришибееву» несколько изменить свою установку. Вместо «не на университет приехали, а срок отбывать» он теперь говорил: «...а мантулить» (работать). Это — вслух, а «мерзавцы» прибавлял про себя.

— Захватили Голландию, — передает мне Андреевич. — Во что превратилась карта Европы... жизнь людей!

Корчевка кончилась. Идет очистка отвоеванной земли: рубим пни, сжигаем сучки, ветки, мусор.

В бригаде — только мамки и я. Поэтому я остаюсь в поле, когда этих бесконвойных хозяин-бригадир ведет на обед в зону. Вначале

было трудно разжечь костер. Все сырое. Спичек нет. Есть фитилек — скрученный кусок серой ваты, вырванной из актированной (списанной) одежды, и кремешок. Но теперь я зажигаю уже по восемнадцать костров! Прямо спорт. За час отсутствия мамок я обязана обойти все костры, не дать им потухнуть. Я так свыклась с этим, что вполне справляюсь и даже успеваю посидеть у огня, рисуя что-нибудь топором по пеплу. В тайгу я не смотрю. Все равно там не погулять...

— Поотдохнем давай, — сказал как-то мне бригадир по возвращении с обеда.

Я удивилась. Этот грубиян никогда ни с кем так не разговаривал. С таким же удивлением я заметила, что вся бригада молчит, никто не принимается за работу. Молчание было зловещим. Страшным. Оно что-то скрывало от меня, означало что-то неслыханное. Но что, что еще могло случиться.

Кто-то сел, кто-то отошел, кто-то застонал.

— Знаешь, ну, как бы тебе сказать... — глядя на свои огромные бутсы, очень неумело начал Быков. — Так вот, понимаешь, в зоне горе стряслось, несчастье...

— В больнице, — добавил один голос.

— У докторши...

От костра шел жар, но я застыла.

— Кажись, лучше тебе сейчас сказать... Так вот, эти психи убили шесть человек — медиков своих.

Топор выпал из моих рук. Быков отшвырнул его далеко.

Я хотела спросить... но спрашивать было уже не о чем. Все непорочно. Кончено.

Женщины столпились вокруг меня. На корточках. На коленях. Когда наконец я пришла в себя и вскрикнула:

— Скажите, где же дно, скажите, где дно?

Они громко заплакали. Лине Репкиной стало плохо. У нее свое бездонное горе: глухонемая дочурка.

На работу мы всегда ходили медленно, с работы — бегом. На этот раз с работы еле плелись, будто по незнакомой дороге.

За вахтой, внутри зоны, стояли все мои друзья, но мне это было ни к чему. Мне было все равно.

Татьянка, сидя с Риммой на моих нарах, лаская меня своими неласковыми руками, говорила:

— ...Ты хорошая...

...Какая там хорошая, если это могло случиться, если я не уберегла его, если его больше нет... Нет его? Но этого быть не может! Это бред, просто бред!

Ильюшка размешал снотворное. Лицо его заострилось и было почти неузнаваемо. Рядом стоял Лин.

Инесса не подошла. Будто так легче. В такой день ни от чего не может быть легче, и, думается, так трудно еще не было никогда в жизни! Да, в нашей жизни много раз — «трудно так еще не было».

Что же дальше.

Дальше было неизбежное. Я все узнала. От доктора Маревской. У нее хватило сил и мужества позвать меня в ту процедуру, где два дня тому назад произошла катастрофа. Крайков, поняв наконец, что его приказы не выполняются, что его приказы, гнусные ордера и прочее только злят людей, что руководит людьми здесь кто-то сильнее его, взбесился. Он сам не убивал. На это он подговорил совсем одурманенного Алима. Бывший сотрудник Лубянки зашел в процедурную с приказом в руке. Положив приказ, он велел пошедшему за ним Алиму «рубить врагов». Алим поднял топор и кинулся к Маревской. Та спокойно заявила:

— Я не согласна. Надо созвать суд, Особое совещание.

— Молчать! — заорал Крайков.

Андреевич закрыл собой докторшу и затряс колокольчиком. Влетели старший фельдшер, младший, санитары. Но было уже поздно. Алим рубил. Ожесточенно. Насмерть.

Ночная смена услышала крик и звон колокольчика, но не могла спуститься: Крайков заранее запер дверь на замок. Кто-то выскочил на крышу и стал звать на помощь. В зону больницы ворвались эски, несколько человек, среди них Инесса, — кто перескочил через забор, кто как. Схватили Алима, Он недолго сопротивлялся и отдал топор. Он явно ничего не соображал. ВОХР, пожарники, комендант, мечущиеся больные...

Крайков долго отбивался с дикой силой. Его связали и унесли. Через два часа он скончался. Мания величия убила шесть человек. Замечательных, храбрых наших товарищей, угробила и самого маньяка.

Маревская поднимает перевязанную руку к перевязанному лбу. Ее, может быть, больше всего угнетает один вопрос — как очутился топор в закрытом отделении, кто за это будет отвечать?

Она передает мне маленькую подушку Андреевича в клетчатой наволочке и его такую знакомую серую эмалированную кружку.

— Последние его слова были: «Скажите Елене...» Приходи, тебя Михаил всегда примет...

Я поняла: уже назначили заместителя.

В зоне все было известно, все подробности. Но когда и как вынесли тела — никто не знал.

Говорят, работа помогает отвлекаться от горя. Мне же работа помогала думать о горе, думать без конца. На прополке и окучивании, проходя грядку за грядкой, можно незаметно уходить в свои страдания. Глубоко.

Еще говорят – время лечит все раны. Но время... это где-то впереди, а ты живешь со своими ранами сегодня, сейчас, каждый час...

Затем говорят – самое важное в тяжелые минуты – это друзья! Да! Но не в самые тяжелые минуты, а только после... И все равно: человека другим не заменишь.

Топора я больше не брала в руки. Никогда в жизни....

Июль. Днем в зоне пахнет душистым горошком, ночью – белым табаком. После 12-часовой работы лагерники любят этим волшебством Татьяны.

Уголовники, расположившись вокруг клумб и грядок, поют свои блатные песни:

Воскресенье, мать-старушка...
 Далеко из Колымского края...
 Ты жива еще, моя старушка? –

и еще многое. Блатной фольклор. Некоторые можно узнать – это несколько измененные слова Есенина. Поют своеобразно. Так никто не поет. Не я одна плачу, услышав впервые эти песни.

Вася, увидев мои слезы, утешает как умеет:

– Ведь не муж он тебе был... ну и дожил все-таки до шестидесяти трех лет...

Я с удивлением на него посмотрела и поняла, что, даже не думая об Андреевиче, все время вспоминаю его.

У Ильюшки висит фотография: молодая жена и двое детей. Но она уже не его жена. Сразу после его ареста нашла другого. Знала ли она, кто он, какой он, Ильюшка? Нет. Не умела понять. Иначе не бросила бы, даже из страха.

Как-то, еще зимой, мы втроем мечтали: чего бы кому больше всего хотелось вот сейчас?

– Мне бы по моим волжским берегам погулять, – сказал Андреевич.

– Мне бы симфонический концерт с любимой программой, – сказала я.

– А мне бы мою Анечку, – улыбался Ильюшка.

Кто это Анечка – никто не спросил, но Анечка стала символом.

«Предложение» было показано несколько раз, чтобы все его могли посмотреть. Пора бы приготовить что-то новое. Но как собирать усталых эзков на репетиции? Фринберг нашел выход. Он выбрал

одноактную пьесу «Перед рассветом», несложную для постановки — нужны, собственно, только два актера.

Действие происходит в фашистской Германии: подпольщик, преследуемый гестапо, прячется холодной ночью в загородном кабачке. Заспанная официантка обслуживает его, сушит его промокшее пальто. Он проникается к ней доверием и дает понять, что его ищут. Она очень пугается. Но, когда действительно являются агенты гестапо и сперва пытаются соблазнить ее, обещая большую награду за «голову врага», а потом переходят к мерзким угрозам, она твердо заявляет: «Здесь никого нет и не было». Подпольщика она сумела вовремя спрятать в надежное место.

Так была впервые показана современная пьеса. Медсестра, харбинка Вера, и экспедитор Зубов играли просто и убедительно.

После спектакля лагерники не расходились. Им явно хотелось узнать, что же было дальше, но тут кто-то завопил:

— Сами-то враги народа, а играют честных!

— Заткнись! — кричали ему со всех сторон.

— Вот идиота кусок!

Воцарилась тишина.

Кличка «враги народа» уже не имеет хождения. Урки для себя заменили ее презрительным «интеллигенция», затем уже — добродушным «чудаки»...

Питание — летнее. Суп из травы иван-чай или овощной ботвы. С песком. Вероятно, предполагается, что песок заменяет соль или фосфаты. А если повезет, в «баландесе» можно обнаружить и кусочек конины. Это когда «пускают в расход» захромавшую или заболевшую лошадь.

Начальник нередко производил смотр в своем «темном царстве». Его неизменно сопровождал придворный шут Ванька-Свист и начальник планового отдела зэков Тараканов. Ванька доносил о всяких мелких дрызгах. Тараканов тоже докладывал, но не из убогой хитрости, а по страстному желанию быть незаменимым. Служебное его положение давало ему куда больше возможностей, чем бездельнику Ваньке. В административном аппарате все от него отворачивались. На его замечания отвечали презрительным молчанием. Таких лагерники называли «шкура». А Мендель говорил: «В семье не без урода».

Начальник работ Рыбин — немолодой, неприветливый человек — в обходе никогда не участвовал. Но на нем держалось все хозяйство. Он знал многое в силу опыта, организационных способностей и контакта с лучшими людьми на любом участке. Неудивительно, что он

уважал прораба Марину и высоко ценил Инессу. В ее лаборатории они часами обсуждали всякое предстоящее дело, все «за» и «против».

Инночку я видела редко. Некогда. После трудодня надо стирать, сушить и чинить, а то не в чем будет выйти на следующий день. А тут еще та же неистовая Инесса.

— Элли, ты думаешь вывести своих клопов?

— Клопы общие, дорогая, с ними воюет тетя Ириша.

Но Инесса не сдавалась. Она одна находила время мыть и шпатель свой угол. Тетя Ириша даже немного обижалась. Но не отговаривала — уж очень сама любила чистоту.

Поспела брусника, клюква, грибы — богатство тайги. Мы просились по ягоды. Не пустили. В редкие выходные велят отдыхать, да и охрану не дают для нашего развлечения. Другое дело, если для начальства собирать. Тогда и бригаду-слабосилку можно выделить, и телохранителя. А для нас — слишком роскошно.

Мы приносили и сушили листья дикой малины — чай на зиму.

Многие получали письма и сами писали своим. А другим, особенно иностранцам, писать было некому и ждать нечего. А все же ждали вестей от своих, терзаясь неизвестностью. У меня в Москве осталась подруга — Ида. Из всех одна. Но я ей не писала. И оттого, что ей может повредить связь с «иностранным врагом», и еще: она помогла бы мне обязательно, а ей и самой нелегко.

— Сколько раз я уже писал в консульство! Неужели там до сих пор не смогли выяснить, по какому недоразумению я здесь очутился? — обеспокоенно спросил меня один лесоповальщик. — Я агент фирмы «Батя» и приехал в Россию заинтересовать Наркомвнешторг. Для этого я привез двести пар обуви в подарок. Обувь всем очень понравилась. Об этом я сообщил в Прагу. Но не успел еще ничего обговорить, как был арестован. «Агент, агент...», больше я от следователя ничего не услышал.

В Праге у него мать, жена и дочка.

Доцент-биолог, здешний фармацевт, показал нам журнал. Жена послала. Там напечатана большая его статья. Она туда недавно успела попасть под его фамилией. А та же фамилия — и тоже недавно — в страшном списке 58-й.

Тепличникам за то, что они работали в нестерпимой жаре, давали по 200 граммов молока. Татьяна осторожно приносила этот спецпаек домой и делила со мной. Но из-за ее плохого зрения всегда удавался честный обман: 3/4 — ей, 1/4 — мне. С кипятком.

Лесопильщики были донельзя искусаны комарами и мошкой. Урки отчаянно чесали свои татуированные тела. Татуировка у них обязательна. Считается украшением или просто кастовым знаком. В бане

мне сначала казалось смешным, если на животе какой-нибудь уркачки оказывался вытатуированным лихой моряк, который при каждом ее движении причудливо морщился, сжимался.

Кроме рисунков, были и меланхолические надписи: «Нет в жизни счастья», «Пушай могила миня накажет» или «Маня любит Колю». Колю она давно забыла, а надпись его забыть не сможет. Никак.

Но смешного тут мало. Пора бы покончить с дикостью во всем, везде. Но «пора» — это не дата.

В конце августа уже прохладные ночи. На полном ходу уборка картошки. При любой погоде роется в расквашенной земле. Вечером, усталые, ползаем на коленях. «На трассе нет дождя», — принято говорить в лагерях при всякой погоде, на всяких работах.

Разрешено варить к обеду большой котел картофеля на бригаду. Мы умудрялись сварить два, изредка даже три. Горячая бульба, даже полусырая, куда вкуснее хлеба, всех там «баландесов» и прочих яств. Мы пытались пронести по нескольку картофелин домой — за пазухой. Своим. Но на вахте обыск. Отбирают. Даже наказывают за такое преступление. Но иногда все-таки прошмыгнешь. Хорошо!

Давно уже ээки снова влезли в свои грязные ватники, приносят из-за зоны щепки, чтобы потеплее было в бараке.

Вдруг на очередном разводе ровно в 6.00, при прожекторах и фонарях, внутри зоны загремел туш!

Рядом с вахтой играл духовой оркестрик. Дирижер-бушлатник бойко размахивал веточкой.

Эти музыканты из слабоканды, по-видимому, готовились уже давно, в тепле — пока мы вкалывали «за пределами». Словом, устроили сюрприз.

— Ага, приглашают танцевать на собственных похоронах, — комментирует кто-то.

— А чего? Умирать, так с музыкой! — зло хохочет Мендель.

Урки восторгались по-своему:

— Б...дь буду, — сказала одна, — если не построят на месте ворот триумфальную арку!

Вскоре музыкантов отправили куда-то. Никто не печалился. Разве культурники: ведь из их очередного отчета в политотдел выпал столь важный фактор перевоспитания!

Меня одну работу на другую, мы «обратно» занялись рубкой капусты. Затем пошла шинковка. В самой зоне, на какой-то допотопной машине. Прозвали мы ее «кряксна». Бригадир Надя нам нравится.

Она интересно рассказывает. Много видела, работала несколько лет на пароходе дальнего плавания. До освобождения Наде остался один месяц. Она первая стоит за кряксной, бросает туда кочны, за ней я бросаю морковку, а рыжая Анька – соль. Огородиха отпихивает капустную «лапшу».

Как-то в густые вечерние сумерки Надя вскрикнула, остановила кряксну и пошла, пошатываясь, по направлению к корпусам. На капусте появилась кровь и еще что-то непонятное... подпрыгивающее... Мы кинулись за Надей. Из содранного рукава ее мужского бушлата сочилась кровь. Около больницы Надя упала. В тот же день ей ампутировали правую руку. Почти до плеча. Освобождения Надя больше не ждала. Ждала выздоровления и протеза. Он был доставлен только в конце зимы, но оказался таким длинным и тяжелым, что носить его было невозможно. По настоянию Рыбина полковник оставил Надю в сельхозе. Она стала сушильщицей и даже чинила белье на ручной машинке.

«Тихий героизм», – сказал Мендель Лину. А у Лина всееще болят пятки, сожженные в тюрьме, и не заживает рана в носу – тоже наследие тюремных «ласк».

Семь человек – к чанам. Затрамбовать в эти огромные глубокие деревянные пропасти шинкованную капусту. Для начальства, ну и для детей, мамок, больных. Может быть, кое-что попадет и в наш котел. Чаны находятся довольно далеко от зоны. Спускаясь по лестнице вниз, мы в белых ватных чулках топаем гуськом по кругу. Бригадир для такой маленькой группы не полагается. Боец сверху командует:

– А ну-ка, повеселее, покрепче!

От этого топанья по кругу начинаешь быстро уставать, рябит в глазах. Стоя, съедаем хлеб. Затем одна кричит наверх:

– Гражданин боец, разрешите оправиться...

Боец задумался: отвести одну-двоих к роще – значит, оставить других без стражи. Не годится. Отвести всех – пустым останется рабочее место. Тоже не годится.

– Ничего, до вечера дотерпишь как-нибудь! – мудро решает он.

Но мы не дотерпели. Одна за другой садимся тут же в капусте... Боец равнодушно смотрит на нас. И мы равнодушны. Пустяки, в самом деле.

Летом Инесса достала себе алюминиевый бидон и носила с собой на работу. При входе в зону вахтеры, как полагается, его обследовали. Каждый раз в нем оказывалась масса ползающих гусениц, червей, жуков или пауков. Вахтерам скоро стало тошно рыться в этой нечис-

ти. Тогда Инесса в том же бидоне стала смело проносить в зону лук, сало, мелко нарезанные овощи для больных или очень ослабевших.

Освободилась одна трехлетка. Среди 58-й таких не было. Она попросила:

— Сделай доброе дело, подари свое пальто. Я в долгу не останусь.

Я отдала, хотя и не очень охотно. Наверное, только потому, что это был первый человек, ушедший при мне домой. Все злились. Особенно Инесса.

— До чего глупо! У нее муж есть, мать, а у тебя кто? Единственное платье, и то давно украли.

Да, давно. Теперь, в общем, воровство у нас прекратилось. Не потому, что нечего воровать, а из-за каких-то особых этических побуждений: не обирать тех, с кем свыклись. По тем же этическим понятиям девки недавно избили шофера Костьку: он загулял в то время, когда его Клавка лежала в больнице.

Снова ноябрь. Иннуське исполнился год. Она уже ходит, довольно смеется пухлыми губками.

«Исполнилось» уже три года со дня моего ареста, исчезновения мужа... может, он работает где-нибудь на стройке и даже по специальности... Нет, надо снова и снова запрещать себе думать о том, чего не разгадаешь: ждать, как умеешь, как все ждут. Ждать, пока не повернется колесо истории.

О моих старых друзьях — Жаннет, Ольге Павловне, профессоре, Ядзе, — здешние друзья говорили как о своих, и я уже многое знала: Римма и австриячка Эмми долго шли вместе этапом, потом Римму отправили на кирпичный завод. Лагерный. Там было жутко. Но там она нашла хорошего друга — Гиту, а затем и своего Леню.

Татьяна, когда она была еще совсем молодая (но уже заведовала крупным подмосковным садовым хозяйством), попала под трамвай. Вот почему зрение ее все ухудшалось. Ей бы ежедневно несколько часов лежать в тихом, темном помещении. Да где там...

Этапов за все лето не отправляли. Зато без конца прибывали больные, ослабевшие, особенно много «активированных». Мы смотрели на них с нескрываемым ужасом, сознавая их обреченность, да и свою тоже.

Пригнали как-то массу блатных. Прямехонько из тюрем или из лагерей — тех, кто нигде не уживался. Этот тип преступников нарушал весь сложившийся у нас уклад на работе и в быту. Они всех терроризировали. Под ударом оказалось, так сказать, равновесие сил — социальная структура сельхоза. Так, видно, было во всех лагерях.

— Подумаешь... карцер, шахты, карьер! — орали главари.

Да, каторжная работа не может быть приемом перевоспитания даже для «легких», а уж для таких «тяжелых» — особенно. Ведь они считают наказанием не срок, а именно — труд.

По просьбе Ильюшки я зашла к одному больному.

— Я вас побеспокоил, — знаете, плохо, когда совсем не понимаешь языка, — обратился ко мне по-немецки худущий, желтолицый человек. Затем пристально посмотрел мне в лицо и крикнул: — О, я вас знаю! Вы выступали в городе Б. в Чехословакии, на митинге Единого антифашистского фронта. И я — от имени немецких эмигрантов. Меня зовут Альберт Штром. Не помните?

— Нет, не помню... Но все и так достаточно ясно.

— У меня почки... Смешно. Ведь я — уролог. А здесь хорошо. Здесь даже вкусный квас дают.

Но это был не квас, а лекарство от цинги. Изобретение одного врача-арестанта, отвар из сосновых игл. Он широко применялся во всех лагерях. Кого-то из вольных премировали за это дешевое лекарство.

— У меня свой метод лечить почечных больных сахаром, — сказал Альберт Ильюшке.

Мы стали ежедневно доставать больному немножко сахару. Он быстро поправился, может быть, в самом деле от этого лекарства, и начал работать вместе с Ильюшкой.

Веселый был дядя. Собрал вокальную группу. Сам отлично пел. Особенно любил немецкие песни. Об угрозе мировой войны мы знали очень мало. Михаил, помощник Маревской, — не Андреевич, он молчалив и всецело поглощен медициной, Недостаточное образование не позволяет ему быть врачом, но это звание следовало бы ему дать. Когда он выходил из процедурки, я долго смотрела ему вслед. Мне показалось, что вот-вот войдет мой друг. Нет, не приходит... Нет его больше... Нет.

Я встаю и беру порошок снотворного. Мне ведь все здесь кажется своим.

Римма выпросила для меня у одной вольной портреты Шуберта и Чаплина, вырезанные из журнала. Лин вставил их в тонкие рамочки. Теперь они висят на стене над моими нарами. Франц и Чарли. Гении разных народов, разных веков. Бессмертные для всех народов, всех веков.

...Где-то в эфире сейчас звучит «Неоконченная», где-то смотрят на экране «Огни большого города». Как это важно, люди, как это важно!..

Инесса собрала своему малышу посылку. С волнением смотрела я на альбом сказок, написанных и иллюстрированных Мариной, на изящную коробку, сплетенную из соломы. Ее сделал больной

грузин Саго. Еще были там сладкие желтые лепешки из жженого сахара. А для сестры — кружева, связанные милой монашкой, тетей Ульяной. Было по-грустному хорошо.

У Саго та же болезнь, что и у Николая Островского: отнялись ноги, и происхождение болезни — то же, что у Островского: во время Гражданской войны упал с лошади, повредил позвоночник. Саго всегда занят: мастерит чудесные вещички — трубки, кольца, брошки, мундштуки, коробки из стекляшек, соломы, проволоки, картона, ну просто из ничего. Мы все по очереди навещаем его. После ухода врачей фельдшер Левка в «вестибюле» больницы играет на скрипке. Или в палатах. Саго просит: «Шумана, Рубинштейна».

А болезнь Саго прогрессирует. Постепенно отнимаются кисти рук, пальцы. С грустной улыбкой он смотрит на нас — работоспособных, а обессиленные руки беспомощно лежат на выцветшем одеяле...

И снова Новый год. 1941-й. Он не принесет лагерникам ни освобождения, ни забвения. А дети хором поют: «В тайге родилась елочка...» Они тоже родились в тайге....

Как-то утром моя напарница по лесоповалу мимоходом бросила: — Здесь близко кладбище наших.

Я вздрогнула, оглянулась. Кругом конвой. Дни по-зимнему темные. Ленивое солнце «сидит» над самым горизонтом. Рассуждать некогда. Я тихо прокралась мимо конвойных, нашла среди деревьев и валежника неогороженные могилы погибших друзей. Снег такой глубокий, что они почти не видны. Засыпаны. Но я все же нашла: здесь, под этим большим холмом, лежат они, медики. Лежит Андреевич. Я наломала веток и прикрыла ими всю могилу. Мне мучительно хотелось вспомнить хоть начало «Реквиема» Моцарта. Но не смогла. Только вспомнила, что сам Моцарт тоже лежит в общей нищенской могиле. Я опустила на колени и просила: «Скажите Елене, подскажите...» Потом поспешно вернулась к бригаде — ведь по лагерным законам такая отлучка приравнивалась к побегу.

Фринберг совсем расхрабрился. Он поставил «Разлом». Сам играл адмирала, Римма — Ксению, Вера-харбинка — Таню, Зубов — Леопольда, Лин и недавно появившийся у нас кореец Пак — японских шпионов, второй экономист — боцмана. Долго не удавалось «обеспечить главную роль» — Годуна. Наконец на нее кинулся как на подвиг (а это и был подвиг) Вася. Да, Вася. Римма переписывала ему роль и реплики крупными, разборчивыми буквами, объясняла незнакомые слова, шлифовала произношение — дикция у него хорошая. По темпераменту

он абсолютно подходил для этой роли и «вжился в образ» с удивительной легкостью. Ну а выглядел в форме «с бойца» просто неотразимым.

Лин и Пак смастерили декорации. Я сшила костюмы. На репетиции никого не пускали, даже начальника со свитой.

Спектакль вызвал небывалый восторг. Всеобщий. Разоблачение врагов, победа народа были приняты уголовниками так, будто они сами были участниками борьбы. Полковник и на сей раз выразил благодарность Фринбергу — чуть ли руку не пожал!

Доходяги, прибывающие с трассы, сообщили: есть приказ — всячески форсировать строительство железной дороги, разработку шахт и нефтепромыслов (открытых «нашим братом», специалистами, осужденными по 58-й). На лагерном жаргоне это означало — «подавай работяг». Снова стали проводиться забытые уже комиссовки. Категорийных оказалось совсем мало. Не год, не два уже прожили эки в жестокой борьбе с голодом, холодом, фурункулезом, дизентерией и цингой.

Заметно увеличилась за эту зиму смертность. Даже в детских учреждениях. Мамки до того помрачнели, что даже к отправке своих дролей (дружков) относились апатично, как к стихийному бедствию. Отправляли на сей раз особенно «умело», небольшими группами, ночью.

— Хоть бы возмущались, скандалили, и то легче, — взорвался Мендель.

— А заметили, что наших в этапе нет?

— Правда — нет! Они, оказывается, «заслуженные». Они необходимы. Есть от чего горевать унтеру.

Метеорологической станцией, примкнувшей к Инессиной лаборатории, руководит «незаурядная личность» — историк, бывший доцент Н-ского университета. По делам службы он нередко заходит к Инессе, держится с подчеркнутым уважением, вежливо, как прилежный ученик. Физиономия у него постная, длинная. Казалось бы, такой не может нравиться женщинам. Однако в скором времени он завоевал сердце одной нашей приятельницы — Зоси. Она была образованной, умной, но вспыльчивой и своенравной женщиной. Работать умела и любила, но обязательно «на виду». Лин обожал ее сынишку Сашеньку. Еще у нее была дочка, тоже Зося.

Когда историк и Зося, оба высокие, длинноносые, вместе заходили в лабораторию, то Татьяна немедленно выползала и фыркала:

— Четырехэтажное светило и трехэтажная мадам изволили явиться. Скажите, какой почет!

— Кислятина, лишен всякого юмора, — определил историка Мендель. Лина «поставили» помощником метеоролога.

Лесовод тайком приносил Римме в зону горьковатую прелую овсяную муку. По доносу Ваньки-Свиста это стало известно во 2-м отделе. Начальница Артюхина немедленно подсунула ордер на отправку Риммы по этапу. Не вышло. Полковник хотел показать «Разлом» в подкомандировках и уж обязательно к приезду какого-то начальства из политотдела. Как тогда без Риммы? На сей раз опасность миновала. Видно, полковник дал Артюхиной кого-то другого, взамен. Отныне овсяный кисель стали варить не «дома», в бараке, а в Татьяниной теплице. Отказаться — значило бы признать свое поражение.

Потом лесовод достал Римме небольшой ножичек. Она его прятала в разные места. Чтоб не попался при обысках (они бывали часто) и чтобы никто не стащил его. Ножом пользовались многие: приятнее хлеб резать по-домашнему, чем рвать его на куски — по-лагерному. И вдруг — нет ножа! Римма каким-то седьмым чувством почуяла — соседка! Та, что на нарах, напротив. И не ошиблась: ножик был воткнут в угол ее нар. Снизу. Соседка зашла и сразу заметила, что ножичек у нее нашли.

— Бл...ий потрох! — заорала она. — Да что же это такое! У Римки нож украли, у меня нож украли!..

Старые «мастерицы» снова лепят навозные горшки. Не все, конечно. За год многие переброшены на стройки. А южанин Рабель, тот, что «чай не пил», уже не смешит нас и не плачет. Лежит себе тихо в чужой холодной земле...

Затем я попала на переборку овощей. С мамками. Что ж, работенка знакомая. Да и не на морозе, а в овощехранилище, где температура сносная — от -1° до $+1^{\circ}$. Все мы научились уплетать сырую бульбу, очищенную заостренной деревяшкой, сразу распознавали «сладкую». Бригадир — снова Рая. Она кормит третьего сына.

— Ты бы что-нибудь рассказала за любовь, — однажды утром обратилась ко мне Рая.

Я хотела возразить, но она тут же добавила:

— Пайку выпишу. Это уже мое дело. А ты рассказывай.

Я стала несколько упрощенно рассказывать «за любовь». Травиата, Джильда, Мими, Кармен... Почему-то мне припомнились именно героини опер. Может быть, от тоски по музыке... И так в течение многих дней... Узнав об этом, часто заходил Вася и слушал так же внимательно, как бригадира, то возмущаясь, то огорчаясь. Дело узаконилось. Они работали — я развлекала. Рая не давала отдыха

ни мне, ни им. Все бы ничего, но вдруг она, явно несогласная с поведением Манон Леско, заявила:

– А ну ее, ты лучше за Анну Каренину рассказывай...

– Ты ведь ее знаешь? – спросила Анька рыжая, будто речь шла о моей близкой знакомой.

Мне стало неловко. Я всячески старалась объяснить, что это невозможно – уж очень длинная, сложная история, много персонажей. Даже что-то о социальном фоне несла. Но нет – никаких. Начинай – и все тут.

Бригада, слушая, работала лихорадочно. Помогал даже Вася и еще Андрей-цыган, отец маленькой Галочки, второй дочки Огородихи. Очень он любил свою Галочку, а «цыганочку» так плясал – хоть в театр «Ромэн» отправляй!

Так вот: ...Анна Каренина, супруг Каренин, Вронский, злосчастные скачки, Сережа, няня, Долли, Китти, Левин, Облонский... Я увлеклась и, рассказывая, припомнила, словно читала это совсем недавно.

Когда – уже на третий вечер, кажется, – я дошла до печального конца романа, конца жизни Анны, Рая с возмущением запротестовала:

– Да опомнись ты! С чего это она под поезд прыгнет?! Давай другой конец!

И все как одна стали просить:

– Ты что-то напутала, так не бывает.

Я была очень смущена, но сдаться не могла:

– Девушки, ей-богу, Толстой написал именно так... Хоть и сам очень любил Анну. И пьеса так кончается... Сама же я видала.

– Плевать! – кричала Зина. – Расскажи как следует, чтоб ихняя любовь...

Тут уж все завизжали так, что немедленно пришлось спасти Анну и создавать ей – вне всякой логики – счастливую жизнь с Вронским, Сережей и маленькой Анечкой. Ее возвращения в высший свет никто не требовал.

Успех нового конца был колоссальный. Были и слезы, и вопросы, и споры.

Вася гордился так, словно он подсказал тебе всю эту «историю», и особенно – замечательный конец.

Я не впервые спрашивала себя: «Как понять этот мир уголовников, ратующих за добро и справедливость?»

А дети болели. Особенно ясельные. Доступ к ним разрешался только кормящим матерям или тем, к кому благоволила доктор Митрофанова. Я вспомнила непонятную болезнь маленькой Веруськи... А кому понятно это? Дети всё хиреют, слабеют, гибнут.

Римма и Эмми не находят себе покоя. Леля решила вызвать родителей, пусть заберут Женечку..

В эти дни приехал уполномоченный политотдела.

Просидев весь день в спецчасти и у начальника — что всем показалось зловещим, — он вечером посмотрел «Разлом» и распорядился на следующий вечер показать ему концертную программу. Но утром умерла Галочка — дочка Огородихи. Андрей-цыган кричал, неистово бился и успокоился только тогда, когда ему самому разрешили уложить девочку в гробик. Андрей долго смотрел в застывшее личико и что-то тихо шептал на родном языке. Может, молитву, может, проклятие... Но тут его вызвал начальник.

— Очень сожалею, но выступить тебе, Андрей, придется. Уполномоченный приказал... — заговорил начальник и, как бы подбадривая его, прибавил: — Ведь и ему известно, какой ты у нас плясун!

— Не буду, не буду! — закричал Андрей. — Что я, не человек?! — Он задрожал и, не дослушав, выбежал.

Однако выступить ему пришлось. Уполномоченный не привык отменять свои приказы.

Андрей плясал. Он сильно, даже слишком сильно бил ногами об пол. Лицо ничего не выражало, а руки болтались как чужие. В зале стояла густая, необычная и страшная тишина, Она стала особенно заметной после того, как вынесли одного припадочного. Лёля, бледная и потрясенная, сорвалась в середине первой песни и убежала за сцену. Зоя танцевала соло. Чардаш. Она одна ничего не знала о яслях, о маленькой Галочке, которой больше нет.

После концерта Андрея снова вызвали. Уполномоченный хотел сам наградить танцора папирской «Казбек».

А приехал уполномоченный не просто так. Вслед за его приездом прибыла выездная сессия лагпрокуратуры по делу убийства в корпусе невро-психобольных. Подсудимые: начальник сельхоза, доктор Маревская, комендант и еще четыре зэка. Их обвиняли в том, что в закрытое отделение попал топор, и в странной кончине Крайкова. Суд заседал в столовой и длился три вечера. Столовая была переполнена. Ни я, ни мои друзья туда не заходили.

С начальника и доктора Маревской (она уже не зэк) сняли обвинение. Виновниками в недосмотре, халатности признали убитых медиков. Комендант и зэки получили по восемь лет и были тут же куда-то отправлены.

— А мне так его и вовсе не жалко, — словами Швейка сказал Мендель про коменданта.

Да, «Пришибеева» никто не жалел. Жалели остальных.

С деревьев сползал белоснежный покров. Значит, кончается и эта зима. Четвертая. Но не кончились заболевания среди детей. Доктор Митрофанова усердно соблюдает правила санитарии. Собрав мамок в кормилке, она глубокомысленно спрашивает:

– Откуда берутся клопы? – И сама отвечает: – Клопы берутся от клопов.

– А откуда берется такая зараза, как ты? Откуда погибель детям? – наперебой закричали мамки и кинулись на врачиху с кулаками.

...Небо стало прозрачным. Но в женских полевых бригадах было так тяжело и хмуро, что мне казалось – это все те же прошлогодние дни после гибели Андреевича.

Майские дни проходили под знаком великого события: досрочного открытия первой основной линии железной дороги, проложенной от городка, где пересылка, на сотни километров сквозь тайгу.

Сельхозники – те, кто чудом прожил здесь уже большой срок, – не были прямыми участниками стройки. Но было немало людей, отбывших там трудные месяцы и годы, а затем уже присланные сюда как непригодные. «Под каждой шпалой ээк лежит», – говорили они.

Нам дали выходной день, по 200 граммов почти белого хлеба и мясное блюдо. Долгожданная амнистия для строителей не последовала. Это было так обидно, что даже самые отъявленные бандюги-отказчики не злорадствовали. А урки, превратившиеся было в работяг, снова стали отлынивать от работы и вредить.

Позже мы поняли, что упорные слухи о предстоящем «досрочном освобождении» распространялись сверху, чтобы подстегнуть ээков, повысить темпы... Начальство всех железнодорожных участков было награждено орденами, дачами, автомашинами. Ну да, ведь это они совершили столь грандиозное дело, да еще досрочно!

В один из майских, уже теплых дней приехали за внучкой Лёлины родители. Лёля вынесла слабенькую дочку. Два часа поговорила со своими, посадила их в повозку и убежала. Она и сама не могла понять – легче ей теперь или тяжелее. Из чердачного окошка мы долго смотрели на удаляющуюся телегу.

– Не плачь, сестрица, – успокаивала я Лёлю, а она – меня.

Высадили рассаду в поле. Но внезапно ударил запоздавший мороз, и все это зеленое богатство почернело. Пропал труд многих месяцев. Как ни была огорчена Инесса, она и тут не растерялась. У нее была запасная рассада. Правда, немного, но все же была.

«Общее собрание» – гласил плакат, вывешенный Лином. Собрание?! Это новость! До сих пор были только совещания по хозяйствен-

но-административным вопросам — очень скучные, особенно для тех, кто, вроде меня, не разбирался в вопросах «местного масштаба». Так о чем же собрание?

— О том, что вчера произошло нечто катастрофическое: вторжение гитлеровцев на Советскую землю.

— Война!..

Полковник коротко передал содержание речи Молотова, воззвание партии и правительства, последние радиосообщения. На его суровом лице не дрогнул ни один мускул.

Все молча выслушали и молча разошлись по корпусам.

— Как он сказал? — спросил Вася. — «Отказчиков отныне будут считать, как 58-ю, политическими?»

Политические, которые никогда не были отказчиками, не ответили.

Через сутки-другие были отправлены многие бойцы ВОХРа.

Малосрочники подавали заявления об отправке на фронт. Заявления приняли, и уже на следующей неделе молодежь из уголовников в организованном порядке была отправлена в армию. Остались только женщины, старики, бандюги-убийцы, рецидивисты и, разумеется, 58-я. К ней вновь стали относиться подозрительно, с презрением. Тем не менее кое-кто, особенно врачи и средний медперсонал, осмелились отнести заявления. Их не приняли.

Тихое лето на Севере. Сюда не доносятся выстрелы, грохот танков и самолетов. Только вести: о Смоленске, Минске, Киеве, о Севастополе, Одессе, об эвакуациях. С опозданием, искаженные, но все же... Казалось, что нас вторично изъяли, вычеркнули из списка людей, достойных жить и защищать жизнь.

О друзьях мы ничего не знали. Только о дяде Косте: говорили, что он командует дивизией на передовых линиях. Особой, штрафной, что ли...

Пища стала настолько скверной, что мы завидовали служебным собакам, получавшим чечевичную похлебку, а заодно и «собачьей поварихе».

От крыс — спасу нет.

«Нынешний год — холод особый, военный», — объясняли суеверные. Суеверных немало. Постоянный страх всякое может породить.

Пришло извещение о гибели на поле боя капитана Лукьянова и Саши Говяжьего. Бедная Лёля, бедная Валя Сидорова...

Выселили мужчин из самого дальнего корпуса. Слегка подремонтировали, побелили. Что бы это значило? Разгадки долго ждать

не пришлось: прибыл «транспорт» поляков. Их старались держать от нас подальше, в столовую водили отдельно, не в те часы, что нас. От казенной одежды поляки отказались. На работу не ходили. Почему? Ведь это не шпана. Чего они ждут?

Их староста, в прошлом – ректор известного института, попал в больницу. Лежал он около Саго. И мы, навещая друга, познакомились со Склебским. Да, они ждали. Отправки на фронт. Не чувствуя за собой никакой вины ни по отношению к своей родине, ни по отношению к СССР, они требовали зачисления в ряды фронтовиков, требовали поднять этот вопрос официально.

Склебский был человек высокообразованный и очень обаятельный. Он писал превосходные стихи: по-польски, по-французски и по-немецки. Английский он тоже знал. Когда-то был стипендиатом Рокфеллеровского фонда. Учился во всемирно известных университетах. Выглядел он неважно, вроде здешних доходяг. Татьяна регулярно носила ему огурцы и помидоры. Он не мог знать, как трудно пронести эти редкие здесь лакомства-витамины через вахты, не знал, что она их сама не ела, рисковала только ради него и Саго. Инесса к нему не заходила, но через Татьяну подкармливала больного – из посылок сестры.

У Склебского часто бывали старший плановик Заболовский и счетовод Зигмонт. Оба – поляки по происхождению. Попытка изолировать поляков не удалась. Мы все же познакомились со многими из них. Среди них были интеллигенты, рабочие, ремесленники, коммерсанты. Было и несколько евреев. Все вместе, в целом, они держались отлично.

Наша Татьяна, острая на язык, вдруг притихла, стала немногословной, рассеянной. Я к ней не приставала, поняла: она робко и неумело полюбила Склебского. Он так ни о чем и не догадался. До самого конца. А конец пришел скоро. Приказ – отправлять поляков в распоряжение командования польской армии. Склебский был в ту пору еще очень слаб, но уже полон энергии.

И вот – последнее свидание Татьяны с ним. Поздно вечером, за столовой. Лин и я караулили. Пусть наговорятся. Ведь расстанутся навсегда.

Потом Татьяна долго неподвижно сидела на нарах.

– Им легче, они забудут, – сказала она. Сказала – «они», а думала – «он».

Только тут я заметила, что Татьяна надела юбку. Я привыкла видеть ее мальчишкой! Видеть ее в женском облике было необычно и очень грустно.

Не прошло двух дней, как был допрошен Заболовский. Его обвинили в том, что якобы состоял в заговоре с этими поляками, завербованными Склебским.

— Окончательно вы примкнули к заговорщикам семь дней тому назад — восемнадцатого числа! — кричал ему начальник спецотдела.

— Никакого заговора не было и быть не могло, — твердо возражал Заболовский. — А семнадцатого и восемнадцатого лил непрерывный дождь. Я после работы никуда не выходил...

— Врешь, — перебил его начальник спецчасти, — и я это докажу.

Привели Зигмонта. Тот растерялся:

— Заговор — это чья-то нелепая выдумка. А какая была погода восемнадцатого — не помню.

Ночью Заболовского увезли.

Спустя некоторое время мы узнали о его судьбе: расстрелян. Зигмонтом начальство больше не интересовалось. Он очень страдал, считая, что мог на допросе выручить друга. Разумеется, не мог. Но разве можно себя этим успокоить?

На выставке в Центральном стенд нашего сельхоза привлек общее внимание посетителей. Пожалуй, куда больше, чем показатели электрификации и всякого лагпроизводства.

На фронтах то наступают, то отступают. Содрогалась вся страна. А здесь усиливалась власть тьмы. Карцер никогда не пустовал. Наследник коменданта оказался не менее тупым фанатиком.

Инессу несколько раз вызывал полковник. Это не казалось странным. Она отвечала за многие участки, многое знала не хуже Рыбина.

Но однажды ее вызвал не полковник — начальник лагеря, а оперуполномоченный. Он передал ей ордер. Почти без слов, с кривой усмешкой. Инессу арестовали и повели к «черному ворону» для отправки в Центральную лагерную следственную тюрьму.

Мы были на работе. Одна лишь Римма видела эскорт. Она кинулась к зоне, сумела сунуть Инессе пайку хлеба и услышала ее слова:

— Держитесь крепко — все!..

Полковник стоял около вахты. Молча. Для него, то есть для производства, арест Инессы был непоправимой бедой. Зато Артюхина откровенно радовалась. Ее пуговичные глазки злобно поблескивали.

— Разгону я всю эту шайку, — твердила она.

«Шайка» — это Инессины друзья и ее сотрудники. Инесса их закрепляла на постоянной работе как специалистов, спасала от этапов. Сельхозу от этого было немало пользы. Членов «шайки» стали

допрашивать по ночам. Но об этом никто не говорил. Лин немедленно был отправлен на общие работы. Да и не только Лин.

Темных дел за Инессой быть не могло. Состряпать против нее обвинения в «опасных настроениях и разговорах» начальники могли разве при помощи провокаторов. Но нелегко было здесь найти способных на такое дело. Однако одного нашли. И хотя все держалось и делалось в секрете — мы сразу догадались: Доцентик. Он! Часами припадая ухом к дощатой стенке между лабораторией и метеостанцией, он подслушивал и составлял мерзкие доносы. Они-то и были выдвинуты как обвинение.

Война, работа, дети — все это ушло на задний план... Арест Инессы подействовал как удар. До него была какая-то уверенность хоть в сегодняшнем дне для всех нас, давно потерявших будущее. Теперь и это исчезло. Тревога была нестерпимой. И неизвестность.

Сумеет ли Инесса выстоять физически?

Чем это кончится?

Доцентика бойкотировали все. Буквально. 58-я сплотилась еще теснее.

— А какая же она «пятьдесят восьмая»? — неистовствовал Вася. — Шпик последний, блевотину изрыгает, сука, мать его...

Много дней он ходил задумчивый и угрюмый.

— Отомщу, убью, — твердил он.

Мендель, сам потрясенный, доказывал:

— Доцентик теперь под особой охраной. Не лезь!

— Все равно убью! — кричал Вася. — Все равно...

В полевых бригадах тосковали по Инессе.

— Кто нас теперь ругать будет? — спрашивала маленькая татарочка и горько плакала.

В бригадах разладилась дисциплина.

Тетя Ульяна собрала все вещи Инессы, «чтобы целыми остались».

Тетя Ириша не разрешила занять Инессины нары, поставила туда бочку с квасом, изготовленным из хлебных корок.

Татьяна часто прохаживалась около бездействующей лаборатории.

— Волк, бешеный волк, — повторяла она, проклиная доцента.

Римма и Лёля перестали играть в драмкружке. Фринберг тоже отстрился. Режиссером стал Тараканов. На этом кончилась самодеятельность.

Я ежедневно смотрела на алюминиевую чайную ложечку — подарок Инессы. Ложку можно видеть и сейчас — она и теперь со мной. И служит, но все же это — реликвия.

Зося, беременная подружка Доцентика, очутилась в трудном положении. Непричастная к его подлости, она все же стала соучастницей хотя

бы потому, что не отказалась от мерзавца, не плюнула ему в лицо. Она много лет была помощницей Инессы. Бойкотируемая всеми, она обратилась к Лину. Он по-старому баловал ее Сашеньку. Но тут не стерпел.

– Не смейте произносить ее имя... Не смейте... Вы... Вы...

Слова его хлестали, как пощечины.

Вспомнился замечательный миф о Прометее, прикованном к скале за то, что украл огонь у богов. Для людей. Инесса тоже смогла бы...

Кто-то из начальства сельхозотдела присвоил себе труд Инессы по классификации почв области. Даже не потрудился переписать изложенное, только поставил свою подпись.

Чтобы снизить смертность среди детей и избежать ответственности за нее, начальство пришло к такому решению: отослать матерей с детьми до двух лет на лагпункт, где начальником был майор Старцев. Там – благоустроенный детгородок. Отослать сейчас же, пока не наступила зима.

Вкатили в зону несколько грузовиков, уложили вещи, провиант, затем усадили притихших или кричавших матерей с закутанными ребятишками. Сентябрьский ветер врывался сквозь брезент в машины, окруженные лагерниками. Из наших отправлена была одна Римма с Инночкой.

Зосю с сыном «волка» тоже отправили. С ней попрощались только ее старшие дети. Они испуганно прижимались к Лину. А Доцентик не показался. Сидел в «берлоге», отвергнутый всеми зэками, ненужный больше и начальству. Слишком скомпрометирован, чтобы еще пригодиться.

Доктор Митрофанова стояла среди охраны. Она не сопровождала экспедицию, возложив эту обязанность на медсестер.

Татьянка стала отныне моим хранителем. Но я устала смертельно. Она – тоже. Я старалась уединиться в тихом уголке зоны. Глядя на высокие стены, на вышки, я нашептывала знаменитый монолог Марии Стюарт:

Eilende Wolken
Segler der Züfte
...grubet mit freundlich
mein Heimatland*.

* Вы, бегущие облака,
Воздушные пловцы
...Передайте привет
Родине моей (нем.).

Когда я училась в школе, то не подозревала, что запомню шиллеровские слова навек, что тоже буду узницей в чужой стране. Но я незаметная... нет ни Мортимера, ни графа Лестера.

...Через неделю грузовики с мамками и детьми вернулись. В назначенном месте их не приняли. Там действительно отличные детские учреждения, но только для детей вольнонаемного состава, за зоной. Возвращение детей вызвало общее негодование, куда более громкое и откровенное, чем отправка.

Как можно было посылать матерей с больными детьми, ничего толком не узнав, не договорившись, не позаботившись об их дальнейшей судьбе?

Наспех оборудовали для них карантинные помещения. Туда нас и близко не допускали. Каково им было в дороге, мы узнали позже со слов матерей: кошмар, хаос, невиданные мытарства.

Когда карантин отменили, мамки несколько дней не выходили на работу. Никто их не трогал. А еще через несколько дней Римму отправили на этап одну, без Инночки. Артюхина знала, что она пользуется авторитетом среди мамок. Не забыта была и ее тесная дружба с Инессой. Отъезд ее был таким неожиданным, что даже не запомнился четко.

— Увидимся, я уверена, — сказала подруга в последнюю минуту. «Присмотрите за Инночкой» — она не сказала. Это было бы ни к чему.

Мендель от горя потерял в этот день свою любимую трубку, подарок покойного Саго. И нашел ее только на третьи сутки, в своих огромных бутсах.

Да, Саго уже нет с нами. Умирал он мучительно, не теряя сознания почти до конца. Последним его огорчением была смерть его дорогого соседа и собеседника, старого ученого с рембрандтовским лицом. Они, бывало, подолгу играли в шахматы. Старик переставлял фигуры за обоих. Ведь у Саго пальцы умерли куда раньше его самого.

Когда Риммино место заняла незнакомая еще южанка Нина, я совсем загрустила. Ильюшка, узнав об этом, назначил меня гладильщицей детского белья. Я перетасила подушку Андреевича и остальное свое небогатое имущество и стала жить в сушилке, где всегда было жарко. На «улицу», на холод никогда не выходила. Пищу мне приносили прачки — все до одного китайцы. Они жили дружной семьей и очень уважали Лина, единственного образованного среди них. Линчик в ту пору — тоже по настоянию Ильюшки — служил сторожем банно-прачечного корпуса. На общих работах он страшно похудел, руки и ноги у него опухли.

— Хень, за что тебе срок дали? — спросила я как-то одного китайца.

— Срок? За то, что думал.

— То есть как так? Объясни...

— Ну, следователь моя сказала: «Ты шпиона!» — «Нет! — я кричала. — Никакая моя шпиона». Тогда она сказала: «Значит, ты думал быть шпиона...» Вот моя и срока получайла...

По ночам Лин обходит банно-прачечный.

Затем чешка и китаец говорят не уставая — о странах, людях, книгах, живописи. О смысле жизни никогда не говорили.

У Менделя нередко бывали приступы. Но он выработал в себе психологическое противодействие: чувствуя усиливающуюся головную боль, сердито повторял: «Будь проклята Варшавская тюрьма, где сидел я, и Краковская, где сидел инженер, и всякая тюрьма вообще». (Инженер — это мой муж.)

Небо снова густо-темное. Время отправки этапов из сельхоза. Пришел и мой час.

Лин натянул на мою фуфайку широченный бушлат, Пак — связанные им из ваты варежки. Татьяна, указав на мой мизерный узелок, прохрипела:

— Не растеряй свои шестнадцать чемоданов! Не стоит.

Лесовод принес настоящую зубную щетку, почти новую. Лёля — настоящую иголку. Она ее запихала незаметно внутрь обшлага и крепко замотала ниткой. Мендель и Эмми совали махорку в карманы и ничего не говорили...

Из окон яслей махала ручонками Инночка. Последними прибежали Ильюшка, Альберт и Михаил.

— До свиданья где угодно... но до свиданья!

Васи не видно. Портреты Франца и Чарли я оставила. Это было нелегко. Но нельзя же их отнять.

Едем. Долго. Стоя, держась за борт и друг за дружку. Холод проникает до самых костей. Сквозь заледеневшие ресницы ничего не видно. Темно. Все молчат, о чем-то думают...

Как это было? Доктор Митрофанова спросила:

— А что такое рубенсовский тип женщины?

Она была шокирована, что сама, костлявая и выцветшая, к этому типу не подходит... Смешно! А однажды у меня был флюс... Щека болела до сумасшествия. А на работу гоняли... Ой какой тогда скандал Римма закатила в амбулатории... А как мы с Татьяной махорку воровали из фонда для уничтожения насекомых! Инесса не дала бы.

В таких делах для нее дружба ни при чем. Ведь выгнала же она меня на третий день с опытного участка, когда я, неуч, не те листочки выдираю... Эмми уверяет, что Инесса обожает каждого червяка, которого приходится истреблять... Это было весной. Перед войной. Да, весело было тогда. А было, было ли?

Под утро нас довели. Необычайно большая зона. Выгрузили и обыскали. Проверили формуляры и – в баню... Тепло, как в милой китайской прачечной. Мы так заковались, что бесконечно долго раздевались и оживились, лишь обливая себя горячей водой.

– Пить как хочется! – заохала Лина Репкина.

И все за ней:

– Ох, пить как хочется!

Тут открылась дверь и небрежно вошел какой-то лагерный фронт в ватных брюках и пижамной куртке. Словно не замечая, что кругом голые женщины, он преспокойно протолкнулся ко мне и спросил:

– Кипятку вам, да?

– Да, да, – обрадовалась я.

Тогда он немного тише сказал:

– Заходите ко мне, милашечка, вот – дверь направо. Я вас напою хорошим чаем.

– Ну и гад! – вырвалось у меня. И уже совсем по-лагерному: – Пошел к свиньям, понял?

Девки захохотали и выпихнули этого гада в ту самую дверь.

Ведро с кипятком принес банщик.

До гудка-подъема мы кое-как поспали. Затем нас накормили в столовой чем-то средним между супом и кашницей.

Я старательно хлебала свою баланду, когда кто-то меня обнял и повернул к себе.

– С ума сойти, сестрица! Как я тебя ждала!

– Римма, ей-богу!

Мы обрушили друг на дружку потоки слов, не договаривая, не дослушивая. Что это была за встреча – ни в сказке сказать, ни пером описать, ни во сне не видеть!

Но встреча была не случайной. Римма сумела упросить, чтобы меня включили в список работниц, затребованных сюда.

– Ведь это самый большой промкомбинат во всем лагобъединении, – объяснила она.

– Экий восторг! – язвительно сказал кто-то рядом.

– Ой, Лина! – Римма обняла ее и всех. Ведь все были свои, сельхозные. – Мне пора на работу. До скорого!

Римма убежала, а я влюбленно смотрела ей вслед: какая она стройная, легкая и не по-лагерному опрятная...

При распределении на работу все уверяли нарядчика, что умеют обращаться с моторными швейными машинами. Всем ведь хотелось быть под крышей, чтоб ни снегу, ни дождя...

— Кто тута «пятьдесят восьмая»?

— Я.

— Ты чего, первый день в заключении? Отвечать надо по анкетным данным.

Я ответила. Тогда мне дали направление в самый дальний барак. А там Римма уже отвоевала место на нижних нарах, около себя. Оказывается, здесь 58-я живет отдельно, сама по себе.

Удивительно — тюфяки и подушки, набитые отходами ваты. Есть даже латаные одеяла. «Лошадиные», — смеется Римма, развертывая мои «16 чемоданов».

В швейный цех пустили только после того, как переодели в серые байковые арестантские платья первого срока и довольно приличные фуфайки, на сей раз не мужские, а женские.

— Жаннет! — закричала я на пороге закройной. — Жаннет, неужели это ты?

— Да, самая я и самая ты!

Мы обнялись, плакали и смеялись одновременно. Жаннет ловко повязала лоскут на мои слишком короткие кудряшки, но увидев начальника цеха, быстро проговорила:

— Хватит плезир, работать надо.

Инструктор цеха Нора посадила меня в середину одного из конвейеров. В цехе их было три. В закройной еще один. С каждой стороны — по 30 человек. Почти одни женщины. Шьют мужские рубашки. Лагерные — без ворота, манжет, пуговиц. Моя операция: запошить второй боковой шов. За несколько дней наловчилась делать это рационально, не отрывая нитки: берешь, шьешь, передаешь. И так весь день.

На обед пропускают в общую зону через внутреннюю вахту. Какая же эта зона большущая! Здесь коммунальные бараки, администрация... За решеткой-калиткой этой зоны — жилбараки мужчин. Потом — женские.

Римма несколько раз забегала в цех:

— Ну, как справляешься?

Она работала здесь же, при цеховой конторе.

После ужина мы побрели домой. Возле мужской зоны подруга остановилась.

— Зайди туда, я за тобой приду.

Я удивилась и не очень охотно зашла.

...Неужели мои руки целуют... мозолистые, перецарапанные, не ахти какие чистые руки?.. Неужели эти огромные глаза... Неужели в коротких словах «Я очень рад...» может быть столько сказано и обещано? Профессор! Наш восемь раз профессор! Ты пила чай в его уголке и что-то говорила, ровно ничего не соображая.

– Чудачка, видит Бог, – резюмировала мое поведение Римма.

Я ей долго докладывала о сельхозе, об Инночке, детях, друзьях. Потом настал Риммин черед. Она знала о страшных событиях в мире, в стране. Профессор тоже знал. Римма на все реагировала бурно, профессор – философски.

Когда я постепенно изложила ему свою «хронику», он, словно неподав, тихо сказал:

– Одиночество! Только гениям, настоящим гениям, оно заменяет общее с людьми, дружбу, даже любовь. В одиночестве они творят свое бессмертие.

Он явно думал о Бетховене... Но писал же Бетховен в одном письме, как трудно опираться лишь на себя – одного...

Профессор – инвалид. На Центральной добровольно работал курьером. Там – Главуправление всего огромного лагобъединения. Потом устал.

– Послали меня сюда вроде как в отпуск, – шутил он. Он явно чего-то недоговаривал, может быть, главного.

Рабочая зона – целый фабричный поселок: основной швейцех, сапожная, художественные мастерские, склад, сушилка и т. д.

Здесь жизнь промышленная. Лесобригады, их тяжелый труд здесь считают малозначимым, вспомогательным. Там было легче с питанием. Здесь – с одеждой.

Начальник швейцеха – малограмотный самодур. Дело свое, однако, знает отлично и ревностно к нему относится. Отсюда забота о бараках швей, особенно о 58-й. Сам он живет при цехе в небольшой комнате около конторы.

Неутомим. Урки его ретивость толкуют по-своему – «тянет на досрочку».

Работали швей в две смены. При выходе из цеха нас обыскивали «как следует», а потом на внутренней вахте – вторично. Воровали тем не менее изрядно. Кто именно и больше всех – я узнала гораздо позже.

В бараке – мирно. Кроме швей, здесь жили еще старший экономист латышка Зельма, мастер игрушечного цеха – Ара* и сестра Янки – Эрна.

* Ара – Ариадна Сергеевна Эфрон, дочь Марины Цветаевой. – *Прим. сост.*

Ящики-тумбочки между двупальных нар, уютно убранные самодельными вещичками. Будто ненужными, а все же дорогими. На тумбочке Ары нет игрушек. Стоит фотография в рамке: немолодая женщина. Строгое лицо обрамляют гладкие волосы. Взгляд в горьком раздумье устремлен куда-то далеко. Туда, где другим уже не видится ничего. Фотография не только была — она жила среди нас. Мы ее уважали как-то нежно и никогда не подходили очень близко. Ару тоже все уважали и тоже держались от нее чуть поодаль.

Ара часто заходила к профессору. Я знала: они читают друг другу наизусть французские стихи. Любимые. Как-то профессор сказал ей: — А какая у нас была поэтесса! Вы ее не могли знать... Вы ведь выросли за границей...

— Это моя мама!

Рассказывая мне о поэтессе, профессор, не скрывая глубокой печали, заметил:

— Между ними нет сходства, а все же... Она такая же бездонная, непокорная, неподкупная, многогранная...

Римма рассказала о Янке. Она была женой военного. В 1937 году к ней в гости приехала сестра Эрна из родной Польши. Они много лет не виделись. Через две недели всех троих арестовали. Осталась маленькая дочка Янки, а там, за границей, — муж Эрны и двое мальчиков.

Инструктор швейного цеха Нора уже давно разыскивала своих детей. В день разлуки Леше было шесть лет, Маечке — три годика. Нора читает нам письмо, полученное наконец из одного детдома: «Мама, напиши нам, когда у нас день рождения и какая у нас национальность».

Мы растерялись и снова отчетливо с болью почувствовали, что потеряли не только то, что было, но и то, что могло быть.

...Всю жизнь я хотела уловить, как, когда распускаются первые ростки. Так и не уловила. Это, должно быть, невозможно. Это — тайна природы... Татьяна, наверное, уже высадила в зоне своих душистых питомцев. А здесь нет цветов, нет детей.

По вечерам, сидя близ столовки на голой земле, лагерники поют есенинскую «Пойте песни юности, бейте в жизнь без промаха...», а тебе упорно слышится: «Жизнь бьет без промаха...».

...Пришел новый этап. Сборный. Отовсюду. А с ним Лёля. До ареста, до этой второй жизни, у меня было много друзей. Я радовалась телеграммам: «Встречай...». Спешила на вокзал. Но здесь совсем другое. Здесь встреча — чудо, сказка.

– Все там нормально, – информировала нас подруга. – Инночка веселая, дети вообще стали поправляться.

На наш безмолвный вопрос Лёля грустно ответила:

– От Инессы ничего, ни звука.

Лёля стала дневальной в нашем бараке. По утрам носила воду, мыла полы, а по вечерам, напевая, что-то отмечала в списке. Список – очень важный. По нему она завтра получит хлеб, заработанный баракком сегодня.

Вместе с Лёлей прибыл молодой высокий человек. Испанец. Смуглый, большеглазый, красивый – такими мы всегда представляли себе испанцев. Запас русских слов у него весьма ограниченный. Но при помощи французского языка и обоюдного старания мы все же его понимали. Он был летчиком. Командиром эскадрильи республиканской армии. После поражения республиканцев он и его товарищи решили увести свой самолет в СССР. Дело нелегкое, но удалось. В пути пришлось приземлиться – кончилось горючее. Выручили польские крестьяне. Год летчики работали в СССР на гражданской авиаслужбе. Затем обоих арестовали. Сначала они этапом шли вместе. Затем Хуан заболел, где-то в пути был оставлен для лечения, а потом его отправили сюда. «Без Мануэле. Один», – эти слова он произносил с такой тоской, что сердце замирало. Как ему объяснить, что мы все вместе делим это одиночество и от этого оно становится менее страшным. Такое словами не объяснишь; такое дается само, трудно, медленно, беспрепятственным участием друзей.

Хуан очень страдал от непривычного климата. Римма сумела «по благу» устроить его истопником в дезокамеру. Там было жарко, темно и грязно. Мы часто заходили к новому другу, приносили что-нибудь съестное.

– Потом, совсем потом, приедете ко мне в Гренаду, увидите, поймете, – мечтательно и застенчиво, стыдясь своей тоски, говорил нам Хуан.

Я вздрагивала – будет ли оно когда-нибудь, это загадочное «совсем потом»? Его и представить себе невозможно.

Если человек привык всю жизнь читать газеты, он не может обходиться без них... Особенно в такое время – тревожных, быстрых перемен на фронте, ужасов на оккупированной территории. Выручил завбаней – тот самый франт, который пригласил меня пить с ним чай в день прибытия. Газеты он доставал контрабандой. Приносила их, правда нерегулярно, его краля. Она была домработницей у заместителя начальника колонны. Обеспечивала она «франта» не столько

газетами, а более для него существенным, но до этого нам дела не было. Газеты читали немногие. Они передавали новости другим. Мы ужасались, читая о концлагерях, фашистских застенках, где гибнут ни в чем не повинные люди, загнанные туда со всех концов земли. Мы переживали глубоко и, думая о них, не хотели думать о другом, таком знакомом... А мне было жутко: Освенцим! Родной город моего мужа. Там живет его семья... Нет, не живет больше... А он, он живет?

Шьем для фронта. Одежду защитного цвета и белье для военных госпиталей. Рабочий день десять, а то и двенадцать часов, если заказ срочный, а не срочных не бывает.

Ко мне посадили совсем молодую хохлушку. Сидит и испуганно смотрит на бегущую иглоку. Кипа заготовок слева вырастает в гору. А справа, куда надо складывать сшитое, — пусто.

— Ты что, шить не умеешь? — нетерпеливо спрашивает бригадир.

— Ни, но вдвигать нитку дюже добре вмюю. — Она считала, что «дюже добре вдвигати» — достаточная квалификация для моторного пошива.

Начальник цеха диктует Римме:

— Пишите в Центральный, в отдел снабжения: «Выслать мне срочно ножниц закройных 12 штук среднего размера, 40 шпук к машинам «Подольск» тип 0776, 50 женщин, 5 гаечных ключей».

— Но, Яков Ефимович, о женщинах следует писать в отдел кадров.

— Пишите, как я вам отвечаю! — строго обрывает он Римму и, шагая начальственной походкой по конторе, продолжает диктовать.

— А ну прочитайте.

Римма читает точно по его словам.

— Хорошо. Всегда пишите, как я вам говорю.

Нора понимает, что конторщицы не любят шефа и потихоньку над ним посмеиваются. Это ее злит. Она близка с ним отнюдь не бескорыстно. Поэтому она скверно относится к Верочке, Янке и Римме, придирается к ним.

Начальник к Норе привык, и только. Он не прочь был бы приударить за красивыми конторщицами. А Нора была некрасивая, бесцветная, нескладная и не менее деспотичная, чем он сам.

Если начальник ходил по цеху, грубо срывая у швей с головы марлевые косыночки и крича: «Матерьял крадете... Вы... — общество!» — Нора не останавливала его. Одна горе-швея в спешке пришила рукав не к пройме, а к вырезу шеи. Обнаружив это, начальник не задумываясь остановил конвейеры «на время своего громового выступления», а затем вышвырнул «преступницу» из цеха. Нора молча наблюдала эту сцену.

...Любители театра попросили профессора собрать агитбригаду. Многим известно было, что он когда-то между прочим окончил и режиссерский факультет. Создавать агитбригаду он не собирался, но все же поставил нелегкую пьесу Мериме «Рай и ад». Зельма играла Ураку. Роль ей давалась трудно. Тогда профессор сам стал вести ее роль... раз, еще раз... Зельма присмотрелась и постепенно вошла в образ. Узника, ее возлюбленного, играл профессиональный актер, а кардинала – инженер Порукин. Об этом человеке надо бы сказать несколько слов: внешность бонвивана, образованный, эрудированный. А к работе и людям относится снисходительно и небрежно. Так же небрежно он – в кожаных перчатках – собирал окурки на грязном полу помещения. В столовой я как-то с ним посоветовалась: какой должна быть кардинальская шапка? На нас долго смотрела совсем юная урка. Потом подошла и сказала с восторгом наивного кинозрителя:

– Инженер, какой вы красивый!

Порукин изменившимся голосом ответил:

– Если бы вы меня знали десять лет тому назад!

Я громко захохотала – так, точно так сказала бы престарелая красотка. Инженеру было не больше 30 лет.

На премьере пьесы я впервые увидела майора, начальника всего комбината. Мне казалось, что он туго зашит в свою форму и никогда ее не сбрасывает – никогда не бывает просто человеком, а всегда остается воплощением строгой дисциплины (он еще усовершенствовал ее на свой лад, как, впрочем, всякий лагерный начальник). Долго смотреть на него было тягостно.

Яков Ефимович снял старшего закройщика в очередном припадке ярости. В цехе все ворчали, а мы стыдились: 58-я против 58-й – это всегда было для нас нарушением неписаного основного закона. Нечто вроде нарушения библейских заповедей для верующих. За такое Бог наказал бы. Якова Ефимовича никто не наказал. Наказана была Римма. Получилось это так: у Риммы были хорошие взаимоотношения с бывшим закройщиком. Он знал об Инночке, тайком совал нам тряпочки, из которых мы шили ей платица. Вот Римма и написала ему записку: «Вы счастливец, что избавились от этого изверга». При обыске на вахте у «счастливца» нашли эту бумажку. Не без содействия Норы она сразу попала к шефу. Ровно через сорок восемь часов Римма «загрелась» на колонну жилдорстроительства. С примечанием: «На земляные работы». Ефимович до последней минуты ждал от Риммы извинения, просьбы о прощении – но нет, не дождался. Дней через десять в начальнике все же зашевелился какой-то осколок

совести. В записке, пересланной им Римме, говорилось: «Будешь человеком — будет тебе хорошо». Три дня Римма и все наши хохотали до упаду над его предположением, что Римма может «стать человеком».

Какие там действовали силы — злые или добрые, — неизвестно, но вскоре Римму вернули в сельхоз с направлением: «К местонахождению ребенка». Непонятно! Неслыханно! Но замечательно. О разлуке мы уже не думали, думали только о ее встрече с доченькой. Но как примет ее Артюхина?

Снова мы без газет, потому что завбаней уже снят. Нет конца нашей тревоге, нет конца блокаде Ленинграда, нет конца боям под Москвой. Неужели сгорела Варшава, где в одном из храмов покоилось сердце Шопена? Неужели могут погибнуть Лувр, улыбка Моны Лизы, церковь Мадлен, Венская опера, Дрезденская галерея, Стара Прага, Уффици?!

Нет, нет! Такого позора мир не мог бы пережить!

Снова мобилизовали часть молодежи — уголовников и часть ВОХРа. Бойцов осталось совсем мало, но фактически это ничего не меняет.

После ночной смены я мыла пол продсклада, огромного и холодного. Завскладом — мой земляк, поэтому и позвал меня. Был он сыт по горло, жил в конурке с печкой. Кормил меня лучше, чем я заслуживала за свою уборку, но меня это не устраивало — я хотела кормить своих. А Тонда не хотел. Нет, он был неплохим парнем, но натерпелся столько страху, что не мог отделаться от него ни на минуту. «Как бы чего не вышло», — было написано на его нервном, дергающемся лице. Ничего не поделаешь — приходится воровать: сахар, конфеты, пресованный изюм, пряники, воблу... предназначенные вольнонаемным. Благо в калитке между жилзонами не обыскивают.

Вечером Лёля делила добычу — всем по справедливости, и для Хуана откладывала. Профессор брал только чай. Мне ничего не надо. Я сыта и довольна. Но сил мало — всегда хочется спать. К тому же Тонда стал наигрывать на гитаре чешские песни и вести себя слишком фамильярно. Пришлось бросить доходное место, но так, чтобы не пострадали остальные. Я уговорила земляка заменить меня Лёлей. Это получилось удачно. Справлялась она с работой куда легче и быстрее, задорно кокетничала и воровала из священных фондов — прямо профессионально.

Сегодняшний день не так уж плох, мы все подкормились, работаем «не на общих» и до странности привыкли к тому, что в бараках урок пьют неизвестно откуда полученный спирт или одеколон,

нередко дерутся, «мажут» в карты, что ежедневно несколько дистрофиков уходят на тот свет, освобождая больничные койки для бесконечной очереди «ожидающих».

Аре пришло письмо. Когда мы вечером вернулись в барак, фотографии на тумбочке больше не было. Нет больше поэтессы. Ее лишили всего на свете, даже права на продуктовые карточки. Где-то на родине, где леса и река, она покончила с собой. Письмо отправлено братишкой Ары. Там и приписка одного знаменитого писателя, взявшего к себе подростка-сироту.

Мы не знали поэтессы, ее стихов, но нам казалось, что с ней сама поэзия покинула землю, людей. Надолго, надолго...

Профессор три дня не вставал, почти не говорил, вынести взгляд его воспаленных, помутневших глаз было свыше сил.

Вслед за фотографией исчезла и сама Ара. Наряд гласил: «Режимные лагеря, использовать только на общих работах».

Где же то море, куда стекаются слезы людские, где его берега. Мы ежедневно, прижимаясь друг к другу, добавляли в это море свои горькие капли... Сперва взяли Инессу, теперь Ару, Альберта тоже — Римма сообщила об этом запиской, — затем Жаннет, Верочку. И всех — только на общие работы.

Прибавился новый страх.

Шила я ватные чулки. Заказ, как всегда, срочный: зима. Норма большущая. А перевыполнить необходимо. Пайку надо вытянуть, если не хочешь ноги протянуть.

Полагается пятнадцать раз прострочить чулок, затем запошить изнутри и снаружи. Я ухитрялась строчить только четырнадцать раз, затем тринадцать, двенадцать... ничего. Мало заметно, да и чулок от этого не делается менее теплым.

Несколько дней все сходило гладко. Но затем сам шеф вырвал у браковщицы один из моих чулков. По номерку он узнал, чье это изделие.

— Иностранная баронесса! — кричал он, швыряя в меня пару за парой. — Ты у меня узнаешь, негодница негодная!

Всю ночь я порола и заново строчила «обманные» свои чулки, усталая, голодная, запертая одна в пустом закрытом цехе.

Утром меня отпустили завтракать и снова погнали в цех. Я ослабела настолько, что прошила себе ноготь и тут же, от страшной боли, упала без сознания.

На другой день меня не выпустили в рабочую зону. Что это значит? Это значит, что ты, негодница негодная, включена в этап.

— Я поговорю с Яковом Ефимовичем, — сухо бросила Нора.

— Заткнись ты лучше, а то плохо будет! — закричала на нее Лёля. Она была вне себя.

А мне казалось: так лучше... куда они, туда и я... найду их, изгнанников.

Я пошла в больницу прощаться с Хуаном. Он лежал опухший до неузнаваемости. Он понял, что прощается со мной навсегда, а скоро — и со всем светом, таким непонятым. Я целовала его, и слезы — его и мои — слились на наших лицах. Гренада отодвигалась куда-то... далеко, далеко... за пределы мира.

С профессором я прощалась на людях. Почти молча. Боль пришла не сразу.

Наутро собрали этап. Сколько их уже было при мне! Ведь это шестой год! Этапы... приходящие, уходящие... Но этап на этап не похож. На этот раз отправляли «разгильдяев» и главным образом «женатиков» — мужчин или, наоборот, красоток, наказанных таким образом за сожительство.

— Вы имели право лишить нас свободы, но не имеете права отнимать у нас жизнь! Так нельзя. Это — наш лагерь, советский!.. — кричали разлученные.

— Для чего же мы надрывались, если вы с нами так...

Один рецидивист что-то налил себе в глаз, чтобы попасть в больницу, а не на этап. Другой — сильно повредил колено.

Мне оставалось одно: менять горе на горе, то есть попеременно думать обо всех, чья судьба мне неизвестна и еще страшнее моей.

Я упрекала себя, что мало, слишком мало сделала для своих, любила их недостаточно или не так, как люблю теперь...

С тех пор я узнала много разных работ и разных лагпунктов. Осесть нигде не пришлось. Слабосилку везде отсеивают.

Вот тут строится ветка железной дороги. Таскаем рельсы, шпалы, немыслимо тяжелые. Или трамбуем дорогу. Ташим самих себя. Ночуем около костра, вповалку — мужчины и женщины. Матрацами служат ветви елок и сосен, густо настеленные на снегу. У бойцов тоже костер. Их двое. Они дежурят по часам и по часам будят одного из нас — следить за кострами.

Пища теперь такая: лепешки из серой муки и снежной воды, испеченные на наших лопатах. «Купите бублички, горячи бублички, берите бублички, честной народ», — напевал неунывающий курносый паренек. «Честной народ» дней через 12–14 возвращают в какую-то зону, заменяя его другим.

Помыли, постригли, дали день отдыха. Погнали дальше.

Где-то в пути нас задержали: помогать энкам строить бараки и окружать самих себя зоной.

Затем я попала в мостоколонну. Женщин, слава богу, наверх не гоняли, а заставляли подтаскивать детали и передавать их конвейером, носить доски, водить тачки. Здесь много народу разбилося. «Утонули», — объяснили нам. Весьма правдоподобно. Специалистов — раз, два и обчелся, а остальные не знали специфики этой работы, ее опасностей. Мне и по сей день непонятно — как же строится мост, хотя сама там была, помогала, видела, восхищалась, ужасалась. Может быть, когда-нибудь муж мне объяснит. Он знает...

На одной подкомандировке в барак зашел незнакомый человек в ладном полушубке. «Наконец разыскал!» — сказал он и передал мне записку: «Привет от Гиты и меня. Не унывайте. Галигин». Гита — это подруга Риммы с кирпичного завода, а кто такой Галигин? Надо бы спросить, но «полушубка» уже не было, а на нарах лежал бесформенный сверток. В нем — настоящие небольшие валенки. В жизни я не носила валенок, не знала, как в них мягко, тепло и уютно — в лесу, на трассе, в дороге и в бараке, когда сидишь усталая, скорчившись в изголовье нар, с закрытыми глазами и «видишь» близких, таких далеких...

И опять в поход. Ночлег в одной из подкомандировок. Я настолько обессилела, что сразу уснула. Утром в бараке никого не оказалось. Не оказалось и драгоценных валенок. Я с ужасом думаю: как же жить?

Обида изливается потоком слез.

За фанерной перегородкой слышится громкая отборная брань. Чей это голос? Кто еще умеет так грубо и весело материться? Вася, Васька!!

— Чего еще?.. — раздается в ответ.

— Вася, это я, Элли, помоги!

— Элли... ишь, придумала, трепло!..

Но он тут же явился, узнал о моей беде.

— Я их, крохоборок несчастных, живо в чувство приведу!

Через несколько минут он принес мои валенки.

— На работу нынче не пойдешь. Идем в ресторан.

Вася недавно прибыл сюда и сразу «заделался» заведующим столовой. Усадил меня и поставил большую миску густой каши.

— Наворачивай давай!

Мы «наворачивали» вместе... Но вдруг я почувствовала на себе глаза, много глаз, голодных, жадных. Я спрятала ложку.

— Чего еще, ешь, говорю.

— Спасибо, Вася, не могу, понимаешь...

Нет, он не понял — ни в этот день, ни в следующие... Он даже злился:

— Не умеешь жить, вот в чем беда.

Потом я уехала. Вася сунул мне в руку буханку хлеба.

— Корми братву, — сердито сказал он и быстро ушел.

Когда снова открылась навигация, я встретила певицу Лиду. Было это на какой-то захудалой пристани-дебаркадере, куда пригнали два-три этапа, человек сто тридцать. Поместили нас на плот. А плот тащил неуклюжий буксир. Мужчин разместили впереди, женщин — сзади. Но и тут, и там — охрана. О наших общих друзьях Лида ничего не знала, а сама натерпелась досыта. Была отправлена куда-то этапом. Далеко на Восток. Но на месте назначения формуляра Лиды не оказалось. Забыли его приложить. Отправили певицу обратно — к формуляру. Своеобразная эта одиссея длилась долго. После нее Лида часто болела...

Ночь. Темно. Холод... Звезды смотрят безучастно с высоты на земной рай. Скоро их не будет видно, начнется белое лето. Монотонное журчание волн не нарушает тишины. Все дремлют или просто молчат. Приближается громоздкий тягач. Подходит все ближе и ближе. Вдруг толчок — и плот наш со стоном разлетается. Крики, лай, суматоха... Единственный уцелевший остаток плота, в который уцепились пятнадцать-двадцать человек, медленно качаясь, плывет по течению. Инстинктивно я наклоняюсь то в одну сторону, то в другую. Кто-то громко взывает к мрачным небесам: «О Мария, помоги! О Мария...» Охранник зло выругался, но молитва не испугалась.

Кусок плота с оставшимися в живых добрался до берега, откуда были видны вышки недалекой зоны. Туда нас и повели. Высушили прозябших, накормили, и снова — комиссия. Распределили. Ведь и тут лишних не оставят. Лида проводила меня до ворот. Хорошо, когда провожают свои... Но куда провожают?

Грузовик идет по сырой от талого снега дороге: бушлатники, кирпичи, камни. Но я это едва различаю, я сама — бушлат и кирка. А в голове у меня слова Ромена Роллана: «Надо заставить людей быть счастливыми». Может, потому что людей заставляют быть несчастными, миллионы людей?

На сей раз удача: меня вернули в промкомбинат. Но послали на лесоразработки. Я, видимо, еще не совсем искупила совершенные здесь грехи.

Я снова в своем бараке. Меня туда контрабандой устроили.

Риммы нет. Профессора-друга нет.

Один рабочий — он часто играл в шахматы с профессором — рассказал:

— Он, скорее всего, в Центральном, у начальства на глазах. Тут такая история была! Якову Ефимычу стукнуло шестьдесят лет. И дали ему по такому случаю досрочку. За «особые заслуги», разумеется.

Знает, как начальству угодить. Урки не зря болтают: «Дело ясное, что дело темное». Разумеется! Ну, решили начальнички устроить ему вроде юбилея: документ на досрочку поднести в торжественной обстановке. А профессору для этого поганого юбилея – показать концерт и сочинить адрес, хвалебный разумеется. Ну он и написал! И рамочку заказал инженеру одному.

Собралось на вечер все начальство: и местное, и высшее приехало. Вышла тут, разумеется, одна важная особа, швея, и этот адрес прочитала. А там такое! Вы, мол, зорко и преданно следите, чтоб посторонние не воровали, и все в этом роде. И так хитро написано, что в зале не все раскумекали. А уполномоченный схватил адрес и давай про себя читать. Разобрался, гад! А Яков сидит женихом, кланяется да благодарит. Радуетесь!

– А потом?

– Потом мы боялись: что профессору будет за это? Не шутка, сами понимаете. А он как ни в чем не бывало. Днем с людьми, ночью со своей математикой... Дня три прошло – и исчез наш профессор... И еще успел, ну и человек!..

– Что?

– Инженера выручил. На того начальник криком кричал за рамочку, как он смел вякую погань малевать: цветочки, ангелочки, мотыльчики... Профессор все взял на себя: он, мол, заказал, он придумал, никто ничего про адрес не знал.

Зато теперь весь лагерь знает, раскумекали все!

А Ефим хоть и с досрочкой, а своего поста не бросил, остался любимым начальничком: сообразил, что на воле ему так вольно не будет!

Как ни тревожно стало на душе, а я все-таки гордилась этим неравным поединком.

На лесоповале жутко. Территория отведена небольшая; деревья, зацепившись за другие, еще не подпиленные, падают не туда, куда надо. Валежник, пеньки, кучи срубленных веток. Ранило немолодую женщину. Тяжело. Свалило старого туркмена. Он долго держал наши руки, мучительно хотел что-то сказать. Затем закрыл глаза. Но казалось, что и закрытые глаза о чем-то спрашивают, требуют правды в ответ. Бригадир прикрыл синеющее лицо красным лоскутом. Тут я внезапно где-то в себе услышала слова Эрнста Буша:

Wo sein Gesicht wor
Zag die rote Fahne*.

* Там, где было его лицо,
Лежало красное знамя... (нем.)

Я долго не могла расстаться с погибшим. Мне хотелось уйти из жизни вместе с ним. Не от сострадания, не от малодушия, а от усталости... Чтобы больше не надрывалось сердце. Значит, все же от сострадания, все же от малодушия? Не помогают размышления, нет...

Писем нет ниоткуда. Всех нас разогнали в разные стороны. Ничего мы друг о друге не знаем.

Где-то профессор? Здоров ли? Одно утешение: я знаю, что он никогда не останется без поддержки. У него жена — замечательная женщина, верная и благородная. Она делает для мужа все возможное и невозможное. Она готова делить с ним его страшную долю. А делим ее мы все. И я.

Снова шьется военное. Теплое. На конвейере не хватает одной швеи. Яков Ефимович посадил меня к ним. Шьют они страшно быстро и безобразно небрежно. Куда хуже эзков! Не прошло и трех недель, как меня вызвал шеф:

— Ты теперь поумнела, иностранная баронесса... (Провались он с этой нелепой кличкой!..) Молчишь. Ну коль так, то отвечай мне — кто из этих баб-солдаток ворует, а?

— Не знаю, Яков Ефимович, я и так еле успеваю за ними. Некогда мне смотреть.

— Ерунда. Присмотришь. И расскажешь. Даю тебе два дня. Иначе пеняй на себя.

Я, конечно, видела ежедневно, что воруют. Но не задумывалась над этим. А теперь молчать нельзя. Я их предупредила.

— Плевать. Ничего они нам не сделают — у нас дети, а мужья воюют.

Однако сделали. Провели обыск у них дома в рабочее время, а затем уже при выходе из цеха. Урожай был богатый. Составили акт о расхищении государственного имущества и отправили всех куда следует. Пошли обыски и по всем баракам, и там та же картина. Воровок зачислили в этап на штрафные. Немедленно отправили первую группу наказанных. На другой день — остальных. С ними и меня. И еще Маню Гуськову, кладовщицу обувного цеха. У нее отняли пару заготовок. На сей раз меня никто не провожает. Все на работе, а у Лёли с горя припадок, сердечный или нервный, после того, как она «схватилась» с Норой. Еще вчера она пела: «Как мне жаль прежних дней...» Да, жаль...

На Центральном штрафников впахнули к штрафникам. В бараке — отправленные вчера из комбината и еще откуда-то. Толкотня. Будто вытеснен даже свет и воздух. Крик, брань, возня. Маня все же нашла угол, где можно поставить чемоданы — ее, тяжеловесный (передали его Мане «умеючи» уже за зоной комбината), и мой,

подаренный профессором, — лагерный, фанерный. В столовке такой можно было обменять на хлеб.

— Переночуем сидя, а завтра все равно отправят к черту на кулички, — решила Маня. — Давай греться!

Но тут нас вызвали на регистрацию. Длилась она недолго, и, как всегда, осталось неизвестно, куда отправят штрафников. Их много. Видимо, штрафных колоний тоже немало.

Возвратившись в барак, Маня тут же заметила, что исчез ее рюкзак с дорожным провиантом. Мой чемодан, хоть и был исправно закрыт, оказался пустым. Ни продуктов, ни приобретенных с таким трудом тряпок. Осталась я с кружкой Андреевича, его подушкой и в чем есть. Непостижимым инстинктом воровки наметили себе жертвы — обобрали именно тех, кто драться не станет. Чемодан Мани в спешке не сумели открыть. На нем висел слишком замысловатый замок.

Когда одна швея, обнаружив пропажу своих вещей и десяти рублей — месячный комбинатский заработок «на махорку», — все же завопила, косоглазая урка презрительно бросила:

— Мы тут уже столько дней, все свое сожрали. Не все равно кому теперь голодать — нам или вам.

Вскоре голодать пришлось и нам, и им. В вагонах на «40 человек или 8 лошадей». Сколько туда заперли сверх 40 человек — никого не интересовало, лишь бы втиснуть. Еды — ни у кого ни крошки... А воды штрафникам в пути следования «не полагается».

Голод постепенно стал мучением, жажда — пыткой. Разумнее всего дремать, но поезд идет рывками, то останавливается, то с грохотом рвется вперед. Голод и жажда снова просыпаются, а вместе с ними донимает и холод...

«Что ж, от горя и до горя, — думала я. — Не умирают в середине третьего акта... так вроде сказано у Ибсена. Это он — о построении драмы, но не такой».

При выгрузке слышны только лай и слова команды. Из высохших гортаней не выдавишь ни слова. Да и незачем...

Угрюмо молчащую партию повели по тайге до колонны «6-я женская штрафная». Мы сидели в длинном прокуренном бараке и ждали. Чего, собственно, — трудно сказать.

Заговорила высокая стройная красотка:

— Я — Маруся Драчкова. Я ваш староста. Староста, а не дневальная. Чтоб у меня порядок был. Поняли?

Ответа нет.

— Вы чего, подыхать собрались все гуртом?

Она громко засмеялась. С верхних нар (здесь сплошные) кто-то вмешался:

— Да перестань ты им крутить мозги. Они же дошли окончательно.

— Не лезь не в свое дело, — ответила Маруська.

Она вышла и скоро вернулась с доской, на которой лежали аккумуляторно нарезанные куски хлеба.

— Получайте по 200 граммов авансом.

Мы принялись за хлеб, но только раскрошив его в кипятке, смогли проглотить. Больно было, как при ангине. Ели медленно, так сказать, «сознательно». Я почувствовала острый стыд за всех обреченных на свете, а еще больше за тех, кто обрекает... Это чувство стыда и гнева не исчезало даже во сне.

Шестая штрафная — четыре узких вытянутых барака: кухня, швейно-ремонтная конура, дезокамера, и все. Столовки нет, бани нет, медпункта нет. А пекарня, хлеборезка, контора, каптерка — за зоной.

Мужчин-зэков — прораб, нормировщик, завпекарней, хлеборез, старший повар, парикмахер, каптер, шофер... — человек так 25. По «положению» они, видно, не штрафники. Основная черта таких власть имущих уголовников — злоупотребление этой властью.

На барак дают всего один бак воды в сутки. Это и мыть, и пить, и стирать.

Женщины ходят с бритыми головами. Нас сразу же обрили. Так надо. Для большего унижения и ради гигиены. Зеркала ни у кого нет, но любая из нас ощущает свой убогий вид. Поэтому шапки-ушанки снимают только в часы сна.

Но есть и небритые. Все они на выгодных работах, веселы и легкомысленны. Как они достигли привилегированного положения, нам стало понятно со временем.

Колонна «аварийная». Здесь непрерывно грузят и отправляют стройлес на товарняках. Лес этот надо выдалбливать из-подо льда около берега, где он остался после сплава. Работа эта невероятно тяжелая — по-настоящему здоровых среди нас почти нет. Для штрафников не предусмотрены различные категории труда. Всех без разбора гонят на непосильную работу.

Зимний день короток. Трудодень — бесконечен. Но когда он все же кончается и мы, измученные, съев вечернюю баланду с остатком пайки и отдав пожилой дневальной ватную одежду для сушки, наконец-то ложимся, нас часто поднимают среди ночи. Надо немедленно предотвратить аварию. Мы уходим, захватив лопаты, чтобы очистить линию от снега, быстро примерзающего к рельсам. Это воистину сизифов труд — возвращаясь по пройденному пути, мы его снова

должны расчистить, так как рельсы опять оледенели. Все это происходит в темноте, сюда не проникают зоркие колючие лучи лагерных прожекторов. Отчаянно воют собаки, воеет пурга. Неужели сюда когда-нибудь приходит лето?

Похлебав наскоро утреннюю бурду, мы выходим снова. Идем к речке – разбивать толстый слой льда, вытаскивать бревна, пилить их на четырехметровки и катать к железной дороге для погрузки.

Горит костер. С самого начала рабочего дня его надо разложить для бойца. И второй, у которого мы имеем право, вернее, разрешение «вохряка» погреться. Поочередно. По одной.

Обед – баланду и кашу – привозят на санях еще теплыми. Бригадир – та же Маруська – выдает премблюда не по рапортничкам, а своим подружкам. Также премиальную спичечную коробку махорки. Это доводит бригаду до белого каления. Но Маруська на упреки с усмешкой отвечает:

– Я здесь хозяйка, что хочу, то и делаю.

А начальник:

– Вам выписано, выдано, а там делите как хотите.

Дневальная нам шепотом объясняет:

– Маруська – краля завпекарней, какая же на нее может быть управа?

От усталости я первые ночи спала как убитая, не помня ни добра, ни зла. Затем стали ныть измученные плечи, руки, суставы, и я, прикрываясь одеялом Мани, глубоко погрузилась в свое одиночество.

Маня и я – вся здешняя 58-я. Работала Маня по ночам, на ремонте рабочей одежды. Иногда шила для дам начальников. Махорку она не выменивала, а отдавала мне, даже вместе с бумагой. В общем, была привязана ко мне, но никак и ничем не могла заменить ни Риммы, ни Жаннет, ни даже тети Ириши. У нее просто был какой-то другой внутренний мир – одноплановый, безмятежный.

Как-то вечером Маруська объявила:

– Завтра, девки, выходной. Гуляем до упаду.

Она принарядилась и исчезла со свитой подружек. В бараке крепко натопили. Кое-кто переоделся в майки и эковские саржевые юбки, другие продолжали чинить тряпье, искать вшей друг у дружки в коротких волосах.

После отбоя зашли мужчины. Гуськом. Человек двенадцать-четырнадцать. Стол поставили на ребро к стене, скамейки швырнули в угол. Кавалеры сбросили бушлаты и обувь и запросто залезли на нары. Несколькими тюфяков кинули на пол, и вот на нарах и на полу началась дикая оргия. Некоторые красотки просто пошли по рукам. Один гость

играл на губной гармонике. На коленях у него сидела его краля, обнимая его голыми жилистыми руками, и посвистывала. Одна парочка увлеченно танцевала под эту музыку. С первого и второго этажа зрители не без любопытства смотрели этот сеанс нечеловеческой мерзости и обменивались своими наблюдениями, как в кино.

Свист, стон, смех, полураздетые фигуры, храп, гармонь. Все это закружилось в моей голове, меня охватил нестерпимый ужас... Я вскочила, натянула недосушенную ватную одежду и выбежала за порог. Там я сидела, тупо размышляя: «Люди, люди... Вы и не знаете, кем могли бы быть и во что еще можете превратиться...»

Острый шпиль прожектора вонзился в мои мысли. С вышки сигнал: подходит «обходной».

— Смирно, цыц! — кричит он кидающейся на меня собаке. Затем: — Ты чего, правил не знаешь, что по ночам хождение по зоне никакое не положено?

Пауза.

— А ну, отвечай-ка, госпожа воровка!

Он прав — не положено. Я без звука встала и вернулась в развеселую компанию. Принимая мою одежду, дневальная добродушно заметила:

— Живые люди, пусть их наслаждаются...

Это слово, во всех его вариантах, я вычеркнула из своего лексикона и даже слышать его не могу без содрогания.

С тех пор, как только по вечерам слышался неистовый наглый смех и крики «Живем только раз!», я зарывалась в одеяло и уходила в себя. Думать о своих друзьях или о великих людях науки и искусства не смела — это казалось кощунством. Я думала о чем-то далеком, давнем... О покрытой свежим пушистым снегом площадке, мимо которой я, первоклассница, ходила в школу. Радовалась, если снег был нетронутый, и огорчалась, если на нем были чьи-то грубые следы. Тогда эти следы казались мне кощунством.

Одежду часто дезинфицировали. Бараки тоже. Нам иногда давали помыться согретой снежной водой в дезокамере. Но вывести вшей не удавалось. Все тело непереносимо зудело. Все чесались и царапались до крови. Да, вшивость казалась мне особо изощренным надругательством. Я отчаивалась: «Неужели до конца срока — вот так?»

Воровали все у всех, когда было что своровать. Даже подруга у подруги. Разнюхав, кто виноват, они дрались, возвращали свое добришко и снова дружили.

Однажды ночью, под утро, ко мне подлезла одна уркачка и, обнажив крысиные зубы, зашипела:

— Молчи, зараза, а то башку отшибу.

Она стащила с меня Манино одеяло, каким-то крючком раскрыла ее чемодан, вытащила сапоги, тапочки, платье – все, что ей приглянулось.

– Оставь, – просила я, – Мане скоро освобождаться, в чем же она...

– Да ты заткнешься, дуры кусок! – снова зашипела она и ударила меня по лицу так сильно, что я вскрикнула.

Проснулась дневальная за печкой и другие.

– Эй, что орете, малахольные!

– Ну да, защитница нашлась, кукла чертова!

Но все уже заснуло снова. До подъема крысозубая с меня глаз не спускала. Затем вытащила добычу из барака. Мне сделалось худо. Переборов себя, я одной из первых вышла за завтраком и в темноте проскользнула в подвал к Мане.

Чтобы не выдать меня, она спокойно зашла «домой» и, будто внезапно обнаружив пропажу, выбежала к вахте. Задержали развод, провели обыск по всей территории. Одеяло нашли под опрокинутой бочкой. Сапоги сняли с девки-возчицы. Она натянула их под ватные чулки, чтобы «сплавить» за зоной. Остальное не нашли. Крысозубую я не разоблачила, подчиняясь волчьему закону. Она с омерзением смотрела на меня и тоже молчала.

– Слушай, ты этого повара нового знаешь? – спрашивает в очереди за ужином одна блатная другую.

– Длинного-то? Нет.

– Я тоже нет, но, кажется, на восемнадцатом я с ним жила...

Утром, перед разводом, замначальника спросил ту же самую блатную:

– Эй ты, снова погостить приехала?

– Начальничек, ей-богу, три месяца ни с кем не жила.

– Колоссально! Объявляю тебя святой.

– А мне не надо, дай лучше покурить, начальничек.

...И отсюда часть ВОХР отправили на фронт. Бригада теперь ходит без стражи, под расписку Маруськи. И работа другая. Надо распиленные стволы (баланы) складывать в штабеля определенной кубатуры. На опушке леса Маруська обнаружила немало невывезенных прошлогодних штабелей. Бревна, правда, с обеих сторон маркированные – дата, штамп и еще какой-то знак, но Маруську это ничуть не смутило. Мы тщательно очистили несколько штабелей от снега, сняли с них все знаки и целый день как ни в чем не бывало просидели у костра. Болтали о том о сем. О своих делишках. Событиями в мире эта публика не интересовалась. Время от времени Маруська командовала: «Раз, два – взяли», и все хором подхватывали: «Еще взяли!..»

Номер прошел. Так было несколько дней. Но однажды, когда мы бес- печно орали «еще взяли», за нами сквозь серо-зимнюю темень наблю- дали прораб и нормировщик.

— А ну, продолжайте, чего затихли? — начал прораб.

— Здорово живем, здорово! — сказал нормировщик.

— Давно ты так, Маруська?

— А чего — давно? — наигранно наивно спросила она.

Но это был неверный ход. Начальнички разозлились до истерики. Немедленно увели бригаду в зону на расправу. Мы стояли перед вах- той и ждали. Молча. Вышел комендант.

— Украденные дни отработаете как миленькие, — сказал он пове- лительно.

— Прекратить всякую туфту, а то вам костей отсюда век не выта- щить! Законвоировать!

Да, на штрафной умели заставить работать. Вот у Любы Кравчен- ко из соседнего барака открылось кровотечение. Было ясно, что она сама или с чьей-то помощью его вызвала. Не хотела родить. Ни врача, ни фельдшера не вызвали, насильно погнали ее на работу. Однажды просто повезли на санях. Потом у нее поднялась температура. Тогда только отправили...

Вечером дневальная всем выдавала хлеб по выработке. Пайки, зна- чит, разные. Но до нашего прихода каждый раз исчезала самая боль- шая. Из-за этого в бараке бывали дикие скандалы. Маруся считала пропажу хлеба личным оскорблением. Как-то раз она сразу же после обеда вернулась домой. Одна. В это время дневальная ходила за водой или за дровами. Маруська залезла под нары. Ждала она долго, но свое- го дождалась. Вошла Анисья, этакая фифочка, работавшая на электро- станции. Еще на швейкомбинате ее все возненавидели, узнав на генпроверке, что она осуждена на 7 лет за убийство собственной доч- ки. Вот эта особа выбрала себе самую большую пайку, разломила и спря- тала в карман. Маруська обрушилась на нее как тигрица. Она колотила и колотила ее, пока та не потеряла сознание. Пришлось отвезти ее в больницу. Потом стало известно, что она ослепла на один глаз.

— Так и надо, — отозвалась Маруська. — У нас за пайку — глаз вон, и все тут.

Как понять такую Анисью, такую Марусю и начальство, которое не удосужилось даже разобрать это дело?

...Все еще зима, и все та же убийственная работа. Нет записок от друзей, они не знают, где я, нет никаких известий о текущих собы- тиях, решающих судьбу людей. Даже песен нет, здесь не поют.

Я стояла у костра. Боец, следивший за мной, вдруг приказал:

— Отойди на три шага!

Я неохотно отошла. Он подошел к огню, положил довольно большой кусок колотого сероватого сахара:

— Бери!

Я удивилась, но взяла, тогда боец отошел на положенное расстояние. Поблагодарить я не решилась.

— Тошно смотреть, — сказал он неопределенно.

Так повторялось много дней. Эта тайна между мной и бойцом стала мне дорога. Но бойца этого, как обычно, скоро заменили другим.

Освобождалась Маня. Друзьями мы, в сущности, не были. И разлука с ней была не так уж тяжела. А все-таки, оставшись одна, без Мани, единственная «58-я» среди всех, я еще острее ощутила безысходную навязчивую тоску. Я стала сомневаться во всем, даже в том, что я — это я, а не тень, призрак.

Что же дальше? Сколько и чего можно ждать? И снова в душе нарастал протест. Не хотела я больше работать. Не могла. В день, когда я это поняла, и в самом деле не стала работать. Решила: вечером брошусь под поезд (я не сообразила того, что именно поэтому надо работать, чтобы не обратить на себя внимания). Охранник гнал меня от костра, а я — ни с места. Девки смеялись: «Пусть ее отдохнет, скелетина!» Они меня не жалели. Я для них была чужая, никто.

А мне было горько, пусто и темно. Вдруг стало темнеть все вокруг меня. И сразу наступила ночь. Все было как когда-то, в санмашине.

Домой меня вели под руки. Два дня я лежала в тишине в безлюдном бараке. Какая она была добрая, эта тишина, и как мало пугала слепота! Не видеть — было почти спасением. Я начала сочинять вслух:

Как нужен друг,
Когда не знаешь ты,
Куда податься...

Не получалось. Тогда я стала напевать тихо моцартовскую колыбельную. Несколько слов по-чешски, несколько по-немецки, несколько по-русски... К моему голосу присоединился другой, мужской. На каком-то языке, вернее всего — венгерском. Я нахмурилась.

— Оставьте меня в покое.

— Я и приехал, чтоб обеспечить вам покой. Разрешите представить: доктор Молхар. Сегодня же я вас перевезу в больницу. Здесь не разобрались — решили, что вы симулируете.

Он засмеялся. А я все еще злилась:

— А может быть, и симулирую. Здесь такое не в диковинку.

— Все равно я отвез бы вас, — сказал Молхар, став очень серьезным.

Ехали мы через реку, все еще замерзшую, — возница, врач и я и еще одна нервнобольная. Она кричала, прыгала и, наконец, выбросила мой заслуженный чемодан. Он с грохотом разбился о лед. Оставили сани и вернули мои пожитки: ту же подушку Андреевича и его кружку.

После укола снотворного я, должно быть, долго спала. А утром услышала:

— Здравствуй, с новой встречей!

— Доктор Маревская! — От неожиданности я растерялась.

— Спокойно, ничего страшного.

Я все еще никак не могла опомниться.

— Я ведь не знала, доктор, что вас перевели в другой сельхоз.

— Что ж, тем лучше для тебя. Здесь немало старых знакомых.

Я лежала спокойно, даже слабость была какая-то спокойная. «Если бы само счастье постучалось в мою дверь, у меня не хватило бы сил выйти ему навстречу», — писала Роза Люксембург из тюрьмы. У меня тоже не хватило бы сил... А слово «счастье» стало непонятным словом.

О штрафной я вспоминала как о чем-то очень далеком, непонятном. Какая там была природа? Какие люди? Я осталась среди них совсем незамеченной, инородной, и, как ни стыдно признаться, я никогда не пыталась сблизиться с ними хоть сколько-нибудь. Никто не был нужен мне, и поэтому и я не была никому нужна. А быть ненужной — этого я не умела никогда в жизни.

Покой — великое дело. Даже внешний. Я снова стала видеть. Лежала тихо, бездумно.

Кто-то передал мне аккуратно зашитое треугольничком письмо. Я долго держала его в руках, не открывая. Это ведь первое письмо за все годы... От Линчика. Он освободился и остался на ферме № 6 ради нас, друзей, чтобы быть поближе. «Работаю администрацией пожарной, — писал он. — Недавно прибыла Инесса. Я рад, что мог помочь ей на первых порах. Теперь она уже ворочает вовсю. В тюрьме был и профессор. Не расстраивайтесь, родная». Он опять «вольный» зэк и, видимо, опять худрук своего театрального коллектива в Центральном.

Письмо долго шло по подкомандировкам через верные руки.

— Почему я не знал, что ты в отделении? — удивился Ильюшка, зайдя в спецзону, где находилась больница Маревской. — Сегодня же переведу тебя к себе, в терапевтический!

Туда меня положили «на поправку» — у меня сползла кожа с рук и ног. Цинга. Начало конца, что ли?.. Чем-то смазывали, туго забинтовывали. Усердно лечили хвойным экстрактом, капустным рассолом, кусками сырой картошки. Еще давали дрожжи. «Американские», — говорили больные.

Я выписалась, когда уже началась работа в парниках. Пилила там дрова. С Верочкой. Она мало говорила о встрече, но радовалась, как и я. У нее был вид измученного, но не опустившегося человека. Она словно подтверждение мысли, когда-то высказанной профессором: «Видимо, нужен огромный жизненный переворот, чтобы человек мобилизовал всю силу своего духа».

Из теплиц выходит Инесса.

— Будем знакомы, — смеется она. — Я только вечером вернулась. По подкомандировкам была. Здесь их много. Беспорядки. Да ты в этом мало смыслешь. А здесь — ничего. Молодец Багров.

— А Татьяна?

— Ее оставили в монастыре. Все вы славные, но с Татьяной никого не сравнишь.

В лаборатории, пока еще не оборудованной, Инесса угостила меня малиновым чаем и печеньем. Когда я съела три-четыре штуки, она отняла коробку, сказав:

— Другим тоже надо...

Я узнала о ее пребывании в следственной тюрьме. Самое трудное было то, что Инесса не знала, кого в сельхозе допрашивают и о чем. И не поддается ли кто? От испуга, от усталости.

— К счастью, подлецов не нашлось. На очную ставку привезли доцентика и одного вахтера. Помнишь, был такой полоумный кавказец? Не выдержал «следственных приемов» или позора. Умер. Зато Доцентик показал себя в полном блеске. «Все записано черным по белому, — объявил он. — Хоть и не хочется вам умирать, но придется».

— А ты, Инесса, что же ты на это?

— Очень просто: «И вам придется, — говорю. — Однако в смертный час вам предстоит еще держать ответ перед своей черной совестью...» Ну а раз свидетелей не набрали, дело состряпать не смогли. Особое совещание все равно прибавило срок. Не знаю сколько. Не интересуюсь.

— Держались крепко все, — радовалась я.

— О да, а лучше всех Линчик. Ну и Татьяна, разумеется. — Тут Инесса засмеялась: — Даже уважать меня стали в тюрьме — за работу. Развела я им огород во дворе. «Имандра» здорово росла...

Спросить о профессоре я не решилась.

На парниках идет опыление огурцов. Мне нравилось это вмешательство науки в жизнь природы. Я работала внимательно, очень осторожно.

Затем все из нашей небольшой бригады стали водоносами. Парники требуют много влаги. Приходится таскать воду с ручейка, протекающего ниже парников. Механизации, как обычно, никакой. Ведра сами по себе тяжелы, а полные — просто непосильный груз. Вечерочка умела носить их на коромыслах. Другие тоже, а я — нет. Руки — твердые и грубые, плечи и спина чудовищно болели. Огурцов стало много. Их ежедневно собирали для местного и чужого начальства, для ВОХРы и детей.

По вечерам тайком заходила к Инночке. Детсестра Настя поднимала сонную девочку. Я держала на руках ее теплое детское тельце. Иннуська, чуть приоткрыв глаза, спрашивала:

— Тетя-мама, моковочку принесла?

Съедала огурчик и снова засыпала. Морковка была любимым лакомством детей.

Нина-южанка и Эмми рассказывали, как безобразно была организована переправка детей в этот сельхоз. Почти все грузовики на фронте, да доктор Митрофанова и не подумала их затребовать. Детобслуга сама тащила к далекой пристани кровати, инвентарь и малышей. Помогали мамки и беременные, которых тоже отправляли сюда. Это было прошлым летом. Погода стояла хорошая, но вдруг полил дождь. Дети испугались, стали плакать, а сестры не знали, как их уберечь. Ведь ехали на открытой палубе. Наконец более или менее благополучно высадились и прибыли в сельхоз. Но тут снова беда: бараки, где раньше ютились туберкулезные, еще не были продезинфицированы. Ольга Павловна протестовала против вселения детей в такой очаг заразы. В результате получила строгий выговор за неподчинение, а детей пришлось несколько дней держать под открытым небом. Все эти дни детобслуга голыми руками выдирала около барачков целые слои заплыванной земли. Потом побелили бараки, привели хозяйство в порядок. Мамки крепко помогали и так же крепко ругались.

— Вольнонаемная стала кляча! Теперь с ней вовсе сладу нет, — со злобой говорили они о Митрофановой, хоть она и сама помогала по возможности.

Встреча с Ольгой Павловной была очень трогательной.

— Все еще добиваюсь настоящего «самостоятельного» тубдиспансера, — услышала я.

– Это тебе не Митрофанова и не Маревская, – твердила Инесса. – Это – человек.

Дня через два выстроили всех и пересчитали по спискам 2-го отдела. Бригад не выводили на работы, а чем-то заняли в зоне. Вся ВОХР с собаками прочесывала тайгу вокруг. Бесперывно гудела сирена, не то жалобно, не то тревожно.

– Какой может быть побег, лето-то прошло! – раздраженно толковали блатные. – Заблудились они в ихних тайгах!

«Они» были пойманы. Утром нестройная процессия бригад прошла мимо двух трупов, неестественно вытянувшихся на земле. Лица были прикрыты шапками.

ТАМАРА ПЕТКЕВИЧ



Тамара Владимировна Петкевич родилась в 1920 году в Петрограде. Родители ее в Гражданскую войну служили в одной дивизии, попали в плен к колчаковцам, бежали.

В тридцать седьмом году арестовали отца, бывшего в то время директором торфяного предприятия вблизи Ленинграда. Тамару, как дочь «врага народа», исключили из комсомола. Ее школьные друзья покорно проголосовали «за». Не поднял руки только Илья Грановский, ныне искусствовед. Положение Тамары стало невыносимым: ее преследовали сотрудники НКВД, хотели сделать осведомителем. Посоветовавшись с матерью, тайно от всех она уехала во Фрунзе, там вышла замуж и поступила во Фрунзенский медицинский институт. Через полтора года ее прямо с лекции увели в тюрьму. После длительного следствия осудили на десять лет лагерей строгого режима.

В северных лагерях Тамаре помог уцелеть обнаружившийся у нее талант актрисы. Ее взял в свою труппу режиссер А. О. Гавронский, тоже отбывавший срок.

После освобождения Тамара Владимировна прослужила несколько сезонов в театре, заочно закончила театроведческое отделение Ленинградского

Государственного института театра, музыки и кинематографии. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Здесь публикуется небольшой отрывок из обширной рукописи ее воспоминаний.

Владимир Галицкий

ВСЕГО ОДНА СУДЬБА

Ночь перед этапом прошла без сна. Выверяли формуляры, стригли, выдали паек: 500 граммов хлеба и две ржавые селетки. В тюремный двор уже заглянуло солнце, а нас все еще не строили. Кто-то из особо жаждущих разузнать место назначения преуспел, подслушал: этап должен был проследовать в Джанги-Джирский женский лагерь.

– Не слышали, сколько это от Фрунзе?

– Километров около ста.

– На чем нас туда повезут?

– Повезут? А пёхом топать не хотите?

Причина задержки стала ясна, когда из изолятора привели женщину, лицо которой было в иссиня-желтых подтеках, опухшее, со следами недавних побоев. Она шаталась, жмурилась от света. Видимо, ее долго отхаживали.

Молоденький со смазливим личиком командир этапа пронзительно закричал:

– Всем смотреть сюда! Всем! Это чучело задумало бежать из лагеря. Так вот: она за это получит, что полагается, а сейчас поведет вас дорогой, которой бежала. Если дадим круг верст в семьдесят, ее благодарить будете. Ясно? Всем ясно, спрашиваю?

Безучастную ко всему женщину поставили головной в колонне.

Нас пересчитали: сорок человек. Прямоугольник (десять рядов по четыре человека), окруженный конвоирами и собаками, был готов к отправке.

Командир напутствовал:

– При побеге будем стрелять. Шаг вправо, шаг влево считаются побегом! Понятно? Повторяю: шаг вправо, шаг влево... и получите пулю.

Открыли тюремные ворота. Мы вступили на мостовые города.

...По мере того как исчезали его очертания, я почти физически чувствовала, как от насильственного натяжения рвались еще такие не изношенные чувства и представления о жизни, которые до той поры и составляли меня.

Какого небожеского происхождения, чуждая сила уводила меня в этом строю неизвестно на что, непонятно куда? Почему ей следовало повиноваться?

Мы шли и шли. Никто ни с кем не разговаривал. Только молодой командир все надсадно кричал на ту несчастную, которая спотыкалась, тащилась не только в голове этапа, но и впереди конвоя.

Часов до десяти шли относительно спокойно. Но постепенно все, чему мы поначалу радовались после четырехмесячного пребывания в камере: воздуху, ветру и солнцу, оборачивалось наказанием. Голубое небо, становясь кандално-синим, безжалостно сливало на наши головы раскаленную лаву. Ветер и каждый шаг впереди идущего поднимали песок. Он забивал рот, глаза, волосы. Песок и солнце. Солнце и песок. Деться было некуда.

Мы уже перешли предел своих возможностей и сил, а нам не разрешали останавливаться. Упал один, второй. Когда оставшиеся лежать на окрик «встать, буду стрелять!» не поднимались, их взваливали на телегу и везли за нами. Так разъяснилось предназначение двух подвод, приписанных к этапу.

Не знаю, через сколько верст нам разрешили сделать первый привал и залезть под телеги, на которых лежали, прикрытые рогожей, получившие «солнечный удар» люди. Мы «управлялись» с хлебом и ржавыми селедками. Воды не полагалось. Приходилось отворачиваться, когда конвоиры отвинчивали флаги, из которых им в рот текла вода.

Лицо уже было сожжено солнцем, кожу рвало, как при нарыве. Для глаз оставались щели. Я вся заплыла. Командир хохотал:

— Принял в этап польку, а приведу монголку.

И снова путь под всерасплавляющим солнцем!

Изнурение! Превозможение! Кошмар безводного неистовства!

Я не знала, что смогу вынести, а чего не осилю. Ощущала себя непонятным производным абсурда. «Забудьте, что вы женщина!» — учила меня «дама в каракулевом манто», которая арестовала меня. Похоже было на то, что теперь явилась возможность забыть, что ты вообще человек. И чтобы удержать это сознание, я шла и шла, ведомая нечеловеческим, ошалелым упрямством, удивлявшим меня самое.

В этапе я была самой молодой. Рядом шли пожилые женщины. Каждый перемогал себя как мог. Если падал, то молча, без жалоб. Здесь сразу понимаешь, насколько ты одинок.

Мы ночевали в степи, на земле. Несколько часов сна... «Дойдем, там поспим!» — утешали себя.

Утром следующего дня подошли к Джанги-Джиру.

Селение осталось в стороне, слева. Огороженные рядами проволоки, перед нами замаячили два больших барака с парой подсобных помещений. То была зона. На четырех вышках по ее углам прохаживались с автоматами охранники.

Но кровь остановилась в жилах и ледяная стужа начала растекаться по ним не от вида зоны как таковой.

Там, за проволокой, стояла шеренга живых существ, отдаленно напоминающих людей. В зное и пекле дня они стояли как вкопанные.

Что? или кто это?

Усталость, физическая боль, решительно все отступило, рассеялось перед фактом того, что это существовало. Мы подошли ближе и уже четко могли разглядеть: да, то были *кто*, то были — люди! Их было человек десять: разного роста скелеты, обтянутые коричневым пергаментом кожи; голые по пояс, с висящими пустыми сумками ссохшихся, ничем не прикрытых грудей, с обритыми наголо головами. Кроме нелепых грязных трусов, на них не было ничего. Берцовые кости заключали вогнутый круг пустоты... *Женщины?!*

Голод, жара, непосильный труд сделали из этих людей гербарий, из которого непостижимым образом еще не вытекла последняя капля жизни.

Для этого же самого привели сюда и нас?!

Когда нас пропустили через вахту, миновать пергаментные человеческие схемы оказалось невозможно. Проходя мимо них, к удивлению, мы слышали осмысленную человеческую речь:

— Вы с воли? Как там?

— Мы по полгода просидели в тюрьме. Не знаем.

Нас «сортировали» по баракам. Я попала в рабочий. Двухъярусные нары опоясывали его стены. Кроме дневальной, никого не было. Все находилось в поле.

«Тени» вошли сюда. Ко мне подошли сразу три. Каждая дотронулась костями пальцев.

— У меня на воле такая дочка.

Другим я напомнила внучку, сестру. Некоторые из них, стоя поодаль, просто смотрели на вновь прибывших с застывшим отупением. В глазах был пугающий острый блеск.

Сколько пределов, границ преступили они???

Числились они инвалидами. Многие были «сактированы», то есть списанными актами, как непригодные к работе, подлежащие освобождению. На волю их тем не менее не отпускали и без работы не оставляли. Сидя на нарах в своем инвалидном бараке, они сучили пряжу с веретена.

Все страдания жизни до этой минуты, до того, как я вблизи увидел этих людей, были: *ложь! неправда! игрушки!* А «это» было настоящим! Правдой! Буквой «А» подлинного алфавита страдания и муки рода человеческого.

Все во мне содрогнулось. Было ли это чувством сострадания к живым человеческим останкам или ужас перед ними — не знаю.

* * *

В Джанги-Джирском лагере работали не только на полях. Был и завод. В большом крытом сарае стояло три машины: декартикаторы. Декартикатор являл собой систему металлических валов, вертящихся навстречу друг другу. Тростник вправлялся в них и проминался ими. Затем, уже в виде волокна, поступал на решетку с крупными зубьями — трясилку, которая отряхивала с него отходы от стеблей — костру. Приемщица снимала с машины уже вороха воздушного, кудрявого и чистого волокна. Его складывали в углу сарая и возле него. Вывозили его работники совхоза.

Один такой декартикатор стоял и в поле под открытым небом. Его обслуживала одна бригада.

На этих машинах обрабатывали коноплю. С кенафом было сложнее.

Кенаф — тоже из вида тростниковых — в огромном количестве складывали в искусственные водоемы. Месяц или два он там мокнул. На поверхности водоема образовывался толстый беловатый слой вечно шевелящихся червей.

В водоем был проложен бревенчатый помост, на который клали вынутый из воды кенаф и били по нему деревянной ступой. Этот способ обработки назывался «мокрой трепкой». Таким размолотом кенаф разделялся в белое, блестящее волокно, напоминавшее шелковые нити.

Попадавший на «мокрую трепку» ходил весь в ранах. Гнилостный запах водоема и толща червей были губительными не только для ног и рук работающих. Истощенные, похожие на скелет тела людей тоже были изъязвлены вонючей водой и червями.

Спасение от «мокрой трепки» люди искали в заискивании не только перед прорабом, но и перед нарядчиком.

К тому времени произошли перемены. Нарядчицей назначили красивую польку, сохранившую все приметы благополучной жизни, Марину Венцлавскую. Прорабом был поставлен Михайловский. Тоже поляк. Он, собственно, был единственным мужчиной в этом женском лагере. Оба они были заключенными, но жили не в бараках, а в отдельных служебных помещениях. Оба они казались вполне, хотя и в меру, доброжелательными.

По всему было видно, что у них был «серьезный роман».

Вскоре меня из полевой бригады перевели на завод. Он работал круглосуточно. Как и все, я мечтала о ночной смене. То было избавлением от непереносимой жары.

Наказанием этого вида работы были миллиарды мельчайших иголок, образующихся при переработке конопли. Иголочки забивались в поры тела и жалили, искалывали всего тебя постоянно, неотменимо. Ни вытряхнуть из одежды, ни «выветрить» никоим образом их было невозможно. Выход был один: притерпеться к необходимости выносить это днем и ночью, во сне и бодрствуя.

Самой трудной операцией из всех работ на заводе считалась «задача» волокна в машину. «Задавать» тростник в машину значило рассыпать его в ряд по размеру валов и запустить в них. Меня и поставили — «на задачу».

Машины тархтели, громыхали, все помещение завода застилала мгла из пыли и иголок. Разглядеть приемщицу, которая снимала волокно с этой же машины, было практически невозможно.

Бывало и так, что этот грохот вдруг перекрывал нечеловеческий, звериный крик. Изнуренная двенадцатичасовой работой «задавальщица» не успевала выдернуть попавшую в петлю запутавшегося тростника руку (а бывало, и обе), и они вместе с ним вовлекались в прижатые друг к другу, вертящиеся стальные валы. Остановить машину не успевали. Помочь тоже. Человек оставался без рук. Истекал кровью. Чаще всего за этим наступала смерть.

Случалось, что тростник не успевали подвозить, и тогда выпадали минуты простоя. Машины замолкали, наступала внезапная тишина. Нам разрешали выйти с завода и лечь на спрессованные кубы волокна, готового к вывозу.

Эти мгновения стали незабываемыми.

Мы оказывались в самом сердце лунной среднеазиатской фантастической ночи: словно плыли в звучных волнах степи. Она гудела, была наводнена шуршанием песка, трав, стрекотом цикад. Люди молчали. Тепло убаюкивало. Полуголодное существование подталкивало не то к забвению, не то к вознесению. Казалось, будто и вовсе тебя нет, ты только в том, что видишь, слышишь, не внемля мирозданию.

Как навязчивые идеи, меня преследовали в тот период две-три, непонятно откуда родившиеся, ассоциации. Громыхание машин на заводе мне представлялось шумом поездов на Витебском вокзале, с которого мы в детстве уезжали на дачу. Каждый день, оказываясь в обстановке завода, я переживала ту же растерянность, что и тогда.

А стоило выдаться подобной минуте, как простой, я будто переселялась в дом Ростовых из «Войны и мира» Толстого и «проживала» все, что чувствовала Наташа, когда пряталась за кадку с цветами, после чего следовало ее объяснение с Борисом. Как в полусне, я погружалась в Наташино предчувствие восторга перед чем-то неизвестным, томившим ее. Неизъяснимый свет этой сцены нисходил на меня, становился душевным настроем и был, вероятно, моим тайным убежищем от реальной жизни. Я плохо видела и слышала все то, что можно было назвать жизнью барака и лагеря. Тем не менее лагерь не отпускал надолго никуда.

Конвоиры у нас были разные. Случалось, хорошие, а чаще — нет.

«Тот» был страшным. Молодой, холодный, острый как нож! Рассказывали, что недавно он убил заключенную, предварительно изнасиловав ее, что «она не первая и, уж понятно, не последняя». Про него говорили — «зверь».

Он сидел на кубках волокна выше всех нас. Автомат держал стоймя. Луна была ему прямо в лицо. Я смотрела на него снизу и вроде бы ничего не думала, не собиралась говорить. И вдруг сама себя услышала:

— А скольких вы убили?

Зачем спросила? Не знаю. Все повернули головы, перестали дышать. Учужала и я, какую совершила оплошность.

«Зверь» не вспылит. Холодно ответил:

— Тебя пристрелю, будешь пятая.

Вскоре привезли тростник. Надо было приступить к работе. Женщины потянулись к уборной. Она была метрах в тридцати. Хотела пойти и я. Одна из заключенных тронула меня за локоть:

— Не ходи! Скажет потом: «В побег хотела», не пожалеет ведь.

Послушалась. Была благодарна. На участие тогда не у многих хватало сил.

Нам убавили норму хлеба. Самым высоким пайком было шестьсот граммов. Одежда на солнце сгорала, ветшала. Казенного обмундирования не выдавали. Шла война. Мы ничего не знали о положении на фронтах.

Однажды я увидела свое отражение в дверном стекле медпункта, и не сразу сообразила, что это я. Поблизости никого не было. Я и не заметила, как превратилась в скелет. Уловить что-то свое в явившемся отражении было почти невозможно.

Окружающие по-разному распоряжались своей пайкой хлеба. Одни ее, как и я, съедали утром целиком; другие делили на три и больше частей, распределяя эти доли на весь день. Последние были, скорее всего, разумней. По возвращении с работы им было чем закусить.

Я же, придя с завода, сразу ложилась спать. Сон помогал избавиться от снедающего чувства голода.

Только однажды из-за высокой температуры меня освободили от работы. В бараке находились дневальная и я. Я лежала на верхних нарах. Напротив меня, возле постели одной из женщин, лежал кусочек хлеба граммов в двести. Куда бы я ни поворачивалась, мысль о куске хлеба не теряла своей наступательной силы. Желание есть было неодолимым. Решив в упор смотреть на хлеб, я вколачивала в себя: «Это чужой хлеб! Чужой! Если я протяну за ним руку, я – воровка! Никогда! Ни за что! Я обойдусь! Надо терпеть! Учиться терпеть!..»

Дразняще, назойливо хлеб маячил перед глазами...

...Я выплыла из удушливой муки голода, поняла, поверила: срам мне не грозит!

В Джанги-Джире с питанием становилось все хуже и хуже. Хлеб привозили нерегулярно. Работать становилось все невыносимее. Мы все «оскелетились».

Однажды после работы в барак пришел прораб. Экономя последние силы, мы недвижно лежали на нарах.

– Кто хочет пойти поработать в совхоз? Им надо построить овощехранилище. За это они накормят.

Через какую-то паузу вызвалось идти человек шесть.

– Может, и вы? – спросил прораб меня.

Да, я понимала, что это шанс жить, но подняться было так трудно.

Все-таки, преодолев желание не двигаться, я слезла с нар.

Было часов семь вечера. Жара спала. Идти надо было километра полтора-два.

В совхозе объяснили, что сначала надо заготовить саман. Мы вырыли яму, замесили глину для среднеазиатского кирпича. Одни подносили воду, другие начали рыть котлован.

Работали не спеша. Нормы не было. Конвоир не стоял над душой. И работа не показалась трудной.

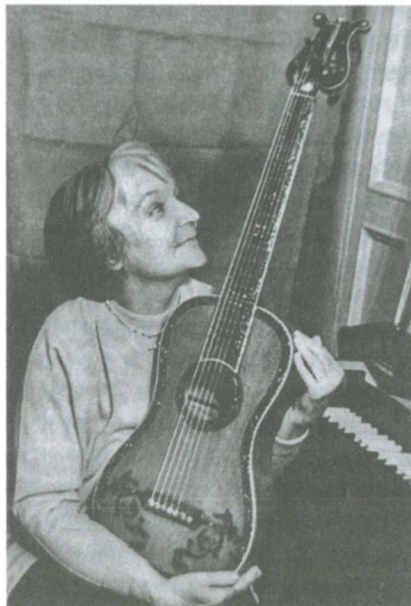
Нами остались довольны. Уже было темно, когда нас тут же, на улице, под навесом усадили за стол, дали каждому граммов по двести хлеба, принесли соль, арбузы и огурцы.

Такое не могло и присниться.

Слышались детские голоса, побрякивали ведра, бидоны. Вот женщина, подоив корову, вошла в дом... заплакал ребенок... в одном из домов потушили свет...

Человеческая жизнь?! Она есть? Как далеко мы от нее...

ТАТЬЯНА ЛЕЩЕНКО-СУХОМЛИНА



«Как мне нравился твой разговор...» – поется в одном старинном романсе. Так сейчас говорят редко. Но про Татьяну Ивановну хочется сказать именно так: ее разговор прекрасен. В нем теплота, сердечная ясность, душевная глубина русской речи.

Семья Лещенко жила в Москве и Пятигорске. Мать, Елизавета Николаевна, из потомственных костромских дворян. Одно время концертирующая пианистка, потом преподавала по классу рояля. Отец, Иван Васильевич Лещенко, из казачьего рода, ученик Тимирязева, окончил Петровскую сельскохозяйственную академию. Играл на скрипке, на гитаре. Дядя, Владимир Андреевич Стеклов, физик-математик, академик, замечательно пел.

С 1924 по 1935 год Татьяна Ивановна живет за границей, заканчивает школу журналистики при Колумбийском университете. В 1929 году ее принимают в американский Союз профессиональных актеров, она играет на сцене нью-йоркского Театра новых драматургов. Затем Париж, Пальма-де-Майорка, Лондон. В тридцать пятом возвращение в Москву с мужем – скульптором Дмитрием Цаплиным – и маленькой дочерью.

В годы войны Татьяна Ивановна выступает в госпиталях Новосибирска и Барнаула, поет под гитару. С 1943 года в Москве начинаются ее сольные концерты.

В сорок седьмом арест, тюрьма, Воркута...

После реабилитации в пятьдесят шестом возвращение в Москву.

Всю жизнь Татьяна Ивановна пишет стихи. Она переводит с английского и французского. Роман «Женщина в белом» Уилки Коллинза в ее переводе на русский выдержал много изданий. Начало дружбы с Жоржем Сименоном положил сделанный ею перевод его повести «Президент».

Дел всегда было достаточно. Сдана в издательство автобиографическая повесть. Съёмки на телевидении, записи на радио, выступления перед публикой с рассказами, воспоминаниями. Но главное – песни.

По возвращении в Москву после лагерей Татьяна Ивановна, аккомпанируя себе на гитаре, пела только в домах своих друзей. Это не было домашним музицированием. Нет, это была концертная деятельность в условиях, по тому времени единственно возможных для артистической работы на началах, которым певица не изменяла никогда. Открылся путь для публичных концертов, они проходят с неизменным успехом. Вышла наконец пластинка с ее песнями. Репертуар велик: старинные песни, романсы, авторские песни.

Идет работа над второй пластинкой. Я помогаю ее аккомпанементу своей гитарой. В очередной раз пришел к ней репетировать.

– Сережа, – сказала она, – я уезжаю. Сниматься в кино. Мне предложили роль французской королевы.

Сергей Чесноков. 1988 год

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «МОЯ ГИТАРА»

Поздно вечером 30 сентября сорок седьмого года я возвращалась домой от Елизаветы Алексеевны Хенкиной. Шел мелкий дождь, но было тепло, и сквозь ситечко моросящего дождя фонари дрожали зыбко и зябко. Пришла. Аленка уже спала, я села на кухне, выпила кофейку и начала раскладывать пасьянс.

Было за полночь. Вдруг раздался стук в дверь, я пошла открывать, думая, что соседке Жене надо позвонить по телефону. Распахнула дверь – пять человек! Трое в военном, молодая женщина (как оказалось, наша дворничиха в качестве понятого). Я молча отступила... и первой моей мыслью было: «Бандиты!» Они вошли в мою комнату. «Ваш паспорт!» Я сказала, улыбаясь: «Слава богу, а я думала, вы бандиты. Проверяете паспорта? Пожалуйста», – и дала им паспорт. Они посмотрели его, и тогда старший военный вынул из кармана бумагу с печатью и подал мне. Ордер на арест. Все в мире притихло, стало

пусто, и гораздо ярче горел свет. Я молча опустила на стул. Царила глубокая тишина, и я смотрела на кружевной бабушкин абажур без мыслей, без чувств. «Что же вы?! Собирайтесь!» – «Надолго?» – спросила я. «Не знаю. Может быть, недели на две».

Я взяла мохнатое полотенце, зубную щетку, мыло, смену белья, пару шелковых чулок, переделалась в самое прелестное мое черное платье, надела пальто. «Пойдемте!» – сказал военный. «Можно дочку поцеловать?» – «Хорошо, только скорей!» Я пошла к Аленке, он за мной. Она спала, я поцеловала ее, она застонала и проснулась: «Мама! Куда ты?!» Я сказала: «Мне надо уйти. Я, наверное, скоро вернусь. Береги Ванюшу!» – и ушла. У подъезда нашего дома мы сели в машину.

Улицы были пустынными, тихими. Подъехали к Лубянке, к тому страшному дому, мимо которого я так часто, так бездумно ходила! Военный позвонил. Дверь захлопнулась за нами, меня ввели в крошечное помещение без окон, ярко горела под потолком электрическая лампочка. Там был стул. Замок защелкнулся. С этой минуты начался долгий, нелепый, тяжкий бред.

Не буду описывать, все равно не подберу слов. Самым страшным были звуки в гробовом безмолвии тюрьмы. Конвойные не разговаривали: они как-то цокали языком, сигнализируя друг другу. Кто-то страшно кричал вдруг – жуткий вопль быстро стихал. Говорят, что, когда людей отрывают внезапно от наркотиков, они так кричат.

Не знаю, через сколько времени меня повезли наверх на лифте, – я отвыкла от времени. Горело электричество, а никакого ни окна, ни отверстия в этой коробке (боксе), куда меня посадили, не было. Странные пустые коридоры, лестницы, окутанные проволочными сетками, чтобы люди не могли броситься вниз, – нас очень берегли от самоубийства...

...В тюрьме МГБ на Лубянке я сидела месяц. У меня был молодой следователь капитан Пантелеев, о нем я вспоминаю спокойно... Затем на три месяца отвезли в одиночку в Лефортово. Камера была девять шагов в длину и четыре в ширину, на четвертом этаже, и из маленького окошечка, закрытого решеткой, мне был виден кусок неба и пролетали птицы. Потом – опять Лубянка, общая камера. На месте Пантелеева очутился подполковник Полянский – маленькая, злая, рыжая, сумасшедшая крыса. Он был садист и эротоман, ругался так, как не ругались самые страшные бандиты, которых мне потом довелось видеть и слышать в лагере. Однажды ночью, к рассвету, после многих суток без сна, я сказала ему: «А теперь я знаю, на кого вы похожи – на рысь! И по цвету тоже». По правде сказать, я была так измучена, что не думала его оскорбить, но он рассвирепел,

подскочил ко мне, ударил сапогом по ноге и завопил: «Теперь я понял, что ты шпионка!»

Месяца через два (Пантелеев опять был на месте Полянского) меня вызвали на прокурорский допрос. Это означало, что «дело» мое подходит к концу. Допрос был чрезвычайно мягким и, к удивлению моему, все мои ответы записывались не искаженно (не то что на предыдущих допросах). Вероятно, мне дали бы максимум пять лет, но в ту пору я еще оставалась наивной дурой и верила в справедливость. Я сказала, что меня принудили подписать признание в том, что Надежда Волынская показала на меня правду, а теперь я требую очной ставки с ней. Еще я приношу жалобу на следователя Полянского, который ударил меня и следствие вел непозволительным образом.

Я увидела, как Пантелеев побледнел. Когда меня уводили, он как бы случайно оказался рядом и тихо сказал мне: «Если бы вы только понимали, что вы наделали!» Надо заметить, что я интуитивно понимала, что Пантелеев, несмотря на жесткие допросы, меня жалеет и, пожалуй, даже хотел бы смягчить мою участь. Он был еще молод. Зато Полянский был закоренелым циником и негодяем.

Через неделю, ночью, меня вызвали на допрос. Я вошла в полутемный большой кабинет. Из-за письменного стола навстречу мне поднялся Полянский. Потирая руки, он со злобной усмешкой подошел ко мне: «Ну, а теперь я сам займусь вами. Рысь с вами поработает! Вздумали прокурору на меня жаловаться?! Я вам покажу, как на следователя жаловаться, нарушать тайну следствия!» Тут же, ночью, меня отвезли опять в Лефортово, в полуподвальный этаж, на этот раз в страшную одиночную камеру. И потянулись месяцы жестокого, нелепого бреда. Полянский издевался надо мной как хотел. Он хлестал меня по лицу, в клочья рвал на мне блузку, яростно орал и грозил, что меня расстреляют. Кроме него, конвоиров и надзирателей, я никого не видела в течение долгих-долгих дней...

Однажды, глубокой ночью, он долго молча смотрел на меня и сказал потом глухим голосом: «С каким удовольствием я... бы вас, а потом за ножки да об угол!» Я запомнила это на всю жизнь. Но он не тронул меня в «том» смысле. Я понимала только одно: я в сумасшедшем доме и он — маньяк! Часто слышала я вопли избиваемых, стоны, откуда-то снизу доносились чьи-то крики, мольбы...

11 сентября 1948 года меня увозили в неизвестном направлении из Лефортовской тюрьмы после года тюремного заключения, из которого шесть месяцев я просидела в одиночке. В два приема — по три месяца каждый.

В день осенний – сияющий, прекрасный, именно такой, какие я всегда любила, нас – двадцать пять мужчин и меня – везли в «черном воне» до вокзала (по-моему, Северного). Меня посадили сзади, отдельно, в мучительно узкую, темную, как ночь, кабинку, но на полпути конвойный отомкнул дверь и приоткрыл ее, через щель я увидела мои московские улицы, залитые солнцем, такие веселые, такие оживленные!

Помню, во мне шевельнулась почти радость. Лучше куда угодно, но больше не тюрьма! По сравнению с Лефортовской тюрьма МГБ на Лубянке была тихой пристанью, с кроватями (а не нарами), с паркетом (а не каменным полом, как во второе мое сидение в Лефортове в одиночке на нижнем этаже). Там было тяжело... Мрачно. Полутемно всегда, а главное – в одиночке, где ты ничем не занят, книги прочитаны, перечитаны, выучены наизусть, время физически ощутимо, как тяжелейшая тяжесть, давит, душит, наваливаясь на плечи. Думаешь: господи, хоть что-то делать! Камни ворочать – и то легче. Я исхитрилась, как-то в супе выловила рыбью кость, оторвала кусок простыни и повытаскивала синие нитки из каймы мохнатого полотенца. Стала вышивать. У меня еще есть где-то платочек носовой, я сделала их штук шесть, но после раздарила на Кировской пересылке.

Конвойные – вернее, надзиратели – не мучили меня в тюрьме. Собственно, меня мучил лишь один: довольно молодой, с мерзким лицом психически больного изверга, он часами смотрел на меня в глазок, часто отпирал дверь и входил в камеру, а в коридоре гнусно за дверью ругался. А один солдатик, добрая душа, часто давал мне ножницы и иголку с нитками под любыми предлогами – ведь это было таким развлечением! Я просилась и к докторам, и к зубному врачу – меня водили к ним и после выдавали лекарства – это тоже было развлечением. А когда приносили книги – вот была радость! И еще передачи, но всего этого у меня так долго не было... Я только потом узнала, что мне много месяцев не разрешали ни книги, ни передачи. Есть хотелось ужасно... Особенно сахар. Я не могла удержаться: утром два своих кусочка съедала разом с чаем, а хлеб – пайку – делила (ниткой резала) на кусочки и ела постепенно, а потом все крошки до единой. Кормили каждый день одним и тем же: суп и каша немножечко с постным маслом, чай. Иногда (особенно после допросов, если пропускала обед) надзиратели давали прибавку – ох как благодарна я бывала! – сами предлагали, и накладывали помногу, и масла лили побольше. Я в этом чувствовала, что они меня жалеют... На прогулку водили на двадцать минут – я ни разу не пропустила. На нижнем этаже было очень страшно из-за криков – откуда-то...

За моей камерой была еще камера, а потом за углом, вниз по коридору, мимо трех карцеров меня водили в баню. И вот раз в карцере кричал мужчина, умолял выпустить. Днем часто кричал сумасшедший немец, кричал по-немецки, дико, исступленно. Изредка глухо доносились чьи-то вопли, рыдания, перемежаясь с... музыкой! Наверно, там нарочно ставили грамзаписи, чтобы заглушить крики. По ночам следователи так ругались и орали на допросах, что это тоже доносилось, их кабинеты были через двор напротив...

Меня вдруг перевели в камеру на втором этаже, где сидели еще две женщины: старушка и молоденькая девушка. Старушка говорила только о своей дочери Фриде, она совсем не понимала и не знала, за что ее арестовали; а молоденькая рассказала, что за ней ухаживал абиссинский принц, негр. Он влюбился, сделал ей предложение, но она отказала — ее родители потребовали, чтобы она перестала с ним встречаться, — но ей нравилось бывать с ним в театре и особенно танцевать, ибо был он замечательно красив, хоть и черен. В Абиссинию ей не хотелось, и замуж она собиралась за русского. Она училась в институте иностранных языков на английском факультете, вдруг ее арестовали, и она просидела на Лубянке пять месяцев.

В тот день нас вместе вызвали из камеры, повели вниз, в бокс, а потом по одной стали вызывать в соседний кабинет. Первая вернулась старушка, вся помертвевшая. «Десять лет!» — выговорила она, ломая руки. Вызвали меня. Человек с каменным лицом — меня удивило, что у него лицо совсем неподвижное, вот как в книгах пишут, а был он молодой, в штатском, — прочитал мне что-то по бумажке.

«Простите, я не понимаю. Пожалуйста, прочитайте еще раз», — сказала я. Я действительно ничего не поняла, там были какие-то странные слова. Он прочитал снова: «...Восемь лет в исправительно-трудовых лагерях за антисоветскую агитацию. По приговору ОСО». — «За агитацию?» — переспросила я, он кивнул. Я сказала задумчиво: «Какая грустная у вас работа...» Он молча взглянул на меня, лицо его было неподвижное, невеселое. «Вы поняли, что я прочитал вам?» — спросил, помолчав. Я ответила: «Восемь лет... это мне восемь лет в... как называется?» — «Исправительно-трудовых лагерях», — отозвался он. Я молчала. Он снова поглядел на меня, закаменевший, невеселый, как будто был за тысячу земель. Конвойный отвел меня в бокс. Я ничего не чувствовала. Перед этим мне приснился сон, и я рассказала его своим сокамерницам: я видела людей за столом, они спорили: «Восемь или пять?» — и я думала, что мне дадут пять лет. Последней вернулась молоденькая, она плакала и возмущалась: «Два года вольной ссылки в Колыму!! Но ведь я больная, я туберкулезная!

Это безобразие! За что?» Тут я навзрыд заплакала, застонала, поняла... Но еще больше, чем себя, мне жаль было несчастную старуху. Мне легче было бы, если бы я была одна несчастна... И часто потом я вспоминала это ощущение, это страдание оттого, что кругом такое бесконечное, нестерпимое количество человеческого горя. Особенно когда лет пять спустя начали давать двадцать лет каторги за уход или побег из вольной ссылки. Двадцать лет каторжных работ только за это... И на пересылку, где я жила тогда, стали привозить женщин, старых и молодых, раздавленных, убитых горем... Двадцать лет разлуки с детьми, мужьями, семьей...

Когда мы вернулись в камеру, нам стало легче, мы плакали, но утешали друг друга как могли, говорили, что это «так», потом снизят срок, вернут!

И вот через несколько дней одну за другой нас вызвали на отправку. Я обняла рыдавшую старуху. И никогда с ней больше не встрети-лась. Увидела ли она свою Фриду? Я поцеловала молоденькую, сказав: «Стыдно вам убиваться, у вас вольная ссылка, да еще всего на два года. Не смейте болеть!» Ее я тоже больше никогда не увидела. Меня вызвали последнюю. Я собрала вещи – крохотный узелок в мохнатом полотенце. Черное пальтишко. Черные туфли на высоченных каблучках. На голове ничего.

«Счастливо!» – сказал мне начальник тюрьмы, наблюдавший за отправкой. «Спасибо!» – откликнулась я.

И какой сияющий день на улице осенил меня, обнял теплыми сентябрьскими руками. Тюрьма наконец позади.

Нас выпустили из «черного ворона» далеко на путях за Северным вокзалом. Параллельно поезду с «вагонзаком» стоял на другом пути голубой экспресс... На одного из мужчин сразу надели наручники, он усмехался – приземистый, коренастый, черноволосый, с небритой бородой, с блестящими как угли узкими глазами, немолодой, сильный весь какой-то, крепкий. После, на Кировской пересылке, нас вызывали по фамилиям, и, когда дело дошло до него, называли несколько фамилий – «он же Потемкин». Этот «он же Потемкин» потом вел себя как хозяин на «вокзале» – общая огромная комната, где мы все, новоприбывшие заключенные, пробыли вместе часа два-три. Кто-то шепнул про него, что у него 59-я. Мне тогда невдомек было, какая это статья, потом-то я все статьи – по крайней мере, самые «серьезные» – знала, 59-я – это «вооруженный бандитизм с убийством», а он был «неоднократно судим».

Нас посадили в «вагонзак», в купе за железными решетками, выходившими в коридор, на окнах которого тоже были решетки. В купе

под потолком были маленькие окошечки, тоже за решетками. Я попала в купе, где сидело человек семь молоденьких девочек и молодая женщина. При виде девочек я разрыдалась, бросилась к ним, целовала их, мне все Аленка виделась, я осознала, что меня увозят от нее, от дома, от Вани. Навеки, быть может. Только не умереть там, только вновь их увидеть! Дожить до встречи!..

Самое страшное – тюрьма, допросы – было позади. Меня начал обуревать жадный интерес к окружающему, к совершенно новой категории жизни, лежащей передо мной, к людям и природе, где придется мне жить, но в то же время мучительная боль сверлила душу – разлука с детьми, с отцом и матерью, с сестрой, со всем тем. Дети! Дети!.. Прошлое мое кануло в бездну.

В Кирове на пересылке я познакомилась с москвичкой Евгенией Спиридоновной Шмидт – молодая женщина решила повеситься, но я ей сказала: «Да ведь за мильон рублей вы не смогли бы купить билет на это тюремное зрелище. Это же интересно! Да еще кормят даром в придачу!..» Она не повесилась. Бывшая московская танцовщица, а в лагере «Горняк» – возчица, свинарка, кочегар при бане и пекарне, Женя приносила нам с Леной Ильзен за пазухой с десяток картошек, мы варили их и прибавляли в тюрьму. Надо сказать, что Женя, в прошлом избалованная, элегантная, капризная, в лагере показала себя настоящим человеком, молодчиной, работягой, хорошим товарищем.

В первую же ночь в бараке (или на вторую ночь?) на Воркуте мне пришлось петь – я пела со счастьем в душе оттого, что я могу снова петь, и женщины-уголовницы плакали от моих песен и очень восхищались. Я была такая хилая, что меня сразу же на два месяца положили в стационар – в больничный барак, и я спала без просыпу.

Потом мне устроили просмотр в Воркутинском театре и зачислили в труппу. Это было большой удачей: работа в теплом помещении, ну да не буду перечислять все преимущества этого... Скажу только, что были спектакли, доставлявшие истинное удовольствие даже искусственным театрам, людям, избалованным лучшими московскими постановками. В театр отбирали людей талантливых, а мы все не только любили наш театр, но и были так ему благодарны, ведь он был не только прибежищем, но и давал возможность соприкосновения с искусством. Не хлебом единым...

Передо мной вереницей проходят актеры, хористы, оркестранты, рабочие сцены...

С Евгенией Михайловной Добромысловой, пожилой интеллигенткой, взятой из Ленинграда, возможно, всего лишь за «происхождение

ние», мне было приятнее и легче в театре, чем с другими. Она прекрасно играла на рояле. Она, как и я, страстно и наивно верила разным слухам, что всех вдруг освободят... Она вскоре умерла от случайного отравления.

Ярко выделялась среди нас талантливая московская балерина Лола Добржанская, косоглазая и прелестная, жена актера Мартинсона, который продолжал благоденствовать в Москве. Лола до ареста жила в свое удовольствие, но, на беду, влюбилась в красивого иностранца. Умница, острая на язык и обаятельная. Умирая от полярной желтухи, она поручила мне, если я уцелею, повидать в Москве ее сына Сашу, передать ему привет от матери, что я позднее и исполнила, когда уже освободилась. После смерти Евгении Михайловны Лола стала мне ближе других. Блатные обожали Лолу, и все в театре ее любили. Она была лихой гусар, бесстрашно, великолепно прыгала вниз с большой высоты на сцену, и на лету ее подхватывал танцовщик Ванечка Богданов, москвич, из заключенных. Это было в «Холопке»: гусары кутили, и Лола плясала цыганскую пляску.

Хоронили Лолу, желтую как шафран, в гробу, обитом серебряной бумагой, который сделали для нее в театре. За гробом, как надлежало, не шел никто, кроме одного конвойного...

Георгий Иванович Жильцов, хормейстер Воркутинского театра, в прошлом учитель из Читинской области, в 1937 году был сослан на Воркуту как троцкист и, отсидев десятилетний срок, был прикреплен к оной навечно. Он никогда троцкистом не был. Строгий, даже грубый старик, в работе взыскательный и придирчивый, в свободные минуты балагур и насмешник, он сильно пил, в 50-м году спился вконец и помер — царство ему небесное, если таковое есть, ибо на земле ему жилось крайне горестно...

Коля Сорока попал на войне в плен и бежал из немецкого лагеря в Италию, где партизанил, а после войны вернулся на родину. Тут его сцапали и препроводили на «вольную высылку» на Воркуту. Он играл на скрипке, а когда умер Георгий Иванович Жильцов, Сорока стал нашим хормейстером. Он однажды принес мне мешочек сырой картошки, когда у меня началась цинга, и всегда по-доброму ко мне относился. Он был влюблен в красавицу Алмазу Балта из Баку — танцовщицу. Сорока повесился в один январский день в 51-м году. Мир праху его...

Костя Иванов тоже был в плену и бежал и также попал на Воркуту, но в лагерь. Красивый, высокоодаренный актер, хороший человек, интеллигент, ленинградец, он повесился с тоски на чердаке Воркутинского театра в 1950 году. О, как печально... Так ясно встал он

сейчас передо мной... Как он шел тогда по коридору мимо меня с черным лицом, и мне хотелось броситься к нему, что-то хорошее сказать! Но я не осмелилась... Когда пришло время уводить всех в лагерь, его хватились, хотели уже объявить побег...

С искренней симпатией вспоминаю хороших людей, старика Харламова, Валентину Георгиевну Токарскую, Рафаила Моисеевича Холодова и многих еще. Это были люди культурные, достойные уважения и талантливые артисты.

Но талантливее всех был Изя Вершков (Израиль Львович Вершков).

Когда его арестовали, ему было двадцать три года и он учился на третьем курсе ГИТИСа в Москве, где был «сталинским стипендиатом». Дали ему восемь лет лагерей по статье 58-10 и сослали на Воркуту. Талантливый, красивый, ни в чем перед родиной не виноватый... «Сыграем Ромео», – говорил ему в ГИТИСе Завадский... Родители Изи – жители Киева, отец – портной, простая еврейская семья. Когда его привезли на пересылку, доктор Нимбург, заключенный, работавший в нашей лагерной больнице, вызвал меня туда, познакомил с Изей и просил уговорить директора театра Мармонтова взять Изю в театр. Я пошла к Мармонтову. Должна сказать, что у меня безошибочное чутье на талантливых людей. Я убедила Мармонтова, Изю Вершкова взяли в театр, где он сразу же стал играть первые роли. Все в театре и в городе полюбили его. Мать его приехала на Воркуту и тайно повидалась с сыном – молодая красавица чисто украинского типа. Однажды вечером за кулисами после спектакля – шла оперетта «Акулина», в которой он играл главного героя – Берестова, – Изя стоял печальный и, увидев меня, сказал: «Так хочу поговорить с вами, Татьяна Ивановна. Я завтра найду к вам в библиотечку, можно?» Наутро он попал под грузовик, когда из лагеря они все шли в театр. Изя бросился помогать вытаскивать грузовик из снега. Вольные и все мы оплакивали его гибель, ему только что исполнилось двадцать пять лет. Его, как и миллионы лучших людей России, раздавила сталинская зловещая эпоха. В июне, когда стаяли снега, приехала его мать, из молодой красавицы ставшая старухой. Она упала у лестницы в театре, она ползла по ступеням и, обливаясь слезами, стояла: «Вот здесь его ноженьки проходили»...

Горы людского горя!..

Отводила в театре я душу за роялем в часы перерыва, когда всех уводили в зону, а мне подчас удавалось остаться под предлогом, что надо отрепетировать аккомпанемент или переписать ноты. Музыка неведомо как утишала горе, не исцеляя его. И еще писала стихи – вернее, они писались сами, запевались во мне, как песня. От них тоже становилось как-то легче...

В театре относились ко мне хорошо, включая и строгого человека – директора театра Мармонтова. В нем было чувство справедливости, в чем мы все неоднократно убеждались. Он был с нами сух, но всегда корректен, да и вообще необходимо сказать, что в театре не было места хамству, подсиживанию... Даже доноительство, по-видимому, не очень процветало. Очевидно, дирекция театра сие не поощряла...

Декорации к спектаклям рисовал и оформлял отличный театральный художник из Москвы, Бендель, ему помогали рабочие сцены, все они заключенные.

Дирижеров было двое! Виельгорский из Киева и Микоша из Москвы, заключенные. Оба были консерваторцы, профессиональные музыканты, хорошие люди. Главным режиссером был Николай Иванович Быков – вольный, актер Камерного театра в Москве, интеллигент, хороший режиссер. У него были добрые, все понимающие глаза, но он, естественно, в близкие отношения ни с кем из нас не вступал. Репетировали утром, а вечером давали спектакли почти ежедневно; работали помногу, в полную силу. Шли оперы: «Евгений Онегин», «Паяцы», сцены из «Князя Игоря»; оперетты «Холопка», «Вольный ветер», «Сильва», «Веселая вдова», «Свадьба в Малиновке»; пьесы советские и классика, перечень столь длинный, что всех не упомяну. Обширный репертуар.

Мрачный город Воркута... Пурга, как будто вся земля кричит и воет от невыносимого, безысходного горя – кипит метель, ветер ревет и хлещет, и ты бредешь, грудью проламывая себе дорогу в этом хаосе, ибо знаешь: остановишься – и конец... смерть. И идешь, задыхаясь, падая, вставая вновь, инстинктом угадывая дорогу, всеми фибрами своими цепляясь за жизнь.

Глубокой ночью я возвращалась из Воркутинского театра на ОЛП (особый лагерный пункт), идти далеко, через реку, с горы на гору, кругом тьма кромешная, ни души, только ТЭЦ сияет огнями, возвышаясь над городом и рекой как корабль, уплывающий в Вечность. Сноп огней где-то далеко.

К этому времени я была расконвоированная, в театре оставили только двух из заключенных женщин – меня и портниху. Я должна была идти без конвоя, в полном одиночестве, по установленному маршруту из лагеря в театр и ночью обратно в лагерь. Как я боялась! Семь километров в жестокий мороз, в пургу... Иной раз над головой в ночном небе свивалось и таяло зеленое полярное сияние...

Помню, раз в пургу я упала на дороге и завывала в голос ветру, умирая от горя, страха и усталости, изнывая от мысли, что не хватит сил

подняться и я тут замерзну, пурга занесет сугробом... Мысль о детях моих, упрямая воля дожить заставила встать, довели до лагеря. На вахте дежурный надзиратель сказал мне:

— А мы уж думали...

В 1950 году, помню, в Сочельник, я шла на ОЛП с веточкой ели, заботливо подобрала ее в театре, там устраивали «елку» для вольных. Несла, чтобы украсить и порадовать ею весь наш огромный, перво-родный по хаосу и составу, женский барак по ту сторону реки Воркуты. Ночью в барак врывались мужики, насилуя женщин; дрались между собою блатные — воровки и убийцы.

Много повидала я убийц — и женщин и мужчин — и, пожалуй, отличу их по глазам: у них есть что-то неподвижное во взгляде.

Нас, «58-х», в этом бараке было немного. Я и портниха Елизавета Михайловна постоянно жили в нем и ходили на работу в театр по пропуску. Остальной состав менялся — это была пересылка.

В ту ночь я вошла — и меня поразила тишина и чистота. На полу на коленях стояли женщины и молились. Дня за два привезли группу западных украинок, 58-ю. На коленях стояли все, а украинки пели молитвы. Поют они вообще замечательно, поют без нот «а капелла», изумительно вторят по слуху на четыре голоса. Нет, этого мне никогда не забыть! Они пели, а мы слушали, даже самые страшные — «беспредельщина» — притихли, стали на минуту «как все». Потом столы сдвинули в ряд, накрыли их белыми простынями, и каждый из нас дал все, что имел, «на угощение». Елочку мою вставили в бутылку, повесили на нее конфеты, даже мандарин у кого-то нашелся, и даже кусочек восковой свечи прикрепили сверху и зажгли. Мы сели за стол, все вели себя чинно, тихо, всем подали чай в кружках, всех угостили...

ХАВА ВОЛОВИЧ



Хава Владимировна Волович родилась в 1916 году в городе Мене Черниговской области. После школы работала наборщиком в типографии, потом корректором в редакции местной газеты. В 1937 году репрессирована, освобождена из лагеря в 1953-м, еще три года провела в ссылке, после чего вернулась на родину. Работала свинаркой, сторожем, истопником. Организовала самодеятельный кукольный театр при ДOME культуры.

О ПРОШЛОМ

...Мои мечты не шли дальше рабочего станка где-нибудь на большом заводе. Об этом тогда мечтала почти вся молодежь. В двенадцать лет я даже пыталась поступить в фабзавуч, в котором никакого «фабзавучения» не было, а просто учили делать табуретки. Но меня не приняли, чем я недолго была огорчена, потому что табуретки были слишком прозаическим делом. Оно смахивало опять-таки на провинциальную кустарщину. А мне нужен был большой завод с дымящимися трубами

или тайга с глубоким снегом и лесоповалом (я такое видела однажды в кино). Или уж, как предел мечтаний, — какая-нибудь экспедиция, все равно куда — в Арктику или в Африку.

Почти все это я потом испытала до тошноты. И тайгу с лесоповалом, и арктический холод (хорошо, что в СССР нет Африки). И вообще все, что у нас в юности шло под кличем «Дашь!», мне было дано, но как удар по морде.

В 1931 году я сдала экзамены за семилетку. В том же году в нашем райцентре открылась типография и отец устроил меня ученицей в наборный цех.

Боже, как я вначале радовалась своей работе! Как гордо и важно шествовала с работы домой в красной косынке, с испачканным краской носом! Пусть все видят, что я — рабочая, частица диктатуры пролетариата.

В те годы из Кремля дождем сыпались директивы, указы, законы, постановления. Целыми днями набирая тексты, я получала первые уроки политграмоты. И не только политграмоты. Я узнала, откуда берутся дети. Да. Набирая директиву о случке лошадей.

1932—1933 годы. Жизнь становилась все труднее. По улицам бродили лошадиные скелеты, обтянутые коростявой шкурой. Не имея, чем кормить, крестьяне подбрасывали их в другие села или в райцентр, как котят или щенят. У крестьян, которые не хотели вступать в колхоз, забирали подчистую весь хлеб, картошку, даже фасоль. Часто в поисках хлеба разваливали печи, а то и хаты.

В 1933 году кулаков уже не было, единоличников тоже не оставалось. Теперь «раскулачивали» колхозников.

Планы хлебопоставок спускались не только для колхозов, но и для самих колхозников, хотя не было уже у них земли, кроме маленьких приусадебных участков. Твердых, единых планов не существовало. Выполнит колхоз основной план, на него тут же накладывают «встречный».

«Встречный» — это один из образцов преступной лжи, черным пятном запачкавший то страшное время. Это вроде сами колхозы и колхозники, недовольные «маленькими» планами, сами накладывают на себя планы сдачи хлеба до последнего зерна. Будто это не «хлеб наш насущный», а шоколадные конфеты, без которых можно прекрасно обойтись. И исполнители этой лжи шастали по хатам, забирали все, что попадалось на глаза, даже последнюю буханку хлеба пополам с корой или лебедой. Выгребали семенное зерно из колхозных закромов. На слово «нема» они отвечали: «Нема такого слова! Ты ж шось жерешь, а з государством подилытыся не хочешь!»

И пошла холера бесхолерная — голод косит людей...
Все ли об этом помнят? Не знаю. Не слышала.

Сестра моей подруги, девочка пятнадцати лет, «слюбилась» с милиционером. Конечно, это была не любовь, а стремление спастись от голода. В шестнадцать лет она родила девочку, и муж отправил ее в дальнее село к своему отцу — сельскому попу.

Через год она вернулась к матери. Родителей ее мужа выслали, а Дуню отпустили на все четыре стороны, так как брак ее не был зарегистрирован из-за ее несовершеннолетия. Ей не позволили взять ни куска хлеба, ни единой тряпки. Одеяльце, в которое был завернут ребенок, один из активистов взял за край, выкатил из него ребенка на оголенную кровать и бросил в общую кучу вещей, отнятых у семьи.

К своей беде привыкаешь, как к хронической болезни, а чужая порой потрясает до слез.

Нет, не Дунина беда потрясла меня. Оставив ребенка у матери, она ушла из дому искать более надежное счастье. Отец умер, семья погибала с голоду. Мать, если ей удавалось что-нибудь достать, стремилась накормить своих детей, а внучку, чтоб скорей умерла, не кормила вовсе.

Верочка превратилась в скелетик, обтянутый желтой, покрытой белесоватым пухом кожей.

Целыми днями лежала она в кроватке, не закрывая глаз. Они на ее трупном личике блестели как стеклянные пуговицы. И не умирала. Губки, которые еще не научились говорить «мама», шептали: «Исси!» — просили есть.

Из всей нашей семьи я одна получала паек: 30 фунтов муки в месяц. Немало для одного человека, но недостаточно для семьи из семи человек. Муку растягивали недели на две. Варили мучную болтушку, заправляли щавель и лебеду. Но часто и эта жалкая похлебка вставала колом в горле: за окном выстраивалась толпа голодающих из южных районов, и душу выворачивал настойчивый жалобный стон: «Тетя, дай!»

Из своей порции, если у нас дома была какая-нибудь еда, я часть уделяла Верочке. Вцепившись цыплячьими лапками в мисочку, она мигом проглатывала содержимое, потом пальцем показывала на окно. Моя подруга выносила ее на солнышко и сажала на траву. Она сразу падала на животик и желтыми, старушечьими пальчиками начинала щипать траву и жадно запихивать ее в рот.

Это был железный ребенок!

Многих и многих детей и взрослых выкосила эта травяная диета, а она себе жила, дожила до лучших времен и превратилась в прелестную девчушку.

(Наблюдая потом лагерных пеллагриков, я вспоминала Верочку на траве, в которой ее младенческий разум угадал средство насыщения.)

Набирая букву за буквой, я думала над текстом наборов, вникала в их смысл.

«Выкачка хлеба», «Встречный план». Какие будничные в ту пору слова. Но какое ужасное содержание несли они в себе.

«Встречный план» – это не успевшие подняться на ноги и тут же разоренные колхозы. «Выкачка хлеба» – это толпы голодающих, кочующих с места на место в поисках пищи. Это сотни опустевших сел. Это трупы на улицах, брошенные дети, горы голых скелетов на больничных повозках, которые, не потрудившись чем-нибудь накрыть, везли на кладбище и, как мусор, сваливали в общую яму.

Возвращаясь с работы домой, я всегда старалась идти не центральной улицей, что было ближе, а огородами, мимо кладбища, чтобы меньше встречаться с голодными глазами людей. Однажды у кладбищенской ограды я увидела мальчика лет шести. Зеленое опухшее лицо сочилось какой-то жидкостью из трещин на коже. Такой же жидкостью сочились опухшие, растрескавшиеся ноги. По ногам из-под домотканых штанов текла, по-видимому, только что съеденная трава. Атрофированный желудок не смог ее хоть сколько-нибудь переварить.

Мальчик стоял неподвижно. Из полуоткрытого рта у него вырывалось тоненькое «и... и... и...». Он не просил и не ждал помощи ни от кого. Он видел, как взрослые люди, обязанные не уничтожать, а защищать его детство, приходили и отнимали у его семьи последний кусок, обрекая ее на голодную смерть. Люди были врагами, и он их боялся. Поэтому он ничего не искал на людных улицах, а пришел к кладбищенской ограде, может быть, в надежде найти что-нибудь съедобное, а нашел смерть.

Хлеб, отобранный у детей!.. Не знаю, помог ли он индустриализации в те годы мирового кризиса, когда и хлеб богатых стран не находил рынков сбыта и его топили в море. Вряд ли. Он гнил на элеваторах, и, вместо того чтобы хоть часть его вернуть народу, открыли вселенскую винокурню и стали поить водкой тех, кто еще мог пить и у кого было на что пить.

Красное Солнышко не хотело быть в глазах народа Страшным Буквой. Оно понимало, что слишком перегнуло палку. Поэтому и появилась знаменитая статья «Головокружение от успехов», где с больной головы все валилось на малоумные, то есть – на местные власти. А ведь те без указаний свыше идохнуть не смели, а получив директиву, старались, как дурак на молитве. Только лбы расшибали не свои, а чужие.

Никто, от сельского до республиканского руководства, пикнуть не смел без команды Вождя. А эти команды, скатываясь с верхушки, встречали на своем пути навозные кучи угодничества и карьеризма, обрастали многократными «встречными» и «поперечными», которые довели сельское хозяйство до разорения, а сотни тысяч людей до годной смерти.

Конечно, не мое было поросячье дело осуждать вождей и гениев. Я и не осуждала. Но о том, что творилось у меня на глазах, я, с навивной верой в ненаказуемость Правды, говорила открыто и запросто.

К тому времени я уже перешла работать в редакцию.

Дело в том, что корректорами и литработниками работали у нас люди случайные, не очень хорошо знакомые с грамматикой и орфографией (в вузах тогда учились «на живую нитку»). Переводы с русского на украинский делались коряво, и я, стоя у наборной кассы, расставляла по местам знаки препинания, убирала грамматические и стилистические шероховатости, чего я совсем не имела права делать, исправляла переводы и сама написала пару довольно удачных для уровня нашей газетенки фельетонов.

И когда очередной корректор-литработник, математик по специальности, ушел работать в школу, редактор взял меня в редакцию, откуда я потихоньку, сама того не зная, зашагала навстречу своей беде.

Я не хочу вспоминать своих тогдашних сотрудников ни плохим, ни хорошим словом. Мир их старости, если они живы, а если их уже нет — мир их праху. Но уж лучше бы мне до конца жизни стоять за наборной кассой, чем познать мелочную зависть людей к чужому успеху.

Редактор похвалил и пустил в печать без поправок мои фельетоны, а сочинительские потуги двух сотрудников редакции разобрал, и я нажила парочку врагов в лице ребят, с которыми вместе читала «Как закалялась сталь» и пела «Нас утро встречает прохладой».

Заведующий типографией:

— Я двадцать пять лет стою за кассой, а не удостоился чести перейти на чистую работу, а девчонка и двух лет не проработала, и пожалуйста — стала «интеллигенцией»!

Машиниста я несколько раз ловила на традиционной типографской шутке: переставлял буквы в наборе, из-за чего слова приобретали опасно шутовской смысл, за что я с ним однажды крепко сцепилась.

И самый главный враг — мой собственный язык.

Тридцать пятый — тридцать шестой год. Год относительной сытости и ликующих песен. Потрясающее всех убийство Кирова. И волна Большого террора. И волны нарастающего благоговения и любви

к Вождю. А затем — гибель героев Гражданской войны, революции и первых лет советской власти.

Было чем потрясаться и над чем подумать.

Герои нашего детства! Они не жалели жизни, проливали кровь за советскую власть — и вдруг, на пороге ее расцвета, стали ее врагами.

Сомнения шевелились у меня в голове, еще недостаточно оболваненной. Их я выкладывала старшим, редактору. Никто мне ничего не мог сказать, только советовали помалкивать. Другие говорили: «У нас зря никого не судят!»

Как-то скучно, неприятно стало в редакции. Угнетала ложь. Ложь на каждом шагу. Пошлиют взять интервью у какого-нибудь старого партизана или ударника полей. Он говорит одно, а писать нужно совсем другое.

Летом 1937 года в районе началась какая-то чертовщина. Полетела районная верхушка, в том числе мой редактор, которого я глубоко уважала. Невмоготу мне стало жить дома. А тут появился в печати призыв Валентины Хетагуровой. Она призывала девушек ехать на Дальний Восток. Я решила ехать. Я не хотела только читать о великих стройках, я сама хотела строить.

Ни уговоры родных, ни слезы матери не помогали. Я стала ходить в НКВД за пропуском. В нашем местечке я знала всех, но однажды в кабинете начальника я увидела двух незнакомых энкавэдэшников.

Домой я больше не вернулась.

Вот так. К другим приходили ночью и забирали тепленькими с постели, а я пришла сама.

Все, что завертелось вокруг меня с того злополучного дня — 14 августа 1937 года, казалось сном. И, как во сне, я не столько переживала случившееся, сколько как бы со стороны наблюдала за всем, что происходит со мной.

Я, как и многие люди моей судьбы, не верила, что меня будут держать долго. И в то же время я понимала, что жизнь моя безвозвратно загублена. По обывательскому представлению даже краткое пребывание в тюрьме накладывает на человека вечное пятно позора. И все же я с любопытством ждала, что будет дальше. Но после близкого знакомства со следователем, когда я узнала, чего от меня хотят, детское любопытство сменилось вполне взрослым чувством обреченности и отчаяния.

К моему удивлению, камера оказалась светлой и чистой. Шесть кроватей, покрытых старыми байковыми одеялами. Шесть женских лиц, шесть пар глаз смотрели на меня.

Вслед за мной внесли еще одну кровать и постель. Дверь захлопнулась, и я осталась стоять на пороге, не зная, как повести себя.

Женщины, как радушные хозяйки, постелили мне постель, дали умыться, предложили поесть.

От еды я отказалась. Вторые сутки у меня не было ни крошки во рту, мысль о еде вызывала отвращение.

Кто они? За что сидят? Я среди них выгляжу пигалицей, малолеткой. Что, например, сделала вон та важная дама с седой прядью в рысых волосах? Лежа на койке, она курит самокрутку и спокойно поглядывает на меня из-под припухших, как у китайки, век. Это, наверно, идейная троцкистка. Или вон та, с длинными косами, в которых блестят серебряные нити, хотя лицо ее очень молодо.

Наверно, у всех есть какие-нибудь грехи, потому что сидят они, по-видимому, давно: лица бледные, одутловатые.

Я среди них – белая ворона. Ведь я ничего плохого не сделала и скоро уйду из этой камеры.

– За что тебя?

Что им сказать? Если я скажу «не знаю» – они не поверят. Исчезнет теплота, дружелюбие и участие, с какими они встретили меня. А я в этом так нуждалась. Они скажут: «Ни за что не сажают!» – и с презрением отвернутся от меня как от лгуны. Значит, чтобы стать равноправной в этой компании добрых преступниц, нужно что-нибудь придумать.

– Я диверсантка, – скромно сказала я.

– Какую же диверсию ты совершила?

– Поджог.

Странно! Вместо того чтобы броситься ко мне с распростертыми объятиями, женщины отошли и занялись какими-то своими делами и разговорами, не обращая на меня больше никакого внимания.

Я была обескуражена.

Я очень устала за прошедшие сутки, и когда раздался сигнал отбоя и женщины стали укладываться спать, я тоже легла. Но не прошло и пяти минут, как за мной пришли, посадили в «черный ворон» и повезли к следователю.

Это был тот самый следователь, который задержал меня. Очевидно, выловленную им рыбу он потрошил сам.

В общих чертах я уже знала, чего от меня хотят. Еще там, в районном отделении, он спрашивал об отношениях с редактором, говорил о «преступной связи с этим украинским националистом и шовинистом». Я была поражена: наш редактор – националист и шовинист?!

Почему же он брал меня под защиту от глупых нападок мальчишек-инструкторов, от хулигана машиниста и от пройдохи заведующего?

Почему в трудные годы талоны в закрытый распределитель на ботинки и брюки он отдал моему отцу, а сам летом ходил босиком? Он добрый человек, а добрые не могут быть преступниками. Он самый честный, самый чистый человек, какого я знаю. Какой дурак мог наговорить, что он националист, шовинист?

— Расскажите об организации, в которой вы состояли вместе с редактором. Назовите фамилии членов этой организации.

Чудак этот следователь! Я ему втолковываю, что в нашем местечке нет и не может быть никаких таких организаций. Слишком у нас все буднично. Простые люди думают о зароботке, начальство — о планах. Все обожают Сталина и осуждают врагов народа. Откуда же взяться враждебной организации? А он не верит и в двадцатый раз задает одни и те же вопросы, пока ему самому не надоело и не захотелось пойти поужинать.

Сегодня на допросе появилось новое:

— Говорили вы, что встречные планы разоряют колхозы?

— Да, говорила. Но ведь это правда!

— Вы брали на себя смелость судить партию?

— Но ведь это же не партия творила, а какие-то отдельные люди.

— Вы слишком молоды, чтобы своим умом дойти до таких рассуждений. Кто вам внушил их?

— Никто. Это мои собственные умозаключения.

— Против кого вы собирались заниматься террором?

— Если бы я и состояла в какой-нибудь организации, то только не в террористической. Я и жука не раздавлю.

— Вот показания вашей подруги: «В 1935 году она собиралась украсть у редактора револьвер и заниматься террором...»

— Интересно! Я состою с редактором в одной организации и собираюсь украсть у него револьвер! Он же мог сам мне его дать. И почему, если она такая патриотка, она не рассказала об этом тогда же, в тридцать пятом году?

— Мы учли это. Она арестована за недонесение.

— Можно мне ее увидеть?

— В свое время мы предоставим вам такую возможность. А теперь расскажите...

И все начинается сначала.

Я устала, хотела спать, но он не отпускал. Только когда окна погасли и с улицы стал доноситься шум наступающего утра, он вызвал конвоира и отправил меня в тюрьму.

Как только я вошла в камеру, прозвучал горн. Подъем. Женщины вскакивали с постелей, оправляли одеяла с мыльницами и зубными щетками в руках садились на кровати в ожидании. Я легла, собираясь уснуть, но меня тут же растолкали:

- На оправку!
- Не хочу.
- Потом не пустят.

Нехотя встала и поплелась за другими в уборную.

К завтраку я не притронулась. Зачем в тюрьме есть? Нужно скорей дойти до истощения и умереть.

Снова попыталась прилечь, но меня подняли на поверку. Старший надзиратель объяснил, что днем в тюрьме спать не положено, и даже прислоняться к стене и закрывать глаза тоже нельзя.

- Но меня всю ночь держали на допросе!
- Это нас не касается.

Несмотря на запрет, я снова легла, не обращая внимания на стук надзирателя в волчок. А когда в обед я не приняла миски с супом, он оставил меня в покое, и я немного поспала.

После ужина – опять на допрос. И так – целую неделю. В голове у меня гудело, хотелось упасть на паркет и спать, спать, спать. В памяти всплыл рассказ Чехова «Спать хочется». Нянька задушила ребенка, который не давал ей спать. Может быть, задушить следователя? Я чуть не расхохоталась. Вот дура! Какой бред лезет в голову...

– Как вы дошли до жизни такой? – зевая, задавал следователь стереотипный чекистский вопрос.

- С вашей помощью, – отвечала я, тоже зевая.

Когда я поняла, что мне *не хотят* верить, расхотелось их убеждать. Я или молчала, или отвечала какой-нибудь шуткой, или, глядя в сторону, зевала.

– Кто у тебя следователь, как его фамилия? – спросила меня однажды одна из сокамерниц.

- Ржавский.
- Ну и как? Сильно кричит?

– Нет, совсем не кричит. Только задает глупые вопросы. Кажется, он интеллигентный человек, только служба собачья.

– Хорош интеллигент! – с горечью сказала женщина. – Меня он таким матом обкладывал – сроду такого и не слышала...

И, отходя, пробормотала:

- Хорошо, у кого есть хоть какое-то преступление.

Я покраснела.

— Послушайте, — сказала я однажды следователю, с трудом разлепляя воспаленные от бессонницы веки. — Мне уже все надоело. Напишите что угодно. Но чтобы это касалось лично меня. А если будет затронут хоть один человек — даром время потеряете.

— А мы никуда не спешим, времени у нас хватает...

Моя личность их мало интересовала. На мне нельзя было нажать ни чести, ни славы. Им было приказано собезьянничать «Большой процесс» областного масштаба, и требовались имена «идейных руководителей».

Выдерживать бессонные ночи у следователя и бездельные дни в камере помогало мне крайнее напряжение нервов. Я знала, что дай я им волю на одну минуту — и я закачусь в позорной истерике.

В камере я жульничала: дремала то сидя, то положив голову на подушку. Но всякий раз вскакивала при стуке надзирателя в волчок. В конце концов я обозлилась. Когда однажды к подъему меня привели в камеру, я сразу плюхнулась на койку, и ни оправка, ни завтрак, ни проверка не смогли заставить меня подняться. Я спала каменным сном до полудня. В полдень в тюрьму явилось какое-то высокое начальство. Меня с трудом растолкали, но, узнав, в чем дело, я опять легла. И вот начальство в камере. Я лежала, повернувшись лицом к стенке.

Задав обычные вопросы: «На что жалуетесь?» — и получив заверение, что «все хорошо», начальство обратило внимание на меня.

— А эта почему не встает?

— Она больна, — попытался кто-то робко выгородить меня.

— Если больна, должна лежать в больнице.

— Я не больна, — сказала я, чуть приподнявшись. — Мне уже целую неделю не дают спать.

Через час за мной пришли и отвели в карцер.

Карцер больше соответствовал моему представлению о тюрьме, чем наша большая, светлая камера. Маленькая каморка в подвале, с низким сводчатым потолком, с зарешеченным оконцем без стекла и маленьким лежаком, привинченным к цементному полу.

Я улеглась на лежак и сразу уснула.

Ночью я проснулась от страшного холода. Я пришла в тюрьму в ситцевой блузке, сатиновой юбке и туфлях на босу ногу. Других вещей у меня не было. И тут-то я почувствовала, «жаба тити дает». Этот первый тюремный холод я никогда не забуду. Я просто не умею, не в состоянии его описать. Меня морил сон и будил холод. Я вскакивала, бегала по камере, на ходу засыпая, ложилась и опять вскакивала.

Утром принесли хлеб и воду. Я отказалась принять это. Когда надзиратель, невзирая на мой отказ, поставил кружку и положил хлеб на лежак, я выбросила хлеб в окно, а водой сполоснула лицо и руки.

И на второй, и на третий день я делала то же самое. На третий день в обед мне принесли миску густого, наваристого супу и ломоть белого хлеба. Я ничего не приняла.

— Ах, дурочка, дурочка! — проворчал надзиратель.

Пришел корпусной с врачом, и меня спросили, чего я добиваюсь.

Я заявила, что не буду принимать пищи до тех пор, пока мне не разрешат читать книги или, в крайнем случае, шить или вышивать. Они переглянулись и вышли из камеры.

А через минуту вошел пожилой надзиратель, присутствовавший при разговоре, и положил на лежак махорочную закрутку.

— Закури, легче станет!

До этого я никогда курить не пробовала. Не знала, как и зачем это нужно — курить. Я думала, что дым заглатывают в желудок, что казалось мне отвратительным. Но чтобы сделать приятное доброму человеку, я готова была проглотить хоть тряпку. И я стала глотать дым. Он волнами заходил у меня в животе, закружилась голова, затошнило, и вместе с тем появилось какое-то блаженное состояние забытья и покоя.

По-прежнему отказываясь от пищи, я стала просить у этого надзирателя закурить, когда он дежурил. Думая, очевидно, что я блатнычка и курю с пеленок, он не отказывал.

Я голодала десять суток. Принимала только воду. Есть не хотелось. Во мне была такая легкость, что казалось — при желании я могу взлететь. Я превратилась в хворостину и до сих пор не понимаю, откуда брались у меня силы двигаться.

Меня навещали врач с корпусным. Я встречала их с высоко поднятой нечесаной головой. (У меня отобрали гребешок, и волосы превратились в паклю.) Только холод мучил по-прежнему.

Однажды я заявила корпусному, что решила во всем сознаться, и попросила дать мне побольше бумаги и карандаш.

Мне немедленно принесли требуемое, и я написала, что действительно состояла в организации и была в ней секретарем и казначеем; что «у нас» есть подпольная типография; что вместе с крупной суммой валюты, полученной из-за границы, она хранится в выгребной яме от недавно снесенной уборной возле старой синагоги; что там же находятся списки всех членов организации.

И отправила свое сочинение следователю.

Поздно вечером меня привели к следователю. Он был в кабинете один. Я нахально выпучила глаза.

— Зачем обманула? — спросил он.

— Так вас же правда не устраивает.

На допросы меня больше не вызывали.

Утром на одиннадцатые сутки (вместо пятнадцати) меня выпустили из карцера и отвели в камеру. Женщины — их стало больше — тепло встретили меня, расчесали мою кудлатую голову, заставили поесть...

Как раз в эти дни наш следственный корпус был взбудоражен новостью: камера «шостенцев», то есть работников завода из города Шостки, обвиняемых во вредительстве, объявила голодовку в знак протеста против побоев и пыток на допросах. Накануне во время прогулки кто-то подбросил нам записку с призывом присоединиться к голодовке. Утром мы отказались принять пищу.

На стенах уборной появились нацарапанные призывы: «Жены и сестры, присоединяйтесь к нашему протесту!», «Нас пытаются!»

Недолго думая, я сунула «и свое жито в чужое корыто», нацарапала крупными буквами: «Протестуйте против побоев в НКВД!» «НКВД — сталинская опричнина». И очень разборчиво подписалась. А потом еще добавила: «Наша страна превращается в необъятный город Глупое с Угрюм-Бурчеевым во главе».

Все мои творения, конечно, списали и доставили следователю. Но в карцер не посадили.

Взвинченность этого дня, вызванная страхом за мужей, призывами и голодовкой, вечером завершилась общей истерикой.

На этом наша голодовка кончилась. Утром женщины стыдливо приняли завтрак.

А так камера у нас была дружная, да и вообще за два года скитаний по тюрьмам я не помню ссор и скандалов в камерах политических.

Мы не только грустили и плакали. Мы занимались самодеятельностью, пересказом прочитанных книг, перестуком с соседними камерами.

У меня появился жуткий аппетит. Истощенный организм требовал пищи, а еда становилась все хуже. Иногда на обед давали просто запаренную ячневую сечку.

Хорошо, что в лавочке раз в две недели можно было купить сало, сахар, сушки, махорку.

Осенью тридцать седьмого года тюрьма стала быстро наполняться. На окна повесили деревянные козырьки, и камера приобрела сумрачный вид.

По ночам нас будили страшные крики. Из нашего коридора уже нескольких повели на расстрел. В том числе бывшего председателя райисполкома Реву.

В ноябре мне предъявили обвинительное заключение: хулиганство в тюрьме.

И я стала ждать суда.

А через короткое время в соседнюю камеру стали приводить жен энкаведистов. Почти все местное отделение во главе с начальником Тейтелем было арестовано. Арестован был и мой следователь, и прокурор, подписавший обвинительное заключение.

В январе 37-го года принесли новое обвинительное заключение, подписанное другим прокурором. 58-я, пункты 9-й и 10-й, часть вторая.

В комнате, куда меня привели на суд, никого не было. Стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном, а почти рядом со стулом, на который меня усадили, стоял небольшой столик, и на нем лежал какой-то круглый резиновый мешок с отворотом в виде воротника. В камере говорили, что тем, кого ведут на расстрел, одевают на голову резиновый мешок.

У меня затряслись поджилки. Я будто оглохла. И когда вошли судьи (трое, четвертый – секретарь) и приказано было встать, я не сразу поняла, чего от меня хотят.

Это тянулось несколько мгновений. После первого вопроса: «Расскажите о своей контрреволюционной деятельности» – я пришла в себя.

Было предъявлено обвинение в обмане следственных органов (выгребная яма) и был задан вопрос:

– Зачем вы все это делали?

– Хотела позлить таких дураков, как вы! – брякнула я. Сказала и поняла, что погибла. Эх, лучше бы я себе язык откусила...

Я взглянула на их покрасневшие лица, на сузившиеся глаза... и села, хотя мне полагалось стоять...

Читая приговор – 15 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях, – член трибунала часто останавливался, чтобы взглянуть на меня.

Я слушала приговор равнодушно, как нечто, не имеющее ко мне никакого отношения. Только фраза: «Конфискация имущества» – вызвала у меня улыбку: имущества-то я за свою короткую жизнь не накопила.

Когда я вернулась в камеру и сказала, сколько мне дали, кругом заохали, запричитали, а я сказала:

– Человек живет в среднем семьдесят пять лет. Пятнадцать из семидесяти пяти – это не очень большой кусочек...

В одиннадцати тюрьмах побывала я, прежде чем была отправлена в Котлас.

В Котласе, выйдя из вагона, я вдохнула такой воздух, каким никогда не дышала и у себя на родине. Настолько он был свеж, чист

и прозрачен, что хотелось пить его, как воду. (Теперь, говорят, это один из самых задымленных и грязных городов Севера.)

Огромная зона Котласской пересылки. Был конец зимы, на дворе еще держался крепкий морозец, но в дощато-брезентовом бараке было тепло. Жарко пылал огонь в железной бочке.

На пересылке я пробыла полтора месяца. В середине мая вместе с десятком интеллигентных старичков меня направили в Коряжму. Они еле плелись от зоны до машины, в которой нас должны были везти. Особенно отставал один. Согнувшись пополам, он прижимал к животу небольшой узелок с вещами и, как ни старался, отстал от всех шага на полтора. И тут произошло то, из-за чего я мерзавца не могу назвать собакой из боязни оскорбить собачий род.

Конвоир, мальчишка, у которого еще недавно сопли через губу висели, подскочил к старику и с размаху ударил прикладом в спину. Тот покачнулся, но удержался на ногах. Не оглянувшись, с тем же отрешенным выражением лица, тем же заплетающимся шагом дошел до машины, куда мы помогли ему взобраться. Старик умер через три дня. Говорили, что был крупный ученый-юрист. Фамилии его я не запомнила.

В Коряжме я задержалась недолго. Недели через две, уже в смешанном этапе, то есть вместе с бытовиками, меня отправили на трассу. Пешком через тайгу.

Нас встретили щелястые бараки, нары из круглых жердей. Пол тоже из жердей, немного выровненный слоем грязи. Отвратительная банда из сечки, приправленная постным маслом.

Прибыли мы вечером. Вместо полагавшегося послеэтапного отдыха нас на второй день распределили по бригадам и отправили очищать трассу от сучьев и завала.

Сперва мне работа даже понравилась. Ничего страшного! Бери бревно или сук себе по силе и тащи в сторону от трассы в кучу. А кругом — сосны и ели, солнце и трава, птицы и бабочки.

Только вот беда: для такой работы нужны шаровары и ботинки, а их нам никто не дал. На мне были домашние парусиновые туфли на босу ногу и легкое платьице. К вечеру кожа на руках и ногах покрывалась глубокими кровавыми царапинами.

На следующий день была уже «настоящая» работа. Нас погнали в болото снимать растительный слой.

Этот слой, толщиной в полметра, пропитанный гнилой болотной водой, лопатами резали на куски и на носилках, где по щиколотку, а где по колено в воде, несли метров за сорок-пятьдесят в сторону.

Я оказалась в паре с седовласой, очень худой женщиной. Задыхаясь, она торопливо накладывала на носилки целую гору торфяника

и, спотыкаясь, тащила носилки за передние ручки, а я спотыкалась следом за ней. Руки у меня отрывались от непосильной тяжести, болели вчерашние ссадины, которые за ночь не подсохли, наоборот — покраснели и загноились.

— Зачем вы так надрыгаетесь? — спросила я у своей напарницы. — Ведь так мы не дотянем до вечера.

— На днях на разводе, — сказала она, — начальник объявил, что ударники получат досрочное освобождение. А я — коммунистка. Хотя меня и так долго держать не будут. Я здесь по ошибке, и партия разберется... — Помолчав, она добавила: — Если бы партия приказала мне ехать сюда добровольно, разве я бы не поехала? Только сына взяла бы с собой.

В тот же день на трассе побывал начальник лагпункта Малахов. В лагере он прославился как человек жестокий и беспощадный. Особенно ненавидели его блатные, они дали ему кличку Комар.

Посыпались робкие просьбы. Просили ботинки, брюки, рукавицы. Он молчал, шурил один глаз, из-за чего лицо казалось перекошенным, и смотрел поверх голов направо и налево, оценивая сделанную работу. Наконец он процедил:

— Ботинок и брюк — нет. Рукавиц — тоже нет. Через три дня этот участок должен быть закончен. Через двенадцать дней здесь уже будет насыпь. — И, повернувшись к нам спиной, пошел к другим бригадам.

К концу дня моя горевшая энтузиазмом напарница стала выдыхаться. Все меньше кусков торфяника ложилось на носилки, сильнее становилась одышка. Мне было не лучше. Туфли раскисли и сваливались с ног, пришлось привязать их веревочками. Ладони покрылись мокрыми волдырями.

Утром я не вышла на развод. Через полчаса после развода нарядчик повел меня к начальству.

На вопрос, почему не вышла на работу, ответила:

— Потому что меня не предупредили, чтоб я из дому захватила сапоги. И еще потому, что ваши нормы для меня непосильны.

— У нас для отказчиков есть карцер — яма с водой. Там через три дня загниешь.

— А мне все равно погибать, так уж лучше поскорей.

Я была ошарашена, когда вместо карцера нарядчик привел меня в портняжную, где возле кучи рванья сидело несколько стариков и старух и ковыряли иголками лохмотья, нашивая заплаты на рубахи, кальсоны, брюки и рукавицы.

На третий день моей работы в портняжной я услышала новость: Малахова переводят на новый участок вместе с рабочими, которых он будет отбирать для себя сам.

Доходяги, больные и вообще люди, неугодные ему, останутся здесь. Лагпункт превращается в сангородок. Сюда свезут пришедших в негодность эков.

И каждый молил Бога, чтобы Малахов забраковал его, не взял на новую каторгу.

После ужина все население лагеря было построено на площадках возле бараков. Пришел Малахов в сопровождении нарядчика с формулярами, и начался отбор.

Взмахом руки Малахов сортировал людей: «своих» — направо, остающихся — налево.

Отобрав мужчин — человек двести, он подошел к женскому строю. Мы, около сорока женщин, ждали своей участи. И опять: взмах руки — направо, взмах руки — налево.

Дойдя до меня, он, даже не взглянув, махнул рукой — и я очутилась на правой стороне.

...Новый лагпункт отличался от старого тем, что действительно был новенький, с иголки.

Наспех построенные щелястые бараки сочились живицей. Кругом торчали невыкорчеванные пни. Валялась щепка, мусор.

Отдохнуть не дали. Не успели поесть наспех сваренной бурды, как всех погнали на уборку территории. А вечером нарядчик зачитал списки бригад и обслуги. Я для себя ничего хорошего не ждала, но как же я была изумлена, когда услышала, что меня определили на селектор телефонисткой! Самая легкая, самая чистая, самая-рассамая что ни на есть «придурочная» работа!

Селектор помещался на вахте. По утрам, сидя за аппаратом, я видела процедуру развода.

Большинство заключенных болело цингой, несмотря на разгар лета. Пища с каждым днем становилась хуже. Часто по три дня и хлеба не бывало. Дважды в день литр жидкой сечки на первое и пол-литра густой — на второе.

На ногах появлялись твердые на ощупь, багровые пятна, вскоре превращавшиеся в гнойные язвы. Многие по утрам не могли подняться с нар, их тащили к вахте, как кули с картошкой, подталкивая пинками. За вахтой некоторые, сделав над собой усилие, поднимались и вставали в строй, а другие так и оставались лежать на земле. Тогда появлялась лошадь с трелевочными волокушами, больного привязывали к волокушам и по пням и кочкам волокли до тех пор, пока он или не отдавал богу душу, или не вставал на ноги. Большинство вставало.

Мне было страшно. Страшно и стыдно. Стыдно сидеть на вахте с наушниками на голове, когда другие разбиваются на кочках, из пос-

ледних сил выдают кубики и изнывают на трассе от усталости, жары и голода. Я знала, что уйду туда, к ним, но все оттягивала уход, как купальщик оттягивает прыжок в холодную воду.

После развода Малахов иногда заходил на вахту.

Сидя за своим столиком с наушниками на голове, я исподтишка наблюдала за ним и однажды решилась спросить:

– Как можно вот так с людьми? Они же больные.

Он ответил:

– У нас пока шестьдесят процентов больных. А скоро будет девяносто. Так что ж, трассу из-за этого закрывать? Цингу лежаньем не вылечишь. При цинге нужно больше двигаться.

Однажды с пристани позвонили: для нашего лагпункта прибыли мука и тачечные колеса. Что раньше доставить?

– Давайте колеса! – приказал Малахов, хотя хлеб кончился накануне и работяги в тот день сидели на одной баланде.

И я не выдержала.

– Гражданин начальник, – обратилась я к нему. – Я уже достаточно окрепла и могу пойти на трассу.

– Хорошо, – коротко бросил он и вышел.

Женщин на лагпункте было немного, всего одна женская бригада, остальные были в обслуге. Поэтому я, не спросив нарядчика, утром следующего дня стояла у ворот в женском строю. Нарядчик молча взглянул на меня, внес в список. Вместе со всеми я вышла на работу на трассу.

Карьер, тачки, лопаты. Истощенные, покрытые цинготными язвами эзки, у которых нет сил выполнить и половины нормы.

Была принята еще одна мера воздействия на невыполняющих норму: из особо отстающих тут же, на трассе, создавались бригады. Их оставляли на трассе, без сна и отдыха, на всю ночь. Менялся только конвой. Нечего и говорить, что это помогало как мертвому припарки. Чуда не происходило, сил у доходяг не прибавлялось, кубиков – тоже. Только по утрам к зоне начали подвозить покойников.

На лагпункт приехала медицинская комиссия. Отобрали целый этап доходяг и отправили на поправку в сангородок. У меня тоже нашли зачатки скорбута, и комиссия рекомендовала включить меня в этап. Малахов не согласился, а перевел учетчицей в тракторную бригаду.

На трассе все шло своим чередом. Работа в зной и в дождь, в морозы и в пургу. Клича «Давай, давай!», скверная похлебка, рваные лохмотья и зеленые лица эзков. Ударная стройка железной дороги, соединяющей страну с ухтинской и воркутинской нефтью и углем.

Время шло. В местах, еще недавно покрытых непроходимой тайгой и болотами, пролегла железная дорога, схоронившая под собой многие тысячи людей. (Под каждой шпалой покойник – арифметика бывалых лагерников.) Вырастали новые поселки.

Если бы все было по-доброму, можно было бы и погордиться немного своей работой. Но кто побывал там, не гордятся и не очень-то любят вспоминать свое прошлое. Судя по себе, могу сказать, что это не только желание вычеркнуть из памяти годы мук и лишений, но и чувство стыда.

Такое чувство должна испытывать девушка, обесчещенная любимым человеком.

Я не собираюсь идеализировать всю массу заключенных. Всякие там были, особенно в послевоенном наборе. Но мучили одинаково всех – и хороших, и плохих, и правых, и виноватых. Не спорю, к тем, кто совершал в войну кровавые злодеяния, оправдано применение самых суровых мер. Но, как в украинской поговорке, «чие б скавчало, а твое б мовчало»: в кровавых злодеяниях ежовщина и бериевщина нисколько не отстала от тех, кого карали за преступления против человечности.

Для примера забегу на несколько лет вперед. Я работала в театральном-эстрадном коллективе в Княж-Погосте. Во время одной из гастрольных поездок нам в Ухте пришлось наблюдать такую картинку.

Мы направлялись в клуб нефтепромысла. Еще издали в глаза бросались слова, начертанные огромными буквами на стене клуба, – это был один из пунктов Конституции: «Труд в СССР есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!»

Откуда-то к нам долетали странные звуки. Казалось, что стонет больной великан. Когда мы подошли поближе, то поняли, что это не стон, а протяжное «Эй, ухнем!».

Из-за клуба вывалилась толпа оборванных заключенных. Они были впряжены в лямки, на которых тащили огромные тракторные сани, доверху нагруженные торфяником. Все они были в ручных и ножных кандалах. Это были каторжане.

Когда говорят о коротких сроках построения социализма в нашей стране, перед глазами возникают фантастические толпы, стада оборванных, желтых, опухших существ особой породы, именуемой эсками.

(Недобрая слава селекционерам – создателям этой породы!)

Вижу бывшего академика, который, не поднимая потухших глаз, неторопливо шагает в колонне полутрупов к месту работы.

Вижу известного юриста, работы которого и теперь цитируются в специальной литературе, пьющего из ржавой консервной банки жидкую бурду.

Вижу толстомордого начальника, бьющего по лицу скелетообразного ээка за то, что тот неправильно, «жопкой» книзу, бросил картофелину в борозду.

Вижу колхозниц, причитающих над письмами детей, для спасения которых они в голодные годы собирали в поле горсть колосков и получали за это 8–10 лет.

Вижу грузовик, круглосуточно курсирующий из зоны сангородка на кладбище. (В грузовике 12 гробов. На кладбище покойников вываливают из «тары» в общую яму и едут в зону за новой партией.)

Человеческое право, достоинство, гордость — все было уничтожено.

Одного только не могли уничтожить селекционеры дьявола: полового влечения. Несмотря на запреты, карцер, голод и унижения, оно жило и процветало гораздо откровенней и непосредственней, чем на свободе.

То, над чем человек на свободе, может быть, сто раз задумался бы, здесь совершалось запросто, как у бродячих кошек.

Нет, это не был разврат публичного дома. Здесь была настоящая, «законная» любовь, с верностью, ревностью, страданиями, болью разлуки и страшной «вершиной любви» — рождением детей.

Прекрасная и страшная штука — инстинкт деторождения.

Прекрасная, когда все условия созданы для принятия в мир нового человека, и ужасная, если еще до своего рождения он обречен на муки.

Но люди с оступевшим рассудком не особенно задумывались над судьбой своего потомства.

Просто до безумия, до битья головой об стенку, до смерти хотелось любви, нежности, ласки. И хотелось ребенка — существа самого родного и близкого, за которое не жаль было бы отдать жизнь.

Я держалась сравнительно долго. Но так нужна, так желанна была родная рука, чтобы можно было хоть слегка на нее опереться в этом многолетнем одиночестве, угнетении и унижении, на которые человек был обречен.

Таких рук было протянуто немало, из них я выбрала не самую лучшую. А результатом была ангелоподобная, с золотыми кудряшками девочка, которую я назвала Элеонорой.

Она родилась не в сангородке, а на отдаленном, глухом лагпункте. Нас было три мамы. Нам выделили небольшую комнатку в бараке. Клопы здесь сыпались с потолка и со стен как песок. Все ночи напролет мы их обирали с детей.

А днем — на работу, поручив малышей какой-нибудь активированной старушке, которая съедала оставленную детям еду.

Как я уже говорила, я не верила ни в Бога, ни в черта. Но в пору своего материнства я страстно, испуленно хотела, чтобы Бог был. Чтобы жаркой, униженной, рабской молитвой было у кого выпросить спасения и счастья для своего дитяти, пусть даже ценой любого наказания и муки для себя.

Целый год я ночами стояла у постельки ребенка, обирала клопов и молилась.

Молилась, чтобы Бог продлил мои муки хоть на сто лет, но не различал с дочкой. Чтобы, пусть нищей, пусть калекой, выпустил из заключения вместе с ней. Чтобы я могла, ползая в ногах у людей и выпрашивая подаяние, вырастить и воспитать ее.

Но Бог не откликнулся на мои молитвы. Едва только ребенок стал ходить, едва только я услышала от него первые, ласкающие слух, такие чудесные слова — «мама», «мамыця», как нас в зимнюю стужу, одетых в отрепья, посадили в теплушку и повезли в «мамочный» лагерь, где моя ангелоподобная толстушка с золотыми кудряшками вскоре превратилась в бледненькую тень с синими кругами под глазами и запекшимися губками.

Меня послали на лесоповал. В первый день работы на меня повалилась огромная сухостоина. Я видела, как она падает, но ноги отнялись, и я не могла сдвинуться с места. Рядом торчали корни большого, вывороченного бурей дерева, и я инстинктивно присела за ними. Сосна повалилась почти рядом, не задев ни единым сучочком. Едва только я выбралась из своего укрытия, подбежал бригадир и закричал, что ему растяпы в бригаде не нужны, что он не хочет отвечать за каких-то крептинок. Я равнодушно слушала его брань, а мысли мои были далеки от сосны, чуть меня не убившей, и от лесоповала, и от бригадировой ругани. Они витали у кровати моей тоскующей девочки.

На следующий день меня посадили на мехпилу у самой зоны лагеря.

Целую зиму я сидела на мерзлом чурбаке и нажимала на ручку пилы. Простудила мочевой пузырь, нажила боли в пояснице, но благодарила судьбу: каждый день я могла отнести в группу вязанку дров, за что меня пускали к дочке помимо обычных свиданий. Иногда надзиратели на вахте отбирали мои дрова для себя, причиняя мне огромное горе.

Вид у меня в те времена был самый разнесчастный и забитый. Чтоб не развести вшей (этого добра было тогда в лагерях достаточно), я остриглась наголо, а на такое редкая женщина пошла бы добровольно. Ватные брюки я снимала, только отправляясь на свидание с дочкой. Во время одного такого свидания я обратила внимание на женщину,

одетую несколько не лучше меня, но с броской внешностью. Шапка черных кудрей венчала ее голову. На щеках полыхал яркий румянец. Лицо так и лучилось молодостью и здоровьем. Но глаза, жгуче черные, глядели рассеянно, временами заволакиваясь дымкой, как у дремлющего цыпленка.

Мы разговорились. Оказалось, что она навещает ребенка своей подруги, отправленной на другой лагпункт, присматривает и заботится о нем, как родная мать.

И еще оказалось, что за ее цветущей внешностью прячется недуг, засевавший в мозгу со дня ареста. Этот недуг уже не раз упрятывал ее в психлечебницу.

Она говорила с каким-то очень симпатичным акцентом.

— Я — чехословачка, — объяснила она. — Никак не привыкну правильно изъясняться.

За дровяную взятку няни, у которых в группе были собственные дети, пускали меня к ребенку и рано утром, перед разводом, и иногда в обеденный перерыв, и, конечно, вечером с охапкой дров.

И чего только я там не насмотрелась!

Видела, как в семь часов утра няньки делали побудку малышам. Тычками, пинками поднимали их из ненагретых постелей (для «чистоты» детей одеяльцами не укрывали, а набрасывали их поверх кроваток). Толкая детей в спинки кулаками и осыпая грубой бранью, меняли распашонки, подмывали ледяной водой. А малыши даже плакать не смели. Они только хрители по-стариковски и — гукали.

Это страшное гуканье целыми днями несло из детских кроваток. Дети, которым полагалось уже сидеть или ползать, лежали на спинках, поджав ножки к животу, и издавали эти странные звуки, похожие на приглушенный голубиный стон.

На группу из семнадцати детей полагалась одна няня. Ей нужно было убирать палату, одевать и мыть детей, кормить их, топить печи, ходить на всякие субботники в зоне и, главное, содержать палату в чистоте. Стараясь облегчить свой труд и выкроить себе немного свободного времени, такая няня «рационализировала», изобретала всякие штуки, чтобы до минимума сократить время, отпущенное на уход за детьми.

Например, кормление, на котором я однажды присутствовала.

Из кухни няня принесла пылающую жаром кашу. Разложив ее по мисочкам, она выхватила из кровати первого попавшегося ребенка, загнула ему руки назад, привязала их полотенцем к туловищу и стала, как индюка, напихивать горячей кашей, ложку за ложкой, не оставляя ему времени глотать. И это не стесняясь постороннего человека. Значит, такая «рационализация» была узаконена. Так вот

почему при сравнительно высокой рождаемости в этом приюте было так много свободных мест. Триста детских смертей в год еще в довоенное время! А сколько их было в войну!

Только своих детей эти няни вечно таскали на руках, кормили как положено, нежно заглядывали им в попки и доростили до свободы.

Была в этом Доме Смерти Младенца и врач Митрикова.

Что-то странное, неприятное было в этой женщине. Суматошные движения, отрывистая речь, бегающие глаза. Она ничего не делала для сокращения смертности среди грудников, занималась ими только тогда, когда они попадали в изолятор. Да и то только для проформы.

И «рационализация» с горячей кашей и одеяльцами поверх кроваток при температуре одиннадцать-двенадцать градусов тепла проводилась, по-видимому, не без ее ведома.

Минутки своих коротких набегов в дом младенца она проводила в группах старших ребят — шести- и семилетних полукретинов, которые, по Дарвину, выстояли, выжили, несмотря на горячую кашу, пинки, тычки, ледяные подмывания и долгое сидение на горшках привязанными к стульчикам, отчего многие дети страдали выпадением прямой кишки.

Со старшими ребятами она хоть немного возилась. Не лечила, на это у нее не было ни средств, ни умения, а водила хороводы, разучивала стишки и песенки. И все для того, чтобы «показать товар лицом», когда наступит время определять ребят в детские дома.

Единственно, что приобретали дети в этом доме, были хитрость и пронырливость блатарей-лагерников. Умение обмануть, украсть, избежать наказания.

Еще не зная, что такое Митрикова, я рассказала ей о плохом обращении некоторых няnek с детьми и умоляла ее вмешаться. Она метала громы и молнии, обещала наказать виновных, но все осталось по-прежнему, а моя Лёлька стала таять еще быстрее.

При свиданиях я обнаруживала на ее тельце синяки. Никогда не забуду, как, цепляясь за мою шею, она исхудалой ручонкой показывала на дверь и стонала: «Мамыця, домой!» Она не забывала клоповника, в котором увидела свет и была все время с мамой.

Тоска маленьких детей сильнее и трагичнее тоски взрослого человека.

Знание приходит к ребенку раньше умения. Пока его потребности и желания угадывают любящие глаза и руки, он не сознает своей беспомощности. Но когда эти руки изменяют, отдают чужим, холодным и жестоким, — какой ужас охватывает его.

Ребенок не привыкает, не забывает, а только смиряется, и тогда в его сердечке поселяется тоска, ведущая к болезни и гибели.

Тех, для кого в природе все ясно, все расставлено по местам, может шокировать мое мнение, что животные похожи на детей, и наоборот — дети на животных, которые многое понимают и много страдают, но, не умея говорить, не умеют и просить пощады и милосердия.

Маленькая Элеонора, которой был год и три месяца, вскоре почувствовала, что ее мольбы о «доме» — бесполезны. Она перестала тянуться ко мне при встречах, и молча отворачивалась.

Только в последний день своей жизни, когда я взяла ее на руки (мне было позволено кормить ее грудью), она, глядя расширенными глазами куда-то в сторону, стала слабенькими кулачками колотить меня по лицу, щипать и кусать грудь. А затем показала рукой на кровать.

Вечером, когда я пришла с охапкой дров в группу, кровать ее уже была пуста. Я нашла ее в морге голенькой, среди трупов взрослых лагерников.

В этом мире она прожила всего год и четыре месяца и умерла 3 марта 1944 года.

Я не знаю, где ее могилка. Меня не пустили за зону, чтобы я могла похоронить ее своими руками.

Я очистила от снега крыши двух корпусов дома младенца и заработала три пайки хлеба. Я отдала их, вместе со своими двумя, за гробик и за отдельную могилку. Мой бесконвойный бригадир отвез гробик на кладбище и взамен принес мне оттуда крестообразную еловую веточку, похожую на распятие.

Вот и вся история о том, как я совершила самое тяжкое преступление, единственный раз в жизни став матерью.

Я продолжала ходить на работу, уже не сознавая — легко ли мне или тяжело. Что-то делала, не чувствовала ни голода, ни потребности общения с людьми.

На очередной комиссовке у меня обнаружили дистрофию и дали двухнедельный отпуск, но я не поняла и, еле волоча ноги, продолжала ходить на работу, пока меня однажды с развода не повернул врач.

В это время на меня пришел наряд из ЦОЛПа — Центрального отделения в Княж-Погосте.

Еще находясь с ребенком на «клопином» лагпункте, я участвовала в самодеятельности и там познакомилась с ее руководителем, обаятельным пожилым профессором Александром Осиповичем Гавронским.

Помогая мне готовить роль, он часами беседовал со мной обо всем на свете, а в это время маленькая Элеонора, ползая у его ног, пыталась развязать шнурки на его ботинках.

Из «клоповника» его забрали в ЦОЛП, снабдили еще десятью годами срока и сделали директором новообразованного театрально-эстрадного коллектива (ТЭКО).

Там он вспомнил обо мне, разыскал и добился для меня наряда для перевода в ЦОЛП.

Не мог же он знать, что я уже не та, что вместе со смертью дочери во мне умерло и желание, и умение играть на сцене.

Но в лагере не выбирают. Пришел наряд – и ступай куда ведут. С пустым деревянным чемоданом в руках, в кирзовых сапогах на босу ногу и в старом бушлате пошагала я в августе 1944 года на вокзал так же равнодушно, как ходила в поле или на лесоповал.

В театре Гавронского ко мне так и не вернулись ни любовь к сцене, ни способности к актерской игре. Добрый старик часто вызывал меня к себе, частично для того, чтобы развлечь, а больше ради того, чтобы было перед кем самому послушать свои мысли вслух (он писал какой-то труд). Произносил длинные монологи, читал получасовые лекции, которые текли мимо моего сознания. (Зачем нужна была вся философия мира, если не было у меня больше Лёли?!).

А он, дымя самокруткой, все говорил и говорил, пока мне не начинало казаться, что я вишу головой вниз где-то под потолком, а пол колыхнется далеко внизу.

Роли мне дали совсем не подходящие к моему тогдашнему состоянию: каких-то очень положительных, очень жизнерадостных, очень голубых дамочек, благоденствующих офицерских жен в кудряшках.

Вот если бы мне дали роль бабы, впрягшейся в плуг вместо лошади! Но таких ролей не было. И пьес нам таких не давали. Действительность лакировалась даже в 44-м году, когда города лежали в руинах, люди жили в землянках, а колхозницы тащили на себе плуг.

Быт «крепостных» артистов резко отличался от быта остальной массы заключенных. Питание было намного лучше. Во время гастролей, тянувшихся по десять месяцев, было и вовсе хорошо.

Мы свой паек получали на руки в сухом виде. Это значит, что положенная норма доходила до наших желудков почти полностью. Во время гастролей нас в некоторых местах угощали или прикрепляли к столовым.

Страшно было возвращаться к грязи и вшам общих бараков, к хлебке из крапивы и иван-чая, к непосильной работе и вечному унижению. А я знала, что этим все кончится. Я не чувствовала своих ролей и играла как попугай. Во всяком случае, я твердо знала, что для коллектива не гожусь, что и себе самой я тоже совсем не нужна. Что пос-

ле гастролей буду отчислена и что тянуть ляжку пятнадцатилетней каторги я больше не в состоянии.

По возвращении из гастролей я сделала попытку к самоубийству. Воспоминание о ней до сих пор заставляет меня краснеть от стыда.

У театрального администратора я стащила кучу снотворных таблеток и, когда из общежития все ушли на какой-то концерт, проглотила их все до одной.

Но, не имея собственной спальни, умереть трудно. Один мой старый друг забыл где-то книгу. Решив, что она у меня, он вместе со своей женой зашел в общежитие и стал меня будить. Заметив что-то подозрительное в моем необычно крепком сне, они подняли тревогу.

Хочу немного отступить, чтобы рассказать об этом друге.

За несколько лет до Княж-Погоста я на одном лагпункте работала на кухне. Однажды прибыл новый этап, состоявший из одной интеллигенции: ученых, преподавателей, работников печати...

Старостой этапа был худенький человек невысокого роста, с такой чистой, обаятельной и ласковой улыбкой, что, когда он с ведром приходил на кухню за обедом для себя и своих товарищей, мне всегда хотелось сделать для него что-нибудь хорошее, и я старалась наполнить его котелок поплотнее и погуще.

Он сразу организовал самодеятельность, куда вовлек и меня. Потом мы в одной бригаде работали на трассе, и он был единственным мужчиной в лагере, общение с которым заставило меня поверить в возможность чистой дружбы между мужчиной и женщиной.

Потом мы разъехались и встретились уже в ТЭКО.

Вместе с лагерной женой они (они остались мужем и женой и на свободе) спасли меня от смерти тогда и в дальнейшем были моими ангелами-хранителями, спасая от ударов судьбы.

Мы были в разных группах театра. Они работали в кукольном театре при ТЭКО, работали самостоятельно, а потом и вовсе отделились.

Пока я лежала в больнице, они, при содействии Гавронского, уговорили руководительницу кукольного театра взять меня в свой коллектив.

Интересной женщиной была руководительница. В прошлом — жена известного грузинского режиссера Ахметели и сама известная актриса, она была добрым и отзывчивым человеком. В хорошем настроении улыбалась так широко и искренне, что все вокруг начинало улыбаться.

И вот она, Тамара Георгиевна Цулукидзе, начала пробуждать меня к жизни.

В своем театре она ставила не только кукольные спектакли, но и небольшие одноактные комедии. В одной такой пьеске заняла и меня. Только ей я обязана тем, что впоследствии уже в другом, сибирском лагере могла руководить культбригадой, а затем довольно успешно работать в театре.

Но главное, я полюбила кукол.

Счастье кукольного рая было непродолжительным.

Кончилась война, пошли изменения в режиме и политике, все начало меняться.

Я очень немного знаю, почему закрылся наш театр. Кажется, министр просвещения Коми АССР захотела иметь его у себя, но без зэков. Куклы, сделанные нашими руками, были у нас отобраны и отправлены в Сыктывкар. Там они через короткое время нашли вечный покой в крысиных желудках.

Тамара Георгиевна, Алексей и Мира Линкевичи (мои друзья, о которых я говорила выше) должны были вскоре выйти на свободу. Они остались в Княж-Погосте. Меня отправили на отдаленный сельскохозяйственный лагпункт Кылтovo, а некоторое время спустя я попала в списки на этап – в сибирские лагеря.

Почти месяц тащился эшелон к месту назначения. Все шло по традиции: давали соленую хамсу, а воду – редко. Да и хамсы перепадало мало. Блатнячки вместе с конвоем меняли наши продукты на водку и белый хлеб, вместе пили, и ели, и смеялись над фрайерами.

Эти блатнячки, вкрапленные по 8–10 штук (говорю штук, потому что души у них не было) на 30–40 политических, терроризировали последних как только могли, грабили как хотели, причем те даже пикнуть не смели: у блатнячек были ножи.

В нашем вагоне большинство составляли западницы: польки, литовки, эстонки, латышки. Нас, «советских», было восемь и десять блатнячек.

Посовещавшись, мы, «советские», решили себя в обиду не давать.

Блатнячки начали с западниц. Последних было много. Большинство – молодые, спортивного вида девушки. Они могли бы в два счета смять этих тварей. Но – нет! Когда грабили одну, соседки отодвигались, чтобы бандиткам было удобнее. Хоть у тех и были ножи, но они вряд ли пустили бы их в ход.

Был канун Пасхи. Бандитки только что отняли у беременной польки ее «мамочный» паек и, забравшись в свою берлогу на верхних нарах, пожирали его. Одна, похожая на ведьму, только что явившуюся с шабаша, с крестиком навывпуск, на мгновение задумалась, перестала жевать и сказала:

– Ох, девки! Канун Пасхи, а мы ограбили беременную!

Еще мгновение подумав, она добавила:

– Ну ничего. *Нам* Бог простит!

И наша восьмерка решила избавиться от них. Мы знали, что никакие просьбы и заявления не помогут: ведь конвой был с ними заодно. Потому мы пошли на довольно подловатую хитрость (нам тоже Бог простит!). Во время стоянки было выброшено письмо, в котором говорилось, что в нашем вагоне блатнячки готовятся к побегу, что ножами они хотят вскрыть пол и удрать на ходу поезда.

Через полчаса в вагон вскочили конвоиры, сделали тщательный шмон, нашли ножи и посадили блатнячек в вагон-карцер. Дальнейший путь протекал у нас спокойно.

После месяца пути мы прибыли в сельскохозяйственный лагерь – отделение Сулова, где были сразу изолированы в карантине. Этот карантин был сам по себе инкубатором всяких болезней.

Теснота, липкая черноземная грязь, тучи блох и клопов. На нарах мест не хватало, спали под нарами.

Однажды в барак зашел начальник культурно-воспитательной части отделения. Он набирал артистов в культбригаду. Кто-то из моих спутниц по этапу «выдал» меня, и после карантина я уже лепила кукол в маленькой рабочей комнате отделенческого клуба. (Весь суловский лагерь считался совхозом, и главное отделение было как бы конторой совхоза.)

Этот лагпункт отличался от остальных только большим лазаретом и клубом. А в жилых бараках – те же клопы и блохи, набитые соломой тюфяки без простыней, рваные одеяла. В отличие от северных лагерей, здесь зимой бараки почти не отапливались. Люди спали на нарах не раздеваясь, в бушлатах, ватных брюках и валенках.

Мне-то было сравнительно хорошо. Я жила при клубе. Это было большое ветхое здание, кишевшее крысами, которое невозможно было натопить. Мы жгли что попало: декорации, подшивки газет, мебель. Однажды во время застольной репетиции один из ребят на минутку отлучился, а когда вернулся, его стул уже догорал в топке. Но все равно, как ни топили, пролитая на стол вода или суп моментально замерзали.

В 49-м году впервые в обычном, не штрафном, лагере зону разделили на женскую и мужскую. Наши мальчишки стали ходить на репетиции по пропускам через вахту (клуб остался в женской зоне).

В это время особенно проявилась сила гонимой любви.

Мужчины и женщины лезли к своим любимым через проволоку, получали пули, становились калеками, но это никого не останавливало.

А потом женщин вообще убрали с этого лагпункта, и он стал чисто мужским. Культбригада прекратила свое существование.

Для меня это было большим ударом, потому что я очень привязалась к коллективу, совсем непохожему на тэковский. Здесь трудности спаяли нас в одну семью, где царили шутки, смех, веселые проделки и круговая порука.

Этому коллективу я обязана тем, что до сих пор топчу землю. Как-то я заболела острой пневмонией, и врачи, за отсутствием лекарств, предоставили мне спокойно умереть. Бесконвойные культбригадники обегали два поселка и где только можно было выпрашивали таблетки сульфидина, а затем по очереди сидели у моей кровати, чтобы вовремя дать лекарство. Только благодаря им я и выжила.

Мне не пришлось идти на общие работы. Сразу после разгона культбригады на меня пришел наряд в управленческий «крепостной» театр.

Откуда обо мне там стало известно?

На одну из ежегодных олимпиад мы привезли в Мариинск кукольный театр и пьесу живого плана, в которой у меня была роль отрицательной фифочки, жены ответработника. У себя в отделении и в гастроях по другим лагпунктам у меня эта роль проходила средненько. А тут, на большой сцене, с меня будто оковы свалились. Я заиграла так живо, естественно и непринужденно, вместе с тем смешно, что меня проводили со сцены аплодисментами. Тогда же мне и сделали предложение перейти в управленческий театр. Но свой коллектив я бы не променяла ни на какие блага. Когда в Мариинске узнали, что сусловской культбригады уже не существует, на меня и спустили наряд.

В театре было три группы: драматическая, вокальная и хореографическая.

Я всегда была к танцам равнодушна. Но здесь, в Мариинске, впервые полюбила этот вид искусства. Балетмейстер своим мастерством не уступал Моисееву. Но больше всего группу украшала одна танцовщица, которой война помешала закончить балетное училище. Она была из Венгрии, отец был евреем, и, когда гитлеровцы пришли в Венгрию, семье пришлось разбежаться в разные стороны.

Она стала танцовщицей в кабаре какого-то захолустного городка. Когда Советская Армия стала приближаться к границам Венгрии, она решила через фронт бежать в Советский Союз. Она сумела добраться до советских окопов и свалилась прямо на головы солдат.

Здесь ее первым делом изнасиловали, наградили венерической болезнью, а затем, как шпионку, судили и отправили в лагерь.

В Мариинске ее сняли с эшелона больную, почти умирающую, и положили в лазарет. Оттуда ее, после лечения, выудили работники театра.

Какая эта была танцовщица! Наряду с балетными номерами она танцевала и народные, и характерные танцы.

Мне трудно описать всю красоту и мастерство ее танцев. Мой язык слишком беден, да и разбираюсь я в хореографии плохо, но ни до, ни после Долли я не видела ничего подобного.

Начальство ГУЛАГа прилетало из Москвы только для того, чтобы посмотреть танцы Долли Такварян.

В этом театре я играла роли более-менее мне доступные: Манефу и Галчиху в пьесах Островского, Дуняшу в «Женитьбе» Гоголя, Лукерью в «Свадьбе с приданным». Кроме того, до разъезда на гастроли я обязана была принимать участие в хоровых и танцевальных ревию в больших праздничных концертах. Это мне нравилось как собаке палка.

Но своим ролям я отдавала душу. О себе невозможно сказать, хорошо или плохо ты играешь. Но я не раз слышала, как музыканты или балетчики на каком-нибудь десятом спектакле говорили:

– Посмотрим Галчиху (или Дуняшу) и завалимся спать.

Совсем неплохо было в этом театре. Чистое общежитие, зарплата, выдаваемая на руки (с вычетом содержания). Были здесь старые актрисы – Морская, Малиновская, которые говорили, что предпочли бы до конца жизни остаться в этом театре, что их пугает сомнительная свобода, которая ждет их за зоной.

И вдруг – опять пугающие новости.

Сначала стали собирать по лагпунктам рецидивистов и сотни их затолкали в Мариинскую пересылку, где они с ходу затеяли нешуточную войну с власовцами. Дрались топорами не на жизнь, а на смерть.

Для прекращения этой войны по приказу начальника пересылки на вышки поставили пулеметы и стали косить всех подряд, причем погибло немало ни в чем не повинных людей.

В этой бойне погибло около трехсот человек, скошенных огнем пулеметов и топорами и ножами своих братьев по заключению.

Скандал был настолько шумный, что в высших инстанциях вынуждены были, как это всегда бывало, найти козла отпущения. Таким оказался начальник пересылки, которому, как говорили, дали 25 лет, предварительно разжаловав.

Затем стали собирать этапы политических. На станции формировались длинные эшелоны, набитые битком. Их брали, невзирая ни на транспортабельность, ни на степень вины и продолжительность срока.

Из больниц брали полумертвых, догорающих стариков, послеоперационных больных, на костылях, на носилках и своим ходом в рванье тридцать третьего срока их волокли к вокзалу и набивали до отказа обледенелые теплушки.

Это было в январе, феврале и марте 1951 года. Весь лагерь был в тревоге. Прошел слух, что все политические обречены на уничтожение или, в лучшем случае, их уберут с глаз подальше, в самые дикие, пустынные и безводные окраины страны, где жестокий режим и невыразимо тяжелые условия труда доведут их до массовой гибели без применения газовых камер и пулеметов.

Никакие заслуги, никакое мастерство не спасало политических от этих страшных этапов.

В лазарете работал молодой хирург Гринько (сидел за связь с бандеровцами). Его знала вся Мариинская область. Сотни обреченных на смерть спас он своим скальпелем. В большинстве это были вольные, и среди них — немало начальства и членов их семей. Его взяли вместе с больными и, несмотря на заступничество главврача, старого коммуниста Старцева, и петиции бывших пациентов, отправили на вокзал.

Добрались и до нашего театра.

В тот день, когда в клубе были зачитаны списки, театр оказался, по существу, разгромленным.

Оставались бытовики, малосрочники и те, у кого сроки подходили к концу. Долли Такварян и меня пока в списках не было.

Все уже было известно точно. Среди вольнонаемных у нас было немало приятелей. Кое-кто из них был назначен сопровождать этап. Они-то и поставили нас в известность о месте назначения: Джезказган. Медные рудники. Безводная солончаковая степь.

Кроме того, в лагере оказался зэк, в недалеком прошлом работник ГУЛАГа. В нашем маленьком женском общежитии, куда собрались почти все работники театра на печальные проводы товарищей, он поведал о причине этих этапов. Передаю его рассказ.

В Советский Союз приезжала Элеонора Рузвельт. Ей было известно об огромном количестве заключенных в Советском Союзе.

Элеонора Рузвельт пожелала лично посетить лагеря. Ей в этом было решительно отказано.

В ООН был поставлен вопрос о нарушении прав человека, говорилось о посылке в Советский Союз специальной комиссии. Наши представители в ООН отбрыкивались как могли, но дома в это время стали убирать «мусор» и запихивать его в дальние закоулки — такие, как Джезказган.

Рудники там были давно, но из-за отсутствия жизненно необходимых условий (в основном из-за безводья) они чуть дышали. А тут появились эзки, отлученные от человеческих законов. Нужно только побольше колючей проволоки, наручников, охраны, пулеметов на вышках, немецких овчарок...

Этапы ушли. Вернулся конвой, и у нас оказалась записка от наших товарищей, из которой мы узнали об их судьбе.

Режим – каторжный. Всех украсили номерами, как в фашистском лагере. Работа в рудниках. Кормежка – два раза в день. Литр воды в сутки. Хочешь – пей, хочешь – умывайся. Здорового человека хватает на месяц, того, кто послабее, – недели на две. Гринько калечит свои драгоценные пальцы хирурга кайлом и лопатой. Один из наших танцоров сошел с ума.

Мы ходили как пришибленные.

Репетиции не клеились. Чтобы как-то спасти программу, каждый обязан был нести двойную, а то и тройную нагрузку, но охваченные унынием актеры потеряли вкус к работе. Всю жизнь любимая, она теперь казалась никчемной и постылой.

Незадолго до этих событий я перенесла сложную операцию. Как раз когда я лежала в больнице, началась колготня с отправкой этапов. Всех, кто мало-мальски держался на ногах, выписывали из больницы. Выписали и меня, хотя я после операции еще только училась ходить. Но я бодрилась, показывала всем (и себе самой), что «я могу!».

И – правда! Роли у меня были очень подвижные (кроме Галчихи). На репетициях никто бы не поверил, что всего несколько дней тому назад я с трудом, с одышкой и сердцебиением, училась преодолевать метровое расстояние между двумя кроватями. Зато после репетиций я пластом лежала в постели.

Когда беда обрушилась на театр, мной овладело чувство безнадежности, страха и уныния. Я боялась своей физической слабости, боялась подгоняющих штыков конвоиров, ненавидела свое проклятое сердце за то, что оно никак не хочет разорваться. Это был страх бродячей собаки перед палкой, страх раненого зайца, который в руках охотника по-ребячьи кричит от боли и страха перед еще худшей болью.

Будь проклят во веки веков тот, кто способен вызвать такой страх, безразлично в ком – в зайце, собаке или человеке.

Конечно, внешне я ничем не выдавала своих переживаний, все мы были достаточно закалены и умели скрывать свои чувства. Но седые волосы, обнаруженные после бессонной ночи, морщины, которых не было вчера, старческая складка у рта. Ее, как ни старайся, уже не разгладить.

Короче говоря, предчувствие не обмануло меня. Были отправлены основные этапы, все как будто начало входить в спокойную колею, а в управлении начали заниматься подборкой хвостов.

Кое-как успели подготовить программу для выездов, и вдруг — удар, самый болезненный и неожиданный: в этап вызвали Долли Такварян, звезду и опору театра. А через несколько дней пришла моя очередь, несмотря на то что у меня оставалось немногим больше года до конца срока.

Была уже поздняя весна, когда я вышла из зоны, направляясь к пересылке. Вместе со мной шли еще несколько незнакомых женщин. День был теплый, солнечный. Вещи были сложены на подводу, конвоиры не торопили и не подгоняли нас. Да и до пересылки было каких-то три километра. Все страхи и волнения прекратились. Осталась странная оцепенелость и безразличие ко всему на свете.

Долли я на пересылке не застала. Еще одно разочарование. Мне вдруг страшно захотелось спать. Я бросила вещи на нары, повалилась на них, уснула, и две недели, проведенные на пересылке в ожидании этапа, я почти полностью проспала. Стоило мне присесть или прилечь, как я уже спала. Благо на работу не гоняли.

От этого сна я очнулась уже в Тайшете. Здесь мне сказали, что Долли всего несколько дней тому назад отправлена на трассу. На какой лагпункт — неизвестно.

Через несколько дней с большим этапом других женщин я была направлена в Братск.

...Начиная с середины тридцатых годов название, присвоенное советским лагерям — исправительно-трудовые, — потеряло свое первоначальное значение. Правда, с самого начала своего существования они были скорее истребительно-трудовыми, но какая-то видимость хотя бы малаховского гуманизма прикрывала «воспитательные» меры наших надсмотрщиков.

Были общие для женщин и мужчин лагеря, где менее замученные и опустившиеся люди могли забыться в объятиях любви, и начальство часто закрывало на это глаза, если ээки выполняли и перевыполняли нормы.

Была самодеятельность и гордость управленческих начальников — созданные ими профессиональные театры, которыми они хвастали один перед другим. В них счастливиčky актеры чувствовали себя хоть и второсортными, но все же людьми.

Привозили кино. В пределах лагерной зоны (кроме карцера и морга) решеток не было, замков тоже не было, и можно было свободно ходить по всей зоне.

Новинка, сконструированная компанией Берии – Абакумова, не блистала оригинальностью. Все, все было слизано у Гитлера, кроме газовых камер.

Первое, что бросилось в глаза, когда мы вошли в зону, – это решетки на окнах бараков и засовы на дверях. Возле уборной, куда, как обычно, всех потянуло, рядами выстроились бочки, над назначением которых ломать голову не приходилось. Ясно – параши. Значит, правда, тюремный режим.

Зона была безлюдна. После проповеди начальника режима, ознакомившего нас с правилами и обязанностями, в которых преобладали слова «запрещается» и «карается», нас усадили посреди зоны на самом солнцепеке, велели не шляться по зоне и ждать.

Сразу же на нас напала огромная туча мошкар, крупной, нахальной, вырывающей куски мяса. Но у меня потемнело в глазах не от мошки. Со списками в руках к нам подошли женщины: врач и две нарядчицы. На белом халате врача – на спине и на подоле у колен – темнели нашитые лоскуты с номерами. Такие же нашивки были на платьях нарядчиц и всех изредка пробежавших мимо нас женщин.

Казалось бы, что особенного в тряпочках с цифрами, нашитыми на платье?

Но эти тряпочки отнимали у нас имя, фамилию, возраст, превращали в клейменный скот, в инвентарь, а может быть, и хуже, потому что нумерованный стул продолжает называться стулом, клейменная скотина имеет кличку, мы же могли отныне отзывать только на номер. За отсутствие номера на положенном месте ждала суровая кара.

Уже к вечеру, без бани (не было воды), нас разместили по баракам. На сплошных нарах и без того было тесно, а когда на них втиснули новоприбывших – совсем не продохнуть. Втиснули без врачебного осмотра, а в этапе были и рецидивистки, среди них больные сифилисом, туберкулезом... Бараки на ночь запирались и ставились параши. К духоте и тесноте прибавлялась еще и невыносимая вонь.

В новых лагерях заключенным были запрещены самодеятельность и кино, газеты, книги и настольные игры. После ужина всех выгоняли на поверку и держали в строю до отбоя.

Подъем делали в полшестого, а когда дежурному на вахте надоедало клевать носом, он, чтобы прогнать сон, устраивал побудку на час раньше.

И еще один бич: нехватка воды. Ее возили в цистерне из реки за десять километров. Два бензовоза не могли обеспечить нужду двух многолюдных зон и поселков. В первую очередь снабжались вольнонаемные, казармы, затем – лагерные кухни. В барак утром заносился

бачок воды, его с бою захватывали более сильные. Вечером — тот же бачок с кипятком, слегка покрашенным ячменным кофе. Баня была раз в месяц, выдавалось по полшайки воды, а о прачечной и речи не было. Припадали к каждой дождевой луже, а по зоне ходили с тазиком и просили подруг пописать, чтобы в моче выстирать шерстяную кофточку или юбку.

На тяжелые работы гоняли всех без разбору: и молодых, и старых. И что интересно — здесь особенно не спрашивали ни норм, ни планов. За невыполнение не наказывали, за перевыполнение не поощряли. Просто десять часов заставляли работать до упаду. Заключенных было много, и часто случалось, что на всех не хватало работы. Тогда заставляли заниматься сизифовым трудом: делать что-нибудь ненужное, бесполезное, «абы руки не гуляли».

За малейшую провинность, за оторванный номер сажали в БУР (барак усиленного режима).

В троице лагерного начальства самым человечным был политрук. Он тоже умел грозить, но его угрозы звучали как предупреждение, и он мог одним словом успокоить и вселить надежду в душу отчаявшегося человека. Пьяного начальника режима и душевнобольного начальника лагпункта он кое-как удерживал в шатких рамках законности.

Среди заключенных началась эпидемия самоубийств. В основном это были девушки-западницы: травились хлорной известью или вешались где-нибудь в укромном уголке.

Минула еще одна зима. Наступило лето. Пришел и ушел август 1952-го — время окончания моего срока. Я встретила эту дату без радости и печали. Я давно привыкла к тому, что отсюда выхода нет. Теперь уже не разыгрывались спектакли с вручением нового срока, как это было раньше. (Зэка вызывали, поздравляли с окончанием срока и просили расписаться за новый.) Теперь не освобождали — и все.

Но вот меня вызвал начальник спецчасти. С вымученной улыбкой он сообщил, что я вызвана на «расторжение договора».

Забыла сказать, что к тому времени простое слово «освобождение» было заменено словами «расторжение договора».

Я оказалась на свободе с какой-то собачьей кличкой, в которую превратилось мое имя под пером невнимательного писаря, — Альма!

Это было 19 апреля 1953 года.

НАДЕЖДА КАНЕЛЬ



Надежда Вениаминовна Канель – дочь В. Я. Канеля (1873–1918), земского врача, позднее ординатора московской Екатерининской больницы, члена партии большевиков с 1903 года, и А. Ю. Канель (1878–1936) – главного врача Кремлевской больницы.

В 1939 году Надежда и ее сестра Юлия были арестованы.

Юлия умерла в тюрьме в 1941 году.

Надежда Канель была освобождена из Владимирской тюрьмы, где сидела после повторного ареста, в 1954 году, выступила свидетелем обвинения на процессе Абакумова и Комарова – ближайших сотрудников Берии.

Надежда Вениаминовна была врачом, кандидатом медицинских наук.

ВСТРЕЧА НА ЛУБЯНКЕ

Сначала – о том, как я попала на Лубянку.

Думаю, это было предопределено еще в 1932 году, когда моя мать – главный врач Кремлевской больницы, – а вместе с нею доктор Левин и профессор Плетнев отказались подписать фальсифицированное

медицинское заключение о смерти Н. С. Алилуевой, последовавшей якобы от острого приступа аппендицита. Сталин не простил этого ни одному из троих: судьба Левина и Плетнева, обвиненных в преднамеренном убийстве Горького, известна; моя мать в 1935 году была отстранена от должности главврача Кремлевки. Она скончалась в 1936 году.

Три года спустя арестовали меня, сестру и ее мужа.

Следователь утверждал, что наша мать работала на три европейских разведки (мать как лечащий врач возила к европейским светилам жену Молотова Жемчужину, а также сопровождала в Берлин жену Каменева, в Париж – Калинин) и что в свою шпионскую деятельность она вовлекла и нас, ее дочерей.

Разумеется, я все отрицала. Меня били.

На одном из допросов мне показали «признания» Юлии – я поняла, как мучили сестру!..

Предъявили мне и показания Юлиного мужа, доктора Вейнберга: и он «признался», что его завербовала Александра Юлиановна Канель и что он выдал тайну распространения малярии в СССР (между тем его статья на эту тему была опубликована в общедоступном медицинском справочнике).

Долгое время не знала я о судьбе своего мужа: на воле он или тоже в тюрьме?.. Детей у нас не было (в тюрьму я попала беременной, мне насильно сделали аборт).

К счастью, Адольфа* не тронули; он взял на воспитание двоих детей Юлии, кроме того, на его попечении оказалась наша старая тетка; при этом он защитил сначала кандидатскую диссертацию, потом докторскую. Пятнадцать лет ждал он моего возвращения – и дождался...

Прошло три месяца в непрерывных допросах – и внезапно моя тюремная жизнь осветилась: я встретила Алю – Ариадну Сергеевну Эфрон, дочь Марины Цветаевой.

Это произошло 2 сентября 1939 года, когда меня перевели из одной камеры в другую.

На полу перед дверью сидела девушка на вид лет восемнадцати, с длинными белокурыми косами и огромными голубыми глазами. Лицо очень русское, но она показалась мне иностранкой: одета просто, но и черная юбка, и белая блузка, и красная безрукавка – все явно заграничное.

* Адольф Вениаминович Сломьянский (1901–1985), доктор физико-математических наук. – *Прим. сост.*

Одна из женщин сказала мне:

– Вот, несколько дней как арестовали, теперь все время сидит у двери – ждет, что ее выпустят.

Я спросила девушку, где она работала.

– В Жургазе*, на Страстном бульваре.

– У меня там много знакомых.

– Кто же?

– Ну, например, Муля Гуревич.

– Это мой муж!

– Каким образом?! Ведь он женат на моей ближайшей подруге!

– Мы с ним уже год как муж и жена...

Запомнилась ее фраза: «Я была такой хорошей девочкой, меня все так любили – и вдруг арестовали...» В ту минуту подумала: «Все мы хорошие девочки, и всех нас арестовывают». Но очень скоро поняла, что таких хороших, как Аля, – нет.

Мы были вместе шесть месяцев – до февраля 1940 года.

Алю обвиняли в шпионаже; она поняла, что ее отец тоже арестован, страшилась, что посадят и мать. Но, видимо, постоянное нервное напряжение обострило Алину наблюдательность, а неисчерпаемый юмор был защитной реакцией. Во всяком случае, не помню, чтобы я когда-либо еще так много смеялась: Аля смешила меня на каждом шагу с утра до вечера; она обыгрывала каждый приход надзирателя в камеру, и мы не могли удержаться от смеха, когда он произносил: «Инициалы полностью».

Несмотря на частые допросы и тягостную тюремную обстановку, мы с Алей очень легкомысленно относились к своему положению. Не чувствуя за собой никакой вины, были уверены: максимум, что нам могут дать, – это ссылку года на три; уславливались о встрече не где-нибудь, а почему-то в Воронеже.

Аля еще была полна жизнью, из которой ее вырвали, постоянно думала о Муле – это была ее первая любовь. Она говорила: «Хотя я в тюрьме, но я счастлива, что вернулась в Россию, что у меня есть Муля. Я так была счастлива эти два года!»

Позднее Аля писала мне: «Помнишь, когда мы с тобой вместе читали и бесконечно разговаривали обо всем, далеком и близком, как бы стремясь надружиться впрок на все годы разлуки, как я тогда далека была от мысли, что наступит время, когда я буду совсем одна. А тогда, когда мы были с тобой вместе, я была еще очень счастливая, несмотря на сверхнесчастные обстоятельства».

* Журнально-газетное объединение.

Новый, 1940 год мы встречали вместе с Алей. Она даже сделала торт из печенья, купленного в тюремном ларьке, растирала масло с сахаром вместо крема. В 12 ночи слушали бой часов с кремлевской башни.

Перед последним для нее 1975 годом Аля послала мне письмо: «Вот и еще один Новый год на пороге, всегда в это время оборачиваюсь к тому, нашему с тобой удивительному по обстоятельствам (которым теперь собственная память не хочет верить!) и по душевной нашей с тобой близости – новогоднему Сочельнику; и звон курантов с кремлевской башни (до сих пор до меня доносится); и полная грудь веры, надежды, любви, несмотря ни на что, поверх всего...»

С августа 1940 года Аля сидела три месяца вдвоем с молодой латышкой Вале́й Фрейберг, а потом их перевели в другую камеру. «Я как сейчас помню, – вот входим мы с Вале́й Фрейберг в маленькую камеру, – почему-то она с умывальником, и возле умывальника стоит женщина и моется, – вспоминала потом Аля. – Я прямо с порога спрашиваю: “Не встречал ли кто-нибудь из вас Канель?” И тогда та женщина поворачивается ко мне и, побледнев, говорит: “Я сама Канель”. – “Ляля?” – “Ляля”. – “Привет вам от Дины*.” Мы не долго пробыли вместе, всего несколько дней – специально для того, чтобы я смогла донести ее живую, все передать вам о ней. Она знала и верила, что я это сделаю, и, Диночка, ей было легче от этого сознания в ее последние минуты...»

В конце 1947 года, когда Аля жила в Рязани, она однажды приехала в Москву, пришла ко мне и подробно рассказала о встрече с Лялей, обо всем, что пережила Ляля во время следствия, которое было у нее сверхтяжелым, и о том, как ей пришлось подписать страшные ложные признания. Рассказала Аля и о своих утратах – о кончине матери, гибели Мура, гибели отца. «Я выплакала уже все слезы», – сказала она.

Больше мы с ней не встречались, так как в начале сорок восьмого года я была выслана из Москвы, а в июле сорок девятого вновь арестована.

В 1953 году я сидела во Владимирской тюрьме. Газеты нам давали с большим запозданием, но о смерти Сталина мы знали и знали, что теперь главный – Берия. Все заключенные писали заявления о пересмотре дела на имя Берии, но я, зная, что он руководил моим делом, конечно, не стала ему писать.

16 августа меня вдруг вызывают на допрос. Надо было идти в другой корпус, моросил дождь, я шла по двору в жутком настроении, ожидая новых бед.

* Ляля, Дина – домашние имена Юлии и Надежды. – *Прим. сост.*

Меня встретил человек лет пятидесяти, представился:

– Прокурор Володин, – и тут же спросил: – Говорили вы кем-нибудь о своем деле?

– Нет, никогда ни с кем не делилась.

– А с Ариадной Сергеевной Эфрон?

Я похолодела. Неужели Аля меня предала?!

– Расскажите, как вы и ваша сестра были арестованы в тридцать девятом году, как проходило следствие?

– Я уже забыла об этом...

– Не бойтесь, рассказывайте обо всем; нам известно, что вы и ваша сестра ни в чем не виноваты. Берия разоблачен. Напишите все, как и что было с вами. Ариадна Эфрон из Туруханска обратилась с письмом в Прокуратуру СССР, и это ускорило разбор вашего дела.

На другой день я вышла из тюрьмы и приехала в Москву на такси.

Вскоре от Али стали приходиться письма из Туруханска:

«За эти годы мой разум научился понимать решительно все, а душа отказывается понимать что бы то ни было. Короче говоря, все благодарное мне кажется естественным, а все то, что принято считать естественным, мне кажется невероятно неблагородным. Как совершенно естественные явления я принимаю и твою дружбу, и ваши отношения с Адольфом, и отношение Адольфа к Лялиным детям и к тете Жене, и то, что бедная, тяжело больная старая тетя Лиля в каждую навигацию шлет мне «из последнего» посылки, – а ведь ее помощь сперва маме и Муру, а потом мне длится целых 15 лет! А на самом-то деле, с точки зрения сложившихся в последние годы человеческих отношений, естественным было бы, если бы Адольф женился в 1940 году, дети росли бы в детдоме, а моя тетя Лиля «испугалась» бы меня полтора десятка лет назад и т. д. ...»

Я однажды позволила себе нарушить данное вам с Лялей слово: на следующий же после разоблачения Берии день я отправила в Прокуратуру СССР заказное письмо, в котором вкратце рассказала о вас обеих то, что мне было известно, – так мне хотелось, родная, чтобы ты поскорее вернулась домой...»

АДА ФЕДЕРОЛЬФ-ШКОДИНА



Начало сентября 1935 года. Литфак Института философии, литературы и истории, почти легендарного в будущем ИФЛИ. По коридору кто-то бежит и громко кричит: «Ребята! Кто хочет заниматься немецким, в тридцать вторую аудиторию! Кто французским – в тридцатую, кто английским – в тридцать пятую!» Так вполне демократично мы, первокурсники, выбирали себе язык. Я выбрала английский.

И вот мы, «англичане», в аудитории (не в классе!). За передним столом, лицом к нам, стоят две будущие наши преподавательницы; нас собираются разделить на две группы. Обе женщины высокие, одна темноволосая, ширококостная, она больше помалкивает, другая, кудрявая статная блондинка, объясняет нам, чем и как мы будем заниматься. Она молодая, ну, конечно, не слишком (для 18-летнего человека 34 года вполне солидный возраст!) и очень живая. В конце своей вступительной речи и она предлагает нам выбрать: у кого, у нее или у ее коллеги, мы хотим заниматься. Большинство, в том числе и я, выбирает ее. Группы расходятся по разным углам, и тут мы узнаем фамилию и имя нашей будущей преподавательницы. Ада Александровна Федерольф. Федерольф – красивая фамилия, необычная! Английская? Нет! Шведская, догады-

ваются кто-то из более образованных. В самом деле, предки Ады Александровны были шведы, но они осели в Петербурге и давно обрусели. Среди них были люди разных профессий (отец Ады Александровны был профессором медицины).

Начались занятия. И мы убедились, что не ошиблись в своем выборе. Как хорошо и отчетливо произносит наша преподавательница трудные английские словосочетания! Впрочем, немудрено: два с половиной года она жила в Англии! Училась в Лондонском университете и (об этом мы узнаем, правда, позднее) была замужем за англичанином. И опыт преподавательский у нее есть: до нас семь лет она преподавала в Промакадемии, Институте красной профессуры, во Втором МГУ. Скучные грамматические правила и засушенный, нудный учебник на ее занятиях оживают и становятся интересными. А уж когда она читает нам вслух по-английски «Остров сокровищ» Стивенсона, то вообще забываешь, что ты на занятиях и придется прослушанную главу изложить собственным довольно-таки корявым языком. В аудиторию она входит с улыбкой, и мы улыбаемся ей в ответ, она шутит, и мы смеемся вместе с ней. Кто-то из нас видел ее на лыжах, кто-то встретился с ней на горном перевале, куда она поднималась со своим спутником, а кто-то, случайно проникший на вечер в Дом ученых, уверял, что танцует она – «во!».

Вечером 4 марта 1938 года за ней пришли и увезли на черной машине туда, откуда, как мы тогда полагали (небезосновательно), нет возврата.

Вскоре после ее исчезновения нам сказали, что она английская шпионка (первый муж – англичанин, училась в Англии...), и мы, ко всему уже приученные, очередной раз промолчали.

Кончились 30-е годы. Кончилась казавшаяся бесконечной война. А после победы – опять проработки, опять «кампании» и опять аресты, «первичные» и «вторичные». Аду Александровну я перестала вспоминать.

Но пришел 53-й год, и стали возвращаться те, о ком или совсем забыли, или помнили со смешанным чувством страха и горького сострадания. И вот однажды осенью 58-го года на трамвайной остановке я вдруг увидела знакомую спортивную фигуру, светлые кудрявые волосы, только зубы были стальные... Неужели она? Жива! Подошел трамвай, и мы обе сели. «Ада Александровна! Здравствуйте! Не узнаете?» Когда я ей напомнила ИФЛИ, студенческую группу, она узнала. Мы сошли на одной остановке и обнялись. «Где вы были? Где сейчас живете?» Беспорядочные вопросы, отрывочные ответы. «Сейчас – в Тарусе. Строю дом». – «Дом строите?!» – «Да. В ссылке я жила с дочерью Марины Цветаевой, мы подружились. Теперь есть возможность построить домик в Тарусе. Вот я и строю! Когда будет готов, приглашу вас. Тогда уж мы наговоримся». Расстаемся на... три года. И когда я и думать забыла о нашей встрече, телефонный звонок: «Приезжайте в Тарусу. Жду вас».

Домик над Окой. Снаружи – теремок, внутри – уютный коттедж. Небольшой огород и сад возделаны образцово. И создано все это после 18 лет каторги и ссылки. Мы гуляем по лесу, сидим на веранде. И говорим, говорим... Вернее, говорит она. Рассказывает.

Лубянка. Приговор Особого Совещания по литере ПШ – подозрение в шпионаже (оказывается, была и такая литера). Восемь лет в лагере на Колыме. Лесоповал. Сельхозработы. В 47-м году возвращение на «материк». Паспорт – с ограничениями. Прописаться по нему и жить в Москве – нельзя (да и негде: комнаты нет, брак распался). Можно в Рязани. И Рязанский пединститут охотно принимает опытную преподавательницу английского языка. И снова студенты зачарованно смотрят ей в лицо. Увлеченно участвуют в спектакле, который она готовит к постановке... А в ноябре 49-го года – обрыв! Опять за ней приходят, и на этот раз даже обвинения нет. «Вы же интеллигентный человек, – скажет ей откормленный прокурор, к которому она обратилась, чтобы узнать причину своего второго ареста, – неужели не понимаете? Принесите справку, что не были замужем за англичанином, – освободим. Не можете? Значит, поедете или туда, где очень холодно, или туда, где очень жарко». Она поехала туда, где очень холодно, – в Туруханск. На вечную ссылку.

С ней вместе по этапу гнали тоже бывшую лагерницу Ариадну Сергеевну Эфрон, дочь Марины Цветаевой. Они подружились и в Туруханске поселились вместе. Жили в хибарке на берегу Енисея, зимой – погребенные в снегах, весной – осажденные водой, подступавшей к самому порогу. И предписано было так жить вечно, до самой смерти. Но смерть другого человека стерла это предписание. Сначала уехала Ариадна Сергеевна и, получивши реабилитацию, похлопотала за свою подругу. И в 1956 году Ада Александровна вернулась наконец в Москву.

Говорит она о том, что с ней случилось, без горечи, вспоминает красоту северного края, с юмором рассказывает забавные эпизоды и не жалуется ни на здоровье, которое, к счастью, сохранилось, ни на судьбу, которая сломалась.

После встречи в Тарусе житейские обстоятельства нас надолго разлучили. Увиделись мы лишь через 16 лет. За это время Ариадна Сергеевна умерла. С 1975 года Ада Александровна осталась совсем одна. Но у нее было дело, которому она себя посвятила: написала воспоминания о пережитом совместно с Ариадной Сергеевной, поставила в Тарусе на ее могиле монументальный памятник – памятник не только ей, но и ее трагически погибшим родителям, зарытым в безвестных могилах.

Трудный жребий достался Аде Александровне, но энергию, мужество, любовь к жизни она сохранила.

ВЫБОРЫ В ТУРУХАНСКЕ

Апрель в этот год выдался хорошим. С утра пригревало солнце. Наст был надежным, и идущий по нему не проваливался, а лужи за ночь затягивались крепким льдом.

К полудню перламутровые тона неба менялись и постепенно становились ярче, переходя в розово-голубые, потом в льдисто-голубые, густея, они приобретали фишашковые и фиолетовые оттенки. Ярко-синего неба, как у нас на юге, я не помню, и казалось, все кругом носило отпечаток лежащего на земле снега.

Енисей, который угадывался между берегами, заросшими ветлами и тальником, был безмятежно тих и спокоен. Снег к полудню так ослепителен, что становилось больно глазам, а подтаявшие и посиневшие колеи дорог, ведущие к противоположному берегу, походили на длинные щупальца, протянувшиеся от Туруханска и ползущие в глубь зарослей. По дорогам этим вывозили сено, заготовленное за лето по береговым болотцам и кочкам. А неубранное сено, сложенное в стога, сносилось первым весенним половодьем. Кочки, похожие на неровные столбики, поросшие жесткими травами и мхом, возвышались над сырой болотистой почвой. Они, эти кочки, были жесткими, не разваливались под ногами, а слегка прогибались, и, чтобы ходить по ним, требовалось умение, надо было, перепрыгивая, быстро двигаться по подвижному верху, не соскальзывая и не проваливаясь, так как потом, с земли, залезть на такой подвижный и скользкий бугорок было очень трудно. Зимой промежутки между кочками забивало снегом, превращая все в плотную, ровную снеговую поверхность.

В апреле прибрежный лес был еще скованным, но на высоких кустах у берега уже появлялись зеленоватые припухлости новых побегов.

Сам Туруханск становился как бы шире и выше. Снег слеживался, оседал, обнажались ступеньки крылец и нижние венцы домов с отваливающейся местами штукатуркой. Поселок хотя и терял свою зимнюю чистоту, но был уже более обжитым и приветливым.

На завалинках и крылечках появились старухи, за ними из сеней выползали подросшие маленькие дети, просидевшие в темноте и заперти целую зиму. Они делали в негнущихся валенках свои первые шажки в неведомый и радостный мир. Шажки очень часто не получались, и, постояв на пороге перед спуском с крыльца, малыши становились на четвереньки и на животе сползали по ступеням. Щенки, пушистые, толстые и неуклюжие, сползали со ступеней таким же

манером — на животе, слегка повизгивая от удовольствия и оставляя на ступеньках маленькие круглые лужицы с пяточок. Старухи, малыши и щенки — в полной гармонии с окружающим миром. А собаки в Туруханске были самые разные: от обыкновенных дворняжек до настоящих сибирских лаек. Лайки были коренасты, на низких, немного загнутых внутрь лапах, очень широкогрудые, с необычайно густой жестковатой шерстью, под которой еще был слой более короткого и мягкого подшерстка, до которого не всегда можно было добраться пальцами. Подшерсток этот вычесывался и шел на пряжу.

У лаек не было вовсе сторожевого инстинкта. Помню, как, войдя в дом к сапожнику в поздний зимний час, я привычно обмела веником снег с валенок, вытерла ноги в темных снях о что-то мягкое и, мне показалось, шевелящееся и была удивлена словами: «Когда пойдете обратно, не споткнитесь о собаку на пороге — в избе для нее жарко, и она всегда там лежит»...

Узнавали лайки своих прежних хозяев через годы, молча сзади сильно тыкались носом под колени, заставляя человека от неожиданности сесть на землю. Так узнавали меня выросшие щенки нашей Пальмы.

Водовозов было очень мало, и упросить их привезти бочку воды было непросто, и потому многие пользовались собаками. Привязывали их к вмороженному у проруби столбу, пока начерпывают воду. В холодное время прорубь сразу же затягивалась льдом, и надо было брать с собой лом или топор, чтобы добраться до воды через толщу льда. Для сокращения поездок многие, в том числе и мы, держали в чистом мешке на холоде в снях вырубленные куски льда, ими набивали бочку в углу кухни.

Наступило прекрасное, долгожданное время, когда с каждым днем становилось теплее, удлинялся день, можно было ходить с открытым лицом, с голыми руками и ногами. На Севере лица загорают, еще когда кругом лежит снег, загорают совершенно иначе, чем в средней полосе: кожа дубеет и приобретает особый оттенок старой бронзы.

После ледохода ходить в лес можно только в накомарнике, а еще позднее в лес вообще опасаются ходить или ходят в любую погоду в ватниках и мажутся солидолом, за неимением других средств. Еще не вступив в него, человек слышит густое монотонное гудение полчищ комаров. За ними следует гнус, который помельче, и кончается сезон мошкой, от которой вообще нет спасения, так как она легко проскакивает через марлю и проникает во все поры. В комариный сезон самый дефицитный товар — марля, ее продают в аптеке для ма-

леньких детей и местного начальства... В домах над постелями водружают перекладыны для полога, если марли много (ее берегут от сезона к сезону), или, если ее мало, обшивают кровать с изголовья до ног, оставляя для себя маленький лаз, который изнутри завязывают узлом. Спать душно, но все-таки можно. В ветреные дни ветер гонит комаров на поселок, они летят целыми тучами и облепляют белые стены домиков таким слоем, что те перестают быть белыми. Такое нашествие бывает три-четыре раза в лето; люди приходят в бессильное бешенство и разводят вокруг домиков дымокуры. Для дымокура годится любой дырявый таз или ведро, куда сперва кладут сухую кору и щепки, поджигают, а когда хорошо занимается огонь, подкладывают мох, а еще лучше — сырые смолистые еловые ветви. Огонь притухает, а вместо него идет едкий, тяжелый дым, который поддерживают весь день, а главное, всю ночь. Двери тогда оставляют открытыми настежь, чтобы дать возможность комарам улететь; или наоборот — при первом появлении комаров закрывают все щели и отсиживаются дома. Обычно это могут делать только старики и дети.

Позднее, к осени, примерно в августе, появляются слепни и оводы, но с ними борьба легче. А потом короткие дни начальных заморозков по ночам, когда днем снова можно жить.

В годы раскулачивания из разных мест прибыли в Туруханск две пожилые женщины — Зубарева и Терешук, которые к нашему приезду в Туруханск, то есть к осени 1949 года, уже были старухами. Вот о них-то в дальнейшем и пойдет разговор.

Марфа Зубарева, по-местному Зубариха, высокая старуха, с сильными жилистыми руками, злая и невероятно работающая. Приехала она с партией раскулаченных со своей дочерью Наташей, молодой, молчаливой и не очень привлекательной девушкой. Зубариха была несловоохотлива и на всякие расспросы отвечала уклончиво, с недоверием и подозрительностью поглядывая на собеседника. Попала она сперва еще дальше на север, в поселок Янов Стан, где тогда находилась какая-то геолого-разведывательная экспедиция. Пристроилась бабка в уборщицы и прачкой и, оглядевшись, поняла, что жить ей с дочерью негде, так как экспедиция была засекреченной и бабку жить пустить не могли, а кругом были низкие, наскоро построенные халупы охотников, мало интересующихся благоустройством своего жилья. Было бы где ночевать...

Репутацию честного человека Зубариха заработала почти сразу же, получив в стирку ворох грязного белья и заношенных до блеска брюк. В кармане одних она обнаружила перевязанную пачку крупных купюр. В хате никого не было, и, перестирыв белье, она заставила

первого пришедшего пересчитать деньги и расписаться в получении и тем заслужила полное доверие всех и разрешение пользоваться в их отсутствие ездовыми собаками и лесорубным инвентарем. Очевидно, время было зимнее, и бабка повалила и свезла на собаках достаточное количество стволов, чтобы построить хатенку, и даже ухитрилась, набрав по поселку кирпичей и обломков, сложить подобие печки. Но сложить ее с внутренними ходами не сумела, и топилась печь навывлет, обогревая хатенку только во время топки и промерзая к утру.

Как и когда попала Зубариха в Туруханск, где она снова своими руками построила за один сезон избенку, которая также топилась навывлет, — мы не знали, но избенку она эту продала каким-то приезжим и построила третью по счету избу, с просторными сенями, тремя оконцами, тесовой крышей и завалинкой. Печника не было, и снова, уже из хорошего кирпича, бабка сложила печь, которая обогревала только во время топки. И вот в эту-то избу бабка пустила меня жить по приезду, пока одна, а потом и Алю*, которая в это время была послана с ссыльной немкой и двумя мужчинами-поселенцами на другой берег Енисея для заготовки сена на зимний прокорм школьной лошади. Накануне нашего приезда население было предупреждено, что прибывает партия политических преступников, с которыми нельзя общаться и тем более пускать жить. Мое устройство у Зубарихи объяснялось тем, что бабка сама была ссыльной, а хатенка была за пределами границы самого Туруханска, в так называемом «рабочем поселке», где все было много проще.

На работу я, после долгих поисков, устроилась судомойкой в столовой аэропорта, откуда меня, при первой же проверке кадров, уволили, так как столовая обслуживала летчиков да еще геологов и репрессированным вход в нее был запрещен. Бабка же пустила меня жить, будучи твердо уверенной, что я буду подворовывать продукты и приносить их домой. Дала она мне пустую жестяную банку из-под американских консервов, приделав к ней ручку, чтобы приносить домой остатки супов для нашей собаки Розы. Она, конечно, надеялась, что еда будет перепадать ей самой.

Когда Зубариха поняла свой просчет, отношение ее ко мне резко изменилось, и стала бабка с интересом и надеждой ждать с покоса Алю.

Уборщицей школы, со ставкой в 30 рублей, Алю приняла на работу заведующая школой по договоренности с МГБ. На такой низкий оклад, да еще с обязательной поездкой на другой берег Енисея, где

* Ариадна Эфрон — дочь Марины Цветаевой. — *Прим. сост.*

надо было в туче комаров косить траву на болотах и кочках, живя впроголодь, местные не соглашались.

Зубариха поставила мне топчан с матрасом, набитым сеном, прямо у входной двери, где очень дуло и к утру одеяло примерзало к стенке, а Але такой же топчан — подальше от входа. Бабкина же кровать упиралась в стенку печки, о которой я уже писала. Но повсюду было к утру одинаково холодно.

Судьба Оксаны Терещук была схожей с судьбой Зубарихи. Живя где-то в глуши Полтавской губернии, вышла замуж за местного хорошего парня, через год родила дочку Марию и вскоре рассталась с ним: он был мобилизован в войну 1914 года. Погиб Терещук в первый год войны, и осталась у Оксаны в память о муже выцветшая фотография, где они снялись втроем с маленькой Марией, да еще вскоре присланные из воинской части два ордена Терещука... Погоревав положенное время, Оксана решила больше замуж не выходить, без устали работала и заботливо растила дочку. Политикой она никогда не интересовалась. Началась Гражданская война, многие в их селе погибли, но она уцелела вместе с дочерью, которая как-то незаметно росла, росла, ходила в школу и к 1929 году превратилась в ладную рослую девушку, легко завоевывающую на всех посиделках и встречах сердца парней. Была работящей и веселой и даже попала в местную газету с уложенными для такого случая длинными косами вокруг головы. Конечно, бывало и трудно и голодно, но не в моих планах внедряться в те подробности. Когда пришла Марии пора выходить замуж, оказалось у нее два серьезных претендента: в лице скромного и очень доброго Остапа и ловкого, неглупого, разбиравшегося в политике активиста. Мария выбрала Остапа, чем вызвала плохо скрываемую недоброжелательность у соперника, который к тому же, на свою беду, не мог справиться со своей влюбленностью в Марию.

Остап привел в порядок хату, старательно обрабатывал свой земельный надел, пользуясь при этом помощью молодого парня, не то родственника, не то просто друга, приходившего в страдное время батрачить в семью Терещуков.

Остап привязался к теще и даже сделал ей сундучок для хранения одежды и всяких мелочей, оковал его жестью и раскрасил по бокам цветами и фигурами молодых парней в вышитых рубахах и с обязательным чубом на голове. Конечно, этот сундук стал гордостью Оксаны, тем более что он еще был снабжен запором с нехитрой мелодией. Сундук этот был знаком всему селу, и держала в нем Оксана помимо всяких мелочей плюшевую шубейку со сбором по дореволюционной моде да еще суконный полушалок, вышитый шелком.

Гром, перевернувший всю жизнь семьи Терещуков, разразился внезапно во время коллективизации, о которой ходили самые разные и часто жестокие слухи. Слухам этим верили и не верили.

Видной фигурой на селе стал бывший ухажер Марии, он был членом сельсовета, вступил в партию и сделался одним из руководителей по перестройке обычной жизни. Постепенно стали исчезать зажиточные семьи, о которых после их вывоза никто ничего больше не слышал. Когда же внезапно к хате Терещуков подъехал грузовик с сидевшими в нем заплаканными знакомыми односельчанами с узлами и какими-то вещами, Оксана как-то сразу отупела, перестала понимать окружающих, смутно поняла текст прочитанной бумаги о том, что семья Терещуков в числе других подлежит выселению за посредничество и помощь кулакам, поняла свою обреченность, даже не сопротивляясь, и начала утешать Марию и Остапа, что ведь не на смерть едем, да еще, слава богу, вместе, и не надо отчаиваться.

На сборы давали один час, а вещей разрешили взять столько, сколько смогут унести сами, и бросилась вся семья трясущимися руками собирать то, самое необходимое, что могло пригодиться для будущей жизни. Смутно догадывались: повезут на Север, а спросить было не у кого — сопровождающие грузовик люди были незнакомы, молчаливы и угрюмы. Помимо всякого самого необходимого для хозяйства, Оксана в свой узел еще запихала, вместе с плюшевой шубой, сапожками с ушками по бокам, и свой знаменитый расшитый полушалок.

Все было как в дурном долгом сне и кончилось тем, что, слава богу, вместе и со своими узлами и мешками они с последним парходом, уже под осень, попали в Туруханск...

Силясь понять все, происшедшее с семьей, Оксана чувствовала, что, пожалуй, во многом виноват тот жених-комсомолец, которому отказала Мария, но о своих догадках молчала и не хотела растревлять и без того впавшую в отчаяние дочь.

Как случилось, что Остап остался при жене и бабке, — было непонятно. Кроме раскулаченных, репрессированных и верующих, были в Туруханске и высланные с родных южных мест, жены караимов, грузин, получившие общую кличку «гречек», то есть гречанок. «Гречки» рассказывали, как к ним приезжали на грузовиках, сообщали об их судьбе, ничего толком не разъясняя, забирали целые семьи и отвозили на ближайшую станцию, где стояли уже подготовленные составы из теплушек. Тут семьи разбивали и, для «удобства» переселяемых, всех мужчин помещали в одни вагоны, а женщин, детей и домашние вещи оставляли в других. То, что все вещи оставались при женщинах,

их успокаивало, к тому же были слухи, что все это происходит на малых станциях и что впереди, в крупных городах, их ждут спецпоезда. Женщины надеялись, что в этих спецпоездах их вновь объединят с мужьями и отцами, и довольно спокойно простились при посадке в разные вагоны.

На деле оказалось, что ни одна семья больше не видела своих мужчин, и, куда и на что их увезли, осталось неизвестным. При бабушках и матерях остались только дети и подростки школьного возраста. Как-то по прибытии помогли устроиться с жильем, а детей определили в школы.

Та же судьба ожидала и высланных с Волги немцев, главным образом из Энгельса и его районов; но тут объявили, что мужчины едут сперва на трудфронт, а потом вернуться, и, как ни странно, несколько человек, в том числе и наш сосед Корман, действительно вернулись.

Семье Терешуков, как и многим, отвели какую-то хибару под жилье, а Остапа и Марию определили на работу вблизи Туруханска на рыбзавод, расположенный в нескольких километрах, на так называемом Спуске. Там Остапу и Марии дали самую тяжелую работу — подледный лов и засолку рыбы. Недолго вытянул тяжелые северные условия Остап, а затем зачахла и Мария, оставив бабке своего сына, родившегося уже в Туруханске. Лечиться в Туруханске было, по существу, негде. Врач поселка — неумная и малоквалифицированная, не удачливая и некрасивая женщина, попавшая в Туруханск по разнарядке, из явных троечников какого-то вуза, была незлобива и приветлива, выписывала стандартные рецепты и советовала есть побольше витаминов и не бояться свежего воздуха... Фамилию ее я забыла, но помню, что ей дали хорошую комнату, приличный оклад, и, не желая испытывать судьбу, врачиха эта осталась работать и после вынужденного срока. К ней хорошо относились, но совершенно не верили как специалисту. Каким-то авторитетом она пользовалась только у приезжих из дальних станков. Заболевшее начальство не обращалось в больницу к врачу, а немедленно отправлялось на самолете в Красноярск.

Потеря Остапа и Марии не сбила с ног Оксану, а выявила в ней какие-то новые силы противостоять судьбе, выходить и вы растить Грицая — единственное кровное существо, оставшееся у нее на руках. Немного помог завод, выписали даром дрова, то есть разрешили по билету самой вывозить сухостой из леса, немного помог сельсовет: выдал ордер на одежду и обувь, да и сама работала не покладая рук. Где-то подобрала брошенного на произвол судьбы щенка, со временем превратившегося в сильную собаку, выпросила в сельхозе

забракованных цыплят, которых тоже вырастила у кухни на остатках хлеба и помоев. По примеру местных ходила в лес, таскала домой густой высокий мох. Мхом этим законопатила все щели, обила дом дранкой и, ногами замесив глину с водой и навозом, обмазала стены своей хаты, а потом побелила.

Стало теплее, Грицай мог уже, раздевшись, готовить школьные задания, а бабка научилась вычесывать собачий подшерсток, прясть его и, с прибавлением простых или суровых ниток, вязать шарфы, рукавицы и носки на продажу или на обмен.

Бабка ходила и на стирку к начальству, ухаживала за больными, смотрела за малыми детьми — была приветлива, честна и очень трудолюбива.

И говорить стала немного по-местному, прибавляя слово «однако», говорила «че» вместо «чего» и «что», ходила в больницу «отведать» больных... Население относилось к бабке неплохо и часто пользовалось ее услугами.

Грицай оказался выносливым и здоровым мальчишкой, рос как и все мальчишки вокруг, ничем особенно не отличался, привык к Северу. Был он пионером, а подростки — неплохим исполнительным комсомольцем. О жизненных проблемах особенно не задумывался, принял всю систему жизни как что-то естественное и неизбежное, верил газетам, впрочем, чтением не увлекался. Бабку свою он любил, хотя стеснялся это показывать, но был всегда готов помочь ей в какой-либо трудной работе, хотя и приговаривал: «А ты сама че?»

В школе забыли о его происхождении, и был он как все кругом.

К моменту нашего появления в Туруханске бабка Терещук была уже очень постаревшей и изношенной старухой. С Марфой Зубаревой их связывало дружелюбное знакомство, но не больше. Уж очень они были разные. «Аксинья, приходи, посолонимся», — иногда звала Марфа, и Оксана приходила. Марфа ставила самовар, на столе появлялся черный хлеб и глубокая миска недавно засоленной хозяйкой тюльки. Иногда появлялось голубичное варенье, то есть приготовленная с минимальным количеством сахара замороженная за зиму ягода, с которой пили какую-то заваренную кипятком траву и листья, заложив за щеку маленький кусочек сахара. Пили, перебрасываясь незначительными фразами, а иногда и молча сидя по противоположным концам маленького столика под двумя окошками, в которых весной проглядывался вдалеке Енисей.

Иногда начнет Марфа:

— Вот когда я работала в экспедиции в Яновом Стане, дали мне для стирки белье...

Но бабка Терешук, слышавшая уже не раз эту историю с деньгами, уже подремывала, прислонив голову к косяку окна. Просидев так час-другой, они расходились до следующей встречи.

Семейное положение Зубарихи к тому времени уже определилось. Дочь ее Наташа вышла замуж за ленинградца Григория Силкина, механика, устроившегося на работу в обслуге катеров на пристани. Это был словоохотливый и довольно грамотный еще молодой мужчина, любящий говорить о жизни и о политике, но горький пьяница и безвольный человек. Работящая, молчаливая Наташа – нянька в местных яслях – ему приглянулась. Переехал он из своего общежития к Зубарихе и, промаявшись в тесноте, построил избу в нескольких десятках шагов от бабки, стал там жить с женой и налаживать хозяйство.

После первого года родила Наташа сына Бориса, а потом начала рожать беспрестанно, с интервалом в два-три года, и к нашему приезду и водворению у бабки в качестве двух угловых жильцов у нее было уже четверо сыновей и дочка Лидка. Среди мальчишек были двойняшки, Костя и Генка. Последнего бабка, чтобы облегчить дочерью жизнь, взяла к себе. Мальчуган был прелестный, и мы с Алей очень к нему привязались. Бабка тоже его любила, кое-как воспитывала и приучала к северным навыкам. Григорий тосковал по Ленинграду, но семья росла, и приходилось ему год за годом расширять избу и пристраивать к ней помещения по бокам, так что вскоре она превратилась в несурзное строение, похожее на букву «П». Наташа была чистоплотной хозяйкой, сыновей с детства приучала возить из лесу хворост и сухостой, и в избе было тепло и домовито. Силкин же в каждую навигацию подавал заявление на отпуск, получал на руки большую сумму денег, со всякими северными надбавками, устраивал прощание со всеми работниками пристани, а потом и с рабочими рыбзавода на Спуске, где он тоже бывал, – и пропивал полученные деньги. Домой он не являлся. Наташа клялась: «На кой он мне нужен, не пушу его, когда пропьется», но, по прошествии недели, а то и двух, Силкин являлся приниженным и полубольным домой, происходила бурная сцена. Бабка в таких случаях отсиживалась у себя. После были бурные клятвы и уверения, что больше этого не будет и не нужен ему вовсе Ленинград... Григорий отсыпался, отъедался и приводил в порядок избу, сени, ставил ограду – был тише воды, ниже травы.

Через несколько месяцев Наташа снова была с пузом и рожала очередного ребенка. Так, почти перед нашим переездом от Зубарихи в свой домик, появилась Юлька.

Жить у Зубарихи было все труднее и труднее. Ко мне она придира-лась на каждом шагу; когда ей казалось, что я делаю что-то не так, молча, угрюмо смотрела в мою сторону.

За сенокос Аля получила какие-то небольшие деньги и, видя, в каком холоде мы, то есть бабка, я, собака Роза и Генка, жили, дала почти все заработанные деньги бабке на покупку дров. После этого Аля получила эпитет умного человека, а я оставалась бестолковой и жадной. Аля добыла через школу еще и мешок картофеля, который бабка разрешила спустить в подпол — в небольшую яму в песке почти под самой печью, при этом она загородила ту теплую часть ямы, где хранилась ее картошка, горбылями и закрыла дерюгой так, чтобы можно было заметить — трогал ли кто-нибудь эту кучку, а нам предо-ставляла место, где похолоднее.

Все наше питание тогда состояло из хлеба, постного масла, крупы сечки и картошки. Дать картошке замерзнуть — значило лишить нас самого жизненного.

Тут Аля неожиданно узнала, что под «угором» продается за не очень высокую цену маленький дом на самом берегу Енисея. Я написала домой сестре, у которой оставались мои вещи, чтобы та продала все, что возможно, и выслала мне деньги, а Аля впервые обратилась с просьбой к Борису Пастернаку. Борис Леонидович прислал не толь-ко деньги с извинением, что их мало, так как он не печатается, но еще необычайно доброе и благородное письмо.

Прислала деньги и сестра, и оказалось, что мы можем, кроме дома, еще купить обеим ватные брюки и телогрейки, которые были необ-ходимы. Аля к этому времени уже работала художником-декорато-ром клуба, хотя и числилась уборщицей. По заказу заведующей школой Аля нарисовала два панно, которыми заказчица осталась очень довольна, но не проявила желания хоть сколько-нибудь уплатить Але за труд.

Хвастаясь Алиными рисунками, она невольно пропагандировала их, а так как претендента на такую работу не было, стала Аля поти-хоньку пробовать свои силы на лозунгах и оформлении стенгазеты и скоро блестяще в этом преуспела. О своих «панно» она говорила с печальным юмором и их немного стыдясь. Существовал в клубе драмкружок, объединявший всю молодежь Туруханска. Членов кружка вызывали куда следует, предупреждали там, что каждый комсомолец должен сообщать о малейших проступках или словах Али, внушающих подозрение. Все это было ребятами «принято к све-дению» и обещано. На деле же все члены кружка сразу были очарова-ны веселым нравом, добротой и самоотверженной работой Али,

хорошо к ней относились, и с глазу на глаз рассказывали об этих предупреждениях.

Наш переезд в свой дом произошел очень быстро, при помощи клубных кружковцев, с бабкой простились без сердечных излияний (причем бабка говорила, что не может доискаться каких-то клещей!), а Генка побежал за нами.

Переезд в новый дом совпал с концом зимы, стало тепло, светло, и Аля заметно приободрилась. Красиво причесывалась, следила за одеждой, что-то вязала, чинила — она была очень опрятной и даже, несмотря на нашу нищету, несколько элегантной, чему всегда способствовала ее манера держать себя свободно и изящно. Была она худенькой, бледной, с большими глазами, которые выделялись на ее осунувшемся лице. Вот такой она была, когда мы вступали в новую фазу нашей жизни.

В дальнейшем, при первом весеннем ливне, поток воды размыл заднюю, сбитую из разных обрезков, стену дома, упирающуюся в крутой склон, и грязная глинистая вода хлынула через наш домик вниз к Енисею. Аля, узнав о нашем бедствии, прибежала домой. Она застала меня и соседа босиком: мы ведрами и тазами вычерпывали воду.

Когда все вычистили и просушили, я занялась постройкой новой крепкой стены и рытьем водоотводной канавы (сколько было вынесено глины и песка!). Купила по случаю толстые горбыли. Строила одна, так как меня уволили из лесничества и я еще не устроилась на новую работу.

Мы пережили еще одну зиму, уже в своем домике, в котором появились кот Роман и собака Пальма, когда надвинулась ранняя весна 1952 года, а с ней и выборы в местный Совет. В ту пору меня приняли на работу счетоводом стройконторы и даже выбрали председателем месткома, я сменила в этой должности моего соседа Кормана, хорошего, но не шибко грамотного человека.

Алю тоже не раз увольняли под предлогом политической неблагонадежности, но вся работа Дома культуры сразу останавливалась, некому было писать лозунги, помогать с постановками, и Алю снова восстанавливали. Платили ей 60 рублей, и с моими 40 рублями мы теперь могли лучше питаться, а Аля потихоньку начала откладывать рубли, чтобы накопить сумму для покупки мне (конечно, не себе!) кровати с сеткой. Обе мы спали на досках и мешках с сеном. Это был период нашего процветания.

Как дурной сон вспоминала Аля зиму, когда писать плакаты и лозунги приходилось на ледяном полу, а кисти заливать кипятком и отогревать на печке. Ее выходным днем был понедельник, а у меня

воскресенье, и потому два дня в неделю мы спокойно завтракали утром, сидя в уже прогретом домике, отправлялись в лес или на Енисей гулять.

Аля ходила легко и с удовольствием, восхищалась просторами Енисея, неожиданными таежными полянами или внезапно открывшимся маленьким болотцем-озерцом среди ив и тальника. С нами была Пальма, которая всегда чуяла верную дорогу к дому, и мы не боялись заблудиться. Алин клуб помещался прямо над нами, и ходить Але было минут десять, моя же контора была в другом конце поселка, и зимой я прибегала до того замерзшей, да еще в холодный дом, так что Аля меня оттирала.

Але писали с Большой земли ее тетка Елизавета Яковлевна, Татьяна Сикорская, бывшая в Елабуге вместе с Мариной Цветаевой. А когда Сикорскую вынудили отказаться от переписки, начала писать Але жена ее сына, Вадима Сикорского. Приходили и письма от Бориса Пастернака, такие насыщенные добротой и оптимизмом.

Борис Леонидович и Алина тетка прислали немного книг, и по вечерам мы могли наслаждаться чтением, а Аля рассказывала о своей жизни, о трудной юности и трагичных последствиях ее возвращения на родину. Она никогда не жаловалась на судьбу, никогда не возмущалась несправедливостью, а выискивала смешное, нелепое и так умела это передать, что мы обе смеялись от души. Так, после рассказа приезжего лектора о Якове Михайловиче Свердлове, бывшем в ссылке в Туруханске, одна из слушательниц сказала, неодобрительно поджав губы: «Сколько нам говорили о Свердлове, а вот сегодня первый раз услышали, что был где-то пожар и он сгорел во время него...» А последние слова лектора были: «Он был бесконечно предан делу, не щадил себя и сгорел на работе».

Актеркой Аля была в отца, обладала талантом имитации и непревзойденным искусством яркого, образного рассказа, участвуя в окружающем веселье разве легким смешком. Я никогда не слышала, чтобы она громко смеялась, и не видела ее жестикулирующей. Аля была во всем сдержанна и скупа во внешних проявлениях эмоций.

И вот в местной газете «Северный колхозник» появилась статья о предстоящих выборах. Начальство было в смятении – как быть с репрессированными, которых в поселке большинство? В МГБ начали проверять дела прибывших – нет ли в них указаний, что осужденный или высланный лишен права голоса? Но таковых не оказалось, и весь должностной Туруханск начал готовиться. На стенах домов появились лозунги: «Все на выборы!» И другие, написанные Алиной рукой. Оформляла Аля заголовки газет, появились ею же переписан-

ные статьи о преимуществах свободных всенародных выборов по сравнению с капиталистическими, биографии избираемых в депутаты с описанием их трудовых качеств, даже появились плохо исполненные местной редакцией фотографии кандидатов, похожих на множество людей того же возраста, проживающих в Туруханске. Аля была нарасхват и работала без устали. Я начала делать очередные цветы для гирлянд из присланной в предыдущую навигацию Алиной теткой папиросной бумаги. Вместе с бумагой была прислана клубная литература, а также книжка шрифтов для Алиной работы. Прислали Але и бумажные портреты вождей, которые наклеивались на картон или фанеру, окаймлялись рамой и требовали цветов для украшения. Указания, что цветы должны быть белые и красные, а не желтые, поскольку желтый цвет — цвет измены, на этот раз уже не было.

После выборов предполагался концерт и танцы в клубе, а для избирательного участка выделили часть школы.

В отведенном помещении повесили портреты. Райком дал красную скатерть для стола с урной. Из фанеры и легких столбиков сделали две маленькие кабинки — в каждой был портрет на стене и стул, чтобы голосующие могли подумать, прежде чем отдать свой голос. Все как на Большой земле! Из драпировок сделали штору, заменяющую дверь в первой кабинке, а для второй драпировки не хватило, повесили на стене портрет Карла Маркса, а проем двери прикрыли фанерой.

За день до выборов сани-розвальни украсили моими бумажными цветами и кумачовыми лоскутами. В каждых розвальнях был фанерный ящик с продольной широкой щелью в верхней крышке. Ящик был обвязан бечевой, концы которой сбоку были припечатаны сургучом. Упряжки эти предназначались одни для начальства, а две другие для инвалидов и больных, не могущих дойти до избирательного участка. Возницами были те же ребята из драмкружка.

О том, что завтра будут выборы, бабка Оксана узнала накануне. Выстирала и выгладила внуку чистую рубашку и открыла свой баул, привезенный давным-давно из родного села. Смахнув слезы, начала отбирать то, что могло пригодиться на завтра. Плюшевая шубейка в сборку была широка (бабка очень похудела), но еще годилась, сапожки пришлось смазать и начистить, так как они были сильно изношены и потрескались, а вот вышитый полушалок был в полном благополучии.

Идти на следующий день в избирательный участок пешком бабка отказалась. Оделась спозаранку сперва в немного свисавшее на ней старинное платье в сборку, потом плюшевое пальто, на ноги поверх сапожек натянула, чтобы скрыть их изношенность, еще крепкие унты

покойного Остапа, на голову – простой платок, а сверх всего – свой нарядный вышитый полушалок и села ждать Грицай.

За бабушкой Грицай заехал на разукрашенных розвальнях почти за первой. Увидев свою бабушку в такой великолепии, слегка охнув – «Однако, даешь ты, бабушка!» – усадил ее, быстро довез до избирательного участка и сразу повернул лошадь, чтобы ехать за кем-то другим.

Бабушка тщательно обмахнула совершенно чистые унты, осмотрелась и осторожно отворила дверь. Посреди жарко натопленного помещения за столом сидел знакомый комсомолец с большим списком и с пачкой напечатанных листов с фамилией депутата. Рядом возвышался фанерный ящик с большой щелью. Бабушка взяла с собой узелок с едой, и потому одна рука ее была занята, а свободной положила полученный листок недалеко от щели. Немного смутилась оттого, что действовала не так, как накануне заставил ее затвердить Грицай. «Сперва зайдешь в соседний закуток, там где портрет, прочтешь, что написано, а затем опустишь в щель ящика».

Получилось как-то наоборот, но тут вошел новый посетитель и вместе со своим листком смахнул в щель и бабкин, а бабушка решила все-таки зайти в закуток, но не в первый, с украшенным цветами портретом Сталина, которого она хорошо знала в лицо, считала чем-то вроде иконы, да и побаивалась – особенно после рассказа Грицай, что какой-то их кружковец завернул рыбу в газету, не поглядев на обратную сторону, где был портрет Сталина, кто-то на него донес, и на нескольких собраниях этого кружковца очень ругали и чуть не выгнали из комсомола. Из скромности бабушка юркнула во второй закуток, где не было малиновой шторы. Никто ее не окликнул и не остановил, и, приободрившись, бабушка осмотрелась. В закутке было пусто, не считая стула у стенки, на стене висел портрет человека с бородой и густыми длинными волосами. Было очень жарко. Бабушка сняла унты и поставила их к стене у входа, сняла полушалок и, поискав глазами какой-нибудь крючок и не найдя, повесила его на гвоздь, на котором висел портрет мужчины. Села на стул у стены.

Погода была солнечная, ясная, выборы проходили без сучка без задоринки, начальство было довольно...

Надвигались предвечерние сумерки, мы с Алей уже были дома и вытапливали печку. В некоторых домиках было шумно и даже слышалось пение. Видно, бражка была уже в ходу.

После выборов был обещан концерт силами самодеятельности. Хоровые частушки под гармонь, декламация и танцы.

Грицай, уставший и запаренный, решил съездить домой, вымыться, поесть и переодеться к вечеру. К его удивлению, на двери

висел замок. Бабки не было. Он бросился ее искать по соседям, заходил даже к Зубарихе – бабки не было и никто ее не видел. Тогда, движимый смутным предчувствием и даже страхом, он бросился к избирательному участку. Гутя Попова и кто-то из комсомольцев уже подсчитали голосовавших и, забрав ящик-урну, собирались уходить. В соседнем закутке с занавесом никого не было. Отодвинув фанерную дверь другого закутка, Грицай увидел бабуку, мирно спящую на стуле. Вышитый полушалок сполз с гвоздя и теперь закрывал голову Карла Маркса, оставив на виду лишь бороду и плечи... Рядом с бабушкой на полу был развернутый узелок с куском хлеба, объединенным куском рыбы и надкусанным соленым огурцом.

Грицай бросился к бабушке и взял за плечи.

– Бабушка, ты чё? А, бабушка?

Оксана открыла глаза.

– «Чё, че!»! Затомилась, жарко тут! – Затем, окончательно придя в себя: – Сам же казав: выборы с восьми до шестой години...

АРИАДНА ЭФРОН



Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975) – дочь Марины Цветаевой, родилась в Москве.

В 1922 году вместе с матерью покинула родину. Училась в русской гимназии в Чехии, окончила в Париже художественное училище при Луврском музее и училище прикладного искусства. Сотрудничала в печатных органах, издаваемых советским посольством и обществом «Франция – СССР». В 1937 году вернулась в Москву. Работала в Журнально-газетном объединении журналистом и иллюстратором.

В 1939 году была арестована и осуждена на восемь лет лагерей. Отбыв срок, в 1947 году поселилась в Рязани, преподавала в художественном училище. В 1949 году вновь арестована и приговорена к ссылке в Красноярский край. Реабилитирована в 1955 году.

Последние двадцать лет жизни занималась литературным трудом.

ИЗ ПИСЕМ БОРИСУ ПАСТЕРНАКУ И АДЕ ФЕДЕРОЛЬФ-ШКОДИНОЙ

26 августа 1949

Дорогой Борис! Все — как сон, и все никак не проснусь. В Рязани я ушла с работы очень вскоре после возвращения из Москвы, успев послать тебе коротенькое, наспех, письмецо. Завербовали меня сюда очень быстро (нужны люди со специальным образованием и большим стажем, вроде нас с Асей*), а ехала я до места назначения около четырех месяцев самым томительным образом. Самым неприятным был перергон Куйбышев — Красноярск, мучила жара, жажда, сердце томилось. Из Красноярска ехали пароходом по Енисею, что-то долго и далеко, я никогда еще в жизни не видела такой большой, равнодушно-сильной, графически четкой и до такой степени северной реки. И никогда не додумалась бы сама посмотреть. Берега из таежных превращались в лесотундру, и с севера, как из пасти какого-то внеземного зверя, несло холодом. Несло, несет и, видимо, всегда будет нести. Здесь где-то совсем близко должна быть кухня, где в огромных количествах готовят плохую погоду для самых далеких краев. «Наступило резкое похолодание» — это мы. Закаты здесь неопиcуемые. Только великий творец может, затратив столько золота и пурпура, передать ими ощущение не огня, не света, не тепла, а неизбежного и неумолимого, как Смерть, холода. Холодно. Уже холодно. Каково же будет дальше!

Оставили меня в с. Туруханске, километров 300—400 не доезжая Карского моря. Все хибарки деревянные, одно-единственное здание каменное, и то — бывший монастырь, и то — некрасивое. Но все же это районный центр с больницей, школами и клубом, где кино неуклонно сменяется танцами. По улицам бродят коровы и собаки лайки, которых зимой запрягают в нарты. Т. е. только собак запрягают, а коровы так ходят. Нет, это не Рио-де-Жанейро, как говорил покойный Остап Бендер, который добавлял, подумав: «и даже не Сан-Франциско». Туруханск — историческое место. Здесь отбывал ссылку Я. М. Свердлов, приезжал из близлежащего местечка к нему сам великий Сталин, сосланный в Туруханский край в 1915—17 гг. Старожилы хорошо их помнят. Домик Свердлова превращен в музей, но я никак не могу попасть внутрь, видимо, наши со сторожем часы отдыха совпадают. Работу предложили найти в трехдневный срок — а ее здесь очень, очень трудно найти! И вот в течение трех дней я ходила

* Ася — Анастасия Ивановна Цветаева. — *Прим. сост.*

и стучала во все двери подряд — насчет работы, насчет угла. В самый последний момент мне посчастливилось — я устроилась уборщицей в школе с окладом 180 р. в месяц. Обязанности мои несложны, но разнообразны. 22 дня я была на сенокосе на каком-то необитаемом острове, перетаскала на носилках 100 центнеров сена, комары и мошки изуродовали меня до неузнаваемости. Через каждые полчаса лил дождь, сено мокло, мы тоже. Потом сохли. Жили в палатке, которая тоже то сохла, то мокла. Питались очень плохо, т. к., не учтя климата, захватили с собой слишком мало овсянки и хлеба. Сейчас занята ремонтом — побелкой, покраской парт и прочей школьной мебели, мою огромные полы, пилю, колю — работаю 12—14 ч. в сутки. Воду таскаем на себе из Енисея — далеко и в гору. От всего вышеизложенного походка и вид у меня стали самые лошадиные, ну, как бывшие водовозные клячи, работающие, понурые и костлявые, как известное пособие по анатомии. Но глаза по старой привычке впиваются в себя и доносят до сердца, минуя рассудок, великую красоту ни на кого не похожей Сибири. Не меньше, чем вернуться, безумно, ежеминутно хочется писать и рисовать. Ни времени, ни бумаги, все таскаю в сердце. Оно скоро лопнет.

Бытовые условия неважные — снимаю какой-то хуже, чем у Достоевского, угол у полоумной старухи. Всё какие-то щели, а в них клопы. Дерет она за это удовольствие, т. е. за угол с отоплением, ровно всю мою зарплату. Причем даже спать не на чем, на всю избу один табурет и стол.

Я сейчас подумала о том, что у меня никогда в жизни (а мне уже скоро 36) не было своей комнаты, где можно было бы запереться и работать, никому не мешая, и чтобы тебе никто. А за последние годы я вообще отвыкла от вида нормального человеческого жилья, настолько, что когда была у В. М. Инбер, то чувствовала себя просто ужасно подавленной видом кресел, шкафов, диванов, картин. А у тебя мне ужасно понравилось и хотелось все трогать руками. Одним словом, я страшно одичала и оробела за эти годы. Меня долго, долго нужно было бы оглаживать, чтобы я привыкла к тому, что и мне все можно, и что все мое. Но судьба моя — не из оглаживающих, нет, нет, и я все не могу поверить в то, что я на всю жизнь падчерица, мне все мечтается, что вот — проснусь, и все хорошо.

Вернувшись с покоса, долго возилась с получением своего удостоверения и наконец смогла получить твой перевод. Спасибо тебе, родной, и прости меня за то, что я стала такой попрошайкой. Просить — даже у тебя — просто ужасно, и ужасно сейчас тут сидеть в этой избе и плакать оттого, что, работая по-лошадиному, никак не можешь заработать себе ни на стойло, ни на пойло. Кому нужна, кому полез-

на, кому приятна такая моя работа? Я все маму вспоминаю, Борис. Я помню ее очень хорошо и вижу ее во сне почти каждую ночь. Наверное, она обо мне заботится — я все еще живу.

Когда я получила деньги, я, знаешь, купила себе телогрейку, юбку, тапочки, еще непременно куплю валенки, потом я за всю зиму заплатила за дрова, потом я немножечко купила из того, что на глаза попало съедобного, и это немножечко все сразу съела, как джек-лондоновский герой. Тебе, наверное, неинтересны все эти подробности?

Дорогой Борис, твои книги еще раз остались «дома», т. е. в Рязани. Я очень прошу тебя — создай небольшой книжный фонд для меня. Мне всегда нужно, чтобы у меня были твои книги, я бы их никогда не оставляла, но так приходится. Очень прошу, пришли то свое, что есть, и стихи, и переводы Шекспира, и я очень бы хотела ту твою прозу, если можно. И «Ранние поезда». Еще, если можно, пришли писчей бумаги и каких-ниб. тетрадок, здесь совсем нельзя достать.

Я счастлива, что видела тебя. Я тебе напишу об этом как-нибудь потом. Как хорошо, что ты — есть, дорогой мой Борис! Мне ужасно хочется получить от тебя весточку, скорее. Расскажи о себе. Здесь облака часто похожи на твой почерк, и тогда небо — как страница твоей рукописи, и я бросаю коромысла и читаю ее, и все мне делается хорошо.

Целую тебя, спасибо тебе.

Твоя Аля

6 марта 1950

Дорогой Борис!

...На днях к нам приезжал наш кандидат в депутаты Верховного Совета. Мороз был страшный, но все туруханское население выбежало встречать его. Мальчишки висели на столбах и на заборах, музыканты промывали трубы спиртом, а также и глотки, и репетировали марш «Советский герой». Рабочее и служащее население несло флаги, портреты, плакаты, лозунги, особенно яркие на унылом снежном фоне. И вот с аэродрома раздался звон бубенцов. Мы-то знали, что с аэродрома, но казалось, что едет он со всех четырех сторон сразу, такой здесь чистый воздух и такое сильное эхо. Когда же появились кошевки, запряженные низкорослыми мохнатыми быстрыми лошадками, то все закричали «ура!» и бросились к кандидату, только в общей сутолоке его сразу трудно было узнать, у него было много сопровождающих — и у всех одинаково красные, как ошпаренные морозом, лица. И белые шубы — овчинные. Я сперва подумала, что я уже пожилая и не полагается мне бегать и кричать, но не стерпела

и тоже куда-то летела среди мальчишек, дышл, лозунгов, перепрыгивала через плетни, залезала в сугробы, кричала «ура» и на работу вернулась ужасно довольная, с валенками, плотно набитыми снегом, охрипшая и в клочьях пены.

Ты знаешь, я так люблю всякие демонстрации, праздники, народные гулянья и даже ярмарки, так люблю русскую толпу, ни один театр, ни одно «нарочное» зрелище никогда не доставляло мне такого большого удовольствия, как какой-ниб. народный праздник, выплывшийся на улицы — города ли, села ли.

То, чего мама терпеть не могла.

И опять я написала тебе много всякой ерунды, такой лишней в теперешней жизни. Как я хорошо себе представляю ее, чувствую, да просто знаю!

Крепко тебя целую. Не болей больше!

Твоя Аля

17 апреля 1950

Дорогой Борис!

...У нас один за другим подряд три весенних дня. Снег чернеет, делается губчатым и рассыпчатым, с крыш бежит вода, а по небу — серые, теплые облака. Тайге еще далеко до зелени, но она голубеет, покрывается сливовой дымкой, и, когда солнце заходит за полосу леса на горизонте, тень падает на снег нежно, как тень огромных ресниц. От солнца все становится гибким, и веточки лиственниц, и пышные, как лисьи хвосты, ветви пихт, а очертания теряют свою зимнюю сухость, четкость, схематичность. На свет божий выползают ребятишки и щенята, урожай этой зимы, выращенные в избах наравне с телятами и курами. Птиц еще не видно и не слышно, только однажды увидела какую-то случайную стайку странных хохлатых воробьев с белой грудкой.

Как удивительно, что в последнее время я совсем не живу, а, скажем, «переживаю» зиму, «доживаю» до весны и т. д. (Прости за гадкую бумагу, здесь и такую трудно добыть.)

Сегодня ходила к врачу, она сказала мне, что нельзя в таком возрасте иметь такое сердце, посоветовала мне побольше отдыхать и беречься волнений и переживаний. И прописала всякой дряни внутрь. Причем, насколько я соображаю, дряни взаимоисключающей. Насчет отдохнуть, не волноваться и не переживать сам догадываешься, а насчет сердца — неправда, оно еще повоюет.

Какая меня всегда тоска за душу хватает от казенных помещений и присущих им казенных же запахов — милиций, амбулаторий, кон-

тор и т. д. Сегодня просидела в амбулатории часа четыре подряд, в очереди разнообразных страждущих, — обросших щетиной мужчин, бледных женщин с развившимися волосами, подростков с патетическими веснушками на скуластых мордочках. Скамьи со спинками, отполированными спинами, плакаты «Мы излечились от рака», «Берегите детей от летних поносов», отполированные взглядами, ай-ай-ай, какая тоска! и все эти разговоры вполголоса о боли под ложечкой, под лопаткой, в желудке, в грудях, в висках, о боли, боли! У меня тоже сердце болит тихой скулящей болью, но от этого обилия чужих болезней начинаю себя чувствовать неприлично здоровой, хочется встряхнуться и удрать.

А зато как хороши гостиницы, пристани и вокзалы! И какая там иная тоска, живая, с огромными сильными крыльями, вот-вот готовая превратиться в радость, правда? и по силе не уступающая счастью. Тоска приемных покоев совсем другая, заживо ошипанная и бесперспективная (чудесное словечко!). Осенняя муха, а не тоска.

Пишу тебе всякую несомненную ерунду. Кругом так шумно, тесно, неудобно, и, несмотря ни на что, так хочется хоть немного поговорить с тобой, т. е., вернее, смотря на все, так хочется поговорить с тобой! Все бы ничего, но я ужасно тоскую, грущу и по-настоящему страдаю о и по Москве. Как никогда в жизни. А ведь жила я там так мало, до 8-ми лет ребенком и потом взрослой года три в общей сложности, вот и все. Это — самая страшная тоска, тоска — неразделенной любви, что ли! Сколько же я видела в жизни городов, стройных и прекрасных, сколько любовалась ими, понимала и ценила, но не любила, нет, никогда. И, покинув их, не больше вспоминала, чем декорации когда-то виденных пьес.

Но этот город — действительно город моего сердца, и сердца моей матери, мой город, единственная моя собственность, с потерей которой я никак не могу смириться. И во сне вижу — в самом деле, а не для красного словца — московские улицы, улочки и переулочки, именно московские, а не какие-ниб. другие. А вместе с тем *жить* в Москве я бы не хотела, не хотела бы, чтобы этот город стал для меня будничным городом нескольких привычных маршрутов. И с удовольствием — если бы жизнь моя была в моих собственных руках, жила и работала очень далеко от Москвы, и именно на севере, еще севернее, чем здесь, — жила и работала бы по-настоящему, не так, как сейчас приходится. Книги писала бы о том, что немногим приходится видеть, хорошо писала бы, честное слово! Крайний Север — непочатый край для писателя, а никто решительно ничего настоящего о нем не написал.

А потом прилетала бы в Москву, окуналась бы в нее — и опять улета-
тала бы.

Все «бы» да «бы».

Крепко целую тебя. Спасибо тебе.

Твоя Аля

5 декабря 1951

Дорогой Борис, пишу тебе очень наспех, т. к. работаю как огла-
шенная, дата за датой догоняют и обгоняют меня, и я должна успеть
все «отметить и оформить». Большое спасибо тебе за присланное.
Я понимаю, насколько это трудно тебе сейчас, так, как если бы была
совсем близко. Все эти сумасшедшие пространства не мешают мне
отлично представлять себе все, связанное с твоей жизнью и работой.
Я так часто и так, не сомневаюсь в этом, *верно* думаю о тебе! Это почти
забавно, видела я тебя всего несколько раз в жизни, а ты занимаешь
в ней такое большое место. Не совсем так, «большое место» — слиш-
ком обще и пусто. Вернее — какая-то часть меня, составная часть —
так в незапамятные времена вошла в меня мама и стала немного мною,
как я — немного ею. А вообще все то, что чувствуется ясно и просто,
превращается в далекую от этого чувства абракадабру, как только пы-
таюсь изложить это на бумаге.

Мне так хорошо думается, когда я тороплюсь куда-нибудь недале-
ко, и вокруг снега и снега, кое-где перечеркнутые иероглифами по-
косившихся заборов, и провода сильно и тоскливо поют от мороза.
Хорошо и просто думается, как будто бы достаточно нескольких глот-
ков свежего воздуха да нескольких взглядов на туруханскую зиму, для
того чтобы все встало на свои места и пришло в порядок. К сожален-
ию, это лекарство, такое доступное, не надолго помогает.

Я стала легче уставать, и это меня злит и тревожит. Нет никаких
сил, осталась одна выносливость, т. е. то, на что я рассчитывала как
на последний жизненный ресурс под старость! А иногда думается, что
если бы вдруг по чудесному случаю жизнь моя изменилась — корен-
ным и счастливым образом, силы вернулись бы. Не может быть,
чтобы они совсем иссякли, ни на что дельное не послужив!

Зима у нас началась с ноябрьских праздников пятидесятиградус-
ными морозами, в декабре же чуть не тает, и я немного ожила. Ужас-
но трудно работать в большие холода, когда стихии одолевают со всех
сторон! Спасаясь только тем, что красива здешняя зима, чужда,
но хороша, как красивая мачеха. Терпишь от нее столько зла, и — лю-
буешься ею...

10 октября 1952

Дорогой мой Борис! Только что получила твое извещение о переводе и несколько таких чудесных строк на таком казенном бланке! Спасибо тебе, мой родной, спасибо тебе бесконечное за все, а главное, за то, что все, исходящее от тебя, для меня праздник, т. е. то, чего я абсолютно лишена и без чего я абсолютно жить не могу. И каждый раз, когда я вижу твой почерк, у меня то же ощущение глубокого счастья, что и в детстве, когда я знала, что завтра — Пасха, или Рождество, или, в крайнем случае, день рождения. Вообще, я ужасно тебя люблю (м. б. это — наследственное?), люблю, как только избранные избранных любят, т. е. не считаясь ни с временем, ни с веком, ни с пространством, так беспрепятственно, так поверх барьеров! Но, зная твою повадку, уверена, что ты мне в ответ, поняв эти строки как написанные во времени и пространстве, ответишь, что у тебя грипп, что тебе ужасно некогда и вообще. Ты меня уже несколько раз так учил — и конечно не выучил.

У нас зима, и на первых порах, пока не приелось, это чудесно. Опять вся жизнь написана черным по белому — снег совсем новый, и все на нем кажется новым и маленьким, все избушки, человечки, лошадки, собачки. Лишь река, как всегда, совершенно лишена уюта, и по-прежнему душу тревожит ее неуклонное движение, пусть скользящее льдами.

Небо здесь всегда низкое, близкое и более чем где-либо понятное. До солнца и до луны здесь рукой подать (не то что до Москвы), и своими глазами видишь, как и из чего Север создает погоду и непогоду, и ничему не удивляешься. Только северное сияние иногда поднимает небесный свод на такую высоту, что за сердце хватает, а потом опять опускает, и опять ничего удивительного.

Если бы не ты, я, наверное, была бы очень одинока, но ведь все я вижу немного твоими глазами, немного с тобой вместе, и от этого легче.

А так — здешняя жизнь похожа на «Лучинушку».

Сегодня ушел последний пароход. Отчалил от нашего некрасивого берега, дал прощальные гудки, ушел на юг, обгоняя ненадолго зиму. А мы остались с берегом вместе, люди, плоты, стога бурого сена, опрокинутые лодки, все запорошенные снегом. Еще тепло, но горизонт розов, как взрезанный арбуз, — к морозу. И зачем я тебе все это пишу? Зима есть зима — с той же интонацией, что чеховское «жена есть жена»...

29 мая 1953

Дорогой мой Борис! Я очень скучаю по тебе, хоть и пишу так редко. Не только время мое, но и всю меня, как таковую, съедают неизбежные работы и заботы, вернее, не съедают, а разрознивают, разбивают на мелкие кусочки. И в редкие минуты, когда я собираюсь воедино, все равно чувствую себя какой-то мозаикой. Или — «лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду» — в одном лице. В таком состоянии трудно даже письмо написать.

Кончается май, а сегодня у нас первый весенний день, голубой и холодный. Холодный оттого, что лед идет. За окном настоящий океанский гул, мощный и равнодушный. Меня с самого детства потрясает равнодушные водные пространства — в любом живом огне больше темперамента, чем в Енисее, впадающем в океан, и чем в океане, поглощающем Енисей. Вода равнодушна и сильна, как смерть, я боюсь и не люблю ее. Вчера у меня на глазах утонул мальчик, ловивший с берега лес-пловун. На одном конце веревки — железный крюк, другой держат в руках, когда подплывает «лесина» — сильно размахиваются, бросают канат, крюк впивается в дерево. Мальчик же привязал канат к себе, крюк с брошенного им конца зацепился не за дерево, а за проходившую мимо льдину, которая стащила его с берега, уволокла за собой. В двух шагах от берега, от людей его закрыла чудовищная неразбериха ледяных кувыркающихся глыб — и ничто не остановилось ни на секунду, ибо «минуту молчания» выдумали люди! Так же неизбежно шла вода и дул «сивер», и, растерзанные, неприбранные, косо летели облака, и Бог не сделал чуда, и люди не спасли, и с глинистого обрыва голосила мать, рвала на себе кофту. Лицо ее, голые, только что от корыта, руки, грудь были белы, как расплавленный металл, и люди отводили глаза. Смерть и горе всегда голые, и на них стыдно смотреть.

Борис, родной, мне даже здешняя весна опротивела, не из-за этого мальчика, а вообще. Небо здесь то слишком густое, то пустое, вода — бездушна, зелень — скупа, люди — давным-давно рассказаны Горьким. По селу ходят коровы, тощие, как в библейском сне, и глаза у них всех одинаковые, как у греческих статуй. Они объедают кору с осиновых жердей на огородах и трутся спинами обо все телеграфные столбы. По мосткам ходят лошади, отдыхающие перед пахотой, и люди шаркаются в грязь. На завалинках сидят «ребята» и рассматривают проходящих «девчат», на которых надето все, что можно купить в здешнем магазине, так что каждая вторая — в крапинку, каждая третья — розовая, каждая четвертая — в крупных цветах, как лошадь

в яблоках, и все – в голубых носках. Над всем этим – слабый, доносящийся из-за реки, запах черемухи и такие же приторные звуки всепобеждающей гармонии.

Сегодня пришел первый пароход. Среди пассажиров, как мне рассказывали девушки, совсем не было молодых и интересных. Один, правда, сошел молодой и хорошо одетый, но поскольку он оказался инструктором крайкома, приехавшим проверять результаты политучебы в первичных комсомольских организациях, то интерес к нему угас, уступив место священному трепету.

День у нас уже круглосуточный, но от этого не легче.

Крепко целую тебя, будь здоров!

Твоя Аля

3 июня 1954

Дорогой друг Борис, прости, что так долго не писала тебе. Получив твое письмо, я почему-то сразу очень обиделась на него, и хотела выбрать свободный час, чтобы наговорить тебе уйму любящих дерзостей. И я это непременно сделаю со временем, когда и если приду в себя. Дело в том, что я узнала о гибели С. Д.* О болезни его я узнала в прошлом году, но надеялась на выздоровление. Теперь уж надеяться не на что. Знаешь, милый, мне уж давно трудно живется, я никогда не могла, не могу и не смогу свыкнуться с этими потерями, каждый раз от меня будто кусок отрубают, и никакие протезы тут не помогут. Живу, как будто четвертованная, теперь осталось только голову снести, тогда все!

А впрочем, я, кажется, уж давно без нее обхожусь...

6 ноября 1954

Дорогая Алочка, все удалось еще лучше, чем было задумано, т. к. села на поезд Владивосток – Москва вечером того же дня, как вылетела из Туруханска, т. е. 5-го**. Получилось благодаря добрым людям, а самой бы мне не добиться билета и за неделю, такое творится на вокзале в Красноярске... У билетных касс – не очередь, а компактная, привычная, многодневная толпа ожидающих.

* Самуил Давидович Гуревич (1904–1953) – журналист, репрессирован в 1952 году, посмертно реабилитирован. – *Прим. сост.*

** В 1954 году Ариадна Сергеевна получила паспорт и выехала в Москву. Ее подруга Ада Александровна Федерольф-Шкодина в ту пору еще оставалась в Туруханске. – *Прим. сост.*

8 ноября 1954

Дорогая Адочка, ты не сердись на меня, что не отправила тебе телеграмму сразу – в Красноярске не успела, а в Новосибирске вокзал оказался чуть ли не за километр от перрона, на котором остановился поезд, и я не рискнула, т. к. боялась запутаться в «культурном», со всякими подземными ходами и переходами, вокзале и отстать от поезда. Поезд запаздывает, и поэтому время стоянок сокращается. Еду поездом Владивосток – Москва, как ты когда-то с Колымы, и все время не то что думаю о тебе, но чувствую тебя с собою.

Ни один из городов, которые проезжали и могла что-то рассмотреть, не прельстил моего сердца – города большие, разлапые, с мрачными окраинами. Придирчиво рассматривала ноябрьские украшения, ничуть не лучше пишут лозунги, чем в Туруханске, а кое-где и хуже. Только в одном месте написано было замечательно, видно, там приземлился самый настоящий художник, не мне чета...

15 ноября 1954

Дорогая моя Адочка! Я уже начинаю беспокоиться, что от тебя нет весточки, не знаю, получаешь ли ты все мои, как твои дела, как живешь без меня, как себя чувствуешь, не болеешь ли, как хозяйство, как звери? Надеюсь, что на днях получу письмо от тебя. Была по твоим делам в прокуратуре, как тебе известно, в первый день не смогла туда попасть, т. к. было много народа, на следующий день пришла рано утром и была четвертой или пятой. Меня принял какой-то подполковник юстиции, я рассказала, по какому я делу, он спросил, кто я тебе, и ответил, что посторонним справки не выдаются. Я сказала, что проделала 8000 километров, и для вящей убедительности добавила «на собаках и оленях», специально, чтобы узнать, в каком состоянии дело, и «собачий» аргумент сразил его, он попросил обождать, потом вызвал и сказал, что дело разбирается и находится «в активной стадии». На вопрос о возможном сроке пересмотра затруднился ответить точно, но считает, что это – вопрос максимально 3–4 месяцев. По некоторым вопросам, к-ые он мне задал, я убедилась в том, что он в курсе твоего дела, хотя разбирает его не он, но действительно вполне вероятно, что дело это включено в группу разбираемых. Заявление принял, посоветовал на всякий случай прислать еще одно, содержащее просьбу ускорить пересмотр. Будем посылать каждый месяц. Фамилия его – п/п Соловьев. Была в своей прокуратуре – там убедилась в том, что к моему делу еще не приступали, чего, кстати, и не скрывают. Опять из-за «собак и оленей» назначили мне прийти 16-го, т. е. завтра, когда меня должен

принять прокурор, у к-го там же будет мое дело и он будет меня спрашивать о том, что ему будет нужно для пересмотра. Т. ч. скорых результатов не жду, но хоть, м. б., сдвинется с мертвой точки, и то хлеб...

12 июля 1955

Дорогая Алочка! ...Между твоими делами все время разыскивала, с кого же мне причитается зарплата после исчезнувшей Ревю*. Облaziла и обзвонила неимоверное количество инстанций — Мин. Внешн. торговли, Иноиздат, Внешторгиздат, и наконец приземлилась в «Международной книге».

На бумажке у меня записано 19 телефонов, по к-ым звонила, пока дошла до сути. Все отделы и подотделы, начальники и замначальники, юристы и секретари, и просто сочувствующие. Наконец, после длительной процедуры с пропусками («Межкнига» находится в высотном доме, там же, где Мин. Внешторг, — сплошные пропуска, вахтеры и лифтеры!) — очутилась в отделе кадров, чей зав. долго тряс мне руку и говорил, что все полагающееся получу. Будем надеяться. Сегодня сняла нотариальные копии с моей справки**, должна написать заявление на имя заведующего «Межкниги», и тогда, по теории вероятности, получу гроши — немного, т. к. зарплата тогда была в плане 360 р. — но и то деньги, что и говорить! В нотариальной конторе пожилая машинистка, снимавшая копии, сказала мне: «16 лет! Какое безобразие! Как хорошо, что это кончилось! Желаю вам много, много счастья...» Я была ошеломлена и очень тронута. А старый-престарый сухарь нотариус, заверяя копии, сказал: «Вам надо 10 копий снять, а не две, и разослать тем, кто вас посадил!» Успокоила его тем, что адресаты на том свете. Когда шла от нотариуса (на Кропоткинской), увидела, что в Академии художеств еще открыта выставка индийского искусства, зашла. Получила массу удовольствия от миниатюр и особенно от ярких, смелых и, как сказали бы у нас, формалистических лубков 19-го века. На выставке много Верещагина — ослепительное небо и на фоне его ослепительные сказочные дворцы и ослепительные нищие в лохмотьях. И позднейшие работы русских художников, в частности Климашина...

В Москве, тьфу-тьфу не взглянуть, все время хорошая погода, и я почти во все концы бегаю пешком, зеваю по сторонам — с детства любимейшее мое развлечение, даже увлечение. Когда слишком жарко — охлаждаюсь мороженым и газированной водой, но не очень,

* В газете «Ревю де Моску» Ариадна Сергеевна работала после возвращения из Франции в 1937–1939 гг. — *Прим. сост.*

** Справка о реабилитации. Реабилитированные могли получить двухмесячную зарплату по месту их работы перед арестом. — *Прим. сост.*

т. к. всю жизнь пью мало, как верблюды. И почти так же вынослива! Москва очень-очень изменилась в разных отношениях. Красная площадь стала так же демократична, как во времена моего детства. Все кремлевские ворота открыты настежь, и все прохожие туда заглядывают, и никто никого не останавливает и не гонит прочь. Приезжие зачастую рассаживаются прямо на тротуаре Василия Блаженного и часами смотрят на машины, выезжающие и въезжающие в ворота. Площадь всегда запружена пестрой толпой, мавзолеем всегда окружен народом. Молодежь сидит прямо на барьерах мест для гостей – на одном барьерчике девушки, на другом – юноши, на третьем – вместе все, и так подряд. Сегодня приехал Хо-Ши-Мин (Вьетнам), народ встретил его очень горячо, а уж какой затор машин образовался в центре!

Толпа же по внешнему виду обуржуазела сверх всякой меры. Масса ломучих девушек в вычурных, декадентских туалетах и прическах и таких же, но еще более противных, развинченных юношей. И папы с мамами не лучше. Ну, да Бог с ними. Не тем сильна Москва!

Бориса еще не видела, он звонил мне два раза – в последний раз сказал, что есть шанс на постановку пьесы Шекспира в его переводе – это было бы чудесно, и материально, и в смысле признания – хоть переводческого! Его вызывали в Военную прокуратуру (и его тоже, бедненького!) по делу Мейерхольда, которое посмертно рассматривается. Умер он в 1940 г. Рассказывая об этом, Борис заплакал. Они были большими друзьями...

28 августа 1957

Дорогой мой Боренька! Тысячу лет не писала тебе, но знала основное – что ты чувствуешь себя лучше. Слава Богу. Еще в один из коротких приездов в Москву узнала в Гослите, что твоя книга стихов непременно выйдет в этом году. А вот что хотелось бы узнать: сильно ли изменился ее состав, и что с предисловием? Напиши мне хоть две строчки о своих делах. Очень мило по сибирской инерции продолжать держать тебя в душе – и только, но там ведь к этому меня обязывали расстояния и еще всякие другие непреодолимости, а сейчас ведь по-другому («Так – никогда, тысячу раз иначе!»), и, пожалуй, нет никакой нужды совсем не видеться и даже не переписываться!

Милый друг мой, как ты живешь, как твоя поясница, как колено? Что ты делаешь? Что, помимо слухов, на самом деле, с книгой стихов и с предисловием? Как «Доктор»?* И еще: что говорят доктора? И еще: как ты выглядишь? Ходишь ли гулять?

* Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». – *Прим. сост.*

Я в Тарусе, видимо, недалеко от того имения, о котором ты упоминаешь в своем предисловии, в той самой Тарусе, где прошло детство и отрочество маленьких Цветаевых, где все прошло, кроме, вопреки пословице, окской воды. Собор, где кто-то из цветаевских прадедов моих был священнослужителем, теперь превращен в клуб, в прадедовском доме артель «вышивалок», в бабкином — детские ясли, вместо старого кладбища — городской сад. Домик, в котором росли мама и Ася, — уцелел почти неизменный, там живет прислуга и «обслуга» дома отдыха. До Цветаевых там жил — и умер — Борисов-Мусатов, мама рассказывала, что в комнате, отданной детям, долго еще выступали после всех побелок и окрасок следы кисти Борисова-Мусатова: последнее время своей жизни он работал лежа, стены и потолок комнатки в мезонине служили ему палитрой. Но в чем же дело? Почему именно река остается неизменной! Почему уже давно не та вода остается той самой рекой? Нет больше никого из живших здесь — никого больше! Ни Вульфов, ни Цветаевых, ни Поленова и Борисова-Мусатова, ни милого Бальмонта, ни милого Балтрушайтиса, ни многих-многих единственных! А река остается — и теперь я смотрю на нее и, благодаря ее неизменности, вижу, осязаю, пью из того источника, который оказался творческим для мамы. Вот это все она видела впервые и на всю жизнь, здесь родились ее стихи, родились, чтобы не умереть. Вот они, рябина и бузина всей ее жизни, горькие ягоды, яркие ягоды. Вот и деревья, у которых «жесты трагедий», и река — жизнь, Лета, и все равно жизнь.

А все же я до многого дожила — спасибо судьбе, Богу и людям. Дожила до встречи с тобой, и вот теперь до встречи с самыми истоками маминой жизни и ее творчества, дожила до собственной своей предыстории! Дожила и до того, что прочла твой роман и предисловие к стихотворной книге, где так глубоко и просто о маме — ведь все это — чудеса из чудес, и, когда хочется немного поворчать, — чудеса останавливают меня и не позволяют мне быть мелочной... Ах, Боренька, все-то мы мелочны! Ведь важно, чтобы *написано* было, ведь именно в *этом* чудо, а мы еще хотим и издания написанного, т. е. чуда в кубе! Ну, хорошо, милый, м. б. доживем и до этого, но ведь гораздо важнее, что написанное тобой и мамой доживет до поколений, которых мы сейчас и угадать-то не можем, и с ними вы будете «на ты». Дорогой ценой заставляют сегодня платить за право жить в завтра, жить во всегда...

НАТАЛИЯ ЗАПОРОЖЕЦ



С Наташей я познакомилась летом 1942 года на трудфронте под Дмитровом, где мы, студентки МГУ, валили лес – заготавливали дрова для Москвы.

Поздней осенью возвратились в холодную затемненную Москву. Начались лекции, которые мы, историки, слушали на биофаке, а потом – в школьном здании на Малой Бронной, потому что крышу нашего лекционного корпуса снесло фугаской.

Помню, Наташа долго ходила в своей фронтовой шинели, так не вязавшейся с ее хрупким обликом. Появление ее обычно сопровождалось стуком деревянных подошв: другой обуви, кроме «сабо» с брезентовым верхом, у нее не было (свои солдатские сапоги она сменяла на продукты, которые послала матери в лагерь).

На старших курсах мы специализировались на одной кафедре. Нас с Наташей сблизила не только общность судьбы наших родителей, но и та удивительная атмосфера интеллигентности и доброжелательности, которая царила на кафедре истории средних веков.

После защиты диплома, по рекомендации кафедры, Наташа поступила в аспирантуру.

Первые послевоенные годы стали временем, опрокинувшим надежды людей на благоприятные перемены в стране. В 1949 году началась волна арестов, и Наташу забрали. Позднее и мой семидесятилетний отец, в который раз, оказался в заключении.

Однажды Наташин муж привез мне ее письмо из ссылки, и между нами завязалась переписка, еще больше сдружившая нас с Наташей, я посылала ей книги.

В 1953 году Наташа освободилась.

Какой же радостной была встреча, когда у меня собрались наши однокашники и вернувшиеся в Москву мой отец и Наташа, которые всегда очень тепло относились друг к другу.

В тот вечер говорили в основном о недавнем прошлом: каждому было что вспомнить. Но Наташа не проронила ни слова. И только годы спустя она рассказала нам о пережитом. Может быть, с этого рассказа и началась книга ее воспоминаний...

Наталья Ширяева

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Жарким июльским утром 1949 года на какой-то узловой станции мы сидим, свесив ноги, на краю платформы в ожидании поезда. Нас двое: молодой солдатик с автоматом (второй конвоир ушел за кипятком) и я – недавняя аспирантка МГУ двадцати шести лет от роду, беременная на восьмом месяце, приговоренная Особым совещанием к пятилетней ссылке в Кокчетавскую область.

Как только второй конвоир отошел, солдатик негромко спрашивает:

– Что же такого ты могла сделать? В чем виноватая?

– Ни в чем я не виновата...

Мне не до разговоров. Я угнетена и встревожена: вот уже несколько дней не слышу в себе ребенка. Вчера, во время осмотра, я по лицам тюремных врачей и по некоторым их репликам поняла, что депо дрянь. Думала: меня возьмут из общей камеры, положат до родов в бутырскую больницу, а вместо этого – срочно, на другой день – отправили в дорогу. Так спешили сбуть с рук, что не стали дожидаться этапа, а в сопровождении двух конвоиров посадили в пустой вагон и довели до этой станции. Теперь мы ждем другого поезда, чтобы, как я понимаю, меня можно было присоединить к этапу.

– Нет, правда, за что же все-таки тебя? – Солдатик оглядывается по сторонам.

– Долго рассказывать...

В тридцать седьмом году посадили и отправили в лагерь воспитавшего меня отчима; потом соседка, позарившись на одну из наших комнат, оклеветала мою мать. Под Новый год маму арестовали.

Нас с младшим братом Феликсом собирались забрать в детдом, но директор 204-й школы Клавдия Васильевна Полтавская сумела нас отстоять; благодаря ее хлопотам нашему восьмидесятилетнему деду назначили небольшую пенсию, сделав его опекуном. Та же Клавдия Васильевна нашла мне частные уроки (как и другим ребятам, оставшимся в те годы без родителей). Так с 14 лет началась моя педагогическая практика. Правда, моих заработков хватало лишь на школьные завтраки, учебники и тетрадки. Жили мы впроголодь, и у меня начался туберкулез. Нам помогали мамыны подруги – Людмила Ивановна Красавина и Татьяна Васильевна Алмазова (их мужья были расстреляны), подкармливали матери школьных товарищей.

16 октября 1941 года после окончания курсов медсестер я, студентка 1-го курса МГУ, ушла добровольно на фронт бойцом третьей Московской Коммунистической дивизии. Феликс в то время работал на оборонном заводе в Москве.

После контузии и демобилизации в 1942 году я вернулась в Москву и тут же начала работать медсестрой в госпитале. Одновременно училась на истфаке, благо было тогда свободное посещение лекций. Сколько раз потом просилась я обратно на фронт или хотя бы на курсы переводчиков. Как только заполню анкету – сразу же находилась повод отказать.

В 1948 году, когда повторно арестовывали и высылали жен репрессированных, стали брать и их подростков детей. Сперва взяли Феликса, а в 1949 году и меня...

...Второй конвойр возвращается с кипятком. Молодой солдатик вместе с кружкой сует мне кусок хлеба с сыром:

– На, поешь.

– Спасибо, у меня все есть: ведь только день, как из Москвы.

Мне уж и самой не верится, что вчера я шла по запасным путям Казанского вокзала, а конвоиры, снизойдя к моему положению, тащили за мной фибровый чемодан и туго набитый мешок из полосатой матрасной ткани с детскими пеленками и распашонками, сгущенкой и сахаром.

Все это приняла у мужа лишь по окончании следствия. А до этого четыре месяца следователь не разрешал мне ни передач, ни денег. В камере меня подкармливала моя новая подруга Заяра Веселая.

Сидя на захолустной станции, я вспоминала башенные часы Казанского вокзала. Ведь сколько было езжено по этой дороге!

В детстве — на дачу, вскоре после войны — к маме в лагерь. Отделение Карлага, где она отбывала срок, называлось Жана-Арка, по созвучию напоминая имя Жанны д'Арк, судьба которой давно волновала меня как будущего историка...

И вот теперь поезд снова увез меня из Москвы с Казанского вокзала.

К ссылке меня присудили по статье 58, пункты 10 и 12 — «антисоветская агитация» и «недоносительство».

Антисоветских настроений у меня не было. Что же касается 12-го пункта, то я действительно не донесла на родного брата. В Астрахани, где Феликс в сорок восьмом году учился в техникуме, несколько студентов, увлекавшихся литературой, собирались и читали друг другу свои стихи и рассказы. Вскоре их литературный кружок преобразовался в молодежную организацию «Ленинская свободная мысль». Дальше все развивалось по схеме: провокатор, «групповое дело», суд и каждому — по 10 лет.

Но прежде чем все это случилось, Феликс прислал мне письмо, в котором рассказал об их литературном обществе. Догадываясь, что ребята не ограничатся узколитературными проблемами, я в ответном письме намекала брату: надо быть осторожнее. Но было поздно: брат уже сидел в тюрьме, мое письмо перехватили, оно-то и явилось главной уликой против меня: мне вменялось в вину, что я не только знала о «преступной» деятельности брата и не донесла на него, но и сочувствовала его взглядам.

— Так и запишем в протоколе, что вы разделяли взгляды брата и его сообщников и предупредили их об опасности. Еще бы: ведь у них была антисоветская организация.

— Неправда! Это был всего-навсего литературный кружок! Я не пишу такого протокола!

— Встать! — кричит следователь.

Поднимаюсь со стула. Следователь держит меня на ногах так долго, что мне становится плохо и я падаю. Он подносит к моему носу ватку с нашатырным спиртом, и я открываю глаза.

— Встать!

Допрос начался часов в десять вечера. Рассвело, когда следователь вызвал конвоира и приказал увести меня в камеру. А там новая пытка: ни на минуту нельзя прилечь: надзиратель то и дело смотрит в глазок. Скорей бы ночь!.. Наконец — отбой. Ложусь, но только успеваю закрыть глаза, как грохочет отпираемая дверь, входит надзиратель:

— На допрос.

Одеваюсь, с трудом втискиваю отекающие ноги в туфли.

Допрос за допросом — и все по ночам — мат, угрозы, снова ставшее моим кошмаром «Встать!».

— Не подпишу, не подпишу! — твержу я всякий раз, когда следователь сует мне состряпанный им протокол допроса.

В камере я все чаще стала задавать себе, казалось бы, простые вопросы: почему всю ночь не гасят над нашими головами ослепительно яркий свет? Почему на допросы чаще всего вызывают ночами? Почему в помещении с паркетными полами (когда-то гостинице), с водопроводом и канализацией в камерах стоят параши? Почему от нашей одежды отрезали все пуговицы и другие застежки, даже вынули резинки из трусов? (Мы, конечно, смастерили пуговицы из хлебного мякиша и научились так ловко заворачивать «резинку» чулок, что они редко спали с ног, вдернули отрезанные от подолов полоски ткани вместо тесемок.)

Я поняла, что тюремный режим преследует цель — унижить нас, ослабить нашу волю.

...Мои конвоиры, истомленные жарой, нетерпеливо поглядывают на рельсы. Я с еще большим нетерпением жду поезда: в моем положении лучше уж поскорее добраться до места.

В Куйбышевской пересылке я застряла на три недели. В бараке мне сразу же уступили место на нижних нарах, поближе к окну. Но воздуха все равно постоянно не хватало. Я часами ходила по узкому проходу между нарами, надеясь, что это будет на пользу моему ребенку. Он по-прежнему не подавал признаков жизни, это меня очень тревожило, но по неопытности я еще не предполагала худшего. И не раз в эти часы вспоминалась мне во всех деталях поездка в Бутырскую тюремную больницу на обследование и странно поспешное возвращение оттуда. Врач на Лубянке написала какую-то бумажку, меня втиснули в переполненный «воронок». В зарешеченном окошке замелькали знакомые очертания домов Новослободской: дом Курникова, булочная-кондитерская, а вот уж и угол родной Палихи.

— Там мой дом! — не сдержалась я.

— И мой тоже! — сказала сидевшая рядом девушка.

Оказалось, что она моя тезка. Сестры Наташа и Инна Гайстер, как и мы с братом, росли без родителей с тридцать седьмого, учились, потом попали в тюрьму.

Почти сорок лет спустя я неожиданно встретилась с Наташей в Большом зале консерватории.

— Какое знакомое лицо, — сказала я. — Где мы могли встречаться, не в академии ли?

Она узнала меня и, улыбнувшись, ответила:

— Конечно, в *Академии общественных наук*.

О чем только не передумала я за эти недели ожидания в Куйбышеве. Представляла, как Миша переживает за меня и нашего будущего ребенка; как убивается мама о Феликсе, а теперь еще и обо мне... (Отбыв срок в лагере и получив «минус», мама работала на рыбозаводе за Астраханью.)

Думала и об отчине, погибшем в лагере. Комиссар кавалерийской дивизии, впоследствии крупный партийный работник, Павел Федорович Дорофеев женился на моей матери, когда мне было 10 лет. Помню первую нашу с ним встречу в «доме на набережной», куда привела меня мама; и как поразила меня более чем скромная обстановка его холостяцкой квартиры. Единственное украшение стен — именное оружие, подарок комбрига Ковтюха: они вместе совершили Таманский поход.

Летом 1937 года мы с Павлом были в однодневном доме отдыха партактива. Во время обеда его друг Петр Иванович Смородин — второй секретарь Ленинградского обкома партии, а в прошлом — генеральный секретарь ЦК РКСМ — обратился к сидящим за столом с такими словами: «Не пора ли задуматься над тем, что происходит в стране? Надо действовать, не то нас всех перехватят поодиночке, как кур с нашта!» Все сначала обомлели, а потом поспешно стали расходиться, со Смородиным остался лишь Павел.

...Последний, самый короткий этап — от Кокчетава до райцентра Володаровки. Нас поставили в кузове грузовика. Один из конвоиров сел в кабину. Поперек кузова была натянута толстая цепь, отделявшая заключенных от конвоя. На каждом ухабе, как ни береглась, я все же ударялась о цепь животом.

Через полсотни километров машина притормозила, к нам в кузов взобрался человек с интеллигентным лицом, одетый в телогрейку. Как выяснилось — учитель-спецпереселенец.

— Как вам не стыдно? — сказал он с польским акцентом. — Молодой парень сидит в кабине, а женщина... Да она же у вас родит по дороге!

Только тогда меня пересадили в кабину.

Едва приехали в Володаровку, как я почувствовала схватки. Хотя во дворе районного управления МВД было несколько машин,

в больницу пришлось идти пешком, меня чуть ли не на себе потащил через все огромное село журналист-москвич Владимир Иванович Лебедев, с которым я познакомилась на этапе.

В володарской больнице я родила мертвого ребенка...

Хирург Иосиф Львович позднее, когда мы подружились, сказал, что меня чудом удалось спасти, что, отправляя в таком состоянии по этапу, меня обрекали на верную смерть.

Через три дня после похорон нашего первенца ко мне в Володаровку прилетел муж – художник Михаил Ройтер, чтобы разделить со мной ссылку.

В ссылке у меня родился Олег, и мама приехала, чтобы помочь нам его растить.

Из Москвы мне писали, присылали книги подруги и мой учитель Сергей Данилович Сказкин, профессор МГУ. Письма эти очень поддерживали меня.

Я стала сельской учительницей в глубинке, вела русский язык и литературу, немецкий и даже математику – всё, но только не историю: ссыльной не положено...

Мои ученики – русские и казахи, украинцы и поляки, балкарцы и немцы – дети спецпереселенцев.

Каждый месяц в село приезжал оперуполномоченный. Тогда под школьным окном – посреди урока – возникал солдат с автоматом и, стукнув прикладом по раме, кричал:

– Училка! На отметку!..

ЗАЯРА ВЕСЕЛАЯ



Мы дружим с сорок седьмого года – вместе учились в институте. В конце второго курса Заяра перестала бывать на занятиях, вскоре мы узнали, что ее арестовали. Помню, как страшно было при мысли, что каждый из нас вот так же внезапно может оказаться за решеткой...

Заяра не была в лагере, но и она прошла через Лубянку, Бутырки, пересяльные тюрьмы, ссылку. Между тем в ее воспоминаниях нет мрачных красок. Природный оптимизм и самоирония – известный способ самозащиты – определили общую тональность воспоминаний.

Характерна концовка этих записок, которая осталась за пределами публикуемой части рукописи. Заяре разрешено поменять место ссылки: Сибирь на Казахстан. Невяка в комендатуру в срок, указанный в сопроводительной бумаге, будет считаться побегом. А за побег – 20 лет каторги.

«До железнодорожной станции мне предстояло пройти 60 километров пешком. Отправляясь в дорогу под конвоем бумажки в пол тетрадного листа, я думала о том, что отпущенная мне десятидневная свобода сродни кусочку мяса на ниточке, который заглатывала Каштанка, но все равно заранее радовалась каждому часу из этих десяти дней».

В пути случается несколько задержек, а отпущенный срок уже истекает... Наконец куплен спасительный билет на поезд.

«Проводник мягкого вагона, покосившись на кирзачи и телогрейку, на холщовую торбу с веревочными лямками у меня в руке, придирчиво изучил мой билет – только что на зуб не попробовал. Когда поезд тронулся, я подумала, что судьба явно ко мне благоволит: уж теперь-то поспею наверняка! Разве что поезд сойдет с рельсов...»

В этих воспоминаниях прошлое воссоздано так живо и непосредственно, что они кажутся записками, сделанными по свежему следу, или страницами дневника.

Нонна Друян

7-35

АРЕСТ

В 49-м году я училась на втором курсе литфака пединститута, старшая сестра Гайра заканчивала университет. В апреле она защитила диплом, на ближайшую субботу мы решили позвать друзей, чтобы отметить это событие.

Не знаю почему (может, и правда, сердце – вешун?), я стала уговаривать сестру перенести торжество на пятницу. Она не соглашалась, приводя два резона: принимать гостей удобнее под выходной, а главное, в пятницу мне нужно заняться латынью, поскольку в субботу предстоит зачет. Но я стояла на своем с таким упорством, что гости были приглашены на пятницу – 22 апреля.

...Последнее время – после того как арестовали маму – мы с сестрой жили вдвоем. У нас была комната в коммуналке на Арбате, то есть на пересечении всех тогдашних путей, поэтому редкий вечер кто-нибудь к нам не зайдет. Бывало, в одиннадцатом часу звонок из автомата: «Мы тут с Валею и Милой – ты их не знаешь – не попали на последний сеанс в *Повторный*. Можно сейчас к вам?» – «Конечно!»

Подруги, приятели и их знакомые – в основном студенты – приходили повидаться, почитать или послушать стихи, обменяться книгами, покрутить патефон (любимейшие пластинки – «Песня Сольвейг» и полонез Огинского «Прощание с родиной» – заводились по нескольку раз кряду).

По московской традиции гостям непременно подавался чай, хотя к чаю обычно не было ничего, кроме хлеба, если не принесет чего-нибудь вкусного Минка – моя однокурсница и самая близкая под-

руга. Родители разрешали ей тратить стипендию по своему усмотрению; мы же с сестрой жили только на стипендию, то есть впроголодь...

Но в ту пятницу, затеяв *званный вечер*, мы закупили в досталь колбасы, сыру и печенья с конфетами, поставили на стол пару бутылок вина (благо незадолго перед тем разбогатели — свезли в комиссионку швейную машину).

Вечер удался — не хотелось расходиться. Но метро работало только до двенадцати, поэтому почти всем гостям ближе к полуночи пришлось распрощаться. Остались те, кто жил неподалеку: Минка, приятель со школьных лет Олег и студент Института международных отношений Дима, нам до того незнакомый, — пришел с одной из моих подруг да и засиделся, себе на беду.

Впятером расположились мы с краю раздвинутого стола, пили остывший чай, за увлекательным разговором позабыв о времени.

Неожиданно раздался стук в наружную дверь.

На часах было четверть третьего.

Мы с Гайрой переглянулись, я пошла открывать. В комнату вернулась в сопровождении офицера МГБ и нескольких парней в соответствующей форме; следом вошли дворник с дворничихой — понятия.

Последовала короткая немая сцена: наши гости в замешательстве смотрели на вошедших. Красивый офицер (был он похож на артиста Кадочникова из «Подвига разведчика») быстрым взглядом окинул комнату, после чего представился:

— Майор Потапов. — Он кивнул на разоренный стол, спросил шуточно: — Пасху справляете?

— Вот еще! — Я была уязвлена таким предположением: небось не старухи! Да и Пасха-то ведь только в воскресенье начнется, — что ему вздумалось?..

— Отмечаем защиту диплома, — сказала Гайра.

— А-а, ну что ж, дело хорошее. Кто из вас будет Веселая Заяра Артемовна?

И майор предъявил мне ордер на обыск и арест.

Почему-то я не ужаснулась, лишь удивилась.

Ужаснулась Гайра:

— Погодите, при чем тут Заяра?! Это меня должны арестовать!

Наверное, майору Потапову — да и всем остальным — этот возглас показался по меньшей мере странным.

...Гайра проходила педпрактику в школе и на уроке истории сказала, что в 1905 году отсталые слои населения принимали участие

в еврейских погромах; ее сокурсник расценил эти слова как клевету на русский народ и довел их, с соответствующим комментарием, до сведения партбюро курса. Делу был дан ход, и после нескольких — на разных уровнях — проработок Гайру исключили из комсомола. Это было событие — из ряда вон.

Так что последние недели мы с сестрой жили как на вулкане; правда, об аресте не думали, опасались, что Гайре не дадут закончить университет, но, поскольку ее допустили до защиты диплома, и она защитила его с блеском, мы решили, что худшее — позади...

— Поймите, просто перепутали имена! — убеждала Гайра майора. — Это ошибка!

Майор сказал, что никакой ошибки нет, и велел мне собрать вещи.

— Много не бери: пару белья и... Ну, в общем, самое необходимое. Не забудь теплую кофточку, — заботливо говорил он. — Если есть, возьми деньги.

Дима побелевшими губами залопотал о том, что пришел сюда впервые и совершенно случайно. Мы с Гайрой клятвенно это подтвердили, нам от души было его жаль — надо же так влипнуть!

Олег от нас не открещивался, молча и с любопытством наблюдал за происходящим.

Минка прежде всего вытряхнула мне свой кошелек. Видя, что я роюсь в шкафу в тщетных поисках *пары белья*, она отошла в угол, небрежно бросила в пространство: «Отвернитесь!» — сняла платье и шелковую рубашку, платье натянула на голое тело, а рубашку сунула в наволочку, в которую я — за неимением какого-либо саквояжа — укладывала вещички. Потом она стянула с ног капроновые чулки — крик тогдашней моды (они только-только начинали входить в обиход). Я было запротестовала, мол, как же ты пойдешь домой (апрель в тот год выдался холодным, по ночам бывали заморозки), но она только махнула рукой.

— Готова? — спросил майор. — Тогда прощайтесь.

В это время я вспомнила про латынь и — обрадовалась, что утром не придется сдавать зачет.

№ 12 по Кривоарбатскому переулку — типичный доходный дом начала века, шестизэтажный, облицованный по фасаду серым гранитом. Мне очень нравился наш дом. Единственным его недостатком было отсутствие лифта, наверное, строили незадолго перед Первой мировой войной и лифт не успели вмонтировать в оставленное для него место: лестница вилась вокруг пустой шахты.

Меня сопровождали двое, остальные, в том числе и сам майор, почему-то остались в квартире. Спускаясь с четвертого этажа, я

по привычке, взялась было рукой за перила, но один из эмвэдэшников молча оттеснил меня к стене, сам пошел у перил. «Неужели они опасаются, что я брошусь в пролет?! – изумилась я. – Можно подумать: ведут пойманную шпионку. Как интере-е-есно!..»

Оказавшись между двумя конвоирами на полутемной по ночному времени лестнице, я конечно же не могла не отметить некоторой театральности происходящего. Сцена выглядела бы гораздо эффектнее, будь я одета поэлегантнее: вытертое демисезонное пальтишко с отвисшими карманами, еще в войну полученное по ордеру, беженский узелок в руке – все это, безусловно, разрушало образ.

Выйдя из подъезда, я оглядела переулочек; никогда не доводилось мне видеть его в столь поздний час.

...Хотя нет, однажды, в июле сорок первого, во время воздушной тревоги мы с Гайрой среди ночи бежали по такому вот безлюдному переулочку: бомбоубежище помещалось на углу Кривоарбатского и Плотникова. В ту ночь мама дежурила в роддоме, где тогда работала, а мы с сестрой спали так крепко, что не услышали сирены. Нас, уходя в бомбоубежище, разбудили соседи. Я, сонная, долго одевалась, Гайра меня торопила, но я повязала перед зеркалом красный галстук («Зачем?» – спросила Гайра, я ответила: «Назло Гитлеру!»). Когда мы выскочили наконец из дому, вокруг уже не было ни души. Мы взяли за руки и, подгоняемые воем сирены, побежали в сторону Плотникова...

У подъезда стояла черная «эмка».

...Такою же глухою ночью в прошлом году увезли маму, одиннадцать лет назад – отца.

Мои родители поженились в 1922 году, встретившись в Москве.

Мама в родном Крюкове Полтавской губернии окончила четыре класса, несколько лет проработала воспитателем в детском доме и была направлена с комсомольской путевкой в московский пединститут. Срезалась на вступительном экзамене, поступила работницей на чулочную фабрику.

Отец в ту пору только что демобилизовался со службы на флоте. Он привез в Москву рукопись своей первой книги «Реки огненные»; повесть была напечатана в 1923 году в журнале, а на следующий год в издательстве «Молодая гвардия».

Подлинное имя отца – Николай Иванович Кочкуров, литературный псевдоним – Артем Веселый. С середины 20-х годов он стал

известным писателем. Его главное произведение – роман о Гражданской войне «Россия, кровью умытая».

Родители поселились на Покровке, 3. В этом доме, где раньше размещалась дешевая гостиница, два этажа были отданы под общежитие писателей и поэтов группы «Молодая гвардия» (у каждого из них была отдельная комната, а у Артема Веселого, жившего со стариками родителями, которые приехали к нему из Самары, – даже две).

Через несколько лет отец и мать расстались. Они сохранили добрые отношения; Гайра до восьми лет воспитывалась у дедушки с бабушкой, я то и дело у них гостила. Отец, живя отдельно с новой семьей, постоянно бывал на Покровке. Я часто виделась с отцом, хорошо его помню.

Новый, 1937 год встречали на даче в Переделкине.

Обеденный стол раздвинут и завален ворохом цветной бумаги и яркими лоскутами: мы с Гайрой и сводной сестрой Фантой мастерим елочные игрушки. Елка уже стоит в столовой, упираясь верхушкой в потолок – елку срубили (тут же, на диком еще дачном участке) отец и его младший брат Василий. Смолистый дух перешибает все другие запахи Нового года: красок, клея, мандаринов, горячих бабушкиных пирогов.

Ужинали – вчерне – на кухне, у бабушки еще топилась плита. Отец поднялся на второй этаж в свой кабинет, вернулся с несколькими коробками «Казбека» в руках.

– Все! Бросаю курить! – Он открыл дверцу плиты и швырнул папирсы в огонь.

– «Казбек»?! – в ужасе закричал дядя Вася и голыми руками – мы только ахнули – выхватил коробки из пламени.

После ужина отец прилег в своем кабинете поверх серого солдатского одеяла, мы с сестрами примостились рядом, наперебой рассказывали ему о своих школьных делах (я учусь в первом классе, и школьные дела представляются мне необычайно важными).

Немного погодя отец сказал:

– А теперь представьте себе такое...

Врезалось в память: отец говорит размеренно, как будто с листа считывает, и при этом пристально вглядывается в черноту окна, словно ему что-то видится в этой черноте:

– В походном шатре двое – хан и молодая русская полонянка. Хан угощает ее яствами и вином, она ото всего отказывается, потом внезапно говорит: «Дай хлеб». Он дает. «Дай мясо». Дает. «Дай нож!» Дает нож. Она режет на доске мясо и хлеб, говорит хану: «Возьми!» Хан протянул руку, – отец тянет руку в сторону темного окна, – как вдруг!..

Вдруг взмахнула полонянка ножом — и пригвоздила руку хана к доске!.. Закричал хан, вбежали его телохранители, совсем уж было схватили девушку, но она, гибкая, как змея, выскользнула из шатра, лишь ее одежда осталась у них в руках. Вокруг шатра расположилось станом бесчисленное ханское войско, в ночи горели тысячи костров... За девушкой гнались, но она — нагая, с распущенными волосами — прыгала и прыгала через костры, бежала и бежала, куда ночная степь не скрыла ее...

Впоследствии, вспоминая рассказ отца, я думала, что это эпизод, не вошедший в «Гуляя Волгу» — его роман о покорении Сибири Ермаком (*Ярмаком* назван он в книге; кстати сказать, родись я мальчиком, меня, по желанию отца, нарекли бы Ярмаком.)

И только недавно, разбирая то, что уцелело из отцовского архива, поняла, что это — отрывок из романа «Запорожцы», рукопись которого была изъята при аресте отца, но — по сохранившемуся плану и довольно многочисленным наброскам — можно судить о его содержании. Рассказанного отцом эпизода в сохранившихся рукописях нет, но есть строки, ему предшествующие и за ним следующие:

«На кургане ордынцы делили добычу... Около Марийки заспорили два татарина...

В толпе черных харь лицо юной полонянки блистало как солнечный луч...

Хан забрал Марийку и увел ее к себе в шатер».

Далее, совершенно очевидно, должна быть сцена, рассказанная нам отцом, и после нее придется встык следующий сохранившийся набросок:

«По ночной степи она летела нагая на неоседланном жеребце... Утро приветствовало беглянку улыбкой ясной и потоком лучей, от которых она тщетно старалась прикрыть наготу свою. Волосы ее были рассыпаны по плечам, спине, высокой с острыми сосцами груди, что была белее серебра... Вылетела на курган и огляделась: степь была пустынна, погони нигде не было видно, вдалеке ясно вырисовывался остроголовый курган Семи братьев. Опасность миновала».

Сама встреча Нового года мне не запомнилась, возможно, я ее просто проспала.

Не берусь гадать, о чем думал отец, гуляя с нами по Переделкину в первый день *тридцать седьмого года*, но то, что он предвидел свой трагический конец, — несомненно: уже вовсю шли аресты.

Летом, когда сестры вернулись из очередного путешествия с отцом на рыбацкой лодке по Волге, они рассказали, что, в отличие от предыдущих поездок, отец избегал посещать большие города, а под охраняемыми мостами проплывал, пристроившись к плотам; все это из опасения, что если его арестуют, то дочери останутся одни вдали от дома.

Отец пробыл остаток августа в Переделкине, где проводила лето его жена Людмила Иосифовна с их детьми,левой и Волгой, и где я жила при бабушке с дедушкой.

Уже была опубликована в «Комсомольской правде» рецензия, озаглавленная: «Клеветническая книга. О романе А. Веселого «Россия, кровью умытая» – факт знаменательный и зловещий.

Отец предвидел арест – и готовился к нему. Часть своего архива он отвез на Покровку, полагая, что его стариков и брата, работавшего грузчиком, не тронут. Так оно, по счастью, и произошло.

Дедушка умер во время войны, бабушка – в 48-м году. На Покровке остались младший брат отца Василий Иванович Кочуров с женой Клавдией Алексеевной. Никто, кроме них, не знал о существовании архива: хранение бумаг осужденного врага народа считалось криминалом. Архив, уложенный в плетенную из ивовых прутьев бельевую корзину, был спрятан... под кровать.

Люди, далекие от литературы – грузчик и работница столовой, Василий Иванович и Клавдия Алексеевна не только по-родственному любили Артема – они безгранично уважали его труд и верили, что спрятанные бумаги пригодятся, когда он вернется из заключения. Они сохранили ценнейшие материалы: рукописи, документы, письма, фотографии, прижизненные издания произведений Артема Веселого.

В последний раз я видела отца – на Кривоарбатском – в сентябре или октябре тридцать седьмого.

В тот день мама была на работе, Гайра еще не вернулась из школы – я была дома одна. Неожиданно пришел отец. Он был молчалив и сосредоточен; не спеша разделся, несколько раз прошелся по комнате, потом сел за стол, достал из кармана и положил перед собой тоненькую книжку в бумажной обложке. Я углядела, что она – из собираемой мною серии «Книга за книгой», обрадовалась и потянулась за ней через стол, но отец прижал книжку ладонью.

– Садись и слушай... «Янко-музыкант»*, – начал он с печальной торжественностью.

* «Янко-музыкант» – рассказ польского писателя Генрика Сенкевича.

Отец читал мне вслух, чего прежде никогда не делал: я самостоятельно читала с четырех лет. Слушала, смагивая слезы; горько заплакала, когда он дочитывал последнюю строку: *Над Янко шумели березы...*

Вскоре отец ушел; тогда я не пожалела, что не побыл со мною подольше: мне не терпелось еще раз перечитать историю Янко...

В конце октября отца арестовали. Следом оказалась за решеткой, а потом получила восемь лет лагерей Людмила Иосифовна, Леву и Лялю (так в детстве звали Волгу) забрали в детдом.

Долгие годы не знали мы о судьбе отца: в справочной на Кузнецком, 24 на наши регулярные о нем запросы отвечали одно и то же в краткой стереотипной формулировке: «Жив, работает; осужден на 10 лет без права переписки»; повторяли это — не вдаваясь в объяснения — и после того, как истек срок наказания*.

Маму арестовали в начале сорок восьмого года. Ее не посадили в 37-м — тогда она этого ожидала: знала за собой давнюю провинность. Будучи работницей Электролампового завода, выступила на заводском митинге в поддержку оппозиции, за что впоследствии — в середине тридцатых — была исключена из партии, уволена с работы (она занимала какую-то техническую должность на радио). Долго не могла никуда устроиться, была вынуждена завербоваться в Каракалпакию. Уехала на год, оставив нас с сестрой в Москве, меня — на попечение своей еще фабричной подруги, а Гайру — бабушки с дедом. Вернулась как раз ко времени массовых арестов. Предупреждала нас каждый вечер, чтобы мы не пугались, если ночью за ней придут, клала Гайре под подушку деньги *на первое время*. Но в ту пору — обошлось...

После войны мама работала медсестрой в поликлинике, подрабатывала уколами и как-то раз по телефону, висевшему в коридоре нашей коммуналки, сказала своему пациенту, чтобы тот постарался достать американский пенициллин: он, мол, гораздо лучше нашего.

Сосед услышал — донес *куда следует*.

Мать обвинили в антисоветской агитации, припомнили старое, приговорили к десяти годам лагерей. (Мама пробывала в заключении восемь лет, до 1956 года.)

Мама попала в Потьму. Она не была лишена права переписки, но это право ограничивалось двумя письмами в год. Кроме того,

* В 1956 году, с посмертной реабилитацией отца, была названа дата его смерти — 2 декабря 1939 года. По сведениям, полученным в 1988 году в Военной коллегии Верховного суда СССР, Артем Веселый расстрелян 8 апреля 1938 года. — *Здесь и далее — прим. автора.*

отправив ей посылку, мы в ответ получали открытку всего из трех слов: «*Посылку получила, мама*»: что-либо приписать запрещалось. Было нам уже и одно письмо — скупое (явно подцензурное): мол, жива-здорова, работаю на общих, спасибо за посылки. Мама беспокоилась о нас, просила писать почаще.

Посылки мы с сестрой отправляли каждый месяц, деньги на них давал большой мамин друг, что сохранялось им и нами в строжайшей тайне: был он старым большевиком, директором фабрики и сильно рисковал, помогая осужденной. Мы рассчитывали, что, как только Гайра закончит университет и поступит на работу, мы полностью возьмем на себя заботу о матери...

...У подъезда стояла черная «эмка».

Передо мной распахнули дверцу, я оказалась на заднем сиденье между двумя эмвэдэшниками.

Машина, рванув с места, помчалась по Арбату, по Воздвиженке, через Манежную площадь и, подъехав к большому зданию на площади Дзержинского, остановилась у подъезда № 3.

ЛУБЯНКА

Это уже потом, освоившись с тюремными порядками и терминологией, я узнала, что провела ночь в *боксе*. А тогда подумала, что комнатушка, напоминающая чулан, — одиночная камера. Маленький — типа тумбочки — столик, табуретка; кровати не было.

«Должно быть, мне *бросят соломенный тюфяк*, — решила я. — Подумать только, я — в тюрьме!»

Настроение было приподнятое: я ждала каких-то значительных и немедленных событий, связанных с моим загадочным арестом.

Забавляла мысль, что не соберись мы вместо субботы в пятницу — не бывать бы нашему званому вечеру; радовалась, что ночной стук не врасплох застал нас с сестрой, не спросонья, как это было при аресте мамы; запоздало удивилась, что не было обыска, подумала беспечно: «Оно и лучше».

Время шло, но ничего не происходило. Первоначальное возбуждение постепенно улеглось, подступила тревога.

Пыталась строить догадки, почему меня арестовали? Мама во время свидания, данного нам перед ее отправкой в лагерь, сумела намекнуть, *кто* из наших квартирных соседей доносчик.

Может быть, я что-нибудь брякнула по телефону, а этот сосед подслушал и — донес? Или он меня просто оклеветал? Он — или кто-нибудь

другой... Удастся ли оправдаться? Одно из двух: или меня взяли по ошибке — тогда *разберутся и отпустят*, или...

Сидела, уставившись в стенку, чувствуя, как угнетающе начинает действовать свет яркой лампы и полная — до звона в ушах — тишина.

В прошедший год, выстаивая часами в очередях к различным приютным окошкам, я слышала обрывки разговоров, из которых уяснила, что над политическими заключенными суда в обычном представлении не бывает, срок наказания определяет ОСО (Особое совещание).

Почему меня так долго никуда не вызывают? Забыли обо мне, что ли? А вдруг это самое ОСО *уже* приговорило меня к одиночному заключению? Вот так и буду теперь тут сидеть...

Мне сделалось страшно.

В камере не было окна, и я потеряла ощущение времени; внезапно у меня начался какой-то психоз: самым важным сделалось немедленно узнать, что сейчас на дворе — все еще ночь или уже утро?

Подошла к двери, постучала. Замок (или засов?) лязгнул, в камеру заглянул надзиратель:

— Чего тебе?

— Который час?

Он посмотрел на меня оторопело, захлопнул дверь. Лязгнул замок.

Я почувствовала в горле жесткий ком — предвестник слез — и сосредоточилась на том, чтобы не заплакать.

Но вскоре ком в горле исчез: начались *события*.

Сначала меня отвели в душ (явно для галочки: вода была чуть теплая, и надзиратель, когда я на это посетовала, крикнул из-за двери: «Не хочешь — не мойся, главное — волосы смочи»).

Потом был обыск.

Вещи, вытряхнутые из наволочки на большой стол, осматривала хмурая тетка в форме и в берете.

Ее внимание сразу же привлекли капроновые чулки.

— Небось с американцем гуляла, — заключила она.

Я побожилась, что никакого американца у меня не было, она явно не поверила, я осеклась и пожалела, что не сумела *надменно промолчать*.

Под левым манжетом ее гимнастерки угадывались часы.

— Скажите, пожалуйста, который час?

Она словно и не слышит; с бабским интересом посмотрела сквозь капрон на лампочку, сунула чулки обратно в мой узел, сказала ворчливо:

— А вот у моей дочки — нету таких... Раздевайся.

— Как?!

— Обыкновенно. Все сымай.

Ловкими, натренированными пальцами она прошупала в моем платье швы, воротник, манжеты, спорола пуговицы, из трусов выдернула резинку; вместе с пояском от платья, шарфом и поясом — держателем чулок — отложила в сторону.

Все это время я стояла в классической позе стыдливой купальщицы.
— Одевайся.

Я поспешно накинула платье, надела простые чулки и потянулась было к поясу с резинками, но она молча сгребла все отложенное, свернула в тугий узелок.

Я знала, что у заключенного отбирают ремень или подтяжки, дабы он на них не удавился. Поэтому изъятие пояса от платья и шарфа восприняла как должное; но резинки! Поняла так, что резинки отобрали не из опасения самоубийства, а чтобы таким простым способом деморализовать. В самом деле, трусы кое-как держались, прижатые узким платьем, но как только надзиратель повел меня с моим узлом по коридору, я стала путаться в сползающих до полу чулках, поминутно наклонялась, подтягивала их свободной рукой, они снова сваливались.

Меня отвели в бокс, но вскоре вызвали («Без вещей!») — взяли отпечатки пальцев. Во всех известных мне воспоминаниях людей, прошедших через эту процедуру, ей неизменно сопутствует эпитет *унизительная*. Но мне она показалась наименее унизительной из всего того, что довелось узнать в тюрьме, где почти все унизительно.

Вначале было смятение: уж если дошло до отпечатков пальцев, то вряд ли сегодня отпустят!..

Когда же пожилой энкавэдэшник, намазав мне пальцы и ладони черной краской, по очереди прижал их к разграфленному листу бумаги, а потом несколько секунд пристально вглядывался в отпечатки, я с любопытством тянула шею — что там получилось?.. Получилось, видимо, как надо.

Потом меня усадили перед фотоаппаратом.

И у печатальщика (или как его назвать?), и у фотографа спрашивала:

— Который час?

Первый буркнул угрюмо:

— Не знаю.

— Чтó хоть сейчас — ночь или утро?

— Не знаю.

Фотограф тоже ответил: «Не знаю», но при этом посмотрел на меня вроде бы сочувственно.

— Скажите! — взмолилась я. — У вас же часы на руке!

Он промолчал, отвел глаза.

До сих пор не могу понять, чтó за тайна?..

Сию в боксе, как мне кажется, бесконечно долго. Уже сообразила, что это – временное помещение: в камере, насколько известно, непременно должна быть параша. Видимо, меня переведут отсюда. Скорей бы! Этот чулан мне уже осточертел...

– С вещами!

Обрадованно вскакиваю с табуретки, хватаю узел, выхожу с замирающим сердцем: что-то будет?..

Надзиратель ведет меня по коридору, поднимаемся по лестнице, снова коридор, снова лестница – на этот раз вниз, еще коридор, мы останавливаемся перед какой-то дверью с глазком, надзиратель ее распахивает, в волнении шагаю через порог... это все тот же бокс!

...Кем-то уже было замечено, что в тюрьмах и лагерях в вопросах гигиены первое место отводилось чистоте полов. У заключенных остро словов эта неустанная забота администрации носила название «половой вопрос»...

Позже я поняла: вывели на несколько минут для того, чтобы сделать уборку – пол в боксе влажно блестел.

Но тогда... То, что меня – с моим нелепым узлом да в сползающих чулках – заставили ходить вверх-вниз по лестнице только для того, чтобы привести туда же, я восприняла как явное и к тому же утонченное издевательство.

За спиной хлопнула дверь – я разревелась.

Швырнув узел на тумбочку, уткнулась в него лицом...

Наревевшись всласть, сидела, тупо глядя в стену. Спать не хотелось, но бессонная ночь давала себя знать звонким гудением в голове.

Неожиданно – настолько неожиданно, что я не поверила ушам, – послышался голос Гайры. И тут же – чье-то шипение:

– Тш-ш-ш...

Я вскочила, припала к двери.

– Тут у вас моя сестра, ее увезли ночью... – очень громко говорила Гайра (на то и рассчитывала: я услышу и, по крайней мере, буду знать, что ее тоже забрали).

– Тш-ш-ш...

– Она забыла взять с собой мыло! Можно ей передать?

– Тш-ш-ш...

Я заколотила в дверь кулаками:

– Гарка, я тут! Гарка!

– Зайка! Зайка!

Хлопнула какая-то дверь — и все стихло.

Минуту спустя — я еще прижималась к двери — ко мне влетел разъяренный толстяк с лычками на погонах. Оттеснив меня от двери и закрыв ее за собою плотно, он все равно приглушал голос:

— Ты чего разоралась?

— Там моя сестра!

— Тш-ш-ш... Нет там никого.

— Я же слышала!

— Тш-ш-ш... Будешь кричать — посажу в другое место, там ты у меня живо зажаришься (точно не помню, возможно, он сказал *замерзнешь*, но угроза была связана именно с температурой этого *другого места*, видимо карцера).

Я вообще не храброго десятка и тут малость струхнула, но чтобы он об этом не догадался, набычилась, сжала зубы и, не мигая, смотрела ему прямо в глаза. Бросив на меня еще один грозный взгляд, толстяк ушел.

Все кончено! Раз Гайру тоже арестовали, надеяться на то, что разберутся и отпустят, — глупо.

Но каково коварство красивого майора! Выходит, он явился к нам с *двумя* ордерами на обыск и арест, почему бы не сказать об этом сразу? То-то он остался, когда меня увезли: значит, обыск все-таки был... Как здорово получилось, что мы с Гайрой услышали друг друга! Они хотели нас одурачить (вернее, меня, чтоб я тут сидела и думала, что Гайра на свободе) — не вышло! Недаром этот толстяк обозлился, возможно, ему за нас попадет...

Я даже немного развеселилась. Но потом подумала о маме: теперь — без нашей поддержки — она обречена: говорят, без посылок в лагере выжить трудно...

Вскоре надзиратель принес еду — пайку черного хлеба, пару кусков сахара, кружку с чем-то горячим. Ни есть ни пить не хотелось, сахар сгрызла.

Мне вспомнилось: Гайра сказала, что меня *увезли ночью*. Наверное, уже утро, а еда — завтрак. Ага, начинаются *тюремные будни*. Надолго ли? На восемь лет? На десять?

Должно быть, я все-таки сильно устала за эту ночь — на меня нашло какое-то странное — веселое и злое — безразличие: *ну и пусть!*

Дверь отворилась.

— С вещами!

Стянула с тумбочки свой узел, без прежнего ожидания перемен поплелась к двери.

— Хлеб возьми, — напомнил надзиратель.

Вернулась, сунула пайку в наволочку, вышла в коридор.

Меня снова повели какими-то коридорами и лестницами, потом мы прошли через двор (был белый день, и, вдохнув свежего воздуха, я сразу взбодрилась), поднялись на второй этаж, подошли к решетке, перегородивающей довольно широкий коридор.

В нос ударил резкий запах дезинфекции (так иногда пахнут пропитанные каким-то составом железнодорожные шпалы), к нему примешивалось зловоние общественной уборной, я поняла, что за дверями по обе стороны перегороденного решеткой коридора – камеры.

У решетки меня передали другому – коридорному – надзирателю, он подвел меня к двери № 10, приказал:

– Лицом к стене!

Пока он возился со связкой ключей, я старалась вообразить, что там, за дверью. Наверное, огромная камера с каменным полом и темным сводчатым потолком, на нарах – наголо обритые арестанты в полосатых штанах и куртках (почему-то мне не пришло в голову, что в тюрьме женщины сидят отдельно от мужчин).

В камеру вошла, внутренне съжившись от страха, но подбородок вздернула – как только могла.

Сравнительно небольшая – метров двадцать – комната с навошенным паркетным полом (позже я узнала, что в этом здании когда-то помещались меблированные комнаты «Империяль»). Никаких нар: железные – наподобие больничных – кровати, у стены – обитый кухонной клеенкой стол. В углу возле двери – параша – цинковый бак под крышкой, в таких кипятят белье. В передней стене окно, снаружи загороженное щитом (по тюремной терминологии – *намордником*), укрепленным наклонно: вплотную к подоконнику, немного отступя сверху, так что воздух через открытую форточку, а также дневной свет, хоть и скудно, но все же проникали в камеру, что после бокса показалось мне особенно отрадным. Батарея центрального отопления в стене забрана мелкой металлической сеткой.

Все это в подробностях я разглядела чуть позже, а тогда прежде всего с огромным облегчением увидела не толпу полосатых арестантов, а пять интеллигентного вида женщин.

Когда за приведшим меня надзирателем закрылась дверь, ко мне подошла самая из них молодая.

– Ты, наверное, из университета? – спросила она.

– Нет, из педагогического, – ответила я и, подумав, что она не случайно спросила про университет, должно быть, сама студентка МГУ, добавила: – Из университета – моя сестра.

– Как ее фамилия?

– Веселая.

– Гайра?

Чуть не бросилась ей на шею:

– Да!

– Я тоже училась на истфаке. Она ведь сейчас на пятом курсе?

– Она сейчас в тюрьме...

– Господи!.. Как тебя зовут? Я – Наташа Запорожец.

Никогда не слышала я от сестры о Наташе, но *она знала Гайру* – этого было достаточно, чтобы ощутить спокойную уверенность: я больше не один на один с тюрьмой, меня взяли под крыло...

Лампа под потолком горела и днем и ночью. Перед сном женщины прилаживали на глаза повязки (наилучшим образом этой цели служил черный бюстгальтер). Но мне в первый вечер свет ничуть не мешал: заснула, как только коснулась головой подушки. Не слышала, как открылась дверь (а открывалась она всегда с каким-то тюремным лязгом), проснулась только тогда, когда потрясли мою кровать.

Рядом стояла надзирательница.

– Фамилия? – спросила она.

Я сказала.

– Инициалы полностью?

– Что-о?

– Инициалы полностью! – нетерпеливо повторила она.

Я не могла понять, чего ей от меня надо.

– Имя-отчество, – подсказала с соседней койки Наташа.

– Заяра Артемовна.

-- На допрос.

...Существовал такой порядок: надзиратель, обращаясь к заключенному, никогда не называл его по фамилии – тот сам должен был себя назвать. Мне объяснили это следующим образом: вдруг надзиратель ошибется дверью и назовет Иванова Петровым, тогда Иванов догадывается, что в одной из соседних камер сидит Петров, возможно его знакомый, а может, и *подельщик*. Ночью, когда все спят, вопросом о фамилии будили лишь требуемого человека. Днем ритуал был более сложным. Надзиратель спрашивал, ни к кому не обращаясь:

– Кто на Кы?

– Я.

– Фамилия?

– Кузнецова.

– Инициалы полностью?

Если фамилий на «Кы» было несколько, надзиратель тыкал пальцем в каждого, пока не услышит той, что нужна в данный момент.

Кроме того, ведь могут быть однофамильцы и даже с совпадающими инициалами – отсюда эти немыслимые *инициалы полностью*...

У решетки надзирательница передала меня конвойному, и тот повел меня – «руки назад» – бесконечно длинными коридорами. Приближаясь к очередному повороту и на лестничных маршах он принимался звонко цокать языком.

Смысл такого цоканья – сигнал: *веду заключенного* (дабы не произошло нежелательной встречи с другой подобной парой)...

– Ты что же это, Заяра, нарушаешь режим? – не строго, а скорее, добродушно стал выговаривать мне следователь, едва я переступила порог его кабинета и мы оглядели друг друга (был он в штатском и по виду мог бы сойти за обыкновенного служащего в каком-нибудь обыкновенном учреждении). – Колотишь в дверь, кричишь... *У нас*, – короткая пауза, – так себя вести не положено. У тебя что, мыла нет? Вот будет ларек – купишь. Садись. – Он указал на стул, стоявший у стены напротив его стола.

Представившись (не помню, какой у него был чин, кажется, старший лейтенант), Мельников предупредил, что, обращаясь к нему, я должна называть его не *товарищ* следователь, а *гражданин* следователь. После чего перешел с места в карьер:

– Ну?.. Признавайся в своих преступлениях.

Меня удивили не сами слова (я ждала чего-нибудь подобного, поскольку на допросе и положено спрашивать о преступлениях), удивил спокойный, какой-то будничный, без малейшей экспрессии, тон (позже я узнала от тюремных подруг, что Мельников в ту ночь произносил эти самые слова ни единожды).

Пожав плечами, ответила, невольно впадая в тот же вялый тон:

– Мне не в чем признаваться.

– Подумай, – сказал Мельников и принялся рыться в бумагах.

Недолгое время спустя он вышел из-за стола и протянул мне бумагу:

– Ознакомься с обвинением.

В бумаге говорилось, что как дочь врага народа Кочкурова Николая Ивановича (он же – Артем Веселый) и осужденной по статье 58-10 Лукацкой Гиты Григорьевны я обвиняюсь по статье 7-35 (СОЭ).

Если бы не слова *враг народа* и *осужденная*, листок у меня в руках можно было бы посчитать за машинописную копию моей метрики. И это — обвинение?!

Я спросила, что за статья и что означает СОЭ. Оказалось, что по статье 7-35* судят *социально опасный элемент*, сокращенно — СОЭ.

Возвращая бумагу Мельникову, я, хмыкнув, сказала, что нелепо было бы отрицать родство с родителями.

Следователь не стал углубляться в эту тему, велел расписаться, что я ознакомилась с обвинением, и, вызвав конвой, приказал меня увести.

Шагая длинными коридорами («руки — назад!»), я думала, что предъявленное обвинение не так смешно и нелепо, как показалось мне в первую минуту: ведь сажали в 37-м жен врагов народа, возможно, теперь пришел наш черед — подростков детей?*

Но ведь Сталин сказал: *сын за отца не отвечает*. Как же мне сразу не вспомнились эти слова? Следователю и крыть было бы нечем!

Когда через два-три дня меня снова привели в кабинет следователя, я первым делом спросила: мол, как же так?..

Указав, что мне не положено задавать вопросов («Вопросы здесь задаю я»), Мельников тем не менее принялся отвечать очень обстоятельно, призывая меня понять, что, хотя сын за отца, безусловно, не отвечает, в данном случае наша с сестрой временная изоляция — вынужденная мера, *так надо*.

Не помню дословно его доводов, но они сводились к следующему. Поскольку я, вероятно, сочувствую репрессированным родителям, у меня в этой связи могут быть («а в душу не заглянешь!» — присовокупил следователь) обида, недовольство — словом, *антисоветские настроения*.

— Допустим, у тебя их нет, — говорил Мельников. — Допустим. Но ведь *могут быть*? В принципе?

И я сказала:

— В принципе — да.

— Вот видишь! А теперь сама посуди: что, если эти настроения будут использованы вражеской агентурой? Ты же должна понимать, какая сейчас сложная международная обстановка!

Про международную обстановку я понимала. Не понимала, какой от меня мог бы быть прок вражеской агентуре. Но что возразить ему,

* 7 и 35 никогда не разделялись в речи и даже в официальных бумагах писались через дефис; я полагала, что это — 35-й пункт 7-й статьи (по аналогии с 58-10). Между тем это статьи из двух разделов Уголовного кодекса: в 7-й говорится о категории лиц, в отношении которых «применяются меры социальной защиты», а в 35-й — об этих мерах.

** О том, что в 37-м сажали совершеннолетних детей, я тогда не знала.

сотруднику Министерства государственной безопасности, уж он-то, конечно, лучше меня разбирается в проблемах, связанных с вражеской агентурой и социально опасными элементами, коим в душу, и в самом деле, не заглянешь.

Вернувшись в камеру, я снова и снова прокручивала в голове доводы Мельникова.

«Выходит, так надо... — думала я. — Конечно... Кто же станет спотыкнуться против очевидного: *общественные интересы важнее личных!*»

На Лубянке я пробыла до 23 мая — ровно месяц. Еще два или три раза водили меня на допросы, почему-то всегда среди ночи.

Следователь держался вполне корректно. Я была благодарна ему за это; радовалась, что он же, а не другой, ведет дело Гайры: в камере говорили о том, что некоторые следователи во время допросов кричат и матерятся*.

Неторопливо и размеренно вел Мельников допрос, четким почерком записывал в протокол свои вопросы и мои ответы.

Вопросы были однообразны: почти про каждого, кто бывал у нас в доме, он спрашивал, нет ли у того антисоветских настроений, не вел ли соответствующих разговоров.

Особо останавливался на тех, чьи родители были репрессированы: — Нет? Но ведь у нее отец арестован... Ты вспомни, вспомни... Нет? Ну ладно... Прочти. Распишись.

Один из его вопросов навел меня на мысль, что в нашей студенческой компании был осведомитель. Заподозрила — задним числом — одного парня.

...У него была привычка задавать кучу вопросов: непременно расскажи ему, где вчера была, с кем, кто там был еще — как кого зовут, кто где учится, о чем говорили. Расценивая эти вопросы как повышенный интерес к моей особе (парень мне нравился), я охотно отвечала, но иной раз удивлялась: «Какой ты любопытный!» Он отвечал: «Я любознательный».

Однажды мы с Гайрой затеяли почистить ящики письменного стола; набралась куча бумаг на выкид, среди них — довольно много писем. Я сказала, что выбрасывать письма на помойку не годится, письма полагается *сжигать в камине!* За неимением камина поставила посреди комнаты таз, кинула в него письма и подожгла. Как раз в это время пришел любознательный студент, заметался вокруг огня, пытаясь выхватить из пламени хоть листок: мол, интересно, что у вас тут

* О боязах и пытках мне в 1949 году слышать не доводилось.

за секреты... Мы со смехом его оттаскивали. Если он и в самом деле был осведомителем, то, наверное, мог бы, немного пофантазив, подвести под монастырь нас, наверняка уже взятых на заметку в связи с недавним арестом мамы и с исключением сестры из комсомола. (Сосед, донесший на маму, кроме *американского пенициллина* добавил еще кое-что — сам придумал.) Видимо (и тут надо отдать студенту справедливость), он ничего не домысливал, меж тем мы с сестрой — не для протокола допроса, а на самом деле — никогда и в мыслях не держали никакой крамолы: были восприимчивыми воспитанниками советской школы и, главное, советской литературы.

Я была уверена, что отец не *враг народа*, читала и любила его книги, но, вопреки предположениям следователя, у меня — ни сразу после ареста отца, ни в дальнейшем — не возникло враждебности не только к советской власти, но даже к органам НКВД: с детства усвоила бывшую тогда в большом ходу поговорку *лес рубят — щепки летят*. И не было сомнений в том, что *лес рубить* необходимо: с октябрьского возраста знала и про капиталистическое окружение, и про обострение классово-борьбы, с волнением в груди читала со сцены на школьных утренниках стихи Михалкова про пионеров, которые поймали шпиона и диверсанта. Шпионов и диверсантов надо ловить и сажать в тюрьму. А моего папу посадили по ошибке: *лес рубят...* И папу Иры — по ошибке, и дедушку Марины...

Была уверена в невинности отца и никогда не скрывала (наоборот, надо не надо, говорила), что он арестован. Отступила от этого правила один-единственный раз.

Во время войны мы с мамой, эвакуированные из Москвы, оказались в уральской деревне. Мама самостоятельно — без врача — работала на медпункте, как лекарь пользовалась у колхозников большим авторитетом. На расспросы о муже она, чтобы не вызывать кривотолков, не поминала ни про развод, ни про арест, а говорила, что он *пропал без вести*; с одной стороны, это было правдой, с другой — ложью, поскольку без вести в то время пропадали на фронте, и получалось, что отец на войне. Мама и меня просила не проговориться: узнают в деревне, что отец сидит, станут коситься, могут выгнать с работы. Я пообещала держать язык за зубами.

В деревне я заканчивала семилетку. Весной подошло время вступать в комсомол, о чем я уже давно мечтала. Скрыть что-либо от комсомольской организации было бы немислимым для меня святотатством. Но и нарушить данное матери слово я не могла. Объявила, что вступать в комсомол сейчас не буду: хочу, мол, вступить в родной Москве.

Комсомолкой я так и не стала: в старших классах московской школы была троечницей, а когда вступала на первом курсе института, как раз посадили маму, я сообщила об этом во время приема в райкоме — и тут же получила от ворот поворот...

Мельников конечно обратил внимание на то, что я не комсомолка, но, узнав, в чем дело, больше к этому не возвращался.

В камере у одной меня была 7-35. «*Легкая статья*», — говорили сокамерницы и уверяли, что нас с сестрой *просто вышлют* из Москвы. Радуюсь в душе, что мне не грозит, как остальным, лагерь (у всех была 58-я), в то же время испытывала я перед ними чувство вины, какое бывает у здорового перед тяжелобольными.

Ни одна из женщин в 10-й камере не была похожа на шпиона и диверсанта.

Мария Александровна, преподаватель вуза, мучительно беспокоилась о сыне-школьнике. Ее муж, профессор, тоже был арестован.

У Тони после ареста ее и мужа остался трехлетний Генка. Родственники есть, но возьмут ли? Или он в детдоме? Как она говорила, муж, рассказавший в компании анекдот, по доносу одного из приятелей сел за антисоветскую агитацию, а Тоня — за *недоносительство*.

Самая большая трагедия была у женщины, имени которой я не помню. Ее двенадцатилетняя дочь после ареста матери осталась совершенно одна в Ростове-на-Дону; следователь говорил во время допросов, что девочка стала проституткой. Соканерницы пытались утешить несчастную мать, говоря, что это невыносимо, абсолютно невозможно, что дочь конечно же в детдоме; женщина, уставившись в одну точку невидящим взглядом, отвечала чуть слышно: «Я тоже так думаю. Он врет».

Наташа была беременна.

...В четырнадцать лет, после ареста родителей, Наташа осталась вместе с младшим братом на попечении старого деда, а по существу, на собственном попечении, узнала самую черную нужду. В начале войны ушла добровольцем на фронт, защищала Москву, потом поступила на истфак МГУ, уже заканчивала аспирантуру, только-только вышла замуж...

И вот — очутилась на Лубянке.

Месяц пробыли мы вместе с Наташей в 10-й камере — дружим до сих пор. О том, что происходило с нею после того, как мы расстались, она рассказала мне через несколько лет, когда снова встретились.

Наташа отказалась подписать сфабрикованный следователем Макаренко протокол. Следователь долгими часами держал ее — уже с большим животом! — на ногах. Она теряла сознание, падала, ей давали понюхать нашатырь — и снова ставили у стены. Этого протокола она так и не подписала. Приговорили ее к пяти годам ссылки в Кокчетавскую область. Беременность протекала крайне неблагополучно, что было выявлено тюремными врачами, но Наташу, вместо того, чтобы держать до родов в больнице, отправили в дорогу; после месяца, проведенного в тяжелейших условиях этапа, она в первый же день по прибытии к месту ссылки родила мертвого ребенка.

Еще и теперь случается иной раз слышать разговоры, что при Сталине, мол, было больше порядка; или что были лучше продукты; или что была дешевая водка. В таких случаях мне всегда вспоминаются слова Некрасова: *«Была капель великая, да не на вашу плешь...»*

В один из дней мы вернулись с прогулки по тюремному двору — в камере сидела и плакала средних лет женщина. Было видно: только что с воли. Когда мы вошли, она подняла голову, оглядела нас и, указав на меня, воскликнула:

— Боже! Уже и школьников сажают!

Я вступилась за советскую власть:

— Ничего подобного! Школьников не сажают, я — студентка!..

Наступил май, в камере было невыносимо душно, еще сильнее смердила параша.

Медленно тянулись бездельные дни, привычными делались тюремные порядки, однообразие быта становилось все более тягостным.

Ни единая ночь не проходила спокойно. Иногда кого-то будили на допрос (от лязга замка просыпались все). Часто просыпались по моей вине.

По тюремным правилам, заключенный во время сна обязан держать руки поверх одеяла. «Почему?» — спросила я у сокамерниц. Мне ответили с усмешкой: «Чтобы ты себе вены тайком не вскрыла».

Всякий раз с вечера я добросовестно выпрастывала руки наружу. Неудобно, неуютно — никак не заснешь (к тому же отбой давался в непривычно для меня ранний час). Но стоило задремать, как я непроизвольно натягивала одеяло на плечи. Скрежетал замок, надзиратель тряс мою кровать:

— Руки!

Молодой сон крепок, я, хоть и чувствовала раскаяние, что из-за меня разбудили всех, снова мгновенно засыпала; другие, как утром

шептала мне Наташа, долго ворочались и досадливо вздыхали. Но вот все заснули.

– Руки!

Поднимали нас чуть свет, говорили (хотя часов ни у кого, естественно, не было): в шесть. Для меня такое раннее вставание – мұка, потом весь день хотелось спать, но это строжайше запрещалось, даже лежать было нельзя – только сидеть на койке. А сидеть целый день, особенно после ночного допроса, очень трудно: так и тянет прилечь. Правда, старожилы знали, когда можно вздремнуть хоть несколько минут. Был известен характер каждого из надзирателей и надзирательниц, у каждого было свое прозвище. Иной раз кто-нибудь с утра говорил:

– Ура! Сегодня дежурит Амалия.

Это означало, что можно наконец отоспаться или почитать лежа: Амалия если и поглядит в глазок, то пройдет мимо.

Самой вредной была молодая румяная деваха с крутой шестимесячной завивкой. Будучи среднего роста, она почему-то прозывалась Шура-Дура-Выше-Всех. У этой, бывало, днем не поспишь и не полежишь. Однажды она нас насмешила.

Тоня плохо себя чувствовала и прилегла. С грохотом вламывается Шура-Дура.

– Встаньте! Лежать на койке не положено!

Тоня покорно села на кровати. Но как только за Шурой закрылась дверь, снова легла.

Открыв дверь с еще большим грохотом, Шура заорала:

– Встаньте! Вы что, порядка не знаете?! Первый раз в тюрьме?!

Понятное дело, она хотела сказать: *первый день*.

Но Тоня, словно не заметив оговорки, ответила подчеркнуто кротко:

– Первый раз.

Мы дружно захохотали, Шура пулей вылетела за дверь.

– Не ложитесь, Тонечка, – попросила Мария Александровна, – а то она нажалуется старшóму – еще, пожалуй, форточку закроют...

Закреть форточку – мера наказания – за провинность одного – всей камеры.

День в камере начинается с оправки – коллективного посещения уборной. Оправка происходит дважды (второй раз вечером) и обставлена неким ритуалом. Сначала надзиратель предупреждает:

– Приготовиться к оправке! – и уходит.

Значит, уборную заняла другая камера, следующие на очереди – мы. Выстраиваемся перед дверью парами. Дверь открывается вторично: можно выходить.

Передняя пара — дежурные — берут за ушки наполненный бак, и вся процессия медленно (чтобы не расплескалось) и поэтому вроде бы торжественно направляется в торец коридора. Я смотрю на двери камер, из-за которых в коридор не доносится ни малейшего звука, и гадаю, за которой из них Гайра (говорили, что наш этаж — сплошь женский, и другого такого на Лубянке больше нет). У двери уборной надзиратель вручает каждой из нас по крошечному кусочку бумаги и запирает за нами дверь.

Это лучшие минуты дня — безнадзорные, без глазка в двери*.

Оправка длится минут десять, за это время надо успеть: сделать необходимое, умыться как можно пространнее (ходила шутка: *до пояса сверху и до пояса снизу*), притом, что вода была только холодная, а также постирать кое-что из мелочишки (это было запрещено, но стирали; более крупные вещи стирали — хотя это тоже запрещалось — в бане, куда водили раз в 10 дней).

После оправки — завтрак. Кружка горячей коричневой воды — то ли чай, то ли кофе, пайка черного хлеба, два или три кусочка сахара — дневная норма.

Куски сахара не совсем одинаковые по величине, дежурный тщательно раскладывает их на семь кучек, стремясь, чтобы они были более или менее равными. Для полной справедливости второй дежурный поворачивается к столу спиной, первый указывает на одну из кучек:

- Кому?
- Тоне.
- Кому?
- Зайке.

Каждый забирает свое — хочешь съешь сразу, хочешь — растяни до вечера.

Еще одно утреннее действо — обход старшего надзирателя (возможно, я путаю: может статься, какого-то другого начальства, помнится смутно, что иной раз их являлось двое-трое). В это время можно было обратиться с просьбой, к примеру, сказать, что тебе нужно к врачу или что ты *просишь иголку*. (Про иголку расскажу немного позже.)

Однажды я попросилась к зубному.

К врачу меня сопровождал совсем молодой, похоже, деревенский парень. По тому, как он цокал языком — старательно и неумело, как

* Глазок, по теперешнему утверждению моих знакомых, одновременно со мною сидевших на Лубянке, был, и женщины говорят, как они страдали от унижения, потому что в него то и дело заглядывали надзиратели. Я же и мысли не допускала, что глазком в такой ситуации пользуются, не замечала этого, вот и отложилось в памяти, что его не было.

надувался от важности, я поняла, что он новобранец, его роль ему внове – и явно нравится. Приведа меня в амбулаторию, он не стал дожидаться за дверью, а – видимо, по инструкции – зашел со мною в кабинет, встал возле зубоветчебного кресла и буквально – думаю, уже не по инструкции, а из протодушного любопытства – заглядывал мне в рот. Это было неприятно, я надеялась, что врач, немолодая хмурая женщина, одернет его, но она молчала. (Она и со мной не сказала ни слова, мне подумалось, что, наверное, у нее под халатом эмгэбэшная форма. Кстати сказать, и та врачиха – или медсестра? – которая иногда появлялась в камере вместе с надзирателем, смотрела на нас как-то враждебно.) Когда дошло до бормашины и я завыла, конвоир очень похоже меня передразнил и залился смехом.

– Тебе бы так! – сказала я минуту спустя; он продолжал веселиться до конца приема, когда же мы пошли «домой», внове преисполнился важности, грозно прикрикнул: «Руки назад!», опять старательно зацокал.

Впереди, за изгибом коридора, послышалось такое же цоканье. Тотчас мой конвоир открыл в стене дверцу и втокнул меня в узкий высокий короб – подобие вертикально поставленного гроба. Мимо ящика – было слышно – прошли двое: один стучал сапогами, другой шел словно бы через силу – шаги были грузные, шаркающие, наверное, конвоир вел старика. К врачу? На допрос? Кто он, этот старик?.. Почему-то я потом не раз вспоминала о нем, было его жалко.

Центральное событие дня, не считая обеда, – прогулка. Для нее не было установлено определенного времени, но право на прогулку соблюдалось свято: при любой погоде желающий отгуляет свои двадцать минут. Гуляли в небольшом глухом дворе, ходили кругами по стенке, в затылок друг другу. Часто в воздухе летали черные хлопья: где-то поблизости жгли бумаги.

Однажды не позвали на прогулку ни утром, ни днем, ни вечером. После отбоя мы, недоумеваая и ворча, улеглись на покой. Тут появился надзиратель и спросил с утвердительной интонацией:

– На прогулку не пойдете?

Пятеро отказались. Мы с Наташей ответили злорадно:

– Пойдем!

Он повел нас, но не во двор, а – впервые – на крышу.

Плоская крыша была огорожена глухим парапетом, мы не могли видеть, что творится внизу, но в небе стояло зарево от городских огней, до нас доносились гудки автомобилей, по площади, звякнув, проехал трамвай, немного погода – другой... Было ощущение, что мы попали на праздник; жаль, продолжался он всего двадцать минут.

Раз в неделю (или раз в десять дней – не помню) приходил библиотекарь, молчаливый сгорбленный старик, выдавал каждому по книге. Случалось, приносил что-то определенное – как-то ухитрялся запомнить просьбу, но чаще – что придется; потом мы обменивались книгами между собой. Как-то раз принес дотоле неизвестного мне Бориса Шергина, с наслаждением прочла «Поморщину-корабельщину». Вообще тюремная библиотека была очень хорошая, говорили, что состоит она по большей части из книг, конфискованных у осужденных в 30-е годы. Любопытно, что запреты на авторов, действовавшие на воле, на тюрьму не распространялись: могли принести Замятина или Мережковского, Бруно Ясенского или Пильняка. Самая толстая книга прочитывалась разом, до следующего библиотечного дня чтения обычно не хватало.

Всех разговоров, конечно, не переговоришь, но и они надоедали, тем более что некоторые темы повторялись по многу раз. Придумывались способы хоть как-то разнообразить нудные, монотонные дни.

Например, на утреннем обходе одна из женщин *просила иголку*. Днем за ней являлся надзиратель, отводил ее в бокс, давал иголку и два кусочка ниток – черных и белых, можно было подшить подол, затянуть прореху, пришить сделанную из хлебного мякиша пуговицу. Оставшийся обрывок нитки припрятывался: в камере – тайком – тоже что-то зашивали и пришивали. Потайные иголки делались из рыбьих костей (так называемый *рыбкин суп* давали на ужин ежедневно). Технология изготовления иголки проста: из корешка книги ногтями выдиралась железная скрепка, ею протыкалось ушко. Самодельная иголка служила недолго, поэтому добытая скрепка (ее не из каждой книги вытащишь, только из трепаной) тщательно сохранялась в тайнике – на случай шмона. Лиза умудрилась связать варежки на спичках (она одна в камере курила), пряжу сучила из сэкономленной ваты, которую выдавали по разрешению врача.

Нашей с Наташеей усладой были стихи: она мне читала свои; я стихов, к большому своему сожалению, никогда не писала, но знала много наизусть.

...Со школьных лет любимым моим поэтом был Маяковский: читала его буквально каждый божий день, поэмы «Хорошо» и «Владимир Ильич Ленин» помнила из строки в строку.

Однако, с полным доверием принимая лозунговую литературу и все другие виды искусства того же толка, одновременно я склонялась душой к истинной – гуманистической – культуре.

В первые послевоенные годы для нас – нескольких одноклассниц – наступило время великих открытий: симфонической музыки –

Чайковского, Бетховена, Грига; художников – Левитана, Нестерова, Врубеля, Ренуара; скульпторов – Паоло Трубецкого, Родена; по рукам ходили тома Хемингуэя, Олдингтона, Роллана, Бунина, Куприна; мы узнали Блока, Есенина, раннего Маяковского, Ахматову, Гумилева. Ахматову и Гумилева в ту пору не издавали, но еще попадались дореволюционные сборники их стихов, мы переписывали особенно полюбившиеся.

Новшество того времени – поэтические вечера поэтов-фронтовиков. Мы старались не пропустить ни одного вечера, на котором выступали Гудзенко, Межиров, Урин, Юлия Друнина, Вероника Тушнова. Вечера эти устраивались то в Политехническом, то в Комаудитории МГУ, то еще в каких-то залах. Две субботы в месяц двери Литературного института были открыты вечерами для всех желающих. Выступали студенты института, потом шло обсуждение их произведений, потом – уже в институтском садике – до самой ночи снова читались стихи... В Литинституте я впервые увидела и услышала совсем молодых тогда Солоухина, Коржавина, Елисева...

Наташе я читала стихи этих поэтов. И про себя первые дни в тюрьме все твердила строки Евгения Елисева:

Не найти дорог назад...

Правда, стихотворение было совсем о другом, но очень подходило под настроение:

Все, что стало вдруг ошибкой
Средь несостоящих забав,
Невеселую улыбку
Запечалило в губах...

Однажды, желая развлечь приунывших женщин, я предложила сплясать для них *восточный танец*. Получив согласие, накинула на плечи чью-то шаль, намотала на голову полотенце в виде тюрбана, отошла к параше (возле нее – у двери – было попросторнее) и принялась танцевать. Аккомпанировала себе, ударяя костяшками пальцев по доньшкуну зеленой эмалированной кружки, которая должна была изображать бубен.

Внезапно заскрежетал замок, в камеру вошел старший надзиратель, сопровождаемый Шурой-Дурой (наверное, она его и привела).

– Кто стучал?!

Все словно онемели.

...Позже мне объяснили причину бурного гнева старшбго: *они* очень боялись, что подследственные, по тюремной традиции, будут перестукиваться. Но сколько бы я тогда ни расспрашивала, никто не знал тюремной азбуки. Я решила, что эта традиция умерла, и это казалось вполне объяснимым: отпала надобность. В царских тюрьмах, бывало, сидели единомышленники, им было что сказать друг другу через тюремные стены; а если человек сидит *за анекдот* — зачем он станет стучать в соседнюю камеру?..

Так я думала тогда — и, оказывается, заблуждалась. Позже несколько человек уверили меня, что у них в камере перестукивались с соседями. Очевидно, так оно и было — иначе не влетел бы к нам с вытаращенными глазами старшбй...

— Спрашиваю, кто стучал?!

— Я.

— Ты? Кому?

— Никому...

— Как это — никому? Говори, в какую стену стучала?

Я испугалась: еще подумают, что справа или слева сидит мой *сообщник*, а черт его знает, кто там сидит, — может быть, шпионка!

...Это было в начале моего нового бытия, я еще не изжила убеждения, что хотя некоторых — например, всех в нашей камере! — посадили *случайно* (все та же пресловутая теория *щепок*), но в основном сажают *за дело*...

— Ну?

Старшбй ждал, надо было что-то отвечать.

— Не в стену; я стучала по кружке.

Он слегка опешил:

— Зачем?

— Просто так, — не слишком находчиво пришла на выручку Наташа.

Но он, не обратив на ее слова никакого внимания, сверлил меня взглядом.

Сказать правду: мол, танцевала, — не поверит. Да и кто это — нормальный — танцует в следственной тюрьме!..

Я стояла, потупившись, как двоечник у доски, вертела в руках свою злополучную кружку — и тут заметила на ее доньшке, там, где эмаль была отбита, рыжие пятна ржавчины. Меня осенило:

— Я отбивала эмаль.

— Это еще для чего?

– Ржавчину очистить. Видите, все дно проржавело. – Он не перебывал, я перешла в наступление: – Если нельзя – тогда замените мне кружку: еще отравишься тут у вас!

Он взял кружку, заглянул в нее, передал Шуре:

– Замените... А чтоб в другой раз не стучали – закройте им форточку!

Шура кинулась выполнять приказание, форточка как-то противно чавкнула, надзиратели удалились.

Вот так номер!

Прошло несколько томительных минут. Никто не проронил ни слова, никто, кроме Наташи, не смотрел в мою сторону. На сколько закрыли форточку? На сутки? На неделю?.. Казалось, что в камере ощутимо сгущается духота.

В молчании женщин чувствовалось осуждение: мол, зачем надо было валять дурака; кому – танцы, а кому – сиди теперь без воздуха...

Я и сама кляла себя за легкомыслие, сидела, подперши щеки кулаками, думала, чем помочь горю. И – придумала.

Дождавшись, когда шевельнулась закрышка глазка, встала и громко сказала:

– Раз так – объявляю голодовку!

– И я объявляю! – подхватила Наташа.

Сокамерницы, выйдя из своего молчаливого оцепенения, дружно принялись уговаривать нас не навлекать на себя еще больших бед. Но нас уже несло и мы решительно отклоняли все призывы к благоразумию.

Время между тем было предобеденное, очень хотелось есть. Я подседа на койку к Наташе, сказала шепотом, чтобы не услышали за дверью:

– Давай сначала наедемся как следует, а уж потом начнем голодать.

– Давай.

Дня за два до этого был *ларек*. Те, у кого на счету где-то там, в тюремной канцелярии, – лежали деньги (у меня – тянулись Минкины), те могли три раза в месяц купить кое-какие продукты (их приносили в камеру). Набор продуктов и их количество были регламентированы: сахар, сыр, копченая колбаса (все, насколько помнится, граммов по 300–400), белый хлеб, репчатый лук, мыло, папиросы.

Постоянно полуголодные, мы с Наташей почти все купленное съедали в первые два-три дня; в то утро у нас оставались батон хлеба и – главное богатство, его мы намеревались растянуть на неделю – полпалки колбасы.

Усевшись плечом к плечу (спинами к двери), мы разломали пополам батон и колбасу, проворно их сжевали, после чего со значением

поглядели в глаза друг другу, безмолвно давая клятву стойко держаться в предстоящих испытаниях.

Буквально через минуту вновь появились старший надзиратель и Шура. Шура поставила на стол новую кружку; старшой, обращаясь ко мне, сказал строго:

– Чтоб больше этого не было! – А потом Шуре: – Откройте форточку.

Мы с Наташей долго потом потешались друг над другом, а вся камера – над нами обеими.

В середине мая Мельников сообщил мне, что следствие по моему делу закончено. Он посадил меня за маленький столик и положил передо мной папку с протоколами всех моих допросов, предложив вновь с ними ознакомиться и в этом расписаться.

Меня изумила папка, в которую были подшиты протоколы допросов. Ничем не примечательная канцелярская картонная папка со словом «Дело», но в верхней ее части было оттиснуто: *Хранить вечно*.

– Ознакомилась? Расписалась? Ну, вот и все! Пока – все. Дальше будет прокурорский допрос, а потом – приговор.

Думаю, что глаза у меня сделались испуганными; Мельников ободряюще сказал, что, конечно, не может поручиться за решение суда, но предполагает, что все обойдется, в общем-то, благополучно: по 7-35 полагается высылка, так что я смогу закончить тот же пединститут, только на периферии.

– Не всем же в Москве жить, верно? – спросил следователь.

И я ответила совершенно искренне:

– Конечно...

В кабинете прокурора прежде всего в глаза бросился висевший над столом большой фотографический портрет Сталина, закуривающего трубку.

За столом сидел прокурор Дарон, возле него, почтительно склонившись, стоял Мельников, что-то тихо ему говорил, листал перед ним папку, видимо, мое «Дело».

Прокурор спросил, нет ли у меня претензий к следствию, ответила, что нет. Никакого *прокурорского допроса*, по существу, и не было, вся процедура длилась две-три минуты.

Теперь оставалось дожидаться приговора, после которого, по прогнозам сокамерниц, нас с сестрой, как они говорили, выпустят *за ворота*, дав перед высылкой несколько дней на сборы и предложив на выбор какие-нибудь из сибирских городов (так бывало в 20-е годы).

Каждый день я ждала: распахнутся *тюремные двери* (не дверь камеры, а именно какие-то неведомые тюремные двери), и некто торжественно провозгласит: «Выходите, вы свободны!»

И вот в камеру входит надзиратель:

— Кто на Вэ?

— Я.

— Фамилия.

— Веселая.

— Инициалы полностью?

— Заяра Артемовна.

— С вещами!

«Ага, вот оно, наконец-то! — думаю я с ликованием в душе. — Пусть не так торжественно, ну да ладно... Главное — *за ворота!* И с Гайрой сейчас увидимся!»

Распрощалась со всеми, расцеловалась с Наташей — и кинулась к двери.

Надзиратель завел меня в бокс на нашем этаже, и вскоре туда же вошла бледная сухошавая девушка. Решив, что мы оказались вместе лишь по чьему-то недосмотру, я быстро и тихо спросила:

— Из какой камеры?

— Из двадцатой.

— Не у вас ли Гайра Веселая?

— Ты — Заяра? Она все за тебя переживала... Неделя, как отправили.

— Куда?!

Девушка передернула плечами:

— Откуда я знаю? В лагерь, наверное, куда же еще...

— В лагерь?!

— А ты что думала? — спросила она почему-то неприязненно, почти злорадно.

Вскоре за нами пришел надзиратель; мы спустились во двор, где нас посадили в серый фургон с зарешеченной задней дверцей; на воле его называли *черный ворон*, а в тюрьме — *воронок*.

БУТЫРКИ

Воронок привез нас во двор Бутырок.

Войдя в тюрьму, мы попали в просторный вестибюль с кафельным полом и рядом дверей по бокам. Двери были расположены близко одна от другой, арестантская смекалка подсказала, что это — боксы. Меня завели в один из боксов, расположенных по левой стене.

Не могу сказать, как я провела остаток дня и часть ночи: какой-то удивительный — полнейший! — провал в памяти; видимо, велико оказалось потрясение: против ожидания очутиться не *за воротами*, а в другой тюрьме с перспективой лагеря!..

Дальше — помню. Отворилась дверь, пожилая надзирательница сказала мягко, словно больничная нянечка:

— Идем, я тебя в камеру отведу.

— Который час?

— Четыре, начало пятого.

Из вестибюля мы попали во внутренний дворик. На деревьях чирикали какие-то мелкие птицы. Светало, было по-утреннему прохладно, остро пахло зеленым. То ли клумба была посредине дворика, то ли деревья посажены в кружок, во всяком случае, мы прошли — от двери к двери — по дуге, огибая центральную часть двора, я успела несколько раз вдохнуть свежего воздуха. Удивилась: какие большие листья на деревьях! Когда в последний раз видела дерево, едва наклеивались почки...

Мы поднялись на второй этаж. В отличие от Лубянки (я невольно сравнивала), где был глухой коридор, коридор Бутырок отчасти напоминал школьный: по левую сторону — ряд дверей, по правую — ряд широких окон. Отметила и такое отличие: надзирательница не цокала языком, а постукивала ключом по ременной пряжке. Мы с нею прошли по коридору, и она впустила меня в дверь под № 93.

В свете занимавшегося дня, проникавшего через два забранных намордником окна, я увидела большую камеру с кафельным полом, высоким потолком. Не знаю, сколько узников должно было помещаться в камере по замыслу архитектора, — в то утро в ней находилось не менее полусотни женщин. Они спали вповалку на дощатых — с матрасами — настилах, сделанных — от окна до двери — по обе стороны довольно широкого прохода, где стоял стол. Все женщины лежали лицом к окну, лежали так тесно, что повернуться на другой бок могли только одновременно.

Когда я вошла, многие, приподнявшись на локте, обернулись к двери.

Я стояла со своим узлом в растерянности: даже присесть было некуда. И тут услышала:

— Зайка!

— Гайра!

Не буду описывать нашу встречу: как говорили в старину, *перо выпадает из рук*.

По тюремному обычаю, мне — новичку — полагалось место у *параши*. Но тут был особый — всех умиливший и растрогавший — случай,

и я втиснулась между Гайрой и Майей Петерсон. За неделю, проведенную в этой камере, они успели переместиться от параша почти к самому окну.

Майя Петерсон до ареста училась на третьем курсе МГУ, изучала древнегреческую филологию. Взяли ее за отца — бывшего коменданта Кремля.

Нина Златкина — вот уж воистину в чужом пиру похмелье — сидела по 7-35 за неродного дядю, теткингого мужа, правда, этим дядей был Рыков.

И Майю и Нину арестовали в ту же ночь, что и нас с Гайрой. Поначалу это показалось простым совпадением. Но вскоре встретились нам и другие арестованные *дети*. Никто из них не был взят ранее 23 апреля, видимо, эта акция началась именно той ночью.

На Лубянке ни малейшего шума не допускалось; в бутырской камере с утра до ночи стоял невообразимый гвалт. В одном углу просто болтали, в другом кто-то рассказывал про свою несчастную жизнь, в третьем смеялись над анекдотом: если в следственной тюрьме многие, опасаясь *наседки*, осторожничают, то теперь, что называется, отводили душу.

Иной раз недавняя студентка Московской консерватории по нашей просьбе соглашалась спеть; голос у нее был чудесный. Тогда смолкали все разговоры. Теснило грудь от пророчества Марфы: *Тебе угрожает опала и заточение в дальнем краю...*

В Бутырках на меня обрушилась лавина новых впечатлений, и в первые дни мне нравилось многолюдство камеры, но вскоре оно стало в тягость. Все, понятное дело, пребывали в нервном напряжении, временами возникали мелкие стычки. Правда, до крупных ссор и скандалов себя не допускали — возможно, из солидарности (понимали, что у каждой горе), возможно, из чувства самосохранения: не хватало, чтобы мы перегрызлись между собой!..

Как ни странно, но не знаю случая, чтобы кто-нибудь в камере плакал; преобладало — во всяком случае, внешне — состояние не угнетенное, а возбужденное; подчас всех охватывало веселье (видимо, истерическое), тогда радовались каждой, самой незамысловатой, остроте, шутили, подтрунивали над другими и над собой.

В нашем кружке бурное веселье вызвал рассказ Майи об ее аресте. Незадолго перед тем она вышла замуж за однокурсника. После случившегося с нею муж от нее отрекся. Разумеется, насмешило нас не это, а то, что Майка, когда ее уводили из дома, воскликнула: «За что?!»

Нам — да и самой Майке, — уже умудренным опытом, этот вопрос представлялся в высшей степени наивным и неуместным, а потому

смешным. С тех пор за *что?* слышалось по разным поводам — порвался ли чулок или во время прогулки хлынул дождь.

Сидело в камере несколько молодых смазливых девиц. У них была та же статья 7-35, что и у нас, студенток. *Социально опасными* эти девицы считались по причине интимных связей с иностранцами.

...Так что лубянская тетка, заподозрив при виде капроновых чулок, что я гуляла с американцем, не с потолка, оказывается, взяла свое предположение...

(Пару лет спустя один бывший лагерник обратил внимание на шрам у меня на горле. Шрам — след фурункулов, мучивших меня в тюрьме. Парень, узнав от меня *по какой статье* я судима, спросил, полоснув себя по горлу пальцем: «Нож?»)

Девицы решительно отказывались признать себя проститутками, каждая рассказывала историю трогательной любви к какому-нибудь Фреду или Отто. Я им верила безусловно: ведь проституция была только в царское время, — что за дикий поклеп! Одна из них производила впечатление интеллигентной девушки, остальные были очень уж примитивны, и истории у них были соответственные; я скоро потеряла к ним интерес. Держались они стайкой, у них были свои разговоры, свои шутки. Так, у одной девицы было полотенце с вышитым цветными шелками изречением: *Кого люблю — тому дарю*. Однажды, когда девица среди дня заснула (лежать и спать разрешалось сколько угодно), ее подруги, давясь от смеха, спорили букву *p*.

Прогулки в Бутырьках по сравнению с Лубянкой были более вольными: мы не вышагивали кругами, а просто толклись во дворе, грелись на июньском солнышке.

Книги нам давали, но в таком шуме и постоянном мельтешении читать было почти невозможно.

В Бутырьках принимались передачи и деньги. Минка носила передачи и мне, и Гайре, передала нам деньги.

Мы с Гайрой строили различные предположения насчет своего будущего. Лагерь, как мы все-таки надеялись, нам не угрожает. Но и про то, чтобы выйти *за ворота*, уже не мечтали: было очевидно, что для этого нас незачем было переводить в Бутырки: ворота есть и на Лубянке. Склонялись к мысли, что после того, как мы выберем себе место ссылки (почему-то надумали выбрать Иркутск), нас отправят туда — видимо, на определенный срок — прямо из тюрьмы, так сказать, — *на казенный счет*.

Что касается срока... К тому времени я как-то свыклась с мыслью о *трех годах*, возможно, потому, что именно на три года посылали на работу молодых специалистов по окончании вуза, и мы тоже – в перспективе – были к этому готовы в своей прошлой жизни.

Нас – человек десять, в том числе Гайру, Майку, Нину и меня – вызывают *с вещами*. Наконец-то!

– На приговор, – говорят остающиеся. – Ни пуха ни пера!

– К черту!

Мы спустились в вестибюль, нас всех заперли в одном из боксов, после чего стали по очереди выводить для объявления приговора.

Разумеется, я не рассчитывала увидеть судью в мантии и белом парике, но все же представлялось, что объявление *приговора* (!) будет обставлено как-то торжественно.

Ничего подобного. В небольшой комнатухе (чуть ли не в боксе) офицер-эмгэбэшник прочел по бумажке, что решением Особого совещания я признаюсь виновной по статье 7-35 и приговариваюсь к ссылке в Новосибирск сроком на 5 лет.

Меня словно ударили дубиной по голове.

Новосибирск – ладно: в конце концов, что Иркутск, что Новосибирск – для меня большой разницы нет (правда, слегка кольнуло, что не дали *права выбора*).

Но срок! Не три, а целых пять лет!

В ту минуту я не вспомнила о матери, отбывающей десять лет (не ссылки – лагерей!). *Мои пять* оказались мне за пределами мыслимого.

...Позднее у меня было много времени для воспоминаний и размышлений, я старалась понять, почему как катастрофу восприняла объявленный мне срок.

В общем-то, это объяснимо. Вся моя сознательная жизнь, не считая совсем уж детских лет, пришлось на 40-е годы – война, старшие классы школы, институт – менялась только последняя цифра. 1954 год – это, как мне тогда представлялось, будет уже какая-то *другая эпоха*...

После приговора отвели не в прежний бокс, а в соседний.

Следом пришла Майка:

– Пять лет, Новосибирск.

Потом Нина:

– Пять лет, Новосибирск. А у вас?

– То же самое. Одно хорошо: по крайней мере, будем все вместе.

Последней пришла Гайра:

– Пять лет, Караганда.

– Караганда?! Мне – Новосибирск...

– ?!

Что это – случайность: тот, кто выносил приговор, не обратил внимания на то, что мы – сестры? Или же преднамеренное ужесточение нашей участи?

Нас отвели в другой тюремный корпус, в небольшую, возможно, одиночную камеру, поместили там впятером; на ночь в проходе между кроватями ставилась обычная дачная раскладушка.

Мы с Гайрой сразу же написали заявление на имя министра МГБ Абакумова, просили заменить Гайре Караганду на Новосибирск.

Однако через два или три дня нас, ничего не меняя, отправили к местам ссылки.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

По тюремной терминологии про заключенных, отправляемых под конвоем из одного пункта в другой, говорится, что их *взяли на этап*.

Наш первый этап: Бутырки – Куйбышевская пересыльная тюрьма (до Куйбышева мы ехали вместе с Гайрой).

Воронок, в котором нас везли на Казанский вокзал, был набит настолько плотно (в кабинках сидели, в коридорчике стояли), что нам с Майкой физически не хватило места. Конвоиры, которым полагалось помещаться по обе стороны задней зарешеченной дверцы, были вынуждены примоститься вдвоем на одном сиденье, предоставив другое нам с Майкой. Таким образом мы получили неожиданную и счастливую возможность бросить прощальный взгляд на московские улицы.

При подъезде к Комсомольской площади воронок остановился перед светофором. Гляжу, по краю тротуара идет Володя Котов – студент старшего курса нашего института (мы учились неподалеку, в Гавриковом переулке), идет не спеша – и ест бублик. Обрадовалась ему, как родному, хотя были мы едва знакомы. Первое побуждение – окликнуть (зарешеченное окошко, по жаркому времени, было без стекла). Но тут же возобладала здравая мысль: вряд ли человек обрадуется, если его окликнут из нутра черного ворона!..

Всегда – до того самого дня – полагала, что вагон с решетками на окнах в голове каждого пассажирского поезда – вагон почтовый. Оказалось – не почту в нем перевозят, а заключенных, и называется он *вагонзак*, а еще – *столыпинский*.

Вагон — обычный плацкартный, но переоборудованный: в купе вместо окна — маленькое оконце на уровне верхних полок, каждое купе отгорожено от коридора решеткой. Один конвоир, прохаживаясь по коридору, имеет возможность наблюдать сразу за всеми. Не знаю, сколько нас затолкали в вагон (в других купе ехали мужчины), в нашем — женском — было человек двадцать.

Когда поезд тронулся, я попыталась настроиться на минорный лад — как-никак знаменательный момент: разлука с Москвой! Но мне это не удалось: было тесно, душно, Нина корчилась и стонала (у нее больные почки, как раз начался приступ), какие-то бабы на верхней полке матерились, несколько мужских голосов требовали от конвоира, чтобы тот скорей начал выпускать в уборную. (Когда дошла очередь до нас, оказалось, что дверь в уборную надлежит оставлять нараспашку; против нее, у окна, помешался конвоир.)

Ехали, как мне казалось, очень медленно и долго (безусловно, ехали как положено: ведь это был обычный пассажирский поезд). Наконец остановились у большого вокзала, кто-то прочел:

— Куйбышев!

— Самара, — сказала Гайра, как истая волжанка. В детстве она не раз бывала тут с отцом, это его родной город.

КУЙБЫШЕВ

Куйбышевская пересыльная тюрьма. Несколько длинных деревянных бараков. Внутри — дощатые голые нары в два яруса. Нам досталось место внизу. По доскам над головами клопы бегали даже при свете дня, но пол в бараке был идеально чист; некрашенный, он ежедневно оттирался голиком с песочком и отмывался до матовой желтизны, как стол у хорошей деревенской хозяйки. Глядя на этот пол, я с ужасом думала, что когда-нибудь наступит день и моего дежурства...

В бараке мы присоединились к москвичам, которых Гайра и Майка знали по бугырской камере.

Вспоминаю двух из них: Инну и Софью Сергеевну.

Инна Гайстер, студентка последнего курса физфака МГУ, была одногос с нами «набора»: ее отец А. И. Гайстер, вице-президент ВАСХНИЛа, был расстрелян в 37-м. За ней тоже пришли в ночь на 23 апреля, но она — дело было накануне защиты диплома — ночевала у подруги. Днем состоялась защита, после чего Инну вызвали в отдел кадров, где молодой человек в штатском, присутствовавший на защите, поздравил ее и попросил пройти с ним. Предположив, что дело касается

бывшего накануне распределения, Инна, радостно возбужденная удачной защитой, вышла с ним на улицу. Беседуя (спутник вспоминал хвalebные отзывы профессоров), они не спеша пошли по Манежной в сторону Дома союзов. Расстались в приемной МГБ на Кузнецком мосту, где другой молодой человек предъявил Инне ордер на арест.

У Инны и Наташи Запорожец был общий следователь. С Инной Макаренко держался очень любезно, ведь ему не нужно было добиваться от нее показаний: она, разумеется, не отрицала, что является дочерью своих родителей. Как-то раз во время допроса следователь внезапно принялся консультироваться с Инной по работе Сталина «Марксизм и национальный вопрос», видимо, готовился к политзанятиям. Инну приговорили к пяти годам ссылки в Кокчетавскую область.

...В Куйбышевской пересыльной тюрьме Инна пробыла дольше всех нас: куда-то задевались ее документы. Там, на несчастье, пришлось ей увидеть страшную расправу трех уголовниц над их же товаркой, которую, заподозрив в фискальстве, они на глазах у всего барака до смерти забили оловянными мисками...

Софья Сергеевна поразила мое воображение тем, что в молодости была знакома с Маяковским. Время от времени мы с ней читали наизусть его стихи.

Она была из так называемых *повторников*. Потом я встречала их во множестве, но тогда впервые узнала о такой категории ссыльных.

Отсидел человек с 37-го года свои 8 или 10 лет, вышел на свободу, но при этом он непременно получал *минус*. Это означало, что ему не разрешается жить в Москве (и других крупных городах, каких именно — точно не знаю, но нетрудно догадаться). Не имея возможности вернуться домой, к семье, мало кто уезжал в далекие края, как правило, человек оседал где-нибудь поблизости, но не слишком-то и близко: ему позволялось обосноваться за 101-м километром.

Не могу тут не вспомнить дядю Борю.

Был у меня дядя — муж родной маминой сестры Марии — Борис Львович. Приехав в Москву в начале 20-х годов, учился на рабфаке, потом в вузе, до 37-го был инженером-электриком, в том году был объявлен шпионом — то ли немецким, то ли японским. Можно вообразить, насколько удалось обосновать обвинение, если ему — шпиону! — дали тот же срок, что давали *женам*, — 8 лет (зубы ему на допросах все же повыбили). В лагере он заработал язву желудка и потерял

остатки зубов. Освободившись, поселился в Александрове (тетю Маню не тронули, она жила в Сокольниках, там же всю жизнь работала в районной библиотеке). Поступить на работу по специальности дяде Боре не удавалось, даже электромонтером его не брали, опасаясь с его стороны *вредительства*. Долгое время они делили на двоих (сын Ляся погиб на фронте в первые дни войны) нищенское теткино жалованье. Наконец дяде Боре повезло: он устроился истопником в какую-то котельную, получал сушии гроши; чтобы не тратиться на жилье, обитал в той же котельной – в подвале без окна. Раз в месяц он приезжал в Москву, при этом у него, тихого и робкого по натуре, да еще навек запуганного, было, как я полагаю, ощущение, что он переходит государственную границу. Переночевать у жены он не смел: она жила в коммуналке, оба панически боялись соседей, дома старались не засиживаться, а, наскоро перекусив, шли гулять в Сокольники. Я видела их на прогулке: дядя Боря односложно отвечал жене, больше помалкивал, смотрел вокруг, сияя голубыми выцветшими глазами, потаенно улыбался беззубым ртом – блаженствовал. Пробыв в столице несколько часов (и ни на миг не забывая, что в то время, как он тут наслаждается жизнью, в Александрове его, может быть, уже хватились), дядя Боря возвращался восвояси – до следующей отважной вылазки в Москву. И так – годами... Умер он в Москве, вскоре после реабилитации, успев все-таки какое-то время пожить дома (в той самой коммуналке с недоброжелательными соседями). После его смерти мама обзванивала своих знакомых – некому было нести гроб...

В 49-м году многих бывших лагерников снова посадили в тюрьмы и – без всяких обвинений, только на том основании, что они уже *отбывали срок*, – приговаривали *повторно*, на этот раз к ссылке, без указания срока, *до особого распоряжения*.

Вот этих ссыльных и называли повторниками.

Два года спустя прежняя неопределенная формулировка *до особого распоряжения*, позволявшая повторникам надеяться на благоприятные перемены в их судьбе, была заменена (о чем их официально известили) на не оставлявшую никаких надежд: *навечно*.

Помню, уже будучи в ссылке, я выразила сочувствие знакомому повторнику, мол, какой кошмар – *навечно!*..

На что он, не казавшийся, к моему удивлению, удрученным, ответил: – Заяра, не переживайте: на свете нет ничего вечного. – И повторил с нажимом: – Ни-че-го!

Я поняла его намек – и была потрясена: всё сущее представлялось мне абсолютно незыблым, именно *вечным*...

В Куйбышеве мы оказались вместе с *бытовиками* (осужденными по так называемым бытовым – в отличие от политической 58-й – статьям), были среди них и уголовники. Встречались *указники*: в 47-м году вышел указ, предусматривающий уголовное наказание за мелкое хищение государственного имущества. Говорили, что кто-то получил срок за катушку ниток, кто-то – за пару горстей ржи, унесенных с колхозного поля.

Как только мы устроились в бараке, к нам с Гайрой подвели две девицы из бытовичек.

– Откуда, девочки? – спросили они.

– Из Москвы.

– А на какой улице жили?

– На Арбате.

Почему-то это привело их в восторг:

– Правда?! Не врете?

– Чего нам врать! Жили в Кривоарбатском переулке. А что?

– Да так...

Оказывается, им случалось бывать в Москве, и теперь они устроили небольшой экзамен, который мы с честью выдержали: нам ли не знать, как называются арбатские киношки!

Результат этого экзамена был самый неожиданный: убедившись, что мы действительно с Арбата (дался им Арбат!), одна из них сказала:

– Подойдет ваше дежурство – вы за полы не беритесь, мы за вас вымоем.

– Вот спасибо!

...На пересылке я впервые услышала тюремные песни.

Гадалка с картами...
Дорога дальняя,
Дорога дальняя,
Казенный дом...

Чаше других пели «Таганку» и надрывную «Не для меня придет весна...» Эта песня с ее заунывным, но и каким-то бесшабашным мотивом, наивными словами («а парень с серыми глазами – он будет жить не для меня») воспринималась едва ли не трагически, как прощание с прошлым...

Начался июль, стояло очень жаркое лето. По счастью, прямо против нашего отсека общих нар располагалось широкое окно с решет-

кой, но без намордника и без стекол; через него, особенно по ночам, к нам лился свежий воздух. Больше всего радовало отсутствие намордника; лежа на нарах, я подолгу смотрела на проплывающие облака, вечером любовалась освещенными окнами: за тюремной оградой виднелась крутая гора, а на горе — два жилых дома, покрашенных светло-желтой веселенькой краской, один немного — на этаж или на два — выше другого. По вечерам в окнах домов зажигались разноцветные огни (в моде были шелковые абажуры), самих домов в темноте не было видно, казалось, огни висят в воздухе.

...Я побывала в Куйбышеве два десятка лет спустя; на этот раз как дочь Артема Веселого была почетным гостем на открытии Куйбышевского литературного музея. Встречалась с людьми, знавшими отца, записывала их воспоминания, просто гуляла по незнакомому городу.

Захотелось взглянуть снаружи на пересыльную тюрьму. Адреса и местоположения, естественно, не знала, заговаривать с прохожими: мол, как пройти к тюрьме? — было неловко, стала искать, приняв за ориентир высокую гору с двумя приметными домами наверху. И нашла! Отыскались, правда, только дома на горе, что же касается тюрьмы, то ее, как мне сказали, давно снесли, на том месте построили гостиницу «Волга», в ней-то я как раз и жила!..

Еще в начале нашего пребывания на пересылке Нина упомянула мельком, что в Куйбышеве у нее есть дальние родственники: семейная чета, оба — преподаватели вуза. Кормили нас — даже по тюремным понятиям — очень плохо, и Нина все чаще стала вспоминать о местных родственниках. Не знаю, каким образом ей удалось связаться с кем-то из вольнонаемных и послать через него записку родственникам с просьбой передать ей что-нибудь из еды. Дальше события (за которыми все мы с интересом следили: все-таки случай из ряда вон — нелегальная связь с волей!) развивались так. По-видимому, родственники испугались явиться с передачей в тюрьму и тем самым обнародовать свою принадлежность к одиозной фамилии. Не откликнуться на просьбу они, по доброте душевной, не могли — и передали продукты с посланцем. И вот у Нины в руках неопрятный сверток, а при нем *список вложения*. На клочке бумаги вкривь и вкось выцарапано чернильным карандашом: «Силетки — 2 шт. Канфетки — 200 граммов» — и еще что-то в том же духе. Нина схватилась за голову:

— Теперь этих несчастных родственников — от моего имени — будут доить и доить... Когда мы приедем на место и я смогу написать им? Что я наделала!

Мы ее утешали, что напишет скоро: нас вот-вот должны были взять на этап – минуло две недели, как мы сюда приехали.

У меня было двойственное чувство. С одной стороны, хотелось скорее добраться до Новосибирска. Меня занимала проблема: поступить ли в Новосибирском пединституте сразу на третий курс – тогда придется сдавать все весенние зачеты и экзамены (что мне, честно сказать, не слишком-то улыбалось), или – уж так и быть – потерять год и начать опять со второго? С другой стороны – страшила разлука с Гайрой. Мы условились, что спишемся через тетю Аню – младшую мамину сестру (тете Мане мы писать не хотели, опасаясь за судьбу дяди Бори; Минкиного адреса я не помнила).

И вот наступил день нашего с Гайрой расставания.

Отправляемых в Новосибирск вывели во двор, остальных заперли в бараке.

Нас стоймя поставили («плотнее, плотнее, еще плотнее!») в кузовы закрытых брезентом грузовиков и повезли на вокзал:

ЭШЕЛОН

Под погрузку – не на вокзале, а где-то в стороне, на запасных путях, – был подан эшелон, состоящий из товарных вагонов (впрочем, не знаю, возможно, охрана размещалась в пассажирских, наш вагон был в хвосте, всего состава я не видела).

В вагон запускали по алфавитному списку. Я была третьей. Два лучших места – у окошек на верхних нарах, – разумеется, оказались заняты. Говорю *верхних* в том смысле, что были они высоко расположены, нижних нар не было вовсе; тем, чьи фамилии начинаются на дальние буквы алфавита, придется располагаться на полу.

Я заняла третье от окна место, оставив второе для Майки.

С этого времени – и до конца сибирского периода моей жизни – мы с Майкой были неразлучны, поэтому, когда в дальнейшем буду говорить просто *мы*, это означает: мы с Майкой.

Нина предпочла остаться внизу: с ее больными почками было бы трудно взбираться на нары.

Долго стояли с задраенной дверью, изнывая от жары, тронулись только поздно вечером. Очень скоро проявилось одно крайне неприятное обстоятельство. В вагоне не было параша, вместо нее в стене, противоположной двери, было проделано узкое отверстие, в него, слегка наклонно кнаружи, был вставлен деревянный желоб из трех неструганных дощечек; что касается воды для слива, то мы, постоянно мучимые жаждой, получали по кружке во время больших остано-

вок. Какой уж тут слив! *Попасть* в желоб на ходу поезда, когда вагон мотало из стороны в сторону, было цирковым номером, он редко кому удавался. Можно себе представить, во что превратился пол в радиусе метра от желоба в первые же два часа пути (нас в вагоне было человек сорок), а наш путь продолжался десять суток. Зловонное пятно на полу расплзлось все дальше и дальше, и уже некуда было отодвинуться от него тем, кому досталось место на полу.

Мы, обитатели верхних нар, были, безусловно, в лучшем положении, чем люди внизу, хотя и нас донимала вонь. Кроме того, крыша, до которой можно было лежа дотронуться рукой, раскалялась за день, как железная печка.

Справа от меня *жила* Майка, слева — три монашки (так их все называли). Две средних лет довольно безликие женщины и старушка — улыбчивая, суетливая, с очень приятным и добрым лицом — баба Степанида. Не знаю, были ли они на самом деле монахинями; о себе говорили неохотно и невнятно, мол, страдаем за веру, одеты были во все черное, порой что-то сосредоточенно шептали, наверное, молились. От скуки я попросила бабу Степаниду научить меня какой-нибудь молитве, она радостно согласилась, и вскоре я, к ее удивлению и удовольствию, без запинки знала «Отче наш».

Однажды я надумала *перевоспитать* монашек и бодро сообщила им, что Бога нет.

— Как же нет? — возразила баба Степанида и, хитро улыбаясь, выставила в защиту Бога неопровержимый аргумент: — Тогда откуда гром, откуда молния?

Я растерялась перед таким дремучим невежеством, принялась было что-то путано объяснять про природные явления, а также рассуждать о религии, но при этом, неожиданно для себя, обнаружила всю глубину собственного невежества. Коротко говоря, я еще раз убедилась в справедливости поговорки: *не зная броду — не суйся в воду*.

От бабы Степаниды услышала народное присловье, потом оно не раз мне вспоминалось: *Попала лиса в капкан — гляди на небо!*

Мне бы расспросить бабу Степаниду о ее жизни — давней и недавней... Но тогда судьба старухи-монашки ничуть меня не занимала.

Эшелон не столько ехал, сколько стоял на запасных путях. Иной раз, когда становилось совсем невмоготу, я просила женщину у окошка пустить меня *подышать*; тогда мы ненадолго менялись с нею местами.

Окошко почти под самой крышей представляло из себя небольшое — с современную форточку — прямоугольное отверстие. Стекла

в окне не было, а вместо решетки — две железные полосы, прибитые крест-накрест с угла на угол.

Однажды мы стояли на какой-то станции. Я сидела у окна. По соседнему пути с востока медленно — тормозя — двигался поезд. Когда он остановился, прямо против меня оказалось окно пассажирского вагона. Сначала я увидела свертки с едой и бутылку фруктовой воды на столике. В окне показалась женщина; заметив меня, она что-то сказала в глубину купе, и тут же к стеклу приникли еще две женщины и мужчина. Они смотрели на мое окошко с каким-то боязливым любопытством, видимо догадываясь, что в эшелоне — заключенные. Дурачась, я трагически изломила брови, закусила губу и вцепилась пальцами в железные полосы. Мужчина что-то сказал (верхняя часть их окна была открыта, но слов не разобрать), выражение лиц у женщин сменилось на откровенно жалостливое. Грешно потешаться над людским сочувствием, но я ощутила мстительное удовольствие, что хоть на миг (наш состав уже тронулся, окно с лицами отодвинулось) смутила покой счастливых, едущих в противоположную, нежели мы, сторону, может быть, в Москву!..

В окно, даже со своего постоянного места, я смотрела с утра до ночи. Виды открывались один лучше другого, а после глухих стен камер и тюремных дворов картины природы воспринимались бы с особой радостью, если бы не ржавые железные полосы, черные против света, которые как бы перечеркивали все, что виделось за окном.

В этом вагоне впервые в жизни я сочинила стихотворение.

Один из его вариантов:

С верхних нар смотрю за окошко,
Забывая про голод и жажду,
Но всё, на что ни посмотришь,
Перечеркнуто дважды:
Лес — и закат над лесом,
Небо, тропинка во ржи...
Крест-накрест ржавым железом
Перечеркнута жизнь.

НОВОСИБИРСК

Мы гадали, как в Новосибирске произойдет наш переход из заключенных в ссыльные. Отпустят ли нас прямо с вокзала? Или же прежде отвезут в местное отделение МГБ и уж там вернут паспорта и студенческие билеты, отобранные при аресте?..

Выгрузка проходила тем же порядком, что и погрузка: на запасных путях и по алфавиту. Было велено строиться в колонну по пять человек в ряд. Я — третья по списку — оказалась в первом ряду колонны; к женскому вагону сзади пристраивались мужчины.

Оглянувшись на Майку, я заметила возле одного из вагонов людей в серо-зеленых мундирах.

Немцы!

До этого, не считая кино, я видела немцев только однажды, в тот день, когда пленных гнали через Москву.

Немцы мгновенно построились по пять в ряд, после чего их, проведя мимо нашей колонны, поставили впереди нее.

Средний немец в последней шеренге оказался непосредственно передо мной — хоть ладонью ему в спину упрись.

Нам объявили: *шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой стреляет без предупреждения.*

Мы двинулись — сначала вдоль путей, потом мимо каких-то складов, потом — по улицам города.

... Два раза в жизни мне хотелось — в самом прямом смысле слова — провалиться сквозь землю.

Во второй раз это было в июне 1953 года. Я вернулась в Москву по амнистии, после короткого праздника подступили будни, стала устраиваться на работу — машинисткой или счетоводом. Ежедневно обходила я контору за конторой по их объявлению «Требуется...» Меня нигде не брали.

Стоило мне сказать, что вернулась из ссылки — а я сообщала об этом с порога, — как кадровик тут же вспоминал, что уже приняли нужного работника или что-нибудь другое в этом роде, а то и просто отказывал, без обиняков.

Однажды, по очередному объявлению, я пришла в небольшое ведомственное издательство, выпускавшее техническую литературу. Почему-то попала не к кадровику, а к главному редактору. Так, мол, и так, вернулась из ссылки, ищу работу. Он в явном смущении, но из деликатности стесняясь сразу же указать мне на дверь, открыл мою трудовую книжку — и вскинул на меня глаза:

— Вы — дочь Артема Веселого?

Усадил в кресло, стали разговаривать. Лично отца он не знал, но в свое время не раз встречался с ним на каких-то издательских путях. Припомнив, что знал лучшие времена, он сделался грустен, а про Артема сказал:

— Это был настоящий писатель.

Кончилось тем, что он принял меня экспедитором с мизерным окладом и при этом жалобно попросил: сотрудники не должны знать про ссылку, иначе у него могут быть неприятности.

Сохранить тайну оказалось несложно: никто из сотрудников не интересовался моим прошлым (впрочем, как и настоящим), лишь одна из женщин в первый же день спросила, замужем ли я. «Давно, уже две недели», — простодушно ответила я, чем сильно рассмешила женщин и снискала их расположение.

Работа была несложной. Меньше меня в издательстве не получал никто, но я была счастлива, что меня сюда приняли.

Все шло хорошо до профсоюзного собрания, накануне которого председатель месткома сказал, что мне надо бы вступить в профсоюз; я охотно согласилась.

Когда дошла очередь до приема новых членов, председатель месткома скороговоркой прочел мое заявление и предложил рассказать биографию.

Вот уж чего я никак не ожидала!

Старый редактор, мой благодетель, сидел, ссутулившись, смотрел в пол.

Я перебирала пальцами пуговицы на кофте — и молчала.

— Ну-с, мы слушаем, — подавив зевок, проговорил председатель. — Рассказывайте.

— Нет.

— Что — нет?

— Я не буду рассказывать.

Собрание оживилось, никто уже не болтал с соседом, не дремал, не шелестел газетой, все смотрели на меня с различной степенью осуждающего или насмешливого недоумения.

Председатель, после некоторого замешательства, заговорил со мной ласково, как с больным:

— Заяра Артемовна, должно быть, вы не поняли... От вас ничего такого не требуется... Просто — рассказать биографию.

— Нет.

Он развел руками.

Вот тут-то мне и захотелось провалиться сквозь паркетный пол. (В профсоюз меня, пошептавшись и пожимая плечами, все-таки приняли.)

А впервые — сквозь асфальт — хотела бы я провалиться в июле 1949 года, когда гнали меня по городу Новосибирску в одной колонне с пленными немцами.

Мы медленно брели по мостовой, машины нас объезжали. Конвоиры держали автоматы на изготовку, колонну сопровождало несколько овчарок.

На тротуарах стояли люди. Не знаю, с каким выражением они на нас смотрели, — я никого не видела: крепко сцепив зубы, не отрывала взгляда от серо-зеленой спины.

В Новосибирской тюрьме мы провели три или четыре тусклых, ничем не примечательных дня.

В камере нам с Майкой попал в руки том из собрания сочинений Пушкина. Особое внимание привлекло письмо Пушкина Вяземскому из Михайловского (чтобы не пересказывать своими словами, приведу выверенную ныне цитату): «Мне нужен англ. яз. — и вот одна из невыгод моей ссылки: не имею способов учиться, пока пора. Грех гонителям моим! И я, как А. Шенье, могу ударить себя в голову и сказать: “Il y avait quelque chose là...”»*

Потом мы не раз повторяли: «Il y avail...» — куда как лестно числить себя в ряду гонимых всех времен и народов!..

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП

Утром по всему тюремному коридору захлопали двери:

— Выходите, с вещами!

— Быстро! С вещами!

Человек сто мужчин и женщин вывели во двор; нам приказали *сесть на землю*.

Никто не знал, что будет дальше, строились различные предположения, чаще других звучало слово *этап*.

Эти толки я слушала уже отстраненно; нас они не касаются: мы же в Новосибирске, можно сказать, приехали, осталось получить паспорт — и за ворота!..

Ворота открылись, во двор въехали грузовики.

Нам выдали по буханке хлеба и по кулечку сахарного песка (который я тут же умудрилась просыпать на землю), после чего посадили в грузовики и куда-то повезли.

Высадили нас на берегу Оби, чуть поодаль пристани.

Вместе с нами приехали конвоиры, но было их немного — человек пять-шесть, — и держались они непривычно: сбившись в кучку,

* «Здесь кое-что было» (фр.). (По преданию, последние перед казнью слова Андре Шенье, погибшего на плахе в июле 1794 г.)

разговаривали между собой и, казалось, обращали на нас мало внимания. И ссыльные вели себя словно пассажиры, ожидающие прибытия парохода: тоже сбивались в кучки, расхаживали по берегу (правда, далеко не разбредались, как будто чувствовали какую-то незримую ограду), разговаривали, курили.

Мы с Ниной и Майкой стояли в сторонке.

Я злилась на себя: «Господи, какая дура — поверила следователю, что меня ожидает чуть ли не просто перемена места жительства (сама же кивала согласно: мол, не всем жить в Москве!). Что-то не похоже, что нам собираются вернуть паспорта и студенческие билеты. Нет, видно, и впрямь — *попала лиса в капкан...*»

Не скажу, что на берегу Оби пришло ко мне внезапное прозрение, и я наконец осмыслила происходящее. Не было этого. Но я уже не находила всему оправдания в принятой ранее на веру формуле *так надо*.

«Неужели надо было протащить нас через четыре тюрьмы? Для чего гонят куда-то из города, назначенного местом ссылки? — думала я. — И что нас ожидает?»

Вдруг против меня остановился — руки в карманах — какой-то парень, некоторое время мы молча (он — с наглой улыбкой, я — оцепенело) разглядывали друг друга. Невысокого роста, смуглый, мускулистый, грудь нараспашку, кепка сдвинута на ухо; через щеку — шрам, во рту — золотой зуб, на груди и на руках татуировка — картинки и лозунги.

Он цыкнул слюной сквозь зубы и заговорил:

— А ну, скажи, как эта река называется?

— Обь.

— Верно. А куда течет — знаешь?

— На север.

— Верно. Течет в Северный Ледовитый океан. И течет, между прочим, через необъятные просторы тайги. А что с нами дальше будет — знаешь?

— Нет...

— Скажу. Будет то же самое, что в прежние годы было с кулаками. Слышала — нет? Вот сейчас дождемся — посадят нас на баржу и пустят вниз по течению. А где-нибудь в тайге высадят на берег, дадут пилы, топоры, лопаты и скажут: «Стройтесь, живите и размножайтесь». Во-от... Я буду косить, а ты — брусницу носить. Знаешь, что такое брусница?

— Нет, — ответила я помертвевшими губами.

— Эх ты!.. Это такая коробочка для бруска, а брусок — чтобы косу подтачивать... Ну ничего, еще узнаешь. Держись теперь за меня.

Я даже не успела по-настоящему испугаться — к нам подошел человек со скрипкой в потертом футляре. Он отозвал в сторону татуи-

рованного, что-то ему сказал, и тот — не люблю жаргонных словечек, но тут оно ляжет точно — *слинял*.

А человек со скрипкой вернулся к нам.

— Николай Билетов, — представился он. — Можно — дядя Коля.

— Вы скрипач? — спросила я.

— Художник. А скрипка — так, для души; перед этапом попросил, чтобы жена передала. Я — повторник, меня взяли из Калинина... А вы, девочки, откуда?

...Николаю тридцать семь лет; уже в детстве был гоним как сын священника, по тюрьмам и лагерям начал скитаться с юности. Четырнадцать лет провел на Колыме. Мастер на все руки, энергичен, предприимчив, мгновенно ориентируется в обстановке, умеет постоять за себя и за другого, притом — человек мягкий и доброжелательный.

Он очень поможет мне в первый год ссылки...

Разумеется, я была безмерно благодарна Николаю за избавление от перспективы *носить брусницу*. С горьким смехом призналась, что до этого часа моей заботой было решить: на какой курс института поступать в Новосибирске.

— Неужели нас и вправду, как сказал этот тип, могут посадить в тайге? — спросила я.

— Увидим... — неопределенно ответил Николай. — Главное — не падать духом. Знаешь, какая надпись была на перстне царя Соломона? — спросил он и сам ответил, произнеся раздельно и веско (позднее не раз повторял, желая подбодрить нас в трудную минуту): — *И это пройдет...*

Между тем к пристани подплыл пароход, началась посадка пассажиров, потом запустили и нас.

Поплыли вниз по реке. Глядя на клубящуюся за кормой воду, я подумала: «Вот оно, воплощение свободы: можно хоть сейчас прыгнуть вниз головой!» (В тюрьме вверх перил натянута сетка, и захочешь — в лестничный пролет не кинешься.)

Николай спустился в буфет и принес нам в утешение кулек конфет.

Рядом с Николаем держался скромный, молчаливый парень, звали его Пашей; в отличие от других был он совершенно налегке и даже без пиджака, в одной рубашке; возможно, его обокрали в тюрьме.

Почему-то совсем не запомнила пристани, где нас высадили (лишь помню, что на левом берегу), — ни вида, ни названия*.

До привала шли пешком, правда, недолго (было обещано, что наутро за нами пришлют грузовики); остановились на поляне, здесь же — под открытым небом — заночевали, радуясь, что нет дождя.

* Сейчас посмотрела по карте: не иначе это была Кольвань.

Спали на траве рядом – Паша, Нина, Майка, я, Николай, – под себя подстелили два пальто на пятерых, двумя укрылись; летняя ночь оказалась до зубовного стука холодной.

Утром к Николаю подошла баба Степанида (после товарного вагона мы с монашками не общались: в тюрьме сидели в разных камерах, на пристани издали друг другу кивнули), протянула ему на ладони царское угощение – крупную горячую картофелину, испеченную в золе (в стороне мерцали угли прогоревшего костра), и сказала:

– Уж ты, Николай Леонидович, не обидь нашу Зайку...

Я благодарно обняла старуху, а Николай (по-моему, он тоже расстрогался) поклялся, что и в мыслях не держит ничего худого.

Вскоре появились грузовики. Погрузились – поехали.

Дорога была ухабистая, тянулась по плоской безлесной равнине, лишь кое-где виднелись *согры* – островки чахлах березок с болотными кочками между стволами.

Кто-то бывалый сказал, что отсюда начинаются Васюганские болота.

– Ссылка – что! – донесся до меня разговор двух крестьянского вида стариков. – Ссылка не лагерь. Ты где отбывал?

– За Котласом.

– Я – на Колыме... – Вздох. – А ссылка – что!..

– погоди еще: зашлют в колхоз, заставят *за палочки* работать – с голоду подохнешь. В лагере хоть кормят.

– Ну нет! По мне, нету ничего хуже лагеря. – Вздох. – Как-нибудь прокормимся...

Постепенно в разговор втянулись другие. Все сошлись на том, что, как бы тяжело ни оказалось в ссылке, хуже, чем в лагере, не будет. Стали припоминать разные события лагерной жизни. Старик, отбывавший срок на Севере, рассказал о том, как, случалось, расправлялись у них с провинившимися: раздев догола, привязывали к дереву, оставляли на ночь в тайге – на съедение мошке и комарам.

Я не поверила:

– В нашем лагере?! Этого не может быть!

Старик коротко на меня глянул, усмехнулся – и промолчал.

Поняла, что сказанное – правда: этого не может быть, но – было.



Здесь был лагерь.



Презентация первого тома сборника «Доднесь тяготеет».
Москва. Колонный зал Дома Союзов. 2 февраля 1991 года.



Открытие 1-й международной конференции «Сопротивление в ГУЛАГе».
Москва. Колонный зал Дома Союзов. 19 мая 1992 года.

Содержание

От составителя	5
Предисловие к первому изданию	7
<i>Ольга Адамова-Слиозберг. Путь</i>	9
<i>Елена Владимировна. Из поэмы «Колыма»</i>	132
<i>Берта Бабина-Невская. Первая тюрьма (февраль 1922 года)</i>	139
<i>Надежда Гранкина. Записки вашей современницы</i>	156
<i>Вероника Знаменская. Доднесь тяготеет...</i>	182
<i>Вера Шульц. Таганка. В Средней Азии</i>	192
<i>Галина Затмилова. Принадлежат истории</i>	229
<i>Надежда Суровцева. Колымские воспоминания</i>	260
<i>Юлия Соколова. Из дневника. 1937–1938 годы</i>	273
<i>Елена Сидоркина. Годы под конвоем</i>	297
<i>Мира Линкевич. Как ковались кадры</i>	317
<i>Зоя Марченко. Так было...</i>	320
<i>Евгения Гинзбург. Здесь жили дети</i>	336
<i>Анна Баркова. Стихотворения</i>	345
<i>Хелла Фришер. В нашей жизни много раз – «так трудно еще не было»</i>	384
<i>Тамара Петкевич. Всего одна судьба</i>	471

<i>Татьяна Лещенко-Сухомлина. Из воспоминаний «Моя гитара»</i>	<i>479</i>
<i>Хава Волович. О прошлом</i>	<i>491</i>
<i>Надежда Канель. Встреча на Лубянке</i>	<i>525</i>
<i>Ада Федерольф-Шкодина. Выборы в Туруханске</i>	<i>530</i>
<i>Ариадна Эфрон. Из писем Борису Пастернаку и Аде Федерольф-Шкодиной</i>	<i>548</i>
<i>Наталья Запорожец. Из воспоминаний</i>	<i>562</i>
<i>Заяра Веселая. 7-35</i>	<i>569</i>

ДОДНЕСЬ ТЯГОТЕЕТ

В 2-х томах

Том первый

Записки вашей современницы

Второе издание

Редактор верстки: *Г. В. Аتماшкина*

Макет: *А. Г. Мордвицев*

Обработка фотографий: *К. А. Мордвицев*

Подписано в печать 25.06.04. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 39. Тираж 3000 экз. Заказ № 1934.

Московское историко-литературное общество «Возвращение»

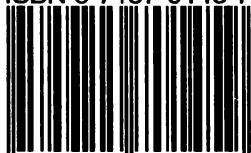
123436, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, 34, кв. 58

Тел./факс: 196-02-26

e-mail: vozvrashchenie@bk.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в издательско-полиграфическом комплексе «Звезда»
614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34

ISBN 5-7157-0145-7



9 785715 701459 >

